КЕДРОВЫЙ БОР





ДРОВЫЙ БОР

ловацком национальном восстании 1944 года

Переводы со словацкого

АДУГА"

1984



КЕДРОВЫЙ БОР

Проза о Словацком национальном восстании 1944 года

Переводы со словацкого



МОСКВА "РАДУГА" 1984

ББК 84.4Ч
К-33

Составление и предисловие Ю. БОГДАНОВА

Научный консультант и автор примечаний А. КЛЕВАНСКИЙ

Редактор Л. НОВОГРУДСКАЯ

К-33 **Кедровый бор.** Проза о Словацком национальном восстании 1944 года: Сборник. /Пер. со словацк. Составл. и предисл. Ю. Богданова. — М.: Радуга, 1984. — 496 с.

В сборник включены произведения словацких писателей разных поколений: Петера Илемницкого, Милоша Крно, Винцента Шикулы, Веры Швенковой и Юлиуса Балцо, посвященные бессмертному подвигу словацкого народа в годы второй мировой войны, 40-летнюю годовщину которого широко отмечает в 1984 году все прогрессивное человечество.

ИБ № 1054. Редактор Л. В. Новогрудская. Художник Ю. А. Лютер. Художественный редактор А. Н. Алтунин. Технический редактор Е. Ф. Фонченко. Корректор В. Ф. Пестова. Сдано в набор 27.03.84. Подписано в печать 9.08.84. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Универс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 52,5. Уч.-изд. л. 34,32. Тираж 50000 экз. Заказ № 1083. Цена 3 р. 90 к. Изд. № 1097. Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17. Отпечатано методом фотоофсет на ордена Трудового Красного Знамени Калининском полиграфическом комбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.

К $\frac{4703000000 - 589}{030(01) - 84}$ 25 – 84

ББК 84. 4 Ч
И (ЧССР)

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС СЛОВАЦКОГО НАРОДА

Шел четвертый год Великой Отечественной войны. Громя фашистских оккупантов, Советская Армия летом 1944 г. завершала освобождение советской территории. Наши войска вышли на границу с Румынией, преследуя отступавших гитлеровцев, продвинулись к Польше, вплотную подступили к довоенной границе с Чехословакией...

4 августа 1944 г. в Черткове, неподалеку от Львова, в расположении IV Украинского фронта приземлился самолет с опознавательными знаками марионеточного Словацкого государства. На нем прилетел для установления связей с Советским военным командованием представитель V нелегального Центрального руководства Коммунистической партии Словакии Карол Шмидке. На следующий день он беседовал с командующим фронтом генералом И.Е. Петровым, а 6 августа вылетел в Москву для переговоров с представителями Ставки и встречи с руководством Коммунистической партии Чехословакии – К. Готвальдом, Я. Швермой и др. Шмидке привез с собой план проведения общенационального восстания в Словакии, разработанный словацкими коммунистами и их союзниками по антифашистскому национально-демократическому блоку. "Для коммунистов точка зрения Москвы (советских и чехословацких товарищей) была решающей, особенно в таком огромном деле, каким было Словацкое национальное восстание"[1]. Ключевым моментом плана должно было стать согласование сроков начала восстания и наступления советских войск. Предполагалось, что к восставшим примкнет бóльшая часть словацких воинских частей, в том числе две дивизии в Восточной Словакии, которые ударом с тыла откроют советским танкам дорогу через Карпатские перевалы. Это был дерзкий, но вполне реальный замысел, обещавший в случае успеха быстрое продвижение Советской Армии на стратегически важном направлении и тем самым существенно ускорявший путь к общей победе над фашистской Германией. Он был одобрен Заграничным

[1] Г. Гусак. Свидетельство о Словацком национальном восстании. М., 1969, с. 377.

бюро КПЧ в Москве, принявшим решение направить в Словакию группу опытных работников партии во главе с ближайшим соратником Готвальда Яном Швермой. К сожалению, в полном объеме намеченный план осуществить не удалось: не хватило времени на тщательную подготовку — слишком стремительным оказался ход дальнейших событий...

Консолидация сил антифашистского Сопротивления началась в Словакии достаточно давно и в силу ряда исторических обстоятельств получила особый характер. В марте 1939 г., преданная в Мюнхене западными союзниками, прекратила существование буржуазная Чехословацкая республика: Чехию и Моравию оккупировали немецко-фашистские войска, Словакия же из рук Гитлера получила статус "независимого", а по существу вассального, клерикально-фашистского марионеточного государства, у руля которого оказалась католическая "народная" партия, местные клеро-фашисты, "людаки", давно добивавшиеся у Праги политической автономии. Спекулируя на национальных чувствах, они старались теперь выдать новоиспеченное подневольное государство за реализацию "тысячелетней мечты" словаков о достижении самостоятельности, объявляли себя борцами за истинно национальные ценности, насаждали по образцу гитлеровского рейха режим "расовой чистоты", нетерпимости ко всем политическим противникам, в первую очередь к коммунистам. Все эти репрессивные меры обильно сдабривались ханжескими проповедями о "христианском солидаризме", любви к ближнему, прославлением "великой прозорливости отцов нации", якобы уберегших Словакию от кровавой купели второй мировой войны. А в 1941 г. по указке Гитлера Словацкое государство вступило в войну против Советского Союза, и словацкие парни были отправлены на фронт проливать кровь за фюрера и его верных лакеев во главе с президентом в черной сутане, преподобным Йозефом Тисо. Тогда-то и начали прозревать обманутые люди — и на фронте, и в тылу, — стали развеиваться иллюзии, если у кого они оставались, относительно особой, "национально-спасительной" миссии Словацкого государства, в том числе рухнул и миф о мирной, "процветающей Словакии", островке благополучия и покоя посреди юдоли вселенских слез, — это наиболее изощренное, развращающее умы изобретение клеро-фашистской пропаганды. Все честное, не потерявшее совесть, истинно патриотическое и демократическое принялось исподволь, постепенно консолидироваться на антифашистской платформе, готовясь к решающей схватке с предателями коренных интересов нации и народа. В авангарде этого процесса шли коммунисты.

В конце 1943 г. по инициативе V нелегального Центрального руководства КПС (К. Шмидке, Г. Гусак, Л. Новомеский) был создан в подполье Словацкий национальный совет, объеди-

нивший силы антифашистской оппозиции и взявший курс на подготовку вооруженного восстания. В горах Словакии началась организация партизанских отрядов. Антифашистские настроения захватили и армию. Участие словацких дивизий в войне против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии не было и не могло быть поддержано народом. Словаки издавна, по традиции связывали с русскими свои надежды на освобождение от многовекового национального гнета, а с победой Великой Октябрьской социалистической революции широкие массы трудящихся видели в Советской России притягательный пример коренных социальных преобразований. Стойкость и героизм советских людей, сумевших переломить поначалу трагический ход войны, отстоять завоевания социализма, вызвали прилив энтузиазма, обострили чувство исконной славянской солидарности, глубоко присущее национальному характеру словаков. Солдаты на фронте не хотели стрелять в русских братьев, старались воспользоваться любым подходящим случаем, чтобы перейти на сторону Советской Армии, и сражаться в ее рядах. Так было, например, в районе села Ремезы, где капитан Ян Налепка, удостоенный позднее звания Героя Советского Союза, с группой антифашистов своего полка примкнул к партизанам, под Мелитополем, когда около 3000 солдат и офицеров с оружием в руках перешли в расположение советских войск и заявили о желании сражаться с фашистами. Чехословацкий армейский корпус, сформированный в Советском Союзе под Бузулуком и прошедший славный боевой путь от поселка Соколово на Украине до Праги, пополнял свои ряды бывшими солдатами словацкой армии.

Стремясь воспрепятствовать полному развалу фронтовых частей, правительство Тисо вынуждено было систематически, каждые полгода, менять свои воинские контингенты. Но солдаты и большинство офицеров, возвращающиеся в казармы на родину, становились лучшими агитаторами против режима, втянувшего словацкий народ в преступную, братоубийственную войну.

К августу 1944 г. в Словакии, по существу, сложилась революционная ситуация. К этому времени повсюду, но прежде всего в лесных и гористых районах, резко активизировалась деятельность партизанских отрядов. Особенно после того, как здесь появились советские партизаны, пришедшие в Восточную Словакию с Украины, и организаторские группы парашютистов, вокруг которых в считанные дни формировались целые партизанские бригады и соединения. Вспоминая об этой поре, Генеральный секретарь КПЧ, Президент Чехословацкой Социалистической Республики Густав Гусак в своей книге "Свидетельство о Словацком национальном восстании" (1964) писал: "Все восхищение, любовь и доверие к Советскому Союзу, к Советской

Армии, к советскому народу, которые за годы войны накопились в словацком народе, нашли теперь выражение в отношении к советским офицерам, которые прибыли из СССР помогать Словакии в антифашистской борьбе... Советская Армия с нами! Ее представители уже здесь! Так реагировали простые люди в августе 1944 г. на прибытие организаторских партизанских групп, и эта волна симпатии окружила формирующиеся партизанские отряды и росла в августе со дня на день как среди гражданского населения, так и среди воинов и части офицеров. Поэтому нигде в Европе не вырастали партизанские отряды в такой благоприятной среде, при такой поддержке населения, как в августе 1944 г. в Словакии"[1].

12 августа, напуганные возросшей активностью борцов Сопротивления, клеро-фашисты ввели на всей территории страны чрезвычайное положение. На патрулирование в леса были брошены армейские части. Но солдаты братались с партизанами, передавали им оружие из воинских арсеналов, целыми гарнизонами отказывались повиноваться властям. Чувствуя свое полное бессилие, Тисо обратился к гитлеровцам с просьбой о незамедлительной помощи в борьбе против собственного народа. Немецкие войска 29 августа начали оккупацию страны, вызвав бурю народного гнева. Этот день стал первым днем Словацкого национального восстания. 30 августа Свободное словацкое радио из Банской Быстрицы сообщило о нем "всем, всем, всем...". "Мы выступаем за братское совместное проживание с чешской нацией в новой Чехословацкой республике... Самым решительным образом мы отвергаем и осуждаем антидемократические деяния и взгляды "людацкого" режима у нас, — говорилось в обнародованной 1 сентября декларации Словацкого национального совета. — Словацкий народ никогда не имел ничего общего с политикой союза с гитлеровской Германией".

Восстание готовилось давно, однако в связи с оккупацией Словакии его пришлось начать раньше, чем предполагалось. В результате немцам удалось, воспользовавшись нерешительностью высших словацких офицеров, окружить, частично разоружить и интернировать словацкие дивизии, занимавшие проходы в Карпатах. В этих условиях быстрый прорыв через горы уже не мог быть осуществлен и практически стал невозможен. 8 сентября, когда 38-я армия 1-го Украинского фронта, в составе которой находился и 1-й Чехословацкий армейский корпус, пошла на штурм Дуклинского перевала, она столкнулась с жесткой, глубоко эшелонированной обороной противника. В районе Дуклы завязались кровопролитные бои, продолжавшие-

[1] Г. Гусак. Свидетельство о Словацком национальном восстании, с. 279.

ся почти два месяца.

Тем временем в глубоком немецком тылу, на расстоянии 250 — 300 км от фронта, образовалась обширная освобожденная территория с центром в Банской Быстрице. Сюда со всех концов Словакии, а также из чешских земель, Польши, Венгрии стекались люди — партизаны, солдаты словацкой армии, крестьяне, рабочие, представители прогрессивной интеллигенции, стремящиеся принять активное личное участие в борьбе с фашистами. В рядах повстанцев сражалось и свыше 3000 советских граждан. Почти каждую ночь на аэродроме "Три Дуба" приземлялись краснозвездные транспортные самолеты с оружием, боеприпасами, подкреплениями. Карпатско-Дуклинская операция оттянула гитлеровские резервы, что позволило повстанцам в условиях полного окружения до конца октября успешно противостоять напору кадровых частей фашистского вермахта. Лишь перебросив дополнительно несколько танковых и моторизованных дивизий, гитлеровцам удалось наконец прорваться к Банской Быстрице. Повстанцы отступили в горы, перейдя к партизанским методам борьбы. Эта война в горах при активной поддержке населения продолжалась вплоть до полного освобождения Словакии советскими войсками в феврале—марте 1945 г.

Значение Словацкого национального восстания далеко выходит за рамки чисто военных аспектов. В огне восстания и тяжелейшего сражения в Карпатах, где смертью храбрых пало около 100 000 советских и чехословацких воинов, укрепилось боевое соратничество народов Советского Союза и Чехословакии. Дукла навечно стала символом советско-чехословацкого братства по оружию, светлым памятником самоотверженного служения идеалам дружбы и взаимопомощи. "Советская помощь — военная, политическая и моральная, — отмечал Г.Гусак,— была решающим фактором, позволившим словацкому народу выстоять в открытой борьбе в течение двух месяцев против превосходящих гитлеровских армий. Этот факт осознавал каждый... Ориентация на Советский Союз и любовь ко всему советскому развивались и укреплялись в словацком народе все больше и больше"[1].

Словацкое национальное восстание, антифашистское Сопротивление в чешских землях, кульминацией которого было Пражское восстание в первых числах мая 1945 г.,— эти события являлись наразрывной составной частью национально-демократической революции, положили начало качественно новому этапу в истории народов Чехословакии. В ходе героической вооруженной борьбы происходил реальный политический и моральный расчет с виновниками национальных катастроф, с

[1] Г. Гусак. Свидетельство о Словацком национальном восстании, с. 401.

прямыми и косвенными пособниками фашизма, с силами внутренней реакции. ''Словацкое национальное восстание, — писал один из его видных организаторов, поэт-коммунист Ладислав Новомеский, — прежде всего реабилитировало словацкий народ в глазах революционных народов Европы и демократического мира и раз и навсегда перечеркнуло мнение, что его ''судьба'', его историческое проклятие — роль прислужника контрреволюционной реакции... Восстание убедило сам народ в том, что следует отбросить ослабляющую его неуверенность в возможности сочетать в наших условиях преданность идее национальной самобытности с верностью прогрессу, демократии и революции... Оно возвестило миру нашу новую историю. Нам же дало новое историческое сознание''[1]. Восстание стало поворотной вехой и в судьбах словацкой культуры, дало мощный импульс и послужило основополагающей традицией всего послевоенного развития словацкой литературы.

Анализируя состояние литературной жизни в условиях марионеточного клеро-фашистского Словацкого государства, отчетливо сознаешь всю спасительную, нравственно очистительную миссию, которую имело восстание для словацкой культуры. И дело даже не в том, что в период клеро-фашистской диктатуры у художников перо и слово были связаны путами цензуры. Несмотря на все усилия цензоров и официальных идеологов режима, словацкие литераторы в подавляющем большинстве своем сохранили верность национально-освободительной, демократической традиции отечественной словесности. Не говоря уже о нелегально распространяемых боевых стихотворениях Я. Есенского, Ф. Краля, Я. Смрека и многих других поэтов, раздувавших ''пламя святого гнева'' (Есенский) в сердцах, почти вся подцензурная литература была наэлектризована духом неприятия официальной идеологии. Это неприятие, однако, носило во многом стоически индивидуальный характер, в нем сквозила внутренняя горечь личного бессилия что-либо изменить в фатальном ходе событий, казалось обрекавшем словацкий народ на исторически бесславную роль покорной, обманутой жертвы в руках бессовестных пособников германского фашизма. Боль за свой народ, перед которым развертывалась трагическая перспектива, пусть не по своей вине, войти в историю с клеймом коллаборационизма, — вот что прежде всего терзало сознание лучших представителей литературы, словацкой творческой интеллигенции вообще.

''Когда, после долгих веков, наш народ дожил до самостоятельности, причем даже в виде собственного государства, то это выглядело какой-то насмешкой, — писал в тридцатилетнюю

[1]Л. Новомеский. Предисловие. — В кн.: Г. Гусак. Свидетельство о Словацком национальном восстании, с. 9.

годовщину восстания один из его участников, видный критик и литературовед Александр Матушка. — Люди, говорящие на словацком языке, так ратовавшие за чистоту этого языка, куда меньше ратовали за чистоту достоинства и первоначального значения слов, выдавали за самостоятельность тот загон, ту клетку, в которую его заперли. Но народ открывал глаза, смотрел и видел, что эта самостоятельнось — не его, что это — страшная, извращенная самостоятельность, потому что досталась она ему в то самое время, когда все остальные народы — вблизи и вдали — подвергались методическому и безжалостному истреблению... Самозванцы надеялись удержать его в "голубиной кротости" относительным благополучием, тем, что жить было сносно и было что есть. Но — как не раз говорилось по этому поводу — не хлебом единым жив человек... Почувствовал это и наш народ; он не позволил купить и подкупить себя... Он хотел не только иметь, он хотел быть... и отважно схватился со всем тем, что его оскорбляло, с тем, что лживо и бессовестно выдавали за его чаяния"[1].

Неудивительно, что этот могучий всенародный порыв своей высокой, очищающей героикой буквально окрылил словацкую литературу. Для многих деятелей словацкой культуры восстание стало важнейшим фактом их личной и творческой биографии. В рядах повстанцев с оружием в руках сражались те, кто после 1945 г. по праву займет свое место в ряду активнейших творцов словацкой социалистической литературы. Пафос героической борьбы вдохновил на создание ярких, боевых стихотворений вступавших в 1943 — 1944 гг. в литературу таких авторов, как Я. Броцко, И. Терен, М. Лайчак, М. Крно и др. Глубокой преданностью идеалам революции окрашены строфы еще совсем молодых поэтов, павших "на поле чести и славы", — Б. Коцура, М. Герца, О. Франка. В центре освобожденной территории, в Банской Быстрице, на протяжении сентября—октября 1944 г. регулярно издаются повстанческие газеты и журналы, среди них "Нове слово", еженедельник по вопросам политики, культуры и экономики (под редакцией заместителя председателя Словацкого национального совета Г. Гусака). В этих изданиях, а также на повстанческом радио в Банской Быстрице активно сотрудничают А. Матушка, М. Хорват, Й. Феликс, М. Поважан и другие писатели, поэты и критики, с именами которых неразрывно связано все развитие современной словацкой литературы.

Об этом необходимо помнить, уясняя причины массового обращения литературы после 1945 г. к тематике антифашистской борьбы. По существу, вплоть до 1949 — 1950 гг. восстание является эпицентром творческих усилий подавляющего боль-

[1] А. Матушка. Тридцать лет. — В кн.: Литература и время. Литературно-художественная критика в ЧССР. М., 1977, с. 123 — 124.

шинства словацких литераторов. За три-четыре года вышло множество прозаических, репортажных и особенно поэтических произведений, написанных авторами самых различных художественных ориентаций. Но несмотря на все несходство индивидуальных почерков, легко заметить сегодня и нечто общее, что объединяет литературу о восстании того времени: почти на всех произведениях лежит неизгладимый отпечаток непосредственности, субъективной взволнованности, все они носят своего рода исповедальный характер.

Пора углубленного анализа еще не наступила, широта обобщений еще была не под силу писателям, многие из которых являлись непосредственными участниками или по крайней мере заинтересованными свидетелями, остро переживавшими все перипетии борьбы. Ощущение значимости движения ассоциировалось зачастую не столько с его общими масштабами и перспективами, сколько с глубинным, спонтанно единодушным подъемом, который овладел всеми, кроме заведомых циников и прихвостней режима. Восстание открыло для писателей прежде всего мир солидарности людей. Оно наполнило их чувством радостной гордости за свой народ. Неудивительно, что в книгах, особенно поэтических, появившихся вскоре после Освобождения, в первую очередь нашла выход эта внутренняя потребность в героизации событий, их участников. В лучших прозаических произведениях этого периода — в "Хронике" (1947) П. Илемницкого, посвященной подвигу жителей реальной словацкой деревни Черный Балог, в сборнике рассказов Я. Боденека "Из волчьих дней"(1947) и др. — был передан пафос эпохи — страстный расчет с утерявшими всякое оправдание, отжившими порядками и напряженное радостное ожидание будущего. Это была естественная реакция литературы на полосу ее предшествующей вынужденной самоизоляции и одновременно — выражение доверия к происходящим после 1945 г. коренным революционным переменам в народно-демократической Чехословакии.

Настоящий однотомник избранных произведений словацкой художественной прозы о Национальном восстании и войне открывается взволнованным очерком "Черный Балог" (1946), написанным Петером Илемницким (1901 — 1949), Народным писателем ЧССР, одним из основоположников социалистического реализма в словацкой литературе. Чех по происхождению, Илемницкий с 1921 г. связал свою судьбу со Словакией. Талантливый писатель-коммунист, он в своем художественном творчестве — романах "Поле невспаханное" (1932), "Кусок сахару" (1934), "Компас в нас" (1937) и др. — ярко запечатлел революционную борьбу трудящихся масс за социальную справедливость в условиях буржуазной Чехословакии. В 1939 г. клерофашистские власти выслали Илемницкого, убежденного и влиятельного противника марионеточного режима, за пределы

Словакии под предлогом его принадлежности к чешской нации. Вскоре за участие в движении Сопротивления он был арестован гестапо и отправлен в концлагерь в Германию.

Писатель, таким образом, не был очевидцем восстания, свой очерк и роман "Хроника" он создавал по рассказам участников событий. Однако именно в его произведениях впервые нашла столь убедительное воплощение важнейшая идея закономерности антифашистской борьбы. Восстание не было стихийной вспышкой протеста. Оно явилось результатом большой организаторской работы Коммунистической партии Чехословакии, еще с 20 — 30-х гг. завоевавшей своей последовательной революционной и антифашистской деятельностью высокий морально-политический авторитет в массах. Благодаря такой ясности художественного зрения Илемницкому и удалось предвосхитить многое из того, что будет подхвачено и развито впоследствии художественной прозой, посвященной событиям восстания, что сделает эту тему немеркнущей традицией в литературе социалистической Чехословакии.

Во вступлении к своей книге "Свидетельство о Словацком национальном восстании" Г. Гусак проникновенно писал: "Меня волнуют эти события всегда, когда я о них вспоминаю, когда я вижу живые лица людей, которые направляли события истории, несли на своих плечах ее бремя и отдавали за свободу свою жизнь... Кто же опишет всю эту самоотверженность, отвагу и героизм, энтузиазм и боевые качества, страдания и жертвы, самопожертвование, горечь и славу десятков тысяч антифашистов, коммунистов и некоммунистов, воинов и партизан в деревнях и селах, на фронтах восстания, в тюрьмах и концлагерях, в бараках для военнопленных, страдания мужчин и женщин, молодых и старых, для которых Словацкое национальное восстание было важнейшим делом их жизни? Из кирпичиков их личной деятельности возникла великолепная мозаика, картина нашей победы, которая всегда будет свидетельствовать о том, какой вклад внес словацкий народ в антифашистскую борьбу за свою свободу и за свободу других народов"[1].

В этом размышлении и одновременно призыве одного из главных организаторов и руководителей восстания, по существу, содержалось стратегическое обоснование того нового подхода к отображению событий восстания, который уже со второй половины 50-х гг. настойчиво и целеустремленно осуществляла словацкая литература, прежде всего в произведениях А. Бернара (сборник повестей и рассказов "Часы и минуты", 1956), в трилогии В. Минача "Поколение" (1958 — 1961), романе Р. Яшика "Мертвые не поют" (1961). Эти книги до сих пор оста-

[1] Г. Гусак. Свидетельство о Словацком национальном восстании, с. 14.

ются по-своему непревзойденными эпическими произведениями, написанными о Словацком национальном восстании. Созданные разными по складу дарования художниками, они вместе с тем наиболее полно передают богатейший общий опыт поколения, пришедшего в ряды повстанцев по зову сердца и совести, стойко сражавшегося до конца. От субъективно окрашенных, частных зарисовок здесь был сделан решающий шаг по пути создания емких реалистических полотен, запечатлевших в судьбах многих и разных героев великий процесс исторического прозрения нации.

В 70 — 80-е гг. события восстания, отступая все дальше в историю, тем не менее продолжают привлекать внимание писателей — представителей разных поколений. И дело не только в неустаревающей значимости самой темы, имеющей для словацкой литературы тот же принципиальный смысл, что и, например, тема Великой Отечественной войны для советской литературы. Вспомним, что конец 60-х гг. стал для Чехословакии временем трудных испытаний, острейшей борьбы с правооппортунистическими тенденциями. Консолидация партии и общества на очищенных от ревизионистских наслоений основах как раз и ознаменовалась новым закономерным обращением литературы к традициям антифашистской борьбы, способствуя упрочению революционных идеалов, восстановлению памяти о недавнем прошлом как важнейшем завете для настоящего. В это же время, после принятия закона о федеративном устройстве Чехословацкой Социалистической Республики, происходит общее обострение интереса к национальной истории, к проблематике национальной ответственности и сложных путей становления социалистического самосознания, по-своему преломившееся в целом ряде произведений о периоде 1939 — 1944 гг. Характерным примером здесь могут служить романы М. Крно "Благочестивый Мефодий" (1978) и "Доблестный Радуз" (1984), своеобразная сатирическая дилогия, написанная на "материале" марионеточного Словацкого государства.

Милош Крно (род. в 1922 г.), Заслуженный писатель ЧССР, является одним из наиболее опытных словацких прозаиков, книги которого не раз переводились на русский язык (например, "Вернусь живым" — повесть о национальном герое Словакии и Герое Советского Союза капитане Яне Налепке и др.). Крно — участник Словацкого национального восстания, и эта тема является важнейшей в его творчестве. Впервые, однако, в новой дилогии он прибегает к необычной для себя сатирической манере. Поскольку оба произведения связаны между собой общими героями, скажем вначале коротко о романе "Благочестивый Мефодий". В этой книге воссоздается специфическая обстановка и атмосфера марионеточного Словацкого государства. В центре романного действия — история служебного

возвышения и — параллельно с этим — нравственного падения Мефодия Шубика, одного из нуворишей режима, угодившего из мелких провинциальных чиновников прямо в кресло министерского советника. Приобщение к "отъявленным негодяям", вершителям судеб нового государства, таким, как растлитель душ и любитель "клубнички" ксендз и депутат Солар, как начальник тайной полиции, циник и душегуб Поляк, как немецкие советники-расисты — Куглер и компания, скупающие по дешевке оптом и в розницу словацкие леса и заводы, свинину и "пушечное мясо", при этом откровенно презирающие неполноценных жителей "Словакштата", — подобное приобщение оборачивается моральным распадом личности. Крно разоблачает этот мир средствами иронии, гротеска, гневной сатиры. В фигуре же Мефодия Шубика, при всей исторической обусловленности, угадываются "вечные" черты мещанина-потребителя, неутомимо ищущего и всякий раз находящего смягчающие обстоятельства для собственных отступлений от неписаных законов совести и морали.

В романе есть и вторая линия, выдержанная в ином художественном ключе. Это серьезный, хотя местами и чуть ироничный рассказ о постепенном вызревании антифашистских настроений среди молодежи тогдашней Братиславы. Вчерашние гимназисты, молодые люди с романтическими юношескими идеалами, сталкиваясь с фактами повседневной коррупции, ханжества, предательства интересов родины, ищут путей к сознательному, организованному сопротивлению режиму. Случай сводит их с опытным коммунистом-подпольщиком Беляном, который и "подключает" их к общей сети нелегальной, антифашистской работы. Вся эта линия в определенной мере носит автобиографический характер. Примерно так пришел в ряды Сопротивления сам писатель, в те годы студент юридического факультета Братиславского университета. От стихийного неприятия окружающей мерзости к сознательной антифашистской борьбе — таким был типичный путь многих представителей словацкой интеллигенции, на первых порах, в 1939 — 1940 гг., не сразу разглядевших под фарисейской личиной "патриархальной демократии" тоталитарную сущность Словацкого государства.

В "Благочестивом Мефодии" Крно показал низменную изнанку клеро-фашистского режима, доведя повествование до конца 1943 г. В романе "Доблестный Радуз" действие происходит уже в 1944 — начале 1945 г., когда по всем швам затрещал "тысячелетний" гитлеровский рейх и вместе с ним профашистские режимы сателлитов. На массе конкретных и исторически точных деталей Крно иллюстрирует процесс стремительного распада всего государственного аппарата "поповской республики", филистерское убожество "отцов нации", совсем еще недавно выспренне рассуждавших об исторической миссии Сло-

вацкого государства, а ныне озабоченных лишь спасением собственной шкуры. Чего стоит, например, такая исторически достоверная подробность: в августе — сентябре 1944 г. пан президент Тисо даже боится ночевать в Братиславе, уезжая по вечерам из города на другой берег Дуная — в Петржалку и даже в Вену, под защиту германских штыков. Словацкое национальное восстание ярко подчеркнуло ту высшую степень изоляции, ту бездонную пропасть, которая разверзлась между словацким народом и жалкой кучкой правителей — зарвавшихся игроков и авантюристов.

Впрочем, на первый план в романе выходит новый "герой" — адвокат Радуз Куцбел. Это представитель тех слоев словацкого общества, которым совсем не плохо жилось при Масарике и Бенеше в период существования буржуазной Чехословацкой республики. О возвращении тех добрых, старых порядков всегда тосковала лютеранская душа Куцбела в католическом резервате Словацкого государства. Изворотливый адвокат и при людацком режиме сумел пристроиться на теплом местечке члена правления акционерной и "чисто словацкой" заготовительной компании "Плоды леса", под крылышком ее председателя, благочестивого Шубика. И все-таки у себя дома он потихоньку не переставал слушать лондонское радио, не забывая о президенте в изгнании Бенеше. Теперь, когда конец Словацкого государства обозначился вполне отчетливо, Куцбел, "перезимовав, как медведь в берлоге", не слишком приятные времена, решил, что пришла пора "выкладывать на стол свои козыри".

Крно убедительно разоблачает в лице "доблестного Радуза" новую команду игроков, которые по окончании войны готовились занять освободившиеся — после проигравшихся в пух людаков — места за игорным столом Чехословацкой республики. Радуз Куцбел старается примазаться к движению Сопротивления, даже заигрывает с коммунистами. Его не смущает, что эти люди носят красную ленточку: споры о политике начнутся позднее...

Нам известно, чем кончились эти споры. В феврале 1948 г., когда такие, как Куцбел, попытались спровоцировать правительственный путч, трудящиеся Чехословакии под руководством Коммунистической партии преградили дорогу буржуазной реакции, завершив социалистической революцией дело, начатое во время восстания. "Благочестивый Мефодий" и "Доблестный Радуз" в этом смысле привлекают сатирическим анализом двух обанкротившихся вариантов развития современной словацкой нации. Лишь на путях социализма, о котором мечтали истинные патриоты, бойцы Словацкого национального восстания, и могла быть успешно разрешена историческая альтернатива, предложенная XX веком народам Чехословакии.

Три следующих произведения, включенные в однотомник,

написаны представителями уже тех поколений, которые не были, да и не могли быть, участниками антифашистской борьбы словацкого народа. Для В. Шикулы (род. в 1936 г.), В. Швенковой (род. в 1937 г.) и Ю. Балцо (род. в 1948 г.) восстание не могло быть жизненной школой, но его заветы стали подлинной школой гражданственности, одним из важнейших источников нового, социалистического сознания.

"Я ощущала это как свой долг, — так объяснила Вера Швенкова причину своего авторского обращения к теме восстания. — Я хотела напомнить о людях, которые... пренебрегли личным благополучием и в решающие минуты доказали свое человеческое благородство, возвысившись над самими собой. Если литература претендует на то, что знает своего современника... то она не может проходить мимо наиболее чистых характеров и лучших человеческих качеств"[1]. В этом признании писательницы — ключ к высокой, романтически очищающей атмосфере романа "Кедровый бор" (1974).

В центре романа — скромная, но самоотверженная деятельность ячейки рабочих-коммунистов в небольшом провинциальном городке, простых, не слишком образованных, но исполненных внутреннего долга людей, принципиально не примирившихся с клеро-фашистским режимом. Именно этой бесстрашной уверенностью в своей исторической правоте и привлекают к себе Штефан Возар и его товарищи сердца честных патриотов-интеллигентов — пожилого учителя истории Юрая Краля и молодой учительницы Зузаны Батизовой. Все они становятся активными борцами антифашистского Сопротивления, участниками восстания, в котором многим из них довелось испытать и светлую радость первой победы, и горечь временного поражения, тяжелого отступления в горы, пережить смерть друзей, товарищей по оружию. Но что бы там ни было, размышляет учитель Краль незадолго перед тем, как сразит его фашистская пуля, "восстание было для народа единственным логически возможным исходом. Оно случилось, потому что не могло не случиться. Оно не было следствием лишь последних пяти позорных лет. Оно является следствием всей истории народа". Идеалы восстания вобрали в себя извечные стремления всех честных патриотов Словакии к исторической справедливости. Вот почему даже такая далекая от всякой "политики", но чистая душой, застенчивая и легкоранимая Зузана Батизова постепенно не только сближается с симпатичными ей людьми, но и глубоко естественно воспринимает их "философию", образ мышления, инстинктивно чувствуя благородство помыслов и поступков. Страницы, посвященные Швенковой этому процессу "воспитания сердца", напоминают о непосредственных предшественницах Зузаны,

[1] "Romboid", 1974, № 6, с. 41.

героинях произведений Тимравы, выдающейся представительницы критического реализма в словацкой литературе конца XIX — начала XX в.

История, как известно, есть общий знаменатель, сложный результат коллективной и разнонаправленной деятельности людей. Этот процесс далек от автоматизма. Приобщение каждого конкретного человека к истории всегда окрашено субъективными моментами, отмечено чертами его национальной и социальной принадлежности, индивидуальной специфики личности. В этом смысле небольшая повесть молодого писателя Юлиуса Балцо "Желто-восковое яблоко" (1976) дает особенно яркое представление о "чисто словацких" реалиях, традициях и о природных условиях тех районов Словакии, в которых развивалась партизанская война.

Главный герой повести бача Ян — потомственный овцевод-пастух, отвечающий за деревенскую отару на отгонных пастбищах в горах. Его собственная жизнь, жизнь его отца, деда от века были подчинены неизменному ритму: зимой — в деревне, с весны до поздней осени — высоко в горах, с одним-двумя помощниками-пастухами, вдали от суетных забот, с глазу на глаз с могучей природой, от которой в первую очередь зависит все то, что он всегда считал основным смыслом своего существования: "Бача знал там каждое дерево, каждый камень. Весь этот край. Он знал о нем все". Он и себя чувствовал частью этого "величественного храма природы", входя в который человек словно бы приобщается к его "торжественной тишине", к исконным источникам бытия и гармонии жизни. Все это не столько осознавалось, сколько ощущалось бачей Яном — сердцем, чувствами, всем естеством. Преступить законы природы казалось ему невозможным.

В это лето он был особенно счастлив: с ним на пастбище впервые отправился его шестилетний сын-поскребыш, продолжатель рода потомственных пастухов, которому бача Ян надеется со временем передать свой пастуший пояс и валашку — символ пастушьего дела. Вот почему он не может принять непосредственного участия в повстанческих делах. Ведь теперь он отвечает не только за овец, но и за жизнь и будущее своего сына.

Основное действие повести — спуск отары с горных пастбищ. Возвращение в деревню всегда было светлым праздником для бачи Яна. Он загодя предвкушал радость встречи с односельчанами, с друзьями. Но на этот раз спуск с гор уподобился схождению в ад. Чем ближе к деревне, тем чаще на его пути возникают трагические приметы войны: убитый односельчанин, трупы людей, с которыми бок о бок прожита целая жизнь. А впереди поджидало самое страшное — смрадное пепелище сожженной дотла фашистскими карателями родной деревни. Даже желто-восковое яблоко, упавшее наземь с опаленного, истерзан-

ного дерева у сожженного дома бачи Яна, насквозь пропахло дымом и омертвело. В один миг рухнуло все, что до сих пор составляло весь смысл его существования. Бача Ян стоял на пепелище, и образ поруганной Родины терзал его душу. Дорогой ценой заплатил он за осознание горькой истины, что с бешеными волками невозможно ужиться. С тяжелым от праведной ненависти сердцем уходит бача Ян в партизанский отряд...

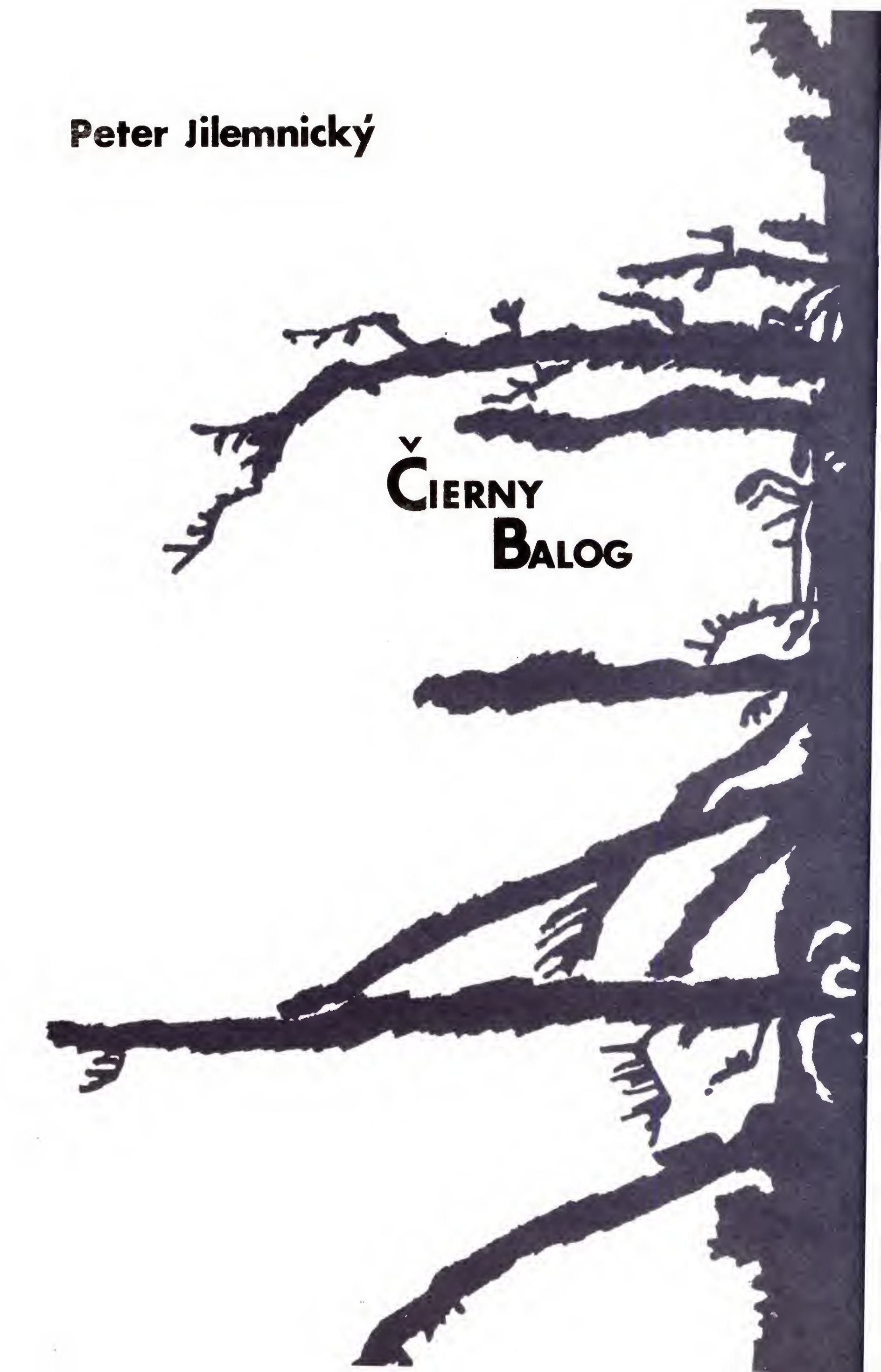
С балладическим, щемящим душу тоном этой повести контрастирует светлая и удивительно оптимистическая атмосфера "Иволги" (1978) Винцента Шикулы, Заслуженного писателя ЧССР, одного из наиболее талантливых и самобытных мастеров современной словацкой прозы. Многие рассказы писателя, его трилогия: "Мастера", "Герань", "Вильма" (1976—1979) — переведены уже на русский язык и снискали заслуженное признание наших читателей и критики. В трилогии Шикулы, в частности, получила развернутое художественное воплощение новая трактовка писателем всенародного характера Словацкого национального восстания. Шикула стремится показать в своих произведениях не только активных и сознательных борцов Сопротивления, но и тех — а их было большинство, — кто, казалось бы, не был сколько-нибудь заметно причастен к истории. Его любимые герои — это всегда простые, ничем на первый взгляд не выдающиеся люди. Но под пером писателя их судьбы нередко приобретают обобщающий, а то и символический смысл. Дело в том, что писатель берет их из самой толщи народа, и так или иначе в каждом из этих людей просвечивают черты национального характера, а в их жизни (и смерти) подчас причудливо, но всегда закономерно преломляются общие законы истории. В этом смысле повесть "Иволга" — типичное для Шикулы произведение.

И Филомена, и ее муж Яно даже по словацким довоенным меркам бедняки из бедняков. В жизни Филы вообще не было никаких особых событий: сначала скромно и одиноко жила в деревне, потом смутил ее покой переменчивый и взбалмошный Яно, заставивший продать дом и перебраться к нему в город, в дворницкую каморку. А затем Яно куда-то исчез и вернулся к Филомене лишь спустя несколько лет, когда уже отгремела война и пришла новая власть. И снова он принялся подметать улицы, а Фила — заниматься уборкой у соседей и делами по хозяйству. Но за внешней бессобытийной канвой их жизни таится нечто драгоценное — теплое отношение к окружающим их людям, готовность бескорыстно помочь в беде, интуитивное чувство добра и справедливости. Оно-то как раз и побудило Филомену помочь молодому парню-антифашисту скрыться от немецкого патруля. Им же руководствовался и Яно, носивший в лес партизанам провизию и едва не поплатившийся за это жизнью.

Повесть почти целиком написана как бы от лица главной героини, автор словно лишь помогает Филомене рассказывать о своей незамысловатой, не больно удавшейся — и все-таки счастливой жизни. Благодаря такому приему и достигается эффект достоверности, естественной правдивости повествования, подкупающего искренностью интонации, сочностью народного языка, живым, сердечным юмором. В общем смысле повесть "Иволга" — не что иное, как своеобразный комментарий к "большой" истории; в ней по-своему преломляется народная точка зрения на исторические события первой половины XX века в Словакии, находит новое, оригинальное художественное подтверждение идея закономерности борьбы народа за национальную свободу и социальную справедливость.

Этими немногими произведениями, естественно, никак не исчерпывается богатая художественная литература о войне и антифашистской борьбе, созданная писателями Чехословакии в 70-е — 80-е гг. Но думается, включенные в одну книгу — очень разные по тональности, стилю, образному решению, — они дают верное представление о поистине исторической, непреходящей значимости Словацкого национального восстания, сороковая годовщина которого широко и торжественно отмечается в 1984 г.

Ю. Богданов


Peter Jilemnický
ČIERNY
BALOG



Петер Илемницкий

Черный Балог

Перевод Л. НОВОГРУДСКОЙ

Редактор А. СМИРНОВА

Я склоняюсь над небольшой позиционной картой района, в который входит тринадцать селений. Я повторяю их названия, и у меня такое чувство, будто нависший над землей гигантский свод небес расходился вдруг подобно колоколу и звонит на весь мир великую им славу. Вы только вслушайтесь, вслушайтесь в эти названия:

Крам, Медведево, Долина, Ергов, Заводье, Выдрово, Черный Балог, Яношовка, Пусто, Файтов, Комов, Доброч, Латки.

Боже праведный! Это не свод небесный — собственное мое сердце расходилось подобно колоколу, потрясенное героизмом неизвестных миру людей...

Черный Балог.

Я вспоминаю этот край, а из дали веков доносится до меня стук топора, голоса лесорубов. И даже самый порывистый ветер не развеет в моей памяти синего клубящегося дыма над угольными ямами, давно уже погасшими. Я слышу, как призывно кричат козлы в июне, как трубят в октябре олени, до меня долетают отзвуки выстрелов, что не умолкая скитаются по долинам с тех давних пор, как браконьер впервые сразил смертоносным свинцом стройную лань. И разве не с кладбища ушедших поколений, не из бедной этой земли пробивалась песня узников-раубшицов[1], исполненная горечи и тоски по свободе:

Ты избавь меня, лесничий,
от колодок, от недоли.
Сам гуляешь на свободе,
а меня томишь в неволе...

Леса! Свобода! Эти два понятия навеки сплелись в сознании лесного народа, соединенные привычным для горцев тяжким трудом, в котором они живут с детства и до самой смерти. За тяжкий труд в лесу — вольная воля в лесу — таково непи-

[1] Браконьеров (*искаж. нем.*). — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

саное, но естественно возникшее право, которое впитали они вместе с молоком матери и которым не поступятся никогда. Так же как никогда не умолкнет протяжная песня, что клеймит владельцев тех лесов, кто бы они ни были и как бы ни звались:

Шумит лес дремучий,
гудит, черноствольный:
"Ой, полно вам мучить
людей моих вольных..."[1]

Так было веками. И всегда стояли перед моими глазами парни с верховьев Грона — гибкое тело, быстрые ноги, в руке топор, недельный запас провизии в котомке через плечо.

Но вот однажды — произошло это год назад — все изменилось.

И сегодня перед моими глазами эти парни — гибкое тело, быстрые ноги, но уже с автоматом через плечо, а в сторожках в сене — пулеметы и ручные гранаты.

***

Отчего зазвучали в ночь с тринадцатого на четырнадцатое августа прошлого года таинственные небесные орга́ны, кто отворил ворота ветрам, чтоб разбушевались они над лесами, как никогда прежде.

Не небесные то были органы, не были то и ветры. Это были самолеты с красной звездою, что до той поры никогда не восходила над лесами, никогда не отражалась в тихих заводях Грона.

В небе зажглись осветительные ракеты; посыпались сверху ящики с патронами и автоматами. Из ночи в ночь потом повторялся этот благодатный дождь; а в лесах суетились люди и относили оружие в укрытия.

И вот — свершилось... Двадцать пятого августа у брезненских казарм собрались окрестные рабочие: они пришли с Гронца, верховьев Грона, из Балога.

Оружие! Дайте нам оружие! Пора!

Дали им оружие. И они взяли его. Народ восстал.

В тот же день в Балоге вывесили призывы: мобилизация! Все мужчины в возрасте до тридцати восьми лет — к оружию! Пришла милиция, пришли повстанцы, пришли партизаны, пришли... Да разве перечислишь и назовешь всех, кто с упоением вдыхал первый порыв ветра свободы! Пускай братиславские власти распустят словацкую армию — мы знаем, куда нам идти! Пускай они зовут на помощь немцев — мы знаем, как с ними разговаривать!

[1]Здесь и ранее перевод В. Корчагина.

Черный Балог стал черен от солдат и повстанцев, словно Черный Грон, напоенный потоками с черных гор. В горах и долинах роют землю люди, возводят укрепления, заваливают дороги, строят укрытия. А где-то далеко идут бои, наступают немцы, кованый прусский сапог теснит Восстание. Скорее на помощь Банской Быстрице! Но если она падет, уйдем в леса.

На фаре[1] полно оружия, в управе полно оружия. Найдут его немцы — запылает Черный Балог! Двадцать пятого октября глава местной милиции приказал раскурить славную игрушку — локомотив лесной узкоколейки. Перед рассветом погрузили оружие, погрузили провиант и — айда в горы! "Пф-пф!" — пыхтит, задыхаясь, паровозик, "пф-пф!" — тянется он к Выдровой долине. Там и спрятали повстанцы провиант и оружие.

На другой день в местечко прибыли первые немецкие автомашины. Вошли они гордо и смело. Деревня притихла. Деревня молчит. Деревня думает о тех, кто ушел в леса. Первые выстрелы раздались в Доброче. Кто там бежит, петляя меж домов? Возчик Ковачик. А кто это падает на размокшую дорогу? А-а! Вместо Ковачика застрелили своего, застрелили фрица. И совсем озверели. Еще бы, позор, да и только! Потом, однако, сразили они и возчика — который помогал партизанам.

Теперь никто не смеет ни на шаг уйти из деревни. Но вот из доброчской лесной управы спешно направился в долину служащий, по фамилии тоже Ковачик. Он должен был передать сообщение лесничему Анталу, участок которого находился высоко в горах, где были бункеры партизан. Засекли Ковачика немцы.

— Halt!

Бросились за ним, преследуют его. Хуже всего, когда человека одолеет страх. Ковачик бежит, чтобы сохранить тайну...

Загубили человека, словно на охоте зверя. Жаль молодой жизни! А они все рыщут, хватают людей; как-то раз собрались и — марш в Быстрицу. И вот она уже у них в руках.

Седьмого ноября первые танковые подразделения прибывают в Черный Балог. Немцы, власовцы, всякое господское отребье пируют по домам, совершают вылазки в долины, стреляют.

Забирают людей, волокут их в управу, в комендатуру.

— Из Балога?

— Из Балога?

У ведущих допрос — свастика, разные немецкие ордена. Тут же и нотар[2].

— Этот?! Из Балога, — охотно подтверждает он.

[1] Фара — дом и усадьба приходского священника.

[2] Нотар — служащий управы.

— Партизан! — оживляется немец со свастикой.

— Да нет, какой партизан! — отрицает парень. — Я и не слыхал про них. (А сам думает: "Эх ты, болван! У меня автомат в сене зарыт, а свояк на задворье пулемет между поленьев прячет".)

— Нету, нет у нас партизан, — уверяет нотар. — В наших краях спокойно, господа.

Он наливает этому отребью сливовицы, потчует:

— На доброе здоровье!

А сам думает о бункерах в долинах, о своих знакомых, что укрылись под землей, готовятся и ждут.

А немцы волокут людей с гор, гонят — дорогой, по бездорожью, словно скот. Школа уже забита людьми. Их допрашивают, сортируют; партизан, офицеров, евреев и цыган расстреливают.

В избах — суматоха, словно в канун храмового праздника. Женщины плачут, варят-парят, волокут в школу полные ведра и корзины: "Возьмите, поешьте!" Глядь, на дне корзины — пиджак и брюки, в бидоне вместо молока — рубаха.

А караульные перед школой пьют. Караульные — то ли есть они, то ли нет. Караульный выпускает женщину из школы на улицу. А с нею какой-то паренек — наверное, ей помогает. Может, это офицер, а может, партизан. Но караульных будто и нет. А может, считать разучились: из восьмисот человек исчезла треть.

В управе бежавших снабжают фальшивыми документами и поминают тех, кто в лесах. Дай бог им счастья!

В бункере под Кленовским Вепром заседает политическое руководство. Они зарылись в земле, как кроты, они отрезаны от мира, но они в центре всех событий. Знают, что происходит и в Балоге, и в Словакии, и на всем свете. Знают, что говорит Москва. Знают, что сегодня придет связной. Знают и о том, что завтра лесничиха Анталова пришлет им со своим мужем тушу кабана.

А по вечерам в лесу слышится подозрительный шум. Приходит Ситарчик, приходит Штуляйтер.

— Ну как, готово? — осведомляются они.

— Готово!

Получают образцы листовок. Получают приказы. Получают чай. И уходят — скрываются в бору, в ночной тьме. Эх, далеко вы, Кленовские горы, затерявшиеся в лесу сторожки, пастушьи хибары. И ротаторы.

Пусть немцы неистовствуют, расстреливают людей, поджигают дома, палят сторожки. Подполье действует! Число партизан с каждым днем растете. Горит земля под ногами у немцев!

— На здоровье! — потчует их нотар. — На здоровье! У нас партизан нет, господа...

Так было в середине ноября. К тому времени немцы уже отошли из Черного Балога к Брезно и Банской Быстрице.

Но не успели они и за околицу выйти, люди поспешили в леса. Всякое они там нашли: брошенное оружие, военное снаряжение, трупы. Прямо в мокром снегу сидели раненые и перевязывали свои раны. Их было там не меньше сорока — воинов Чехословацкой бригады,[1] партизан, русских десантников; раны их были запущены, руки-ноги обморожены.

Милые глухие деревушки — Долина и Медведево! Прижались вы к берегам Грона, кроткие, как малые дети. Минет год, минет другой, но с любовью вспомянут ваши хаты те, кого приняли вы под свою кровлю. Будь то словак или венгр, француз или русский. Вспомнит о вас и грузин из Тбилиси, и узбек из Самарканда, киргиз из Арыси.

Не забуду и я одну хатку в Долине под номером 1288. Рассказывают, больше трех месяцев укрывался в ней Федор из Краснодара. Ребята нашли его в горах. Восемь дней пролежал он здесь, тяжело раненный, и еще три дня полз, утопая в размокшем снегу, подтягиваясь на локтях и волоча перебитые ноги, — три долгих дня, пока не наткнулся на одну из сторожек. Там Федора и нашли. Принесли в деревню.

— Кто возьмет парня под свою опеку?

Одни боялись. У других дома и так уже были заняты. У Тяжкого-Кршова, например, в избе расположился целый партизанский штаб — тридцать пять человек.

А Федор мучился, кричал. Его била лихорадка.

— Я возьму его!

Это сказала Иоганна Швантнерова, в девичестве Штуляйтерова, у которой, кроме бедности, ничего не было, если не считать старую мать да восьмилетнего сына — память о былой любви. Уложила она Федора на единственную кровать, сами спали где придется. Она была молода, он еще моложе. Обеспамятел. Кричал. То приказы отдавал, то сыпал проклятьями. Отняли парню ноги. Он плакал. Он стал совсем беспомощным. А она была тиха, терпелива и в глазах его читала невысказанные слова.

Однажды снова налетели немцы. Кто мог, скрылся. А Федор лежал и в бессилии только зубы сжимал. И вот на ступеньках крыльца — тяжелые шаги. Они уже здесь! Уже открывают двери в маленькую горницу. Подскочила к постели Иоганка, юркнула к Федору под перину и лишь бога молила, чтобы дал силы и поддержал ее в трудный час.

На Федора нацелились автоматы:

— Ты есть партизан?

— Nix партизан, — тихо говорит Иоганка, — это муж мой.

— Как звать? — орет немец Федору.

[1]См. Примечания в конце книги.

Иоганна шевельнулась на постели.

— Немой он... — прошептала она.

Дни бежали как вспугнутые кони. Беспрерывно звонил телефон лесной управы во все сторожки. Что ни происходило в округе, о том сразу становилось известно партизанам. И продовольствием снабжали их бесперебойно. Отовсюду шли и шли в Балог люди, те, что хотели свободными жить и за свободу воевать.

Черный Балог, Черный Балог! Во все концы летела молва о том удивительном крае. Повстанцы закрыли все подступы к нему, все дороги. Отрезали его от мира. Сформировали там милицию, которой не было равной. В лесах создавалась партизанская бригада. Коммунисты работали вовсю.

Заинтересовались и немцы Черным Балогом. Направили туда разведку. Она не вернулась. Послали другую. Баложане обстреляли ее и взяли в плен.

— Товарищи! Теперь глядите в оба! Немцы этого так не оставят!

И вправду не оставили. Снарядили из Брезно отряд в деревню Крам. Арестовали постового-венгра и начали преследовать людей. Увидел это восьмилетний Яничек Гертлый, крадучись выбрался из села в долину, и бегом, бегом по заснеженным тропам прибежал марафонский бегун из Крама в Медведево.

— Немцы пришли! — сообщил он партизанам.

Ну, а уж наши парни постарались, чтобы те, что в Крам вошли, оттуда уже не вышли... И так было с каждой новой разведкой.

Кто действительно продвигался вперед — так это Красная Армия. Но в Балоге хорошо понимали, что наступающая Красная Армия будет все больше теснить немцев. И путь их пройдет от Кленовца через Балог. Разве мы не знаем, что они делают при отступлении? Зверствуют, сжигают деревни, расстреливают и уводят в кабалу людей. Разве можно их пустить? Нельзя! И не пустим!

Устроили засаду в долине Паленичной под Керашовом и там стали ждать прихода немцев. Партизан и повстанцев было около тридцати — все больше местные товарищи да несколько солдат. Расположились за скалой, скрытые выворотнями. Перед ними — ручей, лужок, над ними — высокие горы. Снегу по грудь, а мороз все крепчает.

Произошло это двадцать восьмого января. Прибыл с донесением связной:

— Лесничий Даниш сообщает: в долине показались немцы. Пятьдесят человек.

— Уж с этими-то мы справимся, — смеются баложане.

А наверху в сторожке стоит у окна Даниш, и видит он еще полсотни немцев. Спешит, звонит в Балог.

— И с этими справимся, — решают баложане.

Но вот еще пятьдесят немцев видит Даниш и успевает сообщить об этом по телефону, прежде чем первые подошли к сторожке. В мгновение ока он обрывает провод, выводит из строя связь. Это для него алиби.

Между тем немцы все валят и валят. Теперь их уже больше четырехсот. Но у баложан отважные сердца, да и ждут они только сто пятьдесят.... как сообщил в последний раз Даниш.

Подпустили они немцев поближе на заснеженный лужок.

И тут началось. Забили винтовки. Застрочили автоматы. Немцы падали как подкошенные. Залегли на снегу. Попытались отстреливаться — ничего не вышло. Шестьдесят из них нашли там свою смерть. Раненые немцы замерзали в снегу, уцелевшие кинулись к Бротову, хотели проникнуть в деревню. Но были разбиты. Не пустили их и в Ергов. Бой шел всю ночь. И была эта ночь страшной, но и радостной. Потому что еще затемно подоспел к партизанам лесничий Антал.

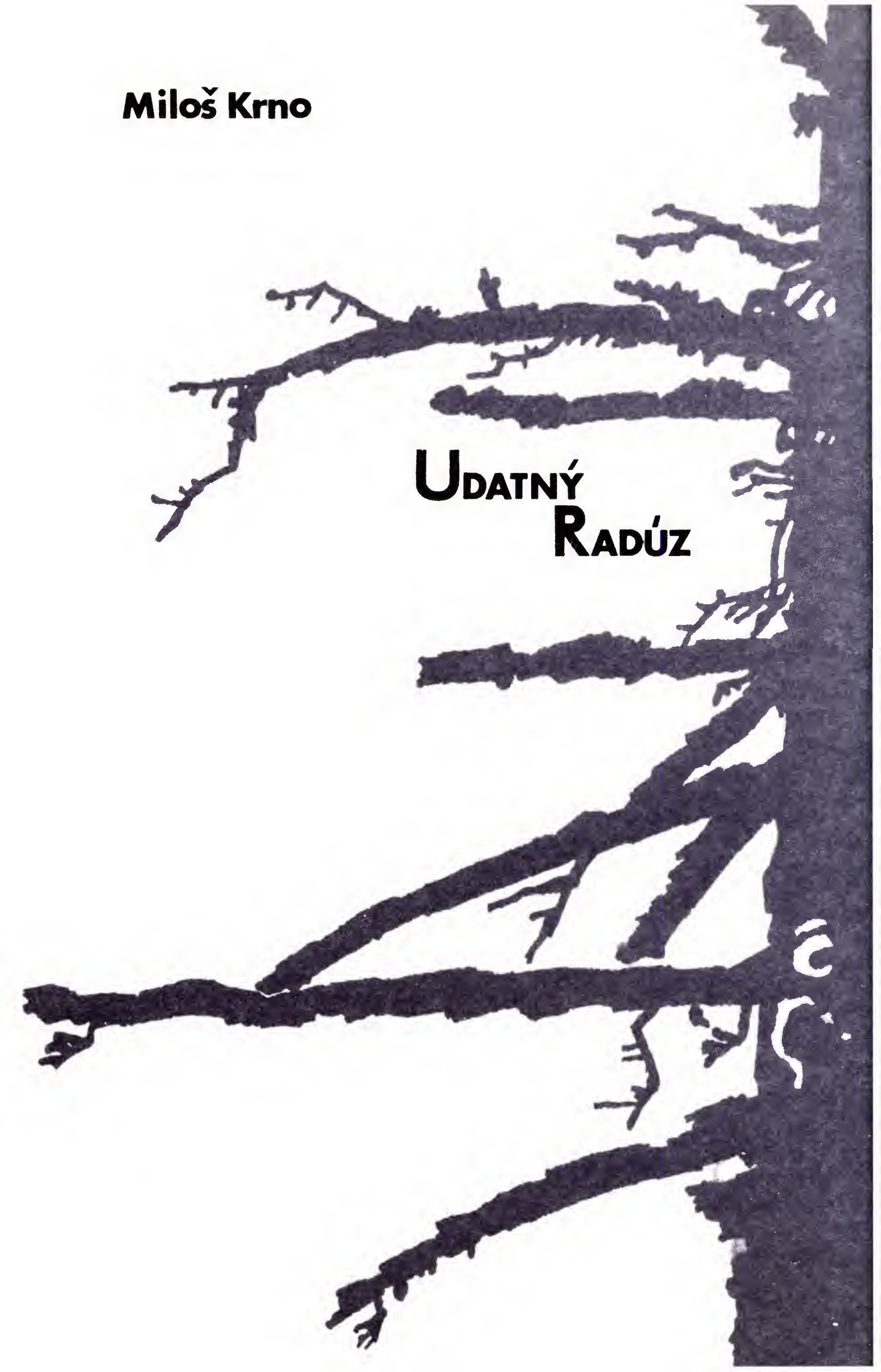
— Держитесь! На Хлпавице — русские разведчики!

И это была правда.

На другой день, когда немцы со стороны Брезно напали на деревню Крам, они были уничтожены уже с помощью русских. Это был последний бой немцев в Балоге — достойный прообраз того, что в скором времени ожидало всю "великую армию".

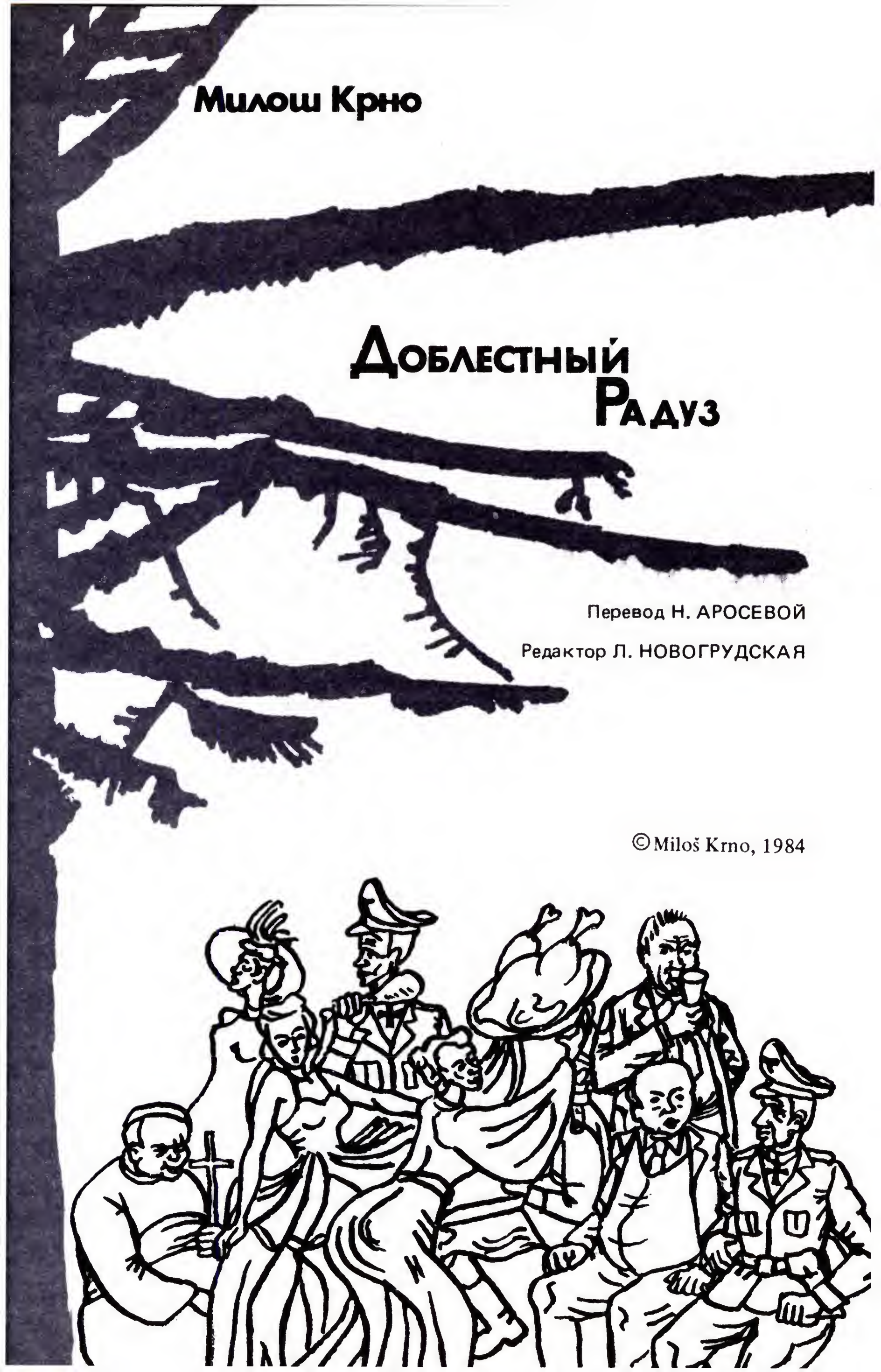
Черный Балог — символ свободы и ее обороны! Уже сегодня слышу я песни, что, возникнув, прославят твой героизм! Уже сегодня, затаив дыхание, внимаю я легендам, что будут рассказывать деды внукам.

Это будут песни тихих ночей, когда спускаются на водопой олени, это будут легенды морозных вечеров, наполненных треском смолистых поленьев.



Miloš Krno

Udatný Radúz



Милош Крно

Доблестный Радуз

Перевод Н. АРОСЕВОЙ

Редактор Л. НОВОГРУДСКАЯ

Часть первая

I

Было воскресенье, и была весна. Вышло солнце над Братиславским замком, озарило и башенку виллы, бросив пригорошню лучей на медную дверную табличку. По табличке полз ленивый майский жук, щекотал лапками буквы, на мгновение замер между именем ''Мефодий'' и фамилией ''Шубик''. Жук был похож на толстое тире. Потом он расправил крылья и с гуденьем перелетел на балкон, обосновался там на оленьих рогах.

На балкон, сквозь верхушку березы, проникли солнечные лучи, скользнули в спальню через растворенную дверь. Легли на голый живот министерского советника Мефодия Шубика, раскинувшегося в кровати.

Шубик потер свое солидное брюшко, громко зевнул и неторопливо стал подниматься. Включил радио: в спальне громыхнули немецкие марши — поскорей выключил. Натянул грубые полотняные кальсоны, подошел к зеркалу.

Выпучил на себя глаза, надул щеки, высунул язык. Мысль о жене заставила его закрыть рот. Опять скажет, что он смотрит как сенбернар. А ведь у него глаза нормальные, отнюдь не собачьи! Министр даже говорит, что взгляд у него архангельский и в государстве, руководимом церковниками, его ждет неслыханная карьера.

Махнув рукой, Мефодий Шубик надел на палец железное обручальное кольцо. Когда-то он, высокопоставленный чиновник, от полноты любви к родине и к богу заменил золотое обручальное кольцо железным, пополняя ''золотой фонд''. Восточный фронт прожорлив, он требует не только пшеницу, теплое белье, перчатки и лыжи в порядке зимней помощи — ему теперь и золото подавай. Хорошо еще, не реквизируют церковные колокола, как было в первую мировую войну!

Дело дрянь! Фронт подползает, как удав к кролику. И стоишь ты перед ним соляным столбом, и пошевелиться не можешь, разве что затянешь грустно-унылое: ''Ешьте меня, волки!''

Мефодий Шубик, возможно, и дольше размышлял бы о фронте, если б в спальне не раздалось гуденье майского жука.

Шубик, босой, в кальсонах грубого полотна, начал гоняться за ним, поймал, когда тот сел на золоченую раму зеркала, вынес на балкон и осторожно посадил на кактус.

Прикрыв веки, Шубик понесся мысленно вместе с жуком через горы и долы, на север, в родной Липтов. Спало с плеч бремя лет, вот он бегает в коротких штанишках по росистой траве, над его головой, остриженной наголо, белеют яблони, вечерний ветерок носит белые, как первый снег, лепестки, с ухабистого проселка доносится мычание коров, собачий лай. Щелкнул пастуший кнут, и целые рои майских жуков наполнили воздух гудением. Напрасно сбивал он их утром с деревьев, напрасно склевывали их куры — майские жуки неистребимы. Закатывалось солнышко, и Мефодий, с шапкой в руке, гонялся за жуками, беспечный и радостный.

Быть может, это светлое воспоминание и заставило теперь Шубика подарить жуку жизнь. Он вздохнул: совершил богоугодное, не умертвив божью тварь.

Да, в сущности говоря, никого он в жизни не обидел, даже мухи. Никого? А как же Зингеры, отец и сын? Гардисты затолкали их в телячьи вагоны, отправили в немецкий лагерь...

Но он был вынужден дать согласие на это, он не мог их дольше защищать, и так немецкие газеты нападали на него за то, что он мирволит евреям. Да и сами Зингеры, конечно, не сердятся на него, простили ему по-христиански... Они хорошие люди, хотя и не признают Христа, а хорошие люди не любят мстить...

Мефодий Шубик сел в плетеное кресло. Услышал плеск воды в ванной. Этелька плещется, любит летом душ принимать. А вот его мама, хотя была, верно, отроду чище ее, не изводила столько воды: выкупается раз в месяц, и ладно, а жена каждый день мокнет... И сын, Кирилл, в мать пошел — без душа, поди, помер бы...

Шубик покачал головой — о, он-то и бреется мгновенно: не успеешь "Отче наш" прочитать, а жена вечно в ванной торчит. Ну и хорошо — по крайней мере успею хлебнуть винца с утра пораньше...

А жажда у него великая, и приятель, Цело Поляк, давно убедил его в том, что от воды вши заводятся, а вино и святые пивали. Ей-богу, правда — святыми были, а винцо потягивали...

Мефодий вернулся в спальню, переменил рубашку, взял с буфета глиняный кувшин, налил в высокий пивной стакан искрометного вина и вышел с ним на балкон. Сел под оленьими рогами, стал наблюдать за майским жуком, который уже перебрался в цветочный горшок.

Вот и самолеты гудят, как жуки. Гудят, бомбы сбрасывают. Слава богу, фронт пока далеко, пугаться рано. Господь не оглох, он внемлет молитвам, если читать их с жаром...

Под оленьими рогами висела салфеточка с вышитым изречением: "Счастье в добродетели!" Это — работа мамы. Жена недавно перевесила ее сюда, все уши прожужжала, что полотняной тряпке не место среди дорогих картин в золоченых рамах и персидских ковров.

Мефодий поднял стакан, прищурил глаза. Нет, не права Этелька. Что и говорить, полотно — всего лишь полотно, да ведь его и деды носили и прадеды. Наше оно, словацкое, выбеленное под татранским солнышком!

Искрометное модранское винцо медленно лилось в горло. Оно лучше тернового, но Шубику нравилось все, что было там, на севере, даже ягоды терна.

Полной грудью вдохнул он смесь различных запахов. Здесь, в квартале вилл, весна чувствовалась сильнее, чем в центре города, где его министерство. Жаль только — бурей вырвало липу в саду. А она так напоминала ему Липтов!

На месте, где стояла липа, посадили два абрикосовых деревца. Они теперь цвели, благоухали, как юные девы, жена даже похвалила за то, что он достал их, но душа Мефодия все тосковала по горам. Вырос в горах, с гор пришел в эту грешную Братиславу, в министерство попал, получил оставшуюся после евреев виллу с башенкой, магазин скобяных товаров получил да два публичных дома в Подградье...

Пожалуй, права Этелька — в столице не проживешь на большую ногу на одном окладе министерского советника да тантьеме председателя правления. Необходимо стать предпринимателем, поворачиваться, коли не хочешь мохом обрасти.

Глотнув еще вина, Шубик стал думать, что весна — от бога, ничто ее не остановит. А на фронтах мало ли что происходит — то одни наступают, то другие, все равно как бараны. Отступит баран, разбежится — бух! И опять отступит. А вот весну не прогонишь, она не отступит. Вон уже вальдшнепы спариваются, на горных лугах глухари токуют, птички распелись...

Засвистел дрозд, Шубик поднялся с кресла, глянул в сад. Увидел Кирилла, и довольная улыбка пробежала по лицу. Как хорошо, что сын уже ходит, хотя еще с трудом, с палочкой. Ведь профессор и надежды никакой не давал на то, что мальчик выкарабкается. Еще полгода назад уверял, что Кирилл останется калекой на всю жизнь: автомобилем повредило ему позвоночник, а медицина, мол, еще не всемогуща.

Кирилл медленно шагал под деревьями. Часто останавливался, садился на лавочку, что-то записывал в толстом блокноте.

Какое счастье, что он взялся за рисование, ведь чуть ли не год пролежал в постели и до сих пор еще кричит во сне — будто катится на него немецкий автомобиль... Пускай рисует, хоть занятие есть, даже если это, в сущности, и глупое занятие — рисовать...

Мефодий снова вальяжно развалился в кресле под оленьими рогами, запрокинул голову, зажмурился. Медицина и впрямь бессильна. Кирилла исцелил господь, не доктора. Исцелил? Ну, не совсем, но и то уже чудо, что сын может хоть ковылять с палочкой. Шубик жарко молился, не пожалел поставить на Кальварии мраморную плиту с золотыми буквами: ''Матерь божия, исцели нашего сына и впредь не оставь нас своею милостью!'' Неисповедимы пути господни, а бог любит того, кто его не забывает.

Надо, надо часто молиться, думал Шубик. Говорят, в Братиславе много раковых больных, в деревне-то их меньше, а все потому, что деревенские люди более набожны. Город портит человека, сеет неверие, ересь, бунт. Деревня покорно несет свой крест, живет в страхе божием, потому и господь к ней слух приклоняет. Право, надо будет молиться по четыре раза в день!

Ко всему человек привыкает, даже к виселице. Как перепугался Мефодий Шубик, когда немцев разбили в великой битве под Сталинградом! Думал тогда, что уже завтра начнется землетрясение, что Гитлер просто бахвалится. А немцы не сдались! В газетах пишут, это они просто совершали эластическое отступление, чтоб занять более выгодные позиции, выравнивали линию фронта, героически уклонялись от окружения, от сталинских ''котлов'', оттягивались, чтоб собрать силы и перейти в успешное наступление. Ну и Шубик, занятый финансовыми делами государства, перестал ломать голову над тем, что будет завтра, а что — послезавтра.

Силы обеих сторон виделись ему равными, как в футбольном матче — в первом тайме ведут гости, во втором хозяева, а в итоге — один-один. И немцы, и русские много крови потеряли, наверняка предложат друг другу ничью. Тогда и у Словакии развяжутся руки, немцы перестанут командовать у нас, мы начнем торговать со всей Европой, и наша брынза поплывет даже за океан...

Шубик должен только сберечь государственную казну: чтоб словацкие деньги не обесценились в сравнении с рейхсмаркой, он должен вытеснить немецкие акции словацкими. Словакия должна принадлежать словакам...

Мефодий погладил колено — грубая ткань кальсон царапнула ладонь. Закрыл глаза — и опять увидел себя в коротких штанишках. Трава щекочет босые ноги, кувшином он набирает воду в речке, кропит разложенное на травке домотканое полотно. Оно пахнет чистотой и солнцем.

Гримаса сморщила упитанное лицо, бледно-голубые глаза сердито блеснули. Какого черта понесло его в Братиславу, пускай даже стал он тут крупной шишкой!

Цело Поляк, хоть и самый главный в полиции, тоже носит полотняные подштанники. Утверждает, собака, что в них за-

ключается мужская сила. Валахи носят их под своими юбочками, оттого они и буйны, как жеребцы. А пастухи доживают до мафусаиловых лет...

Раз как-то сел он на постель пани Иренки в таких исподних, и она не стала насмехаться, похвалила даже — мол, он настоящий мужчина, и ей нравится, когда высокие господа носят крестьянские подштанники. И она права — в прежние времена люди, кажется, меньше хворали. Что оберегало их здоровье — полотняное белье или горячие молитвы?

— Не знаю, не знаю, — пробормотал Мефодий, потирая лоб.

Он раскрыл номер ''Словака'' и покачал головой. Ну можно ли так много писать о каком-то дармоле? ''Дармол — дешевое и хорошее средство. Аппетитное семейное слабительное''. Почему — семейное и почему — аппетитное? Или им не о чем больше писать, кроме как о фронте, о дармоле, да еще разве о золоте? Вот и здесь, на третьей странице: ''Дарите золото государству! Вы получите взамен железные кольца...''

Зачем повторять это до омерзения? Я уже и так ношу железное кольцо, и Этелька тоже. Железо вместо золота. Ну да что поделаешь, времена нынче тяжелые, надо жертвовать на алтарь отечества...

На зимнюю помощь Шубик внес кучу денег. Солдаты мерзнут на фронте, их надо как следует одеть — это патриотический долг всякого словака, верного роду. Да кабы только это! Сколько ночей провел Шубик без сна, ломая голову, как бы помочь государству налогами да как увеличить прибыль фирмы ''Дары леса''! Это тоже ведь, строго говоря, жертва на алтарь отечества.

Мефодий так был погружен в думы, что даже не заметил, когда Этелька кончила утреннее омовение и вышла через спальню в прихожую. Он вздрогнул, когда раздался ее пронзительный зов:

— Мефодий! Иди скорей!

Шубик встал, потянулся и с пустым стаканом в руке поспешил к супруге. Та склонялась над грудой коробок и бумажных мешков, наваленных в прихожей. При виде мужа она выпрямилась и, надув губки, показала на стенку, обшитую деревянными панелями:

— Никак не открою, а Юлька того и гляди вернется. Надо поскорее спрятать!

— Зачем прятать? — Шубик покачал головой. — Кому взбредет в голову делать обыск у министерского советника?

— Не в обыске дело, — отрезала супруга и постучала по панели.

Мефодий пожал плечами, поставил стакан на лавку с резной спинкой, надавил на панель, одна доска выпала, остальные три легко вынулись. В тайнике между панелями и стеной белели коробки, пахло кофе и какао.

Шубик затолкал новые коробки и мешки в тайник — даже

запыхался — и приладил доски на прежнее место.

Этелька облегченно вздохнула, села на табуретку.

— Ну вот, продуктов хватит года на два. Рис, сахар, какао, кофе, мука, горох, фасоль, чечевица, консервы. Колбас нет— заплесневеют.

— А консервы не испортятся? — возразил Мефодий. — Как бы не так! И мука кошке под хвост пойдет.

— Зато бутылки останутся, — кисло усмехнулась Этелька. — Паленка. Ну и часы тоже. Пустим их в ход, коли понадобится.

Шубик позавидовал довольству жены. Натащила припасов, словно суслик, и убеждена, что все будет так, как ей хочется. Даже исход войны. А вообще-то рановато начала она запасать продукты. Ее довольство даже раздражало его.

— А если бомба? — брякнул он. — К чему нам тогда какао? Фронт приближается...

— Братиславу укрепляют. — Она махнула рукой с видом знатока. — Фронт обойдет ее стороной.

— Ты права, — согласился Мефодий. — В сущности, в этой войне победителей не будет. Обе стороны мелют из последних сил. Помирятся, и мы вздохнем.

Этелька смерила мужа строгим взглядом с головы до ног и процедила сквозь зубы:

— В каком виде ты ходишь! В кальсонах! А ну, одевайся. Пора в церковь. Пока можешь включить радио — Вена передает церковную службу.

Она встала, ласково провела рукой по панели, мысль о содержимом тайника вызвала у нее улыбку.

— А достаточно ли того, что мы только в церковь ходим? — спросила она.

Шубик молитвенно сложил ладони, потом развел руками и вздохнул:

— Не знаю, не знаю...

II

Благоухал на накрытом столе свежевыпеченный каравай. Мефодий Шубик взвесил его на руке — каравай был еще теплый, с хрусткой корочкой. Понюхал, перекрестил хлеб ножом и отвалил краюху. Глянул на Этельку и на Кирилла — они уже принялись за мясной суп, — торжественно отломил кусочек хлеба и удовлетворенно вздохнул:

— Дар божий! Этот по крайней мере настоящий, вкусный. У немцев, бедняг, хлеб пополам с отрубями.

— Они другого и не заслуживают, — буркнул Кирилл, продолжая есть суп.

— Брось, Киро, — отмахнулся Шубик. — Они здорово настрадались, не просто все это...

— Уж лучше помолчи, папа. — Кирилл наморщил лоб, и Этелька бросила на мужа укоризненный взгляд.

— Кирилл, Мефодий, ешьте! — прикрикнула она на обоих.

Мефодий Шубик вообще-то не пускался в споры с сыном, напротив, старался во всем с ним соглашаться. Надо же понять мальчика: сверстники его бегают по танцулькам, плещутся в Дунае, а он — калека. Чудо, что жив-то остался! Неудивительно, что немцы ему поперек горла стали. Прошлый раз, как был у них в гостях советник германского посольства Куглер, Кирилл проворчал что-то вместо приветствия и, ковыляя, убрался в свою комнату.

Было время, Иван Гутян агитировал Кирилла против Гитлера; не одну алгебру вбивал парню в голову — еще и на отца, кажется, наговаривал. Нехорошо это со стороны земляка, уроженца Липтова. Теперь Иван бог весть где, с год уже, как не показывается в Братиславе, вроде даже Кириллу не пишет, не сбивает его с толку. Враждебность Кирилла к немцам можно объяснить тем, что его изувечило машиной немецкого генерала. Даже Цело Поляк обозлился бы на них, кабы они превратили его в инвалида. Но Кирилл сам был виноват, не немецкий шофер. Неисповедимы пути господни!

Хлеб с хрустящей корочкой был замечательный! Шубик с громким чмоканьем похлебал супу и сказал, расплывшись в улыбке:

— Недовольные ворчат, мол, если ты, господи, дал нам зубы, то дай нам и хлеба! У нас же есть и зубы, и хлеб. Да еще какой! Господь к нам милостив.

Этелька не доела суп; нажала белую кнопочку на грушевидном, кофейного цвета звонке, что свисал на шнуре с хрустальной люстры, и заметила небрежно:

— Не знаю, милостив ли. Кофе в зернах не достать, на горных пастбищах овец не счесть, а свитеры в витринах сплошь из древесного волокна да крапивы...

Шубик вытер лоб тылом ладони, вздохнул:

— Не было бы хуже!

Вошла Юлька, здоровая, грудастая, краснощекая девка, внесла блюдо шницелей по-венски, увенчанных высокой горкой кудрявого салата, посыпанного горячими шкварками.

— Прими это, Юлька, — хозяйка показала глазами на глубокие тарелки.

Когда девушка вышла, Этелька добавила:

— Научилась уже, я ее вымуштровала — самая понятливая из всех служанок, что были у нас. И не водит к себе кого попало, как Ганка...

Она посмотрела на сына. Вспомнила — Кирилл тяжело переносит всякое упоминание о Ганке, которая уже год как валяется с мужиками в некоем заведении; Кирилл был привязан к ней:

Ганка казалась ему такой хорошей, и на вид — прямо святая. И Этелька перевела разговор на Юльку.

— Юлька не теряет даром даже свое свободное время — вышивает, да так красиво... Такая всегда себя оправдает. Вышитая скатерка стоит до пятисот крон.

Кирилл стиснул зубы, потом выпалил с ухмылкой:

— Ох, бедные мы, бедные! Только скатерками и спасаемся! Или, мама, доходов от лавки нам не хватает, да папиного оклада, да его тантьемы? Да еще прибыли от грязного заведения?

— Киро! — в ужасе всплеснула руками мать. — Как ты можешь?!

— Я сказал только правду, — отрезал сын.

Шубик глянул на него, сложил ладони и плаксивым тоном произнес:

— Да ведь мы о тебе думаем, сынок, о твоем благополучии... Ради тебя все...

И надо было, чтоб парень разнюхал про это! Этелька встревожилась. Что ж, дело есть дело. Не взяла бы она себе магазин Зингеров — нашлись бы другие. А эти девки в ночном заведении в Подградье — все равно не получились бы из них верные жены или честные монашки. Кто шлюхой родился, шлюхой и останется. Конечно, так. И ведь Этелька только принимает деньги, не стирает же она простыни после этих бесстыдниц! Чего же тут грязного? И как это Кирилл не понимает — ведь деньги не пахнут!

Разложила по тарелкам шницели, вздохнула:

— Дороговизна, Киро, не забывай. А Юлька — что ей делать, когда посуду перемоет? О дурных делах помышлять? Нет, лучше пускай вышивает. То-то и платим ей по сотне в месяц.

Шубик хотел было добавить, что они вовсе не эксплуатируют Юльку, как считает Кирилл, да промолчал, запустив вилку в шницель.

Кирилл ел молча, не глядя на родителей.

Больше всех удовольствия от обеда получал Мефодий. Отхлебнул вина, обменялся взглядом с женой — она безмолвно дала ему понять, чтоб он потолковал с сыном.

— Вина не хочешь? — спросил он Кирилла.

— Нет, спасибо.

— Кстати, Киро, — Мефодий повысил голос, — знай, что имущие люди — соль земли. Как бы мог я, к примеру, помогать ближнему, не будь у меня полный кошелек? А скольким я сделал добро, сынок, за скольких заступался, да-да, заступался. И это истинная правда.

После третьего бокала у него покраснел нос, глаза заплыли и заблестели.

— Право слово, — говорил он, — помогаю людям на каждом шагу, господь-то все видит.

— А правда, она и в аду правда, — ухмыльнулся Кирилл,

передразнивая отца.

Но Шубик не заметил насмешки, глотнул еще вина, кивнул:

— Ну вот видишь...

Кирилл вытащил салфетку из костяного колечка с монограммой, вытер губы, поднялся со стула, подхватив свою палочку, и пробормотал:

— Будьте здоровы.

Хромая, прошел по столовой и скрылся в своей комнате.

Родители молча смотрели ему вслед. Этелька покачала головой и шепнула:

— Он все еще какой-то странный...

— Кха-гм... — Шубик раскашлялся. — Не в то горло попало...

Жена постукала его по спине; вдруг вспомнила:

— Да, Йолки и Цело не было в церкви! Позвони им — не заболели ли?

Шубик пригладил волосы, зачесанные назад и смоченные бриллиантином. Через плечо жены он видел себя в настенном зеркале — заметил седину на висках и усмехнулся про себя: Цело Поляк признался ему, что седеет, как осел: около ушей.

— Мы договорились с Цело встретиться после обеда, — сказал. — А пока я, пожалуй, вздремну.

Этелька, скрывая зевок, закрыла рот ладонью, улыбнулась:

— Опять займетесь большой политикой!

Шубик смущенно развел руками, похлопал себя по животу и тоже улыбнулся.

III

Пани Иренка, в синем бархатном платье с белоснежным воротничком, долго ждала их в своем заведении около гардероба. Постарела пани Иренка. Не помогли ни частые массажи, ни маски из огурцов с простоквашей — морщинка за морщинкой избороздили ее лицо. Зато фигура пани Иренки была еще как в молодости.

Кафе "Ориент" процветало в ее руках. Она умела раздобыть первоклассное вино, паленку, а для узкого круга — и настоящий кофе, который подавался со взбитыми сливками, шампанское и даже французский коньяк. В "Ориенте" всегда можно было заказать ветчину. Супруг пани Иренки, Берци, "карточный король", признанный в братиславском полусвете, был в добрых отношениях с магнатами черного рынка; вел он коммерческие дела и с немцами.

Когда в дверях появилась коренастая фигура Мефодия Шубика, пани Иренка встрепенулась и двинулась ему навстречу.

— Добро пожаловать, пан министерский советник, — пропела она, подавая ему надушенную руку, которую Шубик охотно поцеловал. — Пан полицей-президент уже дожидается.

"Цело Поляк всегда точен, как смерть", — подумал Шубик, поднимаясь вслед за пани Иренкой по деревянной лестнице на второй этаж, где были комнаты для важных посетителей.

— Мой муж развлекает его, — проговорила пани Иренка, добавив с укором: — А вы когда один заглянете, когда придете только ко мне? Или я уже стара стала?

Шубик вспомнил, сколько удовольствия, бывало, доставляла ему пани Иренка, и махнул рукой:

— Да что вы! Вам ли говорить о старости? Приду, приду, но у меня столько дел...

— И забот, — кивнула она. — Понимаю.

Пани Иренка отворила дверь, и Шубик с победоносным видом вошел следом за ней.

— Вот и я!

Берци вздрогнул, вскочил со стула, бросил карты на стол, а Поляк схватил кувшин с вином.

— Привет, Мефодий! — Поляк так и засиял. — Присаживайся!

Пожали руки, Шубик сел, Берци налил ему вина, и Поляк бросил:

— Того гляди и я стану профессором по картам!

— Вы уже профессор, пан президент, — подобострастно поклонился Берци. — Вы играете куда лучше меня!

— Как уволят — будет с чего жить, — усмехнулся Поляк. — А сколько вам, Берци, приносят карты? Признавайтесь! Сколько выигрываете за год?

Пани Иренка кашлянула, чтобы отвлечь внимание на себя, предложила Шубику запеканку со шкварками и сказала:

— Ах, господа, этих денег нам и на соль не хватило бы.

— Ваши люди, пан президент, знают это точно, — дополнил Берци.

— Что там они знают? — засмеялся Поляк. — Вам это, любезный, как с гуся вода. Пока у вас есть покровитель, — он ткнул пальцем себя в грудь, — можете спать спокойно.

— Знаю, пан президент, отлично знаю, и рад, что вы изволите быть в полном здравии.

Худое лицо Поляка и шея с большим кадыком покраснели — он вспомнил, что почти половина выигрышей Берци переместилась в его карман. Правда, пришлось и потрудиться, пока он вытащил Берци из лужи! Партнеры обвинили Берци в шулерстве, но люди Поляка замяли скандал и даже оправдали "карточного короля".

— Что там! — махнул рукой Поляк. — Здоров я, слава богу, как бык.

— Дай вам бог здоровья. — Берци склонил голову. — И пану министерскому советнику тоже.

Поляк улыбнулся Шубику:

— А ты не начислишь ему налога за игру?

— Нет-нет, — качнул тот головой. — Что ты?

— Пойдем, Берци, — сказала пани Иренка. — Я для наших гостей паприкаш приготовила, телячий паприкаш. И вина сейчас пришлю...

Оставшись наедине, друзья чокнулись, осушили бокалы, и Шубик с видом знатока кивнул:

— Винцо получше церковного. Она во всем разбирается.

Поляк заглянул в кувшин, состроил гримасу:

— Дно уже видно...

— Ничего, Цело, принесут еще, не забудут! Сказала же Иренка — пришлет. Поди, с какой-нибудь новенькой перепелочкой...

— У нее их целая стая, — шепнул Поляк. — А сама уже сдала...

— Для своих лет еще хороша кобылка, — возразил Шубик; Поляк захохотал:

— А мне доктор только двадцатилетних прописывает!

Шубик шутливо погрозил ему:

— Хитрец! А впрочем, не знаю, Цело, пожалуй, ты и прав — не созрели мы еще, чтоб на свалку...

— Ну нет, басордыга-мотыга, — вскричал Поляк, потом снизил голос до шепота. — Женатому, что ни ночь, одно и то же блюдо подают, тут и свинье обрыднет!

Шубик не расслышал — в коридоре заговорило радио, напомнило о фронтовых сводках, об упорных боях, эластических выпрямлениях позиций, — и он снова испугался: а что, если фронт приблизится?

— А я седеть начал, — заговорил он. — И огорчаюсь я, но и утешаю сам себя. Быть может, война закончится вничью. Но если русские придут — не знаю... Дома отберут, жены станут общими...

Поляк захохотал от души, хлопнул приятеля по плечу:

— Эк как тебя заботят наши жены! Ну и дурень! Неужто расстроишься, если их национализируют? Что ж, на нашу долю тогда другие придутся, да помоложе!

Дверь отворилась, вошла большеглазая смуглянка в национальном костюме. Она театрально поклонилась, поставила на стол двухлитровый кувшин.

Поляк облизнулся, многозначительно глянул на Шубика, спросил:

— Откуда ты, курочка?

— Из-под Трнавы, — ответила девица.

— Там много церквей, — удовлетворенно кивнул Шубик.

— Разрешите налить? — спросила смуглянка.

— Налей, — усмехнулся Поляк. — Из твоих рук нам вкуснее будет.

Девица лукаво глянула на Поляка, а тот, меряя ее пытливым взглядом, продолжал расспрашивать:

— Петь умеешь?

Она налила вино в бокалы, дернула плечиком:

— Пою, коли в настроении.

— А как тебя звать?

— Терезкой, ваша милость.

— Хорошее имя. Ну спасибо, мы тебя еще позовем.

Она поклонилась, как на сцене, и вышла.

Шубик не спускал влюбленного взгляда с двери, словно там все еще стояла Тереза; чокнувшись с Поляком, пробормотал:

— Молоденькая — может, честная еще?

Поляк прямо-таки взорвался:

— Честная — ха-ха-ха! Как семилетний петух! Да это и по походке видать, у меня на такие дела глаз наметанный!

— Все равно, жалко было б такую национализировать, такую лучше — для одних нас...

Поляк закурил сигарету. Когда-то он курил только по праздникам, но в последний год начал дымить, как турок. Еще бы — работы в полиции прибавилось, порой его чуть кондрашка от злости не хватал. Появились толпы недовольных, множились антигосударственные листовки, в моду входил политический алибизм, энтузиазм угасал, гарнизоны чуть не каждый день сообщали о новых случаях дезертирства, с гор поступали странные слухи...

— Нет, Мефодий, — серьезно заговорил он. — Большевизму под Татрами не светит...

— А помнишь, Цело, — посерьезнел и Шубик, — вот здесь, при пани Иренке, я спросил тебя как-то, оправятся ли немцы после Сталинграда. Ты тогда сказал — оправятся. Но ведь, не знаю, отступают они!

— Контрудар готовят, силы концентрируют, — возразил Поляк. — Война, брат, сложный механизм.

С этим Шубик согласился.

— А силы уравновешены. Повторяю — русские с немцами помирятся и оставят нас наконец в покое. Так что нам бояться нечего.

— Кто боится, того и бьют по ж..., — ухмыльнулся Поляк. — Ты не трус, а все же не прав: победит Германия, это более чем несомненно. Ослепнуть мне, если немцы не победят!

— Да, но как? И когда? Скажи, Цело! — Он отхлебнул вина и досадливо махнул рукой.

— Не будь маловером, — сказал Поляк. — У фюрера есть секретное оружие. То, что произошло под Лондоном, — всего лишь намек. Фау-1, Фау-2, новые бомбы — вот что решит исход войны.

— Правда? — колебался Шубик.

— Правда, — отрезал полицей-президент. — Тогда уж весь мир на задние лапки встанет, хвостом завиляет.

— И Америка? Мы ведь и ей войну объявили.

— А мы против нее наши плоты пустим, — повысил голос Поляк. — С плотов захватим ее, как сказал Тидо Гашпар. Не бойся, Мефодий, все кончится хорошо. Останешься ты и

министерским советником, и председателем правления, да может, и не в одних только "Дарах леса", будут у тебя и заведения в Подградье, и шлюхи на нас работать будут.

Шубик почесал себя за ухом, промямлил:

— Но это грустно, Цело, ох как грустно!

— Ты прямо как барышня-недотрога, — выпрямился Поляк. — Все на какую-то ерунду смотришь, смешно, право. Государство наше, басордыга-мотыга, поставило меня на ноги — у меня теперь больше миллиона! Верь фюреру и не бойся ничего. Я вот одного господа бога боюсь да холостильщика. Наплюй мне в глаза, если в этой войне Гитлер не победит!

Вошла пани Иренка с блюдом телячьего паприкаша, разложила им по тарелкам и сама подняла бокал; Поляк охотно чокнулся с ней:

— За вас, пани Иренка, и за мужей обеих наших жен!

IV

Солнечным весенним утром нотариус Радуз Куцбел сидел в своей конторе при электрическом свете. В его кабинетике не было ни окон, ни вентиляции, только в передней комнатушке, где стукала на машинке секретарша, было окно, выходящее на улицу.

Куцбел чувствовал себя здесь как в могиле. Не раз представлялась ему возможность арендовать более презентабельное помещение, денег-то он зарабатывал достаточно, однако пани Куцбелова требовала экономии. Не желала понять, что муж каждый день по четыре часа проводит без дневного света.

Раз он пожаловался, что у него уже глаза слезятся; пани Труда явилась тогда к нему с газетой в руке: вот пишут, надо есть сырую морковь, от этого улучшается зрение, в моркови — ценные витамины. С тех пор Куцбел получал на завтрак — в их доме брюки носила жена — вместо яичницы с ветчиной одну сырую морковь.

До замужества пани Труда сама себя содержала, служа барменшей где-то в Кошицах, но, выйдя замуж, возложила обязанность зарабатывать на мужа, который был смел где угодно, только не дома. Недавно она вернулась с Татр, куда ездила отдыхать со своей собакой Властой. На обеих уходило по двести крон в день, а когда сам Куцбел приехал к ним на пару дней, пришлось ему довольствоваться двадцаткой: времена тяжелые, всюду дороговизна, надо экономить!

Если в своей солнечной вилле Радуз Куцбел был тих и послушен, то в конторе он кипел энергией.

В комнатушке секретарши висели на стенке государственный герб и портрет президента Тисо, но в кабинете самого Куцбела были только два изображения — Людовита Штура да генерала Штефаника.

Куцбел сидел и подписывал бумаги, причем собственноручно припечатывал своей печаткой гербовые марки; потом он открыл толстое дело с надписью "Дары леса" и с карандашом в руке прошелся по колонкам цифр.

— Немецкие паи. — Он чертыхнулся, да так, что даже сам покраснел. Немецкий капитал занимает все больше места в словацкой фирме, а ведь "Дары леса" — не шахты, не заводы, где доля иностранного капитала еще значительней...

Куцбел покачал головой, потер ладонью лысину. Высокие господа готовы родную мать продать Берлину. Где же национальное достоинство? Только на языке...

В дверь постучали, секретарша доложила, что пришел директор Косо.

Поздоровались. Куцбел усадил озабоченного посетителя в потертое кожаное кресло, сам поместился на диване напротив, изобразил на лице любезность:

— А я вас ждал, пан директор. Ну, как идут дела?

Благоухающий духами Косо провел пальцем по своим усикам:

— Более или менее, пан нотариус. Производим шнапсы, боровичку из можжевельника, а летом, когда поспеет малина и черника, варим варенья...

Куцбел ухмыльнулся:

— Вот эта-то наша черника да брынза и вытащат нас из лужи! По крайней мере в представлении Шубика.

— Конечно, черника приносит не столько, как воображает наш председатель, — с улыбкой кивнул Косо. — А он больше всего о ней хлопочет. Однако я и пришел-то как раз поговорить о нем, о нашем пане советнике. Как председатель правления он в последнее время проявляет чрезвычайную активность, но активно действуют и немцы. Внесли паи и теперь во все суют нос. А на это у них нет права.

— Конечно, нет, — покачал головой Куцбел. — И не должно быть. Наша бухгалтерия должна быть для них табу, пан директор!

Косо поерзал в кресле, скрипнув пружинами, оглянулся на дверь и заговорил тише:

— Вы, пан нотариус, в нашем правлении человек наиболее опытный и имеете влияние на председателя. Было бы хорошо, если бы на ближайшем заседании немецким акционерам запретили копаться в наших счетах. На общем собрании, конечно, дело другое...

Куцбел почесал за ухом, зажмурился, кивнул:

— Правильно, пан директор, тем более что я хочу попросить вас вносить в наш фонд более крупные суммы. Пожалуйста — отвалим в помощь фронту три тысчонки, а шесть тысяч пускай пойдет в другую графу. Мы должны быть готовы помочь тем,

кто выступает против режима, чтобы нас потом не обвинили в сотрудничестве с немцами. Понимаете?

— Разумеется, понимаю. Я помню об этом и откладываю средства. Только б немцы не разнюхали! И еще одно, пан нотариус: в Прешове арестовали хорошего мастера, Иванчу.

— А что он натворил?

— Он якобы связан с коммунистами, — шепотом выпалил Косо. — Хорошо бы выцарапать его через пана Поляка...

— Коммунист есть коммунист, — усмехнулся Куцбел. — Ни вы, ни я симпатии к ним не питаем, но когда-нибудь это нам зачтется, ибо чем черт не шутит, не правда ли? Знаете что? Попрошу-ка я Шубика...

— Вот-вот! Пан советник в добрых отношениях с полицей-президентом. Может замолвить словечко...

— Поляк — фанатик, — сказал Куцбел. — Его уж не переделаешь. Надо, чтоб он и понятия не имел, кому помогает. С Шубиком разговаривать легче. Он более предусмотрителен и осторожен. Вы не политик, пан директор, но, конечно, видите разницу между этими двумя.

Косо кивнул, но тут же поморщился. Да, он не политик — но что ему скажут, когда все перевернется? Ты слабо противился внедрению немецкого капитала в фирму, купил десять комплектов формы для гардистов — а сделать это посоветовал ему два года назад именно Радуз Куцбел. Поляк тогда ярился, что в фирме "Дары леса" не организовали отряд гардистов. И когда Косо заявил, что никто из сотрудников не желает вступить в него, Куцбел нашел соломоново решение: купите, посоветовал он, десяток мундиров да выдайте тем, кто согласится вступить, и добавьте по две тысячи награды.

— Я сейчас думаю о нашем отряде гардистов, — проговорил Косо. — То есть, изволите ли знать, он уже распался, а все же на нас, на меня лично, могут пальцем показывать: мол, организовал, подкупом действовал...

— Никто вас не тронет, — самоуверенно усмехнулся Куцбел. — Мы вас в обиду не дадим. Знаем — вы порядочный человек.

— Видите ли, если нам удастся спасти Иванчу, коммунисты не станут тыкать нам в нос...

— Да ведь это был просто фарс, — отмахнулся Куцбел. — Никто же не принимает этого всерьез. Просто вы заткнули рот властям...

— Тогда-то нам было выгодно иметь отряд, — перебил его Косо. — А вот после...

— Ничего! Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы меняемся с ними, как говорили древние римляне. Я вас защищу.

При этих словах Куцбел выпрямился, как бы намекая на

свою власть, которой у него и в помине не было. Однако его уверенный тон успокоил директора фирмы "Дары леса", он просиял.

V

Мефодий Шубик снова обрел равновесие духа. Поляк оказался прав — немецкая армия непобедима. Недавно звонил Мефодию декан Соляр, депутат, человек информированный: немецкие ученые заканчивают опыты с тяжелой водой, на основе которой создадут страшные бомбы, способные обратить в Содом и Гоморру и большевистскую Россию, и еретическую Англию. А еще звонил советник германского посольства Ганс Куглер: рейх не забывает своего друга Мефодия Шубика, отмечающего в этом году пятидесятилетие.

Секретарша доложила — пришел доктор Куцбел, для которого всегда были открыты двери, однако Шубик вытащил из ящика стола какую-то папку, заглянул в нее и сказал:

— Я приму его через пять минут. Пускай подождет!

Секретарша скрылась за дверью; Шубик окинул взглядом свой кабинет — все на месте: и табличка на стене с надписью "Ты — лично ответствен!", и портреты Гитлера, Тисо, Туки, и негасимая лампадка, и сосуд со святой водой. Под этой лампадкой Шубику лучше работалось.

В последнее время Куцбел казался ему уже не таким покорным, как два года назад; нотариус наглел с каждым днем, словно это государство принадлежало ему, словно он значил больше, чем Шубик. Впрочем, тут и сам Шубик виноват: нечего членам народной партии отступать перед всякими, кто нос по ветру держит. Но сегодня министерский советник чувствовал себя на коне и готов был напомнить этому нотариусу о своем положении.

Прошло минут десять, и вот, энергично постучав в дверь, в кабинет вошел Радуз Куцбел. Шубик неторопливо поднялся, улыбнулся сдержанно и подал посетителю руку:

— Входите, пожалуйста, садитесь.

Куцбел развалился в массивном кожаном кресле, в котором казался таким маленьким; Шубик вынул из шкафа бутылку зеленого ликера, разлил по рюмочкам и без нужды громко спросил:

— Чем могу служить?

— Немецкие акционеры слишком хозяйничают в нашей фирме! — вырвалось у Куцбела. — Контролировать нас желают, чуть ли не по стойке "смирно" ставить...

— Как акционеры, они имеют на это право.

— С какой стати? Quousque tandem, доколе? Мало им желез-

ной руды, теперь уже и к нашей чернике подбираются, а вдобавок, пан советник, они хотят быть в курсе всех наших операций...

Шубик не клюнул даже на свою любимую чернику: собрав губы трубочкой, он сухо проронил:

— Не надо им препятствовать!

Куцбел был озадачен: изменился как-то пан председатель! Раньше он либо сразу соглашался, либо заводил долгие разговоры, теперь, строго говоря, приказывает...

— Интересоваться делами фирмы следует только на собраниях акционеров, — наставительно заметил нотариус. — И потом, тут еще одна проблема...

— Да?

— Арестован мастер, некий Иванча.

— За что? — насторожился Шубик.

— Будто бы связан с коммунистами. Пожалуйста, походатайствуйте перед паном Поляком, чтоб его выпустили.

Мефодий Шубик взволновался. Две глубокие морщины перерезали лоб, он положил на стол свои неуклюжие руки и покачал головой:

— Пан доктор, не будем впутываться! Я хочу, чтоб мои руки были чистыми, не втягивайте меня, пожалуйста, во всякие аферы!

Краска бросилась Куцбелу в лицо. Да что это с Шубиком? Ни с того ни с сего раскукарекался как петух!

— Что у вас с ними общего, с коммунистами? — уже спокойнее продолжал советник. — Так же мало, как и у меня. Впрочем, у меня-то, пожалуй, побольше вашего — вон сынок мой все распространяет их ересь...

— Просто я думаю о запасном выходе, пан министерский советник, — возразил Куцбел. — Мы с вами всегда ведь понимали друг друга, даже тогда, когда немцам везло...

— А им и будет везти! — резко прервал его Шубик. — Голову даю на отсечение. У Гитлера уже готово секретное оружие.

— Что вы, что вы, пан советник, — усмехнулся нотариус. — Было б оно готово, он бы и применил его, не стал бы ждать, когда русские в Берлин войдут.

— Этого не будет, — энергично покачал головой Шубик.

— А если? Все нужно брать в расчет!

"У этих лютеран все расчет да барыш! — злобно подумал Шубик. — Собственного государства не ценят, на Прагу поглядывают. С евреями снюхались, могут и с большевиками союз заключить!"

А Куцбел продолжал:

— Что, если будут говорить: полиция арестовала служащих фирмы, председателем правления которой был министерский советник Шубик? Не забывайте, пан советник, надо, чтоб всегда две свечки горели. Одна-то погаснет — и что тогда?

— Мне и одной достаточно, пан доктор, — упрямо парировал

Шубик, но перед его внутренним взором уже зажглись две свечки, и образ этот смягчил его. Побарабанив по столу толстыми пальцами, он закончил: — Но если есть на то воля божья, то что-нибудь и придумаю. Пощупаю Поляка.

Куцбел удовлетворенно улыбнулся и встал.

Шубик сделал кислую мину: опять он уступил! Но совсем из других побуждений. Он-то не из грубых расчетов исходит, как этот нотариус, он-то не флюгер. Да, он поговорит, замолвит словечко перед Поляком, но — как христианин, способный быть милосердным даже к недостойным.

Может быть, этот Куцбел воображает, будто он, Шубик, словно голодный ястреб, накинулся на скобяной магазин Зингера? Но ведь и он сам, и Этелька хотели всего лишь помочь несчастному старому еврею. Ах, ничто не проходит даром в этом греховном мире! Не спасли они Зингеров, их увезли в Германию, но разве он, Шубик, всемогущ?

А что касается этих двух вертепов в Подградье — так тут права Этелька: ведь те женщины все равно грешат, за что получают деньги. Где же им еще предаваться пороку — под кустами, на скамейках? Пусть уж платят за кров и постель!

Размышления Шубика нарушил голос Куцбела:

— Я рад, что мы понимаем друг друга.

Шубик вздохнул, подал ему вялую руку и в дверях уже пробормотал:

— А этих немецких акционеров мы как-нибудь прижмем. Рубашка-то ближе к телу, и словацкий капитал должен быть словацким.

— Святые слова, пан советник, святые слова, — поклонился Радуз Куцбел и, когда он отвернулся от хозяина, на его хитром лице мелькнула ухмылка.

VI

На Кальварии не было ни души — один Мефодий Шубик шел по дорожке с букетом белых роз в руке. Шляпу он сдвинул на лоб, шагал неуклюже, как медведь; остановился перед мраморной плитой с надписью: "Матерь божия, исцели нашего сына и впредь не оставь нас своею милостью!" Снял шляпу и, потупив очи, долго и искренне молился.

Затем он огляделся вокруг, но увидел только скворца — тот клевал на дорожке облетевший листок. Мефодий прервал молитву, некоторое время понаблюдал за птицей, потом, закрыв глаза, прошептал:

— Господи боже, благодарю тебя за то, что ты спас нашего Киро. Дай же ему еще больше здоровья и духовной силы, чтоб верил он в тебя, как я, чтоб и правительству нашему верил

да не помышлял бы о дьяволе. Не запродал бы ему душу свою наш сын! Пускай себе рисует, если ему нравится, но лучше бы — что-нибудь из жития святых или наши прекрасные горы, только не эти страшные вещи! И ты, матерь божия, помоги ему в его несчастье, наставь его в набожности и в любви к родине! Дай здоровья и мне, чтоб я мог и впредь совершать богоугодные дела и орать ниву народную...

Пробормотав "аминь", Шубик перекрестился с покаянным видом. Он был доволен и молитвой своей, и словами, вплетенными в нее. Он был уверен — с богом можно разговаривать только старинным языком, хотя новые времена и техника многое изменили. Читал недавно, как двум невинным деткам явилась матерь божия... на велосипеде. Мир — загадка, все может случиться...

Положив розы перед мраморной плитой, он удалился медленным шагом. Под холмом ждала его служебная черная "прага", повезла в министерство.

— Чаю с малиновым сиропом, — бросил Шубик секретарше и вошел в свой кабинет с приятным чувством, что день начат с богоугодного поступка. Открыл левый ящик стола, где хранил отнюдь не служебные бумаги, а записи личных доходов из разнообразных источников.

Полистал толстую бухгалтерскую книгу, пробегая глазами колонки цифр; при этом он улыбался и время от времени облизывал свои мясистые губы. Магазин скобяных товаров приносил в среднем шесть тысяч чистой прибыли в месяц, не считая той тысячи, которую Шубик откладывал на всякий случай.

А вдруг Зингеры вернутся из немецкого лагеря? Чем черт не шутит — может, фюрер смилостивится над евреями, только помучает их немножко... Что ж, тогда Шубик скажет старому Зингеру: вот вам столько-то и столько-то, мы честно откладывали для вас, мы ведь христиане. А молодому, доктору Зингеру, великодушно предложит: с завтрашнего дня можете снова поступить на службу ко мне в министерство.

А если, несмотря на милость фюрера, они не вернутся? Нет, Мефодий Шубик не хам и не сквалыга. Он закажет мраморную доску и вмурует ее в стену синагоги: "В память почтенных господ Зингеров". А ниже — его собственное имя.

А, ерунда, Гитлер не отличается христианскими добродетелями, ни над кем он не смилостивится. Что тогда делать с деньгами, которые Мефодий откладывает для Зингеров? Отдаст их на заупокойную службу. Да, но священник скажет — они ведь евреи, это только молодой Зингер крестился! Ну что ж, отслужит мессу за него одного.

Шубик зажал уши, опершись локтями на письменный стол, — и показалось ему, он уже слышит орган и голос священника. И вдруг спохватился: молодой Зингер-то крестился в лютеран-

скую, не в католическую веру! Так что заупокойную службу придется заказывать в евангелической церкви. Один черт знает, служат ли там такие мессы, говорят, лютеране не исповедуются в грехах, даже в смертных. Только пробормочут для проформы, что, мол, согрешили, их не заставляют читать по сотне молитв...

На вкладной книжке, обозначенной литерами "З. и З.", уложено пока двадцать две тысячи крон. Это хорошо. Если не перед господом, то хоть в глазах Куцбела он себя очистит. Ведь это Куцбел навел Шубика на скобяной магазин, Куцбел уговорил его "аризировать" и теперь, когда настоящих-то хозяев угнали, мало ли что думает о нем. А Шубик и докажет Куцбелу: здесь столько-то и столько-то тысяч, я ждал Зингеров...

Секретарша внесла переслащенный чай, вышла; Шубик отпил с хлюпаньем — никак не научится пить беззвучно, — и на душе у него полегчало. Не он, так другой "аризировал" бы магазин Зингеров. Он не украл магазин, не действовал нечестно. А все-таки в глубине души Мефодий молил бога простить ему грехи, если он невольно совершил их.

Когда стал читать о расходах на оба публичных дома, о закупке простынь, белья, полотенец, мыла, предохранительных средств, которые девицы давали клиентам, о килограммах марганцовки для дезинфекции, Шубик покраснел как рак.

Ему было стыдно, до глубины души стыдно за каждую десятку, заработанную в постели обитательницами обоих домов. Но семья богатела и на этом, особенно с прошлого года, когда финансовое ведомство повысило таксу проституток с двадцати до двадцати пяти крон. Да это не одна причина! Война тянется долго, люди перестали ценить деньги, они уже и деньгам-то не верят. Именно этим объяснял себе Шубик возросший интерес адамовых сыновей к заведениям в Подградье. Восемь девиц зарабатывали вместе более двух тысяч крон в день, и почти половина этой суммы откладывалась на сберегательную книжку Шубикова семейства.

Тантьема же его, как председателя правления фирмы "Дары леса", возросла до семи тысяч в месяц, не считая повидла, варенья и алкогольных напитков, которые он получал бесплатно "на пробу". А кроме всего этого, еще и ежемесячный оклад.

Мефодий Шубик никогда не брал взяток, руки его были чисты — и, однако, слово его значило много, оно могло принести выгоду любой фирме или отдельному лицу. Естественно, когда он помогал людям, награда его не миновала — но то была награда за доброе отношение, и вручалась она после; какая же это взятка, взятки дают вперед, и это великое свинство. А то, что он получает, — обычная благодарность, люди должны оказывать друг другу внимание, мы ведь не дикари, не язычники.

Вот какую истину исповедовал Шубик, вот чему верил он, желая до могилы оставаться добродетельным.

Заперев в ящике толстую бухгалтерскую книгу, Шубик встал из-за стола, смиренно глянул на негасимую лампадку, мигающую на стене, и взял телефонную трубку:

— Душенька, позвоните пану полицей-президенту Поляку, что я уже вышел!

VII

В кабинете Цело Поляка висела новая листовка — карикатура на старого еврея с необычайно большим мохнатым ухом и текстом на двух языках: "Der Feind hört mit!" — "Враг подслушивает!" А рядом с ней табличка предупреждала: "Наше приветствие — *На страж*!"

Мефодий Шубик недоверчиво уставился на листовку, вытянув губы:

— Негасимой лампадки не держишь, одна политика у тебя!

— Лампадам да святой воде место в церкви, приятель, — отмахнулся Поляк. — А мы живем политикой.

Шубик с улыбкой опустился в глубокое кресло, еще раз глянув на листовку:

— Но тут нас никто не подслушивает!

Поляк налил в рюмочки коньяку, не преминув похвалить его — настоящий, мол, французский. Усевшись напротив, чокнулся с гостем.

— Здесь слушаю только я да господь бог, — сказал он. — А раз он слушает — негасимый огонь мне ни к чему. Политика ведь тоже от бога — по крайней мере наша.

— Да уж конечно, не большевистская, — засмеялся Шубик. — Святой отец Пий XII — для нас божье благословение.

— Видишь, вот и ты уже начал разбираться в политике, — польстил ему Поляк. — Недавно фюрер сказал: до сих пор господь одобрял нашу борьбу. Если останемся верны своему долгу, он не оставит нас и впредь.

Подмигнув левым глазом, он добавил:

— Да ты выпей, Мефодий, выпей! Помрем — пить не будем!

— Это точно — ни уксуса, ни желчи!

— Коньяк дорожает. — Поляк отхлебнул глоточек. — И доктору Куцбелу придется скоро уксус лакать. Он за грош удавиться готов.

— Ну нет, — покачал головой Шубик. — Он-то уж позволил бы себе, да жена его на коротком поводке держит.

— А сама сорит деньгами.

Закурив, Поляк спросил:

— Ну, что у тебя по поводу нашей фирмы?

— Два вопроса, Цело, два вопроса.

— Так выкладывай!

Шубик, поерзав в кресле, развел руками:

— Ну, видишь ли, слишком много у нас немецких паев, следовало бы ограничить... А твое мнение?

Поляк стукнул по столику костлявым кулаком:

— Идиотство! Предпочитаю немецкий капитал деньгам всяких лондонских прихлебателей вроде Куцбела... Понял?

— Понимаю, конечно, понимаю, — кивнул Шубик. — Но я-то имел в виду наш капитал, католиков. Упрекать ведь нас будут, Цело, наши же люди станут упрекать нас. А мы с тобой оба в правлении — и молчим, как мыши в норке!

— Наш капитал может процветать только вместе с немецким, — не отступал Поляк. — И никто нам слова не скажет.

"Еще как скажут-то! — подумал Шубик. — Скажут: а вы почему не придерживались лозунга "Словакия — словакам"? А? Люди не понимают, что народ не может жить в изолированном государстве, словно на острове. Пришлось выбрать меньшее зло и подчиниться Третьему рейху, чтобы не разделили нашу родину на части: между поляками, венграми и протекторатом. Если Словакия хочет действительно быть Словакией, она не может существовать одними словаками. Вот выгнали чехов и евреев, так немцы нас заполоняют..."

Покачав головой, он произнес вслух:

— Все же в первую очередь мы должны быть словаками!

— А мы кто? — засмеялся Поляк. — Зулусы, кафры? Жиды? Нет! — Он еще раз стукнул по столу. — Мы природные словаки! И до остального дела нет... — Нагнувшись к Шубику, он понизил голос: — А знаешь, я хотел тебе сказать — был я в Выдрице, уже три раза. С вашей Ганкой.

Шубик вздрогнул, и воображение унесло его далеко назад. Он увидел себя убегающим из комнатушки служанки с ботинками в руке, услышал голос Этельки, обличавшей Ганку в том, что к ней ходит любовник, услышал песенку Ганки о голубой розе; потом он встретил бывшую свою служанку в Подградье, в одном из публичных домов, принадлежащих ему самому и Поляку...

Он невольно вытер лоб, воскликнул:

— С Ганкой?! Да ведь она, прости за выражение, шлюха, грязная девка...

— Ну и что? — ухмыльнулся Поляк. — Зато крутится, как "мессершмитт"...

— Фу, Цело! — возмутился Шубик.

— А на черта мне наши чистюли супруги, холодные, как лягушки, чихать я на них хотел! Мужика притягивает именно грязь, приятель, вот этакая захватанная Ганка, понимаешь?

Шубик чуть не перекрестился, тряхнул головой:

— Цело, Цело, что ты говоришь?

— Стоит мне подумать о бабе, что она монашка, становится тошно...

— Должны же быть и монашки, — перебил его Шубик.

Поляк погасил в пепельнице недокуренную сигарету.

— Ты не понял. Пускай себе монашки молятся, ничего не имею против, но как женщин, как неизлечимых девственниц я их не выношу. Мне больше по вкусу этакая Ганка — да что, басордыга-мотыга, скажу прямо: курва!

Зажал бы себе уши Шубик, да вдруг подумал, что ведь и ему больше по нраву какая-нибидь доступная девчонка, чем Этелька.

Поляк закурил новую сигарету.

— Как подумаю, — заговорил он снова, — что в этот вечер я у нее пятый, что она совсем замучена, — это и придает мне смаку! — Он затянулся, выпустил дым и со смешком добавил: — Впрочем, мне не только такие Ганки нравятся, но и дамочки. Совратишь их, нарушишь божью заповедь, пока муженек в командировке, соберешь сливки-то... э-эх!

— Странные у тебя вкусы, — заметил Шубик.

— Нет, право, дамочек я тоже люблю, — смеялся Поляк. — Но все же, по мне, лучше эти девки, такой можно и по роже съездить, и щипать ее сколько угодно — и никаких скандалов: ты ведь платишь!

Зазвонил телефон. Поляк встал с кресла, поднял трубку, долго слушал с окаменевшим, холодным лицом. Наконец сказал в трубку:

— В Илаве места хватит. Арестовать всех!

Шубика разбирало любопытство, кого это опять сажает за решетку его приятель, но пора было выполнить просьбу Куцбела. Он притянул к себе Поляка за рукав:

— Слушай, надо выцарапать из тюрьмы мастера нашей фирмы. Ты ведь член правления. Засадили его, а он, говорят, отличный специалист.

— Не без причины же его взяли?

— А может, и без причины, не знаю. — Он виновато поднял глаза на Поляка. — Кажется, с красными связался...

Поляк всплеснул руками и возмущенно гаркнул:

— И это ты говоришь мне, Мефодий?! Ладно, был бы я пьян в стельку — но в трезвом виде? Чтоб я помогал большевику?! Ох, Мефодий, Мефодий! Сколько нужно повторять: бога у них нет, не то что у нас! Да если они до власти дорвутся, всех нас перевешают. И детей наших перебьют, твоего Киро, мою Магду, — а ты хочешь помогать им?

У него задергалось веко; он сел, качая головой. Шубик собрался с духом, посмотрел ему в глаза и сказал:

— Просто я хочу, чтобы в "Дарах леса" все было спокойно, я ведь председатель правления...

— Чем больше таких типов окажется за решеткой, тем спокойнее мы будем спать, — буркнул Поляк. — И не верю я, что

тебя мучит мысль о каком-то арестованном коммунисте. Скажи, кто подговорил тебя заступиться за него? Наверняка — Куцбел. Ну, сознайся честно, Мефодий!

Тот кивнул с виноватым видом, и Поляк засмеялся:

— Знал я, откуда ветер дует! Куцбел! Этот лютеранишка все путается с чехо-большевиками да жидами — он ведь был масоном. Осознаешь ли ты это, Мефодий? Сейчас-то он паинькой притворяется, но если б мог — мышьяку бы нам в коньяк подсыпал!

— Ах, что ты, Цело, он порядочный человек, — возразил Шубик. — Вот и мне он помог получить скобяной магазин, и всегда дело посоветует...

— Чтоб тебя задобрить, — перебил его Поляк. — А я бы с удовольствием отправил его в Илаву, лиса прожженного! Нет, — похлопал он приятеля по плечу, — твой коммунист останется в каталажке, а с Куцбелом, смотри, поосторожней!

— Да я что, — вздохнул Шубик. — Ну не знаю, только не надо быть таким строгим, евреям-то труднее...

С улицы через открытое окно доносилось цоканье лошадиных копыт, прозвенел трамвай.

Поляк подошел к письменному столу, вынул из ящика портфель, набитый бумагами, и бросил на Шубика укоризненный взгляд.

— Смотри — вот тут все коммунистические листовки, а ты еще заступаешься за этих безбожников!

Шубик устыдился в душе — ведь и впрямь они бунтовщики. Но какой-то другой внутренний голос нашептывал ему, что людям надо помогать. И совсем растерялся Мефодий Шубик.

VIII

Кирилл лежал навзничь на ковре и усиленно делал гимнастику. Он уже наизусть выучил толстую книгу Кента, выучил все упражнения и знал их действие на отдельные группы мышц. Он верил, что со временем будет лучше ходить.

Шел весенний дождик, капли скатывались по стеклам раскрытого окна, в комнату врывался запах травы, аромат сирени. Кирилл решил отдохнуть: теперь он лежал без движения, разглядывая свои рисунки, развешанные по стенам. Рисунки напоминали сцены из Апокалипсиса.

Из рассеченного мечом бука хлещет кровь, меч сломан, рука, держащая его рукоять, мохната, словно медвежья лапа. Чудовище, помесь летучей мыши с крокодилом, стоит на рояле, вонзив острые клыки в шею девушки. Усатый человек в отчаянии бьется о стену головой, его рот перекошен в крике, и из него тянутся слова: "Мир мой!" Череда людей перед костром, в

пламени которого уже вопит один из них, похожий лицом на Цело Поляка, а на очереди — и сам Кирилл на костылях, и его отец с четками в руке. Огромный комар сосет кровь из ладони красивой женщины, комар похож на Гитлера. За колючей проволокой валяются отрубленные головы и рассеченные тела. Толстая жаба держит крест и свастику. Иисус Христос распят на свастике. Толпа калек подступает к трибуне, и те, у кого еще есть руки, подняли сжатые кулаки. Смерть с косой стоит, расставив ноги, на открытом автомобиле, а под колесами лежит человек. Разорванные человеческие тела плывут по реке...

Открылась дверь, Кирилл сел на ковре — в комнату вошел Мефодий Шубик.

— Здравствуй, Киро! Гимнастикой занимаешься? Только меру знай, как бы не повредить себе. Упражняйся! Вот поедешь в Пештяны, будут тебя там грязями лечить, и поправишься. Еще и на лыжах кататься будешь!

Кирилл кисло усмехулся:

— Какие лыжи, папа. Нет уж, мне только рисование остается.

— Надеюсь, нет, сынок. Господь поможет...

— Он давно к людям спиной повернулся.

— Не говори так! — просительным тоном воскликнул Шубик.

Обведя взглядом рисунки на стенах, вздохнул про себя — что это рисует мальчик! Рисунки должны радовать глаз красотой, не пугать! А он рисует каких-то чудищ. Быть может, потому, что сам инвалид. Если б не искалеченные ноги, конечно, видел бы красоту вокруг, божий мир, полный милосердия, любви и солнца.

Он подошел к рисунку с костром, но себя на нем не узнал. Знакомой показалась ему только фигура в пламени.

— Кто это? — спросил он. — Похоже на дядю Цело...

Кирилл поднялся с пола, пожал плечами.

— Это случайно, тут все вымышленное.

— А жаба с крестом! — ужаснулся Мефодий.

— Она еще и свастику держит, — усмехнулся Кирилл, опускаясь на стул.

— Ах, да, — успокоился Мефодий, но тут же вытянул губы: ведь это еще хуже! И крест, и свастика для Кирилла — одно и то же... — А что ты хочешь сказать этим костром? — спросил он.

— Ну, это вроде чистилища, или как бы испытание огнем. Все должны через него пройти, и недостойные — сгорят.

— Откуда такая идея?

— Тебе не понять, — улыбнулся Кирилл. — У меня бывают самые дикие идеи... Впрочем, в конце-то концов каждому придется держать ответ, в том числе и тебе, папа.

Шубик молитвенно сложил руки:

— Конечно, это нам и религия предписывает — исповедаться...

— Только не перед священником, папа.

— А перед кем?

— Быть может, перед судом. Война кончится — и как ты думаешь...

— Я не военный, — перебил сына Мефодий. — С меня никто ответа не спросит. Я ни в кого не стрелял. Между прочим, война кончится совсем не так, как думаешь ты с твоим Иваном. Кстати, где он? Давненько о нем ничего не слышно...

— Он-то, может, и будет судьей, — бросил, наполовину в шутку, Кирилл.

Шубик сжал кулаки, покачал головой. Чепуха! Как может студент, сопляк, быть судьей? Однако не надо раздражать Кирилла, зачем с ним спорить о том, кто победит в войне? Шубик жалеет сына и готов всячески его задобрить.

— Мне и с той стороны ничего не грозит, Киро, не бойся. Помнишь, как резко нападали на меня в позапрошлом году немецкие газеты? И только вчера я ходил к дяде Цело, просил выпустить из тюрьмы коммуниста. И участие немцев в нашей фирме мне не по душе. Разве этого мало? Видишь, я совсем не таков, как ты думаешь. Хочу вот организовать сбор поношенного платья для бедных...

— Еще один сбор! — чуть не расхохотался Кирилл. Отец уже раз собирал средства на конфетки для детей, которые ходят в церковь, потом как-то дал деньги на похлебку для безработных. И это должно послужить ему индульгенцией? — Великолепно, папа, великолепно, — кивнул он, и Шубик не уловил насмешки в его голосе. Напротив, ему казалось, что он нашел с сыном общий язык.

— Дядя Цело больший католик, чем папа римский, — сказал он. — Не захотел освободить того бунтовщика, а я ведь просил его из христианских побуждений!

— Почему б тебе не выразиться так, что он больший черт, чем сам дьявол? — усмехнулся Кирилл.

— Ты прав, но его уже не переделаешь...

— А купить его можно только за бешеные деньги, — перебил его сын. — Знаешь, что я тебе посоветую? Подкупи кого-нибудь из его подчиненных, и тот выпустит на волю твоего протеже. Денег у тебя много, исполнишь долг христианина, ближнему поможешь, если даже это красный.

— Ну, не знаю, — пожал плечами Шубик. — Однако ведь и язычник может сделаться хорошим христианином.

— Лютеранином, например? — снасмешничал Кирилл.

— Хорошим христианином может быть только католик, — убежденно возразил Шубик.

— Послушай меня, папа, подкупи дядиного подчиненного, и все пойдет как по маслу. Ведь вы все привыкли к взяткам. И это не будет ни исключением, ни смертным грехом! —

иронически закончил Кирилл.

Шубик, прислонившись к двери, охватил пальцами подбородок, закатил глаза и сказал:

— Что ж, подумаю, подумаю...

Когда отец вышел, Кирилл почувствовал облегчение. Нет, нельзя сердиться на отца, есть люди и похуже его. Например, Поляк или декан Соляр. Если б не они, отца нетрудно было бы переубедить. Отец, в сущности, просто бесхребетный, куда ветер дует, туда и он — нельзя отнести беднягу к закоренелым подлецам.

Кирилл вздохнул; опираясь на палочку, подошел к окну. Дождь не переставал.

IX

Мефодий Шубик, довольный, занял место в экспрессе. Лицо его сияло, как после доброго обеда. Он сел к окошку в пустом купе первого класса и, когда поезд тронулся, сложил руки на своем внушительном животике и закрыл глаза.

Он улыбался. Вот как обошел он Поляка! Тот не пожелал выпустить мастера фирмы "Дары леса", а Шубик взял да и поехал в командировку в Прешов, где заглянул к тамошнему шефу полиции. Естественно, представился он приятелем Поляка и председателем правления фирмы, и даже не пришлось ему лезть в собственный карман, чтоб дать взятку, как ему советовал сын. Просто он пригласил шефа полиции к директору фирмы Косо, и фирма доверху загрузила машину шефа вареньями и шнапсами.

— Мы заинтересованы в том, чтоб фирма процветала, — внушал Шубик полицейскому. — Среди наших акционеров есть немцы, и мастер, которого вы посадили за решетку, нужен нам как воздух.

— Но он распространял антигосударственные листовки, пан министерский советник! — возразил шеф полиции. — И у нас есть приказ пана полицей-президента Поляка...

— Знаю, — кивнул Шубик, — мы с ним обсуждали этот случай. Понимаете, сам он не хочет дать вам распоряжение, ведь он ваш начальник...

— Понимаю, понимаю, — согласился полицейский. — Ладно, выпустим парня.

Шубик и понятия не имел, что таилось в голове подозрительного полицейского. Не ловушка ли это? Не проверяет ли Поляк служебную дисциплину своих подчиненных, не лучше ли сразу доложить ему обо всем? А Шубик радовался, что одним ударом убил трех зайцев: во-первых, мастера освободят, и это будет заслугой Шубика, если иметь в виду всякие перспективы на будущее. Во-вторых, это не стоило ему ни гроша, за

милосердный поступок заплатила фирма; а в-третьих, мастер действительно нужен фирме, и трудовая дисциплина не пострадает, а это тоже важно. Как это Цело не хотел понять? Господи, твоя воля, не перевернет же мир один красный, и не так страшен черт, как его малюют, пускай парень лучше варит черничное варенье, чем торчит в кутузке и тем позорит фирму.

Шубик задремал. И снилось ему черничное варенье. Будто он намазывал его на хлеб деревянной ложкой, как вдруг подлетел баран, склонил голову и—бац! — боднул его в зад, вырвал хлеб и с блеяньем помчался по крутому склону. Шубик побежал было за ним, не догнал, запыхался, упал на землю и горько заплакал.

Поезд резко затормозил, заскрипели колеса, стукнулись буфера, и в открытое окно донеслась перебранка, щелканье кнутом. Высунувшись, Шубик — еще не очнувшийся как следует — увидел: какой-то пастух грозит кнутом машинисту, вокруг пастуха белеет стадо овец. Кто-то в соседнем вагоне крикнул:

— Барана задавили!

Мефодий так и остолбенел — вот, баран приснился — и барана переехали... Случайное ли совпадение? А может, сны у него пророческие?

В прошлом году ему приснились три черные кошки. Они напали на Кирилла, Шубик отгонял их брючным ремнем, в конце концов брюки с него свалились, и люди подняли хохот. Шубик бегал по улицам без штанов, Цело Поляк кричал: как тебе не стыдно... Черные кошки... А на другой день черный автомобиль немецкого генерала сшиб Кирилла...

А то ему приснились русские конники в папахах — они мчались, размахивая кривыми турецкими ятаганами. Неделей позже ставка фюрера объявила общенациональный траур — русские разбили группировку немецких войск под Сталинградом.

Надо будет запоминать сны. Что, если господь бог благословил его даром Сивиллы? И надо почаще заглядывать в сонник, чтоб понимать знамения. Говорят, если услышать во сне, как трубит ангел, — это значит, кто-то умрет. А видеть ангела — к деньгам. Увидел летающего ангела — жди неприятного известия. Приснится мутная вода — заболеешь...

Поляк смеется над ним за сонник, а вот венский врач Фрейд тоже занимался снами, а Фрейд ведь признанный ученый, хотя и был евреем. А сам Гитлер разве не прибегает к услугам ясновидца?

Шубик положил для себя в важных делах припоминать, что ему снилось за последние две-три ночи, и в зависимости от этого принимать решения. На одном разуме далеко не уедешь. Сколько необъяснимых загадок между небом и землей!

Он посмотрел на часы, улыбнулся: желудок у него как будильник! Вот двенадцать часов дня — и он уже заявляет, что

голоден. Хорошо, что вагон-ресторан рядом.

Шубик встал, потянулся, вышел из купе. Вскоре он уже сидел за столиком, накрытым белой скатертью, доедая мясной суп с лапшой, после которого принялся за отварную говядину с пряной подливой.

Кроме него, в вагоне-ресторане были только два офицера. Покончив с едой, Шубик посидел, глядя в окно на зеленые поля и далекие горы, невольно слушая разговор; офицеры были под хмельком.

— Если тебя пошлют — нас... и на них!

— Легко тебе говорить. Дезертирство не прощают.

— Дезертира не поймают, тюлень!

— Выследят. Куда я спрячусь, маме под юбку?

— Я лично подамся в горы.

— Тоже мне Яношик!

— Плевал я на Гитлера и на нашего преподобного вождя, пусть поцелуют меня в задницу!

— Трех моих однокашников уже похоронили на Украине, двое перебежали...

Шубик нахмурился — офицеры, а такие речи ведут! Кто же тогда опора режиму, а? Священники? Гарда? Гардистов уже и не видно, будто сквозь землю провалились. Ни черта они не на фронте, засели по учреждениям, пропивают захваченные еврейские трактиры да лавки, не заботятся об их процветании, как Шубик...

Из соседнего вагона донеслись пьяные мужские голоса — пели на мотив немецкой солдатской песни "Лили Марлен":

Солдаты все на фронте,
гардисты все в тылу...

Шубик съел пирожное и заказал черный кофе, официант поставил перед ним массивную чашку. Шубик расплатился и посидел еще за кофе. Отвратительный, как всякий эрзац, единственный кусочек сахару не улучшил вкус. Поезд прошел у подножия Татр, окутанных весенней дымкой, и, приближаясь к Вагу, увеличил скорость.

Сильнее забилось сердце Мефодия, когда он вдохнул запахи Липтова. Сердито глянув на обоих офицеров, которые разговаривали громко, словно глухие, он вернулся в свой вагон. Опустил окошко в своем купе, стал слушать — не зазвонят ли где колокола?

Поезд остановился в Ружомбероке; Шубик не выдержал и, сверившись с часами, вышел на перрон — не встретит ли знакомых; его обдало смрадом с бумажной фабрики — таким привычным в его юности. По перрону разгуливали несколько пассажиров; потом из какого-то вагона с опозданием выскочил

худенький носатый парень с растрепанным чубом; увидев Шубика, он так и застыл на месте с растерянным видом — то ли испугался, то ли обрадовался. Только тогда Шубик узнал его:

— Иван! Откуда вы здесь взялись?

— Добрый день, пан советник, — ответил тот. — А вы что здесь делаете?

— В Братиславу возвращаюсь. Что же вы не показываетесь? Учитесь?

— Вы же знаете, мне пришлось сматываться. Доучусь уж после войны.

Шубик наморщил лоб:

— Но тогда вас могут отправить на фронт. А студенты пользуются отсрочкой.

Иван почесал за ухом.

— Ну, отсрочку всегда можно раздобыть.

— Этим не шутят! Военные власти строги.

— Как поживает Кирилл?

— Ходит уже понемножку, — вздохнул Шубик. — Теперь вот рисовать начал, да все такие фантазии, каких и у вас полна голова.

Иван громко засмеялся:

— Фантазии? Ну, нынче скорее назовешь фантазером того, кто верит в фюрера. А вы как, пан советник?

— Вы знаете — у меня своя дорога.

Дежурный по станции дал свисток, и Шубик развел руками:

— Жаль, что мы не встретились в поезде, Иван. Садиться пора. Заходите к нам в Братиславе!

— Передайте привет Кириллу.

Шубик поспешил в вагон, хотел еще помахать Ивану из окошка, но того уже и след простыл. Проводник дал сигнал, поезд тронулся.

Что же этот Иван делает? — сверлила в голове мысль. Учебу бросил, в Братиславе у него были неприятности из-за листовок, он скрылся с одним товарищем. Шубик не сердится на него: молодо-зелено. Иван помогал Кириллу по математике и немецкому, сын стал лучше учиться в школе, даже серьезней стал с тех пор, как Иван начал давать ему частные уроки. Только не надо было сбивать Кирилла с толку, ох, не надо!

Шубик повертелся на мягком плюшевом диване, покачал головой. И с чего это он брякнул Ивану, что у него своя дорога? Впрочем, это так и есть, он идет своей дорогой, но все-таки надо было заступиться за фюрера, тем более перед такой горячей головой, как Иван.

В Жилине с поезда сошли оба подвыпивших офицера из вагона-ресторана. К ним приблизился горбатый немец в форме FS, затрещал у них под носом жестяной кружкой для сбора пожертвований, крикнул:

— Kleine Spende[1]! В помощь фронту!

— Мотай сам на передовую! — гаркнул на него один из офицеров. — Зубы там выплюнешь!

Шубик пришел в ужас: офицер, а так обращается с союзником — быть может, товарищем по фронту! А Иван болтается в Липтове, бог знает с какими дьяволами снюхался... Народ ворчит... Только в Братиславе, пожалуй, потише, люди там разумные, не думают прошибать стенку лбом.

Как хорошо, что поезд несет его в Братиславу, домой...

X

— А ведь тебе надо бы на исповедь сходить, Мефодий, — погрозил ему пальцем Цело Поляк.

— Почему? Что ты имеешь в виду? — пробормотал, выкатив глаза, Шубик.

Они только что встретились у моста и пошли по набережной Дуная.

— В мой огород лезешь, — с укором объяснил полицей-президент. — За это и посылаю я тебя на исповедь.

Мефодий думал так сосредоточенно, что две глубокие морщины прорезались у него на лбу, потом вздохнул с облегчением:

— Это ты про ту малышку у пани Иренки? Как бишь ее зовут? Брось, — он махнул рукой, — ничего у меня с ней не было. Так только, покукарекал, как петух на заборе. Но как ее зовут?

— Божка! — Поляк захохотал.

— Нет, Цело, я оказался не в форме, ничего не было.

— Ну и олух же ты! Мы ведь приятели, нечего нам брезговать друг после друга. Не в Божке дело — ты в мои служебные дела встреваешь, и даже словечка мне не скажешь.

У Шубика перехватило дыхание — он понял, куда гнет Поляк. Покраснел.

— Не я — ты отдаешь приказ освободить арестованного, — повысил голос Поляк. — Это как же так, басордыга-мотыга? А если б я очистил у тебя государственную казну или налоги с тебя содрал, а? Ну что ты натворил? Сначала клянчил, чтоб я помог человеку, которого ты даже не знаешь, а не вышло — побежал к моему подчиненному! Хорошо еще, не сослался на меня. Неужто нам выпускать из тюрем коммунистов?

Шубик остановился под деревом, прислонился к нему спиной, виновато посмотрел на Поляка и, тыча пальцем себе в грудь, проговорил:

[1]Маленький взнос (*нем.*).

— Mea culpa, mea culpa[1], Цело! Ты заупрямился, вот я и попробовал сам. И кстати, вовсе не ради Куцбела, а ради нашей фирмы, ради нас с тобой.

— А мне на это знаешь что... — отрезал Поляк. — Мне-то никакие алиби не нужны, ни для трона, ни для виселицы. Я не крыса, не побегу первым с корабля!

Он взял Шубика за локоть, увлекая его продолжать моцион, и тише добавил:

— Тем более что наш корабль не тонет.

Солнце заходило, с травы, с кустов налетали комары, у самого берега выскакивали из воды рыбы, охотясь за мушками, на том берегу, в Петржалке, вспыхнул большой прожектор.

— Видишь, — Поляк показал рукой на тот берег, где ходили пограничники Третьего рейха, — охраняют нас, нашу жизнь, наше имущество. Так что не бойся, Мефодий!

Однако даже этот оптимистический тон Поляка не улучшил настроения Шубика. Его тревожила мысль — что с мастером, не велел ли Поляк снова схватить его?

— Значит, напрасно я таскался в Прешов, — сказал он, помолчав. — Напрасно уговаривал твоего...

Поляк с улыбкой перебил его:

— Не мог я, Мефодий, тебя дезавуировать. Гуляет на свободе-свободушке твой красный. А скажи, давал ты взятку моему подчиненному?

Шубик повел плечом, краска бросилась ему в лицо.

— Да нет, Цело!

— А гостинцы от фирмы "Дары леса"?..

— Подумаешь, пару банок варенья...

— Я всегда знаю обо всем, Мефодий. Моих людей не подкупишь. Я могу себе это позволить — но не они. И они докладывают мне обо всем — вот и про твои банки доложили.

Камень свалился с души Мефодия: не зря ездил!

— Как же это ты обо всем так хорошо информирован? — спросил он.

— Очень просто! Я ведь как божье око; в сущности, господь бог-то — полицейский: за всем следит, всех карает, — засмеялся Поляк, хлопнул приятеля по плечу. — Одному из нас обоих нельзя терять головы.

Комары докучали Шубику, не трогая Поляка. Да и прочих прохожих они не оставляли в покое, звенели, кусались. Шубик злился: тучный он, вот и привлекает комаров, а может, кровь у него слаще, чем у Цело...

— В другой раз договаривайся со мной, — вернулся к теме полицейский. — Я, видишь ли, лучше разбираюсь в делах, чем ты, — положись на меня!

[1]Моя вина (*лат.*).

Дальше они шли молча. К Флорианской улице, где жили проститутки, уже потянулись первые мужчины. Шубик сделал кислую гримасу: как они могут, ведь еще светло!

Закурив сигарету, Поляк нарушил молчание:

— Говорил ты недавно об этих паях. Немцам мы обязаны тем, что есть у нас свое государство, мы обязаны им своим положением, так что пускай они имеют долю в нашей экономике, зачем ограничивать? Пускай будет в нашей фирме как можно больше немецкого капитала — не бойся, не ссадят тебя с председательского кресла, и тантьемы от тебя не уйдут. А об арестантах в другой раз не заботься!

В эту минуту Шубик считал Поляка правым.

— Да я ездил в Прешов из христианского милосердия, из сострадания, — пробормотал он в свое оправдание, но полицейский только засмеялся:

— А, иди ты со своим состраданием! Что касается акционеров, то завтра из Берлина приедет крупный деятель в экономике. Доля немецкого капитала у нас возрастет. Да, чтоб не забыть, — он отбросил окурок, — в субботу я устраиваю для него ужин. Приходи, я и декана приглашу.

Они повернули обратно. Шубик подумывал уже о ванне и постели. Утром пораньше пойдет на службу, созовет правление "Даров леса" в родном Липтове, в Железном, — подышат там чистым воздухом, полакомятся первой малинкой... Поведет господ правленцев в малинник — многие, пожалуй, и понятия не имеют, из чего гонят знаменитую малиновку! Если погода не подведет, хорошо им там будет. Каждого он пригласит лично...

XI

Цело Поляк, в качестве рабочего председателя Словацко-германского общества, устроил в Железной Студничке под Братиславой ужин для немецкого гостя.

За накрытым столом сидел дорогой гость — крупный хозяйственный чин Третьего рейха, полковник СС в отставке Вебер, костлявый, плешивый мужчина с военной выправкой. Напротив поднимал бокал Поляк, рядом с ним поместился Мефодий Шубик и советник германского посольства Ганс Куглер. Депутат, декан Соляр, занял место рядом с гостем.

Стоял теплый июльский вечер, охлажденное вино услаждало всю компанию.

— За фюрера, за победу! — поднял тост Поляк.

Все встали, как по команде. Вебер вытянулся в струнку. Выпили до дна. Так же разом сели, у Шубика вертелась мысль: как солдаты!

Он посмотрел на декана Соляра, на его стоячий воротничок, и сердце ему что-то сдавило. Как славно все начиналось! Новые люди из провинции явились в столицу, чтоб укрепить ее, расселись по креслам и кассам, выдворили чехов и евреев, занялись предпринимательством, дамы нарядились в пестрые национальные костюмы, стал на ноги весь голубиный словацкий народ, пошел за своими вождями в сутанах — и вдруг мелодия "Аве, Мария" перешла в военный марш, вместо угодных богу сутан в моду вошли военные мундиры, а фронт, стоявший когда-то под Москвой и на Кавказе, приблизился чуть ли не к самому порогу. Того и гляди, распоряжаться будет уже не декан Соляр, а немец в мундире. Дорогая цена за самостоятельное государство, ох, дорогая!

Вебер не нуждался в переводчике. Он довольно неплохо говорил по-русски, понимал немного чешский, сербскохорватский и польский и из всего этого состряпал некое странное славянское эсперанто, нашпигованное немецкими словами. Вот здесь, за ужином, он изъяснялся с помощью этого языкового гибрида, временами переходя на чистый немецкий, тогда его переводил Куглер.

— Вы, словаки, изрядно умеете пить, — говорил Вебер, — и песни у вас приятные, а вот экономика ваша еще, простите, примитивная. Знаю я ваши достижения, они пока что куда ниже немецких стандартов. Нам надо теснее сотрудничать, больше использовать природные богатства, руды, лес, возделывать высокоурожайные сельскохозяйственные культуры. Я интересуюсь не делами на фронте — сейчас не интересуюсь, — добавил он с нажимом. — Сейчас я занят делами экономики, а вы сами знаете, господа, без хлеба и без ружей воевать нельзя. Словакия должна догонять Германию, и мы вам охотно поможем.

Поляк многозначительно посмотрел на Шубика, как бы говоря: "Слыхал? Он прав!" Шубик опустил глаза, сложил руки под столом и молча кивнул. В Германии порядок, сельские дворы — сплошной асфальт, в хлевах водопровод, на заводах — душевые для рабочих, и они зарабатывают больше наших; ведь наши, вернувшиеся из Германии, привезли швейные машинки и велосипеды, которые дома не в состоянии были приобрести за долгие годы работы, и узнали вдобавок, что там и рабочие, и даже батраки пользуются оплаченным отпуском. Все это святая правда, но и то правда, что Германия — словно голодный волк. Не сожрет ли она нас с потрохами?

— Мы вложим капитал в вашу промышленность, — продолжал Вебер, и это понравилось Шубику. Он и без Вебера знал, что промышленность топчется на месте, ей необходима инъекция. Да откуда ее взять? Из государственной казны? Так в ней уже донышко видать...

— Это правильно, — шепнул он Поляку.

— Понимаешь теперь, Фома неверующий? — ответил тот.

— Мы, господа, пробудем в Словакии две недели, — говорил меж тем Вебер. — Будет у нас возможность все обсудить. Мне бы хотелось и на природу выехать, в ваши горы, — я ведь охотник и рыболов...

— Вы окажете нам честь, пан полковник, — улыбнулся Поляк. Вот и у пана советника, — он показал на Куглера, протирающего очки, — неплохой опыт в этом деле.

Куглер кувнул:

— Да, у меня есть уже несколько любопытных трофеев.

Доели шницель по-венгерски с салатом, чокнулись три раза.

— Мы хотим переместить часть нашей промышленности за пределы рейха, — снова заговорил Вебер. — В том числе и к вам в Словакию.

— Да, Германию сильно бомбят, — отозвался декан Соляр, но Вебер покачал головой.

— Не в этом дело, господа. Но лучшие умы и руки Германии сосредоточены сейчас на производстве секретного оружия. Не сегодня завтра мы пустим его в ход.

Шубик почувствовал облегчение, услышав из уст столь ответственного лица то же самое, о чем поговаривали вокруг; Поляк тотчас наполнил бокалы:

— Выпьем, пан полковник, за секретное оружие!

Соляра сегодня мучила необычайная жажда. Он пил большими глотками, вино развязало ему язык, заиграли от вина все его жилочки. Он вспомнил шутку, которую слыхал как-то от своего коллеги, и спросил:

— Почему мы, священники, ходим в черном? Угадайте, пан полковник!

— Не знаю, — пожал тот плечами, — сдаюсь!

— Не знаете? Да потому, что белый — цвет невинности!

Вебер засмеялся, за ним и остальные.

— И на охоту сходим, пан полковник, — пригласил Вебера Шубик. — И на рыбалку тоже.

— С большим удовольствием, — отозвался тот, прислушиваясь к доносившейся откуда-то музыке.

— Цыган играет в соседней комнате, — объяснил Поляк.

Окна ресторана были слабо затемнены и отбрасывали на траву светлые прямоугольники. Вебер долго смотрел в ночь через распахнутую дверь, потом покачал головой:

— Рай у вас тут, господа. А у нас — тьма, как в пекле. Воздушные пираты так и выискивают огоньки... А мелодия напоминает сербскую.

— Вы там бывали, пан полковник? — поинтересовался Шубик.

— Полгода, — Вебер погрустнел. — Сын мой там погиб...

Он пошарил по карманам, вынул кожаный бумажник, а

из него вытащил фотографию молодого человека в форме лейтенанта.

— Этот, Эрих, — старший, господа. Еще у меня дочь и младший сын, Адольф, ему четырнадцать.

— Ужасная потеря, пан полковник, — с сочувствием посмотрел на снимок Поляк.

— Мы ликвидировали бандитов. Сначало на Украине, потом в Сербии. Они нападали на наших солдат. Мы их наказывали... Вот, взгляните!

Он положил на стол еще четыре фотографии — на всех были повешенные, перед ними стоял Вебер в форме СС. На пятом снимке был застреленный олень.

— Трофей! — торжественным тоном сказал Вебер, и Шубик не понял, к кому относится это слово — к повешенным или к оленю.

Жар бросился в лицо Мефодия. У него было такое чувство, будто он задыхается, тошнота подкатывала к горлу. Он не выдержал, встал, мотнул головой в сторону туалета, и вышел.

Долго, глубоко вдыхал он прохладный воздух, следя за реющими светлячками, неловкой рукой попытался поймать одного — промахнулся. Светила луна, обливала зеленоватым светом стволы сосен, а Шубику чудилось, будто с веток свешиваются удавленники... Страшно!

Он потер ладонью потный лоб — все представлялся ему Вебер в форме СС, и он не понимал, как мог этот человек сниматься рядом с повешенными. А может, он сам и приказал их казнить... Да, для этого требуется крепкая голова!

Сплюнул, но, вспомнив молодого лейтенанта, павшего сына Вебера, постарался вжиться в чувства отца — вот ведь и сам он перенес нечто подобное с Кириллом. Быть может, Вебер просто отомстил тем, кто убил его сына? Но все равно — как мог он так фотографироваться?

Не найдя ответа, прошептал в темноту:

— Ну не знаю...

Медленно вернулся к столу, сел, отпил минералки, пробормотал:

— А я подышать выходил, славно на воздухе...

— Ты бледен, — заметил декан Соляр. — Тебе нехорошо?

— Прошло уже, — отмахнулся Шубик.

Вошел секретный агент. Сильно взволнованный, он искал глазами своего шефа. Поляк встал, подошел к нему — тот шепотом доложил ему что-то такое, от чего Поляк в отчаянии схватился за голову и проговорил, обращаясь к Веберу:

— Ужасно! На фюрера совершено покушение!

Оба немца вскочили. Куглер, сжав кулаки, разразился проклятиями:

— Herrgott! Himmelherrgott!

— Подробности?! — вырвалось у Вебера. — Жив?

— С фюрером ничего не случилось, — ответил Поляк. — Бомба взорвалась, но он не пострадал.

— Провидение! — с облегчением сказал Куглер, но декан Соляр покачал головой, как бы желая уточнить:

— Господь бог! Велика милость божия!

С этими словами он поспешно перекрестился, сложил ладони к молитве, и губы его зашевелились. Вебер снова сел на свое место, поднял бокал:

— За здоровье фюрера, господа! Еще раз выпьем за его здоровье!

Весть ошеломила Шубика: ведь без фюрера, пожалуй, не было бы ни секретного оружия, ни твердой руки, необходимой для ведения войны. Он в охотку осушил до дна бокал, сел и воззрился на Вебера. В эту минуту он простил ему даже фотографии с повешенными. Одни покушаются на жизнь фюрера, другие стреляют из леса в его солдат, но ведь солдаты вермахта тоже люди, у них дома жены, дети... Сумасшедшее время, никто никого не щадит, никогошеньки — значит, необходима твердость духа. Чувствительность хороша для любовных романов, она вроде лепестков осенней розы, нет ей места в жизни, где рвутся бомбы...

— Так-так, — шептал Мефодий себе под нос, искренне соглашаясь с Куглером. — Я рад, что фюрер уцелел.

XII

Сегодня был тяжелый день. Только перед самым обедом вернулся Шубик к себе — министр вызвал его на заседание правительства, чтобы обсудить статьи государственного бюджета; а тут явился советник германского посольства Ганс Куглер.

— Я на минутку, — сказал он. — Фюрер не пострадал, он здоров, покушавшиеся арестованы. Немецкий народ беспощадно покарает преступников.

Шубик налил в рюмочки малиновки:

— Я рад, что все в порядке, пан советник.

— Вот именно — все хорошо, что хорошо кончается. Вы присутствовали сегодня на заседании кабинета, пан министерский советник, — начал Куглер. — И конечно, речь заходила о покушении. Как отнеслись к этому министры? Взволновало их это известие?

Шубик в душе рассердился: что я, доносчик? У немцев своих шпионов полно, почему Куглер из него хочет что-то вытянуть? Министр внутренних дел на "ты" с их послом — почему ж его-то не спросят?

— Эта весть всех опечалила, — ответил он, помолчав.

Едва ушел Куглер, прикатил декан Соляр — чуть в дверях не встретились.

— Его святейшество папа поздравил Гитлера, — сообщил декан, переводя дух — он запыхался. — Видишь, сын мой, даже святой отец на его стороне. Да и то сказать, кого же еще ему благословлять-то? Большевиков? Плутократов? Американских евреев? Нет, он знает, что делает, — Гитлер не пустил в Германии коммунистов к власти, а это огромнейшая заслуга. Правда, в войне он терпит неудачу...

Декан сел. Шубик предложил ему сигарету, поднес огня, развел руками:

— Неудачу... Ну, не знаю. А вы слыхали о секретном оружии?

— Наше секретное оружие — его святейшество папа, — лукаво усмехнулся Соляр, поперхнувшись дымом. — Что бы ни было — уж он-то не оставит нас в беде.

Серые глаза декана, так похожие на глаза Шубика, остановились на негасимой лампадке над столом; старик удовлетворенно кивнул, как бы говоря: правильно, что ты ее здесь держишь.

— Не падай духом, сын мой, — ободрил он Мефодия. — Я вытащил тебя в Братиславу не для того, чтобы ты в штаны напустил, а чтоб чего-то добился. Оставайся по-прежнему добродетельным. Запомни: если мы сохраним верность господу, он не отдаст нас во власть дьявола, хотя время от времени будет подвергать испытаниям. А коли он и наказует нас — значит, сами мы виноваты, об этом нельзя забывать.

Мысль о наказании и о неудачной войне не очень-то порадовала Шубика. Он-то готов хоть черту душу продать, лишь бы все хорошо кончилось, лишь бы Гитлер поторопился пустить в ход свое секретное оружие или, на худой конец, лишь бы война закончилась примирением.

— А с Куцбелом развяжись, — добавил Соляр. — Он не о боге помышляет, а о черте, о доходах: лютеране — они ведь как евреи. Добра от него не жди.

Шубик давно собирался посоветоваться с деканом о безотлагательных делах, которые неотступно сверлили ему голову, но как раз в этот момент завыли сирены.

Соляр вздрогнул, встал. Шубик подошел к окну — по улице мчались испуганные люди, кое-кто вскакивал на притормозивший грузовик, из-за угла вырвалась новая толпа и остановилась, не зная, куда бежать. А сирены завывали с крыш, люди на улице кричали, причитали...

— Пойдем в убежище, — предложил Шубик. — Там безопасно.

Соляр поглядел в окно, вздохнул и прошептал:

— А говорят, все хорошее приходит с неба... — Он улыбнулся, загасил о пепельницу окурок и закончил: — Даже бомбы.

— Третья тревога за неделю, — покачал головой Шубик и открыл дверь. — Прошу!

Спустились в подвал, куда уже набивались служащие. Небольшое отдельное подвальное помещение было зарезервировано для министра и высших сановников. Шубик с Соляром вошли туда первыми, но тотчас следом примчался Цело Поляк. Поздоровавшись, он возбужденно стал рассказывать:

— Шел я мимо, вдруг — тревога! А я знаю, у Мефодия славный подвальчик, тут нас бомба не пощекочет...

— Под моей виллой убежище еще лучше, бетонированное, — перебил его Шубик и предложил обоим гостям сесть на скамейку.

— А может, это ложная тревога, — заговорил Соляр. — Подождем — не на Страшный суд трубят... Впрочем, фронт-то близко.

— В Липтовской Осаде позавчера парашютиста сбросили, — возмущенно проговорил Поляк, закуривая. — А вчера ночью, говорят, и на Прашивой тоже, причем какие-то мерзавцы сигналили кострами.

— Сигналили? — не понял Шубик. — Кто, кому?

— Кому — русскому летчику, — отрезал Поляк. — Но мы туда наших людей пошлем, переловим пташек...

Прислушались, не гудят ли самолеты, потом Поляк с упреком обратился к Соляру:

— Вы, депутаты, должны издать более жесткие законы против диверсантов. А то моим людям приходится очень уж цацкаться с ними. Фронт приблизился, и, пока его не закрепят, неприятель то и дело высовывает рожки... Против него надо действовать твердо и беспощадно!

— Святая правда, — согласился декан. — Следует самим свой двор подметать.

— Только бы не обидеть невинных, — пробормотал Шубик. — Мы должны быть справедливыми...

— Справедливость — дело не сего мира, — улыбнулся Соляр. — Не терзай себя. Справедлив один господь бог.

Сирены дали отбой. В соседнем большом помещении люди оживились, зажужжали, как пчелы в улье.

— Прошу наверх, — вздохнул свободнее Шубик, и Поляк подхватил с улыбкой:

— Верно, пойдем, Мефодий! Время, потерянное из-за воздушной тревоги, надо и нам наверстывать!

И Соляр кивнул с важностью:

— Именно так, именно так. Тяжелые времена...

Он вышел первым; следовавший за ним Поляк обернулся к Шубику:

— В шесть вечера жду тебя в "Ориенте"!

Шубик просиял, молча кивнул.

XIII

Час назад дали отбой еще одной воздушной тревоге. Высоко над Братиславой сверкнули бомбардировщики, пронеслись на запад. Взрывов не было, но не было и дождя, хотя после полудня небо затянуло тучами. Но потом распогодилось, и Шубик с Поляком, нарядные, надушенные, встретились у входа в увеселительное заведение "Ориент".

— Если меня прогонят с работы, — улыбнулся Шубик, — наймусь официантом к пани Иренке.

— Я лично предпочел бы стать вышибалой на соседней улице, — бросил Поляк, и Шубик поморщился.

Он покосился на Флорианскую улицу Подградья — оттуда уже доносились пьяные крики — и покачал головой. Чего только не наболтает этот Поляк! Вышибала! Неужто и впрямь ему хотелось бы вышвыривать из публичных домов всяких пьяниц и сифилитиков или драться с хулиганами?

Они прошли через полупустое кафе. Шубик не спускал глаз с двери, из которой должна бы выплыть разряженная пани Иренка в черных чулках — знала ведь, что они собираются сегодня заглянуть. Поляк обратил внимание на двух молодых женщин за столиком в углу кафе — смазливые блондинки потягивали из рюмочек яичный коньяк. Одна, в розовом платье, жадно курила.

Простучали по лестнице каблучки пани Иренки, она приветливо встретила своих постоянных посетителей, пригласила их наверх. В голубой маленькой гостиной их ждал кувшин вина на столе и четыре бокала. На блюде заманчиво пахли горячие шкварки.

— Подкрепитесь, господа. — Пани Иренка показала глазами на блюдо и добавила, когда они уселись: — Я договорилась с двумя шикарными молодыми дамами. Понимаете, им хочется познакомиться с большими людьми... Мужья у них на фронте, и бедняжки скучают дома одни. Молодежи нужны развлечения, перемены... Сейчас приведу их.

Когда пани Иренка скрылась за дверью, Поляк наполнил свой бокал и выпил залпом.

— О, вот это для меня! — пробормотал он. — Молодые дамы! Как подумаешь, что на время заменишь такой мужа, который младше тебя на четверть века, — эх, басордыга-мотыга!

У Шубика горели щеки. Кроме пани Иренки, он не знавал замужних женщин. Ему и любопытно было, и страшновато: как-то у него получится? С незамужними, с "легкими" девчонками он справлялся неплохо, немало приятных часочков провел с ними в "Ориенте", привык к ним. Прикидывался этаким добрым папашей, был внимателен, щедр и сравнительно интересен.

— Ладно, я в грязь лицом не ударю, — заявил он. — Только смешно мне это, Цело! Ну, не знаю... Пошлепаешь такую, замужнюю-то, а она как смерит тебя взглядом, как сравнит со своим законным мужем — и сразу разглядит мое брюхо или твои морщины...

— Не пори чепухи, Мефодий, — огрызнулся Поляк. — На, выпей лучше, это тебя подбодрит. От вина-то будешь жив еще два года после смерти... И потом, мы ведь настоящие мужчины, так?

Шубик виновато улыбнулся и развел руками:

— Ну, не знаю... Но слушай, Цело, а как же божья заповедь? Господь охраняет супружество...

— Пусть хранит наших супруг, — расхохотался Поляк. — Да ты не бойся, и эти останутся целы, не откусим же мы им носы! Или, может, ты людоедом стал? Мне лично пока больше по вкусу баранинка да телятинка, чем человечинка. К тому же, милый мой, грехи на то и есть, чтоб было в чем каяться. Любит господь покаяния! Без черта жизнь было бы скучна, и, если б мы спали только с нашими законными, до чего бы мы докатились, а? Не будь запретных плодов, мир превратился бы действительно в юдоль слез, стал бы бесконечным постом, страданием. Ну, не прав ли я?

— Не совсем, — уклончиво ответил Шубик.

Вошла пани Иренка, за нею молодые женщины, которых Поляк приметил в кафе.

— Чтоб вам веселее было, — сказала хозяйка. — Представьтесь же, дамы!

— Элишка.

— Яна.

Пани Иренка удалилась. Шубик, следуя примеру Поляка, пожал руки обеим дамам. Он смутился было, но глубокий вырез розового платья Элишки придал ему смелости.

— У вас такие странные имена, — промямлил он, — такие необычные...

— Так ведь и сами дамы необычные, — с готовностью парировал Поляк. — Они красавицы! Ну, выпейте с нами!

Чокнулись. Яна мило улыбнулась Поляку, разговорилась:

— Мы вроде двух сироток — мужья на фронте, вот мы и зашли посидеть в кафе. Здесь бывает милое, приличное общество. А то, знаете, с молодыми людьми ужасно неприятно — потанцуешь с ними, а они уже бог весть что себе позволяют, будто мы — *такие*. Вот с солидными господами совсем другое дело. У них можно поучиться, прилично побеседовать с ними, а что нам еще нужно? Правда?

Элишка отозвалась:

— Да, с интеллигентными людьми, такими, как вы, совсем другой разговор, на другом уровне.

— А что ваш супруг? — неуместно спросил Шубик. — Он вам позволяет развлекаться?

Элишка замахала руками:

— Что вы! Он ревнив, как крокодил, он бы меня ремнем избил, раздел бы донага и отхлестал... Но знаете, — она кокетливо усмехнулась, — чего глаз не видит, о том сердце не болит...

Шубик поморщился, погладил выбритый подбородок, как делал всегда, приходя в смущение или ломая над чем-либо голову.

Эта женщина у черта из мешка выпала, усмехнулся он, а впрочем, хорошенькая, стервушка. Мужа нет дома, а кровь-то кипит... А строго говоря, и женатый ведь грешит, коли налево бегает! И вовсе неважно, с кем путаться, с незамужней или с чужой женой! Уж коли грешить, так лучше разом нарушить две божьи заповеди: не прелюбодействуй и не пожелай жены ближнего своего. Покаешься, исповедуешься — и бог простит.

— Ваши супруги сражаются за родину, — проговорил Поляк. — Ну-ка, за их здоровье! Пейте! А дамы будто непаханое поле, правда? Эх, басордыга-мотыга, выпьем!

У Яны и Элишки разгорелись глаза.

— Мы сегодня уже смешивали, — вздохнула Яна, однако, когда Поляк предложил выпить на брудершафт, тотчас подставила губки.

— Не так, не так, — погрозил пальцем Поляк. — Надо на колени встать!

Взяв Яну за руку, он опустился на колени, увлекая за собой и ее на мягкий ковер; оба выпили до дна, он поцеловал ей руку, после чего обхватил за талию и чмокнул в губы. Держал он ее крепко, так что она и шевельнуться не могла, и при этом дрыгал ногой, словно хотел вырваться из ее объятий, а она не пускает.

Шубик весело рассмеялся, так что живот у него ходуном заходил, и влепил Элишке целомудренный отеческий поцелуйчик.

— Меня зовут Мефодий, перейдем и мы на "ты"!

— Как можно! — льстиво воскликнула Элишка, поспешно поправляя свои длинные светлые волосы. — Вы такие важные господа...

— Ничего, зови меня, пожалуйста, по имени, — просительно произнес Шубик. — Я ведь тоже был молод...

— Да я не о возрасте, — поспешила возразить Элишка. — Я о вашем положении говорю. Пани Иренка сказала нам, что вы — очень большие интеллигенты...

Поляк, который уже сидел рядом с Яной, с жаром сжимая ее руку, подмигнул ей и со смехом выпалил:

— Перед богом да в постели все мы равны!

— Ох, Цело!.. — возмутился Мефодий.

Но Поляк, будто не расслышав, продолжал:

— Видите, даже такие люди, как я, — за равноправие, только не везде и не для всех. Но для вас, курочки, объявляю равноправие! Не бойтесь, я вас не велю арестовать.

— А вы... то есть ты... можете кого-нибудь арестовывать? — робко спросила Яна.

— Конечно.

— Значит, вы такой большой человек?! — в восхищении воскликнула она и поцеловала Поляка в щеку.

— Для тебя я только кавалер, поняла, курочка? Да мы и в средствах не стеснены... Мой друг, — он глянул на Мефодия уже мутными глазами, — мой друг распоряжается государственной казной...

— Правда? — просияла Элишка, и Шубик неловко обнял ее за плечи.

А Поляк уже рисовал себе картины, как он расстегивает блузку Яны, как поцелуями напоминает ей далекого молодого мужа. И не подозревал он, что обе "дамы" — из стайки пани Иренки, выбранные ею для развлечения отцов нации, что обе они — незамужние и продажные.

XIV

Кирилл с утра волновался: ему позвонил Иван Гутян, сказал, что он в Братиславе и зайдет навестить его. Отцу Кирилл не стал говорить, кто звонил: отец всегда недолюбливал Ивана.

Кирилл понятия не имел, где пропадал Иван целый год после того, как исчез из Братиславы. Знал одно — Иван не мог учиться в институте — шпики Поляка тотчас напали бы на его след. Один раз, к своим именинам, получил Кирилл открыточку от Ивана — и это было все.

По телефону Иван предупредил, что хочет что-то оставить на сохранение, и теперь Кирилл ломал себе голову, что бы это могло быть: запрещенная литература? Листовки?

Он посмотрел на часы и облегченно вздохнул. Дома никого нет. Мама со служанкой отправились на рынок, отец на службе. Кирилл взял свою палочку и потихоньку спустился по лестнице — хотел встретить Ивана в саду.

Кирилл часто вспоминал об Иване с добрым чувством. Во время частных уроков по математике тот умел умерять его юношеское негодование, так что в конце концов Кирилл стал винить уже не всю политику и не всю войну, а лишь то, в чем был виноват Третий рейх; юноша перестал презирать жизнь — теперь он ненавидел только лицемеров и тех, кто богател на чужом труде. К последним относился и его отец. Напрасно

Мефодий Шубик раболепствовал перед сыном — глубокая пропасть разверзлась между ними. И хотя Кирилл видел мир только из окна своего дома, он чувствовал, как с каждым месяцем меняется жизнь, чувствовал, что линия фронта протянулась не только через поля сражений — она разделила людей и в тылу.

Он сел в саду на лавочку, невольно задумался, и на лице его застыла горькая усмешка. Он видел себя тремя годами младше, в своей комнате, увешанной портретами боксеров и актрис, видел, как испытывает он терпение Ивана. Говорил: зачем мне зубрить математику и вообще учиться, когда отец у меня богат. Будут и у меня деньги, так на кой черт мне ученые звания и дипломы! Он хотел ошеломить Ивана знанием жизни и выдумывал невероятно смешные любовные истории. А Иван не дал себя обмануть — он видел его насквозь, и постепенно Кирилл начал испытывать к нему доверие. И вот сегодня он снова увидит Ивана!

Солнечные лучи отражались от медной дощечки на дверях виллы: "Мефодий Шубик, министерский советник". Четыре года назад они приехали сюда на экспедиторском фургоне из Липтова, Кирилл с Ганкой втаскивали по лестнице стулья и картины, а мама сердилась — такой работой он себя унижает... Отец сбил с дверей дощечку с именем бывшего владельца виллы, еврея, и приколотил на это место свою. По улице проходил отряд глинковской молодежи, распевая марш...

Так было тогда. А нынче их и не слыхать, и черных мундиров гардистов что-то не видно. Времена меняются. Как это он зубрил на уроках латыни? Tempora mutantur et nos mutamur in illis...

Иван не заставил себя ждать. Вынырнул из-за железной калитки, похудевший, но, как и прежде, взлохмаченный, оглянулся, быстрым шагом пошел к лавочке. Он тащил потертый, по виду тяжелый, чемодан.

— Ну, как дела, разбойник?! — крикнул он.

Кирилл встал, они пожали друг другу руки, Иван хлопнул его по плечу, засмеялся:

— Да ты скоро в футбол играть будешь!

Кирилл махнул рукой:

— Не раньше, чем ты научишься летать... Ну, пойдем!

— Я хочу оставить у тебя этот чемоданчик, — сказал Иван. — За ним придет один товарищ, скажет — пришел за орехами. Запомни! За орехами!

— Так это ты орехи тащишь? — удивился Кирилл.

Иван лукаво подмигнул и, подхватив чемодан, двинулся было к дому, но тут чемодан раскрылся, на землю выпали какие-то листки. Иван бросился за ними, словно боялся, что они улетят, стал запихивать обратно.

Кирилл смотрел на него в волнении. Листовки! Гитлер на виселице, огромный кулак сжал немецкий танк... Иван возился с запором чемодана, но тут из него выкатилось что-то похожее на грушу. Иван так и замер, глянул на Кирилла — у того глаза чуть на лоб не выскочили.

Граната! — пронеслось в голове Кирилла. Ручная граната! Это уже не игрушки, это не то что расклеивать листовки по темным переулкам — это страшно серьезно! Как видно, Иван ничего не боится...

Иван поднял гранату, положил в чемодан. От злости скрипнул зубами. И смеяться хотелось ему над злополучным чемоданом. Но он овладел собой. Вот неумеха, как могло это случиться! И именно с ним!

— Так вот какие у тебя орехи? — с улыбкой проговорил Кирилл.

— Орехи я тебе поездом послал бы, — сердито буркнул Иван, захлопывая крышку чемодана. — Ну, по крайней мере знаешь теперь, что здесь. Не струсишь?

Кирилл отрицательно покачал головой.

— Спрячь хорошенько. Только замок у него сломался...

— Я крепкой веревкой перевяжу. Ну, пошли!

Они задвинули чемодан под кровать Кирилла. Иван сел на стул, вытер потный лоб.

— Вот незадача-то. Хорошо еще, на улице не раскрылся. Представь только — листовки!..

— Да еще гранаты! — засмеялся Кирилл.

— Тише ты!

— Дома никого нет.

— Слушай, не стану таиться перед тобой, — заговорил Иван, несколько успокоившись. — Не в институте я учусь — учусь кидать гранаты. Понимаешь, Киро? Меня уже два раза искали у моей матери. Болтаюсь по лесничествам — там меня не разыщут.

— Да, — согласился Кирилл. — Там ты вернее переждешь войну.

— Пережду? Да нет, я помогаю ей поскорее закончиться. И не я один. Большинство народа пойдет за нами.

— Я бы тоже пошел в бой, — вздохнул Кирилл. — Или вы меня отставите из-за папочки?

— Не болтай чепухи. Ты, Киро, нужен нам здесь. Вот чемодан тебе оставляю.

Кирилл сел на кровать, лицо у него посветлело. Он следил взглядом за тем, как Иван рассматривает его рисунки на стене.

— Я тоже для листовки нарисую, — сказал он. — И мои будут лучше этих, — он кивнул на чемодан. — Только пускай за ними зайдут ко мне.

— Наши зайдут, когда нужно будет. Может, я и сам приду.

Кирилл обрадовался; потом он представил себе, что было

бы с отцом, если б он встретил тут Ивана с листовками и гранатами. Да его на месте кондрашка хватил бы! Интересно — стал бы он кричать или креститься? И Кирилл решил про себя, что еще больше будет спорить с отцом, а то и вовсе от него отвернется.

XV

Красноносый кучер покрикивал на лошадь, колеса грохотали по каменистой дороге, круто поднимавшейся в гору через заросли можжевельника и ельника. Время от времени над головами с криком пролетали то сойки, то ореховки.

Мефодий Шубик, восседая в коляске, чувствовал себя на седьмом небе. Запах лошадиного пота, сильный аромат хвои приводили его в восторг.

Он вынул золотые карманные часы, глянул на них, завел. Девять часов; минут через тридцать доедет до Железного, там члены правления поужинают после совещания, переночуют и завтра вернутся по домам поездом из Ружомберока.

Насколько же лучше в лесу, чем в городе! Там на каждом шагу человека одолевают телесные искушения, которым невозможно противостоять. Здесь чистый воздух, струи вод — там уличный шум и все чаще вместо четок обращаешься к бокалу вина; в городе все сбивает на путь греха...

За последний год Шубик прибавил в весе, стал широким, как печь, брюхо выросло — от винишка ведь пробуждается аппетит. Теперь он сердился на город — это он виноват в том, что человек обжирается, умеренность утратил, предается языческим излишествам. Деньги, политика, горы снеди, кувшины вина, продажные женщины — все это от черта, это черт превратил город в пекло...

А в деревне — слыханное ли дело, чтоб кто-нибудь совращал замужних, искал продажной любви, нарушал святость брака! Когда Шубик жил здесь, в Липтове, совсем другим был человеком, чем в Братиславе; не будь ее, пожалуй, и не изменился бы. С Этелькой он жил хорошо, по-христиански, ведь женился-то на ней по любви, клялся в верности ей перед алтарем, и она не подозревает о его прогулках в "Ориент", как ни верти, а он, Шубик, нарушает божью заповедь! Правда, по мере того как он седеет, становится более умеренным. Но если какая-нибудь, вроде светловолосой Элишки, как следует распалит его — он и теперь еще в грязь лицом не ударит! Но и тут он ведет себя приличнее Цело Поляка, который чувствует себя прекрасно с самыми потерянными женщинами и взял привычку оставаться у них до утра. А для дома отговорка есть — мол, ночное дежурство было...

Шубик же остается у девчонок совсем недолго, как воробышек, а это ведь меньший грех, чем всю ночь валяться в постели с чужой женщиной. Хотя и он смог бы прокутить ночь напролет, он ведь не тряпка, не кастрат, рано ему на свалку. Нет, он, Шубик, во всем добродетельнее Цело Поляка и наверняка попадет в рай. Эх, были бы в раю грудастые бабенки, вино да играла б в жилах молодая кровь! Тогда легче бы думалось о Костлявой...

Конечно же, Поляк куда больший грешник. Он и в Подградье ходит! Шубик получает доход от двух домов в Подградье, это правда, но все-таки сам он не стал бы пачкаться с такой, как Ганка. Пани Иренка или Элишка — совсем другое дело, другой уровень. Да, денежки стекаются к нему от публичных домов, это верно, но права и Этелька: она ведь не стирает простыни после этих шлюх. А девки те все равно кормятся грехом, в который раз убеждал сам себя Мефодий, его совесть может быть спокойна, просто девки платят ему за квартиру, за постель, за право заниматься своим ремеслом. Да не какимнибудь, а древнейшим в мире. Без них, без Шубиков, бывшая их служанка Ганка была бы бедна как церковная мышь, а так она в состоянии заработать на себя.

— Подъезжаем, вельможный пан! — крикнул кучер. — Слава богу, ось не поломали...

— Этого не хватало! Не малюйте черта — кто хорошо молится, с тем беды не случится.

— Да я вот молюсь, — возразил кучер, — а кости-то по-прежнему ломит, спасу нет. Забывает боженька о бедняках, вельможный пан!

— Господь никогда никого не забывает, — оборвал его Шубик, и в эту минуту с радостью увидел на дороге Куцбела вместе с директором Косо.

— Стойте, они уже здесь! — крикнул он кучеру. — Пройдусь дальше пешком. Ждите нас в лесничестве, и пускай лесник поднесет вам чарочку за мой счет.

Как молодой, спрыгнул Мефодий с коляски, с самоуверенной улыбкой замахал портфелем:

— Вы уже здесь, господа?

Куцбел ответил сдержанно, а Косо учтиво снял шляпу со своей кудрявой головы, и оба пошли навстречу Шубику.

— Мы первым поездом приехали, — сказал Куцбел, подавая руку. — А сюда такси взяли. А вы, пан советник, на лошадках, словно палатин?

Шубик подал им руки, улыбнулся.

— О старых временах размечтался. Чудесно это было — тащиться неторопливо по дорогам, видеть, как пасутся овечки, коровки, слышать колокольчики — просто сказка! А что, остальные уже прибыли?

— Пока нет, пан председатель, — ответил Косо. — Начало назначено на два часа — времени еще уйма.

Они пошли напрямик через луг, добрались до беседки под драночной крышей, Шубик оживился.

— Попробуйте крикнуть, — сказал он. — Вам ответит семикратное эхо! Не раз бывал я тут в молодости.

Куцбел крикнул — эхо действительно отозвалось.

— Жаль, что не мог приехать Поляк, — заметил Шубик. — Срочные дела задержали. А почему я это говорю: он тут такое местечко знает, что как крикнешь: "Яно!" — а эхо семь раз ответит: "Поцелуй меня в зад!"

Тут он сам смутился, покраснел и пробормотал извиняющимся тоном:

— Простите, господа, но вы ведь знаете Поляка — любит он сочные выражения...

Тропинка привела их к озерцу, окруженному густым кустарником; Шубик, размахивая портфелем, весело рассказывал:

— А тут мы плавали по озеру на старой двери — и какое же это было удовольствие! Ах, детство, детство... Нет, не вернется оно никогда! Там, — он показал рукой на молодой лесок, — осенью росли рыжики, и так они пахли, так сильно пахли! А это — детский санаторий, — он махнул на желтое двухэтажное здание. — Заседать же мы будем вон в той белой вилле, там и переночуем.

Неторопливо приблизились они к источнику железистой воды, защищенному навесом; тут уж Шубик прямо расцвел:

— Сюда еще Гвездослав приезжал пить медокиш[1]. Прошу вас, попробуйте! Отличная вода...

Куцбел ополоснул стаканчик, висевший на столбике, осторожно пригубил и проговорил:

— А и правда, прямо как вино. Prima, primissima! [2] Для пищеварения хороша...

— Вино все-таки лучше, — не согласился Шубик. — Вот попьем медокиша, потом винца — и такие, господа, идеи придут нам во время совещания! Тут, в лесу-то, и дышится легче...

Ему очень хотелось рассказать, как они, мальчишками, напившись медокиша, становились рядком и состязались, кто дальше пустит струйку. Раза два побеждал и Мефодий. Очень давно это было, и теперь Шубик только покраснел, так и не решившись поделиться такими детскими воспоминаниями.

— Пойдемте в холодок, господа, — предложил он, направляясь к лавочкам под лиственницами. — Передохнем немного. И кстати пригубим малиновки!

С этими словами он вынул из портфеля бутылку, стаканчики,

[1]Железистая минеральная вода с кислинкой.

[2]Отлично, отличнейше! (*лат.*)

завернутые в бумажную салфетку, налил, и все трое дружно выпили.

— Медокишем отдает, — заметил Куцбел.

А Косо сказал:

— Спасибо, пан председатель, что вмешались: мастера нашего сразу выпустили, только две недельки и просидел.

— Всегда готов посодействовать фирме, — развел руками Шубик. — А вот участие немцев будет трудно ограничить. Они теперь начнут ходить к вам, пан директор, но вы не показывайте им все, особенно статьи наших расходов!

Косо с улыбкой погладил усики:

— Правильно, пан председатель, не стану показывать — помню, что было сказано на первом заседании правления: наконец-то словак стал хозяином своей земли. Так, пан председатель?

— Ну, тогда-то я имел в виду чехов и евреев, — возразил Шубик. — А немцы нам самостоятельное государство дали.

"Государство божьей скотинки да святых ослов", — вертелось на языке у Куцбела, но он сдержался, только головой покачал. И когда у Шубика глаза откроются?

Куцбел и Косо одновременно оглянулись — к ним приближались двое: один в гражданской одежде, второй — военный. Куцбел вытаращил глаза: у военного на офицерской фуражке вместо кокарды с гербом были две ленточки, красно-бело-синяя и красная. Через плечо у него висел автомат с диском — таких не было ни в немецкой, ни в словацкой армиях.

Радуз Куцбел слегка толкнул локтем Косо и многозначительно подмигнул. А тут, неподалеку от них, уселись на лавочку еще двое военных, тоже с ленточками на головных уборах. И хотя Куцбел обрадовался, увидев их, однако морозец пробежал у него по спине. Понял: это ребята с гор, а вовсе не дезертиры.

Шубик же испугался: как так, дезертиры, а показываются на людях! На офицера он не смотрел — его внимание привлек тот, что был в гражданском: молодой человек в очках, с небольшой плешью.

— Водичку пробовали, господа? — спросил этот человек, меряя Куцбела пытливым взглядом.

Что-то знакомое было в его лице — но Куцбел не мог вспомнить; а между тем он встречался с ним в "Ориенте", и звали этого человека Эдо.

— Вода хороша, — кивнул он.

— А что вы здесь делаете? — продолжал расспросы Эдо.

— Тут у нас будет заседание правления, — ответил Шубик.

— Да, нынче много заседают, — бросил Эдо. — А что, вы тоже отписываете немцам народное достояние?

— Что вы, — улыбнулся Куцбел. — Мы ведь словаки.

А Шубик совсем опешил: что позволяет себе этот молодой человек! Сам болтается вместе с дезертирами, а еще имеет

наглость голос подавать! Сильно рассердился на него Шубик, но сдержался, промолчал.

— Нынче и словаки — двояки, — сострил Эдо.

— Тяжелое время! — вздохнул Шубик. — Зачем же еще разделять нацию?

Где-то неподалеку послышалось щелканье кнута: пастух загонял корову, отбившуюся от стада, ему помогал черный лохматый пес.

— Родина наша, — принялся философствовать Шубик, — похожа, скажем, на эту корову: кормит нас всех, молоко дает. И польза от нее одинакова, что вам, что нам.

— О нет, — засмеялся Эдо. — Один держит корову за рога, другой — за вымя!

Шубик даже задохнулся от такой дерзости. Хотел было что-то возразить, да тут подошел офицер с автоматом, и у Мефодия душа в пятки ушла. Вместо него заговорил Куцбел:

— Остроумно сказано, молодой человек! Однако немцы-то держат эту корову уже только за хвост, и нашей нации предстоит извлечь всю пользу. Лишь бы немцы ушли!

— Пан нотариус, — тихо пробормотал Шубик, — слишком смелые слова... Не надо так громко!

— Да мы ведь в лесу! — усмехнулся тот; Эдо отошел к офицеру, бросив на прощанье:

— Счастливо заседать!

Шубик с Косо двинулись к белой вилле, Куцбел еще задержался. Что-то заставляло его иначе закончить встречу. Его не смущало, что эти люди носят красную ленточку: споры о политике начнутся позднее, сейчас же все думали лишь о свободе. Немцев надо пощекотать, чтоб они, удирая, не разорили города и села. И Куцбел не выдержал, поспешил к офицеру и крепко пожал ему руку.

XVI

После обильного обеда и краткого заседания, на котором члены правления одобрили полугодовое хозяйствование фирмы "Дары леса", все разъехались из Железного, кроме Шубика с Куцбелом.

В лесу Шубик забыл о войне — хотя его и взволновала встреча с людьми, носившими красные ленточки; но он считал их просто дезертирами. Он обошел все знакомые ему грибные места, собрал полную шляпу белых и горсти три лисичек, почистил их перочинным ножичком и разложил в своей комнате на ночном столике. Потом вышел прогуляться с Куцбелом в долину.

— Здесь хоть отдохнешь от хлопот, — вздыхал он. — Выспимся основательно, а утречком — домой. Подумывал я захватить удочку, — они тем временем подошли к горной речушке, — но

взгляните: вода низкая, по щиколотку, клева не будет. Вот перед грозой или после дождя форели так и клюют... Кстати, вы увлекаетесь рыбной ловлей?

Куцбел отрицательно качнул головой:

— Нет, я не рыболов и не охотник, я только гурман. Но форель на масле с чесночком и петрушечкой — prima, primissima!

— Да, рыба — вкусное блюдо, к тому же постное. Колбасу, например, по пятницам запрещено есть.

— Ну, я не откажусь от нее и в пятницу, — усмехнулся Куцбел, и Шубик только сейчас вспомнил, что нотариус — лютеранин.

Он сразу охладел к своему спутнику, ясно почувствовав: Куцбел не то что Цело Поляк, он и мыслит иначе, обычаи у него не те, не то мировоззрение.

— Ну ладно, ладно, — проронил он тоном некоторого снисходительного высокомерия, не без протеста в душе примиряясь с этим грешником. Что может знать такой человек о добродетели, о жизни в страхе божием? Да ведь живут же среди нас и лютеране, и иудеи — правда, последних осталось очень мало, всех немцы повывели.

— Достаточно мы напостились и помимо пятниц, — сказал Куцбел. — А когда-то привычными были такие блюда, как жареный поросеночек с лимоном, индейка, фаршированная миндалем, пражская ветчинка, — небось сами помните, пан советник.

— Война! У нас-то еще что — вот в рейхе по-настоящему голодают. У нас еще достанешь кое-что: сальце, гусиную печенку и сахар тоже, а у них едят мясо из угля и хлеб из дерева, ей-ей! Господь бог уберег нас от худшего, пан нотариус.

— Как бы немцы не забрали у нас и эту малость. Надо бы помаленьку сокращать их. — Куцбел задумчиво раскрыл ладонь и провел по ней пальцем. — Вот так, сантиметрик за сантиметром... Своя рубашка-то ближе к телу, и мы в первую очередь — словаки.

Они остановились на мостике через речку, Куцбел оперся на деревянные перила; Шубик развел руками:

— Ну, не знаю...

Куцбела чуть не взорвало. Всякий раз, как он просил Шубика занять позицию, достойную мужчины, или подумать о чем-нибудь, в ответ только и слышал: "Ну, не знаю..."

Вернулись к источнику. Шубик, вспомнив, как Куцбел побежал за офицером с красной ленточкой, укоризненно произнес:

— Не надо было вам подавать ему руку, пан доктор. Как знать, из какой казармы он сбежал и почему. Наверняка рыльце у него в пуху. Шатается по горам... Что, если их переловят, если немцы их схватят? Война-то еще не кончилась.

— Так вы полагаете, они просто скрываются? — насмешливо спросил Куцбел. — Или не видели — они уже не боятся нас! Их много, и симпатии народа на их стороне. Мои тоже, пан советник.

У Шубика вскипела кровь. Давно уже нотариус не таил своего стремления застраховаться и открыто поглядывал в сторону Праги. Он наверняка осмеливается и Лондон слушать — но так откровенно он перед ним еще не раскрывался. Стало быть, его симпатии на стороне тех, кто собирается в горах! Ладно бы они только уклонялись от отправки на фронт, но ведь у них, как предполагает Куцбел, есть еще что-то на уме... И он пожал руку одному из них... Что сказал бы Поляк, если б узнал?

Шубик рассердился на Куцбела, но от упреков воздержался. И за ужином был молчалив. Когда Куцбел упомянул о политике, отмахнулся:

— Все это решат и без нас. Пускай каждый свое поле пашет.

После ужина Шубик отправился спать — он устал, да и выпил больше обычного. Погасил лампу, открыл окно, чтоб вволю надышаться свежим воздухом.

Ночь была ясная, звездная. Долго смотрел Шубик в небо, пока его не сморил сон. Но вскоре его разбудили звуки гармошки. Прислушался, приподнялся в постели, затем встал, подошел к окну. В соседнем коттедже горел свет. Шубик разобрал мелодию — нет, это не словацкая песня. Ритм быстрый, так и подмывает пойти в пляс. А вот и слова расслышал:

Калинка, калинка, калинка моя...

Русская! Шубик невольно стал выбивать пальцами такт по стеклу, даже ногой слегка притопывал, да вдруг сам на себя обозлился. Ну ладно, люди молодые, запретный плод всегда им сладок... Поляк приказал штрафовать музыкантов, если они играли русские песни в кафе или кабачках. Мода! Вон и Кирилл тоже долго носил русские косоворотки, хотя есть ведь у нас и свои вышивки, и свои песни...

Но наперекор своим мыслям он сам стал подпевать:

Калинка, калинка, калинка моя...

Гармошка смолкла. Где-то близко крикнула ночная птица, и тотчас вслед за этим послышался над горами гул самолета; на черном небе, среди звезд, проплыли две зеленые искорки, закружились высоко над виллами. Шубик высунулся из окна, увидел — на противоположном склоне горят три костра. Самолет повернул в их направлении, из соседнего коттеджа выбежали три фигурки, задрали головы к небу:

— Наш! Наш это!

Шубик влез под одеяло, отвернулся к стене, прислушался, храпит ли Куцбел в соседней комнате, и пробормотал:

— Наш, наш...

И вдруг его облило холодом: чей — наш? Наверное, русский! Возможно ли, чтоб над горами кружил русский сомолет?

Его охватила растерянность — лучше ни о чем не думать! Стал считать до ста, чтоб заснуть. Но даже во сне, когда комнату наполнил его храп — словно кто-то пилил дрова, не покидала его эта растерянность. Снилось ему, будто в его братиславскую виллу заявились солдаты с красными ленточками на пилотках; заняли все комнаты, оставив ему только кухню с каморкой для прислуги. А во сне, на беду, служанкой у них была еще Ганка. Потом Ганка выбежала на улицу, он сломя голову бросился за ней, преследовал ее по Подградью, вдруг из-за угла выскочил Цело Поляк и погрозил ему пальцем, потом схватил за руку и бросил лицом в грязь.

А после такого тревожного, дикого сна привиделся ему более прятный: он сидит в доме декана Соляра, исповедуется ему в грехах и получает полное отпущение. Absolvo te, absolvo...[1] Но вместо четок в руке у него бокал вина, и вино — превосходное...

XVII

Радуз Куцбел до поздней ночи ворочался в постели. Дома привык спать в ночном колпаке, да забыл его взять, не рассчитывая оставаться в Железном на ночь. Быть может, поэтому и не мог глаз сомкнуть, или мешал ему храп из-за дощатой стенки — будто кто-то пилил дрова. Там сном праведника почивает Мефодий Шубик... Но скорее всего, сон у Радуза пропал от волнения: впервые он увидел тех, о которых лишь шепотом рассказывали по братиславским кафе, — лесных ребят...

Куцбел догадывался, что появление в горах вооруженных людей предвещает близкий конец Третьего рейха, его поражение — и в голове его роились мысли, что бы такое предпринять, как бы оказаться в числе могильщиков людацкого режима, неразрывно связанного с Германией и ее фюрером? Как оборвать нить, привязывавшую его к людакам, к Шубику, к Поляку? Что ж, он перезимовал, как медведь в берлоге, теперь пора бы и проснуться от зимней спячки, дать знать о себе, выложить на стол свои козыри.

Красные ленточки на шапках вооруженных парней его растревожили — он не выносил красные флаги первомайских колонн, никогда не имел ничего общего с коммунистами и при виде серпа и молота весь покрывался гусиной кожей. Но за последние два года он возненавидел все, что исходило от Бер-

[1] Я отпускаю тебе, отпускаю... (*лат.*)

лина: бесправие, жестокость, подавление свободы личности...

Как юрист, любивший латинские поговорки и изречения здравомыслящих римлян, Радуз Куцбел не терпел юридической неясности; а нынче любой гардистский голоштанник мог засадить за решетку кого угодно. В Берлине говорят: право — это то, что полезно нации. Но что это за чепуха, что за юридическая норма? Прямо как у зулусов!

Война кончится, восстановится прежняя республика, и Куцбел вздохнет наконец свободно. Друзья и родственники займут министерские кресла, ему предложат службу в нескольких правлениях фирм с тучными тантьемами; может, он и сам ударится в политику, ведь к кормилу снова встанут чехи и словацкие лютеране, и он, как масон, сможет восстановить тесные связи и рассчитывать на их поддержку...

Куцбел тоже слышал самолет. Он давно знал, что в горы спускаются парашютисты, — и это тоже подстегнуло его приложить свои усилия к делу. Его старый друг, бывший депутат Летко, недавно намекнул, что на него, на Куцбела, рассчитывают, что против немцев организуется широкий Национальный фронт.

Радуз Куцбел!.. Это мать дала ему такое странное имя. Прочитала где-то словацкую сказку о принце Радузе и красавице Людмиле, и ей понравилось это имя. После двух девочек родители уже и не ждали сына, не приготовили заранее имени для мальчика, а он-то и родился. Окрестили Радузом.

Сестры умерли после первой мировой войны от испанки. Старый Куцбел отправился вслед за земляками в Америку, там ему повезло, он вернулся с долларами, купил дом в Братиславе, поднял оптовую торговлю.

Куцбел зажмурил глаза, усмехнулся. Вспомнил, как мама пугала его, когда он не хотел есть кашу или шпинат: вот придет баба-яга, заставит есть вареных змей и лягушек! Она ведь и принца Радуза этим же угощала — и маленький Радуз поскорей съедал кашку, даже из кукурузы.

А может, вареные лягушки вкуснее, чем немецкий "айнтопф"[1]? Пускай себе немцы варят целый обед в одном горшке, чтоб сэкономить средства для фронта, пускай сами едят свое варево — нет, Радуз относился к пище серьезно. Где это видано — валить все в одну кастрюлю, какой тут может быть вкус?

Один рейх, одна нация, один вождь — и один-единственный горшок — к чертям собачьим такие порядки! Ein Reich, ein Volk, ein Führer... Куцбел был из хитрецов хитрец, но все же испытывал родственные чувства к чехам и к русским, особенно вспоминая об отце. Тот был родом из Миявы, что в западной части Словакии, граничащей с Моравией, и не раз говари-

[1] Айнтопф — густой суп, заменяющий первое и второе блюда.

вал, что словаков спасет от истребления только русская дубина да оживленная торговля с чехами.

Нет, не надо нам ни вареных жаб, ни "айнтопфа"!

Куцбел будет, пока возможно, разборчивым в еде и ресторанные меню станет читать, как сонеты. Если б Труда не держала его на короткой узде, наверняка сделался бы первым гурманом в Братиславе. И выпивохой.

Куцбел стиснул зубы. Труда командует им, будто капрал! Ну, если он пустится в политику — придется и ей уважать его, придется отдавать ему предпочтение перед собакой Властой...

Тут его одолела дремота, и Куцбел крепко заснул.

XVIII

Мефодий Шубик держал язык за зубами и никому не проговорился о том, что видел в Железном. Он знал, что молчание — золото, но представить себе не мог, как это трудно — молчать. О солдатах с красными ленточками (а он лишь после сообразил, что дезертиры не стали бы так лезть на глаза) он ни словом не обмолвился Поляку. Этелька заметила, что в последние дни Мефодий ходит задумчивый, все подсчитывает что-то, как старый Зингер, все выписывает длинные столбики цифр и подолгу торчит в министерстве.

Однажды, после плотного обеда, он не вернулся на службу, а пошел пройтись по набережной Дуная. Он не знал, что ему делать — идти ли к Поляку, поделиться своими новыми мыслями, или заглянуть к пани Иренке — она ведь любит послушать о высокой политике, о миллионах марок и крон. Может быть, следовало рассказать ей кое-что о тех ночных кострах в Железном, о самолете над горами... Ему бы сразу стало легче.

Но пожалуй, столь же сильно, как красные ленточки солдат, подействовали на Шубика еретические речи нотариуса Куцбела. Что он там говорил — надо приструнить немцев, распоясавшихся в Словакии, немцы нас до нищенской сумы доведут... Цело Поляк посмеялся бы только, сказал бы: басордыга-мотыга, не гаси того, что тебя не жжет! Сиди и молчи, как вошь под коростой!

Легко сказать — не гаси, что тебя не жжет, а ведь Куцбел, пожалуй, отчасти прав, и своя рубашка действительно ближе к телу. Богатеть должны бы словацкие предприниматели, а не иностранцы! Надо ведь что-то сделать для народа. Словаки должны стать богатыми, богатые — соль земли. При них и бедноте легче жить.

На стене одного из домов Подградья, давно уже покосившегося и обшарпанного, бросались в глаза яркие плакаты: "Назад пути нет, только вперед!" И второй: "За бога и нацию!"

Лицо Шубика прояснилось. Вот о нации-то он думает, а о боге забыл! Давно уже не ходил на исповедь. Не заглянуть ли к декану Соляру? Попросит у него совета — декан ведь к тому же депутат, и о грехах с ним можно потолковать.

Не мешкая, Шубик повернулся, дошел до старой части города, одолел искушение забежать в "Ориент" и вскоре уже звонил в дом священника, мысленно упрекая себя за то, что совсем забыл: Соляр уже более полугода живет в Братиславе.

Дверь открыла экономка, женщина лет сорока, отлично приспособленная для отправления своей благочестивой роли: пышный зад, широкие чресла, мощные ноги и греховно полная грудь.

— Хвала Иисусу Христу, — выговорил Шубик.

— Во веки веков аминь! — ответила экономка. — Добро пожаловать, пан советник, его преподобие в своем кабинете. Проходите, пожалуйста, о вашей милости не нужно докладывать.

Шубик, осторожно ступая, прошел по каменным плитам коридора и постучал. Не услышав ответа, открыл дверь.

Декан Соляр сидел за письменным столом, обложившись книгами. Обрадовался Шубику. Кабинет был увешан изображениями святых, и в таком соседстве праведными казались серые глаза декана; только нос у него цвел фиолетовыми оттенками, и Шубик невольно подумал: этот и без всякой исповеди пьет кровь Христову, которой у него полны винные погреба...

— А я как раз о тебе думал, — заговорил Соляр. — Садись, ну вот хоть сюда, к столу. Давай-ка распробуем...

Он налил вина в бокалы, чокнулись, выпили. У Шубика с плеч свалился камень — хорошо, что пришел к декану, с ним можно лучше потолковать, чем с пани Иренкой.

— А я прогуляться вышел, — объяснил он, — и думаю, дай зайду. Мне пани Мария отворила.

— А ты не поморщился, что она слишком молода? — С этими словами Соляр в шутку погрозил Мефодию костлявым пальцем; тот улыбнулся:

— Хороша она, что правда, то правда, да ведь уже на возрасте.

— Экономке следовало бы быть постарше, так нам предписано. Если б хотели смягчить закон о безбрачии, разрешили бы держать хозяек помоложе.

— Зато старшие лучше стряпают, — вступился за экономку Шубик.

— Черта лысого! Слушай, что я расскажу. Приехал как-то к одному священнику епископ. Сели обедать, суп подала молодая бабенка, а утку с черными ножками — ибо был постный день — другая, еще моложе. Епископ сердито упрекнул свя-

щенника: это что такое, не слишком ли молоды? А священник хитро спрашивает: сколько лет должно быть экономке? Пятьдесят, не так ли, святой отец? Так вот, одной из них тридцать, другой двадцать, а вместе пятьдесят. Это у меня как роман в двух томах.

Соляр подлил вина гостю и продолжал:

— Епископ посмеялся, а через неделю присылает телеграмму — просит одолжить на месяц одну из двух книг. На что священник шлет ответ: первую книгу прислать не могу, сам читаю, а вторая еще не разрезана...

Мефодий захохотал, схватившись за живот. Посмеявшись, сделал серьезное лицо, потер руки и сказал:

— А вообще-то я к вам за советом. Как вы думаете, не следует ли что-нибудь предпринять, чтоб капиталы не уплывали в рейх? Я три дня разбирал документы и подсчитал, что мы подарили немцам двадцать пять заводов и предприятий, производящих оружие и боеприпасы. Шьем для них военные сапоги. К сегодняшнему дню они задолжали нам восемь миллиардов шестьсот миллионов крон — это ведь ужасно!

Соляр оперся локтями на стол, посмотрел в глаза Шубику и спросил:

— А ты что — хотел бы получить долг? Или лучше посылать наших парней в Россию с этим самым оружием? Нет уж, пускай немцы забирают его да воюют за нас. И потом, у нас теперь свое государство, и оно — творение божие. Президент Тисо — законный преемник словацких королей, наследник Сватоплука! — в священном экстазе вскричал декан, поднял бокал. — Но на трон-то его посадил Гитлер...

Он продолжал бы витийствовать — славился декан Соляр тем, что мог одним духом выпаливать длинные фразы, — но Шубик его перебил:

— Гитлер помог, но зачем же он так вмешивается в наши дела? Пан президент сказал ведь, что будет у нас не нацизм, а христианский солидаризм.

— Это было так давно, что уже и неправда, — махнул рукой Соляр. — Президент подал руку профессору Туке, который ясно сказал, что партия наша будет вдохновляться идеями Глинки, но действовать станет гитлеровскими методами. Об этом и газеты писали.

— А можно ли это соединить? — вслух усомнился Шубик. — Не воспользуются ли такой дисгармонией социалисты, коммунисты?

Зазвонили колокола, звон проник через закрытое окно в прохладный кабинет декана, его заглушил на секунду звон бокалов. И снова раздался деканов бас:

— Социалисты, говоришь? Социализм — ересь. Всякий, кто поддастся ему, становится слеп, глух и глуп. А дисгармо-

нии не пугайся. Были мы голубиной нацией, теперь стали воинственной. И если в самом деле неудачным окажется брак между отцом нации Андреем Глинкой и Гитлером, то есть у нас еще святейший отец в Ватикане. Религиозность — врожденное чувство у словаков, и потому святой престол не покинет нас, и не думай, что он отшатнется от нас из-за брака с фюрером. Его святейшество даже поздравил Гитлера, когда тот не пострадал при покушении, помнишь?

Шубик смиренно смотрел на декана. Он был безмерно счастлив, что поговорил с ним, однако так и не понял, что же ему делать. И эту свою неуверенность он выразил своим излюбленным:

— Ну, не знаю...

— Ты знаешь одно, сын мой: надо ждать и время от времени заглядывать ко мне. Да, чтоб не забыть: через неделю у меня день рождения, приходите вместе с Цело!

— Конечно, придем, у меня и в календаре отмечено...

Соляр смерил Мефодия пытливым взглядом с головы до ног и тише спросил:

— И больше ничто тебя не мучает? Не грешил ли ты против святости супружества? Ну-ка, выкладывай смелее!

Шубик потупился и прошептал, как на исповеди:

— Иногда. Случается.

— Ты часто ходишь к этой пани Иренке, не следует тебе быть там постоянным посетителем. Она, правда, дама, но такая с бóльшим удовольствием показывает мужчинам, прошу прощения, голые титьки, чем молится. Супруга должна быть у тебя на первом месте!

Мефодий кивнул с виноватым видом, а декан закурил сигарету, сказал со вздохом:

— Вот так, и еще год прошел, а ты ведь знаешь — что ни год, то к гробу ближе. Дают о себе знать недуги, ревматизм, и живешь на одних лекарствах. Да, лекарства да молитвы продлевают жизнь человеческую...

Шубик испытывал легкость, какая бывает после того, как исповедуешься да отчитаешь десяток "Отче наш". Снова душа его стала спокойной — хотя он и утаил о том, что видел в Железном.

XIX

По старой привычке Мефодий носил дома — даже в летнюю жару — старенькие черные домашние туфли, застегивающиеся на крючок.

Этелька смеялась над ним, но Мефодию было в них удобно, так же как в полотняных исподних, завязанных на щиколот-

ках тесемочками. Как-то он возразил жене, что в этой обуви он будто крестьянин на собственной земле и что такое ощущение весьма необходимо в нынешнее бурное, неустойчивое время. Я — дома, ничего со мной случиться не может, я в своих "прощай, молодость"! Такие же нашивал и отец, и дед...

Мефодий глянул на часы — семь утра. Кирилл принес газеты и, надувшись как-то, пробормотал, что завтрак в столовой. Заметив старенькую суконную обувку на ногах отца, усмехнулся:

— Ну и вырядился ты, папа. Как в цирке!

— Молчи! Зато мне в них отлично. Тепло, от ревматизма спасают, от насморка... Раньше люди-то разбирались в таких вещах, да еще и во многих других. Лесорубы, к примеру, носили с собой в лес кусочек свинца — он вроде хорошо действует на желудок.

— Они что же, свинец глотали?

— Да нет, просто так носили. А против злых духов люди в старину клали за пазуху корочку хлеба и зубец чесноку. А над дверьми вешали подкову или летучую мышь. На счастье.

— Ну что ж, носи свои галоши на здоровье, — ухмыльнулся сын.

Шубик погладил правую туфлю и сказал:

— Если мама меня не застанет, скажи ей, что я вернусь завтра. Мы с немецким гостем едем на охоту.

— С Куглером?

— Нет, с тем, который из Берлина приехал. Вебером зовут.

— Приятного развлечения и охотничьей удачи, — иронически бросил Кирилл. — Только на твоем месте я бы этого немца на мушку взял.

— Тише, тише, сумасшедший! — замахал на него руками отец.

Кирилл вышел, и Шубик взялся за газету.

"Ожесточенные бои под Варшавой", — прочитал он, почесал за ухом и пропустил несколько строчек. Не любил известий, которые нарушали бы его покойное житье-бытье, украшенное молитвами и вином. Зато с каким-то внутренним удовлетворением он вслух прочитал заключительные слова из речи Тисо:

"Ничто не отвратит нас от начатого пути, от участия в священной борьбе Европы против большевизма!"

А ведь Тисо причислят к лику святых, подумал Шубик. И правильно сделают... Несколькими строчками ниже он внимательно прочитал вступительный абзац комментария:

"Как в грозу цыплята прячутся под крылышком наседки, так и мы, словаки, христиане, спешим укрыться под крылом нашего вождя Йозефа Тисо..."

Сначало Мефодий прыснул от смеха — представление о том, как он, вместе с Поляком и Куцбелом, втискивается под сутану Тисо, словно под материну юбку, было настолько смешно, что сразу разогнало все заботы.

Но уже в следующую минуту он на себя рассердился: Куцбел не имеет права на такое убежище, ему не место под обширной президентской рясой, пускай сам выкручивается, еретик двоедушный!

Но вот лицо Мефодия стало серьезным. Он пригладил волосы, зачесанные назад и смазанные благовонным бриллиантином, положил газету на круглый столик и вышел в столовую. Намазал кусок хлеба маслом и медом, запил молоком, а когда Юлька внесла яичницу на сале, отхлебнул боровички и скользнул по девушке влажным взглядом.

Юлька вспыхнула, склонила голову и поставила яичницу на стол. Шубик не отводил глаз от ее хорошо развитой груди. Девушка совсем смутилась. Вспомнила слова бабушки, что все мужчины — свиньи от рождения и, чем старше они, тем хуже.

— Можно убрать молоко? — спросила она, чтоб нарушить тягостное молчание.

Шубик схватил ее за локоток — нет-нет, не то чтобы со страстью, чувственно, — схватил как папаша, добродетельно, и потом, другой рукой, коснулся ее груди.

— Красивые они у тебя, — осмелился проговорить он. — Береги же их, как яблочки на яблоньке. Это ведь самое прекрасное у девушки.

Юлька тихонько вскрикнула, отшатнулась, но безгрешный взгляд хозяина обезоружил ее и успокоил. Прямо ангельский взгляд...

— Хочу посмотреть, боишься ли ты щекотки, — сказал он.

— Тут — нет. — Она уже смелее пожала плечами.

— А под мышкой?

— Там — боюсь!

Во входной двери повернули ключ. Юлька взяла со стола пустую чашку и молочник, шепнув:

— Госпожа!

И поспешно ушла на кухню. В столовую влетела Этелька с корзиной, полной клубники.

— Достала хорошую, только дорого!

— Какая же ты у меня ранняя пташка! — ласково сказал Мефодий, чтоб скрыть свое смущение. Под холодный бы душ теперь!

Этелька уселась за стол, съела ягодку, помотала головой:

— До каких пор будут повышаться цены, скажи на милость? Ведь просто беда, Мефодий. Если б еще мы фабрикантами были — а так? Мясо вдвое вздорожало, жиры больше чем наполовину, полотно в два раза, мыло в два с половиной...

— И еще подорожает, — с чувством вины возразил Шубик. — Война стоит нам кучу денег.

— Ну и скажи этим немцам, пускай сами за нее платят, из собственного кармана! Мы — бедный народ. Вот ты на охоту

с ним идешь, ну и скажи ему, не бойся! Скоро будем лапу сосать, как медведь в берлоге.

Вошел Кирилл с большим рисунком в руках; он давился от смеха.

— Ну, что ты там создал, великий художник? — спросил отец.

— Взгляни, папа, — это я по сегодняшней газете...

На рисунке был изображен Тисо, толстый как бочка, со своей стрижкой ежиком. А под полы его рясы, толкаясь, лезли цыплята с человеческими лицами, причем в одном из них было сходство с Поляком. Под рисунком стояла подпись: "Перед грозой".

Шубик засмеялся — Кирилл верно схватил облик президента, да и Цело похож; но, заметив крест в руке Тисо, Мефодий поморщился:

— Нет, Киро, не надо бы сюда креста-то...

XX

Форель клевала вовсю, и Шубик радовался, что опять выбрался из Братиславы в лес, что увидит Прашивую. Но она не показалась, окутанная облаками. Все небо было затянуто, рои мошкары вились над речкой, однако у Шубика была наживка повернее — луговой кузнечик. Кузнечик, насаженный на крючок, дергал леску, пытаясь выпрыгнуть из воды, временами исчезал в струях и снова выскакивал из пены.

Наступил полдень. Шубик и Вебер неторопливо поднимались в гору; рядом с тропкой шумела прозрачная речка, темная там, где образовались омуты. Пахло хвоей и лопухами, и тихо было, как перед грозой.

Вебер ловил на блесну и поймал пока единственную рыбешку. В этой речке, бурной и быстрой, только форель-самоубийца могла броситься на блесну, к тому же слишком крупную для полукилограммовой рыбки.

Позади немецкого гостя шагал его переводчик, усатый молодой человек с маленькой плешью, похожей на тонзуру. Он без нужды наклонялся над водой, распугивая даже тех немногих глупых форелей, которые польстились бы на блестящую металлическую приманку.

Шубик мысленно ухмылялся. Всякий раз, вспоминая фотографии с повешенными, которые Вебер носил в нагрудном кармане, он испытывал недоброе чувство к своему гостю. Напрасно Вебер пространно излагал ему смелые планы германских властей, целью которых было поднять хромающую словацкую экономику, особенно угледобычу, металлургию, военную и кожевенную промышленность. Напрасно обещал,

что Германия закупит у фирмы "Дары леса" море боровички — Шубик только усмехался про себя: чем меньше гость поймает, тем лучше! Он даже не подсказал ему, что форель следует брать на кузнечика или на червя, а не на искусственную приманку. У немцев вообще все искусственное, даже мясо...

А у Шубика в корзинке лежало уже семь рыб, да еще четырех недомерков он выпустил обратно в реку. Он точно знал, где закинуть удочку, не терял зря времени на мелких местах и не показывался рыбам.

Вебер следил с завистью — вот темная рыба с красными крапинками выпрыгнула из воды, схватила крючок, удочка задрожала в руках Шубика, согнулась — и форель, словно крошечная радуга, прочертив дугу по воздуху, шлепнулась в траву.

А за поворотом речки уже поднялся дымок — шофер разложил костер. Карманным ножиком он выпотрошил рыб, посолил, посыпал тмином, внутрь каждой положил по кусочку сала, завернул каждую в промасленную бумагу, потом еще в мокрую газетину и зарыл в горячую золу.

— Будет у нас фирменное блюдо, пан полковник, — сказал, облизываясь, Шубик.

— Ja, ja, ich weiß[1], — кивнул Вебер, не спуская глаз с тлеющих угольков.

Выпили коньячку, закусили овечьим сыром, и Вебер разговорился:

— Рейх будет помогать вашей Словакии не только потому, что фюрер полюбил словаков или что маршал Геринг любит у вас охотиться, но в интересах новой Европы, в интересах Германии.

Веточкой из костра он зажег сигарету, улыбнулся переводчику — мол, его услуги пока не нужны: переводчик вступал тогда лишь, когда Вебер переходил со своего общеславянского языка на немецкий.

— Нам понадобятся, разумеется после победы, и ваши люди, — продолжал он. — В Сибири и на русском севере — уголь, нефть, золото, алмазы, все это надо будет добывать, а наших соотечественников ждет трудоемкая культурная миссия — поднимать уровень прочих народов, приобщить их к нашему образу жизни. Русских же мы вот-вот поставим на колени.

Переводчик с шофером разгребли ветками золу, аппетитно пахли испеченные форели, но Вебер, увлекшись своими мыслями, все гнул свое:

— Говорят — особенно у вас, — будто мы, немцы, жестоки. Это правда, но судите сами, можно ли поступать иначе? Славяне — простите, я имею в виду не вас, словаков, — замешаны на грубой муке, у них толстая кожа, стало быть, и наказания должны быть

[1] Да, да, я знаю (*нем.*).

соответственно более строгими. Если мальчишка украдет у наших солдат банку консервов, его следует повесить в устрашение прочим, чтоб воровство не повторялось. Сотня палок такому нипочем — он воровства не бросит. И потом, в Европе больше населения, чем нужно, пускай в живых останутся только сильные личности с интеллектом арийской расы, такие, которые признавали бы наш новый порядок.

Шофер заметил, что форель готова. Рыб развернули, начали есть.

— А у нас форелей разводят искусственно, в специальных прудах, — сказал Вебер, облизывая пальцы. — Fabelhaft, wie das schmekt!

— Великолепно, очень вкусно, — перевел переводчик.

Шубика изрядно покоробили разглагольствования об экономической помощи Словакии и о том, почему немцы вынуждены быть жестокими, но он не успел ничего сказать.

Послышались голоса, потом откуда-то из лесу донеслась походная песня. Это озадачило Шубика. Вскоре из-за деревьев показались солдаты в форме словацкой армии. Не видя красных ленточек, Шубик успокоился, хотя за плечами солдат висели винтовки, у троих были даже автоматы. Впереди шагал коренастый сотник.

— Наверное, за бандитами гонялись, — проронил шофер. — Вон и пулемет тащат.

— Извините, пан полковник, я сейчас вернусь, — сказал Веберу Шубик и поспешил к сотнику, которого встретил гардистским приветствием ''На страж!'', хотя и не поднял руку.

Сотник остановился, усмехнулся:

— А по-человечески приветствовать не умеете? Вы — гардист?

Шубик смутился, испугался — уж не дезертиры ли? Он и мысли не допускал, чтоб офицеру, да еще трезвому как стеклышко, не понравилось официальное приветствие.

— Простите, я не солдат, не знаю, как полагается приветствовать, — залепетал он. — Я из Братиславы, из правительства, знаете... Правда ли, что вы кого-то искали в горах?

— Партизан, — кивнул сотник. — Нас за ними послали.

— И нашли? Поймали кого?..

— Ни души — разве что вас схватим, — засмеялся сотник.

Только сейчас Шубик заметил на груди у него фронтовые награды. С таким лучше не спорить...

— О, спасибо, спасибо, — промямлил он, вернувшись к костру, и объяснил Веберу: — Дезертиров искали, бандитов, но никого не нашли. Да откуда им и взяться?

Прикончили форель, умыли руки в холодной воде, сели в машину.

Мотор, успев охладиться, завелся сразу, и автомобиль бодро покатил в гору, оставляя за собой облако дыма и пыли.

— Через полчаса будем в лесничестве, — сказал Шубик, — а вечерком ужо постреляем из засады. Кабаны наверняка набегут, а может быть, и олени, хотя сейчас для них еще рановато.

— Ja, ja, — пробурчал Вебер. — Это хорошо.

За третьим поворотом, под самой уже вершиной, машина остановилась: шесть человек, четверо в форме, двое в гражданском, преградили дорогу.

У Вебера глаза полезли на лоб, он как загипнотизированный смотрел на автомат, который держал один из шестерых, и зубы у него заклацали.

— Russen, Russen...[1] — просипел он.

— Aber nein[2], — успокоил его усатый переводчик. — Это, верно, шутка...

Шубик нахмурился: зачем солдаты так глупо шутят! Потом различил красные ленточки на шапках у двоих парней — и затрясся всем телом. Один подошел к машине.

— Выходите! — приказал он. — Кто такие?

Шубик вылез, дрожащей рукой предъявил солдату свое удостоверение.

Один из гражданских, пожилой уже, спросил:

— Куда едете?

Этот человек показался Шубику знакомым. Где-то он его видел, в Братиславе... Вспомнил: этот пожилой разговаривал с Иваном у входа в "Ориент". Но Шубик не мог знать, что перед ним стоит Йозеф Белан.

— На охоту, — ответил он.

— Хорошенькое время выбрали, — усмехнулся Белан. — А кто это с вами?

Тем временем шофер и переводчик показали солдату свои документы; Белан повторил вопрос:

— Так кого же везете?

— Гостя... — ответил Шубик. И шепотом добавил: — Немца.

— Выходите! — крикнул Веберу Белан, и солдат открыл дверцу машины.

— Что это за немец? — спросил Белан Шубика.

— Да просто по хозяйственной части, — залепетал он. — Приехал заключать торговые сделки — а я из министерства финансов...

Не слушая долее Шубика, Белан шагнул к Веберу:

— Документы!

Вебер стоял как соляной столб, притворяясь, что не понимает. Белан подмигнул солдату, и тот обыскал немца. Вынул у него из карманов пистолет, паспорт, бумажник и все передал Белану.

[1]Русские, русские (*нем.*).

[2]Да нет (*нем.*).

Тот долго разглядывал паспорт Вебера, потом вынул из бумажника несколько фотографий — тех самых. Надев очки, Белан внимательно рассмотрел их.

— Югославия, — проворчал он себе под нос, потом обернулся к Шубику. — Вы немедленно возвращайтесь, вот с ним, — он показал на переводчика, бледного как мел, — ну и конечно, с шофером, а вашего гостя мы оставим у себя.

У Шубика стучали зубы. Хотел было спросить, когда прислать шофера за Вебером, да, увидев, что рядом с немцем встал солдат с автоматом, не осмелился, даже в лицо Веберу не посмотрел.

Перед глазами у него стоял туман, в ушах звенело. Вебер что-то выкрикивал, но Шубик все воспринимал как в полусне, еле расслышал слова Белана:

— Ничего себе, убийцу возите! Еще раз покажетесь с подобным головорезом, и вас заберем. А пана полковника не ждите. Он предстанет перед партизанским судом.

У Шубика окончательно потемнело в глазах, земля закачалась под ногами. Ухватившись за открытую дверцу машины, он, не отдавая себе отчета, все шептал:

— Спасибо, спасибо...

Переводчик помог сесть в машину, шофер быстро развернулся и, съезжая вниз, изо всей силы жал на акселератор.

Шубик зажимал ладонями уши, слезы капали у него из глаз, а он твердил:

— Ужасно, ужасно...

Машина неслась к шоссе.

XXI

— Когда кота дома нет, мышам раздолье, — смеялась Этелька, целуя Йолку Полякову. — Привет, дорогая!

— Здравствуй, Этелька! Мой Цело приезжает завтра, и конец свободе. А Магдушка на лекциях...

Йолка открыла дверь в гостиную; там на столе возвышался шоколадный торт, в глубоком блюде белели взбитые сливки, стояли коньячные рюмочки. За стеклом горки поблескивали серебряные вазы и прочая посуда — по большей части старинная, с патиной.

Этелька завидовала Йолке, обладательнице стольких драгоценных вещей — вон у них в горке даже свастика из серебра.

— Красивая вещь, — показала она глазами на свастику, и Йолка улыбнулась:

— На прошлой неделе заходил к Цело какой-то немецкий высокий полицейский чин, в общем коллега, — он и подарил. А смотри, что еще у меня есть! Да ты садись, дорогая!

Йолка открыла дверцу, вынула из ящика горки мешочек, набитый монетами, высыпала горсточку на стол:

— Тоже серебро, немецкое. Уж оно-то цены не потеряет.

— Конечно, золото и серебро всегда будут в цене.

Дав Этельке наглядеться, Йолка сгребла монеты и снова заперла мешочек.

— У меня их в три раза больше, — похвасталась она, Этелька даже ахнула.

Йолка подсела к столу, налила коньяк в рюмочки, стала потчевать подругу тортом.

— А у тебя много драгоценностей? — полюбопытствовала она. — Мефодий об этом заботится?

На лице Этельки появилось презрительное выражение. "Тюфяк мой Мефодий! — хотелось ей выкрикнуть. — Пока его дубиной не огреешь, фигу от него дождешься!" Но она сдержалась и только кивнула:

— Конечно, заботится.

Йолка, хотя и принялась за торт, тем не менее уловила ироническую нотку в ответе подруги и, чтоб не бередить раны, перевела разговор:

— Ленивая у нас служанка, никак не научу ее вышивать. Мало ее используем. Помогает немножко стряпать, ну, посуду перемоет, в комнатах уберется, а ведь сотню в месяц получает и харч даровой!

— Наша на этот счет постарательнее. За месяц три-четыре скатерки вышьет — и продать умеет.

— А не обманывает она тебя?

— То есть как?

— Может, не все деньги тебе отдает?

— Ну знаешь, — Этелька покачала головой, — этого она не посмеет.

Толстой Йолке очень нравился торт собственного изготовления, облитый взбитыми сливками; и коньячок был весьма по вкусу обеим.

— Надо иметь кое-что в запасе, и не только продукты питания, — говорила хозяйка дома. — Такое, что не портится, золото например. Черт не спит, а время трудное... Правда, Цело говорит, немцы готовят какие-то новые бомбы, или что там еще, и нам, мол, нечего бояться — ну, да мы, женщины, от природы боязливы. Разве я не права? А если разобьют немцев?

— Типун тебе на язык!

— Нам-то хуже будет, — не унималась супруга полицей-президента. — Вам что! Мефодий в министерстве финансов, он посто хозяйственник, а мой Цело? Сама знаешь, таких, как он, прямо на улицу вышвыривают.

Выпили по второй рюмочке, и у Этельки тоже развязался язык:

— Если и Мефодия уволят — останется у него правление, а скобяной магазин записан на мое имя, ну и еще те два дома с тобой пополам. По сравнению с этим оклад чиновника — тьфу!

— Права ты, милая, во всем права. Да у вас к тому же еще своя вилла, а у нас только казенная квартира.

— Но мы должны о Кирилле подумать, дорогая.

— Если он станет хорошим художником, много будет зарабатывать.

— Да разве комедиантством прокормишься? Художники, писатели — все они голодают, — засмеялась Этелька, откусив кусочек торта. — Какой вкусный! Ну, ты же искусница...

— А ты еще лучше. Если дела обернутся плохо, знаешь, что мы сделаем?

— Что?

— Пойдем в поварихи!

Обе засмеялись.

— Нет, правда, откроем свою харчевню! — веселилась Йолка. — Управляющей возьмем пани Иренку, и дела у нас пойдут любо-дорого!

Этелька глянула на часы, и Йолка подлила ей коньяку:

— Куда торопишься, дорогая, Мефодия ведь нет дома?

— Он тоже завтра приедет — они с этим немцем на охоту отправились. Да если б и дома был — какой мне прок от этого медведя?

— Ну, милая, не говори — Мефодий настоящий мужчина, силы у него как у быка.

— Только он никогда не умел ею пользоваться, — давясь смехом, брякнула Этелька.

Она подумала, что, живя с Мефодием, не получала сполна всех радостей супружеской жизни, и добавила:

— С ним у меня всегда бывало как с аперитивом. — Она коснулась пальцем рюмочки. — Или вот как с коньяком: аппетит вызовет, а как следует не насытит...

— Э, все мужчины одинаковы, — махнула рукой Йолка. — Мой Цело тоже не из лучших. Быть может, святость брака не терпит жеребцов...

— Их нам могла бы доставить пани Иренка, — захохотала Этелька.

— Знаешь что? — отозвалась Йолка, поглядев ей в глаза. — Давай зайдем к ней! Отчего бы нам в кои-то веки не заглянуть в "Ориент"?

— А правда, пошли! — загорелась Этелька.. — Не в кафе — там нас могут увидеть, — а просто к ней самой. И такси вызовем!

Обе дамы продолжили свой загул у пани Иренки. И там пили коньяк, закусывали швейцарским молочным шоколадом, сидя в одной из гостиных второго этажа.

И не подозревала пани Этелька, что ее Мефодия, вернувшегося уже три часа тому назад, отделяют от нее только двери. Он сидел в соседней комнате на кровати, полураздетый, испуганно вытаращив глаза.

Пани Иренка, узнав о посещении двух дорогих гостий, оставила его в одиночестве. А у него от этой вести мороз подрал по коже. Жена тут! О господи, куда ему теперь деваться? Придется торчать здесь, пока Этелька с Йолкой не уйдут... Не хватало только, чтоб они его увидели! Он и так уже совсем разбит приключением с Вебером — бог весть, что с ним сделают эти вооруженные люди...

В Братиславу Шубик вернулся, сам не помня как. Поляка он не застал и первым долгом бросил якорь у пани Иренки — давно с ней не бывал, а с нею забывались все беды...

И вот теперь Мефодий весь превратился в слух; он подошел на цыпочках к запертой двери в соседнюю комнату, напряженно вслушивался, даже глаза закрыл.

— Мой-то прямо как воробышек, — доносился до него голос Йолки. — Не чирикает, правда, но все делает быстро, говорю же, прямо воробей. И сразу опять уж он — полицейский, опять думает, кого бы еще засадить...

— У меня голова кружится, — отозвалась Этелька. — Ну что я могу сказать? До чего это нудно — все время одна и та жа надоевшая физиономия...

Шубик сжал кулаки и чуть не бросился на дверь, но овладел собой и стал слушать дальше.

— А ты, Этелька, еще не пыталась найти себе утешения, так, налево? — спросила пани Иренка.

— Да как? Из дому разве выберешься!

— А иной раз перемена-то не повредит, — вздохнула Йолка.

— Такая скука, все с одним и тем же, — проговорила Этелька. — Сопит, сопит да глаза выпучивает, как сенбернар...

Шубик чуть не лопнул от злости. Повернулся к зеркалу, выпучил глаза, закатил их так, что видны стали белки, надулся и язык себе показал.

— Послушай, Иренка, — снова послышался голос его супруги. — Эти девки и в самом деле занимаются непристойными делами... Почему бы не брать с них за квартиру подороже?

— Подумаем, — задумчиво протянула пани Иренка. — Подумаем, ведь цены-то растут...

— А я бы раз в недельку и даром бы туда приходила! — засмеялась Йолка.

— Знаете, что я вам посоветую? — сказала пани Иренка. — Шпанские мушки! Поставьте их своим мужьям — мигом в азарт войдут!

— Правда? — недоверчиво спросила Йолка.

— Сейчас вам их отсыплю. Попробуйте!

Звякнули бокалы, а Шубик в соседней комнате плюнул на ковер.

XXII

Как лев в клетке, расхаживал по своему кабинету Поляк, нервно затягиваясь сигаретой, а Шубик сидел за круглым низеньким столиком и с озабоченным лицом прихлебывал черный кофе.

— Ужасно! — шептал он, мотая головой. — Кто мог этого ожидать! Ужасно...

— Кнутом их надо, кнутом! — выкрикивал Поляк. — Народу, видать, надоело доброе отношение, у него есть все, чего душа желает! Времена Яношика прошли! Лесные парни, — он осклабился, — а гостя немецкого убили! Позор!

Шубик ниже нагнул голову:

— Ужас, ужас...

Поляк швырнул в пепельницу окурок, стоя отпил кофе и лишь после этого сел напротив Шубика.

— Мой человек проник к ним, — начал он. — Вчера вернулся, рассказал: привели они Вебера в свой штаб, в охотничий домик барона Кирхгофа, и представь, нелепость какая: в нашей христианской Словакии судили его именем Чехословацкой республики и пристрелили как собаку! А он их не боялся, наорал на них, заявил, что Гитлер за него отомстит. Смело признал фотографии — и это мне в нем нравится.

Шубик покачал головой:

— Они-то и всему виной. Зачем таскал их при себе? И вообще, где это видано — сниматься рядом с повешенными?

— А ты не снимался?

— Я?!

— А с убитой серной. Не помнишь?

— Ну, с серной... Это другое дело!

— На войне неприятель — трофей. Почему бы Веберу не запечатлеть себя с поверженными врагами?

Такие доводы не укладывались в голове Шубика. То серна, а то люди — это ведь огромная разница! Животных господь сотворил на потребу человеку. А может быть, Цело и прав... Разве война — не та же охота?

— Так что скажешь, Мефодий?

— Ну, не знаю... — вздохнул тот.

— Вебер был порядочным человеком, ты сам видел. А его убивают у тебя под носом. Преступники! — Поляк стукнул кулаком по столу, побледнел. — Недавно по лондонскому радио преступниками объявили нас, а не эту сволочь в горах. Неприятельские державы считают нас военными преступниками.

— Кого?

— Наших политиков, президента, а строго говоря, и нас с тобой, Мефодий. Мне известно — вчера в Мартине состоялась встреча словацких офицеров, заигрывающих с бандитами, с их вожаками. Готовится государственная измена! Задурили головы парням, те уходят в горы, получают оружие. Да и некоторое число солдат сбежало из казарм.

Шубик не выдержал взгляда своего друга, опустил глаза. Он ведь видел таких дезертиров в Железном, а Поляку ни слова о том не сказал...

— Так ли уж их много? — стыдясь самого себя, спросил он.

Цело энергично помотал головой:

— Изменников пока мало — кому же хочется поджигать собственный дом! Но дисциплина пошла коту под хвост, приятель, вот что меня бесит. Солдаты делают что хотят, казармы превратились в голубятни, в бордели, понимаешь ты это? А в горах и русские уже есть.

Шубика передернуло, когда он вспомнил о самолете над Железным, о кострах на склоне. Он и это утаил от Поляка, наверное, то была серьезная ошибка. Но он просто не хотел зря расстраивать друга, у него и так забот полон рот.

— Мы посылаем к ним и наших людей, — продолжал Поляк. — Брат министр ясно сказал: коли не наведем порядок сами, его наведут другие. У нас хватит собственных сил, зачем отвлекать немцев от более важной задачи? Банды в горах надо ликвидировать, чтоб после них и вони не осталось!

Прищурив левый глаз, он зажег новую сигарету, и только теперь Шубик заметил, что у него дрожит рука.

— У нас есть списки тех, кто ушел в горы, — повысил голос Поляк. — Конечно, не всех. Но если тебя интересует, то среди них — Иван Гутян. Черт его нам принес!

— Этого я никак не думал, — прошептал Шубик, красный от стыда, и в эту минуту решил никогда ничего не скрывать от своего друга.

— Завтра они почувствуют нашу силу, — победоносно проговорил Поляк. — Правительство объявит военное положение — с бандитами нельзя обращаться в белых перчатках! Как почувствуют на себе нашу руку, небось отпадет охота предавать государство, которое — от бога.

— Святая правда, святая правда... — вздохнул Шубик.

Тут взревела сирена, возвещая воздушную тревогу. Поляк встал, запер сейф.

— Пошли в укрытие! — бросил он.

XXIII

— Что ты наделала? — накинулся Цело Поляк на свою дочь. — Тебя пригласили на радио читать стишки, а ты и рада выкрикивать "бей, бей его".

Магда надула губки, поправила прическу и повела плечиком:

— Но, папочка, это ведь прекрасные стихи Само Халупки!

— Ну и что ж, что Халупки, — оборвал ее Поляк. — Надо знать, когда что говорить! Посмотри!

С этими словами он вынул из ящика письменного стола листовку, озаглавленную: "Бей его!" На листовке был изображен молодец типа Яношика, он замахивался валашкой[1] на гитлеровского солдата.

— Видала? Вот какие листовки печатают в горах, а ты читаешь те же стихи по радио!

Он вытер лоб носовым платком и уже мягче сказал:

— Магдушка, скажи мне, кто тебе посоветовал выбрать именно это?

— Никто, папа, я сама.

— Плохо ты сделала. Готовилась бы лучше к экзаменам! Заболею я — кто меня вылечит, как не ты? Собираешься стать врачом — зачем же занимаешься пустяками? Ты не артистка, не танцовщица в баре! Смотри, Магдушка! Явились ко мне мои люди, деликатно сообщили, что ты читала по радио такие стихи, — разве мне это нужно?

В отцовском кабинете Магда всегда себя чувствовала чужой. Вот дома, то есть за внутренней дверью, где начиналась квартира Поляков, она позволяла себе больше, не раз и перечила отцу. А здесь, среди всех этих портретов Гитлера, Гиммлера, Тисо, Туки и Маха, среди табличек "Наше приветствие — На страж!", "Ты лично ответствен!" и "Враг подслушивает!" она возражать не осмеливалась.

Вошел секретарь: приехал советник германского посольства Ганс Куглер.

— Оставь нас, Магдушка... — Поляк прищурил глаза. — И впредь не выступай со стихами! Пригласите пана советника, — обратился он к секретарю.

Магда скрылась за внутренней дверью. В ожидании гостя Поляк вышел на середину комнаты. Что принесло к нему Куглера? Хочет еще раз намылить шею за Вебера? Зачем же поминать о прошлогоднем снеге! Или у него какие-то новости?

Куглер вошел быстрым шагом, пожал руку полицейскому, после чего, отступив к окну, покачал головой:

— Сколько времени изучаю словаков, а все их не знаю!

[1] Валашка — топорик на длинной рукоятке, оружие и орудие труда словацких горцев и пастухов.

Какой смысл имеют ночные военные учения в Братиславе, когда в горах, как вы утверждаете, закопошились большевики, а нити от них ведут к самому министерству обороны? Was soll es bedeuten[1]?

Поляк пожал плечами:

— Но я ничего не знаю о ночных учениях! Кстати, почему министр обороны пользуется у вас доверием? Моя бы воля — я б давно его арестовал!

Куглер усмехнулся, понял: Поляк рвется наверх. Тем лучше, усерднее служить будет. И он ответил:

— Не сужайте круг наших союзников, господин полицей-президент! Так просто мы не выпустим из рук министра Чатлоша. Будет петь по нашим нотам!

Он сел в кресло, протер стекла очков и продолжал:

— Наш посол сейчас как раз у вашего министра. Учения будут отменены.

Поляку вспомнился доклад одного из его людей, которому он не поверил. Коммунисты якобы собираются занять Братиславу с помощью гарнизона, удерживать ее два-три дня, перестрелять всех немцев и их друзей. Такой план казался Поляку нереальным, ведь до немецких войск рукой подать, они за мостом, в Петржалке и в Малацках. В два счета могут войти в Братиславу, да и сорок тысяч жителей немецкой национальности тоже не станут сидеть сложа руки.

— Это хорошо, — кивнул он. — Пускай отменят учения. Странно, что мне о них не доложили.

— Перелистал я ваши сообщения, и думаю, что вашим людям верить нельзя. Они слепы и глухи или прикидываются такими. Послушать их, так всюду полный порядок и дисциплина, даже в горах. Эдак окажется, что и с Вебером ничего не случилось. Nichts, gar nichts[2]! А при всем том словацкие немцы просят помощи у нашего посольства, просят защитить их имущество от бандитов.

— В данное время у нас нет достаточных сил для этого, пан советник, — вздохнул полицейский. — Похоже на то, что придется просить у вас подкрепления.

Куглер пристально посмотрел ему в лицо:

— А это уже сделано. Президент Тисо обратился к фюреру с просьбой помочь войсками.

— Отлично! — хлопнув в ладоши, вскричал Поляк.

У него сразу стало легче на душе — меньше ответственности будет на нем, меньше грязной работы. Разве в состоянии он уследить за всеми неблагонадежными, за теми, кто усердно слушает Москву и Лондон! Введение военного положения

[1] Что это значит? (*нем.*)

[2] Ничего, совсем ничего! (*нем.*)

ничего не дало, никто не был предан военному трибуналу, а вредителей везде полно...

— Ситуация обострилась, — говорил меж тем Куглер. — Вы тоже должны действовать более решительно и бескомпромиссно! Нам нужно получить у вас списки неблагонадежных, особенно тех, кто сейчас в Братиславе. Я имею в виду занимающих высокое положение замаскированных мятежников.

— Хорошо, пан советник, приготовим.

— Я был у президента вместе с нашим послом, — зевнул Куглер. — И мы ему посоветовали — он ведь не очень здоров — перебраться на территорию рейха, например в Петржалку, а то и в Вену. Там ему будет гарантирована безопасность. Да и кое-кто из ваших министров подумывает о том, чтобы воспользоваться нашим гостеприимством.

Поляк прищурился:

— Я лично не боюсь, я тут останусь!

— Разумеется, о вас и речи нет, господин полицей-президент. Вы обязаны служить родине здесь, в Братиславе. Вероятно, сюда прибудет гестапо, будете сотрудничать с ним.

Зазвонил телефон. Поляк взял трубку и услышал голос Шубика.

— Здорово, Мефодий! — излишне громко крикнул в трубку Поляк, но, глянув на Куглера, поправился: — На страж! У меня посетитель, советник германского посольства... Да-да, передам, что я об этом думаю? О чем? Что ты говоришь?.. А мне еще не сообщили... по венгерскому радио? А, собаки, басордыгамотыга!.. Ну ладно, потом позвоню.

Положив трубку, он взволнованно объяснил Куглеру:

— Шубик звонил, венгры передают — Румыния изменила, вышла из войны... Цыганская нация!

— Я знаю, — спокойно кивнул Куглер. — Мы еще вчера получили депешу из Берлина. Туда и раньше готовились выступить дивизии, стоящие в Петржалке. Теперь их выступление ускорится — надо залатать дыру на фронте и наказать предателей. Крысы! Дорого они нам за это заплатят, очень дорого!

XXIV

Нередко человек живет двойной жизнью — одной для окружающих, другой — для себя. Для окружающих Кирилл Шубик был несчастным инвалидом с нервными срывами, странным, раздражительным юношей. Во второй же своей жизни, внутренней, он был совсем другим.

Достаточно было ему закрыть глаза, и он превращался в восторженного зрителя некоего немого фильма. По экрану двигались фигурки, строили смешные гримасы, всползали, как клопы, по стене, и падали на пол, и старались подпрыгнуть повыше.

Смешных этих паяцев сменяли чудовища, носатые уроды, зубастые ведьмаки, они, дразнясь, высовывали языки, толкались, дергали друг друга за руки, царапались ногтями, ставили друг другу подножки и топтали тех, кто упал. Лица у них были карикатурные, и каждое напоминало кого-то из знакомых.

Кирилл открывал глаза, фильм обрывался, и юноша брался за карандаш. Карикатуры из его немого фильма переходили на бумагу, и Кирилл распоряжался ими в зависимости от политической ситуации. Например, прочитал в газете, что в трудное время люди, словно цыплята перед грозой, ищут прибежища под крылышком президента Тисо, — и это моментально преобразилось у него в картинку. Подобные немые фильмы являлись ему в бессонные ночи с тех пор, как он, изувеченный, лежал в больнице. Он привык к ним.

Но бывали у него и другие фильмы, героем которых был он сам. Юный калека, он не мог естественным путем утолять жажду любви — и вот, подобно подростку в переходном возрасте, он мечтал о подвигах на футбольном поле, о взятых одиннадцатиметровых, о молниеносных проходах с шайбой по льду, под аплодисменты девушек-зрительниц. А хлебнув тайком вина или коньяку, Кирилл воображал себя могучим, как лев, мускулистым, буйным — и тогда, в фильме своем, играючи повергал наземь самых отчаянных драчунов. И видел он себя обольщающим влюбленных девушек, которые в его объятиях лишались чувств от наслаждения и усталости.

Сидя на лавочке в саду, он провожал глазами всех красивых девушек, проходивших за оградой, и каждая попадала в его воображении на диван в его комнате. Он играл в фильме роль ненасытного любовника, яростно доказывающего свою мужественность и страстность. В его распоряжении были целые шеренги девиц, которых он видел на улице и делал героинями своего фильма. Теперь эту роль играла Магда Полякова, время от времени приходившая в гости к Шубикам со своей болтливой матерью. Магда была годом старше Кирилла, она заканчивала медицинский факультет; Кириллу нравился ее характер, немного меланхолический и томный, нравилась бледность ее лица. Мягкая улыбка Магды уже сказала ему, что она совсем не против сблизиться с ним. Так по крайней мере ему казалось. Но он не переходил к действиям, довольствовался ее ролью в своем фильме.

Никого не было дома; Кирилл знал, что Магда готовится к экзаменам. А что, если позвонить ей?

Он не стал откладывать. Вышел из своей комнаты, хромая, поплелся к телефону, но в это время позвонили у входной двери. Взяв свою палочку, Кирилл поспешил через длинную прихожую.

На пороге стоял высокий, плечистый студент Данё Яношик,

приятель Ивана Гутяна. Поправив очки, он осведомился:

— Кирилл Шубик?

Тот кивнул, и Яношик тихо произнес:

— Я пришел за орехами.

Удивленный и обрадованный, Кирилл спросил:

— Тебя Иван прислал?

— Он. И привет тебе передает.

Вошли в столовую. Глянув на висевшую на стене отцовскую медаль с германским гербом, Кирилл поморщился:

— Я к этому отношения не имею. Отца удостоили.

— Над ними крыша горит, — сказал Яношик, — вот и раздают медальки, чтоб скомпрометировать побольше народу. Чуют, что конец им приходит! Тисо сам Гитлер вручил высшую награду. Удостоил шестнадцать своих преданнейших лакеев в Европе. А что толку с точки зрения национальной экономики?

Кирилл засмеялся:

— Иван рассказывал, что ты часто употребляешь это выражение — "с точки зрения национальной экономики". Вот по нему-то я бы сразу тебя признал, мог и не произносить пароля про орехи!

В комнате Кирилла вытащили из-под кровати чемодан, Яношик открыл его.

— Мне всего-то один орешек и нужен, — сказал он. — И еще возьму пачку листовок. Вот этих красных.

Кирилл вынул из ящика письменного стола свой рисунок и и робко попросил:

— Возьми и это... Подойдет?

Яношик рассмотрел жабу со свастикой и словацким двойным крестом, улыбнулся, похлопал Кирилла по плечу:

— Подойдет! Беру. Иван говорил мне, что ты рисуешь.

Он положил гранату и листовку в пустой портфель, затолкал чемодан под кровать, сел на стул и посмотрел в глаза Кириллу.

— Иван советовал мне известить тебя, если попадусь. Но только в крайнем сучае. Это, пожалуй, можно сделать через дочь Поляка. Но надобности не будет — не поймают меня эти трусы!

— Есть хочешь? — Кирилл подал ему со своего письменного стола тарелку с нарезанной колбасой.

— Поем, — обрадовался Яношик и с аппетитом принялся за колбасу. — Однако надо спешить. Листовки эти мы в казармах раздадим.

— Долго ли пробудешь в Братиславе?

— Самое большее три дня. И — назад, в горы.

Доев, он пожал руку Кириллу и ушел. Кирилл долго с балкона смотрел ему вслед и от души завидовал — тому, что вернется Яношик к Ивану, к своим сражающимся товарищам.

XXV

В доме лесника сильно пахло сушеными грибами и квашеной капустой. Припекало августовское солнце, неподалеку журчала речка; кто-то крикнул в лесу, и эхо себя не посрамило — четыре раза повторило крик.

Все здесь было так, будто царит глубокий мир, будто не близится фронт и тихо в горах. На веранде под оленьими рогами доигрывали партию в шахматы Иван и Эдо. За их ходом внимательно следил Олесь Биненко, киевский студент, — некоронованный шахматный король партизанской бригады "Свободу славянам".

Иван атаковал слоном короля Эдо, хотя пешек у него было на одну меньше. Олесь улыбнулся — этот ход ему понравился. Эдо надолго задумался, потом почесал за ухом и махнул рукой: сдаюсь! Шансов у него не оставалось даже на ничью.

Вдруг тишину разбил радостный и в то же время встревоженный голос:

— Пошли! Начинается!

Иван вскочил, сгреб фигурки в коробку.

— Нам — куда?

На веранду вышел Йожо Белан:

— Начинается! Восстание началось. Наша задача — освободить Микулаш и Ружомберок.

Да, объявленное военное положение не сыграло никакой роли и никого не запугало. Напрасно оповещали газеты: "По всей территории Словацкой республики вводится военное положение; военному трибуналу и смертной казни подлежат следующие деяния: участие в мятежах, убийствах, ограблениях, поджогах, далее — опасное для общества повреждение чужого имущества, плотин, железных дорог, судов, телеграфной и телефонной связи, шахт, а также преступления против общественного здравоохранения..."

Сколько же смертных приговоров уже заслужили Иван и Эдо!

— Вам, ребята, идти в Ружомберок, с вами — Олесь, — сказал Белан. — Идите прямо к жупану, возьмите у него секретные документы. А войдете вы к нему через полчаса после того, как партизаны займут город. По узкоколейке доедете.

— Хорошо, — согласился Иван. — А как будет с Братиславой, товарищ Белан? Тоже поднимется?

— Надо бы, особенно казармы... Без солдат не обойтись. Для того и Яношик туда послан. Здесь-то горы да лес, здесь мы удержимся даже против превосходящих сил. А немцы к нам привалят — их Тисо позвал.

— Паршивый пес! — прошипел Эдо. — А еще называет себя наследником Сватоплука...

Белан глянул на часы и сказал:

— Я вас подброшу до узкоколейки. У нас четыре телеги — поместимся.

В дороге — сначала на лошадях, потом в вагончике узкоколейки — Иван думал только о том, как войдет в канцелярию жупы, как прижмет жупана...

В Ружомбероке на углах всех улиц уже стояли партизанские патрули. Проходили колонны восставших солдат местного гарнизона. Некоторые из них несли по две винтовки. К ним присоединялись гражданские — и у каждого в руках было оружие.

Навстречу Ивану, Эдо и Олесю попались два партизана — один был в солдатском мундире, но в гражданских брюках, второй — наоборот.

— Главное, у них винтовки есть, — улыбнулся Олесь.

По улице промчался грузовик, набитый людьми, над ним развевалось красное знамя. Словацкие парни старательно выводили на ломаном русском: "На позицию девушка..." На окраине где-то залаял пулемет, затрещали автоматы...

Добравшись до жупной канцелярии, оставили Олеся в подъезде, вдвоем прошли внутрь. Эдо энергично постучал в дверь. Долго никто не отзывался — дверь отперли только после третьего стука. Вышел перепуганный лысый служащий.

— Нам нужен жупан, — сказал Иван.

— Пан жупан отбыл в Братиславу...

— Мы — партизаны, — заявил Иван. — Кончились обязанности вашего жупана. Видите, что творится? Откройте шкаф с секретными документами!

Служащий побледнел, как стена, сунул руку в карман — звякнули ключи.

— Я не имею права... Без пана жупана... Но я открою, чтоб вы не подумали, будто я за немцев. Немцы, господа, мне осточертели!

Он отпер шкаф и сейф.

— Вот это нас и интересует. — Иван глазами показал на сейф. — Вот тебе, Эдо, исторический архив, можешь изучать!

Эдо засмеялся, протер платком очки и тотчас взялся разбирать папки. Зазвонил телефон. Служащий двинулся было к аппарату, но Иван удержал его. Сам поднял трубку:

— Алло! Да, Ружомберок. Канцелярия жупы. Вернулся ли брат жупан? Из Братиславы? Нет еще, но к исполнению своих обязанностей он уже вряд ли приступит. Почему? А кто это говорит? Что? Полицей-президент Поляк? Очень приятно, пан обер-шпик, имею честь быть с вами знакомым... Что здесь делается? Да ничего, просто революция, пан шеф... Да, мы в здании жупы. Кто я? Нет, не служащий, партизан я, пан шеф, партизан...

Иван со смехом положил трубку и развалился в кресле жупана.

— Стало быть, пан Поляк еще на месте. — И он взъерошил пятерней свою буйную шевелюру.

— Что же ты не передал привет Шубику? — пошутил Эдо. — И вообще, не похож ты на жупана. Слишком растрепанный.

Полистав документы, Эдо позвал Ивана:

— Гляди-ка! Что пишет министерство обороны: "Местным командирам и старостам организовать в каждом населенном пункте отряды обороны из населения для борьбы с диверсантами..." Слыхал? — Эдо захохотал. — Нас диверсантами называют!..

Служащий, стоявший у двери словно личный телохранитель, подошел к Эдо:

— Господа, этот документ поступил к нам ошибочно. Он направлен был в Шаришско-Земплинскую жупу, я сам читал адрес...

— Стало быть, в Липтове диверсантов нет? — засмеялся и Иван.

Эдо открыл новую папку и даже присвистнул от радости.

— Послушайте-ка! Датирован 31 августа... "К вопросу о войсках вторжения для борьбы с партизанами... Обеспечение войск транспортными средствами... Следует предоставлять им необходимый автотранспорт, для чего реквизировать у частных владельцев" — ну и так далее. Подписался кто-то за премьер-министра, подпись неразборчива.

Иван почесал за ухом:

— Так... В поход на нас собрались, да, видно, обо...сь... С точки зрения исторического развития, как ты бы выразился...

XXVI

Поляк стукнул кулаком по столу и даже позеленел. Он держал трубку левой рукой; выслушав, что ему говорили, взорвался:

— Чтоб их черти на том и на этом свете корчили! Это уж чересчур!.. Конечно, я сам проверю... Да-да, настроение в городе... За решетку антихристов, за решетку! Хорошо, что подходят немецкие части, скорее шею свернем этим... На страж!

Он повесил трубку, вскочил как ошпаренный, налил сливовицы в рюмку, опрокинул в рот, закурил сигарету и, качая головой, пробормотал:

— Невероятно!..

Три дня назад, когда ему по телефону отозвался из Ружомберока партизан, Поляка чуть удар не хватил. Но тогда он как-то успокоился: Ружомберок еще не вся Словакия. Спустились с гор диверсанты, напали на казармы, забрали оружие, перестреляли немцев, захватили еще город Микулаш — ну вот и все. Так думал Поляк еще позавчера. Придут войска,

отряды глинковской гарды, к ним присоединятся жандармы, и общими усилиями они рассеют бандитов. Но этого не произошло.

Недовольные подняли голову и в других местах, а донесения агентов не предупредили об этом. В стране введено военное положение, люди должны бы дрожать от страха, дрожать как зайцы, соблюдать дисциплину — а они, вон, приветствуют диверсантов! Неслыханное свинство! И как это агенты Поляка не учуяли заранее? Почему молчали председатели местных организаций Словацкой народной партии, почему не слали донесения войсковые командиры и начальник глинковской гарды?

Поляку стало известно только, что несколько дней тому назад партизаны вывесили в Склабине — о господи, на территории Словацкой республики! — государственный флаг Чехословакии! Мало того — на ратуше заплескалось и красное знамя, и население терпело это! Им что, Сталин и Бенеш ближе, чем Тисо? Хорошенькое дело! Нет, терпимость не приводит к добру, от нее польза только партизанской сволочи...

Поляк вздохнул: напрасно добивался он более решительных мер против прислужников Праги и Москвы, осквернителей религиозного чувства и родственной любви словаков, — ничего он не добился, вынужден был считаться с мнениями людишек, которые держат зажженными две свечки, да еще с тем, что каменщики не успели построить новые тюрьмы, а старые были переполнены...

Да, во всем обманули его люди; всякое чутье потеряли, не слышат мятежных речей, пьянствуют... Вон даже у Шубика есть свой придворный большевик, мастер фирмы "Дары леса". Шубик, даже незнакомый с ним лично, вытащил его из-за решетки. Впрочем, Мефодий просто ни рыба ни мясо, все дела хочет решать молитвами, а на доброте далеко не уедешь. Только Мефодий этого никогда не поймет.

Государственный переворот! Какая наглость! И это не утка, это правда, звонили-то из министерства внутренних дел: подкупленные изменники в Банской Быстрице, штатские и военные, объявили Национальное восстание! Но какое же оно Национальное, коли нация послушна своему вождю? Или эти антихристы совсем сбили с толку людей? В Италии и Румынии им это удалось — неужели и под Татрами удастся? В Мартине расстреляли немецких офицеров...

Еще вчера Поляк убеждал Шубика, что происшедшее в Ружомбероке и Микулаше — лишь незначительные эпизоды, не станет же народ поджигать собственный дом, и диверсанты получат по шапке. И вот сегодня Поляк чувствует себя лжепророком.

Он подошел к телефону, набрал номер и, когда на другом конце провода ответил знакомый голос, закричал:

— Мефодий? Басордыга-мотыга, знаешь новость? Нет? В

Банской Быстрице объявили Национальное восстание... Немецкие войска еще не переступили наших границ, и эти антихристы играют с огнем... Нет, не бойся, мы им шею свернем... Мне только досадно, что нас плохо информировали, а сам разве всюду поспеешь... Сейчас иду в город, посмотрю... Знаешь, своими глазами. Что? Твой министр ездит ночевать в Петржалку? Смешно... Скажи ему — дам охрану! Пан президент, правда, в Вену на ночь ездит, зато по вечерам он там совещается... С кем? С Бальдуром фон Ширахом... Ну, я пошел, Мефодий, потом позвоню. На страж!

Только положив трубку, вдруг подумал: чего это он так официально? Обычно прощался с Шубиком по-человечески — привет, с богом... А впрочем, это хорошо. Пускай крысы первыми покидают корабль — правда, корабль в опасности, но еще не тонет! — а он, Поляк, стоит как скала, вот он и с близким другом прощается как истый гардист... Не то что Куцбел! Недавно встретил его на улице, и тот ему: "Нижайший поклон". Язык бы у него отсох, что ли, если б поздоровался "На страж!"? У такого вот Куцбела вполне могут быть связи с бунтовщиками в Быстрице. Надо будет приглядеться к нему...

Большевики, приверженцы единой Чехословакии, вольнодумцы — все это одна шайка, и место им в Илаве. В самом деле, для чего там держат уголовников? Надо бы их амнистировать и в освободившиеся камеры посадить политических. Эти нынче куда опаснее. От вора-то легче убережешься, и потом вора можно научить обращаться с оружием, можно включить его в отряды гарды, пускай стреляет в диверсантов!

Поляк вышел в город. На первый взгляд ничего особенного не заметно — люди озабоченно куда-то спешат, не собираются кучками, не ведут бунтарских разговоров.

Поляку стало легче на душе. Он направился к Дунаю, и здесь ему предстала совершенно иная картина: по мосту в Петржалку валят толпы людей с чемоданами, женщины — с детскими колясками; приблизившись, Поляк услышал одну лишь немецкую речь. Понял: братиславские немцы спасаются! Зачем они сеют панику? Бояться ведь нечего, а они уже в штаны напустили! Неужто словаки должны поучить их мужеству?

Засигналил автомобиль, Поляк оглянулся. Мимо промчалась машина, в ней сидел человек — знакомое лицо, волосы подстрижены ежиком — президент! Тисо хмурился. Машина въехала на мост: пан президент едет отдыхать в Вену. Он сильно утомлен и озабочен.

Поляк двинулся было к казармам, как вдруг его остановил агент Матейка:

— На страж! — И, понизив голос, торопливо заговорил: — Я из казарм, там все кипит, как в улье, и все стены залеплены листовками...

— Что ж вы их не сорвали?

— Легко сказать, — грустно усмехнулся агент. — Да солдатня в два счета убить может! Сейчас они ругаются между собой, боятся, что придут немцы и всех перехватают...

— Я загляну туда сам, — сказал Поляк. — Что у вас еще?

— Говорят, в военной академии бунт. Иду туда.

— Хорошо, Матейка, поторопитесь. Потом приходите ко мне.

— В управление, пан шеф?

Поляк кивнул и двинулся дальше. Он должен убедиться лично, какая там заваруха в казармах, ведь он ответствен за все! Неужто солдаты вышли из повиновения? А что же офицеры? Им хорошо платят, и на фронте изрядно подлатались, старинных икон натаскали, золотых рублевиков... Вернувшихся домой ожидало повышение, а если кому надоел мундир, мог найти себе тепленькое местечко, получить процветающий магазин или службу, а то и место офицера в глинковской гарде!

Что это сталось с людьми? Почему голову потеряли? Фронтовые офицеры — а трясутся, как бабы, с солдатами не справляются. И министр обороны — баба. Правы были немцы, когда хотели его арестовать. Вот теперь он удрал, как вор, — а плохо ли ему было? Министр — это ведь шишка, и власть у него, и почет, и оклад что надо! Назначили бы министром обороны его, Поляка, — показал бы он этим офицеришкам!

Солдаты не осмелились бы и пикнуть, если б офицеры не были с ними заодно. Германия голодает — а у нас можно еще достать хлеба с гусиным салом или шпик... Но разве это все? Республика дала словакам нажраться, а вот духовной пищи отпустила маловато — то-то повсюду и распространился этот самый алибизм.

Нет, порядок необходим, и Поляк верил, что он будет наведен, идут уже в Словакию немецкие войска!

На перекрестке, около своей будки, стоял полицейский. Поляк покраснел от злости: почему не регулирует движение?!

— Марш в будку! — гаркнул он на полицейского.

Тот испугался, вытянулся в струнку и поспешил исполнить приказание.

Поляк перевел дух, вот так и надо: дисциплина, порядок! Полиция — не голубятня, она — опора, на которой стоит республика со всеми ее церквами и президентским дворцом!

Сколько уговаривал германский посол Людин президента арестовать министра обороны! И в последний час, когда Тисо наконец-то отдал такое распоряжение, министр успел навострить лыжи. Надо бы президенту хотя бы на время военного положения назначить полицейское правительство. Вот это была бы власть от бога — Поляк ведь представлял себе бога в виде полицейского.

Улыбка появилась на лице Поляка при мысли о том, что он

мог бы стать главой правительства. Но улыбка сбежала с его лица, едва он очутился перед воротами казарм. Он так и застыл на месте. Вынул было сигареты, чтоб успокоиться, да так и не закурил. Над воротами висели плакаты: "Долой Гитлера!", "Бей его!", "Словаки, в бой, зовет нас капитан Налепка!".

Какова наглость! Поляк чертыхнулся. Ведь Налепка — дезертир, перебежал к русским из словацкой армии.

В глаза Поляку бросились на стене две листовки: на одной — рабочий в комбинезоне, с молотом в руках и крестьянин с серпом прогоняют собаку с головой Гитлера; на другой — толстая жаба несет словацкий двойной крест и свастику. Вторую листовку Поляк успел сорвать, когда из боковой дверцы ворот выскочил вооруженный солдат с криком:

— Вы что тут делаете?!

— Я из полиции, — отрезал Поляк. — Впустите меня!

— Да вас застрелят как собаку!

— Не беспокойтесь, в штаны не напущу.

— Идите, коли охота, — повел плечом солдат.

Поляк вошел во двор казармы. Тут группками стояли солдаты, и среди них — несколько офицеров. Веснушчатый надпоручик выкрикивал:

— Немцы разоружат нас, арестуют! Давайте разойдемся! Кто куда хочет!

Стоящий неподалеку от него парень в штатском старался перекричать надпоручика:

— Да это идиотизм, ребята! У вас оружие, чего боитесь! На улицы!

— Не сходи с ума, — оборвал его чей-то бас из группы офицеров.

Штатский оглянулся, и Поляк узнал его: широкий лоб, очки, густые брови — да, это тот студент, на арест которого он выдал ордер, только фамилию никак не вспомнит — слишком много было их в списках, разве упомнишь имя Даниэля Яношика?

Положив в карман сорванную листовку с жабой, Поляк подошел к рослому поручику, прислонившемуся к забору.

— Это подстрекатель, что вы его слушаете! — воскликнул полицей-президент.

— А вам-то что? — парировал поручик. — И вообще, что вы тут делаете? Шпионите?

Поляк побледнел, но поручик уже перестал обращать на него внимание, прислушиваясь к словам Яношика. А тот говорил:

— Ребята, если не хотите выйти на улицы — ступайте в горы! Да с оружием!

Раздалось сразу несколько голосов:

— И пойдем!

Поляк правильно оценил положение. Одни, правда, кричат

"но", другие "тпру", но орать "На страж!", пожалуй, никто не желает. И никто не поймет разумного слова, лучше и не начинать, еще пальнет какой-нибудь олух. Они теперь как осы — чуть что, кусаться начнут. И хорошо, что не собираются выйти на улицы — пускай себе разбегаются. Немецких военных в Братиславе всего тысяча, словацкий гарнизон составляет восемь тысяч, могут много дров наломать, пока не подошли части вермахта. Как потом объяснять немцам, что не овладел положением?

И Поляк назаметно удалился со двора казармы; часовой у ворот крикнул ему вслед:

— Что, не всадили пулю в задницу?

Стиснув зубы, Поляк ускорил шаги. Хотел было вернуться в управление, но что-то потянуло его в "Ориент". Адская жажда, а у пани Иренки водятся лучшие модранские вина. Выпьет с нею, поболтает, облегчит душу...

Кафе зияло пустотой, хотя солнце уже закатывалось. Поляка встретил карточный король Берци, учтиво поклонился:

— А мы с женой да с паном советником как раз говорили о вас...

— Он тут?

— Да, пан президент, наверху за бокальчиком.

— Это хорошо, — обрадовался Поляк. — Пойду к нему.

— Милости прошу, пан президент, извольте... А я тут сторожу. Говорят, в городе неспокойно, видите, в кафе ни души...

Поспешая по лестнице следом за Поляком, Берци спрашивал:

— Что же это будет, пан президент? Вы ведь все знаете...

Поляк остановился, прищурил глаз и сказал:

— Конечно, знаю, пока что дело дрянь. Но порядок будет, Берци!

— Будет ли, пан президент?

— Послушайте, Берци, — Поляк словно впервые усомнился в собственных словах, — будет еще в два раза хуже, а уж после — никогда лучше не станет...

Засмеявшись недобрым смехом, он поднялся наверх. А Берци долго еще стоял на лестнице и, разинув рот, смотрел ему вслед. Потом, покачав головой, тихо произнес:

— Ох и шутник вы, пан президент!

XXVII

Поляк нашел своего друга в отличном настроении. Шубик сидел рядом с пани Иренкой, потягивал винцо и ел паприкаш из курицы.

— Привет, Цело! — весело крикнул он. — Легок на помине!

Слыхали мы сообщение по радио. У тебя, конечно, масса хлопот. Но послушай, это же чепуха — несколько офицеришек в Банской Быстрице объявило восстание... Да кто за ними пойдет!

Поляк поцеловал руку пани Иренке со словами:

— При виде вас или как услышу запах курятинки — у меня прямо слюнки текут...

— Ах, какой вы льстец, пан президент, — погрозила ему пальчиком пани Иренка. — Сейчас принесу вам паприкаш, но сначала отведайте вина!

Она налила ему вина. А Поляк, пожав руку Шубику, грустно усмехнулся:

— Несколько офицеришек, говоришь? Нет, брат, дело серьезнее. Кипит повсюду — Липтов, Турец, Орава, Быстрица, Восточная Словакия... Многие попались на удочку! И наши обожравшиеся народолюбы вдруг спохватились, что они — славяне и русские с чехами — славяне, а следовательно, нижайше прошу прощения, наши братья. Ну а немцы для них теперь — германские варвары.

— Они протрезвеют, — успокоил его Шубик, — протрезвеют! Русские были славянами при царе, а не при Сталине, Сталин и сам-то азиат. А чехи угнетали нас не хуже венгров. Подерут глотки заводилы, и все кончится, ты не думаешь?

Поляк осушил залпом бокал и брякнул:

— Мятеж разрастается!

— Ничего, справимся!

— Черта лысого справимся! — взорвался полицей-президент. — Только немцы и могут нас вытащить из дерьма. Слишком терпимы мы были ко всяким сволочам, вот и расплачиваемся.

— Да чего вы боитесь, господа? — засмеялась пани Иренка. — Наш пан министерский советник — настоящий социалист!

— Что-о? — опешил Поляк, а Шубик вытаращил глаза.

— Ну да, он бедным помогает!

Шубик облегченно перевел дух:

— Ах, но это же долг христианина — помогать ближним. Вот я и объявил сбор поношенной одежды для бедных, ты ведь это знаешь, Цело. Социализм возвещает ненависть, христианство — любовь...

— Я и имею в виду любовь, — кивнула пани Иренка, — а вовсе не старые тряпки. Пан советник только что говорил мне, что добился повышения таксы за любовь для подградских девок.

Поляк захохотал.

— Что ж, я улучшил им условия. — Шубик сложил руки на животе. — Они заслужили...

— Ты тут о подградских девках печалишься, а над Словакией развеваются чужие флаги — чехословацкие! — не сдержался Поляк. — Неужто не понимаешь?

— В Братиславе все тихо, — возразил Шубик.

— Тихо?! Немцы удирают с чемоданчиками в Петржалку, гардисты попрятались, правительство торчит в Вене вместе в с президентом...

Несмотря на внешнее спокойствие, пани Иренку охватило чувство неуверенности. Она поискала сигареты, Поляк предложил ей свои, чиркнул зажигалкой. И пани Иренка тихо проговорила:

— Президент — мудрый человек, господа, я его близко знаю. И пан Тука — человек образованный, профессор. Он учился в Будапеште, а будапештские учебные заведения пользуются хорошей репутацией. Если нужно будет, оба сделают то же самое, что и румынский король, — бросят немцев на произвол судьбы...

— Но мы не румыны, пани Иренка! — нахмурился Поляк. — И не итальянцы. Этого не будет никогда! И потом, красивые дамы, как вы, хорошо разбираются в коммерции, в паприкаше, в постельных делах — но не в политике.

Пани Иренка от смеха даже поперхнулась и, разгоняя рукой дым, выдавила из себя:

— Вы правы, пан полицей-президент, женщины разбираются в политике, как гуси в пиве.

Шубик хранил задумчивый вид, даже когда пани Иренка вышла, чтоб принести Поляку паприкаш. Как спасти государство? Может быть, президенту следует повернуть армию против немцев?

Цело Поляк был его ближайшим другом, но все же Шубик поостерегся высказывать при нем свои мысли вслух. Не то чтобы он его боялся или не доверял ему — просто при Поляке он сам себе показался бы маловером.

— Немецкие войска в два счета ликвидируют диверсантов, — говорил меж тем шеф полиции. — Явится генерал СС Готтлиб Бергер, а он крутой солдат и опытный полицейский. Тогда-то мы и наведем порядок, действовать будем бескомпромиссно. Всякой терпимости будет положен конец, Мефодий. Мы будем жестоки. Порядок — главное в жизни, а мы, словаки, разгильдяи. Нам бы учить немецкий, учиться порядку, и называть его следовало бы по-немецки — орднунг, тогда и будет государство, а не голубятня.

— Ну ладно, будет порядок — а дальше что? — повел широким плечом Мефодий. — Фронт-то приближается...

— Немцы остановят русских в Карпатах, а тут и секретное оружие подоспеет. И зазвонят все колокола, возвещая победу и мир. Представляешь ты себе, Мефодий, мир?

— Не очень... Привыкли мы уже к войне, к страху, к бомбам и тревогам. А впрочем, не знаю... — Шубик развел руками. — Говорил мне шеф протокольного отдела МИД'а — он ездил с президентом в ставку фюрера, — будто за обедом у Гитлера

руки дрожали, так и звенела вилка о тарелку...

Поляк грустно усмехнулся:

— Наверное, был расстроен из-за итальянцев. Не шутка, когда друзья к тебе спиной поворачиваются. Но у него еще хватит сил и здоровья, чтоб выиграть войну. — Он закуривал уже третью сигарету подряд, и у него тоже дрожали руки. — А вот поймаю я за руку этого шефа протокольного отдела! Кто же, кроме него, мог переправить в Лондон сообщение об этом обеде? Ясно! Обо всем этом недавно передавали по лондонскому радио, даже меню обнародовали... За прослушивание иностранного радио введем смертную казнь, — добавил он с улыбкой удовлетворения, словно упоминал о чем-то приятном.

— Стало быть, и Братислава вверх ногами? — вернулся к прежней теме Шубик.

— В казармах бордель! — взорвался Поляк. — Солдаты отказываются повиноваться, спорят о том, что надо делать... Видел я там одного из студентов, вроде вашего Ивана, из бунтовщиков, да что ты поделаешь, когда на тебя пялится столько глаз? Не мог я его ни задержать, ни даже личность установить...

— Да, печально, — вздохнул Шубик. — А что же офицеры?

— То же, что и солдаты. Бунтуют, болтают языками, даже листовки сорвать не приказали, басордыга-мотыга! Вот посмотри, что я там увидел...

Он вынул из кармана смятый листок, расправил на столе — и на Шубика глянула толстая жаба.

Жаром обдало Мефодия, едва не вскрикнул он от неожиданности, да сдержался, только плотно зажмурился: узнал карикатуру Кирилла.

Поляк, быть может, прочитал бы по лицу приятеля его растерянность и смущение, упрекнул бы в скрытности, если б не пани Иренка. А она вошла элегантной походкой, неся блюдо, от которого поднимался вкусный запах куриного паприкаша.

XXVIII

Данё Яношику исполнилось двадцать три — это следовало отметить, но чем? Партизаны выгнали немцев из небольшого курортного местечка в горах, и Иван обещал Данё раздобыть малость спиртного.

Управляющий курортом давно сбежал. Иван с Эдо перерыли весь склад, но, кроме нескольких килограммов муки да сахару, нашли только три бутылки малинового сиропа.

— Ну и задачка — отпраздновать нынче день рождения, — засмеялся Иван.

— Мой день в ноябре, — грустно вздохнул Эдо. — Тоже не лучший месяц выбрал...

Они взяли бутылки и поспешили к вилле, где должна была разместиться их группа в ожидании Белана.

Данё Яношик вместе с двумя партизанами стояли у дверей виллы; Иван кивнул ему:

— Придется пить за твое здровье малиновый сироп!

Один из двух партизан, тот, что был ростом пониже, горбатый Яро, — между прочим, искусный столяр, хотя только еще ученик, — заявил, что у него есть отмычка, и отпер двери виллы.

— А педанты эти немцы, — усмехнулся Эдо. — Еле ноги унесли, а дверь за собой успели запереть!

В кухне на столе стоял деревянный бочонок.

— Паленка! — просиял Иван и хлопнул Данё по плечу. — Стало быть, не малиновой водичкой, паленкой отпразднуем! Немцы забыли...

Эдо потянул себя за ухо:

— Осторожней! Может, нарочно оставили какую-то гадость нам на погибель.

— Ты прав, — согласился Иван.

Кто-то из партизан притащил кошку. Данё весело захлопал в ладоши:

— Идея! Дадим сперва ей попробовать. Не отравится — так и мы живы будем.

— А ты соображаешь, — кивнул Иван.

Яро отвернул краник бочонка и налил в тарелку немного желтой жидкости, поднес к ней кошку.

— Наверное, грушовка, — причмокнул Эдо и постучал по бочонку. — Почти полный!

Но напрасно они старались — как ни гладили кошку, как ни тыкали ее мордой в тарелку, она отворачивалась.

— Вот дураки! — хлопнул себя по лбу Иван. — Известно, что кошки алкоголь не выносят...

— Придумал, — сказал Данё, вытаскивая из кармана бутылку. — Тут у меня молоко, лесничиха дала. Накапаем в него грушовки, и дело с концом. Молочко-то кошки обожают!

Однако кошка не соблазнилась и этой смесью. Иван покачал головой:

— Видать, что собаки, что кошки — великие трезвенники...

Горбатый Яро налил немного загадочной жидкости в кружку.

— Со мной даже девушки танцевать не хотят — я сам попробую! Жив останусь — пейте все!

— Не дури! — крикнул было Иван, но Яро уже, перекрестившись, отхлебнул из кружки.

Он не проглотил, задержал жидкость во рту, и нетерпеливый Эдо дернул его за рукав:

— Ну что это? Говори! Грушовка?

Яро выпучил глаза, как раздавленная лягушка, состроил

кислую гримасу и с отвращением выплюнул неведомый напиток, после чего вдохнул побольше воздуху и выпалил:

— А чтоб на нее собаки с...

— Да что же это? Грушовка?

Сморгнув слезы, выступившие у него на глазах, Яро крикнул:

— Политура!

Как ни были разочарованы ребята, — хором загоготали. Один Яро ругался, промывая рот над раковиной.

— Слыхал я, зачем немцы таскают с собой политуру, — заговорил Иван. — Боятся тиф подхватить, еще бы — явились-то ведь к дикарям, к грязнулям, вот и покрывают столы политурой. Так и офицерам ихним приятнее сидеть за столом — и блестит, и дезинфицирован... — Обведя взглядом друзей, он добавил: — Ну, что делать! Придется отметить день рождения Данё малиновым сиропом...

Яро вытер губы рукой и, уже с лукавыми огоньками в глазах, сказал:

— Зато закуска будет! Я в ручье форель поймал.

Он вытащил из кармана рыбу и стал искать в буфете нож.

— Да ты прямо Христос, — засмеялся Иван. — Одной рыбешкой пятерых накормить хочешь! А теперь — давай бокалы!

Эдо достал бокалы, разлил по ним сироп, разбавил водой, и Иван произнес тост:

— За здоровье Данё! Жить ему еще пять раз по двадцать три года!

Чокнулись, словно настоящей паленкой, и осушили бокалы.

Эдо затянул песню о смуглянке-молдаванке, что к партизанам в лес ушла; Яро растопил железную печурку. Забыли ребята на время и войну, и немецкие танки, что с грохотом плюются огнем по деревянным избам, сея смерть. Смерть шла за ними по пятам...

Часть вторая

I

Кирилл завел патефон и незаметно удалился из столовой в свою комнатку. Этелька обвела взглядом сидящих за столом, вздохнула счастливо.

— Как хорошо мы собрались! Все самые близкие...

Слова эти относились к декану Соляру, Цело Поляку, его половине Йолке и дочери Магде.

Мефодий сидел во главе стола — был его юбилей. Патефон заиграл меланхолическую народную песенку, и слезы выступили на его глазах, составляя резкий контраст с пышущим здоровьем лицом.

Заболит сердечко,
в злой тоске сожмется —
выйду в лес зеленый,
как звезда зажжется.

Лес шумит о счастье,
он весною дышит,
на ветвях кукушечку
ветерок колышет...

Ах, то были слезы умиления! И песня та была песней молодости, когда Мефодий был по уши влюблен в Этельку, когда она была еще доброй, как хлеб, сладкой, как мед... Да, что поделаешь — все девушки милы, и откуда берутся сварливые жены? Или свадьба проводит в женском сердце грань между добротой и сварливостью?

Кукушечка кукует,
голос полон сладости,
и сердце больное
встрепенется в радости...

На свадьбе Мефодия и Этельки, в родном Липтове, звучала эта песня, так растрогавшая его сейчас. Тогда перед ним лежала еще вся жизнь, скромная, трудолюбивая, богобоязненная. А се-

годня Мефодий справляет свое пятидесятилетие, достиг почтенного возраста, достиг и почетного положения. Его слово на вес золота, но уходит из жизни его уверенность и добродетель... Однако так ли это? Разве не старается он всеми силами хранить добродетель, несмотря на тяжелые времена?

Девственность свою он утратил с Этелькой, причем — дивитесь, люди! — только в первую брачную ночь. Тогда же и она стала женщиной, и вот теперь он уже надоел ей, так она говорила пани Иренке, и она хочет перемен...

У Шубика давно округлилось брюшко, вырос второй подбородок — а он исповедовал святость брака и был верен Этельке, пока не развратила его столица...

О господи, вздохнул про себя Мефодий, каким ты меня сотворил, такой я и есть; дозволил же ты дьяволу мазать грехи медом и проложил широкую дорогу к наслаждениям, коврами ее выстелил...

Декан Соляр поднял бокал, нарушив думы Мефодия.

— Долгой жизни нашему юбиляру! Пускай будет здоров, пускай всегда будет полон и его кошелек, и государственная казна, пускай на каждом шагу сопровождает его благословение божие! Времена изменчивы, а наш Мефодий тверд, как скала, как святой Петр! Пускай и останется он таким же твердым!

— И я тебе желаю здоровья и богатства, — подхватил Поляк, — ибо какая радость от жизни человеку, когда он болен да еще беден!

Чокнулись; толстая Йолка вскочила с места и звучно чмокнула Мефодия в обе щеки.

— Жалко, Кирилл не остался с нами, — вздохнула Этелька.

Шубик махнул рукой:

— Ну, вы знаете, какой он нелюдим.

— Заглянула бы ты к нему, — обратилась Этелька к Магде.

— Потом, тетя. Хочу еще с вами посидеть. Дядя Мефодий сегодня просто прелесть.

— Права наша Магдушка! — воскликнула Йолка. — Ты прелесть!

Шубик смущенно улыбнулся:

— Что ж, пятьдесят лет раз в жизни исполняется... Я здоров, что мне еще надо? И Кириллу уже лучше.

— Он уже на улицу выходил, — вставила Этелька.

— Да-да, выходил и на улицу, — закивал Шубик. — И рисование его захватило. Хочу найти настоящего художника, пускай его поучит. Уж делать — так делать как следует!

— Так, так, — прищурился Поляк. — А то мы до сих пор полдела делали, снисходительно относились к бунтовщикам, и вот нате вам! Накануне дня рождения Мефодия — восстание! Так из Быстрицы и сообщили — восстание, мол. Но у меня есть списки тамошних господ товарищей! Не уйдут они от нас — и уж теперь-

то никто не посмеет за них заступаться!

Он впился взглядом в Шубика и с укором в голосе добавил:

— Корабль наш, Словацкая республика, плывет меж скал, кругом бушует буря, и многих на том корабле выворачивает наизнанку. Ну да у Мефодия крепкий желудок!

— И крепкий корень, — ударил себя в грудь Соляр. — Стоит только на меня посмотреть...

— Правильно, — отозвался Поляк. — Мефодий выдюжит. Управимся как-нибудь у себя в доме, немецкие войска уже здесь, разоружили наших, и правильно сделали. Зачем носить оружие всяким неблагонадежным элементам, которые слушают по ночам Москву или Лондон! Чего доброго, против нас повернут оружие-то... Генерал Бергер объявил, что за четыре дня ликвидирует мятеж, так он и Гиммлеру доложил. И будет порядок.

— У нас-то будет, верю — а что на фронтах? — возразил Шубик. — Ведь всюду уже паленым пахнет!

— Повторяю: большевики не пройдут через Карпаты, — вскричал Поляк. — И тогда карта повалит нам...

— И его святейшество папа не оставит нас, — напомнил Соляр. — А мы, носители сана, никогда не утратим своего влияния в обществе. Врачи пугают народ смертью, мы — адом, так кто же осмелится подняться против нас? Никто — пусть даже в президентское кресло усядется архибольшевик. Мы, Словацкая народная партия, были, есть и останемся здесь, на своей земле. Без нас и листок на дереве не шелохнется.

Похлопав по плечу Шубика, он продолжал:

— Пускай же тревожатся о завтрашнем дне всякие чехо-большевики, бунтовщики, а не мы, соль земли нашей. Без нас Словакия была бы пустыней — с нами будет цвести она вечно. Словакия — любимое детище Гитлера, но любят нас и многие другие. Глубокое религиозное чувство — не только украшение нашего народа, но и гарантия того, что его святейшество всегда будет с нами, а его влияние распространено повсюду, даже в Америке. А ведь без Америки русские ничего не посмеют делать, да им и не удастся, ибо не о боге они помышляют, а о черте! Но простите, я что-то разговорился...

Во время его речи Поляк успел три раза хлебнуть вина. Теперь, взмахнув своей костлявой рукой, как бы созданной для гардистского приветствия, он брякнул:

— А на хрена нам Америка! Мы останемся верны Третьему рейху и с ним победим... Из всех крестов предпочитаю свастику, а из мельников — мельничиху...

Соляр засмеялся. Потом выпрямился и уже серьезно проговорил:

— Хуже всего — петь на одной ноте. Господь любит разнообразие, ведь и божий мир многоцветен, не правда ли? А тебе, Цело, советую, как духовный пастырь, — люби не только свасти-

ку, но и наш словацкий, двойной крест. Я старше вас обоих, — продолжал он, закурив сигару. — Древние римляне говорили, что старикам следует не работать, а править. Так случилось и со мной. Президент назначил меня членом Государственного совета, там не работают, а правят, работают министры да депутаты. А править, давать советы — это компетенция стариков. Так кому же мне и советовать, как не вам? Все мы знаем, что нам нужно, так давайте же подумаем вместе, как этого достичь. Мефодий слишком мягок, а Цело, напротив, слишком уж тверд. Изберемте же золотую середину! Душа моя еще, правда, крепко держится в теле, но я уже вправе составить свое завещание: держитесь, дети мои, золотой середины, и душенькам вашим легко будет!

Шубик был благодарен за каждый знак внимания, за каждое доброе слово, тем более — в день рождения. Понял, что декан, в сущности, признал его правоту, доволен, что Шубик не отошел в сторону, как итальянцы или румыны, выдержал характер. Это только пани Иренка полагает, будто политику и убеждения можно менять, как моду.

Нет, Шубик никогда не был флюгером. Он ведь присягал — а присяга для христианина не шутка...

— С нами, со Словацкой народной партией, — закончил Соляр, — придется в будущем считаться любой политической коалиции. Без нас они завязнут в болоте.

— Святая правда, — подхватил Поляк, — только все это теоретические, абстрактные рассуждения. Нам ничего не грозит, и мятеж мы ликвидируем. Генерал Бергер обещал сделать это за четыре дня — значит, у нас есть еще два.

Как сказать, подумал Шубик. Сроки-то не раз подводили, даже фюрер не всегда мог их выдержать. У каждого времени — свои правила. Сегодня надо действовать чуть-чуть иначе, чем пять лет назад, в этом меня и Цело не разубедит...

Магда встала, переглянулась с матерью и сказала:

— Пойду загляну к Кириллу.

— Иди, доченька, — кивнула Йолка. И, когда дочь вышла, добавила: — Не нравится она мне, грустная какая-то...

— Вот уж и грустная! — возразил Поляк. — У вас, женщин, вечно какие-то догадки да преувеличения... Пускай читает веселые книги, не все свою медицину, — сразу повеселеет.

Этелька покачала головой:

— Все не так просто, Цело. Мы, женщины, обладаем шестым чувством. Вы, мужчины, ничего в нас разглядеть не умеете, даже новую шляпку не замечаете. Только себя и видите, это да! И не видите вы, что дети-то совсем не такие, какими были мы...

— Верно, — сказал Мефодий. — Ну, не знаю... Время трудное, вот нервишки-то у молодых и не выдерживают.

— Для нас время вовсе не трудное, — не согласился с ним Поляк. — Нам бояться нечего и некого. Разве только господа

бога да холостильщика...

Йолка захлебнулась смехом.

— Молчи, неприличный человек! Тут тебе не твои охотники...

II

Пламя любви к поповской республике угасало, кажется, повсюду, в том числе и на вилле министерского советника Мефодия Шубика. И происходило это главным образом оттого, что крестным отцом этого государства был Адольф Гитлер, а крестной матерью — гитлеровская Германия. Впрочем, мы были бы не точны, если б говорили о шубиковской вилле как о едином целом.

В столовой царило сейчас настроение лояльности; его поддерживали декан Соляр и в особенности Поляк, которым, правда с небольшим воодушевлением, возражал Шубик. Что касается дам, то и Этельку, и Йолку интересовала не политика, а ее результаты: цены на золото и на масло, доли в акционерных обществах, налоговые льготы... "Вредительство" — как называл Поляк любое проявление несогласия с режимом — пышным цветом распустилось в комнате Кирилла.

— Здо́рово! — воскликнула Магда, увидев листовку с жабой. — Да это же Тисо! А эти картины прямо из Апокалипсиса...

— Они не преувеличивают, — усмехнулся Кирилл. — Придумываю, как умею, мучаюсь, издеваюсь над папочкой...

— Отцы и дети... Наши родители заводят трудовые лагеря, где люди мрут от голода, одобряют расходы на вооружение — а я, будущий врач, должна заботиться о здоровье людей! Разве не насмешка? Ты только подумай: они губят здоровье и жизни, а мне после это спасать...

— Ну, я просто насмехаюсь над всем, что свято для папочки, — перебил ее Кирилл. — Над крестом, сутанами, Гитлером... Ног лишился — тем усерднее заработали руки, рисую вовсю...

Магда внимательно рассмотрела карикатуры, нашла сходство со своим отцом в одном из "цыплят", спасающихся под рясой Тисо.

— А это, глянь, мой папочка, — показал ей на другого "цыпленка" Кирилл.

— И верно! Только твой отец лучше моего.

— Один черт. Вот мы с тобой — совсем другие, это главное.

— А что проку? Будут потом показывать на нас пальцем: смотрите, какие у них отцы!

— Я над этим голову не ломаю, — возразил Кирилл. — Как знать, останемся ли мы в живых, — такая война... Но об этом

после. Сейчас они там развлекаются в столовой и не подозревают, что́ мы о них думаем.

— Не икается ли им?

— Слишком толстокожи.

— Правда. Но твой отец все-таки лучше. Мой папа с деканом разглагольствовали, как господа из отдела пропаганды, а твой с ними спорил...

Магда стала дальше перебирать карикатуры, а Кирилл полюбопытствовал:

— Ты еще читаешь стихи?

— Конечно.

— Прочти мне, пожалуйста!

— Хорошо. Прочитаю тебе Янко Краля.

Она встала, подошла к окну и, упершись лбом в стекло, постояла так немного. Повернувшись потом к Кириллу, тихо стала читать:

Прошпоркские стены сложены не худо,
господа взирают на Дунай оттуда.
Парень из Загорья смотрит сверху тоже —
тих Дунай, как небо, и цвета того же...
Господа, знай, спорят, головы ломая,
как им ставить стену поперек Дуная?
Услыхали Татры, дрогнули от смеха:
"Господа, мудруйте, желаем успеха!"[1]

Кирилл одобрительно кивнул:

— Актуально!

— Слушай, Киро, а ты не пишешь стихи?

Он засмеялся.

— Чего придумала! В жизни не сочинил ни строчки. И рисую только из нужды — может, мне больше хотелось бы заниматься горнолыжным спортом... Но нельзя. В карандаше замену ищу.

— И уже нашел.

— Это лишь первые шаги. Однако я знаю, чего хочу. Отомстить за все, — он показал глазами на свои ноги. — Отомстить и немцам, и моему добродетельному папочке. Наша бывшая служанка зарабатывает на меня в публичном доме, маминой собственности...

Магда положила ему руку на плечо:

— Моя мамочка тоже получает прибыль с этих домов — мы с тобой в одинаковом положении. Говорят, девушки там живут как рабыни, только раз в неделю разрешается им покидать ту улицу — по вторникам, когда они ходят к врачу на обязательный осмотр...

[1] Перевод В. Корчагина.

— Знаю. Наша Ганка, говорят, уже лечилась.

— Несчастная! — вздохнула Магда. — Наши, как клопы, сосут, кого только могут, даже проституток, — а потом идут исповедаться... Какое лицемерие! Но все-таки, согласись, мой отец хуже твоего.

— Он хоть не двуличен!

— Разве что это, — с горечью усмехнулась Магда. — Я, Киро, за свободу, не за мораль, тем более не за ту, что исходит из Берлина.

— А я и против морали наших святош...

Перебирая рисунки, Магда нашла не совсем невинные: огромный негр сжимает в объятиях хрупкую девушку; молодой человек страстно целует красавицу... Магда поразилась!

— Так ты и это рисуешь?

Он кивнул, ничуть не смутившись:

— Да. Мой бог — месть. А я, видишь, и в этом отношении — Лазарь...

— Не говори чепухи, Киро. — Девушка улыбнулась и, нагнувшись к нему, поцеловала в губы.

Магда не принадлежала к числу медичек, готовых на все. Домашнее воспитание ее сдерживало. Она не искала сомнительных знакомств, жила в окружении учебников и лекций и не прочь была пофилософствовать.

При первом поцелуе в сердце ее проснулось материнское чувство вместе с состраданием; но от второго закипела кровь...

— Целуй меня! — шептала она в каком-то восторге, ища губами губы, шею, ухо Кирилла. — Целуй меня, ты — мужчина, Кирилл, хочу тебя!

Кирилл вначале отвечал на поцелуи автоматически — горечь не отпускала его, — но вскоре кровь разгорелась и в нем, он набросился на Магду, покрывая ее жадными поцелуями. Молодые разгоряченные тела тянулись друг к другу — но вдруг Кирилл овладел собой, пробормотал:

— А, черт! Могут войти в любую минуту...

— Я приду к тебе, Киро, — прошептала Магда. — Позвоню, когда ты будешь дома один, и приду... Это будет прекрасно!

III

Мефодий долго стоял на коленях перед распятием в столовой, жарко молился:

— Господи, выведи словацкий народ из Содома и Гоморры, не допусти войны, чтоб ненависть не истребила наш народ, не дай в обиду тех, кто его любит! Святая покровительница Словакии, охрани нас!

Он истово перекрестился, сказал "аминь" и тяжело поднял-

ся с толстого, мягкого ковра.

Завтрак был уже на столе: кофе с молоком, все еще настоящий, масло, сливовое повидло, булочка. Мефодий, окинув взглядом все это, опустился на стул, обитый кожей.

Вошла Этелька; в ее руках знаменем развевалась газета:

— Посмотри, что пишут!

Шубик взял газету, стал читать на первой странице — и сразу лицо его прояснилось.

— Ага, значит, до худшего не дойдет! Немцы у нас не останутся, не будут командовать нами. Слушай, Этелька, что сказал президент: "Немецкие войска не собираются оккупировать Словакию. У них одна цель: ликвидировать партизанский сброд". Поняла — нас не оккупируют, только помогут нашему Цело навести порядок.

— А если все-таки останутся? И заставят нас тоже варить весь обед в одном горшке, будто свиное пойло? Да еще заставят наших женщин родить, словно коров, — говорят, женщин распределяют среди солдат, вернувшихся с фронта, чтоб население умножилось...

Шубик улыбнулся, отпил кофе, намазал на булочку масло, мед и тогда лишь ответил:

— У нас строгая католическая мораль, и Гитлер с этим считается. Не бойся, никто не явится делать тебе ребенка!

— Что ты болтаешь! — вскипела жена. — Я и не думаю о таких гадостях, не то что ты, бесстыдник!

— Ну-ну, Этелька, куда мне! Не молоденький я уже...

— Ты хоть и старый, да не интересуешься, чем мы живем, — наседала Этелька. — Тебе бы о том подумать, как нам с голоду не помереть! Вон уже завели карточки на табачные изделия, а слыхать — и на все скоро карточки введут, а ты мне об этом — ни гу-гу! Главный финансит, а дома-то молчок!

— Да я ведь говорил тебе... — робко возразил Мефодий, но Этелька его не слушала, поглощенная своими заботами.

— Черный рынок со дня на день дороже, уже и приличной материи не достать — все из дерева да крапивы. Как можно в таком ходить?

Долго еще пилила она мужа, но не могла испортить ему настроения, улучшившегося от слов президента: немцы не оккупируют Словакию! В последнее время многое являлось ему в черном свете, но достаточно было мелочи, чтоб он ей порадовался. Вот и Тисо говорит: немцы пришли — и уйдут, как воспитанные гости, а словаки останутся, будут жить дружно, как братья. Не будет кровопролития, никто никого не обидит — а что будет дальше, то уже не зависит ни от Шубика, ни от других. О будущем решат те, кто у власти, зачем же голову ломать?

Этелька вышла из столовой. Мефодий углубился в следующую статью газеты — и снова нахлынули на него мрачные мысли.

Пишут вот — против диверсантов надо действовать круто и беспощадно... Иначе говоря, словаки передерутся между собой, и кровь все-таки потечет... Зачем же действовать беспощадно? Ведь и среди диверсантов наверняка есть случайные люди — например, проводили отпуск в Банской Быстрице или в Липтове, а тут их мобилизовали партизаны, удрать было нельзя, что им оставалось делать? Вот, скажем, Иван — тот, скорее всего, с ними; энтузиаст, фантазер, а с виду — мухи не обидит. Неужели же и с такими — беспощадно?

Мефодий глянул на часы. Через полчаса должен явиться советник германского посольства Куглер, и не в министерство, а сюда, домой к Шубику. Поздравить хочет.

Мефодий погляделся в зеркало, спохватился, что одет по-домашнему, и поспешил в спальню переодеваться. Смахнул пыль с немецкого ордена на стене, снял его, приколол к лацкану. Пускай Куглер видит!

Вскоре раздался звонок в дверь — улыбающийся Куглер стоял на пороге. Мефодий, сам открывший ему, пожал гостю руку. При виде ордена Куглер одобрительно кивнул:

— О, орден Белого орла!

Затем, остановившись посреди столовой и поправив очки, он торжественно проговорил:

— Уважаемый наш друг, я явился официально, чтобы лично вручить поздравительное письмо от нашего посла господина Людина. Германские власти, господин министерский советник, высоко ценят вас как друга Германии, как члена Словацко-германского общества, как выдающегося политического и экономического деятеля Словацкой республики.

Он подал Шубику конверт с письмом и добавил:

— Господин посол рекомендовал вашему президенту, чтобы на освободившееся место депутата в словацком сейме были избраны именно вы.

Шубик встрепенулся. Если поздравление он принимал как нечто безразлично-обязательное, то упоминание о депутатстве окрылило его надежды. Стало быть, даже при столь трудном положении на фронтах немцы не забывают о своих друзьях! А это означает многое — быть может, и то, что победу свою они считают обеспеченной. В противном случае, с чего бы им заботиться о Мефодии Шубике?

Он вскрыл конверт, бегло прочитал письмо, поклонился, крепко пожал руку Куглеру и предложил ему кресло за круглым столиком. Разлив по рюмкам французский коньяк, проговорил:

— Я высоко ценю, что господин посол поздравил меня, и обещаю оставаться преданным другом Германии. Так выпьем же, пан советник!

Чокнулись. За второй рюмкой Шубик осмелился спросить:

— А слово вашего посла имеет вес у президента?

— Конечно! Что наш посол скажет, то президент тотчас и исполняет. Не поколебался же он даже подписать ордер на арест вашего министра, когда это посоветовал ему сделать наш посол. Ваш президент верен нам, в этом мы не сомневаемся. Если бы это было не так, — Куглер усмехнулся, — то есть ведь еще профессор Тука, он вполне мог бы заменить господина Тисо...

— Ну, не знаю, — протянул Шубик. — В сущности-то оба, конечно, достойнейшие люди, и президент, и премьер-министр. Слава богу, что именно они руководят нашим государством.

— Но не слишком дальновидно, — возразил Куглер. — Профессор Тука болен, а президент Тисо чересчур долго размышляет. Хорошо еще, что решил призвать наши войска. Но вы некрепко держите кормило власти, господин советник. Чехо-большевистские банды, как пишут ваши газеты, не так уж малочисленны, и входят в них не только чехи и большевики, но по большей части словаки.

— Головы им замутили, пан советник, сбили их с толку всякие смутьяны...

— Ваш министр внутренних дел просил у рейха оружия для вашей полиции и армии, — заметил Куглер.

— Молодой министр энергичен...

— Не в том дело, — перебил Шубика немец. — Но наше оружие легко может оказаться в руках мятежников. Только мы способны подавить мятеж, и боюсь, что генерал Бергер поторопился с выводом: за четыре дня операцию он не закончит. В горах идут ожесточенные бои.

Мефодий Шубик представил себе узкие ущелья гор, утесы, кручи, густые леса — и только вздохнул.

IV

Усаживаясь в автомобиль, на переднем стекле которого рисовалась большая буква "Р", без которой ездить запрещалось, Радуз Куцбел чувствовал себя героем. Щеки его пылали от возбуждения — он покидает Братиславу, он отправляется в бой!

Что об этом подумают члены правления фирмы "Дары леса"? Поляка, может, хватит удар, а Шубик будет ходить вокруг стола, качать головой и бормотать: "Какой смелый этот доктор Куцбел!.." Теперь он с ними на противоположных берегах, на разных фронтах — они с немцами, Куцбел против них, они с Гитлером и Тисо, он — с Бенешем.

Машина, принадлежавшая дальнему родственнику Куцбела, врачу в Слиаче, была надежной, а врачи во времена тотальной войны наименее подозрительны. Куцбел смеялся над бюрократами: вспыхнуло восстание, республику оккупируют немецкие

войска, строже стали законы военного положения, на каждом шагу спрашивают документы — то гардисты, то FS, по любому пустяку приходится клянчить разрешение в полиции — и, несмотря на все это, гардисты и финансовый контроль на выезде из Братиславы интересуются не тем, куда едет человек, а только не везет ли он в багажнике товар для спекуляции... Три раза его останавливали!

Своей секретарше Куцбел объявил, что уезжает на три недели в Слиач отдохнуть — с сердцем, мол, неладно. И мадам Труда Куцбелова должна была раззвонить повсюду, что муж ее уехал подлечиться.

Едва автомобиль оставил за собой столицу, Куцбел вздохнул с облегчением. Теперь чувство собственного геройства разрасталось в нем без опаски. Куцбел даже весело посвистывал. Он казался себе прямо Наполеоном, подъезжающим к своей армии, — биографию Корсиканца Куцбел любил перечитывать в молодости. Вот приедет в Банску Быстрицу, объявится друзьям, которые там уже сидят, отхватит важный пост и раскрутит колесо истории...

По братиславским кафе начали поговаривать, будто русские казаки уже на границах Словакии, гонят немцев из-под Татр, западные державы выметут их из Чехии, и все пойдет как по маслу — немецкая-то армия уже истощена. Тогда Радуз Куцбел победоносно вступит в Братиславу, и приползут к нему на коленях Шубик с Поляком. Он над ними смилуется, проявит великодушие, однако выскажет им, что следует, особенно Поляку, этому грубияну и пакостнику. Кусок дерьма вообразил себя хозяином... Таков Поляк!

В Нитре Куцбел видел немецких солдат и танки. Машине пришлось объезжать главную улицу — она была занята воинскими частями. Куцбел испугался: да разве пехоте устоять против танков! Из крыльев его отваги выпало несколько перышек. А вдруг немцы бросятся со своими танками на повстанцев, на Быстрицу? Не раздавят ли их прежде, чем подойдет Красная Армия, танки-то продвигаются быстрее, чем лошади?..

Только один раз машину остановил патруль боевых отрядов глинковской гарды; родственник Куцбела, врач, сидевший за рулем, предъявил документы, и их пропустили.

Выехав из Нитры, Куцбел потер руки:

— Prima, primissima! Теперь уж как-нибудь доедем.

— Разумеется, — отозвался врач.

Обогнали две колонны мотопехоты вермахта, и Куцбел опять упал духом: какая страшная сила!

У бензоколонки заняли очередь позади грузовика. Куцбел спросил шофера:

— Из Быстрицы едете?

— Нет. Из Зволена.

— Ну, что там нового?
— Полно партизан.
— А немцы?
— Этих только еще поджидают.

Опять приободрился Куцбел: немцы подоспеют к шапочному разбору, ничего-то они уже не сделают! И нечего бояться. Вернется из Лондона доктор Бенеш, Чехословакию восстановят, возродятся масонские ложи, денежки начнут обращаться живее, чем шашлык на вертеле, в министерские кресла усядутся близкие ему люди, из аграрной партии, из масонов. Может, и ему креслице предложат. А вообще-то плевать на внешний лоск, достаточно просто поддерживать близкие отношение с министрами, заниматься коммерческими делами: выбьешь какую-нибудь лицензию для солидной фирмы, разделишь с министром щедрое вознаграждение — и сразу войдешь с ним в тесный контакт, и двери для тебя всегда будут открыты...

Да, важно не кресло, важна синекура, чтоб оставаться свободным человеком, располагать своим временем, без труда и пота получая большие прибыли, о каких и не подозревает Шубик со своими шпионами; иначе обложат меня налогами, ощиплют, как откормленного гуся...

Свобода! Но как быть с Трудой, с моей повелительницей? Портит она мне кровь, передышки не дает. Я мог бы стать депутатом — тому нет нужды корпеть над делами, как министру, дело депутата — обещать молочные реки с кисельными берегами, да и из дому легче выбираться. Жены должны бы обращаться с мужьями, как с собаками: хорошо кормить, давать выспаться и пускать побегать. Но этого Труда в жизни не поймет.

В Слиаче Куцбел пообедал, поблагодарил родственника за то, что подвез, и ушел в гостиницу. За некую мзду получил номер, туда ему принесли бутылку коньяку и консервированную ветчину, потом он подремал немного, довольный, что не пришлось обременять своего родственника ночлегом. Вечером вышел прогуляться по курортному городку. В Быстрицу он собирался выехать на другой день.

У здания дирекции курорта стояла кучка партизан, обвешанных гранатами и автоматами. Среди них был какой-то офицер, здоровенный детина. Куцбел уловил русскую речь, а приглядевшись, понял, что на офицере — советская военная форма. Он видел ее на фронтовых фотографиях в немецких иллюстрированных журналах.

Обрадовался: раз тут советские офицеры, значит, на помощь спешат уже не одиночки, а советские бойцы немцев не испугаются. Дали им урок под Сталинградом!

Позади здания стоял грузовик, набитый людьми в военном и в штатском. Люди эти осматривали, ощупывали свои винтовки. Куцбел опешил: что же это, у них только ружья да несколь-

ко автоматов? А где же пулеметы, пушки? И вся-то военная техника у них — газогенераторный грузовик, а в Нитре у немцев — танки!

Ну ничего, успокоил Куцбел сам себя, части генерала Малара ударят в Восточной Словакии по немцам с тыла, фронт будет прорван. Сам генерал вылетел в Прешов, теперь война пойдет быстрее...

Куцбел вернулся в гостиницу. Перед дирекцией курорта все еще стояли партизаны. Вдруг один из них обернулся — высокий, худой, носатый, с растрепанной шевелюрой. Его черные глаза смеялись, а Куцбел старался вспомнить, где и когда он его встречал. Партизан тоже будто узнал Куцбела: подошел, спросил:

— Пан нотариус?

Куцбел, испугавшись слегка, взял себя в руки:

— Да, я доктор Куцбел. Постойте, где мы с вами виделись?

— Однажды вы меня выручили — в "Ориенте". Помните? Шпики шли по пятам за мной и за моим товарищем, а вы им заявили, будто мы давно там сидим, хотя вошли-то мы только что.

Куцбел прищурился, потом широко открыл глаза.

— Ну конечно! — вспомнил он. — Как не помнить! Очень, очень рад.

Он подал ему руку, припомнив еще кое-что: ну да, это же Иван!

— Я тот студент, который давал частные уроки молодому Шубику.

— Знаю, знаю... Пан советник еще огорчался, что сын тянется больше к вам, чем к нему. Да ведь молодежь-то неглупа!

Он вынул из кармана визитную карточку:

— Звоните, когда будете в Братиславе. В случае, если будете искать работу, охотно вам помогу. Но сейчас-то я буду в Быстрице, в Словацком национальном совете вам скажут, как меня найти. А вы-то что тут делаете?

— Да я партизан, — улыбнулся Иван. — Учимся воевать!

— Учитесь воевать? — озадаченно спросил Куцбел. — Зачем? Ведь через пару дней все кончится, и немцев след простынет...

— Что вы, — мотнул головой Иван. — Война еще протянется. Немцы стягивают силы...

Куцбел побледнел — у Ивана могут быть точные сведения! Они готовятся к длительным боям — значит, прогулка-то его в Быстрицу обещает мало радости. Но надо выдержать!

— А я могу и денег для партизан достать, — сказал Куцбел. — Если вам понадобятся средства — смело обращайтесь ко мне.

С тем они и простились. Куцбел вернулся в гостиницу, выпил в баре кружку пива, а поднявшись к себе в номер, еще и коньяку хлебнул. Долго не мог заснуть — все обдумывал положение на фронтах, даже карту Словакии набросал, обозначая расположение сил, старался угадать, сколько может длиться

партизанская война. Его терзал вопрос, что произойдет раньше — приход русских или разгром восстания немцами?

При мысли о вошедшей в поговорку немецкой педантичности у него мороз пробежал по спине. Ведь немцы могут за несколько дней перебить всех, кто собрался в Быстрице?

Всю ночь гудели тяжелые самолеты, приземлялись на аэродроме неподалеку. Куцбел знал, что из Москвы поступает помощь — люди, оружие, медикаменты. Но его тревожило соображение: зачем же она нужна, эта помощь? Неужели то, что предпринимают немцы для подавления восстания, так опасно?

Далеко за полночь забылся Куцбел беспокойным сном. И мучили его кошмары — будто он, задыхаясь, бежит, бежит, а по нему с огромного танка стреляет немецкий солдат.

V

Банска Быстрица встретила Радуза Куцбела не слишком сердечно. Он-то представлял ее себе чем-то вроде Братиславы после первой мировой войны, какой он знал ее в молодости, новоиспеченным юристом. Ее называли ''танцующая Братислава''! Куцбел помнил, как тогда город устраивал балы в честь каждого французского офицера, забредшего в Братиславу. Развевались знамена, политики произносили торжественные речи, женщины в национальных костюмах распевали ''Гой же, боже'', девицы читали громовые стихи о пражских ''соколах'', о батюшке Масарике, о словацком Икаре — генерале Милане Растиславе Штефанике, на здания учреждений приколачивали доски с их новыми названиями — под гром аплодисментов и торжеств рождалась Чехословацкая республика.

А в Банской Быстрице балов никто не устраивал, никто не ораторствовал на площадях, не видно было народных хоров, не слышались аплодисменты, когда в Народный дом вступала делегация от Бенеша. И на улицах не видел Куцбел национальных костюмов — тут были только люди в военной форме, порой смешанной со штатской одеждой. И конечно, с головных уборов военных исчезли кокарды с двойным словацким крестом, в глаза били красные или трехцветные ленточки, а то и обе вместе. Куцбел усмехнулся про себя: прямо как шаферы на свадьбе...

Проносились грузовики, набитые вооруженными людьми. За ними поспешали другие, груженные оружием и боеприпасами. Куцбел слышал, как некий плюгавый человечек с красным носом спросил полицейского, на шапке которого красовалась трехцветная ленточка, где тут радио, — и полицейский тут же арестовал его именем закона: мол, этот плюгавый хочет подать немцам знак, куда бомбы сбрасывать! Трое партизан с автоматами вели группу смертельно бледных мужчин лет сорока. Еще

один партизан, обвешанный гранатами, как рождественская елочка шарами, спорил с каким-то надпоручиком; у партизана не было никаких знаков различия, но он и не думал тянуться перед офицером.

Куцбел покачал головой — нет, такая Быстрица ему не нравилась, ни о каких торжествах и речи нет, город напоминал собой крепость. Повсюду суета, как в муравейнике, и никакого уважения к старшим по званию. Какие-то люди с лопатами лезли в два грузовика, и из их разговоров Куцбел понял, что они отправляются рыть окопы на окраине города.

Все эти беглые впечатления остудили решимость Куцбела и испортили ему настроение. А вдруг тут случится божье попущение? Фронт может надолго завязнуть в Карпатах, тогда немцы развернутся вовсю...

Своего друга Летко Куцбел отыскал в Национальном совете. Они обнялись сердечно, словно старые фронтовики. Куцбел, оглядев приятеля, улыбнулся:

— Усики отпускаешь?

Летко кивнул и, предлагая гостю стул, пояснил:

— Сбрею, когда победим.

— Я-то полагал, что вопрос нескольких дней, а вот пригляделся — и вижу: вроде дело затянется.

— Точно подметил, — ответил Летко. — Ну а как ты добрался? Трудно было?

— Да нет. Без особых препятствий. Ночевал в Слиаче. Слыхал я, ты теперь министр?

Летко приподнял свои густые светлые брови:

— Слыхал ты правильно, только теперь мы будем называться не министрами, а уполномоченными. Я на тебя рассчитываю, могу предложить должность шефа моей канцелярии и ввести тебя в руководство Словацкой демократической партии.

Предложение польстило Куцбелу — для начала хватит, только бы ситуация-то была попрочнее!

— Ну, как тебе Быстрица? Походил ты по улицам, послушал, что люди говорят?

— Дисциплины я тут не вижу, порядка!

— Ты прав, — согласился Летко. — Когда мы сюда прибыли, тут уже командовал всякий кому не лень. В каждом районе — самостоятельный военный штаб, некоторые прямо как независимые королевства, и все там — важные господа...

Куцбел удивился про себя: ведь в то время, как здесь все уже кипело, Летко торчал в Братиславе, спекулировал земельными участками и виллами, а теперь, видите ли, хочет командовать. В Братиславе и понятия не имели о том, что здесь происходит. А сюда стекались люди, готовые жизнью рисковать, — нет, их Летко себе не подчинит, а уж тем более красных, те слушаются только своих вожаков. Но ничего этого Куцбел высказывать

вслух не стал и продолжал слушать.

— Коммунисты опираются на партизан и на Революционные национальные комитеты — а их что маковых зерен! — поэтому работать нам очень трудно. И не только здесь. В Братиславе наши демократы тоже в стороне. А коммунисты в подполье не дремлют. Мы как раз думаем послать кого-нибудь из наших в Братиславу, как бы не проспать нам события-то...

Над городом загудел самолет, с улицы донеслись крики. Куцбел выглянул через открытое окно: люди бежали в подворотни.

— Немцы! — бросил Летко. — Могут бомбить, отойди от окна!

Они пересели в дальний угол. Летко, успокаивая себя и друга, пробормотал, что здесь с ними ничего не случится, а Куцбел думал о Братиславе. Не безопаснее ли все-таки в столице? Делать кое-что можно и там, зато был бы дома, имущество свое сторожил, а придет беда — может ведь уйти из города с остальными! О том, что он побывал в Быстрице, шпики Поляка и не узнают.

— Вот я бы и отправился в Братиславу, — вызвался он. — Буду там работать по вашим поручениям. Немцы обо мне почти ничего не знают.

Где-то, довольно далеко, раздался взрыв — и снова все стихло.

— Улетел, — перевел дыхание Летко, потом пристально посмотрел на Куцбела. — Так ты бы поехал? А знаешь, ты удачно придумал. Вернешься в Братиславу, сколотишь комитет, и будете вы нас встречать триумфальной аркой... Как освободителей, — с усмешкой добавил он.

— Только как же я проберусь обратно? Нужно разрешение.

— У нас есть бланки гарды, этого достаточно.

— Гарды? — удивился Куцбел.

— Мы думаем вперед — могут понадобиться нам и гардисты.

— Разве что так...

— Да. Что бы такое тебе поручить? — задумался на минуту Летко. — Вот что: жди наших указаний, а если они не поступят, составь перечень немецких капиталов, акций, список аризаторов. Да ты и сам поймешь, что лучше делать. Только обязательно не забудь сколотить как-нибудь комитет демократов...

VI

— Ну вот, Братислава опять крепко в наших руках, — уверенно проговорил Поляк, от радости хлопнув Шубика по плечу. — Гарнизон разбежался, солдаты не клюнули на удочку изменников, у маменек укрылись, лишь некоторые подались в горы. Да и там они не долго высидят. Плюнь мне в глаза, если две недели продержатся!

Поляк сидел в своем кабинете, напротив Шубика, со вкусом курил сигару и прихлебывал черный кофе.

— Конечно, долго они не выдержат, — подхватил Шубик. — Видел я — немецкие солдаты идут через город, пушки, танки... Что они против такой силы поделают?

— Немцы подметут в нашем доме, — сказал Поляк, — а уж мы после этого строже будем блюсти порядок. Не потерпим разгильдяйства, порядок необходим! В моей епархии тоже наладим четкую работу — как у тебя в государственных финансах. Все подлецы у меня поплатятся!

Приятно ободрили Шубика эти слова и то, что друг его с уверенностью смотрит в завтрашний день. А о том, что еще не так близко, — о фронте — он предпочитал не думать. Зачем беспокоиться, все равно он ничего не может изменить! Право же, надо думать только о своем доме, о родине, о деревеньках в долинах между гор, о белых домиках, городишках с церквами...

Будет дома порядок — и все будет хорошо, тут Цело Поляк совершенно прав. Однако где-то на самом дне души Мефодия точил червь сомнения: в югославских-то горах немцы так и не управились... Не выдержал, спросил:

— А почему немцы не ликвидировали партизан в Сербии?

— Югославы оказались не способны поддержать немцев полицейскими силами, — объяснил Поляк. — А мы эту поддержку им окажем, ручаюсь головой! — И, щелкнув пальцами, он добавил: — Много народу убралось из Братиславы. Авантюристы! В повстанцев играют! А ты знаешь, басордыга-мотыга, — даже наш Куцбел удрал в Быстрицу?

— Куцбел? — всплеснул руками Шубик. — Не могу поверить!

— Не можешь? Да ведь он — "чвахословак", а их всех нынче в горы тянет. К твоему сведению, — он наклонился к Шубику ближе, как если б они не были одни в комнате, — я велел расследовать это дело. Нужна осторожность! Уехал он во вторник на чьей-то машине. Жена его и секретарша утверждают, что он отправился лечиться в Слиач. Да я-то знаю, куда он нацелился, сто стрел ему в бок! А ты, дуралей, верил ему.

— Не преувеличивай, Цело, — возразил Шубик. — Никогда я ему не верил так, как нашим. Но впрочем, Куцбел был не из худших. Иногда давал полезные советы.

— Не доверяй его советам! — отмахнулся Поляк. — Он хуже антихриста. В Банску Быстрицу поспешил, чтоб местечко потеплее ухватить.

— Что ж, по крайней мере будет там свой человек в случае чего, — улыбнулся Шубик.

— Глупости, Мефодий, — прищурил глаза Поляк. — Скорее бык отелится, чем мы с тобой будем нуждаться в помощи Куцбела. Да никогда! Сами справимся, мужчины же мы, черт возьми.

Он допил чашку кофе и, закурив новую сигарету, процедил сквозь зубы:

— А я пока их семьи прижму. Муженек отбыл выслуживать себе кресло — пускай отдувается жена с детьми! Переарестую всех. И выпущу, только когда вернутся главы семей. И скажу тебе, Мефодий, моя бы воля — всех их перевешал бы, да с семьями!

Шубик кивнул было по привычке, да вдруг спохватился, воскликнул:

— Ох нет, Цело! Ты должен поступать как христианин!

— Даже с большевистскими безбожниками?

— Ну, не знаю... — вздохнул Шубик и развел руками.

Поляк встал, поправил галстук и заявил:

— А нашего Радуза я лично возьму на мушку, заседает, подлец, вместе с нами в правлении, и вдруг нате — из Братиславы утек, а жену-то оставил.

Зазвонил телефон. Поляк, сняв трубку, стал навытяжку.

— Так точно, лично, пан советник посольства... Конечно, надо пощупать семьи, мы как раз об этом и говорим, тут у меня советник Шубик... Обсуждаем... Разумеется, передам ваш привет! Буду благодарен за помощь и за списки... А когда же вы покончите с этим цирком? Через неделю-две? Нет? Значит, дело затянется?.. Хорошо, сделаю. Хайль Гитлер!

Повесив трубку, повернулся к Шубику:

— До сих пор кое-кто из наших министров держался подальше от горячей каши, но теперь ничто не мешает нашему сотрудничеству с рейхом. Немецкие танки вместе со словацкой полицией рассеют большевистские банды, и снова станет наш отчий дом чистым и прекрасным.

— Дай-то господи, — вздохнул Шубик. — Скорей бы уж конец всей этой катавасии!

VII

Куцбел вернулся в Братиславу порядком иззябший и обессилевший. Поезд опоздал на несколько часов, на каждой станции в вагон врывались гардисты, а то и немецкие солдаты, подолгу изучали документы. Куцбел всякий раз твердил одно и то же: с сердцем у него плохо, ездил в Слиач, а как встретил там партизан — отправился домой пешком, потом немецкие солдаты подвезли его до станции Леопольдов. Гардисты верили ему, желали даже счастливо добраться, а немцев Куцбел обезоруживал своим прекрасным немецким языком.

Дома он первым долгом принял ванну, выпил бокал подогретого вина, влез под одеяло и заявил своей Труде:

— Вот увидишь, немцы возьмут Быстрицу и всех там пере-

стреляют. Я вернулся, чтобы ты не осталась вдовой. А я и в Братиславе буду иметь заслуги...

— Какие же это? — недоверчиво усмехнулась жена.

— Какие — политические!

— Болван! Заслуги будут у тех, кто в Быстрице, надо тебе было остаться с Летко.

Куцбел потер свою лысину.

— Он поручил мне вести в Братиславе политическую работу, поняла? Большую работу, хотя с меньшим риском.

— Не знаю, не знаю, что ты тут будешь делать, — не унималась Труда. — Драгоценности наши я и сама уберегу — вместе с ней! — Она погладила по спине свою собаку.

— Летко очень настаивал на том, чтобы я вернулся, — довольно резко проговорил Куцбел. — Почта была?

— Ничего особенного, только одно траурное извещение, завтра похороны.

— Кто умер? — насторожился Куцбел.

— Профессор Слезак. Говорят — удар.

Куцбел натянул на голову ночной колпак с кисточкой, оперся на локти, вздохнул:

— Да и кто бы выдержал на его месте? Людаки преследовали его как шелудивого пса, выбросили из университета, и слыхать — последние годы он хворал.

— Должно быть, потому и не был среди первых, кто уехал в Быстрицу, — подумала вслух Труда.

Куцбел подумал, потом буркнул:

— Пойду-ка я на похороны.

Труда от удивления даже выпрямилась в кресле, жалобно скрипнувшем под ее тяжестью.

— Ты?! Да вы ведь и знакомы-то почти не были! Не понимаю, почему нам извещение прислали.

— Да нет, мы хорошо были знакомы с профессором, — громче сказал Куцбел, и глаза у него загорелись.

Он пойдет на похороны и распустит слух, что Слезак был ему другом. На кладбище, наверное, соберутся все противники режима, все, кого сейчас обзывают "чвахословаками". Пускай думают, что он встречался со Слезаком, что они вместе составляли планы борьбы против новых господ. Это будут всего лишь разговоры, а на основании разговоров посадить его не могут, прокурору нужны реальные факты, свидетели...

Труда вышла на кухню отдать кухарке распоряжения насчет обеда, а Куцбел погрузился в размышления. Глаза закрыл, будто спит, а сам улыбался.

Слезак — тем более мертвый — очень ему пригодится. Эта карта когда-нибудь станет козырной. Одно время Слезак был министром, еще во времена Чехословацкой республики, а когда главой правительства отделившейся Словакии — и одновременно

ректором Братиславского университета — стал Тука, Слезак от него отвернулся. Его, разумеется, уволили; к счастью, профессорская пенсия не была жалкой подачкой.

Как хорошо, что Куцбел встретил в Слиаче Ивана Гутяна! Он уже видел мысленным взором толстую тетрадь, в которую впишет имена своих соратников. На первом месте будет стоять имя профессора Слезака, ныне покойного, увековечит он там и имя Ивана Гутяна, с которым держал совет как с представителем партизан — сотрудничество с красными нынче в моде; еще он разыщет адвоката Адамца, потолкует с ним, договорится время от времени встречаться, чтобы обсуждать события, — вот и появится в его тетради имя еще одного соратника. Он, Куцбел, обойдет все кафе, побеседует за бокальчиком со старыми знакомыми, поругает при них Гитлера — и пополнит свой список новыми именами...

Когда из кухни вернулась Труда с сообщением, что на обед у них будут галушки с капустой, Куцбел спросил ее:

— Кто из наших знакомых умер за последние два года?

— Как кто? — испугалась даже Труда. — Из близких никого, кроме тети Ицы.

— Женщины меня не интересуют!

— Это я давно заметила, — парировала супруга. — Ты давно не мужчина.

— Да я не в этом смысле, — надулся Куцбел. — Меня сейчас интересуют политические деятели, пускай незначительные.

— Ну, умер Баячек, тот депутат.

— И людаки мне не нужны, — отрезал Куцбел. — Ни мертвые, ни живые. Давай противников режима.

— Мертвых?

— Мертвых.

— Ну, тогда Мага — помнишь, зубной врач, у него еще роскошный сенбернар был; Мага все ругал немцев. Как-то он мне пломбу поставил. Из-за немцев у него и неприятности вышли, только Шубик и выручил — он ему зубы сделал.

— Мага — это хороший товар, — прищелкнул языком Куцбел. — Этого беру — пригодится.

Труда так и всплеснула руками:

— Да ведь он умер!

— Но был живой, — хитро усмехнулся Куцбел. — И я с ним встречался.

— С мертвым? — совсем сбилась с толку жена.

— Нет, с живым, — успокоил ее Радуз. — Я же говорю тебе, как оно было: он сотрудничал со мной в политических делах...

— Какая же тебе польза от покойника?

— Ты только повторяй повсюду, что он хаживал к нам. Это нам выгодно.

— Да никогда он у нас не был! — Труда усмехнулась. — Я-то

точно знаю, кто к нам ходит.

Куцбел повернулся к ней спиной и, натянув на себя пуховую перину, пробормотал:

— А вот и не все ты знаешь. Есть вещи не для женских ушей. Ну да я потом тебе многое объясню.

С этими словами он закрыл глаза, всеми силами стараясь заснуть.

Труда, почесывая за ушами собаку Власту, долго размышляла над словами мужа. Уж не свихнулся ли? Да нет, спит спокойно, вроде нормален... Просто заработался, устал от всех этих нотариальных дел — он ведь много возится со всякими завещаниями, так что не удивительно, если ему покойники в голову лезут.

— А мы хозяину холодный компресс сделаем, — шепнула Труда собаке на ухо. — Что скажешь, Власта? Покажу я ему мертвецов!

VIII

На письменном столе Поляка лежало траурное извещение: "С глубокой скорбью сообщаем, что после продолжительной болезни от нас ушел профессор университета, доктор Федор Слезак..."

Поляк читал это извещение затаив дыхание; потом встал, прошелся по кабинету, щелкнул пальцами: да, он сам пойдет на похороны! От шпиков может кое-что ускользнуть, а он своими глазами увидит, своими ушами услышит все, что разыграется над могилой.

Профессор Слезак — закоренелый чехословак, противник режима, его сын эмигрировал в Лондон, а сам он, пока был здоров, встречался с сомнительными в политическом отношении элементами. Проклятая терпимость! Еще и пенсию профессорскую выплачивали... На похороны наверняка соберутся те, кто президента терпеть не могут, заклятые враги рейха...

Поляк вытащил досье на Слезака. Помимо данных о покойном, тут были донесения агентов. Слезак возмутительным образом отзывался о руководящих политических деятелях, причем нередко в присутствии многих, другими словами — публично. Президента Тисо обзывал "бараном из Бановца", главу правительства Туку — склеротиком, министра внутренних дел — гитлеровским шутом, а сам Гитлер был для него только мазилкой и ефрейтором.

Поляк внимательно перечитал длинный список знакомых Слезака, но не нашел того, что искал. Имени Радуза Куцбела среди таковых не оказалось. Значит, эти двое не встречались, хотя полностью сходились во мнениях.

Поляк положил досье на место, запер ящик и взялся за телефон:

— Говорит Поляк. Машину пусть подадут к двум. И ты поедешь со мной. Куда? На лютеранское кладбище, на похороны... Предчувствую — там кое-что произойдет.

Он удалился в свои жилые комнаты, долго бился, завязывая черный галстук, потом, глянув на часы, прошел через кабинет в комнату секретаря. Тот встал:

— Машина ждет.

— Погоди, я еще в канцелярию загляну.

В просторной комнате, увешанной плакатами, призывающими к осторожности и к вере в победу, сидели за письменными столами пятеро сотрудников. Трое из них горбились над бумагами, двое неумело стучали на пишущих машинках. У всех на рукавах были траурные повязки. Завидев шефа, чиновники вскочили, вскинули руки в приветствии "На страж!".

— Сидите, сидите, — проворчал Поляк. — Кто занимается темой "Чехословаки"? Вы, Кукучка?

— Я, пан полицей-президент, — вытянулся тот.

— Поступали к вам за последнюю неделю новые сведения о Слезаке, об этом бенешовце?

— Нет, пан полицей-президент, только то, что я вам представил. — Он подумал, подошел к шкафу и мотнул головой: — Впрочем, вспомнил! Есть новый список лиц, с которыми общался покойный.

— Давайте сюда!

Кукучка нашел нужную папку, подал Поляку.

Тот пробежал глазами список из пятнадцати фамилий; четыре были ему знакомы, однако и здесь Радуз Куцбел не был отмечен. Поляк чувствовал разочарование, как если б в игре ему не шла карта. Он был убежден, что отъезд Куцбела в Банску Быстрицу связан со Слезаком, которому только болезнь помешала ехать самому. И вот — расчеты рухнули, предчувствие лопнуло как мыльный пузырь. Как доказать связь между Федором Слезаком и Радузом Куцбелом? Прокуроры — народ педантичный, кое-кто из них тоже подумывает о своем алиби, они всякий раз требуют целый мешок доказательств, прежде чем упрятать за решетку интеллигента...

Несмотря на воздушную тревогу, Поляк промчался на автомобиле по улицам, ведущим к кладбищу. Немного не доезжая до него, велел остановиться, буркнул:

— Собрались уже — надо поторапливаться...

Он смешался с провожающими. Секретарь тенью следовал за ним.

Народу собралось меньше, чем ожидал Поляк, большинство составляли студенты и преподаватели университета. Священник прочитал молитву, от преподавателей прощальное слово сказал профессор, почти незнакомый Поляку — он не числился среди подозрительных. И говорил он только о заслугах покойного в

педагогической и научной деятельности, не упомянув о его политической позиции. Потом к гробу Слезака подошел невысокий человек с лысиной, и у Поляка от изумления дух занялся: Куцбел! Радуз Куцбел!

Как же так? Он ведь уехал несколько дней назад, по доносам агентов — на повстанческую территорию, Поляк отлично представлял себе, с какой энергией рвется он к кормушке, — а между тем этот самый доктор Куцбел преспокойно расхаживает по городу, да еще собирается держать речь на похоронах Слезака. Как он здесь очутился и почему именно он выступает?

Секретарь приблизился к своему шефу, прошептал:

— Куцбел! Неужто вернулся?..

— Тсс! Запоминай, что он скажет! Каждое слово!

А Куцбел уже заговорил — со скорбной миной, склонив к плечу голову; Поляк стоял слишком далеко и расслышал не все, хотя и старательно вслушивался.

— Ушел от нас истинный патриот... — улавливал полицей-президент обрывки речи. — Тихий, трудолюбивый человек... работал во имя будущего... Не склонял впустую слова "нация, любовь, родина", делами доказывал свою любовь... Стоял несокрушимо на стороне прогресса, о чем говорит его труд о гуситах... Как близкий друг покойного, могу засвидетельствовать... Память о нем будет вечной, она засияет в новые, лучшие времена... Грядущее поднимет его на щит...

Гроб опустили в могилу, и Поляк с секретарем двинулись к выходу. Двое здоровенных могильщиков у ворот кладбища подсчитывали свои доходы.

— А что нынче укупишь за сотню-то! — сказал один.

— Тяжеленек был покойник, что тебе медведь, — вздохнул другой.

— Вот и надо бы, чтоб платили с веса...

Поляк усмехнулся, шепнул секретарю:

— Слыхал, какое почтение у этих к величию смерти! Да что там, и смерть, и жизнь — один черт. Главное же — порядок!

Уселись в машину, шеф спросил:

— Ну, что там наболтал этот Куцбел?

— Да в общем ничего противозаконного, разве что про гуситов упомянул да еще про лучшие времена.

— Гуситы были поджигатели и еретики, — отрезал Поляк. — В сущности-то и Куцбел — еретик: лютеранин. А лучшие времена — так и мы верим, что они настанут... Скользкий этот Куцбел, как рыба, ну да уж схвачу я его когда-нибудь за жабры!

— Разумеется, пан президент.

— Один вопрос меня сверлит: почему он выдает себя за друга Слезака, в то время как у нас этого не значится? И почему он оказался в Братиславе, если уехал?

Секретарь не нашелся с ответом.

IX

Время поединков оленей запоздало, а когда началось — голос подавали только слабые самцы. Да и откуда взяться великолепным экземплярам неподалеку от виноградников городка Модры? Поляк с Шубиком и не собирались на охоту, у них полно было других забот — сводки с фронта приходили отнюдь не розовые, Красная Армия стояла уже на Дуклинском перевале. Но упрямство и капризы женщин подчиняют себе даже сильных мира сего...

Этелька с Йолкой заявили, что мясники продают второсортное мясо и хорошо бы добыть дичинки не только на стол, но и для колбас. Надо запасаться провиантом! Вот почему Поляк и Шубик взяли ружья и отправились на машине в Малые Карпаты.

Лесник Яношик устроил на полянке, в кроне высокого бука, удобную площадку для охотников; донес их рюкзаки, в которых позванивали и булькали бутылки, и спросил, оставаться ли ему с ними или прийти уже после выстрела.

— Ваш дом недалеко, — сказал Шубик. — Так что приходите после. А мы тут одни посидим.

— Постойте! — щелкнул пальцами Поляк. — Вы мне кого-то сильно напоминаете...

— Вы два раза изволили тут охотиться, пан президент, — ответил лесник.

— Ваша фамилия?

— Яношик, пан президент, Яношик.

Поляк вспомнил: ну да, те же глаза, тот же широкий лоб, выдающиеся скулы, волевой подбородок, да и голос совсем как у того парня, что бунтовал солдат в казармах...

— Брат у вас есть?

— Есть. И сестра есть.

— Где?

— В Малацках, замужем за учителем.

— Я не о сестре спрашиваю! О брате!

— Учится в Братиславе.

— Учебные заведения закрыты, — возразил Поляк. — Не шатается ли он где-нибудь с ружьишком, а?

— Он не охотник, пан президент.

— Я не охоту имею в виду. Где он?

— Мы его давно не видели, — Яношик покраснел, — но я знаю, он — в Братиславе.

— Ну ладно, идите, Яношик.

Поляк поморщился — перед глазами его встал казарменный двор, студент в очках, окруженный солдатами. Он ясно услышал голос студента и разом вспомнил, что эта фамилия — Яношик — числилась в списке неблагонадежных. Как мог он забыть такую фамилию?!

Лесник ушел, и наши друзья забрались по лесенке на площадку в ветвях бука, присели там на лавочку, и Шубик выудил из рюкзака бутылку вина.

Солнце клонилось к закату, царила тишина, со стороны Братиславы тянуло ветерком.

— А студент-то этот, который подзуживал солдат, — брат лесника, — шепотом проговорил Поляк.

— Какой студент?

— Из компании твоего домашнего учителя, я же тебе рассказывал.

— Да, припоминаю, — кивнул Шубик и, поерзав на лавочке, переменил тему: — Как думаешь, удастся нам кого подстрелить?

— Возможно, сюда приходят олени на поединки. Впрочем, если и никого не подстрелим, я не расстроюсь — нынче у меня хорошее настроение.

— Почему?

— Германия объявила тотальную мобилизацию. К оружию призваны мужчины от шестнадцати до шестидесяти лет.

Шубик наклонил голову.

— Чему же тут радоваться?

— Как чему? — удивился Поляк. — Представляешь, какая это будет ударная сила?

— Шестнадцатилетние-то мальчики? Не понимаю тебя.

— А разве шестнадцатилетний не сумеет нажать на спуск? Целиться не сумеет? Еще как! Тотальная мобилизация поможет остановить русских в Карпатах. Они закопаются там, а потом им нанесут смертельный удар. Говорят, секретное оружие у немцев уже готово.

На опушке раздался шорох, Поляк смолк, насторожился. Выскочил заяц, промчался через полянку, скрылся в кустах.

— Пускай себе бежит, — улыбнулся Поляк. — Мы тоже организовали домобрану и боевые отряды гардистов. Правда, многие гардисты обманули доверие, вернули свою форму — стыдно им, вишь, за нее. Смылись... Зато боевые отряды — отборные части, обученные для боя. Из членов глинковской молодежи тоже собираемся сформировать отряды.

Шубик угостил приятеля вином, выпил сам и спросил:

— А что, партизаны все еще держатся?

— Немцы постепенно ликвидируют их, — ответил Поляк. — Днем раньше, днем позже... Что они наварили, то и съедят, не бойся!

— Ну, не знаю... — прошептал Шубик как бы про себя.

Из леса вынырнула олениха. Остановилась, запрядала ушами, понюхала воздух. У нее была большая серая голова.

— Выстрелишь? — спросил Поляк, но Шубик отрицательно качнул головой:

— Старая — плохой получится гуляш. Подождем само-

го оленя и теленка.

Олениха выдернула клок травы и опять подняла голову, принюхиваясь. Из леса донеслось протяжное:

— Оу, ооу, ооу...

— Олененок. — Поляк затаил дыхание и снял ружье с предохранителя.

Оживился и Шубик, приготовившись стрелять.

— Как покажется — считаю до трех, и — разом! — шепнул Поляк. — Ты — оленя, я — теленка. Наверняка попадем...

Старая олениха успокоилась — ветер дул в сторону засады, — стала пастись. В кустах зашуршало, выбежали три оленихи и один теленок, и вот выскочил сам олень.

— Восьмилеток, слабый, — шепнул Поляк. — Но я стреляю. А ты — теленка.

Но в ту же секунду старая олениха метнулась прочь, за нею скрылось в лесу и все маленькое стадо.

— Басордыга-мотыга! — вскричал Поляк. — Но они не могли нас учуять!

Шубик опустил ружье:

— Не понимаю, что их спугнуло.

Еще бы — он ведь не видел, как на краю леса показался лесник Яношик и махнул белым платком. Этого было достаточно: олениха приняла сигнал.

— Не повезло, — сказал Поляк. — Впрочем, не так уж я и мечтал поохотиться. Это Йолка уши мне прожужжала — дай да подай ей дичинки!

Помолчали, уставившись на пустую поляну. Оба задумались о своих делах. Поляку вспомнились похороны Слезака.

— Послушай, а пройдоха этот Куцбел! — заговорил он. — Уехал из Братиславы — а оказался на месте. В списке Слезаковой компании его нет — а он говорил у могилы как один из ближайших друзей. И говорил, подлец, осторожно, не поймаешь на слове, все можно понять и так и этак. Я ведь сам был на кладбище...

— Не так страшен черт, как его малюют, — перебил приятеля Шубик. — Ты несправедлив к Куцбелу. Быть может, он выезжал просто за город, например за маслом, за яйцами...

— Допустим — но с чего его понесло держать речь над гробом?

— Вот этого я тоже не понимаю. Говоришь, он раньше не встречался с покойным?

— У меня информация надежная, руку дам на отсечение. А ты веришь ему, как Христос Иуде! Знаешь что, Мефодий? Разузнай у него, куда он ездил?

Шубик согласно кивнул.

Просидели еще добрый час, но никакой дичи больше не появлялось. Обругав такую охоту, слезли с бука, побрели к машине. Мимо источника через заросли кустов выбрались на

соседнюю поляну. Посередине стояла сторожка.

— Кто ее тут построил? — удивился Шубик.

— Не знаю, — пожал плечами Поляк. — Какие-нибудь студенты... Ох, не люблю я их!

Он и не подозревал, как близок был к истине. Не знал, что в этой сторожке года два назад "домашний учитель" Иван Гутян печатал листовки...

Перед въездом в Братиславу наших охотников остановил немецкий военный патруль.

— Halt! Dokumente! [1] — крикнул тощий фельдфебель с черной повязкой на одном глазу.

Вынули свои удостоверения. Немецкий лейтенант с перевязанной рукой просмотрел их, после чего гаркнул:

— Passierscheine! [2]

— Ich bin Chef der Geheimpolizei[3], — объяснил Поляк.

Фельдфебель увидел в машине ружья, закричал:

— Gewehre! Wozu? Wo waren Sie?[4]

Шубик старался вспомнить, как по-немецки "охота", да никак не мог. Вместо этого вспомнилось слово "олень", и он брякнул:

— Hirsch!

Фельдфебель, заглянув в его удостоверение, покачал головой:

— Sie heißen Schubik, und nicht Hirsch![5]

Подошел еще один немец, в гражданском, спросил:

— Was ist?[6]

— Хирш — не фамилия, — объяснил Шубик. — Мы охотились на оленей...

Немец в гражданском сказал:

— Пропуска!

— Да я сам их выдаю... — начал было Поляк.

— Должен быть пропуск, — перебил его немец. — Подпись, печать.

— Я сам шеф, — повысил голос Поляк. — Я выдаю пропуска. И вообще я ваш друг.

Немец пожал плечами, великодушно вернул удостоверения, что-то буркнул фельдфебелю, потом сказал:

— Нужны Passierscheine, немецкие пропуска, ваших — мало.

— Об этом мне неизвестно, — сказал Поляк.

— В следующий раз — Passierscheine. Можете ехать.

Поляк вскинул руку — хайль Гитлер! — и машина тронулась.

— Значит, твоих пропусков недостаточно? — возмутился Шу-

[1]Стой! Документы! (*нем.*)
[2]Пропуска! (*нем.*)
[3]Я шеф тайной полиции (*нем.*).
[4]Ружья! Зачем? Где вы были? (*нем.*)
[5]Ваша фамилия Шубик, а не Гирш! (*нем.*)
[6]Что такое? (*нем.*)

бик. — Не понимаю, мы ведь у себя на родине, в Словакии. И тебя не хотели пропустить! Тебя!

Он серьезно встревожился: если так поступили с ними, то что же делают с остальными словаками? Значит, если им кто не понравится — того к стенке?

Поляк прищурил глаз, усмехнулся:

— Это новые, не разобрались еще, думают, что каждый словак — партизан. Что поделаешь, плохо их информировали. Но они защищают нас, наше имущество, надо им простить.

— Ну, не знаю, — протянул Шубик. — Все-таки мы на своей земле.

Поляк расхохотался, хлопнул приятеля по плечу:

— Без таких фельдфебелей эта самая земля нам уже не принадлежала бы!

X

Какой принять ему вид, когда придет Куцбел? Предстать перед ним гордым, неуступчивым, не соглашаться ни с чем? Защищать Гитлера со всеми его потрохами, чтоб никто не мог назвать его, Шубика, флюгером? Или пойти на компромисс? Шубик еще не перестал верить в победу Германии, хотя и тревожили его вести с фронта, а в особенности из соседней Венгрии. Она капитулировала.

Да, но Венгрия была самостоятельным государством и до Гитлера, в то время как Словацкое государство возникло только с его благословения. Так что народ, обитающий под Татрами, конечно же, обязан Гитлеру и должен быть ему благодарен, а потому и не имеет права изменять Третьему рейху.

Размышляя так, Шубик перелистывал старые номера газет. Наткнулся на выступление президента Тисо: "Ничто не заставит нас свернуть с нашего пути в борьбе Европы против большевизма. С помощью божьей мы победим..."

Крепко задумался Шубик; он сидел в кабинете у себя дома, опершись локтями на письменный стол. Можно ли еще победить в этой войне? Обычными средствами — вряд ли, только если применить секретное оружие. Цело Поляк верит, что достаточно тотальной мобилизации — и в войне произойдет перелом. А тогда, разумеется, пустят в ход секретное оружие. Президент Тисо, несомненно, знает все подробности о нем, потому и говорит с такой уверенностью, с таким спокойным оптимизмом.

Второй раз за сегодня взвыла сирена, но бомбардировщики над Братиславой не появились. Семья Шубика довольно надежно чувствовала себя в своей вилле за ее толстыми стенами, в последние недели даже в подвал не спускались.

Шубик посмотрел на часы: половина седьмого вечера, Куц-

бел должен был прийти еще полчаса назад — наверное, воздушная тревога задержала.

Давно уже хотелось Шубику потолковать с ним — а он вдруг и сам напросился. Что у него на уме? Опять будет просить помощи для кого-то или у самого неприятности?

К черту бы всю политику! Но он, Шубик, не может обойти ее даже в разговоре с Куцбелом: он обязан занять какую-то позицию. Как спокойно жил он прежде, когда не надо было вслух высказывать свои мысли! Теперь он чувствует себя так, словно земля колеблется у него под ногами, и вся политика кажется ему гигантской азартной игрой.

Шубик верил в предчувствия и был убежден, что у него хороший нюх. Время от времени он заглядывал в сонник, вот и сегодня тоже. Сны свои он уже, правда, позабыл, но помнил их толкование: ждет его испытание, и ему надо быть осмотрительным. Так советовал мудрый сонник, и Шубик решил тщательно следить за собой в разговоре с Куцбелом.

Проклятые венгры соскочили с поезда на ходу, как итальянцы и румыны. Неужели их совесть не мучает? Или не верят они в победу Германии? Вот и Куцбел не верит. Нет, не надо раздражать его, ведь сонник советует быть осмотрительным...

Поднявшись из-за стола, Шубик перекрестился на негасимую лампаду и снял со стены немецкий орден. Зачем похваляться им перед Куцбелом? И нечего трубить на весь мир, о чем думаешь. Лучше показать, что он, Шубик, — человек гордый и уверенный в себе, хотя и уважает чужое мнение.

Он, Шубик, будет просто держаться господа бога, он всегда так делал, и при Чехословацкой республике, и теперь. Бога он никогда не забывал, и бог был ему опорой.

Кесарю — кесарево! В свое время, мелким районным чиновником, Шубик выполнял свой долг и повиновался Праге. Свои убеждения, как члена людовой партии, он хранил в сердце и вспоминал о них только во время выборов. Он и Этелька всегда отдавали свои голоса за Словацкую народную партию. Ну а теперь, когда он перебрался в Братиславу, уселся в кресло министерского советника, стал председателем правления "Дары леса", приобрел еврейский скобяной магазин и два публичных дома, — теперь ему нередко приходилось аплодировать даже тому, что было ему вовсе не по душе.

Гитлер, по его мнению, делал ошибки — был слишком строг, вспыльчив, а его вера в провидение противоречила вере Шубика в святую церковь. Однако, исходя из догм своей церкви, Мефодий и сегодня отдавал кесарю кесарево, тем более что нынче он уже кое-что значил: мелкий чиновник сделался крупным деятелем и богачом. Он согласился на то, чтобы его выбрали в руководство Словацко-германского общества, и дважды выступал в своем министерстве с речью о новом немецком порядке, кото-

рый он подогнал под образ, созданный в его сердце, и о победах германского вермахта. Шубик верил Гитлеру, но бога не забывал, в этом он был убежден. А когда наступал момент выбора, когда он оказывался в трудном положении (как в сказке: налево пойдешь — плохо, направо пойдешь — еще хуже), опять-таки помогло ему учение церкви: из двух зол выбирай меньшее, и все тебе простится. И разве он в отличие от своего друга Цело Поляка не выбирал всякий раз меньшее зло?

Кирилл засел в своей комнате, Этелька побежала к Йолке (давненько не сплетничали о мужьях), служанка Юлька получила два часа свободного времени.

Дважды звякнул звонок у входной двери. Шубик мимоходом глянул в зеркало, сделал серьезное, важное лицо и поспешил открывать.

Куцбел вошел с улыбкой, и Шубик тотчас подметил, что нотариус уже далеко не так подобострастен, как прежде.

Поздоровавшись, Шубик провел гостя в свой кабинет, предложил ему глубокое кожаное кресло, налил коньяк в рюмки.

— На каждом шагу проверяют документы, — сказал Куцбел, отдышавшись. — Везде облавы... Три раза меня по дороге останавливали. То немцы, то гардисты. А перед этим — две тревоги...

— Хорошо, что не бомбили, — улыбнулся Шубик. — Давно мы не виделись, пан нотариус. Правление не собирается — не те обстоятельства, сами понимаете.

— Да, вы правы.

Шубик отметил про себя, что раньше Куцбел сказал бы "вы изволите быть правы". Рассердившись отчего-то, он процедил:

— Сейчас обстоятельства не те, а будут те!

— Что вы имеете в виду, пан министерский?

Даже полным званием не титулует, хмыкнул про себя Шубик. Чем хуже дела у немцев на фронте, тем нахальнее держится Куцбел. Но старый Зингер, бывало, говаривал, что умный человек не должен обижаться, — а евреи знают, в чем скрыта мудрость. И Шубик овладел собой, ответил:

— Я имею в виду, что немцы раздавят мятежников, пан нотариус.

— Да, но фронт-то уже чуть ли не у порога!

— Русские еще не перешли Карпаты, — возразил Шубик. — И секретное оружие будет у Гитлера, а не у Сталина. Впрочем, — он сделал паузу, — некоторые считают, что достаточно тотальной мобилизации и исход войны будет решен.

Потерев свою лысину, Куцбел прищурил глаза — в них сверкнули лукавые огоньки — и сказал:

— Не совсем так, пан министерский советник!

Теперь он назвал его полным титулом, и Шубик благосклонно закивал, как бы заранее соглашаясь с Куцбелом.

— Дни Германии сочтены, — продолжал гость. — Вот вы упо-

мянули о секретном оружии — а кто его видел? Почему немцы не применили его до сих пор? И потом, позвольте: ведь их тотальная мобилизация означает, что мелют они уже из последних сил. Собираются воевать стариками да мальчишками?..

— Но война требует жертв, — перебил его Шубик. — У нас тоже будет порядок. — Он невольно подражал Поляку. — Формируется домобрана...

Куцбел иронически улыбнулся, отхлебнул глоточек коньяку.

— В Братиславе начали рыть окопы — это, что ли, признак силы и победы? Муку по карточкам выдают на три месяца вперед — что это, расчет на стабильность экономики? Крах близится!

Прищуренными глазами Куцбел посмотрел на негасимую лампаду, на хозяина дома и подумал при этом: Шубик и со святыми на "ты"! Но он может понадобиться, поэтому следует заняться им.

— Вообще-то я пришел, чтобы дать вам искренний совет, — заговорил Куцбел после паузы. — Вам предлагают депутатский мандат. Но вам не следовало бы его принимать, у вас достаточно других обязанностей — отговоритесь!

— Пан нотариус... — укоризненно начал было Шубик, но Куцбел перебил его:

— Знаю, наши мнения расходятся по многим вопросам, однако мы с вами давно знакомы и кое-что вместе пережили. В свое время немецкие газеты нападали на вас за то, что вы защищаете евреев, — это вам когда-нибудь поставят в заслугу. Зачем же обременять свой счет депутатством? Поймите, я желаю вам только добра. Надо иметь руку и там, и тут...

— Как вы это себе представляете? — Шубик посмотрел прямо в глаза Куцбелу. — Немцев разобьют, явится Бенеш — но он-то ведь человек Москвы, не так ли?

Куцбел прыснул смешком:

— Что я слышу?! Русские нужны Бенешу только для того, чтоб они вымели немцев из республики. И все станет снова как до войны.

— Это было бы не так уж радостно, — возразил Шубик, молитвенно сложив ладони. — Что такое прежняя республика? Государственные служащие в Словакии — чехи, капиталом, помимо евреев, владели опять-таки чехи, а словак сосал лапу, как медведь зимой. Бенеш говорил — словакам некуда податься, потому и необязательно удовлетворять их требования; потому-то и дал он права судетским немцам, а не словакам!

— Все это можно было исправить, и не для чего было предавать прежнюю республику. А Тука предал ее, и не в первый раз, он венгерский шпион. Тисо тоже мадьярон, и он тоже предал нас дважды: призвал немецкие войска, чтоб убивали словаков, ев-

реев отправил в немецкие лагеря, откуда никто не возвращается...

Шубик побледнел, в сердце его кольнуло. Стало трудно дышать. Наморщив лоб, он тихо проговорил:

— Я подумаю о депутатском мандате. Действительно, работы у меня по горло.

— Вот это бы хорошо, — кивнул Куцбел. — И если когда понадобится — я вам охотно помогу.

Зазвонил телефон, но Шубик только рукой махнул. Он чувствовал, что звонит Поляк, и не хотел, чтобы тот узнал, кто у него сидит. Но тут он вспомнил, что обещал Поляку, и спросил нотариуса:

— Говорят, вы уезжали?

— Ездил в Слиач подлечиться, — с готовностью зачастил Куцбел. — Там замечательные целебные воды, ванны... Однако условия там сейчас не для лечения — город переполнен солдатами, партизанами... Я и вернулся на другой же день.

Он проницательно глянул на смутившегося хозяина дома и продолжал так:

— О том, что я хотел уехать на курорт, можете передать полицей-президенту Поляку, чтоб они там не ломали себе головы различными комбинациями.

Шубик благосклонно кивнул, и Куцбел решил ковать железо, пока горячо:

— Вы — председатель нашего правления. Оно сейчас не собирается, и по уставу все его полномочия перешли лично к вам. Когда-то мы отчисляли деньги для фронта, для зимней помощи немецким войскам. Надо бы уравновесить баланс фирмы в области пожертвований и передать что-нибудь, скажем, Красному Кресту, только, между нами, для другой стороны — для Быстрицы.

— Пан нотариус! — вскричал Шубик, но тотчас овладел собой и уже тихо продолжал: — Но это государственная измена...

— Какая же это измена, пан министерский советник? — громко рассмеялся Куцбел. — Деньги пойдут в Быстрицу на адрес Красного Креста, а Красный Крест — международная, нейтральная организация, не правда ли? Так какая же тут измена?

Шубик уперся локтями в столик и долго рассматривал узоры ковра. Наконец у него вырвалось:

— Ну, не знаю.

Куцбел уже хорошо изучил Шубика и понимал его с полуслова. Он вынул из кармана сложенный лист бумаги и шепнул:

— Вот сюда и впишите...

Бумага зашелестела в неуклюжих шубиковских пальцах, его глаза пробежали текст — и он молча кивнул.

XI

Радуза Куцбела не узнавала даже собственная жена. С тех пор как он вернулся с повстанческой территории, стал настоящим живчиком, сновал по городу, словно форель в чистой воде. Откуда и взялась в нем небывалая сила — Куцбел так и мелькал живым серебром, он перестал быть домоседом, он бегал по улицам, разыскивал адреса и чаще прежнего просиживал в кафе "Ориент". Окружал себя все новыми и новыми людьми, которых прежде едва ли знал. Не боялся ни воздушных тревог, ни гардистских патрулей, проверявших документы на каждом шагу и подвергавших прохожих чуть ли не перекрестным допросам.

— Куда ты опять? — сердилась Труда. — Носит тебя...

Застегивая пальто, Куцбел отвечал:

— Пойми же — я работаю в подполье!

— Лучше б подумал об эвакуации! Перебьют нас тут...

— Ладно, ладно, уедем в Пезинок.

— В те две каморки-то?

— Проживем как-нибудь пару месяцев, зато в собственном домишке!

Нахлобучив каракулевую шапку, он бодренько, как юноша, выбежал на улицу.

Вдова зубного врача Маги жила неподалеку. Вскоре Куцбел уже звонил в ее квартиру. Дверь отворили — и Куцбел очутился лицом к лицу с женщиной, которая когда-нибудь, быть может, засвидетельствует его заслуги.

— Пани Магова? — Он снял заснеженную шапку.

— Да. Что вам угодно?

— Я доктор Куцбел. Разрешите поговорить с вами?

Вдова недоверчиво оглядела его с ног до головы.

— Хотите снять комнату?

— Нет, милостивая пани, вы не так поняли...

— А то жил тут один голодранец, картину у меня украл. Но если вам не комната нужна — проходите.

Куцбел глубоко перевел дух, тщательно вытер ноги и расстегнул пальто. Вид дорогого пальто подействовал — видно, пан из порядочных, — и вдова провела его в столовую. Сели за круглый стол. Воцарилось молчание. Куцбел обвел взглядом стены.

— Здесь, значит, и жил ваш покойный супруг, — вздохнул он.

— Муж лучше чувствовал себя в винных погребках, чем дома, — усмехнулась Магова, пригладив свои седые волосы.

Куцбел опешил, покачал головой:

— Что вы, милостивая пани, он не часто посещал винные погребки...

Магова смерила его недоверчивым взглядом:

— Вы не были его пациентом. Список пациентов у меня есть, а то бы он утаивал от меня гонорары. Все пропивал бы.

Или вы у него лечились?

— Нет-нет. — Куцбел даже густо покраснел. — С зубами у меня никогда проблем не было, только вот теперь...

Он не знал, как быть дальше. Побарабанил пальцами по столу, похмыкал, наконец выпалил:

— Я хотел спросить вас, пани, не нуждаетесь ли вы... ну, в какой-либо помощи.

Она прищурилась:

— За мужа я получаю пенсию, дом у меня есть — кто же станет помогать такому человеку! А вы — из благотворительного общества?

— Нет...

— Почему же тогда интересуетесь мной?

Куцбел сложил руки:

— Я хорошо знал вашего мужа, мы часто встречались...

— В погребках? — насмешливо вставила вдова.

— Нет, милостивая пани, — у меня в нотариальной конторе, — Куцбел уже ободрился, фантазия его заработала. — Мы с ним, знаете, в политике за один канат тянули, супруг наверняка рассказывал вам обо мне.

Женщина залилась краской. Скрипнув стулом, раздраженно воскликнула:

— Хватит с меня его политики на всю жизнь!

— Но, милостивая...

— Как напьется, так и ну ругать наших господ, это на людях-то! Два раза полиция приходила с обыском, всю квартиру вверх дном перевернули... Так, значит, это вы с ним политикой занимались? Кошмар! А вид у вас как у порядочного...

Куцбел совсем растерялся. Он вспотел, дышал тяжело. Опомнившись несколько, вынул свою визитную карточку, положил на стол со словами:

— Пожалуйста — на случай, если все-таки в чем-нибудь будете нуждаться. И прошу вас запомнить, что мы с вашим мужем отлично понимали друг друга.

Лицо вдовы не утратило каменного выражения.

— Вы тоже пьете? — осведомилась она.

— Да нет, боже сохрани! Я имею в виду — в политике...

— Вино да политика что черт и дьявол, — повысила голос дама. — Они-то и сбили его с толку!

Куцбел встал. Понял — язычок у этой бабы острый, может еще не так его отделать. Такая же Ксантиппа, как Труда! В конце концов он своего добился: вдова запомнит, что у него с ее мужем были общие воззрения, и когда-нибудь при случае подтвердит это.

Он поклонился, на минутку задержался перед фотографией на стене:

— Ваш супруг? Когда сделан снимок?

— Какое — это мой отец! В молодости.

Куцбел побледнел: какой промах! Правда, он видел Магу раза два, и притом действительно в винном погребке, — но мог ли запомнить его лицо!

Куцбел оделся и, съежившись, покинул дом вдовы. На улице потер руки: ничего, зато познакомился со вдовой своего соратника!

По дороге в "Ориент" его дважды задерживала воздушная тревога. А в "Ориенте" его поджидал Косо, директор фирмы "Дары леса", и еще два пожилых человека. Куцбел поздоровался со всеми за руку.

— А мы целый час проторчали в убежище. — Косо провел пальцем по усикам. — Промерзли там — вот согреваемся теперь ромом.

— Я, пожалуй, тоже выпью, — усаживаясь, заявил Куцбел и, подозвав официанта, заказал: — Рюмку рому, а для этих господ — еще по одной!

— Хорошо, что видимость слабая, хоть не бомбят, — пробормотал Косо.

В самом деле, снова посыпал снег, и черные тучи нависли над Дунаем.

Куцбел стал рассказывать:

— Побывал я у вдовы Маги. Он нашим был, тоже противником режима. И оба мы поддерживали тесную связь с профессором Слезаком... Ну а как дела у вас, господа? Приготовили список активных людаков?

Косо протянул ему лист бумаги:

— Вот. Тут и грешки нашего председателя.

— Министерского советника-то? — улыбнулся Куцбел, махнув рукой. — Ну, это дело не горит — мы еще привлечем его на свою сторону. А вот о другом члене нашего правления, о Поляке, забывать нельзя. — Он заглянул в бумагу. — Отчего же его нет в списке? Забыли или испугались, пан директор?

— Забыл, забыл, пан нотариус!

— Впишите его. А ваши списки, друзья?

— Я еще не успел, но готовлю, — признался один из пожилых, тот, что потолще.

А другой, потоньше, вынул из кармана по-конспиративному сложенную бумажку и шепнул:

— У меня и немцы отмечены...

— Мы делаем важное дело, господа, — ободрил их Куцбел, поднося ко рту рюмку с ромом. — Нация этого не забудет. Мы не ленимся, и это главное, хотя некоторые, как Слезак или Мага, навсегда покинули нас. И организация наша растет.

— Идет борьба, и нам надо бы сотрудничать с коммунистами, — робко высказался Косо.

Куцбел хитро улыбнулся и кивнул:

— Конечно, мы ведь реалисты. Есть у меня связь и с коммунистами в горах.

Все трое с благоговением воззрились на Куцбела, а тот только руки потирал, вспомнив о встрече с Иваном Гутяном.

— Да, пока что они нам нужны, — заявил он. — После войны подрежем им крылышки.

Выпили кофе — настоящего, из зерен. Оба пожилых заговорщика с благоговением смотрели на Куцбела, расспрашивали его о политическом положении, интересовались его прогнозами на будущее — и Куцбел, в котором бурно разрасталась самоуверенность, на все умел найти обстоятельные ответы — он сам себя не узнавал.

— А вчера кто-то залил красными чернилами портрет Гитлера, — нагнувшись к его уху, доверительно сообщил Косо.

— На стене у ратуши? — спросил тот, что потолще.

— Тсс! — Куцбел предостерегающе поднял палец, мигом сообразив, что этот анонимный акт можно приписать на свой счет. — Наша акция...

И опять все трое посмотрели на него с почтительным восхищением и еще внимательнее стали выслушивать его указания.

В третий раз завыли сирены; Куцбел и его сообщники удалились в подвал, где и продолжали ковать смелые планы на будущее, несмотря на то что в городе рвались бомбы, гудели над крышами тяжелые самолеты и толпы перепуганных людей, не доверявших уже убежищам, с воплями метались по улицам.

XII

Поляк предпочитал верить собственным глазам, а потому лишь с отвращением перелистывал газеты. Он пробегал взглядом колонки, кишевшие географическими названиями с привычными уже пояснениями — что после ожесточенных боев, в ходе которых неприятель понес невероятные потери, части вермахта планомерно отошли на новые, заранее подготовленные позиции, чтобы укрепить линию обороны и выпрямить фронт...

В дополнение к серьезным газетным статьям Поляк требовал от своих подчиненных — особенно в последние дни — информации о настроениях населения. Потому что, к примеру, на недавнее извещение в газетах о том, что граждане могут получить по карточкам сразу трехмесячную норму продуктов питания, люди отреагировали совсем не так, как предполагалось, а вот как: ага, плохо дело, коли склады очищают!

Газеты были полны сообщений о немецких победах на партизанском фронте. Писали даже, что Быстрица пала и разбитые наголову повстанческие отряды стягиваются в горы. Генерал Гофле подавил мятеж и теперь играет на орга́нах быстрицких

церквей. "Словак" писал и о том, что президент Тисо прибыл в Банску Быстрицу и наградил самых доблестных солдат вермахта и частей СС.

Однако мечта Поляка о решающем немецком контрнаступлении после мобилизации мальчиков и стариков не осуществилась. Тотальная мобилизация не помогла: газеты писали о кровопролитных боях на Дукле. Зато весьма ободрило полицей-президента известие о том, что бок о бок с частями вермахта сражаются боевые отряды глинковской гарды и домобраны.

Но тревожили кое-какие мелочи: Гитлер решил превратить Братиславу в крепость — Festung, — а между тем строительство укреплений подвигается лениво и невероятно медленно. В городе по-прежнему — и даже еще чаще — появлялись антиправительственные листовки, и Поляк прилагал все силы, чтобы выследить их авторов.

Черный рынок процветал и в эту позднюю осень, но о нем Поляк и думать перестал — перед ним стояли более важные задачи. Но вот поступило донесение его агентов, что противовоздушная оборона улучшается с каждым днем, в чем ей постоянно оказывает помощь полиция, и что жертв бомбежек становится все меньше (например, если в свое время в Апольке погибло двести семьдесят человек, то после последнего налета насчитали всего тринадцать убитых) , — и у Поляка полегчало на душе. Что такое тринадцать мертвых, когда идет война? Все равно что муха для собаки!

Над Братиславой пылало бабье лето. Поляк отошел от окна, сел за письменный стол и бросил взгляд на часы. Он вызвал к десяти своего подчиненного Кукучку — вот уже четверть одиннадцатого, а того все нет и нет. Наверное, задержался в гестапо, куда был послан для обмена информацией, — Кукучка хорошо умеет договариваться с немцами. Кое-кто только болтает о сотрудничестве с немецкими властями, а он, Поляк, добросовестно осуществляет его. Где же застрял этот Кукучка?..

Но тут он как раз постучался и вошел — длинный, худой, с портфелем в руке.

— Где вы пропадали? Я жду вас с нетерпением! — вскричал Поляк, указывая ему на стул.

Усевшись и пристроив портфель на коленях, Кукучка ответил:

— В городе задержался. Вот это я нашел в четырех местах.

Он вынул из портфеля сложенный лист бумаги, расправил его и положил на стол начальника. На Поляка глянула жаба с лицом Тисо; жаба держала в лапах крест и свастику.

— Такую же я и в казармах сорвал. — Поляк потянулся за сигаретой. — Еще в августе. Послушайте, Кукучка, вы должны схватить этих негодяев. Мы их немцам передадим, они это заслужили! Просто срамят нас перед гестапо, басордыга-мотыга!

Или мы хуже гестаповцев?

— Постараюсь, пан шеф, — услужливо поклонился Кукучка.

— Даю вам три недели сроку, поняли? — сказал Поляк, отмечая что-то в своем календаре. — Эти сволочи, пожалуй, по вашей теме.

— Да нет, пан шеф, мои "чехословаки" потрусливей, — возразил Кукучка. — Это все красные!

— Не болтайте чепухи. Красные рисовали бы Сталина. А это, скорее всего, дело рук лондонских прихвостней. Ну а что в гестапо?

— В гестапо недовольны ходом работ по укреплению города — люди работают вяло...

— Так оно и есть, — кивнул Поляк. — Эти студенты раньше набьют себе мозоли не на ладонях, а на подбородках, опираясь на лопаты. Арестуйте-ка троих для примера! Увидите, остальные сразу веселее заработают! Да, и пускай об этом напишут в газетах. Люди хороши только тогда, когда дрожат от страха, запомните, Кукучка!

Заглянув в папку с надписью "Москва", "Лондон", он спросил еще:

— Есть у вас дополнения к спискам?..

— Тех, что слушают иностранные радиопередачи? — Кукучка в рвении своем даже осмелился перебить шефа. — Вот, пожалуйста!

С этими словами он вынул из портфеля и подал Поляку толстый конверт. Тот вложил конверт в папку.

— Да, что я еще хотел спросить, Кукучка... Память у меня стала ни к черту...

— О деле доктора Куцбела, пан шеф, — с готовностью напомнил Кукучка. — Я его разрабатываю...

— Что вам о нем известно?

— Он говорил речь на похоронах Слезака...

— Знаю, — оборвал его Поляк. — Нужны новые факты!

— Ну, он заходил к вдове дантиста Маги. А Мага, изволите ли видеть, был подрывной элемент. В пьяном виде ругал фюрера. Затем доктор Куцбел два раза встречался в кафе с директором фирмы "Дары леса", как бишь его...

— Косо, — вставил Поляк. — Вам бы следовало помнить.

— И еще три раза встречался с несколькими пожилыми господами и с двумя чиновниками. Их фамилии у нас есть. Слушая сводки с фронта, они злорадно усмехались, и кое-какие их высказывания у нас записаны.

— Есть среди них красные?

— Но все красные сидят или ушли в горы, — возразил Кукучка.

Поляк закашлялся, погасил сигарету.

— В городе их осталось, однако, достаточно, и они портят

нам воздух. Если заметите с Куцбелом кого-нибудь из красных, будьте особенно бдительны! Но — интеллигентно пока что, Куцбел ничего не должен заподозрить, это старая лиса, проскользнет между рук!

Поляк встал, подошел к своему сотруднику.

— Послушайте, а вы верите, что в сентябре он действительно ездил в Слиач лечиться?

Кукучка пожал плечами. Поляк энергично мотнул головой:

— Я лично не верю! Он должен был побывать в Быстрице, но все, что нам об этом известно, ни к черту не годится! И у меня не выходит из головы — почему он потом вернулся?

— В Братиславе он чувствует себя увереннее — может быть, поэтому, пан шеф?

— Не знаю, не знаю. — Поляк ударил кулаком по столу. — Ну ступайте. За дело!

XIII

На дворе бушевала метель, но это обстоятельство не заставило Радуза Куцбела отказаться от смелого плана. Он отправился еще к одной вдове: вспомнил, что в позапрошлом году случайно встретил на улице бывшую свою одноклассницу по начальной школе, Марию Ушиакову, которая вышла замуж за коммуниста, участника войны в Испании. И тогда, на улице, Марка со слезами поведала Куцбелу, что муж ее, Ян Герда, умер в заключении в Илаве. Куцбел выразил ей соболезнование, поругал гардистов, но тогда ему и на ум не пришло осведомиться, не нужна ли ей помощь.

Как хорошо, что он запомнил ее адрес! Намекнул же ему Летко, что в какой-то период борьбы против немцев надо сотрудничать даже с коммунистами... И Куцбел решил теперь посетить Марию.

Он долго разыскивал в рабочем квартале Кривую улицу; по дороге обратил внимание, что почти везде тут чернеют в снегу свежеотрытые окопы. Временами он останавливался, поворачивался спиной к ветру и, вынув застывшими пальцами карандашик с записной книжкой, отмечал в ней названия улиц, где велись оборонительные работы, посмеиваясь про себя: вот, он знает теперь, где проходит часть укрепленной полосы, но сведения эти сохранит в тайне. Попробуй разгласи — и можешь башку потерять, немцы-то не шутят. А ему достаточнс нанести на карту эти укрепленные места и хорошенько спрятать. После-то и покажет, сколько он сделал, как рисковал жизнью ради будущей республики! Летко его похвалит, объявит о нем всему народу, и овеет Куцбела слава Орлеанской девы... И когда он умрет, город поставит ему памятник с горделивой надписью: "Патриоту

доктору юриспруденции Радузу Куцбелу". А может, это будет бюст, и скульптор увенчает его голову лавровым венком... чтоб не видна была лысина у доблестного патриота!

Куцбел пошел дальше. Обойдя воронку от бомбы, как-то разом очутился именно на Кривой улице, перед домом номер один. Там-то и жила Марка Ушиакова.

— Здравствуй, Марка, — сказал он на пороге, снимая шляпу. — Это я, Радуз Куцбел.

Она вытерла руки о фартук, и Куцбел отметил про себя, как она похудела и постарела за два года, даже волосы у нее поседели.

— Здравствуй, — эхом откликнулась она. — Вот это гость!

— Проходил вот мимо, дай, думаю, зайду...

— Входи, пожалуйста!

Она обмахнула фартуком табуретку в кухоньке:

— Присаживайся! Тут тепло, а в комнате я не топлю.

Расстегнув шубу, Куцбел сел, вздохнул:

— Да, время-то летит, Марка, летит... Когда твой-то помер?

— Послезавтра в аккурат два года и два месяца... Увезли его в Илаву, сказали потом — инфаркт. А есть свидетели, никакой это не инфаркт, забили его до смерти, звери!

Слезы выступили у нее на глазах, она закашлялась и тоже опустилась на табуретку возле печки.

— Не бойся, мы это расследуем, как время придет, — успокоил ее Радуз. — Ничего не забудем, никого не забудем, тем более такого, как твой муж. И о памяти его позаботимся.

— Но он ведь коммунистом был, — неуверенно проговорила Мария.

— Ну и что же? Все мы теперь в одном строю, кто не любит немцев и гардистов. Да, чтоб не забыть, — он вытащил из кармана конверт. — Вот возьми, может полегче тебе станет. Тут несколько сотенок...

Краска бросилась ей в лицо, она даже руками замахала:

— Не надо! Хожу стирать по домам, зарабатываю, а когда нужда — дочь помогает, она на заводе работает.

— А твой зять?

— Он на фронте, как и мой сын.

— Этого я не знал, — вздохнул Куцбел. — Вести-то от них получаешь?

— Только зять писал, чтоб мы за него не тревожились, что он будет вместе с моим сыном...

Она с опаской посмотрела на Куцбела, но успокоилась, когда он проговорил:

— Да, Тисо всех мужчин погнал на фронт против братьев...

Тут Мария совсем осмелела:

— Это правда. А сын мой — на той стороне.

— Перебежал? — так и просиял Куцбел. — Вот это правильно,

в отца пошел, в тебя. А все-таки, — он положил конверт с деньгами на столик, — это ты возьми!

— И слышать не хочу! С какой стати?

— Да я не из своего кармана, — улыбнулся Куцбел. — У нас есть фонд для тех, кто пострадал от гардистов... Бери. Это ведь не милостыня, понимаешь? Это из тех средств, которыми мы поддерживаем движение Сопротивления.

Мария поколебалась было, не зная, как ей обращаться к Куцбелу — на ''ты'' или на ''вы''; наконец спросила:

— А что, ты тоже против них... против гардистов?

— Конечно, и с самого начала — это знал и твой муж.

Куцбел сказал так, потому что вспомнил: когда-то, встретившись с Яном Гердой в Мияве, он обменялся с ним несколькими фразами. И при виде удивления Марии добавил:

— Мы ведь часто встречались с ним, и тут, и в Мияве. Советовались друг с другом...

— О Мияве он мне рассказывал, — протянула Мария. — Но разве вы с ним и здесь виделись?

— Послушай, Марка. — Он повысил голос и глянул в окно. — На вашей улице окопы роют. Я приду через пару дней, а ты пока приглядись, где еще будут копать. Нам надо знать об этом.

— Да я знаю, где... — начала было она, да осеклась и замолчала.

— Так, говоришь, сын и зять уже в безопасности? — сказал тогда Куцбел. — Ну, это просто здорово! Встретишь победителей... Позвони мне, когда они вернутся! А как звать зятя?

— Ковач, Беньямин Ковач, но мы зовем его Яном, так его в детстве звали, а не потому, что это имя моего мужа; хотя он совсем такой, каким был мой Яно... Да они и работали вместе.

— Зять тоже коммунист?

Мария смерила Куцбела пытливым взглядом и сказала:

— Да все мы уж такие, как мой Яно...

— Так, значит, в детстве твоего зятя звали Яном... Эх, счастливая пора! А меня звали Радко, помнишь? Помнишь, в прятки мы играли?..

— Страшно давно это было, — пожала плечами Мария.

— Да, счастливое детство... — снова вздохнул Куцбел, но, увидев, что воспоминания о детстве не вызвали никакого умиления в его однокласснице, смутился: для него-то детство было счастливым, а Марка, вспомнил он, ходила босиком до поздней осени...

Он поднялся, пожал ей руку.

— Я спешу. Приду еще — не забудь, меня интересуют окопы.

— Ладно, что знать буду — скажу.

— Ну, будь здорова, Марка!

На улицу он вышел в приподнятом настроении. Метель улег-

лась, вокруг окопов топтались мужчины и подростки с кирками и лопатами.

— Schneller, schneller! [1] — кричал на них эсэсовец с ружьем на ремне.

— Земля-то промерзла, — проворчал коренастый человек, и тотчас на него прикрикнул рыжий гардист:

— Я вас так заморожу, коли лентяйничать будете! А ну, копать!

Куцбел завернул за угол. Вся эта сценка не нарушила его приподнятого настроения. Линия окопов у него отмечена точно. А думал он о Марке, о ее сыне и зяте. Вот у него на руках и еще один козырь: знакомство с семьей погибшего политического узника, со словацкими солдатами, перешедшими на ту сторону фронта. Если он когда-то встречал Яна Герду, то мог видеться и с его сыном, мог советовать ему перебежать к русским.

Он удовлетворенно потер руки и заторопился домой. Выпьет горячего чаю с ромом, похвалится перед Трудой тем, что сделал сегодня.

XIV

— Клиент, пан нотариус, — возвестила секретарша Куцбела и зажгла еще одну лампу.

Куцбел усмехнулся: да, кабинет у него без окон, прямо кротовая нора, зато защищает от пуль! Доставая чай, он спросил:

— По какому вопросу?

— По вопросу о завещании.

— Пригласите.

В дверях появился Кукучка. Рука его так и дернулась для официального приветствия "На страж!", но он овладел собой и только голову наклонил:

— Нижайший поклон, пан нотариус.

Куцбел предложил ему кресло, сам сел за письменный стол.

— Чем могу помочь? — спросил он, соображая, где он мог видеть этого посетителя. — Речь о завещании?

Кукучка отрицательно покачал головой.

— Нет, пан нотариус. Я пришел по другому поводу и хочу кое-что вам сообщить.

— Что же именно? — насторожился Куцбел.

— Разрешите прежде представиться. Фамилия моя — Кукучка, я работаю в ведомстве пана Поляка — вы ведь с ним знакомы.

Морозец пробежал по спине у Куцбела. Неужто напали на след? Но доказательств у них нет, никаких доказательств! И ничего с ним не может случиться, законы-то еще соблюдаются,

[1] Быстрей, быстрей! (*нем.*)

хотя и объявлено военное положение!

— Да, конечно, я знаком с паном полицей-президентом, как же... Очень хорошо знаком. Это он вас направил ко мне?

— В том-то и дело, что нет. — Кукучка нервно забарабанил пальцами по круглому столику. — И он не должен знать, что я побывал у вас.

— В чем же дело?.. — нетерпеливо воскликнул Куцбел.

— В вас, пан нотариус.

— То есть?

— Известно, что вы часто встречаетесь в кафе с неблагонадежными людьми, посещаете их на дому, известно и о вашей речи на похоронах профессора Слезака...

— Позвольте! — выпрямился Куцбел. — Разве законы предписывают, кому с кем встречаться? Я ведь никакой антигосударственной деятельности не веду.

— А вот говорят, что именно и ведете, пан нотариус. Однако, — он покачал головой, — я пришел не для того, чтобы упрекать вас, я вас уважаю как патриота, поверьте мне — очень уважаю. Я сам лютеранин и знаю, что вы — церковный инспектор. Я только хочу предупредить вас: будьте осторожны.

— То, что обо мне говорят, — неправда, — заикаясь, выдавил из себя Куцбел.

— Вам нет нужды что-либо отрицать, пан нотариус. Я хочу только предостеречь вас, потому что и гестапо уже что-то почуяло, а это хуже. Вы должны быть осторожны.

Куцбел стиснул зубы; потом задал вопрос:

— Должен ли я что-нибудь объяснять пану Поляку?

— Я же сказал: ему ни слова. Если нам станет что-либо известно, я вас предупрежу. Я не люблю немцев. И еще сообщаю вам, что они выследили автора листовки — знаете, ходила такая в городе: жаба с лицом президента. Мои коллеги донесли, что автором является сын вашего знакомого, ну, и знакомого нашего шефа.

— И кто же это?

— Сын министерского советника Шубика. Это его рисунок.

— Да, но министерский советник дружит с вашим шефом! — удивился Куцбел. — Он наверняка сам с ним уладит.

Кукучка отрицательно покачал головой:

— Наш шеф необычайно ревностно исполняет свой долг, и боюсь, в таких случаях он и брата не пожалеет.

— Но почему вы ко мне-то пришли? — спросил Куцбел. — Подозревают напрасно — я лояльный гражданин...

— Нет-нет, ничего не хочу слышать, пан нотариус, не объясняйтесь, а то подумаете, что я провокатор. Просто я знаю, вы станете большим человеком, и тогда, надеюсь, вспомните обо мне. Понимаете?

Голос у него дрожал, и Куцбел поверил. Нет, не мог этот

человек притворяться до такой степени, он пришел сюда с честными намерениями. Слыхал, что Куцбел на стороне демократов, и смекнул, что это когда-нибудь принесет пользу. К счастью, они не знают ничего существенного, да и не могут знать, ведь Куцбел пока что не предпринимал ничего противозаконного. Арестовать его не могут, а такие люди, как этот Кукучка, его уважают и когда-нибудь засвидетельствуют его мужество...

— Понимаю, — кивнул Куцбел. — Понимаю и не забуду. А теперь, к вашему сведению, вы ко мне не приходили, и я ничего от вас не слышал. Хорошо, пан... Кукучка? — Он не сразу вспомнил его фамилию. — Заглядывайте ко мне... Мы можем и в церкви встречаться — всем дозволено посещать сей град крепкий...

Кукучка встал, учтиво поклонился, и Куцбел с рукопожатием проводил его до порога.

Он вернулся в свой кабинет в преотличном настроении и все поглаживал свою лысину, как бы желая проверить, не появились ли уже на его голове лавры победителя. Сел за письменный стол, удовлетворенно перевел дух. Как хорошо, что не застрял в Банской Быстрице! Говорят, там страшная катавасия, все разбежались, кто по домам, кто в горы... Слыхал, Летко для безопасности увезли на самолете в Советский Союз. А ну как в самолете не хватило бы места для него, Куцбела? Замерз бы в горах, или немцы уволокли бы его в лагерь, и погиб бы он там ни за грош...

Куцбел развернул газету. Огромные шапки извещали, что в Восточной Словакии идут ожесточенные бои. А на первой полосе — обращение Тисо к нации: "Я верю в победу, ибо знаю, что правда на моей стороне!"

Куцбел громко засмеялся: ну и логика! Потом подумал о Шубиках. Да нет, Поляк наверняка предупредит молодого, не бросит его в беде. А вдруг немцы произведут обыск у Шубика-сына? В таком случае поплатится и сам Поляк — он же дневал и ночевал у министерского советника...

А может, зайти к молодому Шубику? Когда Гитлера разобьют, листовки Кирилла наверняка получат признание. Следовательно, не мешает поближе познакомиться с ним...

Тут Куцбел покраснел. Нет-нет, он сделает это не из расчета, а из принципа — в сущности, он поможет общему делу, если побудит Кирилла и впредь рисовать карикатуры на нынешних господ!

Посмотрел на часы. Возможно, парень сейчас один дома — старый Шубик, скорее всего, на службе, а мамаша, вероятно, шатается где-нибудь в городе. Надо позвонить и договориться о встрече.

С легким вздохом Куцбел открыл телефонную книгу.

XV

Кирилл смотрел в окно на заснеженную садовую дорожку. Еще видны были следы Магды, но снег падал не переставая и скоро совсем запорошил их. Теперь только недопитые бокалы да запах духов напоминали о том, что Магда совсем недавно ушла из его комнаты — после того как Кирилл доказал, что он — мужчина.

Он был доволен собой, Магдой, нынешним днем. С облаков мечты спустился на землю, в действительность, но спустился, уже освободившись от волшебного флера. Так по крайней мере ему казалось, когда поцелуи Магды утолили его жажду. Все произошло просто, совсем не так упоительно, как он представлял себе еще вчера вечером, но все равно хорошо, что это произошло.

Кирилл уперся лбом в холодное стекло; удовлетворенная улыбка играла на его губах; его палочка лежала на письменном столе — он не думал о ней, не думал о своих ногах, когда лежал с Магдой, обнимал ее.

Тихий омут эта Магда. Никогда б не подумал, сколько всего в ней таится. Да и она сама призналась ему, что очень любит такие занятия и уже имеет опыт.

Кирилл прикрыл глаза, опечалился: неужели Магду привело к нему сострадание? Не хотела ли она просто подбодрить его, дать понять, что и ему доступна любовь? Женщины неисповедимы: любовь, ненависть, сочувствие, отвращение — все они умудряются напихать в один мешок... Умеют быть одновременно и матерью, и шлюхой. И никогда, пожалуй, не различают, где грань между жалостью и любовью.

Ах, какое ему дело до ее побуждений! Сейчас ему хорошо, как мужчина он оказался на высоте, а больше ему ничего и не надо — по крайней мере пока. Чего уж может желать человек, который едва ноги волочит, да еще когда над головой гудят бомбардировщики!

Кирилл посмотрел на наручные часы, подаренные ему к окончанию гимназии старым Зингером. Пора бы уже прийти доктору Куцбелу — ведь именно из-за него Магде пришлось срочно исчезнуть. Для чего хочет видеть его нотариус? И почему именно тогда, когда дома никого нет? Кирилл и видел-то Куцбела всего три раза, едва знаком с ним, но вот же сказал тот, что ему очень важно встретиться с Кириллом наедине...

Он вышел из комнаты, опираясь на свою палочку. Вскоре у входной двери позвонили; Кирилл открыл — на пороге стоял Куцбел, отряхивая снег с шапки и воротника.

— Входите, пожалуйста, — пригласил Киро.

Раздевшись, Куцбел прошел в гостиную, уселся в кожаное кресло и тотчас заговорил:

— Не знаю, как вы объясняете себе то, что я хотел повидать вас так, чтобы ваши не знали. Понимаете, мы с вашим отцом в хороших отношениях, однако в политических воззрениях мы с ним расходимся.

— Я все еще не понимаю, в чем дело, — перебил его Кирилл.

— Ну что ж, перейдем к существу. Я рад, что вы не маршируете вместе с гардистами, что вы рисуете, причем не самое безобидное... Знаю и о кое-каких листовках, коллега, — вы разрешите так называть вас?

— Конечно, — кивнул Кирилл.

— Вот и отлично. У меня есть сведения, что за вами охотятся люди Поляка — пронюхали, что вы автор листовки с жабой, и у вас могут сделать обыск.

Кирилл покраснел как рак, стиснул зубы.

— Да, но отец ведь приятель... — начал он.

— Пана Поляка, знаю, — не дал ему договорить Коцбел. — Но могут вмешаться немцы, и тут уж и Поляк не поможет. Вот я и пришел предупредить вас. Надо спрятать, что у вас есть.

Он вынул свою визитную карточку.

— Вот мой телефон, если вам понадобится. И повлияйте на отца — пускай не выставляет своей кандидатуры в сейм. Я ему уже про это говорил. Могут быть лишние неприятности. Одно дело — чиновник на государственной службе, за это его никто не сможет упрекнуть, а депутатский мандат попахивает политикой, вы меня понимаете?

— Спасибо, — отозвался Кирилл. — Попробую... В последнее время отец стал прислушиваться к советам.

Куцбел помолчал немного, потом, улыбнувшись, сказал:

— Знаете что, коллега? Если позволите мне, как старшему, дать вам совет — нарисуйте-ка английского и русского солдата, как они пожимают друг другу руки, скажем, на фоне Братиславской крепости. А немец удирает...

Кирилл задумчиво протянул:

— Интересный сюжет... Вы полагаете, пан доктор, англичане дойдут до Братиславы?

— А что? Вполне возможно: русские истощены, англичане с американцами придут им на помощь. У меня есть для вас и еще кое-что... — Он вынул из кармана фотографии. — Это Черчилль, я оставлю снимок вам. Неплохо было бы сделать его портрет.

— Я рисую только карикатуры, — возразил Киро.

— Нет, нет, Черчилля надо изобразить отнюдь не в карикатурном виде.

Кирилл хотел было что-то сказать, но только плечами пожал:

— Хорошо, попробую.

Куцбел поднялся, удовлетворенный: в освобожденной Братиславе будет, стало быть, портрет государственного деятеля

одной из держав-победительниц, и в этом его, Куцбела, заслуга. Вот какой он многосторонний, выбрал даже время, чтобы направить кисть художника! Да, Куцбел мобилизовал на борьбу все, что было возможно! И он сказал вслух:

— Эх, нынче у патриотов дел по горло! Ну, мне пора бежать...

XVI

— Нет, Цело, — говорил Мефодий Шубик, — не стану я депутатом. Я решил так — и не отступлю.

— Но почему? — не мог понять Поляк.

— Потому что не хочу. Пускай молодые ходят в депутатах, а с меня хватит службы, коммерческих дел и работы в правлении.

— Да что с тобой стряслось? Ядовитых грибов наелся?

— Политика, Цело, — барское мошенничество, прав был мой покойный отец, вечная ему память.

Поляк встал, прошелся по кабинету, закурил.

— Эх, басордыга-мотыга! — вздохнул он. — Неужто ты теряешь веру в победу?

— Теряю, Цело, вернее, уже потерял. Ты только посмотри, что в газетах! Где это хваленое секретное оружие? Через сто лет его выкуют или когда? На что собакам сено, когда лошади подохнут! Немцы объявили тотальную мобилизацию — а результат, прошу прощения, нулевой. Чему же в таком случае верить, скажи на милость?

Поляк не узнавал своего друга — какая-то твердость в нем появилась, не собьешь его, как обычно. Тряхнул Шубика за плечо:

— Не будь маловером, Мефодий! Ну, сроки отодвигаются, секретное оружие не успели закончить, зато у нас добрые вести!

— Какие?

— Союзники перессорились. Еще и не победили, а уже в волосы друг другу вцепились. Да это и естественно — какой может быть союз между британским лордом и русским большевиком? Запад есть запад, и немцы Америке ближе, чем русские.

— Это верно, — согласился Шубик. — Даже язык у них схож. До войны совместно заводы строили...

— Вот видишь! Договорятся — и вместе выступят против большевиков. А знаешь, какие богатства в России? Минералы, пшеница... Обязательно договорятся, я тебе говорю, — уже и контакты кое-какие наметились... Я про это знаю, но — держи язык за зубами, Мефодий! Коммунизм — угроза всему миру, в том числе и Америке. А кто его остановит? Только немцы! Поэтому мы и дальше пойдем с ними.

Шубик сидел, опираясь локтями на круглый столик, вни-

мательно рассматривал полупустую чашку кофе и тяжело дышал. Не хотелось ему больше ни за какие коврижки вышагивать под барабанную дробь и флейты немцев, но, представив себе, что при коммунизме все должно стать общим: дома, кастрюли, женщины, дети, — он ощутил тяжесть на сердце.

— Что твое, то мое — вот что проповедует коммунизм, — наседал Поляк. — А что мое, до того тебе дела нет. Понимаешь?

— Да-да, — забормотал Мефодий. — Ты прав, но только депутатом быть я не хочу. Старею я, Цело, и работы у меня хватает, где мне еще высиживать на сессиях да ораторствовать на трибунах. Нет, это не для меня. Был бы я моложе — тогда пожалуй... А эдак нам и часочка не останется над бокалом посидеть...

— Подумай еще, Мефодий.

— Нет-нет, Цело. Ни за что!

В голову ему пришел Куцбел — старый пройдоха, дрянь человек, но с ним легче договориться, чем с Гансом Куглером. Какой бы ни был Куцбел, но он — словак и большевиком никогда не станет. Говорят, он в церковь ходит, и будто даже — церковный инспектор. Да, Куцбел меньшее зло, чем Куглер. И конечно, чем Иван Гутян. С такими, как Куцбел, вполне можно сидеть за одним столом, хоть и скрепя сердце. И если немцы заключат союз с западными державами, Куцбел займет хорошее положение. И он советует ему, Мефодию, не принимать депутатского мандата. Право, в нынешнее время, когда льется кровь, когда столько казней, быть депутатом — далеко не мед...

Поляк, потянувшись, сказал:

— Ну, пора мне к Куглеру, пан декан опаздывает. Ты его подожди, сам с ним потолкуй. Уж он-то уговорит тебя не ломаться, как красна девица, и будешь ты еще депутатом!

Оставшись в одиночестве, Шубик допил кофе и вытянул ноги. В такой позе ему легче думалось. Нет, не поддастся он уговорам даже декана, пускай ищут другого депутата. Зачем ставить на немцев? Они продолжают отступать. А если и договорятся с западом — найдет себе место и осторожный... Так что нечего таскать для Гитлера каштаны из огня. Если же англо-американцы в союзе с немцами выгонят русских, будут на коне не коммунисты, не гардисты, а только люди золотой середины, не Поляк, а Шубик и, естественно, Куцбел.

Дверь открылась без стука — вошел декан Соляр, громко закашлялся; его лицо было фиолетовым от мороза. Подал Шубику холодную руку, не раздеваясь, опустился в кресло и, переведя дух, сказал:

— Не надо тебе становиться депутатом, сын мой, предоставь это другим!

— Да я и не хочу! — обрадованно вскричал Шубик. — У меня и так работы по горло.

— Вот именно. А пять тысяч в месяц, то есть депутатский

оклад, тебя не спасут.

— Но Цело уговаривает...

— Цело — другой тип, сын мой. Пускай он себе шагает в первых рядах, а ты не очень-то высовывайся. Не знаем мы, на чем договорятся после войны победители. Может статься, у нас получат влияние русские, и ты, если не будешь депутатом, сможешь приобрести положение — и тогда поможешь и Цело, и многим другим. Был ты просто служащим, специалистом по экономике. Если же немцев не выбросят из игры, сын мой, то и тут могут быть различные варианты: тогда на коне окажется Цело и в свою очередь поможет тебе. Рука руку моет, понял, сын мой?

Удивленный Шубик способен был только промямлить:

— Понимаю, понимаю...

— У вас двоих — разные натуры, — продолжал Соляр. — Ты спокойнее, тише, а Цело — горячка. Не сердись на него — нужны и такие люди, как он, и такие, как ты.

Он расстегнул шубу, вытащил из кармана серебряную табакерку, взял сигарку, обрезал, закурил.

— Словакия и без немцев будет жить, но мы, людаки, останемся: за нами стоит нация!

XVII

Кирилл собрал все свои карикатуры, и те, что висели по стенам, и те, что он прятал под персидским ковром, и вынес их в коридор.

Когда Куцбел предупредил его о возможном обыске, Кирилл вначале не встревожился — не пошлет же Поляк к ним своих людей! Однако упоминание о подозрениях немцев заставило его задуматься. Гестапо обосновалось в Братиславе как дома, могут и обойти Поляка... Сжечь, что ли, все? А если придут товарищи Ивана за новыми карикатурами?

Надо спрятать! И как только Кирилл остался дома один, он подумал о мамином тайнике.

Молотком он выстукал деревянную панель в коридоре, но звук повсюду был глухой: мать мастерски заполнила пространство между стеной и панелью разными коробками и мешками. Кириллу удалось наконец нащупать свободную доску, он вынул ее и, свернув трубочкой свои рисунки, вложил их в тайник. И тут в дверях загремел ключ — в коридоре появилась мать.

Кирилл так и замер на месте. Этелька всплеснула руками:

— Киро! Ты с ума сошел! — Сбросив прямо на пол каракулевую шубку, она бросилась к сыну. — Господи, что ты делаешь?!

Кирилл понял, что ничего уже не скроешь. Этелька заволновалась — неужели Кирилл голоден или, может быть, он хочет чего-нибудь вкусненького, шоколаду например? Кирилл только усмехнулся:

— Нет, мама. Просто нужно кое-что спрятать.

— Спрятать? Что?

Кирилл сел на табуретку и пристально посмотрел на мать.

— Мама, только никому ни слова! Обещаешь?

— Ну хорошо, говори же!

— Я узнал, что полиция интересуется моими рисунками, вот я и решил на всякий случай убрать их подальше.

— Но им бы дядя Цело не позволил...

— Немцам не запретишь, — отмахнулся Кирилл. — А здесь их никто не найдет.

Этелька задумалась. Все равно она давно собиралась проверить свои припасы. И прав Кирилл: тут никто его рисунки не найдет. Хотя лучше бы их вовсе не было...

— Ладно, Кирилл, но только, если тайник обнаружат, плохо будет нам и без твоих карикатур: продукты-то запрещено накапливать в больших количествах. Ну-ка, помоги мне! — Она подошла к тайнику, открыла одну коробку, облегченно вздохнула. — Эта в порядке... Давай осмотрим все.

Кирилл скривил рот, но подчинился матери.

— Вынь-ка вон ту коробку... А теперь тот мешок... — стала распоряжаться она, и постепенно весь "неприкосновенный запас" был выгружен на пол.

Мать развязала мешок с мукой, принюхалась, охнула: — Испортилась!

Заглянув в мешок с колбасами, удрученно вздохнула: — Заплесневели!

Кирилл, прислонившись к стене, наблюдал за матерью равнодушным взглядом, усмехаясь уголками губ. По крайней мере освободится место для его карикатур, а то и для листовок Ивана. А кого спасет от голода мешок муки?

Мать, жалобно вздыхая, открывала ящик за ящиком, мешок за мешком.

— Бог нас наказывает! — причитала она. — Столько добра пропало, столько добра! Что будем есть, когда фронт подойдет? А потом? После первой мировой тоже голод был... Где достанем продукты?

— Да о чем ты заботишься, мама! — не выдержал, засмеялся Кирилл. — Нас все равно из Братиславы прогонят!

— Что ты говоришь? — ужаснулась мать. — Почему?!

— Город объявлен крепостью, немецкой крепостью, неужели не понимаешь? Через него фронт пройдет.

— И что нам эти немцы покоя не дают?! Не мы эту войну затеяли!

Но, как человек практический, Этелька вздыхала недолго и тотчас принялась за работу.

— Муку придется выбросить... Кофе в зернах оставим...

Кирилл помогал ей вытаскивать и снова убирать в тайник

мешки с ящиками; за ними последовали и его рисунки.

— Погоди, еще не закрывай, — с этими словами мать достала черную деревянную шкатулку и поспешила с ней в столовую.

Усевшись на стул, открыла шкатулку, выложила из нее на стол пригоршню золотых колец, серег, цепочек, монет. Среди них были перстни с бриллиантами и платиновое ожерелье.

Долго любовалась она фамильными драгоценностями и тихонько вздыхала. Эти предметы порче не поддаются — их и возьмет она с собой, если немцы выгонят жителей из города и если, не дай бог, разобьют пушками их виллу...

XVIII

Иван Гутян, по паспорту Имрих Гавиар, уже не студент, а фактор деревообделочной фирмы, спал как убитый. А поезд мчался сквозь ночь. Иван спал, сидя у окна и накрывшись пальто. Путь от Ружомберока до Трнавы, с несколькими пересадками, занял чуть ли не двое суток. Ночью поезд шел быстрее: не надо было опасаться ни воздушных налетов, ни облав — ночью спят ведь и солдаты вермахта, и гардисты. Спал и Иван.

Перед тем как заснуть, он думал о том, что было в последние дни. Видел внутренним взором дом лесника, Белан сидел у печки, зажигал от уголька сигарету. Затянувшись, говорил: ''Поедешь в Братиславу, документы мы приготовили. Привезешь планы обороны города — получи их у Марии Гердовой, Кривая улица, дом номер один. Пароль: ''Не вы ли сдаете сад?'' Отзыв: ''Через два года''. Помимо этого, Иван, проверь наших людей на строительстве укреплений, пускай организуют саботаж, затягивают работы...''

В котелке на печке растаял снег, Белан подлил в него спирту из фляжки, сказал Ивану: ''Ну-ка глотни, за счастливое возвращение. На Кривой улице не ночуй, в рабочих кварталах чаще всего облавы. У тебя есть знакомые. Лучше всего переночевать у Шубиков или у Куцбела, там безопаснее. Ты говорил, Куцбел дал тебе свою визитную карточку? Ходят слухи, он вернулся из Быстрицы домой''.

Потом летели по долине сани, развевалась лошадиная грива, стадо оленей промчалось через дорогу, потом путь их пересекла женщина с полными ведрами, и Иван улыбнулся: хорошо, что не с пустыми!

Затем — нетопленый вокзал, эвакуированные на чемоданах и мешках, топот солдатских сапог, грохот зениток, детский плач, трехкилометровый пеший переход в снегу по колено — с поезда на поезд, вдоль поврежденной линии. И опять нетопленый вокзал с выбитыми окнами, набитый людьми товарняк, и снова пассажирский поезд...

Медленно, шагом поезд подползал к Братиславе. Редела темнота, светало. На полях серел грязный снег, растоптанный сапогами, гусеницами танков. Поезд, пыхтя, подкатил к вокзалу, по перрону расхаживали военные патрули с овчарками на поводке. У выхода в город два немецких солдата и гардист проверяли документы. Иван протянул свой, пустив в ход свое знание немецкого языка:

— Bitte, hier haben sie...[1]

— Danke[2], — ответил один из немцев, и Иван усмехнулся: думают, раз по-немецки говорит, значит, не подозрителен...

Братислава встретила Ивана неприветливо. Студеным влажным ветром ударило в лицо, низко над крышами нависли тучи и дым, улицы кишели солдатами вермахта. А что делается в подвалах, в домах, в окопах и бункерах? Видимо, большие силы собраны здесь — военная техника, танки, артиллерия...

Крепость Братислава! Неужто разрушен будет этот город, как Сталинград? Неужто гитлеровцы будут обороняться здесь до последнего? И неужели до самого поражения немцев будет смотреться в Дунай ненавистная свастика с крепостного холма? Festung Pressburg! Одна из последних опор Третьего рейха. Отсюда до Вены рукой подать. И здесь немцы не станут "эластически отступать", как привыкли писать газеты, они уберутся за Дунай, только если их разгромят, уйдут оборванные, рассеянные, подпираясь костылями — и перестанут быть армией. Чем медленнее будет продвигаться стрительство укреплений, тем легче будет городу стряхнуть с себя чужие войска, тем меньше будет разрушений, меньше народу погибнет.

В других условиях Иван чувствовал бы себя беспомощным и одиноким в этой толпе солдатских мундиров, но сегодня у него было важное задание. Если вернется в горы с планами укреплений, значит, не напрасно приезжал и жил не зря. По знакомым братиславским улицам он шел с тем же чувством, с каким минировал в Липтове железнодорожный путь, по которому должен был пройти важный военный транспорт. Тогда они вышли на задание вдвоем: он и подрывник. Немецкие часовые были от них всего в трехстах метрах. Над нетронутой снежной пеленой светились звезды. Они шли вдвоем, а Ивану казалось — шагают с ними вместе десятки вооруженных товарищей, они не одни, и поэтому ничего с ними случиться не может. И теперь, проходя по Братиславе, думал Иван о Йозефе Белане, об Эдо и Данё — все товарищи желают ему счастливого возвращения, и Иван верил, что вернется.

Уже совсем рассвело, когда он постучался в домишко Марии Гердовой. Она открыла и, выслушав пароль, ответила:

[1]Пожалуйста, вот вам... (*нем.*)
[2]Спасибо (*нем.*).

— Через два года.

В кухне Мария усадила его на табуретку, налила горячего чая из шиповника.

— Как доехал, товарищ?

— Отлично. — Иван отхлебнул чаю. — По нынешним временам лучше и не может быть. Хорошо еще, кое-где поезда ходят.

— Как же тебя, такого молодого, послали?

— Какой я молодой, — пожал плечами Иван. — Есть у нас и помоложе. Просто я знаю Братиславу и говорю по-немецки... Материал у вас?

— Да, — кивнула Мария.

Впервые видит он эту женщину, а она уже ближе ему родной матери. Называет его "товарищ", а Ивану чудится — "сынок".

— Налью тебе еще. — Она встала, налила ему чаю и вынула из буфета тарелку с запеканкой. — На, поешь! Проголодался, поди.

— Да нет, у меня с собой было. — Однако он тотчас принялся за еду. — Еще я должен спросить у тебя, как продвигается рытье окопов, выдерживают ли сроки...

— Это все записано. Немцы бесятся: из тех, кого нагнали на работы, каждый второй болен: у того воспаление легких, у этого понос, у третьего грипп с высокой температурой, а врачи охотно подтверждают. Но теперь всех больных передают на комиссию к немецким докторам.

Она вынула из буфета полотняный мешочек, наполненный круглыми коробочками; открыла одну, поднесла Ивану:

— Ну-ка, понюхай!

Иван понюхал — и тотчас расчихался.

— Видишь! — засмеялась Мария. — Один из наших раздает такие штучки студентам на работах. Шла я вчера мимо — так все чихали как нанятые, а немецкие часовые к ним спиной поворачивались — эпидемия, мол...

Иван, вытерев слезы, захохотал — чего только не придумают ребята!

— Некоторые пьют по утрам настойку из табака, а то еще мел едят, — рассказывала Мария. — Говорят, от этого температура поднимается.

— Так мы, бывало, в школе делали...

— Не одни вы интересуетесь оборонительными работами, — продолжала Мария. — Всякие господчики тоже. Только им-то на что? Или по дешевке заслуги заработать хотят? Нынче уже каждый гавкает на Гитлера, а вот года два назад...

— Кто же интересовался-то? — насторожился Иван.

— Да приходил тут один мой бывший одноклассник. Долгие годы и знать меня не хотел. Как-то, давно еще, встретились мы с ним в Мияве — он тогда в первый и последний раз видел моего мужа-покойника, — а теперь вот подсыпался, даже денежки в конверте всучил. Я-то брать не хотела, а он оставил — мол, не от

него это, а из какого-то фонда помощи политическим. И просил он меня последить, в каких местах окопы роют. Что ж, я обещала, но дам ему сведения только о тех местах, которые и так все видят. Дурочкой прикинулась.

— Да, нынче уж чуть ли не все против нацистов, — усмехнулся Иван. — А что, этот господин состоял в гарде?

— Нет — но никогда он и с нами, рабочими, не имел ничего общего. Да и как мог иметь, когда он — нотариус?

— Нотариус? — встрепенулся Иван. — К одному нотариусу я должен пойти ночевать... Это не...

— Куцбел его зовут, — угадала вопрос Мария.

Иван захохотал, шлепнул себя по коленям:

— Вот это совпадение! К нему-то я и иду!

— Ну что ж, у такого отлично выспишься, к таким гардисты не ходят вынюхивать, они только к беднякам шляются. У меня вот два раза комнату переворошили.

Она встала, вынула из-под порога конверт, со значением посмотрела на Ивана:

— Вот тут все планы. Смотри, аккуратнее с ними!

Иван спрятал конверт под подкладку шапки, поблагодарил Марию и стал собираться.

— Была бы я верующая, перекрестила бы тебя, — вздохнула та. — Счастливо, товарищ!

XIX

Мефодий и сам не знал, зачем пришел к Куцбелу. Сел в старое кресло в его кабинете без окон; дышал тяжело, как гусь на откорме.

Все как-то сразу навалилось, беда за бедой. Во-первых, Шубик не раздобыл рождественской елочки — пришлось довольствоваться жиденькой сосенкой, растрепанной, как метла. Во-вторых, нигде нельзя было купить ни фиников, ни святоянских хлебцев — в продаже были только мелкие костистые карпы. В-третьих, Кирилл заявил отцу, что слушает Москву и Лондон и что немцы мелют из последних сил.

Ждал рождества, полный надежд и мечты о тепле и покое, но никакого праздника не вышло. Некогда было даже посидеть, потешиться с близкими друзьями — с семейством Поляка, с деканом Соляром, — своих забот было выше головы.

Немцы мелют из последних сил! Где же предсказания Цело Поляка? Чего добились тотальной мобилизацией? Союзные державы — Англия, Америка, Советский Союз — и не думали ссориться. Все ожидания Поляка рассыпались, как карточный домик. На что еще надеяться?

Перед тем как отправиться из дому, Шубик снял со стены

немецкий орден, хотел выкинуть в мусор, да все-таки не решился, спрятал под ковер. Сразу легче стало, а когда вынул из письменного стола номер газеты словацких немцев "Гренцботе"[1], в котором были напечатаны нападки на него, удовлетворенно вздохнул. Быть может, ему поставят в заслугу то, что он защищал евреев. Да, но потом-то он все же позволил увезти в лагерь Зингеров, отца и сына... А что он мог сделать, руки у него были связаны!

Говорят, змея меняет кожу, но не сердце. Да ведь и он, Шубик, не хотел изменяться, хотел только немножко подкрасить кожу... Он вынул из ящика сберегательную книжку, на которую откладывал малую часть прибылей от скобяного магазина. Долго смотрел на нее, прежде чем сунуть в карман.

Все это было утром; Шубик чувствовал себя как после исповеди, когда от больших грехов остается лишь несколько покаянных молитв. Он считал себя виноватым только перед Зингерами — не спас их от концлагеря. О других он не думал.

И тут-то пришло ему в голову заглянуть к Куцбелу. Чувствовал — нотариус ему сейчас нужнее, чем Поляк. В задумчивости он даже забыл переобуться, только на улице, когда ногам стало холодно, спохватился, что вышел в домашних туфлях. Вернулся, натянул башмаки, какие нáшивал в Липтове, и снова вышел, не зная точно, куда направиться: в министерство, к Поляку, к декану или в "Ориент" к пани Иренке. В конце концов решил: к Куцбелу! И вот он сидит у него в старом кресле.

— Зашел к вам по дороге, пан нотариус... Хотел сообщить, что отказался от мандата — и вообще от политики. Фирма отчислила деньги Красному Кресту — полмиллиона...

— Prima, primissima! — воскликнул Радуз. — Хорошо, что мы поняли друг друга.

— Мы ведь словаки, — тихо произнес Мефодий; хотел было добавить — "и христиане", да осекся, смущенно потянулся к карману.

— Выпьете что-нибудь? — спросил Куцбел, но Шубик отрицательно покачал головой:

— Нет-нет, спасибо. Я только хотел еще показать вам, — он выложил на стол сберегательную книжку, — что я не забыл о Зингерах. Вот уже два года откладываю для них деньги, так что совесть у меня чиста... Взгляните!

Куцбел мельком посмотрел книжку, отметив про себя, что ежемесячные вклады составляли по пятьсот крон, а за последний квартал — тысяча, и усмехнулся: вот скупердяй, ведь магазин-то ему многие тысячи приносит!

— Видите, — выпрямился Шубик. — Когда вернутся, будут у них кое-какие средства...

[1] "Вестник пограничья" (*нем.*).

— Если вернутся, — поправил его Куцбел. — Я лично не верю в их возвращение. Говорили мне, немецкие концлагеря — кладбище для живых людей... Оттуда никто не возвращается.

Шубик опечалился, убрал книжку в карман и сказал со вздохом:

— Тогда я закажу такую заупокойную мессу, какой еще ни за кого не служили...

У Куцбела вертелось на языке, что это как мертвому припарки, но, будучи человеком воспитанным, сдержался и только бросил:

— Что поделаешь...

— Если помните, пан нотариус, меня из-за них немцы в газетах ругали...

Куцбел прекрасно помнил это, но в данную минуту он счел нужным намекнуть министерскому советнику, что отныне он, Куцбел, будет играть первую скрипку; поэтому он только пробормотал:

— Да, было что-то в этом роде...

И сам порадовался: намек получился тонкий, но ясный, а Шубик пускай делает выводы.

— Я и мастеру "Даров леса" помог, — продолжал Шубик, — из тюрьмы его вытащил. Не думайте, пан нотариус, что я только и делал, что кланялся Гитлеру. Теперь-то вижу, это маньяк и обманщик.

Куцбел с улыбкой согласился.

— Но я истый словак, хоть и бывают у меня ошибки, да у кого их нет? — добавил Мефодий.

Куцбел, кивая, погладил свою плешь:

— Мы латынь изучали, пан советник: errare humanum est[1]. — Вот именно, ошибки случаются, только надо их исправлять.

Шубик чувствовал себя как в церкви на исповеди и будто ему отпускают грехи. Правда, не с легкостью и не даром. Придется покланяться этому господинчику, которого он всегда недолюбливал. Да что поделаешь? Жизнь — штука сложная, колесо истории вертится — ты то наверху, то внизу, но время — лучший целитель, все раны заживляет.

А Радуз Куцбел был на коне; с какой радостью обругал бы он сейчас старого знакомого! Припомнил бы Шубику все те неприятные слова, за которые ему теперь бы голову пеплом посыпать! Но Радуз не забывал, что необходимо застраховать себя с обеих сторон. А вдруг ему еще пригодится этот министерский советник, пока фронт не подошел?

И о завтрашнем дне подумал Радуз Куцбел.

Он знал — ни Мария Гердова, ни Иван Гутян и им подобные никогда не будут голосовать за него: у них свои, красные вож-

[1]Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

ди; а вот Шубик когда-нибудь может стать ему опорой.

Поэтому, прощаясь, Куцбел превозмог себя и крепко пожал руку Мефодию Шубику.

XX

— Когда же мы эвакуируемся? — крикнула из ванной Труда Куцбелова. — Вон все уже бегут из Братиславы, а мы ни с места!

Радуз Куцбел разбирал донесения о количестве танков в городе, о крупных аризаторах, подчеркивал красным карандашом некоторые строчки; наконец вложил все эти бумажки в большой конверт и с таинственным выражением лица прикрепил конверт кнопками к задней стенке шифоньера в спальне да еще сверху приколотил тоненькую дощечку. Он был уверен, что теперь никто не найдет тайник, хотя бы перевернули всю квартиру. Никто не превзойдет его в сообразительности, таких гениальных шпиков Поляк еще не сумел вырастить. А на эти донесения, которые приносили ему в кафе "соратники" — два пенсионера, директор Косо, два министерских чиновника и один член церковного совета, — Куцбел возлагал большие надежды.

У кого еще найдется такая совершенная, просто классически разработанная карта города, у кого есть такие точные списки крупных деятелей режима и разбогатевших на политике спекулянтов? Кто еще располагает такими сведениями военного характера, вообще, кто развивал подобную активность?!

Естественно, что за такими размышлениями он не расслышал голоса жены. Ему не до пустяков. Он был доволен собой, хотя немножко и сомневался: а ну как его спросят когда-нибудь, кому же передавал он все эти сведения? Не говорить же, что держал их в спальне за шкафом!

— Слышишь? Когда эвакуируемся?! — донесся снова голос Труды, заглушаемый плеском душа.

— На той неделе, — отрезал Куцбел. — Впрочем, я бы предпочел остаться здесь.

— Я не желаю, чтобы меня убили! — закричала Труда. — Что, если бомбу на нас сбросят?

— Так уж и на нас! — усмехнулся Куцбел. — Тут поблизости ни заводов, ни вокзалов.

— Станут они тебе выбирать, сволочи!

— Так и Пезинок бомбить могут.

— А ты намалюй на крыше красный крест! — сказала Труда, выходя в халате из ванной.

— Фантазерка ты. — Куцбел поднялся и, заложив руки за спину, стал прохаживаться по комнате. — Кто это нынче соблюдает? И потом не забывай: у меня важное задание в Братиславе.

Она чуть не расхохоталась. Важное задание? Это сидеть-то в

кафе за чашкой черного кофе, как старые дамы, записывать названия улиц, где окопы роют? Уж лучше бы оставался в Банской Быстрице и ушел бы со всеми в горы. Этим-то больше уважения заслужил бы, а где уважение, там и денежки...

Кто-то позвонил у входной двери. Труда вышла в прихожую, глянула в глазок и вернулась, шепотом сообщила:

— Там какой-то парень, тощий, носатый...

— Погоди, я сам открою. Кто бы это мог быть?

Он открыл дверь — и замер от удивления; подавая руку неожиданному гостю, спросил:

— Откуда вы взялись-то?

— Вы мне тогда свою визитную карточку дали, пан нотариус, — сказал Иван Гутян. — Вот я и позволил себе...

— Входите, входите, раздевайтесь...

Иван повесил на вешалку пальто, тщательно вытер ноги и проследовал за хозяином в столовую.

— Вы тогда разрешили мне заглянуть к вам, — промолвил Иван, усаживаясь в кресло. — Вот я и пришел. Мне бы надо позвонить от вас молодому Шубику, а еще к вам просьба: если понадобится, можно у вас переночевать?

— Конечно, с большим удовольствием, коллега! Будьте как дома!

— Еще, пан нотариус, мне нужен пропуск на другое имя, — продолжал Иван. — Я приехал с гор и сегодня или завтра должен вернуться, но на улице у меня проверяли документы, и, видимо, я показался подозрительным — шпики записали данные из моего паспорта и пропуска, выданные, естественно, не на мое настоящее имя. Так что, если позволите, я бы позвонил Шубику — с почты мне звонить не хотелось.

— Пожалуйста! — показал Куцбел на телефон.

Иван явился к нему как по заказу. Предоставить ночлег такому человеку — вот уж заслуга так заслуга! И он, Куцбел, передаст Ивану копии сведений о немцах в Братиславе, об окопах... собирал же он все эти материалы именно для повстанцев — то-то прославится! И не будут эти бумажки лежать втуне у него в спальне, их копии попадут в нужные руки. У кого будет больше заслуг в спасении города, чем у Куцбела? Планы укреплений — по крайней мере те, что он раздобыл, — получат через Ивана генералы Красной Армии, и им легче будет разгромить немцев.

— Звоните, звоните, — сказал он Ивану, — а я тем временем кое-что принесу для вас.

Он ушел в спальню и, вытащив заветный конверт из-за шкафа, начал переписывать материалы. Иван набрал номер Шубика. К счастью, трубку взял Кирилл.

— Не говори лишнего! — заговорил Иван. — Ну да, это я... Нет, встретиться не удастся, я должен обратно! Ты угадал — нужен паспорт и пропуск. Позвони Магде! Прежние документы

не в порядке, потом объясню... Слушай — на имя Яна Голуба!.. Потом перезвони в квартиру Куцбела... Нет, не могу — вот если б Магда принесла, да, к нему... Ну, пока!

Положив трубку, Иван сел в кресло. Однажды Магде уже удалось достать нужные бланки: кабинет ее отца соединяется с квартирой, у Магды есть ключ к ящику, где лежат печати. Старыми документами пользоваться уже нельзя: могли дать приказ арестовать "Имриха Гавиара"...

Куцбел шепнул жене, чтоб приготовила перекусить, вероятно, у них переночует партизан...

— Ты с ума сошел! — вырвалось у Труды. — А если его найдут?

— Значит, не повезло, — спокойно ответил Куцбел. — Зато если не найдут — отличное будет дело!

— Погубишь ты нас... Да что теперь делать? Ладно, приготовлю что-нибудь.

— Ну как, дозвонились? — спросил Куцбел, входя в столовую с бумагами в руках.

— Да. Если в течение двух-трех часов получу документы, уеду еще вечером.

— Что вы, коллега, оставайтесь!

— Я должен вернуться как можно скорее.

Куцбел положил свои бумаги на стол, пододвинул к Ивану.

— Думаю, пригодятся, — с заговорщическим видом шепнул он. — А кому передать — сами знаете. Планы укреплений Братиславы, еще кое-какие сведения. Как видите, коллега, и мы здесь не дремлем, не только вы в горах.

Иван пробежал бумаги глазами, усмехнулся про себя — у него-то были сведения куда более точные! Но, не желая обидеть хозяина, поблагодарил и спрятал бумаги в карман с намерением при первой же возможности избавиться от этого ненужного и даже компрометирующего груза.

Вошла Труда с подносом — колбаса, сало, хлеб. Подала руку Ивану, смерила его внимательным взглядом с головы до ног, удивляясь мысленно: неужели этот худенький студент — партизан, гроза немцев?

— Покушайте, пожалуйста, а я сейчас кофе принесу, — сказала она и прибавила в шутку: — А если я вам нужна, то отправлюсь с вами в горы и научусь стрелять...

— Стрелять-то и я как следует не умею, — улыбнулся Иван. — Но в горах не место женщинам —холодно там.

— Она мерзнет даже в натопленной комнате, — вставил Куцбел.

Когда жена вышла, он принялся обстоятельно рассказывать о себе, о том, что делает в глубоком подполье.

— Жизненный опыт у меня есть, — говорил он. — Знаю, как оно водится на белом свете. Люди ваших убеждений умеют бороться, но в мирной жизни им будет труднее. Кто будет голосовать на выборах за партизан, когда партизан — безбожник? Или

если он захочет ввести русский большевизм?

— Я коммунист, — ответил на это Иван, — и когда-нибудь люди поймут, что мы желаем им только добра. Вот в горах с нами самые разные люди: ремесленники, студенты, крестьянские парни, унтер-офицеры, — и все нам верят.

— Значит ли это, коллега, что меня и мне подобных вы спишете на свалку?

— Зачем? С нами есть даже немцы — те, что выступали против Гитлера.

Зазвонил телефон. Куцбел взял трубку, выслушал, потом повернулся к Ивану:

— Молодой Шубик. Передал, что все в порядке и через полчаса сюда придет какая-то Магда.

— Спасибо, пан доктор!

Внезапно невыразимая усталость одолела Ивана — он даже не заметил, как заснул. Проснувшись, увидел себя на кушетке, а на круглом столике рядом лежали дорожные документы.

Иван протер глаза. Солнце уже заходило, в соседней комнате играло радио. Скрипнул паркет, в дверях появился Куцбел. Улыбаясь, он сказал:

— Вы спали как сурок, мы не хотели будить вас, эта барышня принесла бумаги, но она очень торопилась.

Иван поспешно глянул на часы и поднял на Куцбела виноватые глаза:

— Извините меня — я страшно устал...

— Жена приготовила вам постель.

— Нет-нет — попробую успеть на вечерний поезд. Дорога нынче много времени занимает, и я должен спешить. Благодарю за все, пан доктор.

Он встал, начал собираться.

— Я не имею права удерживать вас, коллега, — проговорил Куцбел. — Но если что нужно, располагайте мной, хотя, скорее всего, мы переберемся в Пезинок. Найдете меня там — улица Глинки, двенадцать.

— Хорошо, спасибо.

После ухода Ивана Куцбел долго стоял у окна. Шел снег, темнело, и Куцбел никак не мог понять, почему его гость не остался в теплой комнате, а отправился в горы, где столько снегу, и трескучий мороз, и во всех долинах бушуют бои...

И вздохнулось ему, подумалось: все-таки, видать, главное-то решается именно там, а не в Братиславе. Там — народ посмелее...

XXI

Цело Поляк, как проснулся в три часа утра, так и не мог больше глаз сомкнуть. Ворочался в постели, курил сигарету за сигаретой, тихонько ругался. Слыханное ли дело, чтоб так рас-

пустить сына, как Мефодий Шубик! Позволяет огрызаться, отпускать ехидные замечания — совсем от рук отбился мальчишка! И то уже казалось Поляку странным, что парень пристрастился к рисованию. Разве серьезный человек станет малевать да сочинять стишки? Чудачество, от которого до бунтарства — один шаг! Точно так и обстоит дело с этим Кириллом.

Жаба с крестом и свастикой, похожая на президента Тисо, на листовке, которую он еще в августе сорвал со стены в казарме, зловещим знамением появлялась всю осень в разных местах. Кто выдумал и изобразил эту пакость, должен был ненавидеть режим, и, конечно, он связан с "диверсантами", которых столько расплодилось в городе.

А люди Поляка двигаются как улитки. Три месяца ищут автора листовки и не могут схватить. Нить, ведущую к нему, наконец обнаружило гестапо — поймали какого-то молокососа с кистью, клеем и листовками в портфеле, поприжали, пощекотали малость, и молокосос запел. Имени он, правда, не назвал, не знал его, сказал только, что листовки рисует сын какого-то крупного чиновника. После этого Кукучка принес из гестапо сведения, что немцы напали на след Шубикова сына.

Так ему и надо, сказал себе Поляк, пускай Кирилл сам расплачивается. Не умеет держать себя в узде — ну и получай, что следует! Будет урок и Мефодию... Молодежи, как и седым старикам, не свобода нужна, а крепкая узда!

Но к утру, после бессонной ночи, Поляк решил все-таки, что не может бросить Шубиков в беде. Придумав, как ему поступить, с утра позвонил Кукучке и распорядился в девять часов произвести обыск в квартире Шубика. А в восемь он сам уже звонил в дверь его виллы. Открыл Мефодий.

— Мне надо говорить с Кириллом! — не здороваясь, гаркнул Поляк.

В этот же момент из столовой донесся голос Этельки:

— Кирилл, Мефодий, завтракать!

В столовую вошли все разом: Шубик с Поляком и Кирилл, опираясь на палочку. Этелька побежала на кухню — бранить служанку.

Поляк строго посмотрел на Кирилла и процедил сквозь зубы:

— Выпороть бы тебя по голой! Малюешь антигосударственные листовочки, их по городу расклеивают...

— Да в чем дело, дядя? — покраснев, спросил юноша.

— Сам отлично знаешь. Но знают это и мои люди, и немцы!

— Я не рисую ничего противозаконного.

— Не ври! — вскричал Поляк, и на шее у него вздулись вены. — А жабу кто нарисовал, басордыга-мотыга? Я? Или твой папочка?

Мефодий с виноватым видом потупился. Значит, Кирилла

все-таки выследили, как ищейки — вора... Надо было раньше признаться Поляку, зачем было скрывать? Что же теперь будет? Военное положение не отменено, и немцы тут...

— Послушай, Киро, — уже тише заговорил Поляк. — На этот раз я тебе еще помогу, но больше — никогда. Я пришлю своих людей, они обыщут квартиру и заявят гестапо, что ничего не обнаружили. Таким образом обойдем немцев. Я скажу — автора мы выследили и арестовали. Но ты должен все сжечь, понятно? — Он посмотрел на часы. — С обыском придут в девять. И повторяю — если еще что выкинешь, сам отвечать будешь!

— У меня ничего нет, пускай ищут.

— И будут. Я бы и посадил тебя на пару деньков, чтоб гестапо успокоилось, но нас обязали передавать арестованных немецким властям.

Он подошел к телефону:

— Мне надо позвонить.

Кирилл, хромая, удалился, а Шубик пробормотал с тяжелым вздохом:

— Ну, не знаю...

— Надеюсь, все кончится хорошо, — шепнул ему Поляк. — Долго я раздумывал, заминать ли это дело — ведь парень-то против тебя пошел, понял? Против твоих христианских идеалов!

Бледный, сгорбившийся Мефодий только головой кивал.

Поляк набрал номер, закричал в трубку:

— Алло! Кукучка? Взяли того студента?.. А, черт! Понял, что его засекли, и наверняка исчез из города, тем более что вы его имя записали... Конечно, было у него какое-нибудь подлое задание... Проверка в поезде? А он мог другие документы достать... Его настоящее имя — Иван Гутян... Да вы что, Кукучка, спите там? Ну да, о нем-то и речь, басордыга-мотыга? Что?.. Тогда дайте мне секретаря!

Закурив сигарету, Поляк покосился на Шубика:

— Я от этого просто рехнусь...

И снова закричал в трубку:

— Что ты несешь?.. Магда, из моего кабинета?! Два бланка?.. Басордыга-мотыга, накладываю на дочь домашний арест! Исполняй!..

Бросив трубку, Поляк, словно подрубленный, рухнул на стул; он даже не почувствовал, когда сигарета обожгла ему пальцы. Слегка опомнился, услышав озабоченный голос Шубика:

— Что с тобой? При чем тут Иван? Он был здесь? Схватили его?

— То-то и дело, что нет, — устало махнул рукой Поляк. — Был здесь, но, видимо, успел смыться. Один агент заподозрил его, записал имя — конечно, фальшивое, с фальшивого паспорта, — но он мог ускользнуть с новыми документами. А их вы-

крала у меня собственная дочь!

— Боже мой! — всплеснул руками Шубик. — Магдушка?..

— Ну да. У меня на столе лежало десять бланков, секретарь принес. Потом в кабинет входила Магда, и после этого два бланка исчезли. Бьешься-бьешься ради детей, а все кошке под хвост...

Шубик развел руками, вздохнул:

— Да, детки не в нас пошли...

XXII

Зима кончилась, наступила весна. Целых два месяца в страхе гадали братиславчане — пронесется ли фронт над ними, подобно весенней грозе, или застрянет надолго на подступах к укрепленному городу.

У Поляка было такое чувство, будто он бесконечные дни и ночи просидел в бомбоубежище и лишь сегодня, в первый день весны, еще похожий на зимний, вышел на улицу и закатился в кафе "Ориент".

Он отлично знал все, что произошло в последнее время. Одни братиславчане эвакуировались в деревни и городки неподалеку от столицы, другие сидели по подвалам, прихлебывая холодный чай и молясь богу, чтоб смерть обошла их стороной. А сколько уже погибло...

Рождество и Новый год миновали, словно и праздников не было, у Поляков даже елочки не поставили. Что за рождество без елки, что Братислава без винных погребков?..

Цело Поляк поджидал в "Ориенте" Шубика, и, когда к нему подсела пани Иренка, он не стал пускаться с ней в разговоры. Сердился на то, что она больше внимания уделяла Куцбелу, а не ему, будто уже учла политическую ситуацию. Как улыбалась она этому нотариусу, как вертела задом перед ним! А к столику Поляка подошла просто как хозяйка кафе. И подсела-то она к Поляку с благосклонным видом лишь после того, как Куцбел удалился с двумя какими-то старикашками.

— Первый день весны, пан президент, а вы невеселы, — пропела пани Иренка, подливая ему вина.

— Веселиться может нынче разве что дурачок "Schöner Natzi", — буркнул в ответ Поляк. — Не принесете ли вы мне куриного паприкаша?

— Теперь нам разрешено подавать только одно блюдо всем, пан президент, и сегодня у нас в меню галушки с капустой.

— Ладно, пускай хоть это принесут, — махнул рукой раздосадованный полицей-президент. — А я пока газеты просмотрю.

Иренка состроила кислую мину и удалилась. Поляк стал перелистывать газеты.

"Святую мессу отслужит его преосвященство епископ..." На

кой ляд пишут еще о церковных делах! Писали бы лучше о работах на укреплениях, которые еле продвигаются! Молиться молись, а за дерево держись, от одних молитв зубы ломит...

Поляк пробежал глазами заголовки статей, и вдруг даже дыхание у него перехватило: бои за Липтовский Святой Микулаш! Сыпной тиф в Липтове!

Фронт приближается к Братиславе, фюрер где-то просчитался... Не стал Сталинград могилой для большевиков! Никто не остановил русских в Карпатах, не помогла тотальная мобилизация, и англо-американцы не поссорились с Москвой. Неужели Гитлер ошибся? Он ведь спас Германию от коммунизма, поставил ее на стальные ноги, весь мир трепетал перед ним!

Поляк вчитывался в статью Геббельса, в ней ему понравилась фраза: "Никогда не пробьет час капитуляции Германии!" Быть может, в руках у властителей рейха есть все же тайный козырь и они пойдут с него в последнюю минуту?..

В журнале "Словак" он перечитал фразу из речи Гитлера, набранную крупным шрифтом: "Мы будем сопротивляться до тех пор, пока не истощим силы противника!"

Поляк перевел дыхание. Укроется вместе с правительством в Австрии, а когда большевики истекут кровью, когда союзники отшатнутся от них, он вернется в Братиславу. Так будет разумнее всего.

Почему же не пишут больше о том, что силы большевиков подходят к концу? К чему эта болтовня в газетах о мессах, о летающих рыбах, о братиславском "Попрыгунчике", у которого на ногах такие пружины, что он может подпрыгнуть до четвертого этажа? Люди Поляка его не поймали. А раз не поймали, значит, это газетные враки.

Сколько же событий случилось в "Festung Pressburg" с рождества! Седых свезли на погост, молодые стремительно поседели, а самых молодых нагнали в боевые отряды глинковской молодежи — рыть окопы и стрелять. Поляк спас Шубиков, а дочь свою держит дома под замком, чтоб не позорила отца. Советника германского посольства Куглера хватил инфаркт, он лишь недавно вернулся к делам.

Нет, надо удирать от красных, не то повесят на первом же фонаре. А в Австрии увидим, что будет дальше.

Пани Иренка принесла галушки с капустой, следом за ней явился, переваливаясь по-медвежьи, и Шубик. Поздоровались, Иренка убежала за порцией для Мефодия, а Поляк с ходу ошеломил приятеля:

— Ну как, Мефодий, едешь с нами?

Шубик выпучил глаза, с трудом проглотил слюну:

— Нет, Цело. Вряд ли. Послушай — тут мы родились, тут пускай и помрем! Думаю — не оторвут же нам голову...

— Не только голову — и это самое оторвут! — отрезал По-

ляк. — Лучше послушаемся пана декана...

"А черт с ним, с Шубиком, — подумал он меж тем. — Отступается... Немецкий орден спрятал, депутатский мандат не принял, красного из тюрьмы вызволил, а то, что натворил его сынок, и вовсе непростительно. Как он его воспитал?.."

Мысль уйти вместе с немецкими войсками была совершенно неприемлема для Шубика. Ведь, пожалуй, с его головы и волос не упадет: Кирилл-то рисовал листовки против режима, да и Куцбел поможет...

К их столику подошел Кукучка, и Шубик отметил про себя, что он приветствовал шефа не предписанным "На страж!", а шеф его за это не отчитал.

— Пан шеф, не застал вас на службе, вот и прибежал сюда... — начал Кукучка.

Отодвинув пустую тарелку, Поляк бросил ему:

— А я здесь делами занимаюсь, в "Ориенте". Слушайте, Кукучка: завтра арестовать всех по списку!

— По какому?

— Вы что, с луны свалились? Арестовать всех, кто слушает Лондон и Москву! И еще всех, кто подозревается в сношениях с партизанами.

— Да кто же с этим справится, пан шеф? — вздохнул Кукучка.

— Это меня не интересует! — стукнул Поляк по столу. — Порядок должен быть! И начать как можно скорее!

И, словно забыв о Кукучке, он чокнулся с Шубиком, выпил залпом и прохрипел:

— А теперь — марш!

Кукучка вскочил со стула, поклонился и вышел.

По улицам громыхали танки, где-то раздавались одиночные выстрелы зениток — и под этот шум вступил в "Ориент" декан Соляр.

Пани Иренка помогла ему снять пальто. Соляр потер холодные щеки, поздоровался и, сев к столу, первым делом промочил горло.

— А мы вас ждем, — сказал Шубик, на что декан только рукой махнул:

— Суббота, сын мой, суббота священника... Никак не мог. Надлежит мне образцово служить господу богу, юноши, чтоб потом испустить дух свой без великих мук. Кто знает, как на это смотрит господь. Я шел по его велениям всю жизнь; бог — это любовь, вот и помогал я там и сям любви... Не забывайте, у скольких молодых красавиц мужья — недужные старцы, а во мне здоровье так и кипело...

Шубик заметил, что декан уже изрядно утолил жажду, глаза у него мутные, и болтает он совсем уж несуразное. Опечалился: как же ждать от декана мудрого совета, когда он в таком со-

стоянии? Однако Соляр понял его взгляд и улыбнулся:

— Малость хлебнул я — отказался от членства в Государственном совете, вот и отпраздновал это событие со своей экономкой.

— Почему же вы отказались? — не выдержал Поляк.

— Святой престол далеко смотрит, сын мой. Я ведь дома остаюсь, в Братиславе. Отказался — не одобряю линию. Не так я еще стар, чтоб не найти себе применения в новых условиях. Останься я в Государственном совете — меня бы списали со счета.

Вынув из кармана портсигар и закурив, он продолжал:

— Ты, Мефодий, тоже останешься, а ты, Цело, на время уедешь с правительством. Борьба против большевиков будет продолжена, немцы и Ватикан когда-нибудь вступят в союз хоть с Бенешем, хоть с евреями, лишь бы против большевистской ереси. Ну-с, а в случае выборов в нас, возможно, будет нуждаться любая сторона. Понял, Мефодий?

Но Шубика охватило такое волнение, что он все пропускал мимо ушей. Это что же — расстаться ему с Поляком? Опять кто-то, какая-то сила толкает его в политику, словно в костер? Да он уже погорел раз — именно когда явился пять лет назад в Братиславу...

— Линия фронта может оказаться здесь через две-три недели, — заявил Поляк. — Работы на укреплениях не завершены.

— Значит, укладывай чемоданчик, Цело, — отозвался Соляр. — И не бойся — Вена не на том свете, близко от нас будешь.

На улице усилился грохот танков, и Поляк усмехнулся:

— Вот это музыка! Могу себе представить, какой тут чардаш начнется, когда еще русские танки нагрянут. Хотел бы я слышать этот грохот.

— А если от города камня на камне не останется? — с тревогой задумался Шубик.

— Зачем предполагать худшее, — заметил Соляр. — Ведь не до́ма, не мамона, а дух — вот величайшее сокровище нации. И мы сохраним его здесь, дома, — он кивнул на Шубика, — а ты, Цело, — на чужбине.

— Говорят, в Альпах гигантские укрепления, — прищурил глаз Поляк. — Там мы и переждем, пока ученые закончат работы над секретным оружием.

Все это, однако, мало утешило Шубика. И под вечер, когда они разошлись — Соляр отправился домой к своей экономке, Поляк тоже домой, собирать с женой вещи, которые возьмут в дорогу, — Мефодий долго еще бродил в одиночестве по улицам, потом долго стоял в саду своей виллы. Ведь это его земля, и вилла — его, никогда он не бросит их, скорее, пойдет на любые муки. Но все-таки, на всякий случай, он сорвал табличку с надписью "Мефодий Шубик, министерский советник". Незачем всякому олуху знать, где он живет!

Он стоял, с табличкой в руке, под ясным вечерним небом, а в голове у него проносились мысли: что будет завтра и послезавтра, в какую комнату перебраться с семьей, если в вилле расквартируют солдат? Правильно ли он сделал, что не уехал обратно в деревню? Подумалось ему о службе его, о публичных домах с их доходом, о "Дарах леса" — и жарко вздохнул Мефодий:

— Покровительница Словакии, храни нас!

XXIII

Совесть не позволила Радузу Куцбелу торчать в Пезинке, тем более что он там зверски скучал в обществе супруги и собаки Власты. В Братиславе все кипело — и на улице, и в головах людей... Если Куцбел не хотел отстать от событий, он должен был вернуться в столицу. Но он не предполагал, что фронт придвинется так скоро, и, когда на расшатанной повозке он доплелся до окраины Братиславы, узрел толпы жителей и солдат: улицы так и кишели ими.

Куцбел заторопился к своей вилле — Труда наказала ему проверить, не вломился ли к ним "Попрыгунчик" и приходит ли сосед поливать кактусы. Повозка с кучером уже повернула в обратный путь, и Куцбел пешком стал продираться сквозь этот людской муравейник, страстно мечтая о горячем чае и о постели.

Было первое апреля, где-то за городом раздавался орудийный гул, словно приближалась страшная гроза. На перекрестке затормозил темно-зеленый автомобиль, шофер два раза просигналил. Куцбел оглянулся и протер глаза: рядом с шофером сидел Цело Поляк, сзади — его жена и еще какой-то мужчина в форме гардиста.

Куцбел растерянно снял шляпу, хотя охотнее показал бы Поляку язык. Полицей-президент опустил стекло и крикнул:

— Что, пан нотариус? Русских встречать идете? — И, погрозив кулаком, добавил: — Ладно, еще заплатите за это!

— Чего мне их встречать, — возразил Куцбел. — За домом иду приглядеть...

— Ваши англичане опоздали на поезд — русские идут!

— Ну, что будет, то будет, — пожал плечами Куцбел. Ему ужасно хотелось обругать Поляка, но черт-то не спит! И он просто спросил: — А вы эвакуируетесь?

— Вот именно, только — в Альпы. Но ненадолго! Я вернусь! Дочь у нас потерялась, не едет с нами, но вернусь я не только ради нее, но еще и для того, чтоб свести кое с кем счеты. Так что валяйте, встречайте, пан нотариус! Шофер, поезжай!

Он приложил к шляпе два пальца, и Куцбел, осторожности ради, вежливо простился с ними, даже помахал вдогонку. Потом плюнул, двинулся дальше — и вскоре уже отпирал дверь своей

виллы. Заметил, что замок поврежден — кто-то пытался взломать его, но, видимо, без успеха. Дома он нашел все в полном порядке, только стекла в окнах были выбиты. Он заткнул дыры одеялами и включил приемник. Радио молчало. Постучал — испортилось, что ли?

Пошел в кухню вскипятить чаю — нальет себе с ромом! — но электрическая плитка не нагревалась; Куцбел повернул выключатель на стене — свет на зажегся.

Взялся звонить на электростанцию — там никто не брал трубку. Сделал еще несколько звонков — безуспешно, наконец удалось дозвониться до Косо.

— Я из Пезинка приехал, — сообщил ему Куцбел, — что нового в городе? Не знаете, что с электричеством?

— С утра выключено во всем городе, — ответил Косо. — И сирены уже не оповещают о налетах, все торчат по подвалам, мы тоже. Я случайно поднялся в квартиру за термосом...

— Шубик в министерстве?

— С утра работа прекращена везде, учреждения закрыты... Ой, опять бомбят, убегаю!..

Куцбел положил трубку, провел пальцем по усикам, покачал головой: что кому суждено, того не миновать. К чему мерзнуть в подвале, еще засыплет заживо! Сходить, что ли, на чердак, взглянуть, в порядке ли трехцветный чехословацкий флаг. Он вывесит его тотчас, как закончится бой, будет первым во всей Братиславе.

Поблизости грохнуло, и Куцбел, мгновенно забыв о флаге, схватил свечку и побежал в подвал.

Свеча бросала скудный свет на бочку с капустой, на ящики с картошкой и морковью. На широкой полке приятно пахли яблоки.

Радуз усмехнулся: так, с голоду он не помрет, хотя бы бои шли целый месяц. Только бы бомба не угодила! Ничего, стены виллы толстые, многое выдержат, снаряды не пробьют их — а что стекол нет, так в апреле это не страшно.

Часа два просидел в подвале, замерз немного и решил перебраться в комнаты. Артобстрел прекратился, перестали рваться бомбы. Куцбел поел колбасы без хлеба, спустил в спальне шторы, зажег три свечки и, натянув на голову ночной колпак с кисточкой, юркнул под одеяло — прямо в одежде.

Согревшись, вылез, пошел в столовую и долго стоял у окна, вглядываясь в темноту. Слышал шаги, множество шагов, время от времени раздавались команды по-немецки; Куцбел улыбался: вы-то мне уже не страшны! Пронесется над головой фронт, и я буду на коне!

Эта мысль ободрила, Куцбел потер руки, вернулся в спальню и вытащил из-за шкафа заветные бумаги. При свете свечей стал перебирать их, пробежал список приверженцев режима, со-

ставленный в алфавитном порядке, кое-что, ненужное, сжег. Потом принял снотворное и опять улегся в постель. Вскоре спальню огласил храп.

Куцбел проспал целых десять часов и проснулся не сразу. Было довольно тихо, стрельба доносилась откуда-то издалека. Куцбел напился малиновки, съел яблоко, сел к телефону и принялся обзванивать знакомых. Косо не отвечал, молчали и еще два, и Куцбел усмехнулся: да, не из храбрецов, забились под землю, как кроты... Что, если звякнуть Шубику? Поднял трубку — и вдруг заметил, что телефон оглох, онемел.

Сидеть в доме без телефона, без электричества все равно что сидеть в тюрьме. Куцбел вышел на улицу, да вспомнил, что о налетах теперь не оповещают — могут бомбой накрыть! Нет, нельзя ему рисковать жизнью, на него ведь теперь вся нация смотрит!

Вернулся, вынул из буфета бутылку сливовицы. После пятой рюмки до того расхрабрился, что готов был схватить метлу, оставленную кухаркой в столовой, и выбежать на улицу — разгонять немецких солдат... Но вместо этого заснул прямо здесь, на кушетке в столовой.

Разбудила его пушечная пальба, стреляли откуда-то из Вайнор, эхо взрывов отдавалось в Малых Карпатах. Потом и со стороны Дуная загрохотало...

Все-таки Куцбел осмелился выйти из дому. Улица была пуста. Он шел осторожно, готовый в любую минуту нырнуть в подворотню, прижаться к стене. Завернул за угол — грохот усилился, над домами поднялись языки огня. Крижная горит! Нарастал гул самолетов, и Куцбел кинулся домой.

Опять пошла свистопляска — артиллерийский обстрел, бомбежка, — и Куцбел поспешил в подвал. Принял сразу три дозы снотворного — так будет лучше! В подвале все-таки безопаснее, поспит тут сидя, потом выйдет приветствовать освободителей.

Проснулся он в темноте. Гремели орудия. Казалось, весь дом сотрясается до основания. Зажег свечу; ноги затекли от долгого сидения, Куцбел потер их, пощипал, снова сел на лавочку. Гром канонады приближался. Через подвальное окошечко он видел кусочек темного неба. И вдруг этот темный квадрат озарился багровым отблеском.

Горит где-то рядом! Только бы не у нас!

Затарахтели совсем близко пулеметы, страх стиснул горло Куцбела. Вот задребезжало стекло окошечка — Куцбелу почудилось, что все танки, бывшие в городе, валят на его виллу. Днем позже он, пожалуй, уже согласился бы, чтоб ее сровняли с землей, — лишь бы самому остаться в живых!

Ночью стрельба затихла на несколько часов. Радуз перетащил в подвал перины; спал он беспокойно, ворочался, а когда проснулся — в окошечко заглядывал рассвет.

Куцбел вышел ненадолго из дому: улица пустынна, лишь из-

редка пронесется одинокий грузовик. На стене соседнего дома белеет надпись: "Гитлер капут! Да здравствует СССР!"

Куцбел надвинул шляпу на брови. Всюду еще полно немцев, а вот же находятся смелые люди! При этой мысли он даже грудь выкатил. Постоял у ворот, но тут вдруг снова со всех сторон заревели пушки, завизжали над домами мины, грохнули разрывы... Куцбел побледнел, молнией влетел в подвал, сел на лавочку, на сваленные перины, закрыл ладонями уши. Земля тряслась, нарастал адский гром.

Куцбел зарылся в перины, замирая от ужаса. Прошло несколько часов; орудийная пальба не умолкала. Тогда он начал тихонько молиться:

— Спаси меня, господи, не дай погибнуть! Если останусь в живых, еще усерднее стану заботиться о делах церкви, молиться буду...

А гром не стихал. Потом по улице залязгали танки — Куцбел видел через окошко, как из-под крыши соседнего дома вырвались языки пламени.

Это еще пуще перепугало его. Как тут спастись? Да он бы черту душу прозакладывал, встал бы в ряды красных, кабы это помогло...

И уже не находил он вкуса ни в яблоках, ни в роме, который потягивал прямо из бутылки. Перестали радовать его и заветные бумаги за шкафом в спальне, которые должны были прославить его. Теперь он думал об одном: как бы остаться живым.

Полбутылки рому несколько отодвинули от него страх и погрузили в дремоту, несмотря на то что стены дрожали и все кругом оглушительно гудело.

К утру утих гром орудий, зато на соседних улицах заговорили винтовки, автоматы, пулеметы. Куцбел, давно не брившийся, заросший, увидел в окошко: сломя голову бегут немцы — пешком, на грузовиках, мотоциклах, танках... Пальба передвинулась на окраину города, и вокруг дома Куцбела воцарилась подозрительная тишина.

Радуз Куцбел не понимал, что происходит: тишина пугала его, пожалуй, больше, чем стрельба. Зубы его стучали, мурашки бегали по коже. Долго сидел он на лавочке, подперев голову, и жалобно вздыхал.

После полудня он все же набрался духу и поднялся в квартиру. Осторожно приблизился к выбитому окну, затаив дыхание, выглянул на улицу.

Соседний дом горел, старый каштан у входа, словно сраженный молнией, рухнул на ограду. А вокруг — ни души, и стрельба все удаляется... Вдруг из-за угла выскочили трое в шинелях, с автоматами на изготовку. На улицу высыпали первые жители; к ним подошел седой солдат, радостно что-то крича.

Тогда и Куцбел приободрился, высунулся из окна. Улыб-

нулся людям, ручкой замахал.

Один из красноармейцев все допытывался:

— Где фриц? — Увидев Куцбела, повернулся к нему с тем же вопросом: — Где фриц?

— Ушел, бежал от вас, — ответил Куцбел, и солдат махнул своим.

Те бросились вдоль по улице.

Куцбел изнеможенно повалился в кресло, словно это он выгонял немцев. Бремя страха спало с души, хотя зубы все еще выстукивали дробь.

Долго сидел он в полном оцепенении, наконец качнул головой: не верилось, что остался жив, что война проскочила мимо...

XXIV

Солнце вставало из-за гор, засверкал на склоне апрельский снежок, в голой вершине ольхи запела ореховка.

Иван Гутян стоял у окна, дышал на стекло и пальцем рисовал горы и домики. Он был дежурным в штабе партизанской бригады, разместившемся в горной избушке, и нетерпеливо ждал телефонного звонка. Уже второй день бригада находилась в состоянии боевой тревоги.

На Ваге тронулся лед — а фронт еще не двинулся: немцы сопротивлялись в Микулаше, словно жаль им было расстаться с Липтовом.

Много вопросов сверлили голову Ивана. Что в Братиславе? Стоит ли еще вилла Шубика? Что поделывает Куцбел? Рисует ли еще планы оборонительных линий? Спасся ли Кирилл?

Скрипнула дверь, и в избушку ввалились Йозеф Белан с Эдо.

— Братислава освобождена! — крикнул последний. — Festung kaputt!

Он прижался спиной к натопленной печке, поправил очки, выставил живот, и по лицу его разлилась улыбка.

— Врешь?! — вырвалось у Ивана.

Белан закашлялся, затянувшись сигаретой, кивнул:

— Он правду говорит. Вчера ночью кончились бои... Никто не звонил?

— Нет, — ответил Иван.

— С часу на час решится дело в Липтове, — объяснил Белан. — Тогда нам — идти на Братиславу.

Он сел на лавочку с резной спинкой, смерил Ивана и Эдо испытующим взглядом и лукаво подмигнул им:

— Нужны мне два хороших помощника. Пойдете со мной, хлопцы?

Иван посмотрел на Эдо; тот, пожав плечами, проговорил:

— Нам бы учебу закончить...

— Будет время и для этого, — улыбнулся Белан. — Попозже, когда партия укрепит свои позиции. Так согласны помогать мне?

— Конечно! — Иван всей пятерней взъерошил свою непокорную шевелюру.

Хрипло зазвонил телефон. Иван взял трубку, послушал и сказал:

— Сейчас доложу.

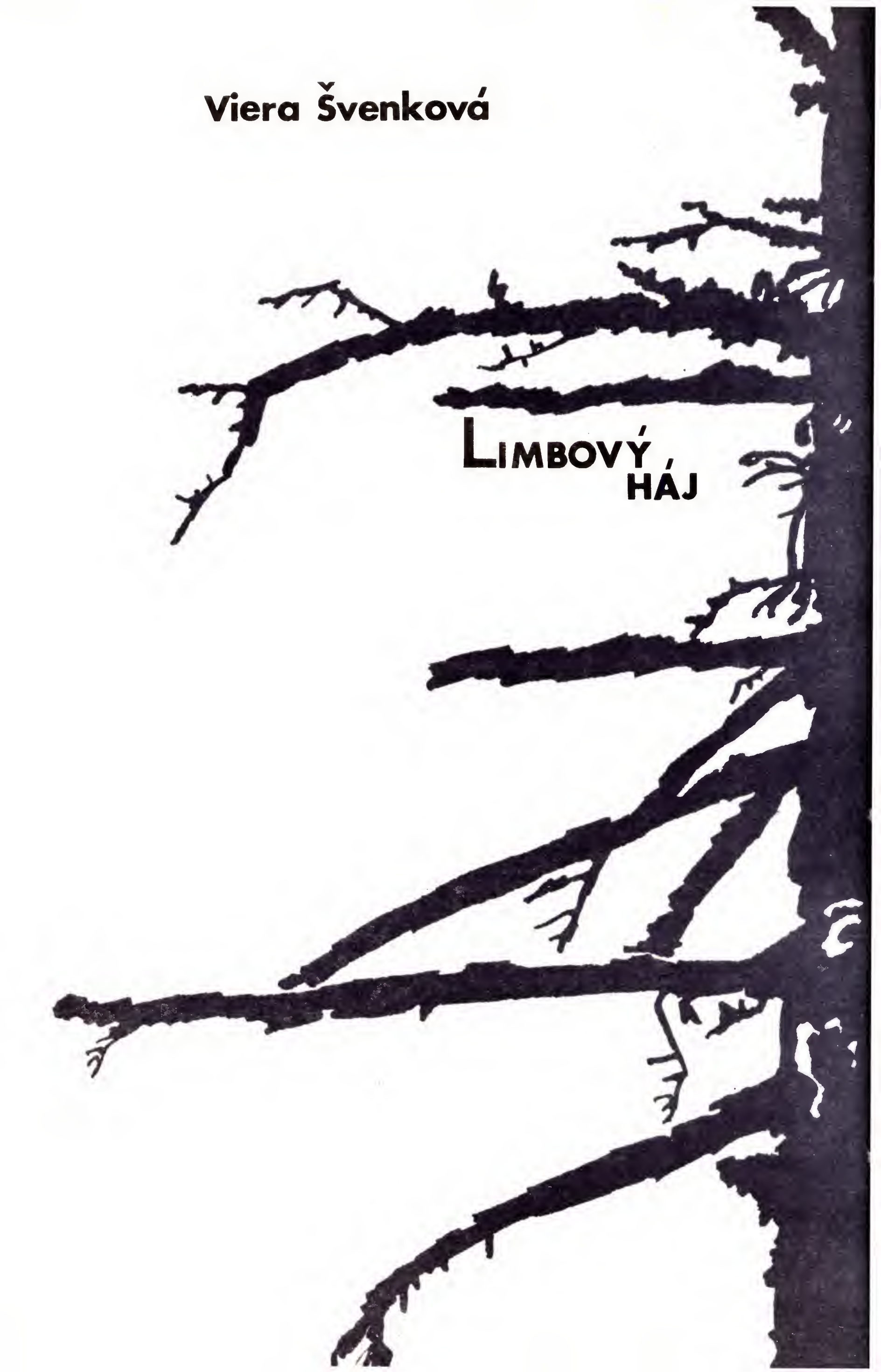
Повесив трубку, обратился к Белану:

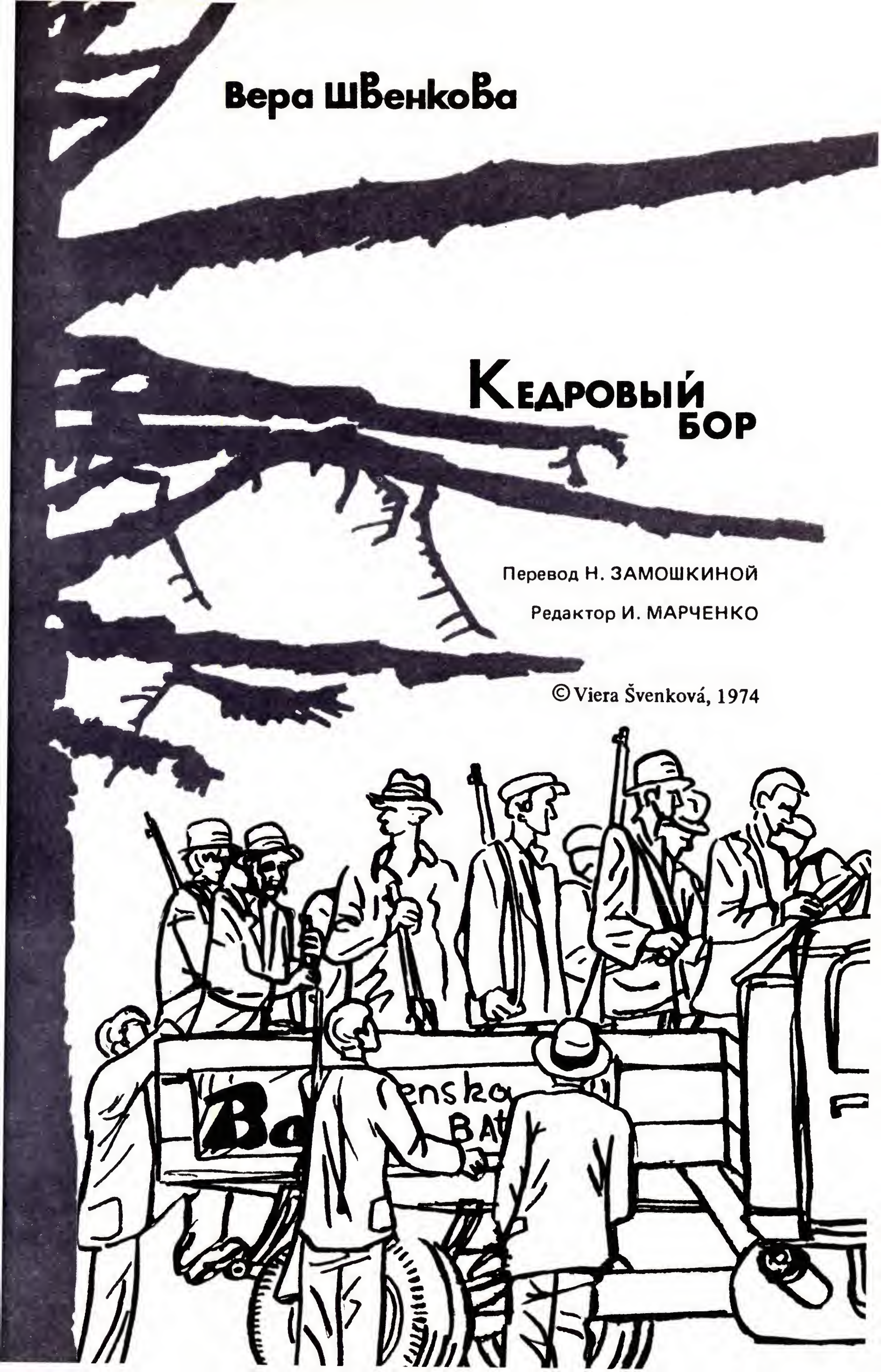
— Немцы уходят из Микулаша. Нам приказано пощекотать их с фланга.

Белан отбросил окурок, глаза у него вспыхнули:

— Ну, ребята, в путь!

Через несколько минут под ногами партизан захлюпал талый снег. Длинная шеренга бойцов, извиваясь, словно гигантская змея, потянулась к долине. Партизаны шли в последний бой.


Viera Švenková
LIMBOVÝ HÁJ



Вера Швенкова

Кедровый бор

Перевод Н. ЗАМОШКИНОЙ

Редактор И. МАРЧЕНКО

Кедровый бор, с которым связано много эпизодов Словацкого национального восстания, находится на западном берегу Ямского высокогорного озера, на склонах Криваня.

Из путеводителя

Глава I

1

Лучи утреннего солнышка спокойно лежали на булыжниках мостовой, на поблекших деревцах. Между серыми камнями, в наносах пыли, проглядывал мох и низкорослая, затоптанная трава. Двухэтажные дома, стоявшие на площади сплошным рядом, казались все на одно лицо. Высокие седлообразные крыши, выдвинутые вперед, напоминали шапки, лихо надвинутые на брови. В свое время, когда Зузана только еще приехала в город, их сомкнутый строй пугал ее своей нарочитой самоуверенностью. Давненько это было — десять лет тому назад. С тех пор она успела к ним привыкнуть.

Зузана быстро прошла мимо мясной лавки, где в витрине была выставлена восковая свиная голова, которая добродушно ухмылялась, держа в пасти пучок петрушки. Настроение у Зузаны было бодрое — первые дни сентября всегда веяли новизной. В эти дни она одевалась в новые, сшитые во время каникул платья, видела новые детские лица, касалась новых тетрадей и свежеотточенных карандашей. Все это оживляло в ней неясную надежду, что слова "начало", "перемены" и тому подобные действительно имеют смысл...

Каждый год она поддавалась этой иллюзии, хотя прекрасно знала, что очень скоро все опять обернется утомительными буднями.

Откуда-то появилась старушка и перешла через площадь. В окне дома с ярко-розовой штукатуркой занавеска вздулась, словно от порыва ветра, из нее вынырнула розовая физиономия пани Подлипковой. Дородная пани, опираясь на подушки пухлых локтей, выглядывала из окна. Она милостиво кивнула в ответ на вежливый поклон Зузаны.

Что может быть нового, какие могут быть надежды в этом городке, да еще в такое время? Зузана усмехнулась собственным иллюзиям.

Не успела она переступить порог школы, как ее позвали в директорскую. Выбритое, опрысканное одеколоном лицо директора сияло самодовольством.

— Доброе утро, барышня-коллега, доброе утро! Слышали новость?

— Нет, пан директор.

— Так-таки ни о чем и не знаете? Ну и ну. Уж очень обособленно живете. Весьма обособленно.

Зузана посмотрела прямо ему в глаза:

— Это мое дело.

Он отвел взгляд, нахмурился.

— Смотря как это понимать, — возразил он, приподымаясь на цыпочки.

Маленький и толстый, он умел разными трюками внушать ученикам представление о своей значительности. Когда ораторствовал, то и дело поднимался вдруг на цыпочки и вновь опускался на всю ступню, и это колеблющееся движение всегда было как бы немым аккомпанементом, сопровождающим его речи. Если была надобность что-то подчеркнуть, голос его повышался, и сам он, поднимаясь на цыпочки, вдруг вырастал в глазах запуганных учеников, истомленных скукой учительских внушений и видом школьного двора, где копались ленивые куры... Затем директор, произнося проходные фразы, уменьшался до своих подлинных размеров.

"Надувается, как воздушный шар! — смеялся учитель Краль. — Когда-нибудь вздохнет поглубже — и лопнет!"

— Подобную обособленность можно понимать различно, — повторил директор. — Вы же знаете, нынешнее время требует от человека полной отдачи...

Зузана побледнела.

— Однако сейчас речь не о том, — продолжал директор, — я должен попросить вас, барышня-коллега, взять классы коллеги Краля.

— Да-да, конечно, — кивнула Зузана. — Пан учитель сегодня не вышел? Уж не заболел ли он?

Она удивилась — ведь не было случая, чтобы за эти десять лет, которые она тут работает, учитель хоть раз прихворнул.

— Не знаю, как и сказать... Его подвергли предварительному заключению...

— Краля? Не может быть!

— Все может быть, милая барышня-коллега!

— Мы должны... должны что-то сделать. Вы ведь его знаете, вы понимаете, что это какая-то ошибка!

— В последние годы он тоже жил весьма обособленно, — сказал директор, играя цепочкой часов.

Зузана повернулась и вышла из его кабинета.

Что будет с Кралем? Единственный человек, которого она уважала. Единственный, с кем могла поговорить. Остальные только повторяли за директором его речи и лозунги, считая, вероятно, аполитичность гарантией безопасности: дважды два всегда четыре — и при Франце Иосифе, и при Масарике, и сейчас, — тут уж никто ничего не изменит. Зузана и сама прибегала

к этой хитрости: я всего-навсего помощница учителя, преподаватель ручного труда, моя задача — научить девочек правильно штопать чулки... Но в последнее время под влиянием Краля она начала понимать, что этой хитростью ни от чего не защитишься, ни от кого не спрячешься, даже от себя самой.

Краль взял ее под свою опеку с первой минуты, как она появилась в школе. Поначалу, когда она не могла справиться с каким-нибудь озорником, она посылала за паном учителем Кралем. Не раз он коротко и быстро разрешал ситуацию пощечиной — на это она не решалась. Некоторые ученики, в особенности из второгодников, которые и в школу ходили только показаться или погреться в трескучий мороз, были выше ее ростом. Она пыталась как-то на них повлиять, задеть за живое. Из этого не выходило ничего, кроме конфликтов. Ее это мучило. Что из них выйдет? В середине двадцатого столетия, в культурной европейской стране мы выпускаем в жизнь безграмотных!..

— Вы великая идеалистка, — смеялся ее причитаниям учитель Краль. — Что из них может получиться? Да получатся хозяева — будут хозяйствовать на нищенских своих наделах, бить жен, пропивать в корчмах тяжко заработанные гроши.

Она ужасалась:

— И таких людей воспитывает наша школа!

— Таких людей требует наше общество, — смеялся он в ответ. — Некогда Коменский учил, как делать из невежд мудрых людей, а теперь вот пан директор учит нас, как из людей делать дураков! Дураки нужны, милая моя, дураки!

Может быть, на него кто-то донес? Скорее всего, так и есть. Он брякнул что-нибудь в сердцах, задел кого-то, кому нельзя доверять, колким словцом. Может, это был учитель Сливка, который во время речей директора готов поставить по стойке смирно и воробьев на крыше! А может, и сам пан директор. Разве он не выглядел сегодня на редкость самодовольным? Наверное, это дело его рук! Разве он не пытался запугать и ее тоже, ее, скромную учительницу труда, которая когда-то решилась отвергнуть его ухаживания?

Она всегда должна помнить об этом.

После обеда Зузана прямо из школы зашла к жене учителя Краля. Пани Юлия приняла ее спокойно, словно бы ничего и не случилось. О событиях вчерашнего вечера говорила с видимой неохотой.

— Явились среди ночи, начали колотить в ворота. — Она сжала худые руки, опустила голову. Седые волосы ее были аккуратно закручены в локончики и покрыты шелковой сеточкой, украшенной жемчужинками. — Я выбежала отворить, они сразу ворвались, перевернули вверх дном весь дом. Муж не терпит, когда я во время уборки коснусь хотя бы одного листочка... А тут стоял и смотрел, как все так и летало по комнате. Некото-

рые книги показались им подозрительными, они их забрали. Немецкую классику. Кралю сказали: "Пойдете с нами!" И ушли.

В рассказе пани Юлии не было ничего особенно страшного, было только непонятное. История, не подходящая для этих стен, где остановилось время. Овальный стол, над ним лампа под абажуром. Темный секретер, полный саксонского фарфора и серебряных миниатюрных чашечек. За десять лет, в течение которых Зузана приходила сюда, здесь ничего не изменилось. Каждая вещь стоит на своем месте, бросает темную тень, блестит темной политурой, притворяясь, что она неизменна, одинакова во все времена: в прошлом, настоящем и будущем. Может быть, это чувство постоянства придает силу даже худенькой пани Юлии?

— Вот и все, дитя мое.

— Все? — Палец Зузаны проехался по тяжелой вышитой скатерти, следуя за лентой узора, потом остановился.

— Вы не пытались что-нибудь предпринять? Попросить кого-то о помощи, к кому-то обратиться, кому-нибудь написать? Ведь это ужасная ошибка!

— Разумеется. Это взял на себя пан доктор Краус. Заверил, что сделает все возможное. У него есть влиятельные знакомые, — сказала пани Юлия без воодушевления, при этом даже не пошевельнулась, сидя неподвижно, словно статуя.

— Как это могло случиться? Ведь ясно как божий день, что это недоразумение! Пан учитель — и политика! — У Зузаны прервался голос, она не могла с собой справиться.

— Это корчма довела его до несчастья. Он ведь каждую ночь уходил из дома; карты и бильярд — это все, что ему было нужно. Поэтому его и взяли, ведь и всех других, кто туда ходил, тоже забрали. Всех, кто собирался у Стейна: молодого Возара, братьев Мацко и прочих.

— Возара? Штефана Возара? — не поверила своим ушам Зузана.

— А вы об этом не знали?

— Нет. Я ни с кем не виделась.

Зузана поднялась.

— Сейчас так и лучше. Сегодня человеку вообще о таких вещах лучше ничего не знать и не ведать.

— Мне пора идти, пани Юлия.

— Но в воскресенье вы придете? Сходим на кладбище.

— Да, приду.

Учитель Краль и политика, бормотала Зузана по дороге. Какой абсурд! Учитель Краль и картины — это да, учитель Краль и карты окрестных мест, учитель и ученики, которые ходили к нему за книгами, учитель Краль и просвещение, воспитательная работа, хоровой кружок... Но антигосударственная деятельность — нет, это никогда.

Нужно что-то сделать, бормотала она, но что?

Зузана села за стол и замерла, неподвижная, как пани Юлия, потом, вспомнив о Магде Возаровой, поднялась — сегодня еще не все дела переделаны.

2

Магда бродила по дому словно тень. Прошла неделя, как у нее забрали мужа. Она знала, что его взяли не зря. Знала и то, что таким, как он, милости ждать не приходится. Все, за что бы она ни взялась, валилось у нее из рук.

Еще и года не прошло, как они поженились. Она пришла в этот темный дом робкой служанкой. Знала, что отец Штефана не считает ее хорошей партией для сына. Старый пан недавно вернулся из Америки, прожив там большую часть своей жизни. Все на свете он оценивал на деньги. Кроме них, признавал род, имущество, крестьянский труд, землю, больше земли для детей и внуков. А что нашел себе Штефан? Красивую, да бедную. Красивую, да бедную, согласился Штефан в тот воскресный послеобеденный час, когда старик отец вернулся из костела, подкрепившись по дороге стаканчиком в корчме Стейна. Это была подходящая минута для серьезного разговора. Другого он и не ожидал, вздохнул старый Возар: этот вздох означал капитуляцию, согласие. Когда Штефан решился представить ему Магду, старик в ее присутствии усмехнулся:

— Так долго не женился, что я уж опасался: приведешь какую-нибудь из тех заядлых, которые, кроме политики, ничего не знают, даже того, как выглядит половник.

Магда тихо сидела там, где ее посадили. Разговор напоминал церковную проповедь. Старый пан разговорился; поначалу повел речь о Библии и о современном мире, который торопится к гибели. Потом начал расспрашивать Магду о родителях и родственниках. Она не могла ему много рассказать. Отца едва помнила, он погиб на руднике, и от него осталась одна карбидная лампа. Магде было мучительно неприятно, что она ничего не знает ни о себе, ни о своей семье. Словно какая беспамятная. Кое-что ей помнилось, конечно: луга под Катыковцом, первый снег, бумажный ангелочек на рождественской елке... Но старого пана интересовало совсем другое:

— Родители ничего вам не оставили?

— Ничего. Вернее, оставили, дом, такую маленькую избушку.

— А кто в ней живет?

— Никто.

— Вы ведь говорили, что у вас есть сестра.

— Она живет у тетки.

— Так вы должны были дом или продать, или сдать внаем.

Нежилой дом быстрее дряхлеет.

— Полно, отец, — встряла в разговор мать Штефана, — у тебя одна торговля на уме.

— Торговать — это значит немного шевелить мозгами, — отвечал раздраженно старый Возар и потом более мирно добавил: — Так ваш отец погиб в руднике. Знаю я, что такое рудник, знаю, в Америке познакомился...

Старикан разговорился, но после нескольких стаканчиков его речи утратили связность. Тут Магду перехватила мать Штефана.

— Поди сюда, дочка, покажу тебе дом.

Они прошли по комнатам. Всюду солидная старомодная мебель, перины в тяжелых домотканых чехлах. Самой лучшей была кухня: огромная кафельная печь, большой дубовый стол, лавки. На стенах начищенные кастрюли. Все было неподдельным, честным, крестьянским, как бы перенесенным из липтовской деревни: непокрытая, чисто выскобленная доска стола, лист для теста, дощечка со следами мучной пыли в зарубках, самодельные деревянные мешалки и ложки.

— Наконец-то я не буду здесь одна, — сказала пани Возарова, села на лавку и сложила руки на столе.

Тогда и Магда коснулась теплого дубового дерева, и страх ее оставил.

Свадьба была в конце октября. Магде казалось, что они выбрали не самое удачное время. День свадьбы ведь предопределяет будущий жизненный путь, он должен быть ясным и солнечным, а такие осенью случаются редко. Зузана Батизова в ответ только посмеялась:

— Свадьбы всегда играют осенью, в это время года стол самый богатый. Для свадьбы годен любой день, если люди женятся по любви.

Перед свадьбой всю неделю лили дожди, а в самый день, воскресенье, распогодилось. Магду волновало все: погода, свадебная процессия, платье, миртовый веночек... Она воспринимала все это с увлечением девушки, для которой ничего, кроме этой минуты, не существует.

После свадьбы молодые поселились в задней комнате, где Штефан жил холостяком. Магда украсила комнату вышивками, на которые соседки ходили смотреть как на чудо. Вышивки были на полотенцах, подушках, скатертях, на постельном белье. Свадебная рубашка Штефана, традиционный дар невесты, была бесподобной. Такой не мог похвалиться даже самый богатый жених в городе.

Штефан уходил из дому в темноте и возвращался тоже в темноте. Он работал носильщиком на станции. Отец никогда не пропускал случая съехидничать по этому поводу. Его сердило, что сын не может найти более приличной работы. Магда в глуби-

не души была с ним согласна. К лицу ли сильному, здоровому и смышленому мужчине такая унизительная работа? Военное время тяжелое, но на одно не пожалуешься — работы всюду хватает.

— Не бойся, маленькая, я что-нибудь найду, — успокаивал ее Штефан, когда она говорила ему об этом. — Только потерпи, ты только потерпи.

Через некоторое время он действительно нашел другую работу, на лесопилке. Ребята его потом покрывали, бригадир и знать не знал, что через каждые два часа он откладывал двуручный нож, садился на велосипед и гнал на станцию к международному поезду. Эти поезда его словно очаровали. Время от времени ему выпадала и ночная смена. Хорош молодожен, который даже дома не ночует! Магда держалась героически, виду не показывала, как ее это угнетает.

— Знаю, Штефко, ты должен работать. Может, оттого так много и работаешь, что женился на беднячке.

Магда что ни день ходила к нему на лесопилку с обедом. Это были единственные минуты, когда она сидела рядом с ним при свете дня. Смотрела, как он с жадностью ест, как мощно работает челюстями, всегда голодный как волк, смеялась, когда он ее бранил, зачем это она ходит, ему хватит и куска хлеба, другие мужики обедают только так.

— Другие мужики пусть, — смеялась она, — а ты мой муж.

Возвращалась с пустыми мисками, останавливалась посреди пустой комнаты. Что теперь? Еще раз расправляла покрывало на постели, еще раз брала в руки шитье, но в конце концов всегда искала пристанища на кухне, где в чугунных горшках на открытом огне булькала картошка для свиней, где всегда хватало работы. То сучить пряжу, то стричь тряпье для половиков, мыть перо, ткать полотно.

— Я свою жизнь прожила одна, но это было понятно, муж был в Америке. Но где мотается твой, я не знаю, — ворчала свекровь. — Смолоду привык болтаться, холостяцкие привычки в один день не изживешь. Запасись терпеньем, девонька.

— Я терпеливая, мама, — кивала Магда.

Она искала работы, и никакая работа не была ей тяжела...

В воскресенье утром на рождество свекор встал, тягуче завел псалом, прерывая его воркотней. Из глубины взываю к тебе, боже... куда это задевался бритвенный ремень, опять старуха наводила порядок?.. Услышь, боже, вопль скорбящего!.. Обстоятельно умылся, медленно побрился, потом тщательно оделся и отправился в костел. У него был хороший голос и долгое дыхание, так что, несмотря на восьмой десяток, он перепевал всех мужчин в хоре, первым заводил каждый стих и последним его кончал. По дороге домой он пропустил стаканчик-другой в корчме Стейна, после обеда покурил и отправился на вечерню. Возвращаясь, опять сделал остановку у Стейна, на этот раз опроки-

нул стаканчиков побольше. Жена уж и не слушала, что он плетет, но в Магде он нашел благодарную слушательницу. Наговорившись, свекор лег в постель, а утром его нашли мертвым. Жена еще пыталась его посадить, он был еще теплым, еще, казалось, жизнь к нему вернется.

— Попытаемся, Магдочка, помогите нам, пан доктор.

Доктор едва повернулся и сухо сказал:

— Он мертв, пани Возарова. Ему уже ничто не поможет.

Как-то в январе Магда пришла к Штефану с обедом и нашла только брошенный двуручный нож и наполовину очищенное бревно.

— Это он начал? — спросила она.

— Он.

Магда схватила длинный нож и попыталась чистить волокнистый ствол дерева добела. У нее получилось.

— То-то мужик порадуется, что у него появилась помощница, которая за него работает, — сказал один дядя.

— Раз уж я здесь...

— И не знаешь, как его дождаться, — подмигнул тот.

Когда пришел Штефан, он попытался отогнать ее от работы, но она не позволила. Очистка от коры — работа самая легкая, на ней были заняты многие женщины. И Магда тоже начала туда ходить. Двенадцать часов ежедневно сжимала в руках длинный нож. Она не думала о времени, ведь рядом с ней был Штефан, она слышала его голос, могла с ним перекинуться словцом.

— Получается, будто я не могу тебя прокормить, — ворчал Штефан. — У тебя что, дома нет работы?

— Мне этого мало. Там я все время одна.

Он крепко ее обнял, и она замолчала.

— Еще ни у одной женщины не было мужа хуже меня, — приговаривал он между поцелуями, — но когда-нибудь я за все тебя вознагражу, за все, когда кончится это время.

Днем-то она когда-никогда могла на него взглянуть, поднять на минуту голову от работы, но по вечерам оставалась одна. Штефан проводил ночи, как когда-то в холостяцкое время, в корчме Стейна. А то и вовсе не ночевал дома. Магду охватывало отчаяние, ей казалось, что тут замешана другая женщина. Она ломала голову, как его об этом спросить, и вдруг за ним пришли.

Теперь она бродила по этому темному, мрачному дому, который всегда нагонял на нее тоску, и бормотала: вот теперь я действительно осталась одна, совсем одна!

3

Учитель Краль никогда не интересовался политикой. Только когда-то в молодые годы кипел патриотическим энтузиазмом. В то время словаки боролись за само существование нации, об-

разованные люди считали слово, язык — последним шансом спасения. Обязанностью патриотически настроенного учителя было защищать ''наш родной словацкий язык'', пробуждать национальное самосознание, поддерживать вождей. Дел особых не требовалось, ''усердие'' в основном заключалось в том, что при встречах начинались взаимные уверения: мы еще живы, еще тут, еще воспитываем своих детей в словацком духе. Встречались в пивных и распевали словацкие песни, слушали воспоминания старых учителей о тяжелых годах, когда мадьяры закрыли несколько словацких школ, построенных на словацкие нищенские гроши, запретили Словацкую Матицу и конфисковали ее имущество, книги, захватанные мозолистыми руками, и на эти деньги начали образовывать провенгерские кружки и награждать учителей-мадьяризаторов. Вспоминали времена борьбы, петицию, в которой двадцать один спишский город направил в 1875 году в венгерский сейм требование решить национальный вопрос. Жители Спишцы, хоть в большинстве и были немцами, добивались признания словацкого языка. Патриоты собирались в кружках и на сходках, учитель Краль принимал участие даже во встрече словацкой молодежи в Мартине в 1912 году. Но прежде чем они чего-то добились, вспыхнула мировая война, разогнавшая будущих героев. Когда, вернувшись, они собрались в родных краях, борьба уже завершилась, страницы газет пестрели торжественными стихами.

Учитель Краль не мог забыть, как мадьяры отказывали словакам в праве быть нацией. Он перестал заниматься современностью, посвятив себя истории. Там хотел он найти подтверждение древности и самобытности словацкой нации. Обосновался в маленьком местечке, ходил по окрестностям, обошел горы и долы, искал следов прошлого. Из библиографии Ризнера выписал себе все сведения о знаменательных археологических находках, сделанных в Спише. Знают ли измученные мужчины и замотанные женщины, которых он ежедневно встречает на улице, хотя бы что-то из истории края, в котором живут?

Политикой учитель Краль не занимался. Тем не менее одной сентябрьской ночью в его ворота постучали, вошли, перевернули все в его доме вверх дном, а на него самого надели наручники.

— Что это значит? Я арестован?

Никто не пожелал ему ответить.

На следующий день надзиратель, выпуская его из камеры, дал ему пинка. Пинок был чувствительный. Он сразу вернул учителя к действительности. Национальный вопрос и исторические черепки вдруг показались ему смешными, учитель Краль уразумел, что все, что до сих пор его занимало, отошло вместе с прошлым столетием. Вокруг война, надо держать язык за зубами и идти в ногу со временем.

— Вот и я, — пробормотал он, стоя на площади и не зная, куда податься.

Потом направился к ближайшей корчме. После второго стаканчика в голове у него совсем прояснилось.

Смешно рассуждать о том, попадает ли в тюрьму виновный или невинный. Это безразлично. Там решают о жизни и смерти совсем в ином ключе, ибо там — все дело случая. Краля спасли знакомые, которые имеют других влиятельных знакомых. Ему помогло то, что жена его происходит из старой, уважаемой немецкой семьи.

Третий стаканчик настолько поставил учителя на ноги, что он смог уже показаться на глаза своей жене. В тот вечер она не протестовала, когда он еще до темноты отправился в корчму.

— Иду на гигиеническую прогулку, старушка, после долгого сидения на одном месте это совершенно необходимо.

— Знаю знаю, что это за прогулка. В верхнюю корчму.

— Сначала в верхнюю, потом в нижнюю, а может, я для верности обойду их все.

Но у Стейна не было никого. Он выпил у стойки стаканчик и поплелся домой.

Так прошло несколько дней. Он и сам не знал, почему он всякий день ходил к Стейну. Начал нервничать. Каждое утро ссорился со своей тихой женой, не мог совладать с собой, когда она принуждала его взять новые ботинки, надеть приличный костюм или рубашку.

— Вот вступлю в гарду, — грозился он, — и буду носить форму, чтобы ты мне не досаждала!

Юлия замолкала — для нее это был неотразимый аргумент.

Школа не радовала учителя. Ученики сидели в классе в такой же летаргии, как и двадцать лет назад, когда Краль пришел в местечко. Чего я здесь достиг, какой след по себе оставил? — думал он.

Конечно, как может радовать человека школа, во главе которой стоит пан директор, похожий на круглую тыкву? Никогда по утрам учителю Кралю не хотелось туда идти, тем более при полном параде, как положено учителю. Вежливо улыбаться этим паяцам, у которых полон рот речей о новом воспитании учеников. А ученики с песней и под грохот барабанов маршируют по площади, подпоясанные ремнями, в пилотках и шапках с помпонами — волчата, орлы, юнаки — глинковская молодежь, гордость пана директора и пана учителя Сливки. Вот оно, новое, улучшенное воспитание, именно такого нам и не хватало.

Как только создали Словацкое государство, в школе наступили перемены. Учеников разделили по вероисповеданию. Католики остались в главном здании, выходившем на улицу, евангелистам выделили флигель позади здания школы. Кралю достались объединенные третий и четвертый классы. Зузана Ба-

тизова передала ему их с облегчением.

— Мне не особенно удалось заменить вас, пан учитель. Но дело не в этом. Главное, что вы с нами — живой и здоровый.

Она смотрела на него как на великомученика. Ему это не было неприятно.

— Я о вас все время думала.

— А, вот мне и досталось за это, — подмигнул он.

Она покраснела, он заметил, как кровь бросилась ей в лицо и растеклась под загорелой кожей. Он как-то вдруг увидел ее горячее женское тело под легкой летней блузкой, и этот бурный прилив крови или чувства, который она подавила, сжав руки, как для молитвы... Даже в тридцать лет это все еще была простодушная деревенская девушка, которая словно только что явилась с поля с хлебной пылью в волосах... Он долго смотрел ей вслед, когда она простилась и быстро пошла через площадь.

4

Зузана стояла в углу, чтобы свет, проникавший через открытое окно, ее не ослеплял. Неспешно причесывалась. По памяти, не глядя в зеркало, собрала волосы и понемногу их заплетала.

Площадь, залитая сентябрьским солнцем: трещины в старых стенах, разогретые асфальтовые тротуары, запыленные деревья в парке. Игра солнца и теней в аллее, манящая сентябрьская игра света и тени, когда солнце уже не жжет, а тень еще не холодна.

После полудня парк наполнялся народом, все лавочки были заняты. Из домов вышли все одинокие стареющие барышни, которых постепенно забывает свет, прохаживаются, делая вид, что время не причинило им ущерба, они выступали так же бодро, как когда-то, кожа у них была такая же свежая, талия стройная, улыбка приятная. Их выдавал только старомодный наряд. Из-за него-то они и были смешны людям. Зузану выводила из себя и умиляла их преданность прошлому, их мужественная борьба со временем.

Скоро это станет и ее уделом.

Она заколола волосы и из шкафа, в котором лежали душистые травы, вынула костюмный жакет. Надела шляпку и подошла к зеркалу.

Когда она сюда только что приехала, она испугалась своего отражения в зеркале. Такая обыкновенная девушка, простоволосая, измятая с дороги. Она вполуха слушала сообщения пани Майеровой, что матрацы на постели из настоящего конского волоса, а кафельная печь сохраняет тепло всю ночь. Она смотрела на себя в зеркале, и ей казалось, что она совсем не подходит для этого темного, пустого дома, для этой строгой комнаты. Стены табачного цвета, исполосованные подтеками после многих и многих дождей, темная мебель, постель, шкаф, стол — все тут было

претенциозным и требовало, чтобы человек ко всему приспособился. Зузана не была привычна к замкнутому пространству, к камню. Из дома принесла привычку к дереву, его запаху, теплу. Но здесь даже дерево не было деревом. Заботливо сохраняемая мебель блестела, словно металлическая. Длительная неподвижность изменяла здесь все. Застывшие лица барышень Майеровых напоминали скорей живопись маслом, нежели живого человека.

Она не надеялась привыкнуть. Пробуждаясь по утрам, на минуту забывала, где она. Сон наполнял ее силой, которую ей некуда было девать. Всегда, глядя на солнечную площадь, она ощущала свою молодость и силу, и ее одолевали угрызения, что она совершает нечто недозволенное. И она поскорее натягивала на белую рубашку темное платье. Причесываясь, изучала свое отражение в зеркале, видела, как с лица исчезает радость, сменяясь сосредоточенностью.

Позже она пришла к выводу, что именно этот дом — ее судьба. Если женщине суждено состариться в одиночестве, лучше всего облегчит ей это такой дом, который сожмет ее, как тюрьма. Так же как каждый из окружающих домов держит в тюрьме какую-то одинокую женщину, которая не сумела выйти замуж — может быть, не дождалась своего суженого, может, не хотела сделать это любой ценой, может, должна была принести жертву семье и имущественным интересам. О причинах давно забыто, они никого не интересуют. Людей забавляет необычный вид, старомодный наряд старой девы. А они, старые девы, осуждают новую моду, голые коленки, по длине юбки судят о нравах современных девушек.

Зузана вздохнула, вышла из дому и быстрым шагом пересекла площадь.

— У вас такая красивая блузка, дитя мое, — приветствовала ее пани Юлия. — Я всегда восторгаюсь, когда вижу вышитое вами. Это талант, иначе и не назовешь.

— Простой народный узор...

— Прекрасно. Настоящее произведение искусства. По нему видно, что тот, кто его вышивал, потратил много времени и терпения. В современном мире и в модерном искусстве такого больше не встретишь. Поэтому я и не люблю эту модерную нервозную мазню, которую сейчас называют живописью. Присядьте на минутку, выпьем по чашечке чаю.

— Наконец-то все снова в порядке, — сказала Зузана.

— Что в порядке? — непонимающе спросила пани Юлия.

— Ну, то, что пан учитель вернулся.

— Ах да, конечно.

Чай, налитый в металлические чашечки, имел металлический привкус.

— Если вам это интересно, дитя мое, то пойдемте со мной, я покажу вам, какие я вырастила хризантемы.

— Конечно, конечно, пани Юлия.

— В этом году они у меня удались. В воскресенье я несколько штук взяла в костел, они прямо сияли на алтаре.

Сад отделялся от двора длинной аллеей смородиновых кустов. Пани Юлия делала из черной и красной смородины вино, сладкое, как малага. Грядки астр играли яркостью красок — оттенками голубого, розового, красного. В тени беседки стояли горшки, и в них белели головки хризантем.

— Они необыкновенны, пани Юлия!

— Не правда ли?

Прищуренные глаза на маленьком, остреньком личике пани Юлии сияли. В них светилось нечто большее, чем улыбка. Она ловко работала ножницами, на руке блеснул перстень с камешком в цвет платья. Пани Юлия всегда носила его с этим темно-синим платьем с узким кантиком вокруг шеи и на рукавах.

— Если на свете есть что-то действительно прекрасное, так это цветы.

Зузана кивнула. Еще никогда она с такой ясностью не видела мира, в котором живет жена учителя.

Семейная могила в тени плакучей ивы, темные мраморные надгробья. Огромный ангел из черного мрамора, каменные глазницы, которые смотрят непреклонным взглядом, с какой стороны человек ни взглянет на них. Обнаженный меч, готовый обрушиться на смертного, занесен высоко над головой. С двух сторон памятники с пространными готическими эпитафиями. Здесь почиют в мире члены почтенного рода, отделенные толстой чугунной цепью от бедноты, от могил под простыми деревянными крестами, которые падают на землю и зарастают травой.

Пани Юлия положила к негасимой лампадке в ногах ангела букет хризантем. На них упали лучи заходящего солнца.

Молча уходили они тенистой, посыпанной песком дорожкой. Раздался звон колокола.

— Кто-то умер, — сказала Зузана.

Пани Юлия молча кивнула. Вышли на площадь. Пани Юлия пожала Зузане руку на прощанье.

— Приходите, дитя мое, и в следующее воскресенье. Обещайте мне, что придете.

— Приду, конечно приду, — кивнула Зузана с любезной улыбкой.

5

В это воскресенье после обеда свекровь Магды почувствовала себя плохо. Вместо посещения костела пришла на кухню, села за тяжелый, добела отмытый дубовый стол, положила на него руки.

— Какая-то я нынче голодная, — сказала она, и Магда подошла к печи, чтобы разогреть ей остатки обеда.

— Не разогревай, я не буду, — возразила свекровь, — ведь мы совсем недавно обедали, это какой-то непонятный голод, никогда в жизни мне в это время не хотелось есть. Уж не заболела ли я? Меня что-то и знобить начинает, — сказала она и оперлась о стол, положив лицо на руки.

Вдруг она резко вскинула голову, словно увидала на выбеленной пустой стене что-то, что ее изумило и испугало, коротко застонала, и голова ее поникла. Старая женщина осталась без движения, только руки ее побелели, стали белыми, как мучная доска на стене.

Магду охватил страх.

Непонятно, откуда в ней взялось столько решимости, что она перенесла свекровь на постель. Потом послала за доктором и Зузаной Батизовой. Непонятно, откуда в ней взялось столько силы, что и на похоронах она почти не плакала, ей даже казалось естественным, что эта добрая старая женщина, которая в своей жизни никому не сделала зла, словно в награду за это ушла без мучений и принимает ее сухая, прогревшаяся за лето земля.

В первую же ночь после похорон Магду затрясла лихорадка. Она не заснула до самого утра. Зузана не могла ее успокоить. Магда беспрерывно корила себя, что свекровь умерла голодная, что перед такой долгой дорогой даже не подкрепилась: она должна, должна была разогреть в печке и поставить перед ней хотя бы тарелку похлебки. Что скажет Штефан, когда вернется? Как она позаботилась о его матери, о единственном близком человеке, который жил с нею в доме?

— Да не бойся ты, ничего тебе Штефан не скажет, — утешала ее Зузана.

— Хочешь сказать, он больше не вернется?

— Вернется, конечно вернется. Спи, успокойся, все снова будет в порядке.

— В порядке? — Магда глядела в темноту широко раскрытыми глазами. — А если нет? А если это судьба?

— О таком даже не смей и думать, — одергивала ее Зузана.

"О таком даже не смей и думать", — повторяла Магда про себя.

И все-таки думала, вспоминала все, что было с ней в жизни, и теперь ей казалось, что ничего, кроме несчастий, у нее в жизни не было. Думала о том дне, когда хоронили мать. После похорон семья сошлась на поминки, советовались, как быть с сиротами. Маленькую Маринку возьмет к себе тетка из Млынечка, старшей Магде нужно приискать место у добрых людей — может быть, учительница Батизова сможет что присоветовать: она уже давно живет в городе. Магде было пятнадцать лет, она сидела на ступеньках и слушала, что говорили дядья и тетки. Теперь

она пойдет в служанки, Зузана Батизова подыщет ей место у добрых людей. Осенью она уедет из деревни — может быть, навсегда. Под навесом лестницы сидела гусыня с гусятами. Она временами гоготала, а гусята отвечали ей тоненьким, легким писком, переговаривались друг с другом, словно хотели убедиться, что все они тут, ни один не отсутствует. Вот у гусей есть все — достаток травы и свежей воды, тепло и безопасность под материнскими крыльями. Магда глядела на розовеющее небо над Катыковцом, на последние отблески лучей на потемневших крестах кладбища, и по лицу ее стекали слезы.

Еще целый год она работала у богатого хозяина. А потом учительница Батизова нашла ей место, дядя Йозеф на телеге отвез ее на станцию и посадил в поезд.

— Держи ухо востро, девочка.

— Не бойся, дядюшка, я буду осторожна.

— Сама знаешь, что я имею в виду, — подмигнул дядюшка, — мужику в лапы не попадайся...

Выйдя на попрадской станции, Магда сразу оказалась у него в лапах... Тогда она еще не знала, что этот парень в смешной красной шапке, на которой было написано "носильщик", — Штефан Возар.

— К вашим услугам, барышня! — сказал он, а она только фыркнула:

— Жаль, у меня только плетеная корзина и нет хорошей палки.

— Я бы с удовольствием донес вас на руках, барышня, — засмеялся он в ответ.

Из тени перрона вынырнула Зузана Батизова в закрытом сером платье. Магда сделала серьезное лицо.

Она поняла, зачем приехала — будет здесь служить.

У пани докторши Краусовой они получили по приезде кофе с молоком и по куску калача.

— Мы христиане и должны делать добрые дела, — говорила Краусова Зузане, — кто-то должен взять этих бедных сирот. Знаете, даже в "Словаке" писали: каждая патриотка должна держать двух-трех служанок. Это наш патриотический долг — дать им возможность честным трудом заработать на кусок хлеба. Мы должны помогать друг другу: словаки — словакам.

Первое поручение, которое досталось Магде, было вычистить обеденные приборы. Она терла их сидолом и золой, чтобы стереть налет патины, но на другой день медные приборы были снова зеленоватыми. Она копошилась в золе, как Золушка, и слушала нравоучения докторши. Пани никогда и ничем не была довольна.

Вытянув пальчики, она проверяла во множестве мест, как вытерта пыль. Беда, если где ее находила: сейчас же следовала сцена: крик, проповедь. Магда поначалу боялась докторшиных

нотаций, но когда после сотого повторения начала их понимать, то, слушая, только усмехалась. Пани поносила крестьян из окрестных деревень, этих тупиц, которые просто не знают, какую бы цену им заломить за творог и яйца. Этакий сброд, никакого понятия о культуре и гигиене.

Магда отвечала:

— Такая некультурная, отсталая крестьянка умеет сделать все по дому и хозяйству: и хлеба напечет, и полотна наткет, и рубашки из него детям сошьет, за скотом ходит и поле обрабатывает, — кроме соли, сахара и керосина, ей покупать ничего не надо. А культурная пани не только обеда сварить не умеет, но и причесывать ее должен кто-то другой.

Пани докторша заметила Магдины ухмылки. Она с удовольствием бы ее выгнала, если бы не глубокое убеждение, что нет такой плохой служанки, после которой не пришла бы еще худшая. Эти новые веяния, это безбожие ширятся, как зараза. Люди развращены, сегодня ни на кого нельзя положиться!

С чувством тайного удовольствия Магда сообщила пани докторше, что выходит замуж.

— А за кого? — полюбопытствовала та.

— За Штефана Возара.

— За этого старого холостяка? На сколько же он тебя старше? Не меньше чем лет на десять, а? Это тот еще цветочек. На уме одна политика, из-за нее вылетел с фабрики. Пристроился теперь на вокзале, словно мальчишка на побегушках, по одному этому видно, что человек ненадежный.

— Ничего, со временем найдет себе что-нибудь другое.

— Надеюсь. — Толстая дама поправила прическу. Тяжелые серьги оттягивали ей уши. Магда в жизни не видела таких больших, вытянутых мочек. Они доставали докторше почти до половины щек. — Он, конечно, из приличной семьи. У его отца дом на площади, хотя, поговаривают, и заложенный. Старик всегда был великим торговцем, от дурной торговли все и потерял.

Капли горечи, горечи: чем больше накапать горечи, тем больше помрачится счастье. А было ли это счастье? Нет, только такая тихая, робкая надежда на счастье. Она еще не успела осуществиться, как Штефана забрали. И неизвестно, отпустят ли. А что, как не вернется? Что, как это судьба?..

Магда металась на подушках, на лбу у нее выступил пот. Зузана ее успокаивала, кормила с ложки, вытирала измученное лицо. Потом сказала:

— Знаешь, что мне пришло в голову, Магдушка? Возьму-ка я да отвезу тебя в Черную долину, к тете в Млынечек, к Маринке? Там ты скорее забудешь о смерти свекрови и перетерпишь, покуда Штефан вернется.

Магда поняла, почему Зузана ей это предлагает: ведь она через день ходила в школу, а по ночам сидела возле Магды, ночи

напролет не спала. Когда бы Магда ни просыпалась, она всегда видела Зузану за шитьем. Лицо у нее побледнело, под глазами залегли темные тени. Зузана должна отдохнуть от меня, поняла Магда и кивнула:

— Да, так будет лучше, поедем в Черную долину.

6

Напрасно учитель Краль каждый вечер ходил в корчму Стейна. В задних комнатах, где когда-то собиралась бригада носильщиков, сейчас бушевали фашистские главари, самые боевые из людаков. Носильщики когда-то играли здесь в карты и бильярд, а эти только пили.

Как-то он наткнулся на Янко Гусарика.

— Я тебя давно ищу, парень.

— Меня? — удивился тот.

— Надо потолковать.

Вышли в сумерки. По улице торопились женщины с молитвенниками под мышкой. Ветер трепал кроны деревьев, срывал мокрые листья. Тусклые электрические фонари, похожие на перевернутые тарелки, раскачивались под ударами ветра. На ясном небе вырисовывался бледный, светло-серебристый серп месяца.

Пани Юлия принесла им по чашечке чаю из настоя трав, учитель откуда-то извлек бутылку, налил два стаканчика.

— За ваше счастливое возвращение, пан учитель.

— И за возвращение всех остальных, парень.

— Сколько же их взяли?

— Тридцать восемь. Тридцать восемь человек из Попрада и окрестностей.

— Хороший улов.

— В декабре будет суд. Надеюсь, законы имеют еще кое-какую силу.

— Будем надеяться, — ответил парень, и в его голосе прозвучала ирония.

— А что нам еще остается? — Учитель пристально посмотрел парню в глаза.

— Ну да.

Пили чай. В комнате было тепло. Старые кожаные кресла пахли табаком, корешки книг на полках блестели. Над чаем поднимался сладковатый душистый пар.

— Это невозможно пить. — Учитель отодвинул чашку. — Все время попадаются травинки, только и знай, что выплевывай. Снова налил в стаканчики и сказал:

— Я там сидел со Штефаном Возаром.

Парень поднял голову.

— Он велел передать тебе привет и наказывал тебе держаться.

— Ему легко говорить. Что я могу сделать, если остался один?

— Теперь нас двое, парень, — сказал учитель. — Теперь двое.

Парень непонимающе уставился на него.

— Мы должны продолжать работу, — сказал учитель. — Этот станочек, или что там у тебя, перенесешь ко мне.

— Вы... вы об этом знаете?

— Будем продолжать работу, товарищ.

Вечером следующего дня Янко Гусарик притащил в учительский дом сноп соломы. Потом уже в кабинете Краля они распаковали разобранный станок.

— У меня душа была в пятках, когда я нес эту машинку из Прешова, — признался парень. — Ну что там, донести ее из Прешова — чепуха, но вот перенести через нашу площадь — у-у!

— Так это ты нес ее из Прешова?

— Я. Когда шел по прешовским улицам, то, со страху не разобравшись, спросил дорогу у полицейского. После этого мне полегчало, стало даже казаться, что я действую с благословения закона. Мне это так понравилось, что на следующей улице я снова обратился к полицейскому. Этот был совсем любезный, только что не проводил до того самого дома. Так вот я забавлялся.

— Могу себе представить, — сказал смеясь учитель.

Парень вынул из кармана сложенную бумагу.

— Вот так это выглядит. Что скажете?

— Убогая халтура.

— Что?

— Грязь, кляксы. Чудеса, как это вы еще на ней не оставили отпечатков пальцев. А грамматические ошибки!

Янко покраснел.

— Это антигосударственная листовка, — сказал он. — Здесь прямо говорится о распространении ложной информации. За такое полагается долгосрочное заключение в Илаве либо вообще веревка.

— Не пугай, парень. Такая ценная бумага могла бы быть и покрасивей.

Учитель сел и начал рисовать. Потом посмотрел на парня.

— Ну, что стоишь, товарищ? Приготовь свою машинку. Пока Штефан вернется, мы с тобой должны это делать сами, разве нет?

После ухода парня учитель вышел прогуляться по дождливой улице. Как и всегда в конце осени, рабочие обрезали деревья вдоль дороги. Отпиленные ветки валялись на тротуарах. Мертвое, даже на растопку непригодное дерево. Изувеченные стволы торчали убого — казалось, что они никогда больше не зазеленеют.

Учитель думал о том, как, бывало, к нему обращался Ште-

фан Возар с товарищами, чтобы он перевел им или разъяснил ту или иную статью Маркса или Ленина. Тогда он про себя смеялся над их наивностью. Церковь учит, что человек отмечен первородным грехом и на этом свете его не ожидает ничего иного, кроме горя, подлинный рай ожидает праведных только после смерти! А они, коммунисты, думают, что человеку надо лишь дать возможность — и он построит здесь, на этой земле, идеальное общество, где все будут братьями!

Правда, этот идеал признавал и учитель. Ему только была чужда мысль, что они хотят достигнуть этого, прибегнув к насилию. Им было все равно — жить ли убогой жизнью или не жить вообще, они легко жертвовали собственной шкурой. Учитель не мог этого одобрить, в области морали он был отчасти толстовец — да, изменить мир, но по-хорошему, добром, добрым словом, собственным добрым примером, неустанным терпеливым воспитанием детей в школе, самоусовершенствованием. Никогда, ни при каких обстоятельствах не отвечать злу насилием.

А понадобилась такая малость — всего один пинок в зад, чтобы он утратил иллюзии. Он и сам не знал, зачем придумал эту шутку, которую проделал с Янко Гусариком, изобразив, что действует по приказу Штефана. Но это получилось, это был единственный способ, чтобы присоединиться к ним, им помогать, делать то бесспорное, что делали они. Учитель тщательно вырисовывал пятиконечные звезды и выводил каллиграфическим почерком: ''Товарищи солдаты! Не воюйте против русских братьев!'' Янко свертывал листовки в трубочки и целыми связками совал их в поезда, которые днем и ночью грохотали через татранское ущелье на восток.

7

Дорога к кладбищу подымалась плавными изгибами, чтобы по ней могла достойно подняться погребальная процессия. Ее пересекала крутая тропинка, покрытая обледенелым слоем иголок, она петляла среди сосен, качающихся от ветра. Тропинка была такой утоптанной, что обнажала подземные валуны, переплетение древесных корней, нога могла опереться на них, словно они были ступеньками.

Тропинка вела к трем деревянным избушкам под Катыковцом. У одной шел из трубы дым.

— Они дома, — порадовалась Магда.

— Это мы дома, — поправила ее Зузана, глубоко, жадно вдыхая запах земли и хвойного леса.

Прошли завалинку, постучали в дверь, переступили через порог. Тетка, склоненная над очагом, подняла голову без малейшего удивления.

— Я уже несколько дней говорю, хоть бы пришли мои девоньки! И посмотрите — вот они вы! — приветствовала она их и сразу начала собирать на стол.

— Маринка скоро вернется, побежала в деревню.

На столе появился хлеб, творог, крутые яйца. Над глиняными горшочками поднимался пар, пахнущий земляничным листом.

Двери распахнулись, как от вихря, вбежала Маринка, по-детски худенькая, по-детски радостная.

— Магдушка! Тетя Зузка! Как я рада, что вы пришли!

Крутые яйца вызвали у Зузаны воспоминания. В какую бы избу в детстве она ни зашла, всюду хозяйка втискивала ей в ладоши крутое яйцо, как будто она эту редкость берегла как раз для такого гостя. Среди деревенских женщин царило такое тихое, негласное соглашение, что все самое лучшее, что есть в доме, нужно отдавать самым маленьким детям, невзирая на то, чьи они. Деревенские в большинстве были бедняками, малоземельными, но маленькие дети даже в бедных домах получали яичко.

Может быть, именно эти яички и давали человеку заряд жизненной силы, без которой в горах было не прожить. Зузана всегда чувствовала себя обязанной этим чужим женщинам, наверное, именно поэтому она понимала жизнь как исполнение долга, как обязанность.

Это вошло в ее плоть и кровь.

Она оглядывала комнату, где родилась, знакомые предметы покорно покрывались пылью, отдыхали на своих местах спокойно и тихо, прямо живописно, но она горбилась под бременем, которым давил ее почерневший потолок. Зузана подожгла пучок валежника, положила в очаг, отсветы огня танцевали по стенам, в памяти Зузаны оживали умершие. Мать, склоненная над огнем, от которого у нее слезились глаза, вся покривившаяся от ревматизма. Брат Лацо с прядью волос, падающей на лоб, — здоровый, полный сил и интереса к миру. Отец, которого она едва помнила.

Из нищей Черной долины все уходили преждевременно. Мужчины погибали на полях сражений первой мировой войны, на опасной работе в рудниках, каменоломнях, в лесах. Женщин губил тяжкий труд на полях и дома. Зузана представила себе мать, как она в темноте, на сквозняке готовит еду семье и скотине, разница между теплом огня и холодом в помещении выкрутила ее суставы; да еще работа в поле в любую погоду, бесконечные роды, как будто уделом каждой женщины было родить как можно больше детей, потому что в таких условиях мало кто из них выживал. Молодежь не вырастала без того, чтобы вместе с взрослением не заполучить какую-нибудь болезнь, многие умирали раньше, чем начинали жить. Те, кто был сильнее, уходили из долины на заработки в поисках лучшей жиз-

ни. За кем не было долгов, тот больше не возвращался.

Зузана всегда будет должна возвращаться. Здесь, в этой избе, с глазу на глаз с мертвыми, она осознавала цену собственной жизни. Те, что остались живы, обязаны относиться к жизни как к исполнению долга — выполнять свой долг во имя тех, кто ушел.

Тетка прервала ее размышления. Пришла спросить ее, не будет ли ей холодно в давно не топленных стенах.

— Не лучше ли тебе спать с нами, в теплой избе?

— Нет, тетя. Здесь мне будет хорошо. Я ведь затопила.

— Что такой огонек сможет поделать! Здесь неделю надо отапливать. Знаешь, на рассвете я пойду в лес. Пойдешь со мной?

— Конечно, — кивнула Зузана. — Я и не знала, что даже в эту пору собирают лечебные травы.

— Вот увидишь. Доброй ночи, — простилась тетя.

Раскачиваясь, усыпляюще шумели сосны, поскрипывали двухсотлетние стволы. Где-то в темноте скреблась мышь. Зузана мысленно снова и снова шла утоптанной тропинкой, обнажающей корни и камни, лежащие в недрах земли. Сколько раз по этой тропинке она спускалась в долину, сколько раз поднималась назад! Знала на ней каждый камень, каждый стебелек, прошла бы и с закрытыми глазами. Ведь здесь она приобрела первые познания мира, научилась понимать суровую землю, валуны, растения, деревья. Здесь обрела основные жизненные устои.

Она еще как следует не уснула, а тетка уже пришла ее будить.

— Зачем мы идем в лес среди ночи? — спросонья спрашивала она.

— На прогулку, конечно, — смеялась тетка.

Ночной ветер, обледеневшая тропинка. Темный лес, темное небо, туманный месяц. Тетка шла неслышно, как тень. Зузана, спотыкаясь, плелась за ней.

Когда-то они часто вместе ходили в горы. То собирали цветы, то травы, то коренья. Выходили ночью, чтобы на рассвете, когда расцветет чудодейственная травка, они были на месте. Тетка указывала концом палки:

— Эту срывай, но осторожно, корни сбереги!

Тащиться в такую даль ради нескольких цветущих листиков, подумала Зузана. В большинстве случаев ее радовало, когда по дороге они останавливались в невиданном земляничном месте или на склоне, красном от брусники, которую потом Зузана продавала дамочкам на курорте.

Тетка направилась к сеновалам за Катыковцом.

— Не испугайся, Зузка. Идем за одним человеком.

— За кем?

— Это какой-то немец.

— Немец?

— Да кто его знает, в чем там дело. Пришли парни, наши, из деревни, говорят, тетка, там лежит на сеновале один немец. Но думает он, как и мы, поэтому ему пришлось убежать от своих. Помогите ему, он нам очень пригодится.

— И вы согласились?

— Самое тяжелое позади. Только кто ж будет за ним ухаживать в зимние метели? Без помощи он может здесь и замерзнуть. Отведем его вниз, спрячем у вас, там ему будет хорошо.

— Почему именно у нас?

— Потому что ваш дом пустой. Если б даже узнали, кто в нем живет, никого бы за это не наказали.

Зузана на это не сказала ничего. Тетка исчезла за крайним сеновалом и потом появилась в сопровождении темной тени. Без единого слова женщины повели незнакомца под руки, поддерживая его собственными телами. Он был легким, исхудавшим — судя по фигуре, казалось, что это еще подросток.

Ветер усилился, льду на тропинке, казалось, прибыло. Шли они, часто оскальзываясь. Мужчина тяжело, быстро дышал, как человек, который напрягается изо всех сил.

Когда он стоял в сенях и лицо ему осветило пламя свечи, Зузана заметила, что выглядит он совсем не молодо. Чем-то он напомнил ей учителя Краля.

Она больше не легла — ждала, когда рассветет. Потом вышла во двор, наклонилась над колодцем. На дне дрожала гладь воды, по стенам тянулся мох. Спустила ведро, по поверхности разбежались круги. Утреннее солнышко освещало живописную деревянную избушку, окруженную голыми деревьями, которые охраняли ее от зимних ветров, от ударов бродячих молний и солнечных лучей. Зузанин родной дом. Выглядел он заброшенным, как вчера и позавчера. На паутинах в запыленных балках и на поленницах, которыми была обложена завалинка, держался иней.

Зузана отнесла ведро в избу. Из-за занавески вышла Магда, с румянцем на щеках.

— Наконец-то я хорошенько выспалась! Была такая спокойная, такая тихая ночь, правда, Зузана?

— Конечно, — кивнула Зузана и плеснула себе на лицо пригоршню ледяной воды.

Глава II

1

Штефан Возар долго жил холостяком. Чаще, чем женатые, ходил в корчму Стейна, там в задней комнате играл в карты, бильярд, слушал всякие речи, сам слегка увлекался политикой. Потом разразился экономический кризис, и сразу политика ста-

ла частью борьбы за существование.

Штефан тогда сдружился с братьями Мацко, вступил в коммунистическую партию. Горожане, заходившие по воскресеньям к Стейну выпить пива, косились на этих бунтарей. Боялись их. Наконец братьев Мацко, которые были особенно воинственно настроены, организовывали забастовки на лесопилке и на фабрике, марши голодных и митинги протеста, уволили, и никто не хотел их брать на работу. Штефану такая опасность не угрожала. Даже в самые тяжелые годы кризиса бригадир не отправлял его домой, как обычно — хотя бы на время — должен был отправлять других. Он заботился не о политике, а о деле. Знал, что кирка и лопата Штефана не знают отдыха. Штефан не изображал, что надрывается, когда бригадир появлялся рядом, наоборот, он даже приостановится, перебросится словечком, покурит. Но работал на совесть.

Потом пришел день четырнадцатого марта, радио грохотало, всюду звучали призывы: "Словаки, братья, гардисты!" Люди в черной военной форме чувствовали себя на коне — теперь они стали господами и могли заводить свои порядки. В один прекрасный день бригадир остановился перед Штефаном.

-- Жалко мне, Штефан, работник ты хороший, и я бы никогда этого не сделал... Приказано тебя уволить. Они знают, что ты коммунист.

— Само собой, — засмеялся Штефан. — Не бойтесь, я не пропаду, — сказал он на прощание бригадиру.

Лопату и кирку сложил в сарае и отправился шататься по городу.

Набрел на братьев Мацко.

Братьям пришла идея основать самостоятельное предприятие, откуда их никто не сможет выгнать. Железнодорожный узел, решили они, прокормит целую бригаду носильщиков. Они купили подержанную "праговку", объединив труд носильщиков и таксистов. Развозили пассажиров в окрестные горные деревни и труднодоступные татранские поселки. Скоро численность их бригады увеличилась, к ним присоединился Янко Гусарик, а потом вот и Штефан. Янко Гусарик, по прозвищу Малыш, оказался опытным горным шофером. Штефан использовал свои крестьянские навыки, когда раскисшие дороги отрезали от мира какое-нибудь хозяйство и надо было освободить его, он ехал тогда на расписных легких саночках с колокольчиками. Это была жизнь, полная приключений, когда утром не знаешь, что́ днем ожидает тебя на работе. То ли будешь иметь честь послужить милостивой пани министерше, то ли отнесешь в отель затрепанный реквизит славного фокусника Раджа Йоги? Если представится пани министерша, то перепадут хорошие деньги, если фокусник, то носильщики должны были удовлетвориться предсказанием своей судьбы, обещанием того, что все повернется к лучшему. На Штефана

фокусник только взглянул:

— Я мог бы вам сказать, что вас ожидает, да знаю, что вы мне не поверите. Считаете себя самым умным на свете, — и с тяжелым вздохом полез в кошелек за монетой.

Штефан, однако, ее не взял:

— Я уже получил по заслугам, пан Раджа.

Заработок был не постоянный, а времена становились все более трудными. Гитлер наступал, в витринах городка появились карты Европы, маленькие флажки продвигались на них все дальше на восток, отмечая победный марш немецких армий.

Среди мужчин, собиравшихся в задней комнате у Стейна, росла нервозность. В особенности кипели братья Мацко. Парни — богатыри, им бы только взяться за оружие и идти в бой. Учителю Кралю приходилось их успокаивать.

— Будьте благоразумны, ребята. Знаете, какая у Гитлера сила? Ему вся Европа подчинилась, Австрия, мы, Польша, Франция, Дания, Бельгия, — перечислял он. — Сильнейшие подчинились, куда же вам-то соваться против такой силы?

— А вы людак! Все словаки, которых одурачила поповщина, — все людаки!

— Если бы я был людаком, — отвечал учитель, — я бы тут с вами не сидел.

— Или мы бы тут не сидели, — засмеялся Штефан.

Попивали разбавленное водой вино, резались в карты, ждали известия с фронтов. Известий было все меньше. После Сталинградской битвы гардисты начали ходить из дома в дом и отбирать радиоприемники, чтобы воспрепятствовать распространению вражеской пропаганды, которой здешний народ поразительно быстро поддавался. Но это не помогло. Люди учились читать между строк, расшифровывать намеки.

Теперь что-то начало назревать. Завязывались связи, приходили инструкции; ячейки, состоящие из четырех коммунистов, могли выполнять задания. Постепенно начали ощущаться и результаты. Носильщики печатали листовки и совали их в поезда, идущие на Восточный фронт, следили за движением поездов и подавали точные сведения, дежурили на станции днем и ночью. Собирали деньги, помогали семьям арестованных. Но такая деятельность казалась парням мелкой, недостаточной. Возбуждение все росло, ходили слухи о партизанах в горах, о смелых действиях диверсантов: на какой-то станции сцепщик якобы отцепил последний вагон и спас группу наших, отправляемых на работу в Германию. На востоке, в нескольких километрах от городка, партизаны подорвали пути...

Как раз тогда Магда начала донимать Штефана — мол, брось работу носильщика, не стоящее это дело. Он бы и послушал ее, но теперь уже было поздно. Именно на станции сосредоточивалась большая часть нелегальной работы. Поэтому он для види-

мости перебрался на лесопилку. Магду урезонивал обещаниями: не бойся, маленькая, я правда найду себе что-нибудь другое, как только появится возможность.

Потом его взяли. Три месяца он просидел в предварительном заключении. В начале декабря был суд. Тридцать человек осудили за нелегальную деятельность, агитацию, за издание газет и журналов, за организацию собраний, подстрекательство. Восьми человекам повезло, подвалило невероятное счастье. Их отпустили за недостатком улик. Среди них был и Штефан Возар.

Он просто не мог в это поверить. Ехал в почти пустом вагоне, за окном мелькал скучный серый пейзаж, замерзшие деревья, темные, пустые поля. Вершины холмов потемнели, лиственницы сбросили иголки, в бороздах белел снег. Это была правда, он действительно подъезжал к дому.

Понемногу выходил из столбняка. Тридцать человек осталось там, — тридцать, выданные провокатором. Можно ли восполнить эту потерю? Вся деятельность парализована. Что смогут сделать они — восемь человек? Ничего, как есть ничего.

А может быть, смогут? Найдут новых людей. Время поможет. За три месяца подтвердились слухи, что Сталинград — не случайный успех, но начало наступления. До этого люди жили надеждой, что еще не все потеряно, теперь надежда сменилась уверенностью, что Гитлер уязвим. Эта мысль давала силу.

Вагоны раскачивались на стрелках, поезд въезжал на станцию. Проводник с начищенной бляхой на груди выкрикнул название станции. Перрон был пустым, нигде не мелькало шапки с надписью "носильщик". Пассажиры прошли по перрону в сторону города.

— Так что, парень, — приветствовал Штефана Бартко из камеры хранения, — посидел, значит? Поди, отдохнул на казенных-то харчах.

— А как же. — Штефан похлопал по плечу приземистого мужичка.

— А братьев Мацко отпустили? — выспрашивал тот.

— И братьев отпустили.

— Выходит, вас опять будет комплект. А то здесь пусто, как в заклятом месте.

— Мы тут опять все раскрутим, — засмеялся Штефан.

Выпил с Бартко в буфете стаканчик рома и отправился домой.

Остановился перед воротами с висячим молотком в виде львиной головы. Железный зверь глядел на него пустыми глазницами. Штефан стиснул ручку. Тяжко ему было войти, когда он узнал, что дом опустел.

Из передних комнат, однако, раздался голос. Он постучал. Отворила ему приезжая толстая женщина с бигуди, до половины закрытых платочком, завязанным наподобие тюрбана.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Я здесь живу, — ответил он и замялся.

Звучало это неправдоподобно.

— Значит, вы пан Возар, — улыбнулась женщина. — Ваша тетя сдала нам переднюю часть дома. Надеюсь, вы не будете возражать.

Он повернулся и побежал к тетке. Тетка сидела за столом и раскладывала пасьянс.

— Карты мне только что сказали, что меня ожидает приятная новость, — фальшиво улыбнулась она Штефану. — И вот ты уже дома.

— Да, я-то дома, а дом-то полон чужих.

— Я знала, что тебе будет тяжело без жены. Хорошая жена не тронется из дому, будет ждать мужа.

— Речь не о Магде, а о чужих. Зачем вы их пустили в передние комнаты?

— Потому что они пустовали, дом пустовать не должен.

— Разве это запрещено?

— Это не запрещено, во всяком случае, мне об этом неизвестно. Но ты прекрасно знаешь положение вещей. Твой отец оставил долги. Дом заложен. Твоя мать не могла выплачивать даже проценты. После отцовской смерти она одна оставалась в стольких комнатах, так могла бы найти постояльцев и заплатить хотя бы проценты. Поэтому я и сдала дом. Сейчас многие нуждаются в жилье, а когда нуждаются — платят. В это тяжелое время пора взяться за ум.

— Ну ладно, — сказал Штефан.

Свою тетку Розу он хорошо знал. Ей не будет покоя, пока она не выгонит Штефана из отцовского дома. А потом будет с гордым видом сидеть в костеле, на третьей скамье, где сидят самые богатые.

Штефан вошел в свою комнату, украшенную вышивками, где все ему напоминало Магду, эту веселую, улыбающуюся девушку с волосами цвета соломы и с теплым взглядом. Он даже не сел — повернулся и отправился в корчму.

2

В унылые осенние дни Зузана стала чаще заходить к Юлии Краловой.

— Здравствуйте, дитя мое, — радовалась та ее приходу. — Когда вы появляетесь, будто солнышко заглядывает.

Она, как всегда, поахала над вышивкой на Зузаниной блузке и усадила ее к столу. В комнате пахло табаком, ванилью и пряностями.

— Я принесла книги, пани Юлия, и хотела бы взять новые.

— Пожалуйста, выбирайте, а я пойду поставлю чай. Настоящего, к сожалению, нет, только из трав, но, может, он вам придется по вкусу, — оправдывалась она.

Зузана осталась одна. Перебирала книги, останавливалась возле картин учителя. Это были в большинстве пейзажи окрестностей или города, старые дома с розоватыми и желтыми тенями. Зузана убеждалась, как любит она эти картины — может, и ходит-то сюда из-за них. Ведь книги, которые она возвращала непрочитанными, были только предлогом. От вышивания у нее болели глаза, на чтение не оставалось ни времени, ни охоты.

Пани Юлия принесла чай в серебряных чашечках, а на тарелочке душистый яблочный рулет.

— Я только что вынула его из духовки, словно чувствовала, что вы придете, — улыбнулась пани Юлия и спросила: — Чего новенького на свете, дитя мое? — Было видно, что она силой воли прогнала какое-то воспоминание.

— Да я что-то ничего нового не слышала.

— Говорят, приехал в отпуск молодой Виктор Краус. Любопытно, ходит ли он все еще в щегольской форме с кортиком? Все лето ходил в ней — ну что твой генерал! Мне странно, что у него не было из-за этого неприятностей. Виданное ли дело, чтобы немецкий солдат так франтил?

— Между рядовыми немецкими солдатами и Виктором Краусом есть некоторая разница, — сказала Зузана.

— Ваша правда. Любит поважничать — весь в отца.

Она села, разлила в чашечки чай.

— А что делает пан учитель?

— Как всегда. По целым дням не выходит из своей комнаты.

Пани Юлия взяла со шкафчика художественно вырезанный флакончик и потерла виски.

— Как вам нравятся эти духи, Зузанка?

— Приятные, — сказала Зузана растерянно. В жизни ей никогда не приходилось интересоваться духами.

— Совсем как французские, не правда ли?

Зузана нерешительно пожала плечами.

— Никто не догадается, что они наши. Я смешала два сорта. Французских духов уже давно нельзя достать.

Зузана отодвинула чашечку. Какое, должно быть, одиночество, подумала она, когда человеку не остается ничего другого, как мешать духи, которые выдыхаются без следа. Так же без следа, как бессмысленно прожитый день, бессмысленно прожитая жизнь.

— Обещайте мне, что будете приходить, хотя бы каждое воскресенье, — настаивала, прощаясь, пани Юлия.

— Приду, конечно приду, — пообещала Зузана. — Как я могу не прийти!

На улице она убедилась, что сказала правду. Холод пронизал ее до костей, она завернулась в шерстяной платок. Ветер гнал по небу косматые снежные тучи.

3

Из тумана пробились первые лучи солнца, и стекла на окнах заблестели, как ледышки. На снегу пролегли голубые тени. Магда отвернулась от окна, взяла корзину и вышла на двор. Под сараем собрались куры, недоверчиво оглядывающие белый двор, изрытый и полный ошметков соломы. На кормушку сразу слетела стайка воробьев, воинственный петух кинулся их отгонять. Они уселись на крыше и попрыгивали на ярко-красной, омытой дождем черепице.

Магда, оставив у стены пустую корзину, вошла в амбар. Земля там была сухая, гладко, добела утоптанная. Здесь пахло хлебом, мучной пылью, как в заботливо прибранной кладовке. Глаза у Магды привыкли к темноте, и, когда она распахнула задние двери, ей пришлось зажмуриться. Солнце и снег. Свежий снег, морозный воздух, чувство свежести, обновления, словно только что выкупался.

Магда пошла по тропинке. Снег под ее ногами таял, словно подошвы у нее были горячие, и за ней тянулись темные следы. Она подставила разгоряченное лицо охлаждающим порывам ветра.

В воздухе разлетались звонкие удары топора. Это Штефан. С рассвета на стройке. Убегал, не дождавшись завтрака. С того времени, как они начали строить, он тут много наработал. Собственными руками вытаскивал камни из окрестных ручьев, бродил по воде и двигал тяжелые глыбы, снося их в кучи. Когда она видела, как он напрягается, даже пугалась: еще надорвешься, Штефко! Он только усмехался: камень, подходящий для фундамента. Северный ветер и тот не снесет нашего дома. Горные потоки в некоторых местах были богаты галькой и даже желтым песком. Волы не раз едва вытягивали тяжело груженный воз, а Штефан с Магдой помогали им изо всех сил.

С тех пор как он вернулся из тюрьмы, он принялся за стройку с особой охотой. Его топор так и звенел в ясном воздухе, соседка Подлипкова сегодня опять будет бранить безбожников, которые не чтут даже воскресенья.

— Что это ты мне несешь? — поднял он голову навстречу Магде.

— Должен же ты поесть.

Запыхавшаяся Магда оперлась о козлы. На снегу лежала стружка, нежная, как детские локоны.

— Застудишься еще у меня... — Штефан скинул меховой жилет и набросил ей на плечи. Сам остался в рубашке, из засученных рукавов торчали мускулистые руки, воротник был расстегнут, словно стояло жаркое лето. Он все еще был худоват, выступающие скулы теперь особенно красноречиво выражали энергию и мужское упорство. Такой не простудится, подумала Магда, и ее охватила гордость за мужа, за то, что любая работа у него спорится.

— Не холодно, — сказала она, — совсем не холодно.

Отсюда сверху было видно всю деревню, городок с островерхой башней костела над макушками елей, деревья в садах, покрытые инеем. Все было белым, чистым, легким как перышко. Ясное небо без облачка, такое голубое, каким бывает только в часы первого снега.

Магда набрала пригоршню снега и быстрее, чем он растаял в ладони, сунула Штефану за воротник.

Он не спеша выпрямился и двинулся к ней. Она побежала в раскрытые двери амбара, вбежала, спряталась. Он увидел — пошел на нее со снежным комом в протянутой руке.

Через щель в крыше падал лучик света, в нем кружилась, танцевала золотистая пыль. Магда протянула руку к лучу, рука стала красной, прозрачной. Свет прошел сквозь нее, словно она была бестелесной. Штефан подошел к Магде совсем близко, схватил ее руку, чтобы она не могла защищаться, остатками таявшего снега растер ей щеки, словно хотел нарисовать на них розы. Делал он это нежно, маленькими круговыми движениями, а когда снег растаял, ее щек касались только горячие пальцы Штефана.

Всюду вокруг поднималась золотистая пыль в круговерти танца. Постепенно выныривали из сумрака красная черепица, пустотелые стебли соломы.

Они не могли оторваться друг от друга.

— Я люблю тебя, Штефко.

— А я тебя, моя милая. — Он погладил ее волосы, рассыпавшиеся по соломе. Неловко их собрал. — Ты мое соломенное золото.

...В комнате было тепло и чисто. Пол белел, источая запах мыла и дерева. Его покрывали свежевыстиранные половики. В печке бушевал огонь.

Магда резала ломти сала, с одного конца их надрезая, чтобы, поджариваясь, они скрутились гребешками. Яиц больше не было — а Штефан так любил яичницу на сале... Магда взяла кочергу, помешала, подкинула несколько поленьев. Налила в кружки хлебный черный кофе.

— Ты просто клад, женушка, — стиснул ей руку Штефан. — И чего я, осел, не женился десять лет назад? Никогда не мог понять, чего хорошего находят мужики в женитьбе. Теперь начинаю понимать.

— Давно пора, — засмеялась она.

В углу стояла маленькая рождественская елочка, на верхушке ее висел пожелтевший бумажный ангел, которого Магда принесла из дома. Пухлыми ручками он подпирал подбородочек и улыбался.

4

Замерзшие оконные стекла и тяжелые занавески почти не пропускали света. Комната была полна теней — они тянулись от темной мебели, заполняя дальние углы. У учителя разболелась голова. Его утомляло чтение собственных заметок — страничек, густо исписанных мелким, беглым почерком, оживленным кое-где с абзацев прописной буквой. Когда-то он взялся написать заметки об истории края, чтобы заполнить чем-то долгие зимние вечера.

Написал много: обозначил на картах гидрографию и топографию, написал местные названия. Этого никто никогда не прочтет. Раздосадованный, отодвинул рукопись и поднялся.

Тихо, едва слышно зазвонил звонок. Этот звук он уже узнавал: пришла Зузана Батизова. Она недолго побудет с Юлией, как почти всегда в воскресенье после обеда. А он станет ходить туда-сюда по комнате и не сможет ни на чем сосредоточиться, а будет все время представлять, как они сидят там внизу и разговаривают и как Юлия откровенничает с учительницей, может быть, даже жалуется. А Зузане приходится терпеливо выслушивать ее, кивая. Учитель представил себе ее утомленное лицо, выразительность которого подчеркнута сумраком комнаты. Ему хотелось увидеть ее хоть на минутку, но он всегда умел вовремя остановить себя. Если жена придет и позовет его выпить с ними чаю, он откажется.

— Оставь меня в покое, у меня нет времени.

И Юлия со вздохом вернется вниз: даже пяти минут нет у него для меня, я не говорила вам об этом, дитя мое? Это крест — иметь мужа-чудака, который ничего не видит, ничего не слышит. Кроме бумаг, ничто его не интересует.

Учитель ходил по комнате взад-вперед, взад-вперед.

В свое время, когда Юлия и учитель после многих лет ожидания упали наконец в объятия друг друга, став мужем и женой, выяснилось, что они оба устали от этого бесконечно долгого преодоления препятствий. Юлия так и не расцвела. Узнав, что у них не будет детей, она начала стареть прямо день за днем. Какое-то время они еще ссорились, убежденные, что одному удастся обратить другого в свою веру. Во время одной из таких ссор учитель иронически заявил: к счастью, дом достаточно велик, так велик,

что мы можем в нем жить, не встречаясь. Юлия только сдержанно усмехнулась и устроила все по этому принципу. Она занималась выращиванием цветов, в первом этаже принимала пана священника да нескольких старых дев из хороших семей. А он зарылся в свои бумаги или ходил целыми днями с этюдником по окрестностям. С годами они привыкли друг к другу. Смирились. А может, незаметно состарились?

Теперь, на пороге старости, у него не шла из головы эта бледная учительница с глазами, утомленными постоянным вышиванием. Как не вовремя она его увлекла! В такое время, когда всех охватывает отчаяние, когда все, чем люди заполняли свою жизнь, утрачивает смысл. До картин ли, когда горят целые города?

Если бы не присутствие Зузаны в доме, он позвал бы сейчас Юлию и попросил бы поставить ему компресс. Успокаивающие руки Юлии, холодные как лед.

Он заставил себя взять в руки толстую черную тетрадь. Быстро ее перелистал. Нашел записки времен австро-венгерских выборов. После перечня событий следовала подборка частушек того времени:

Как там в Штрбе под Криванем сложа руки не сидят.
За словацкое наше дело все бороться норовят.

Как там в Важце под Криванем руки чешутся у парней.
Ну-ка сунься кто, попробуй, и словака там побей!

А уж в Хыби шевелятся и промашки не дают.
Там словаки, там словаки большинством везде пройдут.

Как у Градка у лесочка Бела с Вагом обнялись,
стройный Ваг и белая Бела там шумят. "Привет, наш Бела!"

Во Врбице возле моста ты откуда, знать хотят.
Коль словак — иди спокойно, если нет — ступай назад!

Куплет за куплетом, деревня за деревней. После частушек шли анекдоты того времени — целый сборник. Самые острые были из Важца. О том, как важетяне выбирали в сейм. Перепились и позабыли, кого выбирать-то.

Учитель вспоминал атмосферу того давнего времени, жандармов с трехцветными кокардами, войска, всю эту показуху. Венгры завоевывали избирателей самогонкой, корчмари кормили их задаром, поили вовсю — государство, мол, платит!..

То, что учитель Краль в те времена был на стороне словацкого народа, означало, что он был на стороне бедных, угнетенных,

эксплуатируемых. Речь шла о проблемах социальных. Почему он этого не понял сразу?

Его сбило с толку это фальшивое, нарядное спишское местечко. Здесь при входе в костел нищие не просили милостыни, бедняки скрывали свою нищету. Местный дурачок Пале Бискуп ходил в шапке, украшенной висюльками, смеялся как дитя, смеялся даже тогда, когда хозяйка давала ему за тяжкую работу всего лишь краюху черствого хлеба. Уважаемый гражданин имел свою скамью в костеле и свой стол в корчме.

Снова звякнул звонок, на этот раз он долго звонил под ударами чьей-то энергичной руки.

В дверях появилась Юлия, маленькая и темненькая, вежливо улыбающаяся:

— К тебе гость. — Улыбка, которой она вооружилась пятнадцать лет назад, была сейчас, после рождественских посещений костела и по принятии причастия, после возрождения всех добрых намерений, обновленная, почти сердечная. — Я сейчас его проведу к тебе.

— Штефан! Откуда ты взялся?

— Добрый день, пан учитель. Да вот, пришел на вас посмотреть.

Воротник рубахи у него был расстегнут, узел галстука мотался на голой шее, словно Штефан шел не по морозу, а сидел в теплой корчме, на сходке.

— Сейчас принесу вам чаю, — сказала Юлия и вышла.

Штефан минуту глядел на картины — Татранские горы и озера, луга, болотца с аистами, поля в дни жатвы.

— Мирные картины природы, — сказал он. — Так и слышишь пение жаворонка...

— Сейчас я вижу, что это никогда не было правдой, парень.

— Я пришел поблагодарить вас, пан учитель.

— За что?

— Ваши листовки спасли нас от тюрьмы. Не знаю, может, это всего лишь случайность, но они попали в руки именно тем, кому было надо, и дело свое сделали. Господа потеряли уверенность: получалось, что листовки делали не те, кого они держали под замком. На воле есть кто-то другой. Может, поэтому нас восьмерых в конце концов и отпустили...

— Я рад, Штефан.

— Никогда бы не поверил, что вы присоединитесь к нам. Когда вспоминаю, как вы еще недавно защищали нынешние порядки! Как успокаивали нас, когда мы в задней комнате у Стейна начинали мечтать об оружии. Будьте благоразумны, ребята! Гитлер пока оставил нас в покое, дал нам самостоятельность! Политики считают, что срок его власти — двадцать пять лет! Он покорил всю Европу, так что может с ним сделать в маленькой Словакии горстка людей? Нужно иметь голову на пле-

чах, нужно сохранять благоразумие. Помните, как вы нас убеждали?

— Все это была только теория.

— Но вы так думали, наверное.

— Отстань, парень. Я слишком много читал и верил любой благоглупости. Все так ловко придумано. Наконец-то возрождены традиции Кирилла и Мефодия! Кто бы на это не клюнул? Теперь-то видно, что за этим стоит. Видно всю их подноготную. Мне хватило того, что я видел своими глазами. Уволокли Стейна с семьей, убили его мальчонку... А потом в прошлом году сначала добровольная, потом принудительная мобилизация. Все газеты полны хвастливых речей, которые в горном Спише имеют стопроцентный успех. Спишские немцы идут за фюрером. Наградой им будет присоединение Словакии к рейху. Не приведи этого господь! Не приведи господь, чтобы Гитлер выиграл войну!

— Не выиграет, пан учитель. Уже выяснилось, что у них кишка тонка, что Сталинград не был случайностью, а только началом поворота. Все уже это чувствуют.

Юлия принесла чай.

— Вы должны меня извинить — я вас оставлю одних, у меня гостья, пани Батизова, — оправдывалась она.

Было ясно, что она больше не покажется.

Учитель достал бутылку и сразу немного оживился.

— За этот поворот, парень. За этот счастливый поворот. И за твое счастливое возвращение, само собой.

Он любил Штефана. Тот был одним из первых его учеников. Закончив школу, он продолжал часто заходить к учителю. Его интересовали книги, интересовал мир. Учитель оказал влияние на всю его жизнь и был убежден, что влияние это — доброе. Но пожалуй, и Штефан оказал влияние на жизнь учителя.

— Вы пошли на большой риск, пан учитель. Рисковали и вы, и Малыш. Что, если бы у вас в доме устроили обыск?

— Ну-ну, ведь не устроили же. Может, им одного оказалось достаточно.

— Теперь мы должны все изменить.

— Что нужно менять?

— Организацию работы.

— О чем ты, Штефко?

— У вас есть радио, пан учитель?

— Да. Жена ведь у меня немка, так что приемник у нас не конфисковали.

— Будете слушать все доступные станции. В особенности Москву. Это единственная ваша задача. Обо всем знать. Но записывать ничего нельзя. В корчме собираться перестанем. Братьев Мацко ничто не заставит хотя бы минутку говорить потише.

— Ты прав. Эти никого не боятся.

— А вы, пан учитель? Не жалеете, что присоединились к нам?

— Как ты можешь, Штефан! Для меня это единственно возможный путь.

— Спасибо вам.

Штефан стиснул учителю руку.

После ухода Штефана учитель вернулся к своим запискам времен австро-венгерских выборов, и впервые в жизни они ему по-настоящему доставили удовольствие.

5

Янко Гусарику подвалил хороший заработок. Из больших городов поездами прибывали целые семьи с множеством багажа, и все хотели попасть в безопасное местечко, где бы человек мог отдохнуть от бурь этого мира. Представляли, что тише всего будет в татранских отелях и дачах. Янко многим по секрету сообщал, что как раз в Татрах часто бывают облавы. Он указывал заинтересованным лицам на уютные тихие уголки в какой-нибудь горной деревне, где легче найти жилье и провизию, и получал за дружеский совет щедрую награду. После этого не оставалось ничего другого, как погрузить багаж и пассажиров в сани и отвезти на место. За работу ему платили даже больше, чем он запрашивал.

Большую часть денег он отдавал матери, она их прятала под статуэткой девы Марии. Часть отдавал в фонд носильщиков. Матей Мацко зорко следил за каждым заработанным геллером и неумолимо требовал взносы.

— А когда угодишь за решетку, на что будет жить твоя мамаша? Знаешь, сколько женщин и детей голодают, когда в доме нет кормильца?

И все-таки кое-что оставалось и ему. В воскресенье на масленицу он дождался у костела Аничку Подлипкову и позвал ее в кафе. Она после долгих уговоров все же пошла, но не захотела идти одна, взяла с собой подружку.

Они едва нашли свободный столик. Казалось, чем хуже время, тем больше люди жаждут развлечься. Всюду было полно военных, и среди них выделялся Виктор Краус.

Янко развлекал девушек рассказами о своих альпинистских приключениях.

— Первый раз я ушел из дома, когда мне было двенадцать лет. Сказал, что должен подняться на какую-нибудь вершину. На другой день вернулся без сил, весь исцарапанный, еле держась на ногах. Маме сказал, что заблудился в горах. Потом уж действовал умнее. Выспрашивал, на какую вершину ведет самая удобная дорога, и хорошенько готовился. Мне было тринадцать, когда я первый раз пошел на Кривань.

— Совсем один? — ужаснулась Аничка.

— Конечно. А вскорости уже ходил с партией. Однажды нас

почти занесло. Метель застигла нас на скальной стене, мы были налегке, без еды, без теплой одежды. Мы бы замерзли, если бы не подул южный ветер.

— Легкомысленный мальчишка, — бранила его Аничка. — Вот было бы тебе поделом. Бьюсь об заклад, что ты не изменился. Ты и сегодня рискуешь, я уверена!

— Конечно, — смеялся он.

Аничкино восхищение было ему приятно.

Заиграла музыка. На сцену вышла пожилая химическая блондинка и тягучим голосом запела "Лили Марлен", до мелочей подражая Лили Андерсон.

— Не могу слышать этот шлягер, — сердилась Аничка, — его целыми днями гоняют по радио, им каждый вечер начинают солдатскую почту.

Виктор Краус, пробравшись сквозь публику к их столику, поклонился Аничке:

— Могу я вас пригласить, барышня?

— О, мы уже уходим, — нашлась она.

Все трое встали.

— Ах, барышня не танцует, — сказал Виктор сладко. Он уже набрался — отпуск свой он проводил в корчмах. — Мне не везет. Пока солдаты воюют на фронте, барышня гуляет с разной сволочью. Ты, рыжий, как там, до воинского роста еще не дотянул? А не пора ли тебе на комиссию?

— Потише, потише, всему свое время, — сказал Янко Гусарик.

Он не боялся Виктора и его приятелей. Когда они выйдут из кафе — стоит только свистнуть: напротив, на вокзале, наверное, уже скучает кто-нибудь из носильщиков, может даже и братья Мацко.

— Это мы еще проверим, — сказал Виктор и отошел.

Янко взял перепуганных девушек под руки. Ему долго пришлось их успокаивать. Они прошлись по парку. На деревьях еще трепетали последние листья, похожие на кусочки ржавой жести. На снегу выделялись толстые стволы каштанов, испещренные снизу черными как сажа кругами — казалось, это черные галстуки на коричневых рубашках.

Понемногу спустились сумерки.

Парк в добропорядочном спишском городке, два ряда итальянских тополей и газон, лавочки под фонарями. Нигде никаких кустов, никаких уголков для влюбленных. И девушка в сопровождении подружки.

— Мне пора, — сказала Аничка.

Сначала проводили подружку — она жила совсем рядом с Аничкой. Потом остались вдвоем.

— Мама меня ждет...

Девушка показала на окно: сквозь не слишком плотные за-

навески на улицу проникал лучик света.

— Я хочу тебе что-то сказать, Аничка.

— Что?

Они подошли к ручью, оперлись о перила, постояли. Янко стиснул ей руку, она ответила на его пожатие. Вокруг не было ни души. На снегу лежали тени.

— Мне пора идти, Янко.

Аничка быстро побежала к воротам.

Он возвращался медленно, в самом приподнятом настроении. Они вынырнули из темноты, он даже не успел сообразить, сколько их было. Пытался сопротивляться — одного уложил точным ударом, — но потом сам потерял сознание и пришел в себя уже в больнице.

6

В эту зиму рассвет не раз застигал Зузану за работой. Она купила себе старенькую швейную машинку и целыми ночами шила. Переутомляла глаза, ходила с припухшими веками. Влачилась, как тень, еле таскала ноги. Теперь, когда ее тело отяжелело от усталости, она окончательно прижилась в старом доме. Не выходила из своей комнаты с темной мебелью и стенами табачного цвета, вечера проводила в обществе барышень Майеровых, слушала их разговоры о "миленьких кошечках".

— Вы посмотрите только, милая барышня-учительница, какая личность каждая кошка. Собака — это просто раб, собака сделает все, что прочтет в глазах своего господина, а кошка — та имеет чувство собственного достоинства. Вы только посмотрите, как она грациозно выступает. Такой благородный зверек заслуживает, чтобы его окружили заботой. Да, милая барышня-учительница, кошка — госпожа, настоящая госпожа.

Кошки носились по темным углам, валялись на бархатных подушках, проходили, не замечая их, мимо мисок с молоком. Зузана не могла даже оттолкнуть этих бестий, когда они перебегали ей дорогу.

В воскресенье она ходила в костел, сопровождала пани Юлию во все более редких походах на кладбище и больше всего любила ходить к ней за книгами. Она перебирала книги на полках, касаясь пожелтевших томов, и ей хотелось взять их все. Выбирая две-три книги, она через неделю возвращала их непрочитанными, боясь, как бы Юлия этого не заметила. Но та только качала головой.

— Вы плохо выглядите, почему вы себя переутомляете?

— Я должна позаботиться о детях брата.

— Брат ваш умер?

— Да. Оставил молодую жену и троих маленьких детей. Им

нужно есть и пить, нужна одежда.

— Конечно. Это тяжелое бремя.

Они опять пили чай из трав, маленькая женщина утопала в глубоком кресле, ее острый профиль выразительно выделялся в слабеющем послеполуденном свете. Пани Юлия рассказывала о производстве душистых эссенций и о снах.

— Сегодня я видела странный сон, дитя мое, вы не будете смеяться, если я вам расскажу? Сидела я вот так же, как сейчас, а под окном прошел какой-то человек, молодой мужчина, и вежливо со мной поздоровался. Я ему ответила и вдруг увидела, что сижу я в комнате на втором этаже, и, если кто-то действительно шел под окном, значит, он должен был нестись по воздуху. Это не в силах человеческих, значит, это должен был быть дух. В эту минуту молодой человек вернулся: "Мы хотели бы позвать вас к нам, милая пани Юлия, мы уже все ждем вас с радостью", а я кивнула, что, мол, приду, как только у меня будет побольше времени, а сама лихорадочно думаю, кто это может быть. Мне казалось, что это кто-то из дальней родни, может быть троюродный брат Якуб, но потом в комнату входит муж и говорит: "Это был Генрих Гейне". Что вы на это скажете, милая барышня Зузанка? Правда, странно?

— У вас всегда такие интересные сны, пани Юлия.

— Это правда. Даже не знаю почему. Я нарочно нашла в книге портрет Гейне, и хотите верьте, хотите нет, но он выглядел именно таким. Молодой голубоглазый блондин. Ну в точности так!

— У вас богатая фантазия.

— Или скучная жизнь. Но я не жалуюсь, дитя мое. Нет, на это я не имею права. — Пани Юлия посмотрела на деревянный крест на стене, сжала руки и понизила голос: — Знаешь мои слезы, мою боль, научи меня нести их с покорностью. — Со взглядом, устремленным на крест, она задумчиво продолжала: — Я хотела бы иметь такой перстень, какой был у библейского царя Давида. Перстень с надписью "Все проходит". Это было бы для меня не угрозой, но утешением. Я уже давно это говорю. Может быть, меня там, — она подняла глаза к потолку, — уже давно поджидают.

— Не надо это так истолковывать, пани Юлия.

— Я не хотела вас пугать, моя милая подружка.

Учитель очень редко выходил из своего кабинета, но минуты, проведенные в его обществе, Зузана ценила очень высоко. Обычно он говорил о том, что его увлекало, показывал ей картины. Она восхищалась уголками, полными цветных теней, старыми домами, мерцанием в кронах деревьев, золотеющими полями, безграничными просторами полей с силуэтом городка на горизонте, со знакомой остроконечной башней. Она могла бы бесконечно слушать его.

— А почему вы начали собирать эти предметы? — полюбопытствовала она, разглядывая древние черепки.

— Началось это так, — сказал он. — В детстве я, как и все мальчики из наших мест, бредил яношиковскими кладами, зарытыми где-то под Криванем. Может, виной тому была бедность, может быть, наша глупость, может, великая вера в правдивость народных преданий и сказок, в которых расписывались эти чудесные клады, сундуки, полные золота и всяческих богатств. В конце концов, о них сообщали и исторические документы, например Краковская хроника. Я любил ходить со своими сверстниками по горам и копал под каждой скалой, которая выглядела хотя бы чуть-чуть подозрительно. Но это были только забавы подростков. Копая, мы находили различные предметы: черепки, ржавые куски металла, обломки, орудия труда и снова черепки... Я не подозревал, что это может иметь какую-нибудь ценность, пока через долгий промежуток времени, уже после окончания школы, мне не вспомнились эти ржавые предметы. Другие народы из таких вот обломков составляют свое прошлое, а у нас все валяется, как ненужный хлам. Я начал собирать, искать, копать. Это очень здоровое увлечение: все время ты в движении, на воздухе... Я соединил это с живописью... Когда я увидел, как у меня перед глазами выныривает из прошлого славянское городище, когда осознал, что в местных названиях до наших дней сохраняется старина, я увлекся. Кого бы это не увлекло? В школе нас учили, что горная Словакия в прошлом тысячелетии была необитаемым доисторическим лесом. А тут я собственными глазами видел остатки древней культуры, может быть гораздо более старой, чем допускают ученые. Знаете, у словаков до сих пор нет специалистов в этой области. А чужие излагают все это в свою пользу. Их вообще не занимает, как выглядит край, они верят только письменным свидетельствам. Они привыкли отсчитывать историю страны только от того времени, о котором впервые упоминают письменные источники. То, что находил я и на что натыкаются многие крестьяне во время пахоты, при закладке фундаментов, — это не письменные источники, но это тоже яркие свидетельства. Их ведь тоже кто-то должен собирать. И даже когда мы в восемнадцатом году получили национальную независимость, я все-таки не мог забыть о прошлом. Я закопался в этих горах и всю свою энергию посвятил истории. В ней, наставнице народов, я искал подтверждения правды о древности славян, об их могуществе, в ней находил подтверждение, что народы никогда не делились на полноценные, способные творить и определять судьбы человечества, и неполноценные, уделом которых было только служить сильнейшим и никогда не выходить из подчиненного состояния.

И люди не делятся на умных и глупых от рождения, лучше всего это видно по детям в школе. Белые пятна на карте нашей

истории мы объясняем не неполноценностью народа, который тут жил, а только нашим недостаточным знанием. Но вам это, наверное, неинтересно. Для молодой женщины это не самое подходящее развлечение.

Глубоко заинтересованная, Зузана глядела на него разгоревшимися глазами.

— Как раз наоборот, пан учитель. Вы не можете представить, как я вам благодарна, что вы меня чуть-чуть в это посвятили.

— Как-нибудь я вас туда поведу. Покажу вам городище. Вы должны это увидеть. Должны увидеть тот край, те луга под Криванем.

Зузана взглянула на него. Щеки ее вспыхнули.

— И грибов наберем! — снизил он собственный полет.

— Я бы хотела хоть раз посмотреть те места. Там в селениях — оригинальные вышивки. Я собрала бы все старые образцы узоров.

Тут она поняла, что фантазирует, и быстро попрощалась.

7

Пустая задняя комната в корчме Стейна пропахла табачным дымом и пивом. Новый владелец велел выкрасить стены до самого потолка масляной краской, но корчма не стала от этого уютней. На стенах все еще висели старые, привычные, засиженные мухами рекламы. Рослая девица с кринкой молока, за нею — стадо овец на зеленом косогоре под синим небом. Отведайте деликатесной липтовской брынзы. Возле девицы пенилась огромная кружка пива, пена вздымалась на ней к летнему небу. Пейте попрадское пиво!

Янко Гусарик заказал пиво. Он давно здесь не появлялся и с удовольствием вдыхал теперь знакомый горьковатый запах. Корчма была почти пуста.

Когда он очнулся в больнице, то не сразу вспомнил, из-за чего он туда, собственно, попал. С той минуты, когда в его памяти всплыли неожиданно появившиеся фигуры на мосту, в нем жила одна мысль — о мести. В больничную палату он попросил принести ему книг о всех видах физической обороны и гимнастике, наращивающей силу. Когда брат принес ему гантели и эспандер, сестра пошутила, что больничная палата теперь напоминает средневековую камеру пыток. Молодой доктор за него вступился: оставьте его в покое, так должен тренироваться каждый, в ком достаточно воли к жизни. Он тренируется — и тем самым заставляет сердце работать усиленно, в кровь попадает больше кислорода, а это ускоряет процесс выздоровления. Янко только ухмылялся. Подобную чушь писали в той книжке, которую дал ему доктор. Она называлась "Как достигнуть успеха в жизни".

Он недоверчиво смотрел на зеленоватую обложку, потом со скуки начал читать. Воздух дается нам даром, прочитал он в первых строчках, надо только уметь правильно дышать. Целеустремленный молодой мужчина, который хочет добиться успеха в жизни, должен как можно глубже дышать. Здоровое сердце, здоровые легкие, правильная осанка, тренированная фигура. Воздух дается даром, время — тоже даром, соображать может каждый, нужно только иметь эту самую первую бумажку в десять крон, которую надо правильно вложить, а после человеку уже ничто не помешает стать миллионером. Тем самым вдохновенным человеколюбцем в шикарном белом пальто! Воля к жизни, целебные процедуры, путь к успеху!

Янко хмуро разглядывал эту убогую рекламу, грязное оконное стекло, площадь перед корчмой Стейна, которая превратилась после первых весенних дождей в одну огромную лужу, а дорога — в разъезженную, растоптанную грязь. Какая неприятность. У будущего миллионера нет даже крепких ботинок.

Он заказал себе еще пива, но настроение не улучшилось. Аничка Подлипкова не пришла к нему в больницу. Но на это он и не надеялся. Она написала ему письмо, но и это не особенно его утешило. Мать опасается, чтобы из того, что случилось в тот памятный вечер на масленицу, не вышло скандала: кто-то уже где-то сказал, что Янко избили из-за нее, так что Аничка на какое-то время уедет к тетке, потому что девушке нельзя, чтобы о ней сплетничали. Желаю тебе скорого выздоровления, всего тебе хорошего, писать не надо, так будет лучше, ведь наши отношения были случайными... Как все просто — случайными!..

Прошлым летом ей подарили новый роскошный велосипед с яркой пестрой сеткой на заднем колесе. Всегда, когда он возвращался с работы, она обгоняла его на шоссе. Однажды он поехал за ней. Просто так. Пока она не доехала до кладбища, Ян держался на почтительном расстоянии. Над Красным ручьем догнал. Аничка с улыбкой ответила на его поклон. У него мелькнула мысль: что, если она знала, что я еду за ней, и все же не вернулась? Он мчал за ее роскошным велосипедом, и так они гоняли до сумерек. От кладбища до подножия горы, от подножия горы к кладбищу. Он совершенно забыл о том, что не ел с утра, что у него за спиной двенадцатичасовая смена. Видел перед собой только круглый задик, словно прилепленный к седлу, стройную талию Анички, длинные косы и профиль ее улыбающегося личика. Через неделю велосипедные соревнования повторились. Теперь уже он к ним загодя приготовился, целую субботу начищал свою старенькую, расшатанную таратайку, чтобы не было за нее стыдно. Пытался уговорить Аничку отдохнуть минутку у Красного ручья, но безуспешно. Осенью несколько раз Янко провожал ее с прогулки, всегда в обществе подружки, а потом настал тот самый вечер в темном парке, зимний вечер, когда так быстро тем-

неет. Они даже не поцеловались.

Случайные отношения. Другими они и быть не могли. Аничка ведь дочь пана Кароля Подлипки, который за заслуги перед людаками стал начальником почты, и пани Теодоры Подлипковой, истинной словачки и члена общества сердца Иисуса Христа. Почтенная матрона всегда высокомерно отзывалась о бедной прачке Терезе Гусариковой. Такая голь, такой сброд. Порядочная женщина не принесет в подоле незаконное дитя! Моя дочь, моя единственная Аничка, девочка из приличной семьи, не может встречаться с сыном прачки!

И Аничка написала письмо, которое, может быть, читала пани мама.

Янко заказал третье пиво, понемногу приходя в боевое настроение. Он злобился на весь мир, но больше всего на самого себя. Осел, заносчивый осел, ругал он себя. Так занестись, будто он герой — вроде тех героев в красивых ковбойках, что могут притязать даже на дочь шерифа.

В дверях появился Матей Мацко.

— Откуда ты взялся, Малыш? Ведь тебя должны были отпустить из больницы только через неделю. Штефан уже заказал для этого случая такси.

— Я удрал, — бросил через плечо Янко.

— Ну, ноги у тебя всегда были что надо. Удивляешься, почему здесь так пусто, да?

— Удивляюсь.

— Гардисты напустили в штаны. Перестали гулять в корчме. Снова сходятся у пана священника в приходском доме. Там чувствуют себя в безопасности. Хотя бы потому, что их там никто не видит.

— Что, пахнет жареным?

— А то нет! Говорю тебе, парень, долго это не протянется. Зря, что ли, Гитлер поет о секретном оружии? Зря, что ли, рассчитывают на тотальную мобилизацию? Это только спишские немцы не видят дальше собственного носа и еще чувствуют себя на коне. На это смотреть тошно! Но и среди них не все спокойны. Многие сразу вспомнили отца-словака или мать-словачку. Не хочется им проливать за фюрера словацкую кровь. Это уже близится. Конец близится. А я ухожу в Черную долину. Буду там работать в каменоломне. Хочется на воздух.

— Ты не мог бы взять меня с собой?

— Если Штефан отпустит, пойдем.

— Значит, пойду.

На улице было еще светло. Ручей нес взбудораженные, мутные воды, на берегу на мягкой глинистой земле мальчики играли в первые весенние игры — в шарики, в волчок, в кости — совсем беспечно, словно мир уже наступил.

Глава III

1

Магде казалось, что весна недружная, что весенним дождям нет конца, что земля сохнет медленно. Онз была нетерпеливая, нервная. Это проявлялось во всем, что бы она ни делала, даже в мелочах. Когда она наливала себе чай, то не могла дождаться, пока он остынет, и всякий раз обжигала себе губы. Ах, если бы можно было взять прутик и все и вся подгонять: быстрее, быстрее. Ее снедало нетерпение, она сознавала, что сейчас решается многое. Она могла потерять все, что имела: потерять Штефана.

Она за него боялась. В течение зимы он уже надолго из дому не уходил. Ему надо было каждый день отмечаться в жандармерии. И все-таки иногда он не ночевал дома. На следующий день после первого ночного домашнего обыска — на счастье, его застали в собственной постели — он остался дома, но через день опять куда-то исчез. Магда не знала, где он пропадает, что делает. Поэтому она и не могла быть спокойна. Они под угрозой, все сейчас под угрозой, каждый из них, ведь идет война. Она по-настоящему осознала это, когда подкованные сапоги врагов ступали на вышивки, выкинутые из сундука. Она могла только бессильно стискивать ладони и говорить про себя: нет, ничего вы не найдете, не получите его, не получите нас. Пусть мой муж какой угодно подозрительный, он будет счастлив, потому что я его люблю, потому что мы любим друг друга. Да, должен быть счастлив. Судьба должна быть хоть сколько-нибудь справедливой.

До сих пор жизнь приносила ей одни мучения. Может быть, в детстве, там, под Катыковцом, блеснули искорки радости, хоть в те минуты, когда она во время игры забывала о голоде. Однако после каждой игры и с самых красивых цветущих лугов приходилось возвращаться домой, в сумрачную деревянную избу, где в углу на постели лежала больная мать. После несчастья на руднике, после двух дней борьбы за жизнь тех, кого засыпало, после того, как отца вынесли из-под земли раздавленного до неузнаваемости, мать слегла и больше не встала. Преждевременно родила третьего ребенка, после Магды и Маринки родила наконец долгожданного мальчика — но без признаков жизни. Это был второй удар, после которого она больше не распрямилась, все в ней дрожало: тело, руки, ноги, лицо. Она даже говорить разучилась, прошло много времени, прежде чем она сказала, чего хочет. На Магду свалились все заботы по дому и хозяйству, мать могла помочь ей только советом, который она с усилием выражала больше жестами, чем словами.

После смерти матери Магда пошла в люди. Ничего хорошего ее там не ждало. И все-таки в доме пани Краусовой у нее всегда было хорошее настроение. Она пела там с утра до вечера, в осо-

бенности если хозяйки не было дома. Она словно чувствовала, что в ее жизни наступает светлая пора. Тогда она уже познакомилась со Штефаном.

Может быть, в том, что она вышла замуж, рассудка было больше, чем любви. Для Магды это был единственный путь к независимости. В противном случае ей пришлось бы до самой смерти служить в чужом доме, быть частью чужого хозяйства, работать на других без благодарности, без любви, без права на человеческие чувства. Что бы это была за жизнь?

Штефан протянул ей спасительную руку.

Минула наконец предвесенняя пора, с оглядкой наступила весна. Постепенно принялись за работу на стройке. В один прекрасный день Штефан пришел сияющий.

— Мне повезло, моя дорогая. Мне посчастливилось дешево купить... старый домишко, его только разобрать, и все у нас будет — кирпичи, камень, готовые оконные рамы, двери. Он портит площадь. На его месте хотят поставить памятник президенту или что-то в этом роде. Тут есть только одна заковыка — за две недели я должен его вывезти. Мне пришлось выложить две тысячи задатка и обещать, что в течение двух недель на том месте, где стоит дом, не будет ни единого кирпича.

— Двух недель, Штефко? Разобрать целый дом и перевезти его сюда, так далеко? Это невозможно.

— Одному, конечно, не справиться. Но у меня как-никак есть семья и друзья.

— Не поступил ли ты опрометчиво?

— Мог я пропустить такой случай? Сама знаешь, какая теперь нужда в строительных материалах. А как еще дальше будет! Я должен был его взять.

Штефан ходил по комнате широкими шагами, напоминая в эту минуту своего покойного отца.

— Должен был взять, тебе это ясно?

— Ясно, — кивнула она.

Он подошел к окну.

— Ты только пойми, разберем целый дом и сложим его тут, на этом склоне. До осени он тут пролежит.. Будет белеть, как тот водоем на горе.

Вечером вернулся от тетки Розы в бешенстве.

— Ведьма этакая! — Штефан метался по комнате, желваки так и играли на его лице. — Пока муж был в Америке, а дети маленькие, я год за годом работал на нее — сеял, косил, осенью убирал урожай, возил с гор дрова. Бывало, как следует даже и не накормит. Теперь, когда дядюшка вернулся с деньгами, она меня и знать не желает. Скоро, мол, начнутся весенние работы, волов надо беречь. Ведьма такая, в костеле выступает гордо, даже не посмотрит туда, где сидит беднота, пану богу будет ноги целовать, а помочь родне, возвратить отработанное — то, что я у

нее заработал, этого нет!

— Что будем делать, Штефко?

— Сам запрягусь, — стиснул он челюсти.

Штефан так погонял волов, что Магда с Зузаной едва поспевали за возом.

— Ну, пошевеливайся, старый, гей, Руро, пошел, пошел!

После обеда в субботу они ехали через город — запыленные, просто белые от пыли. Им встретилась пани Подлипкова с мужем. Она выступала как пава, держа в одной руке зонтик, а в другой молитвенник. Маленький пан Карол Подлипка в наглаженной гардистской форме совершенно терялся рядом со своей импозантной супругой.

— И вы им помогаете, пани учительница? Как это похвально, — пропела толстая дама, но в глазах у нее светилось пренебрежение и злорадство.

Уж об этой-то встрече она сможет рассказать всем приятельницам: представьте себе, учительница, в таком виде, вся в грязи, ужас! Зузана только вздохнула:

— Моя вина. Нужно было после каждой ездки умываться и переодеваться. Но кто будет даром терять время? Мне и в голову не пришло, что нужно иметь смелость, чтобы пройти в рабочей одежде по улице. А как же чувствуют себя те бедняки, у которых другой одежды просто нет?

Магда в ответ засмеялась:

— Их никто не замечает, милая пани учительница. Вы бы должны были лучше знать их положение. У бедных заботы посерьезней.

Несмотря на все старания, казалось, что залог пропадет даром. Но о купленном домишке проведали носильщики и дружно пришли на помощь. Работали все вместе днем и ночью. Братья Мацко приладили к машине прицеп, Янко Гусарик перевозил кирпичи в старой ванне, вместе с братом впрягшись в тележку.

— Не бойся, товарищ, не оставим тебя в беде, — похлопывал Штефана по плечу Мартин Мацко. — На нас всегда можешь положиться.

Собирался дождь, тяжелые тучи затянули небо. Последние возы везли под сплошным ливнем. Запыленные кирпичи жадно впитывали дождевую воду.

Магда кормила помощников.

— Ты сумасшедший, Штефан. Ей-богу, такого чудака я еще не видывал. Собираешься строить теперь, когда все рушится, — гремел Мартин, наполняя собой всю комнату. — Но я тебе симпатизирую. Я, понимаешь, люблю таких чудаков. Так давайте — за эту стройку, друзья!

Ненастье кончилось. Хотя весна еще не совсем вступила в свои права, но работать было можно. Магда брала кирку или лопату, копала, била, вгрызалась в землю изо всех сил. Они меша-

ли с Зузаной строительный раствор и таскали его мужикам. Носильщики оказались умелыми каменщиками.

Чем больше Магда работала, тем становилась деятельней. Подходил Штефан, загораживая от нее целый свет.

— Я тебя люблю, Штефко. Я тебя очень люблю, — шептала Магда и снова кидалась работать, словно хотела обогнать время. Она была счастлива, если Штефан был тут, рядом с ней, если он не уходил.

Наступила весна, когда в ней впервые шевельнулся ребенок.

2

Они уже ложились спать, вдруг кто-то постучал в окно. Из темноты вынырнула рыжеволосая голова Миши Гусарика. Первое, что мелькнуло в уме Штефана, была мысль, что взяли Малыша. Он жутко испугался.

— Что случилось, Миша?

— Пан учитель Краль велел, чтобы вы к нему пришли. Прямо сейчас.

— Хорошо, иду, — вздохнул он с облегчением. — Не знаешь зачем?

— Нет, не знаю.

— Ну беги спать, парень. Тебе пора быть в постели.

Мишка повернулся и исчез в садах. Штефан начал одеваться.

— Ты уходишь? — отозвалась Магда из другого конца комнаты.

— Зайду ненадолго к учителю Кралю. Ему что-то нужно. Может, хочет сыграть со мной партию.

— Теперь, ночью?

— Я сразу вернусь домой, милая.

Она тяжело села в постели. Штефан поцеловал ее, погладил по волосам. Торопливо вышел.

Ночь была темная, влажная, ветреная. Из садов доносился запах пробуждающейся земли, оживающих деревьев. Штефан прошел задворками, осторожно прокрался через двор учительского дома. Задняя дверца в ожидании его была приоткрыта.

На ощупь поднялся по темной винтовой лестнице. Что вдруг понадобилось учителю? Постучал в дверь, за которой мигал как будто свет от свечи.

Они сидели за столом. Все: учитель, братья Мацко, Янко Гусарик. На столе карты, бутылка, стаканчики. Темное помещение полно дыма.

Уже больше года, как они не собирались вот так. Больше года не сидели спокойно, дружно, весело за одним столом. Штефан, увидев эту картину, почувствовал, как его сердце залива-

ет радость. Может, у учителя день рождения? И в то же время у него мелькнуло ощущение ужаса, еще более сильного, чем когда его несколько минут назад пришел вызвать из дому брат Малыша. А что, как это западня? Это была фантастическая мысль, но она возникла в его уме сама по себе. Их тут взяли бы всех вместе. В комнате обнаружили бы достаточно компрометирующего материала... Маленький ночник стоял на полу, тени тянулись вверх, все в комнате казалось каким-то странным и неестественным. Штефану казалось, что это разыгрывается во сне или в кино, ему надо было бы ущипнуть себя, чтобы проснуться. Что, если это ловушка? Учителю бы зачли прошлые заслуги, может быть, его подучила пани Юлия, ведь она немка...

— Садись, не стой. Вот нас и комплект, — сказал учитель.

Штефан вздрогнул от этого резкого, нормального голоса, механически шагнул вперед. Да, нас уже комплект, можем ждать. Сел к ним.

Учитель поставил перед ним стаканчик, налил.

— Сейчас я тебя испытаю.

Опрокинули стаканчики без тоста.

— Ну, что скажешь?

— О чем? — спросил Штефан.

— О том, что выпил.

— Что я выпил? — Штефан опрокинул стаканчик, даже не распробовав толком, что пьем. — Думаю, это токай, — сказал он.

— Ты даже не особенно ошибся.

— На вкус — как сладкий токай.

— Токай, — повторил довольный учитель, — слышали его, знатоки? Знаешь, парень, что это такое? Вино из шиповника, но приготовленное по тому же способу, что и токай. Роскошной тайной владеет моя старушка, правда? Штефан, мы уже трижды переходили на "ты", и я был бы очень рад, если бы ты этого придерживался. Не делай из меня старика. Согласен?

— Согласен, пан учитель.

— Юрай! Для тебя я Юро, а ты для меня Штефко, и баста!

Чокнулись. Символическая сцена предательства Иуды, подумал Штефан — он все еще играл этой мыслью, как мальчишка. Ждал, когда распахнутся двери.

Раздали карты.

— Мы не разбудим пани Юлию? — озабоченно спросил Штефан.

Он все еще не мог найти причины, из-за которой его вызвал учитель. Братья Мацко были уже разгоряченными, в комнате гремели их зычные голоса.

— Да нет. В этом доме толстые стены. Добрая работа, — засмеялся учитель.

Через час он встал, подошел к радио, включил его и значительно посмотрел на окружающих.

— Послушаем известия, ребятки, что скажете?

— Раз мы уже здесь, — кивнул Мартин Мацко.

Раздались позывные Москвы. Говорит Москва, говорит Москва, повторял знакомый голос, прерываемый шумом эфира, звуками огромного расстояния, через которое проходил этот голос к слушателям, как символ силы и надежды. Известия с Украинского фронта, потом с других фронтов. Сообщения о неудержимом движении вперед на всех фронтах.

— Они все ближе, — шептал Малыш, глаза у него горели.

И вдруг диктор прочитал нечто знакомое: "Товарищи солдаты! Не воюйте против русских братьев, ваш настоящий враг — фашист!"

— Наша листовка! — воскликнул Малыш. Теперь у него пылали уши и, казалось, даже волосы. — Наша листовка!

— Ее передавали уже в утренних известиях. Я не знал, что это будут повторять, поэтому вас об этом не предупредил, — объяснял учитель.

А я его подозревал, упрекнул себя Штефан. Этак я начну подозревать и собственную жену.

— Это замечательно, ребята! — Учитель не скрывал волнения.

— Мы делали эту листовку и совсем не думали, что она поможет выиграть войну и все такое. Мы только хотели, чтобы те, которые против, знали, что они не одни, что нас много, — рассуждал Штефан.

— Слушай и не ораторствуй, — сказал Матей Мацко.

— Мы дали о себе знать, — сказал учитель.

— И еще дадим, — горячился Малыш. — Знаете, что сегодня случилось? Я мчал на велосипеде с моста, навстречу ехала открытая машина, а в ней наш офицер. Не знаю, что мне ударило в голову, может, я думал, что мой велосипед никто не догонит, только взял и кинул в авто трубочку. Машина остановилась, офицер вышел и прочитал листовку. Я крутил педали, как только мог, душа, конечно, ушла в пятки. Сейчас вынет револьвер, и тебя как не бывало, парень, говорил я себе. И знаете, что он сделал? Сел в машину и поехал дальше.

— Им это уже безразлично, — сказал Мартин.

— Лишний риск, парень, — нахмурился учитель. — Когда ты наконец поумнеешь? У меня еще не было более легкомысленного ученика. Ты рисковал жизнью, мальчик, из-за такой глупости!

— Самое время уходить, — сказал Штефан.

— Куда? — спросил учитель. — Куда ты уйдешь, парень?

— В Черную долину. Будем там с Матеем работать в каменоломне.

— Он будет там лечить свое сердце, — сказал Матей и уклонился от Малыша, который на него замахнулся.

— Увидите там все своими глазами. В горах, говорят, партизаны, — задумчиво сказал учитель.

— Конечно, они нас только и ждут. В первый же день придут нам представиться, — засмеялся Матей.

Разошлись. Штефан часть дороги шел с Малышом. Городок спал, как притаившийся зверь, темные оконные стекла мутно поблескивали, тротуар заливал белый свет месяца.

— Может, учитель и прав, — рассуждал Штефан. — Может, там и правда есть партизаны. Попытайтесь с ними связаться. И вообще, вы могли бы сделать там полезное дело.

— Что, к примеру?

— К примеру, незаметно складывать в безопасном укрытии динамит... Обойти всех лесников, лесные сторожки, сблизиться с людьми, выяснить, чем они дышат...

— Так тебе сегодня кто и скажет...

— Добиться их доверия, определить, на кого можно рассчитывать. В последнее время все чаще случается, что нужно переправить в безопасное место наших людей. Мы могли бы их посылать к вам.

— И это ты называешь работой? Ведь это все одно и то же, Штефан, бесконечное выжидание, и ничего больше!

— Не бойся, будет и побольше. — Штефан пожал ему руку. — Может быть, скоро придется попотеть.

...Штефан прошел в темные ворота, вошел во двор, залитый светом месяца. Осторожно открыл дверь.

— Наконец-то! — сказала Магда.

Она не спала, ждала его.

— Сыграли партию. Я выиграл пять крон, — пошутил он.

— Счастье, что с тобой ничего не случилось, — прижалась она к нему.

— А что со мной могло случиться? — спросил он.

Но он понимал, все это время он мысленно представлял ее себе: как она тут сидит на постели и перебирает в уме миллион опасностей, которые могут ему угрожать. Он должен был ей сказать, где был и что там делал.

Штефан взял с печи чайник, налил чашку чаю и подсел к Магде. Рассказал ей обо всем, что делал в последнее время. Объяснил, почему остался при носильщиках и потом, когда уже мог найти другую работу.

— Это, конечно, работа не для здорового мужика, но, с другой стороны, она имела свои преимущества. Мне было нечего терять, понимаешь? И это была причина, почему я их не боялся. Когда в тридцать девятом вошел в помещение, где проходили выборы и гардисты стояли там в ряд, так, чтобы видеть, что делается за занавеской, я разорвал бюллетень и сказал им в глаза: "Это и есть ваше тайное голосование?" Я не боялся, понимаешь? Потом пан учитель Сливка угрожал мне в трактире: "Мы знаем, что ты голосовал против нас, мы еще разберемся, кто ты такой!" Я смеялся ему в глаза. "Я, — говорю, — на вас нажа-

луюсь за неуважение к правилам выборов". Мы должны с ними бороться, Магдушка. И я делаю, что могу. Поэтому-то мне и приходится все время убегать из дому. Нужно ходить по деревням, поддерживать связи. Нас мало, но мы как-то должны распределять работу. Бр-р, какой противный чай!

— Лечебный.

— Хоть от чего-нибудь он тебе помог? Желудку, может, или печени?

— Сердцу, — засмеялась Магда. — Я рада, что ты мне все рассказал. Я ведь не знала, что ты делаешь, поэтому иной раз тебя не понимала. Теперь мне будет легче. — И прижалась к нему, такая худенькая, юная, такая испуганная и вместе с тем такая решительная. Он чувствовал, как она трепещет в его руках, как постепенно проходит ее страх и как его охватывает страстное желание.

Комната была белой, полной лунного света.

3

Юлия Кралова давно привыкла к сонной скуке своей жизни. Она даже особенно ее и не замечала. Ни летом, ни зимой она почти не выходила из дому. Ходила в костел и обратно да иногда по воскресеньям — на кладбище. Это была сдержанная женщина, и жизнь была для нее чередой обязанностей, которые надо выполнять так, как их исполняли предки, спишские немцы, которые здесь вот уже семь столетий обрабатывали землю, строили дома, обживали край. В начале весны ее охватывала садовая лихорадка. Когда не было достаточно топлива, она была способна сжечь старинную мебель, только бы в оранжерее поддерживалась постоянная температура. До самой ночи подкладывала она дрова и поддерживала огонь, наблюдая, как из горшков поднимаются нежные росточки саженцев, развертываются первые листики, раскрываются околоцветники. День за днем следила, достаточно ли сильно солнце, достаточно ли влажна земля, считала дни, когда сможет начать работу в саду. По вечерам частенько глядела на отцовский портрет, в ее памяти оживало его аскетическое лицо и руки, лежащие на подлокотниках кресла. От него она унаследовала любовь к растениям. Он был душой кружка, радевшего за украшение города, и весной, семьдесят лет тому назад, они высадили на улицах городка сотни деревьев: лип, яворов, итальянских тополей, каштанов, акаций. Кружок намеревался поставить впоследствии обелиск, на котором будут увековечены имена тех, кто пожертвовал на озеленение большую сумму. Если бы это намерение осуществилось, имя отца Юлии стояло бы на первом месте.

Он любил деревья, в особенности сибирские кедры. Не раз

брал дочь с собой в горы, сажал ее на колени и показывал стену зелени и над стлаником раскидистые кроны кедров.

— Вот это деревья! — говорил он. — Они не боятся морозов и горных метелей. Ничего не боятся, выдерживают все. Таким должен быть и человек. Гордым, смелым, сильным. И после него должен остаться след.

— А от деревьев остается след? — спрашивала маленькая Юлия.

— Это полезное дерево. Из стланика и орешков кедра вырабатывают бальзам и масло. Из кедра мастерят мебель. Это твердое дерево, оно многое может выдержать. Поэтому из него делают крепления в рудниках.

Кедры он считал деревьями быстрорастущими, сулил, что от них польза будет скоро. В конце прошлого столетия по его инициативе были высажены кедровые саженцы во многих татранских долинах и в 1900 году заложена рощица у Зеленого озера. Но кедры росли не так уж быстро...

Мысли Юлии перескочили на мужа, который теперь совсем не бывал дома. С ранней весны уходил, бродил с этюдником на ремне через плечо, хотя Юлия прекрасно знала, что вот уже несколько лет он ничего не писал, последняя картина осталась незаконченной. Он возвращался без единого наброска, не приносил ничего, кроме грязи на ботинках. Когда-то она называла своего мужа обожателем пыльных статуй. Он был не как все. Единственное, что она о нем узнала за двадцать лет супружества: он был не как все. И конечно, не был таким, как она.

Однажды она случайно перевернула несколько листов из пачки, которая уже годы лежала, покрываясь пылью. Большинство листов пожелтело, но на некоторых были новые наброски женского лица, напоминающего лицо Зузаны Батизовой. Юлия быстро положила их на место.

Эти наброски лишили ее покоя.

Она съездила в Кошице, чтобы возобновить прежние семейные связи. Тетя Грета теперь не вставая лежала на высоко взбитых подушках.

— Как вы себя чувствуете, тетя?

— Ох, не спрашивай. Вот уже год я не получаю ни чашечки приличного шоколада. И ведь все знают, как я его люблю! А ты что, вышла все-таки за того учителишку, нищего как церковная крыса? Ведь он на несколько лет тебя моложе.

Даже спустя двадцать лет не могла она до конца поверить, что племянница поступила против ее воли!

Юлия возвращалась такая же опустошенная, как и перед поездкой. Приехав домой, она вытащила из шкафа материал, который отложила для похоронного платья, и попросила Зузану, чтобы та поскорее сшила платье, простое черное платье с прекрасным брюссельским кружевом на воротнике — она, мол, собира-

ется в дальнюю дорогу. После этого ей оставалось только ждать. И она ждала, такая одинокая в этом большом доме, где редко встречалась даже с собственным мужем. На рассвете, мучаясь бессонницей, она долго, лежа без движения, слушала пение птиц. Солнечными утрами, когда от земли подымались испарения, когда сквозь ржавую прошлогоднюю траву прорастали первые стебельки, она сидела у открытого окна, попивая старую смородиновую наливку, и смотрела на ветку, раскачиваемую ветром, на воробьев, которые неистово щебетали в листве дерева. И забывала обо всем на свете.

Все чаще у нее болело сердце. Но она не обращала на это внимания. Думала о Гейне, о том улыбающемся юноше, который явился ей во сне и приветливо поздоровался.

4

Учитель Краль — в полотняной кепке, с этюдником на плече — шел по теневой стороне улицы.

После обеда он снова повздорил с женой. Теперь они ссорились почти каждый день.

— Ты будто нарочно портишь свое здоровье, — сказала она ему, когда он отодвинул тарелку с недоеденным обедом. — Ты хоть понимаешь это? Всему виной — карты ночами напролет. Знаешь, сколько каждая бессонная ночь отнимает здоровья? А на другой день ходишь как привидение, держишься на ногах только благодаря сигаретам, которые куришь одну за другой. Естественно, что потом у тебя начинается бессонница, ты вертишься в постели, читаешь или ходишь по комнате, словно тигр в клетке. Погляди только, как у тебя трясутся руки. Если ты не изменишь образа жизни, Юрай, то очень скоро превратишься в руину. Ру-и-ну, вот попомни мои слова!

— Ты права, жена, как всегда. Да, руина. Болезненное отсутствие аппетита, пониженный тонус, плохое настроение, гибель... Все это святая правда.

Он схватил этюдник и сбежал из дому: лекция о здоровье, может быть, время от времени нужна человеку, но в небольших дозах.

Этой весной он вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Весь свет ему опротивел. И за книгой ему не сиделось, и за работой не мог сосредоточиться. Больше ходил на прогулки — без цели, куда несли ноги.

Он подымался полевой дорогой на холм, что над городком, выходил к самому водохранилищу, садился в тени. Внизу под ним лежал край, залитый солнцем. Обработанная земля, перерезанная межами, заросшими ежевикой и лебедой, кое-где там торчал куст шиповника с блеклыми остатками цветов на колю-

чих ветвях. Голубым цвел лен, в свежей зелени картофельных полей пестрели желтоватые и сиреневатые цветы. У подножия холма за амбарами, сомкнутыми друг с другом, как крепостная стена, цвели поля мака. Сверху они напоминали платки прихотливых пастельных оттенков.

Благословенный край, богатый, щедрый красотой. Когда-то давно, на заре истории, пришли сюда первые люди — это были древние славяне — и остановились в изумлении. Буйная зелень, темные склоны гор, снежные вершины над ними. Славяне осели здесь задолго до кельтов и дали имена здешним горам, вершинам, рекам.

Учитель был убежден в этом и мог подтвердить свою теорию бесчисленными примерами, хотя специалисты над ним смеялись, считая его просто чудаком, деревенским чудаком-учителем.

Может, это и было чудачеством.

В молодые годы он любил путешествовать, мечтал повидать мир. Он сменил несколько мест работы, прежде чем попал сюда. Но когда женился на Юлии, то понял, что взял не только девушку, но и дом, который нельзя перетаскивать с места на место. Позже он пришел к убеждению, что география — это ширь, а история — глубина, но объект у них один и тот же.

Двадцать лет — это двадцать лет. Он привык к этим краям так же, как привык к своему месту в костеле, где сидел воскресенье за воскресеньем, к школьной кафедре, обшарпанным партам. Привык к духу этого края, к холоду каменных костелов, где статуи святых — портреты с живой натуры — веками неподвижно смотрят на мир, привык к закрытым каменным домам, высоким заборам, точно отделяющим "мое" от "твоего". Все здесь было неизменным, замкнутым в себе. В местечко не проникало почти ничего из веселых, самобытных обычаев окрестных деревень. Каждое проявление радости жизни, все, что приносило утешение и веселье, тут словно угасало. Всем владела ханжеская, мещанская умеренность. Тупая, однообразная набожная жизнь, которую слегка разнообразили ежегодные ярмарки и торжественно справлявшиеся большие церковные праздники.

Люди здесь испокон веку жили сельским хозяйством и ремеслами, здесь всегда был один-другой мастер, понимавший толк в камне, как, например, те два брата, здешние уроженцы, что вырубили статуи на пражском Карловом мосту. Но главным была земля. Нигде не увидишь таких обширных, таких заботливо обработанных полей. Даже новые веяния не внесли перемен в жизнь городка. Во второй половине девятнадцатого столетия, когда в мире на арену вышла буржуазия и предприимчивые люди пускались в новомодное геройство-предпринимательство, отцы города пришли к невероятной мысли: решили сделать из города туристический центр. Разбили парки, открыли гостиницу для туристов, заложили каток, ботанический сад, татранский музей.

Пропустили они или опередили время? Планы их себя не оправдали. Городок, лишенный промышленности, прозябал. Люди уходили на заработки, куда придется. От украшательских усилий остались несколько связанных между собою парков, тянущихся через все местечко по обеим сторонам ручья, потому что дома, из опасения перед весенними разливами, ставились от воды на почтительном расстоянии. Парк начинался за городом рощей, где когда-то любил охотиться сам князь Любомирский, затем тянулись церковный и городские сады, переходившие в лес, где без вмешательства людей буйно разрослись кривые ветлы и ольхи. Этот уголок Краль любил более всего и часто хаживал сюда рисовать. У подножия холма за ручьем блестели на солнце линии рельсов, отцепленные вагоны смотрелись как детские игрушки. Вот потянулся тяжелый товарный состав, из-под щитов угрожающе торчали дула пушек. Они все еще везут пополнение на Восток! Все еще проливают кровь. Еще много прольют. Учитель глядел на эти бесконечные вагоны, на маленькие фигурки солдат-часовых, на пестрые маскировочные брезентовые чехлы. Наконец брезгливо поднялся, словно поезд оставлял за собой ядовитые испарения. А разве это не яд? Что сделали они с людьми, с городом, где он уже чувствовал себя как дома? Уничтожили сознание общности, разделили людей на католиков, евангелистов, евреев, цыган, политически неблагонадежных, подозрительных, религиозных и безбожников, читателей подстрекательской литературы и запрещенных книг, на коммунистов и сочувствующих и еще на многие другие градации, чтобы никто не чувствовал себя уверенным, чтобы сосед боялся соседа. Этот поезд все еще представлял силу, и его задачей было среди бела дня нагнать страху. А там, на востоке, может быть, в этот момент уже стартует эскадрилья бомбардировщиков, которые скоро уничтожат этот поезд. Может быть, красноармейцы или партизаны заминировали какой-то мост, и от вагонов останутся одни щепки. Да, щепки. Скорее всего, так и будет.

Может, и этот город не имеет иной перспективы? Об этом думать не хотелось.

Внизу у ручья он заметил рыбака. Доктор Краус. Сидит неподвижно, совсем слившись со старыми стволами ветел. Рыбалка — его страсть, впрочем умеренная, так, безвредное чудачество. Ему не важно, поймает он чего или нет. Просто сидит спиной ко всему свету и разговаривает с рыбами.

Краль отправился по меже вниз к ручью, пробираясь через заросли ежевики. Наконец вышел на луг и долго брел по высокой траве, а потом вышел на тропинку. По ней идти было легко. Возле ручья тропинка влилась в заросшую травой дорогу, но скоро опять отделилась, прихотливо петляя внизу по бережку. Показался ручей, и там, над водой, Краль увидел девушку с книжкой на коленях. Зузана! В волосах ее играло солнце.

Учитель заколебался. Он бы отступил, чтобы не спугнуть ее. Но легкий шум травы, треск веточки под ногами мог его выдать — что тогда она о нем подумает, если увидит его уходящим?

— Зузана, — сказал он тихо, чтобы не испугать ее. Уловил бархатистый блеск ее карих глаз и едва смог вымолвить: — Я не хотел вас потревожить...

Она вскочила, поправила юбку, стараясь выглядеть, как в школе, собранной и серьезной.

— Вы меня не потревожили. Собственно... я уже собиралась уходить, — бормотала она, и было видно, как она борется с растерянностью.

— Зачем же вам уходить?

— Солнце уже низко, — махнула она рукой.

Напряженное выражение ее лица говорило, насколько ее застал врасплох приход учителя.

— Зузана, — сказал он.

Она не посмотрела на него. Ссутулилась и отступила к воде.

— Останьтесь, прошу вас. Я совсем не хочу вас беспокоить...

Она спустилась к ручью и, вытащив спрятанный между камней в мелком заливчике букет полевых цветов, стряхнула с них воду.

— Эти колокольчики очень быстро вянут. — Она искоса взглянула на него. — Пришлось положить их в воду.

Он загородил ей дорогу.

— Я должен вам кое-что сказать, Зузана... Это... очень важно.

По лицу Зузаны было видно, что в душе ее идет борьба.

— В другой раз, пан учитель. Завтра, хорошо? В школе для этого будет достаточно времени. Мне пора.

Зузана нагнулась за книжкой, взяла букет.

— Вы боитесь, — сказал он.

— Нет... Чего мне бояться?

— Нечего, конечно. Но этот старый филистер Гете был прав, когда сказал...

— Что же он такое сказал?

— Мне пришло на память одно его изречение. Положение и достоинство исключают всякое доверие. Разве это не так?

— Я должна идти. До свидания, Юрай.

В первый раз она назвала его по имени.

— Я вас провожу.

— Это невозможно, что скажут люди?

— А вам важно, что они скажут?

— Должно быть важным. Должно бы было быть важным. Она быстро пошла прочь, снова превратившись в решительную учительницу.

Он глядел ей вслед. Зузана шла широким шагом, словно неслась над лугами. В свое время я отказался от интереса к жен-

щинам, говорил он себе. А интерес к женщине есть, собственно, интерес к жизни.

Он хотел спуститься вниз по запруде к доктору Краусу. Но передумал. Просидел над затокой до сумерек. Вечерело, когда он возвращался в приподнятом настроении — как человек, которому светит надежда.

5

Почти каждый дом в городе имеет интересную историю, но корчма определенно интереснее всех домов. Кто знает, чем прославил ее сам великий Габор Стейн, негостеприимный хозяин многих трактиров в округе. Откуда пошла его слава — уже забылось, но отблески ее озаряли заведение и тогда, когда корчму унаследовал молодой Стейн, племянник Габора. Этот робкий человек разорился бы, если бы не поставил за стойку свою дочь Гермину. Стройная пани Гермина была незамужней, хотя молва утверждала что она весьма любвеобильна.

Штефан, к примеру, слышал, что тело любезной Гермины, ее холеное белое тело, все покрыто нежным пушком. Поэтому она и получила прозвище — Горностаевая Гермина. О мальчишке Стейна, который, упав, остался лежать на лестнице, точно не знали, то ли он брат Гермины, то ли ее сын. Теперь это все равно, мальчишке теперь это безразлично, думал Штефан. Его даже похоронить не позволили — всех погрузили в грузовик, а Гермине сунули в руки маленькое мертвое тело, так они и тронулись.

Штефан уставился на грязную, в пятнах стену перед собой. Он знал тут каждое пятно, и плакаты, рекламирующие брынзу и пиво, и портрет фюрера, засиженный мухами. Год назад его еще здесь не было. На деревянной столешнице он знал каждую царапину, светлые следы от стаканов, вырезанные ножом инициалы. Гости здесь прежде всего старались найти себе постоянное место. По тому, кто пил у Стейна, было известно, кто господствует в городе. В прежние годы здесь хватало места всем. Маленький Стейн картежников уважал. Не из-за того, что они приносили доход, они здесь не пропивали имущества, как те бедняги в первом зале у стойки. Они оживляли атмосферу, картами и бильярдом внося в нудные вечера хоть немного разнообразия и оживления. Светящиеся окна манили проходящих мимо, обещая развлечение. Трактирщик иной раз хлопал себя по карману: сегодня получите у меня по стаканчику бесплатно, без вас бы здесь было скучно, ай-ай как скучно! И вежливо всех обходил.

Сколько же я сюда ходил, думал Штефан. Сначала за развлеченьем, потом из-за политики. Здесь прошли все политические схватки в городе во времена первой республики. Тогда речь шла о праве на труд и на хлеб. Коммунисты поддерживали строительство водопровода, аграрии и богатые хозяева были против. Оставьте ме-

ня в покое, зачем мне выкидывать две тысячи на водопровод, если у меня во дворе каменный колодец и в нем водичка как с ледника, бухал кулаком по столу хозяин Чувай. Тиф у вас с голоду, а не от воды, вы, чесоточные коммунисты, а у немцев от того, что жрут одну капусту. Наконец кто-то придумал хитрость — пустил слух, что вода, которую проведут с Татр, будет с минеральными солями. Хозяева сдались, и на время появилась работа, как раз в разгар кризиса. После этого асфальтировали тротуары, прокладывали дороги, регулировали ручей. Пришел черед кирки и лопаты, многие семьи благодаря этому легче пережили голодные годы. Когда поставили на голосование деликатный вопрос о продаже общественных пастбищ Бате, хозяева снова были против. Штефана обрабатывала тетка Роза. Не смей голосовать, Штефан, а то я тебе эту руку оторву. Как отдать пастбища? Где будем пасти волов — на твоей голой заднице? Во время первого голосования Штефан не осмелился поднять руку. После собрания его остановил Мартин Мацко.

— У тебя неделя на размышление, камрад. Либо ты с нами, либо с хозяевами.

Штефан целую неделю ходил за теткой, крутился около нее, помогал работать. Уговаривал.

— Это будет наша Америка, пойми, тетя. Батя там поставит фабрику, мужчины и женщины получат работу, им не надо будет на долгие годы уезжать за море.

В конце концов тетка решила, что пастбища и часть леса можно продать. Веселая была политика, о ней приятно вспоминается. Только вот жизнь была невеселая.

Когда началась война, тут собирались не только азартные картежники, тут тяжело переживали период первых военных успехов немцев в России, здесь же выпили за русских, за Сталинградскую победу. В то время уже начинали верить, что им здесь ничто не помешает собраться, ведь не даром говорят, что под свечкой самое темное местечко. Однако местные гардистские главари показали, что они являются неограниченными хозяевами положения. Когда у них прояснилось в голове, они мгновенно присвоили самую большую городскую корчму и "панское" заднее помещение. Повесили там портрет фюрера и под его охраной пили и вспоминали Горностаевую Гермину — какая она была роскошная баба. Конечно, здесь им было куда веселее, чем в школе или в приходе. Им понравилось, что они выставили картежников, а многих для верности упрятали в тюрьму. Но продолжалось это недолго. Они начали ощущать, что время меняется не в их пользу. Такая жуть, господа. Кто-то отважился посягнуть на жизнь самого фюрера! Теперь они опять убрались в помещение прихода, кто их знает, может, молятся боженьке, только никто им не поможет, и боженька в том числе.

Штефан подошел к стойке и, заказав кружку пива, минутку

постоял там с парнями.

— Ага, глядите-ка, идет герой войны. — Один из парней указал на площадь перед корчмой — там в сопровождении учителя Сливки ковылял какой-то мужчина на костылях, с забинтованной головой. Штефан, к своему изумлению, узнал в нем Виктора Крауса.

— Довоевался, — пробормотал паренек.

— Когда он вернулся? — спросил Штефан.

— На днях. С искалеченной ногой, — ответил парень.

Штефан взял кружку и вернулся в заднюю комнату. Через минуту оба появились в дверях. И они сели в углу под портретом фюрера.

— Мы вам не помешаем, пан Возар? — вежливо спросил учитель — он всегда был вежливым.

— Нет, почему же? Места здесь достаточно, — сказал Штефан.

Учитель хлопнул в ладоши и крикнул:

— Гей, кто там? Где наше вино?

Трактирщик принес бутылку и налил в стаканчики.

— Не выпьете ли вы с нами, пан Возар? Не поприветствуете ли героя? — В глазах учителя, по-девичьи голубых, блеснула насмешка.

— Благодарю, мне пора. Меня ждет работа.

— Работа? Это в такую-то жарищу? Становится душно. — Учитель вытер вспотевший лоб. — Неприятная жара, однако, пан Возар?

— На то и лето, — отрезал Штефан.

Он чуть не выпалил: "Как кому, панове!"

— Меня радует, что даже вы поддерживаете правительство.

— Правительство? А чем же?

— Сегодня правительство поддерживает каждый, кто пьет. Разве не правительство издало это мудрое распоряжение? Для увеличения средств на вооружение спиртные напитки подорожали на двадцать процентов. Мудро, не правда ли?

— Ну что ж, выходит, я и правда поддерживаю правительство, — сказал Штефан и перевернул стакан вверх дном.

— Я слышал, что с тех пор, как вы вернулись из тюрьмы, вы ведете себя примерно. Бросили политиканство и посвящаете себя семье, строите дом, ожидаете наследника. Ваша супруга укротила вас, верно?

Учитель покачал красивой головой с волнистыми волосами. Он всегда был кумиром школьников. Ходил с ними в походы, жил в палатках, а когда они подрастали, посылал этих детей на фронт. Первые из них теперь уже возвращались к нему с перебитыми руками и ногами, как вот Виктор, но пану учителю это было хоть бы что. Штефан поймал себя на том, что ему жалко молодого Крауса.

Улицы были пустынны. Только Ионапот, бухгалтер с бумаж-

ной фабрики, добросовестно использовал перерыв для оздоровительной прогулки. Он потел в зеленом охотничьем костюме, и лицо у него покраснело, он даже не крутил своей элегантной тросточкой, но все-таки мужественно отмерял тысячу шагов, которые прописал ему доктор Краус вместо дневного сна.

— Вот так жара, пан Возар, просто пекло!

— То ли еще будет, — засмеялся Штефан и свернул с главной улицы.

Голова его была полна забот. В последнее время так было всегда. Не знал, с чего начать. В новом выстроенном сарае он должен прежде всего выкопать яму — сделать укрытие для оружия. Капитан все время подчеркивал: "Готовьте укрытия, парни! Ты строишь дом, Штефан? Это замечательно. Конечно, тебе нужен строительный материал. Никто не обратит внимания, если возле стройки остановится подвода или грузовик. Это можно провернуть прямо среди белого дня. Подготовь хороший тайник, чтобы в нем уместился даже пулемет. Придет время — развернемся, друзья. Только бы собрать побольше народа. Восстание может вспыхнуть в любое время. Скольких парней ты рискнешь убедить, Штефан? Десятерых? Нам они пригодятся".

Так и сыплет короткими фразами, они у него легко вылетают. Как сейчас разговаривать с людьми, когда трактир пуст, а улица словно вымерла? Ведь нельзя же просто зайти к кому-то в дом и начать открытую агитацию. Сейчас этого еще нельзя, сейчас можно говорить только намеками.

Капитану легко говорить: переправить в безопасное место несколько человек, как можно быстрее. Тщетно Штефан объяснял, что они с Мартином Мацко остались одни и должны через каждые двадцать четыре часа отмечаться в жандармерии... "Значит, это дело надо поручить кому-то другому", — пожимал плечами капитан". Кому? "Да лучше всего какой-нибудь смелой и ловкой женщине. Решено. Завтра я пошлю тебе одного человека, остальное устроишь сам".

Очень не хватало сейчас тех тридцати человек, которых осудили. Не хватало их связей с десятками других, с деревнями на Горнаде, с Польшей. Все нужно организовывать заново. Будет ли на это время?

Штефан незаметно для себя подошел к дому. Двери кухни были открыты, из них распространялся аппетитный запах стряпни.

— У тебя заботы, Штефко?

Магда сидела рядом с ним, пока он ел.

— Нужно найти кого-то, кто отведет одного человека в горы. Лучше всего в Черную долину, к Матею Мацко и Малышу.

— Попроси Зузану.

— Батизову?

— Конечно!

Его удивило, как просто Магда решила эту проблему. Ему пришли в голову слова капитана насчет смелой и ловкой женщины.

— Ты думаешь?

— Ведь я ее знаю, правда?

Магда улыбалась, и Штефан в первый раз увидел вдруг радужную оболочку ее глаз, окруженную коричневым пояском, словно хлебный мякиш с темной поджаристой корочкой.

— Она горы знает как свои пять пальцев.

— Что ж, попробую, — сказал Штефан.

Он поцеловал жену, взял в руки топор и пошел на стройку. Кирпичные стены на ярком солнце так и пламенели.

6

Летнее солнце проникало во все углы дома барышень Майеровых. Зузана с удивлением увидела, что таинственные пустые помещения в задней части второго этажа, где бегали одни кошки, — это, собственно, неиспользованные большие чуланы для сушки и хранения зерна и прочих плодов поля и сада. Если бы барышни Майеровы так не боялись чужих людей, там уже давно мог бы кто-нибудь поселиться. Но барышни любили свой дом. Он был для них символом прошедших времен. Они не замечали углов, затянутых паутиной. Когда какая-нибудь обедневшая немецкая семья продавала дом на площади крестьянину, который вернулся из Америки, для барышень это было ударом, от которого они долго не могли прийти в себя.

На ярком летнем солнце дом выглядел старым и одряхлевшим. Морщины и изъяны его внешности выводили Зузану из себя. Пятна на отвратительной табачной краске она пыталась прикрыть картинками, мебель из кедрового дерева закрывала вышивками, но все равно не могла изжить этот налет убожества. Она приносила букеты полевых и луговых цветов, ставила их в майоликовую вазу с синим орнаментом и иронически говорила: "Скоро и я буду выглядеть старой, как этот дом. Старая дева, которая любит синие цветы, синий цвет — цвет одиночества..."

До сих пор ее жизнь шла какими-то рывками. То она неделями жила без воздуха, закрывшись в комнате, целиком отдаваясь своим обязанностям, то, не зная меры, с утра до вечера ходила как пьяная от солнца и воздуха. После безрадостных дней, проведенных в затворничестве, приходили другие — когда она ощущала радость от всего: от солнца, от дождя, от цветов.

Теперь, когда ей исполнилось тридцать, она вступила в период, который должен был стать ее зенитом. Впервые она видела мир неискаженным — дом, в котором жила, людей, с которыми встречалась. В прошлом остался период детского голода и бессон-

ниц, замкнутости учительницы и страхов старой девы. Зузана чувствовала, что благодаря Юраю жизнь ее наполнилась смыслом. До сих пор она только искала — и не находила, теперь же нашла. Вместе быть им не суждено, он давно женат, но все-таки она его нашла. Поэтому она была сейчас такой уравновешенной.

В мыслях она все время возвращалась к встрече на берегу ручья. Она хорошо сделала, что не стала его слушать. Знала, что то, что он хотел ей сказать, должно навсегда остаться невысказанным. Так будет лучше для него и для них всех.

Зузана кончила шить черное платье для пани Юлии. Такого прекрасного материала ей держать в руках еще не приходилось. Она смотрела на высохшую фигурку пани Юлии и старалась не думать, что это жена Юрая.

— Вы рады, что сейчас каникулы, Зузанка?

— Нет, пани Юлия. Некуда ходить.

— Как же так? Ведь у вас столько родни.

— Да, конечно...

— В прошлом году вы вернулись довольная, что могли посвятить себя племянникам и племянницам.

— В прошлом году в нашем старом доме еще жила невестка. Но одной с детьми тяжело, и она переселилась на юг, к своим родителям. Там им лучше, дом полон людей, дети под присмотром. Наша родительская избушка опустела. Что мне там делать одной? А тут я хоть что-то заработаю, знаете, сколько всего нужно детям.

— Как похвально, что вы о них заботитесь.

— Это моя обязанность.

— Не знаю никого, кому бы роль тетки так нравилась.

— Действительно, мне она нравится, — призналась Зузана, сжимая губами булавки. — Но это не такая уж тяжелая роль. Видите, несмотря на работу, у меня остается еще время прочитать что-нибудь из ваших книжек.

— Только приходите, дитя мое. Я рада, что этим летом не лишена вашего общества, — сказала пани Юлия любезно.

Но Зузана чувствовала, как при этих словах напряглись мускулы на шее и плечах пани Юлии.

Впервые после того, как она начала зарабатывать шитьем, она наконец получила за работу деньги. Остальные заказчики расплачивались старым платьем, из которого она выбирала крепкие куски и шила одежонку для братниных детей.

— Боюсь, нынешние деньги не дорого стоят — магазины пусты, — сказала пани Юлия и добавила к деньгам кусок сала.

— Этого я не могу принять, — защищалась Зузана, — вы и так заплатили мне по-королевски.

— За королевскую работу, — усмехнулась пани Юлия. — Мне еще никто так хорошо не шил, ни одна портниха так внимательно не кроила, не обрабатывала шитье с изнанки. Вы создали ху-

дожественное произведение, дитя мое.

— Вы преувеличиваете, пани Юлия. Картины вашего мужа — это да, это произведения искусства, и ваши цветы — произведения искусства, а мои поделки?..

Они состязались во взаимных комплиментах, их словно объединял этот нарочито любезный тон.

— Вы доставили мне радость, — сияла пани Юлия и, приложив к себе платье, снова и снова поворачивалась перед огромным зеркалом, седая и сухонькая, как старушка. — Мне оно просто необходимо, я собираюсь в долгое путешествие.

Может быть, пани Юлия что-то подозревала?

Однажды вечером к Зузане пришел Штефан Возар. Сначала она испугалась, не случилось ли чего с Магдой — ведь люди приходили к ней по большей части в таких случаях. Но Штефан спокойно уселся, словно пришел просто так, поболтать.

— Магда сердится, что ты давно глаз не кажешь. Жить без тебя не может, — начал он издалека.

— Она мне как сестра, — сказала Зузана.

— Не знаю, что у вас за такая взаимная склонность. И она к тебе льнет. Поначалу я даже злился. Помнишь прогулки втроем? Приходил на свиданье с Магдой, и первое, что она, сияя, всегда мне говорила, было: "Я позвала учительницу, Штефко". Это еще зачем? "Она из нашей деревни!" Так и звала бы всю деревню! По крайней мере было бы ясно, что это процессия, а не свидание. Помнишь, я на тебя тогда ворчал.

— Я это понимала.

— Рад слышать, — ответил Штефан, помолчал и вдруг брякнул: — Хочу попросить тебя кое о чем... Об очень важном, Зузана.

— Что такое? — изумилась Зузана.

— Нужно спрятать одного человека.

— Спрятать? Кого?

— Ты не знаешь. Речь идет о его жизни. Его нужно провести в Черную долину к тетке из Млынечка. Ты могла бы нам помочь, ты дорогу знаешь...

— Конечно, — сказала Зузана. — Конечно, я это сделаю.

Это должно было прозвучать естественно, чтобы он не заметил, как ужасно она перепугалась. Он только спросил, уверена ли она, что тетка будет одна?

— Она всегда одна, одна с Маринкой, ни с кем другим не встречается. В деревне ее не любят, думают, она колдунья, наводит порчу на коров. А она — мудрая женщина, умеет лечить травами, знает, когда какая цветет. Она одна среди ночи ходит в горы — такая высокая, худая, костлявая, вся в черном. Поэтому люди и думают, что она какая-то колдунья. А она никому ничего не объясняет. Люди приходят к ней только тогда, когда их прихватит хворь, когда им помощь нужна. Таких, как она, на всем белом свете мало...

— Ты можешь мне этого не говорить, Зузана. Значит, завтра я приведу к тебе этого человека.

— Уже завтра?

— А то когда же? Пойдешь налегке. Оденься понаряднее, подмажься и все такое. Если вас, не дай бог, остановят, сможешь тогда что-нибудь наплести. Либо обними его покрепче, делай вид, что это твой любовник. Эта уловка, пожалуй, самая надежная... — пошутил он.

После его ухода Зузана не могла уснуть. По дырявой гонтовой крыше стучал дождь, струи воды стекали в прогнившие желоба, разбивались о камень мостовой. Пятна табачного цвета на стене темнели, насыщались влагой, выступали, как огромная карта. В голове Зузаны роились мысли: во что ты впутываешься, разве тебя не учили одной только покорности, и этому ты учишь детей в школе: каждая душа будь покорна, кто власти противится, тот противится божественному установлению, и тех, кто непокорствует, ждет суд... "Речь идет о его жизни", — вспомнила она слова Штефана, и это ее вдруг успокоило.

На другой день, придя из школы, Зузана надела ярко вышитую блузку, которую сшила в те времена, когда она еще мечтала найти свое счастье, покрасила губы сердечком, закрыла окно, задвинула занавески, а барышням Майеровым сказала, что идет к заболевшей тетке.

Штефан с незнакомцем ждали ее за полуразвалившимся кирпичным заводом. Она хотела к ним пробраться через заросли и лопухи, но Штефан крикнул ей, чтобы она шла дальше лугами, что они встретятся за лесом. Она была ему за это благодарна: люди, работавшие в поле, конечно, с любопытством наблюдали бы за парочкой.

Первое, на что она обратила внимание, был праздничный костюм учителя. Где его мог взять незнакомец?

— Много будешь знать, скоро состаришься, — отрезал Штефан. — Его тоже ни о чем не расспрашивай, все равно он тебя не поймет, это иностранец, по-словацки он не понимает. Так что договаривайтесь глазами, — пошутил Штефан.

Но незнакомец все же что-то понимал, потому что на эти слова усмехнулся. Зузана вздрогнула. В этой странной улыбке словно отразились все страдания мира. Его бледное, измученное лицо заставило ее подумать, что это кто-то близкий, страдающий и гонимый. Сразу все стало на свои места, в согласии с Библией, с цветущими лугами, с голубым небом.

Штефан простился с ними, они пошли краем леса. Параллельно горной дороге вилась укромная тропинка для тех, кто не хочет, чтобы его увидели, кто предпочитает лучше перешагивать через корни и рытвины, чем идти широкой, торной дорогой.

Возле колодца они немного отдохнули. Зузана вымыла за-

пыленные туфли, хотя это было совершенно излишне. Незнакомец мокрой тряпкой вытер лицо. Вскоре они пустились дальше. Зузана шла, как прирожденный ходок, на лесной дороге она была в родной стихии. Незнакомец едва за ней поспевал. Они обошли деревню и свернули в горы.

— Еще часок, — сказала Зузана.

Незнакомец кивнул: дескать, все в порядке, все в порядке. В сумерках они постучались в двери теткиного дома.

— Вы дома, тетя?

— Дома, дома, девонька. Откуда ты взялась?

— Веду к вам гостя, тетушка. Может, вы его приютите? Его надо спрятать на несколько дней от всего мира. По-словацки он не понимает, он иностранец, его спасли из какого-то транспорта. — Зузана сказала тетке все, что по дороге сумела вытянуть из незнакомца.

Штефану хорошо говорить: не спрашивай, не говори, не объясняй. А как не объяснять, когда тетка смотрит на тебя своими острыми глазами, сверлит тебя до самой глубины души.

Тетка покивала головой: "Хорошо, хорошо, девушка, тут его, наверное, не будут искать, а если кто и придет, горы близко, видно отсюда хорошо, всегда можно убежать".

Зузана переночевала в своей пустой избе. Разглядывала столетние бревна, в неровностях дерева искала образы зверушек и сказочных существ, которые мерещились ей в детстве.

Нет, ничего из детства не возвращалось. Всю ночь она почти не сомкнула глаз. Вспоминала мать, склоненную над очагом, брата с кудрями, падавшими на глаза. После него остались трое сирот. Почему так случилось? Это был проворный мальчик, все на свете его интересовало, все время он что-то мастерил, придумывал. Он мечтал об учебе, но это было неосуществимо. Устроился работать на железной дороге, носил домой учебники, чтобы сдать экзамен и стать дорожным мастером. Строил множество планов. Потом женился, пошли дети. Суровой зимой как-то промерз, утром больной потащился на работу, вечером вернулся, обливаясь потом. Заболел воспалением легких, которое перешло в туберкулез. Поначалу он не придавал значения кашлю, а потом уже не помогли ни лекарства, ни санаторий. Надежды оставалось все меньше.

"Если было бы совсем плохо, он бы вернулся домой, — утешала себя его жена Маргита. — Он говорил, что умирать придет сюда. Раз не возвращается — добрый знак". Но Зузана-то знала, что ему не выздороветь. Она видела, как он себя чувствовал, когда на несколько дней приехал домой. Дети его боялись. Выглядел он страшно. Все сидел в саду — минутку полежит на солнце, а потом переберется в тень под груши. И как-то вечером признался Зузане, что ему среди чужих умирать будет легче...

На другой день она отправилась домой, унося в сумке празд-

ничный костюм учителя Краля, а в руках — огромный букет синих лесных колокольчиков. В поезде было душно, третий класс всегда был переполнен, крестьянки едва могли повернуться со своими огромными корзинами. Из одной корзины торчала живая гусиная голова.

— Связали ему крылья и ноги, а клюв завязать забыли, — шутил краснолицый дед. — А это и есть самое важное.

Все засмеялись. Тут в двери ввалилась группа солдат, стали проверять документы.

— Не иначе кого-то ищут, — зашептала какая-то тетка.

Зузане повезло. На солдата произвел впечатление букет цветов, и он вернул ей документы, даже не взглянув в них. Зато тетке сказал:

— Пойдете с нами.

Она начала испуганно креститься. Зузана встретилась глазами с презрительным взглядом краснолицего деда. Он так на нее посмотрел, словно она была виновата в приходе солдат. Зузана сделала вид, что не замечает, но про себя была готова расцеловать его красные щеки. Есть только мы и те, другие, а на них нельзя глядеть иначе, чем с презрением, вы правы, дедушка.

— Станция Попрад! — выкрикнул проводник.

Сипение пара, спешка, носильщики в красных шапках.

— Ну как, натерпелась страху?

Штефан схватил ее в объятья и поставил на землю, как багаж.

— Нет, пан носильщик, ни чуточки, — засмеялась она ему в лицо. — Прогулялась по солнышку. А чего вы тут ждете, это же не международный экспресс, обычный местный поезд.

— Да так, просто из любопытства. И местный может привезти интересные новости, разве нет?

Она отдала ему костюм и поспешила через станцию. Из декоративных ваз на перроне свисали поникшие головки пеларгоний. Когда-то это была уютная станция с деревянными резными перилами и клумбами, оттуда открывался перед туристами прекрасный вид на высокие горы. Теперь всюду была толкучка, все было заплевано, всюду валялись окурки. Отцепленные вагоны на запасных путях были полны солдат.

7

Учитель Краль собирался в последнее воскресенье каникул на прогулку. Но утром он сделал то, чего не позволял себе делать вот уже лет двадцать: просто остался в постели.

Как он и ожидал, вскоре отворилась дверь и появилась пани Юлия.

— Ты болен, Юрай? — спросила она.

Поскольку он не ответил, она вошла в комнату. Она, видимо, тоже сегодня встала позднее — может быть, была нездорова. Обычно в такое время она уже была одета, готовясь идти в костел. Сейчас на ней был широкий утренний халат, стянутый поясом.

— Почему это я должен быть больным? — взглянул он в карие глаза Юлии, словно ожидая от нее понимания. — Разве я не могу разок просто поваляться?

— Опасно, когда человек нашего возраста начинает опускаться, — сказала она нравоучительно.

Юрай поел на скорую руку, побрился и, выйдя из дому, побрел в сторону ручья. От плотины возле бумажной фабрики несся детский крик, заглушаемый шумом воды. За фабрикой начинались луга, тянувшиеся вдоль берегов до самого леса. Учитель выбрал сухое местечко и бросился в траву.

Высоко над полем неслись легкие облака, трава доверчиво шепталась под порывами ветра, добродушно трещали кузнечики.

— Так, как было в самом начале, — сказал учитель. — Как будет завтра, и всегда, и во веки веков, аминь.

Время как будто остановилось. Словно мир был в точности таким, как лет двадцать назад — двадцать лет, которые для одного учителишки могли означать целую жизнь. А что они значили для этих полей, для этой травы? Ничего.

Он возвращался домой после полудня. Парк был полон народа. Вода журчала по камням в глубоком, отрегулированном русле, обтекая песчаные косы.

Где-то гудели самолеты, но никто не обращал на них внимания.

По парку, как и каждое воскресенье, курсировал Ионапот, учтиво приветствовал дам, прикладывался к ручке. Когда-то он был известен как поклонник Гермины Стейн. Заметив учителя, Ионапот подбежал к нему.

— Знаете, что случилось, пан учитель?

Он весь вспотел в своем охотничьем костюме.

— А что такое случилось?

— Началось восстание!

— Откуда вы взяли?

— Да все об этом только и говорят.

Ионапот никогда не бросал слов на ветер. Хоть выглядел он всегда неряшливо, носил поношенный костюм, заметно обтерханный на карманах и рукавах, но человек был толковый: разбирался в торговых делах, обладал чутьем и имел надежную информацию. Он и Герминой перестал увлекаться вовремя.

— Не верите, пан учитель? Однако это правда. Партизаны занимают деревни и города, разоружают жандармов, не боятся даже солдат. Жандармы и солдаты сами присоединяются к ним.

— Не может быть! — воскликнул учитель.

— Почему это не может быть? Как раз этого и следовало ожидать! Каждый, кто не слеп, мог это предвидеть. Весь Липтов, Турец и Грон в огне!

— Чем же это кончится?

— Смешной вы человек, пан учитель! Каша еще только заваривается, а вы уже спрашиваете, чем это кончится.

— Восстание, — повторил учитель. — В истории их было уже несколько. И каждое кончалось кровавой баней.

— Вы ужасный пессимист! — Ионапот по-молодому повернулся, покрутил элегантной тросточкой и отправился в сторону корчмы Стейна.

Площадь тихо дремала в спокойном свете послеполуденного солнца.

Глава IV

1

Всю ночь Штефан с друзьями ходили из дома в дом, собирали мужчин.

— Идем на немцев, братья, они оккупируют нашу страну!

На рассвете они еще обежали рабочие места, мастерские, фабричку, железнодорожную станцию, некоторых рабочих вытащили прямо от станков, даже с любезного разрешения пана директора. Потом отправились во двор казармы.

— Пятьдесят человек вызвались принять участие в восстании, пан капитан, — отрапортовал Штефан Возар.

— Пятьдесят? — Капитан вытаращил глаза. — Где ты их столько набрал? Говорили о десяти, я хорошо помню. Вон там получите оружие и боеприпасы. — Он указал на склад, перед которым стоял часовой.

Двор кипел солдатами, партизанами, которые пришли из Липтова, среди них было несколько русских.

— Тем, которые раньше пришли, и форму выдали. На нас не хватило, — сердился Янко Гусарик.

Он чувствовал себя героем — его лично похвалил капитан. Им с Матеем Мацко удалось провернуть поистине гусарский номер: они ухитрились пригнать из каменоломни грузовик со взрывчаткой.

— Для тебя бы все равно не нашлось, — донимал его Матей. — Детских размеров на складе нет, понимаешь?

Все ждали приказа. Тех, кто в первый раз в жизни держали в руках оружие, обучал премудростям стрельбы проворный парень в легкой зеленой куртке.

Завыла сирена.

— Тревога, братцы! Прятаться в укрытия и ждать, — приказал Штефан.

Самолеты обстреляли пространство вокруг домишек, никто им не ответил.

— Пока еще рано, — сдерживал Штефан ребят, — пока еще рано.

Через некоторое время разнесся слух, что повстанцы ударят на Кежмарок, где расположен сильный немецкий гарнизон. Двор начал пустеть.

К Штефану подошел капитан.

— Останетесь в городе. Вы отсюда родом, будете осуществлять здесь службу порядка.

— Мы не пойдем со всеми? — разочарованно спросил Малыш.

— От вас это не уйдет, — усмехнулся капитан. — Пока останетесь в распоряжении Революционного национального комитета. Будьте настороже. Один раз здешние немцы нас провели, второй раз этого допустить нельзя.

— Положитесь на нас, капитан, — щелкнул каблуками Мартин Мацко.

Он кивнул своим товарищам, и они всей группой направились к воротам.

— Куда вы? — остановил его Штефан.

— Не слышал? Мы получили приказ, идем наводить порядок.

Штефан вернулся к учителю, который внимательно слушал паренька в зеленой куртке.

— Знаете, как началось восстание у нас в Левоче? Просто блеск. На балкон городской управы вышел начальник местного гарнизона, торжественно объявил восстание, поднял чехословацкий флаг, военный оркестр сыграл гимн. У людей слезы в глазах стояли. Левоча — исторический город, не то что ваш Попрад без роду без племени. У нас было выступление в восемьсот сорок восьмом, да и в тридцать девятом, мы не какие-нибудь там! Здесь в казармах совещались до опупения, все не могли решить, присоединяется гарнизон к восстанию или нет! А спишские немцы стреляли в нас из-за угла. Это сброд, сволочь, Ноев ковчег какой-то, а не город.

— Ну-ну, не зазнавайся, — урезонил его учитель. — Знаем, знаем мы вашу Левочу. Чего стоит одна пресловутая клетка для неверных жен на площади.

Штефан вскочил на велосипед и понесся к железнодорожному мосту. Здесь, за мостом, начинался другой мир. Спокойная деревня, которая знать ничего не знает о прочем мире и живет своим рабочим ритмом. По булыжнику миролюбиво грохотали возы, груженные хлебом, въезжали в распахнутые ворота, исчезали в темных проездах. На дороге валялась соломенная труха.

Магда ужасно разволновалась. Глядела на него испуганными карими глазами, все на ней имело цвет хлеба, выгоревшие на

солнце волосы и загорелая кожа, вся она была как хлеб — мягкая, душистая, женственная.

— Уходим только на двадцать четыре часа, Магдушка. Нужно защитить Кежмарок.

— А меня оставляешь тут? — спросила она напряженным голосом, положила руки на выпиравший живот осторожно, словно касалась не себя самой, а того дитяти, которое по ночам так настойчиво давало о себе знать.

— Завтра я буду дома, Магдушка.

Глаза ее понемногу наливались слезами, она тяжело опустила голову. В растерянности он не знал, что сказать или сделать. Неловко ее целовал, она сначала даже и не замечала этого, потом очнулась, прижалась к нему, зарылась лицом в его черный плащ:

— Не отдам тебя, не отдам! — повторяла она. — Ты должен вернуться.

— Вернусь.

Он крепко сжал ее и помчался назад, в казарму. Там он прицепился к одному из последних грузовиков. За городом их остановил патруль, машина свернула на проселочную дорогу. В машину вскочил парень в зеленой куртке. Это был тот самый левочанин, который так выхвалялся на казарменном дворе.

— Почему заворачиваем? — спросил Штефан.

— Со стороны Польши прут немцы. Моторизованная дивизия "Северная Украина". Ты бы на них посмотрел, товарищ! Танки, орудия, грузовики, вооруженные до зубов, вымуштрованные солдаты.

— Мы еще на них насмотримся, не бойся, — засмеялся сосед Штефана. — Еще на них вволю наглядимся.

— А что с Кежмароком?

— И не спрашивай, — качнул головой левочанин. — Мы наступали, дошли до самого города. Вели бои за каждый дом. С кежмарокским гарнизоном мы бы до вечера легко справились. Но потом пришел приказ об отступлении.

— А вы что, там были? — спросил сосед Штефана.

— Нет, но все разузнал. А здесь мы будем ждать эту самую знаменитую дивизию.

— Что могут наши двенадцать легких танков против такой силы? — вздохнул сосед Штефана.

— Не бойся, товарищ! Если пораскинем умом, что-нибудь да сможем, — сказал левочанин.

Теперь он нравился Штефану.

Машина остановилась. Навстречу им шел Мартин Мацко.

— Ты здесь, опоздавший? — потрепал он Штефана по плечу. — На нас идет мощное войско, слышал?

— Слышал.

Они вышли на холм. Здесь Штефан увидел всех: Малыша,

учителя, Матея Мацко. Учитель сидел, втянув голову в плечи, с винтовкой на коленях, словно это было дитя, с которым он никак не мог сладить. У Малыша на голове был целый сноп соломы, он время от времени поправлял эту красоту, вроде как барышня новую шляпку. Он был взволнован до предела.

— Он уже тебе похвалился? — спросил Штефана учитель.

— Кто?

— Мацко. Они забрали в городе всех немцев.

— Мы их немножко пощекотали стволом винтовки промежду лопаток и заперли в холодок, — сказал Матей.

— А кто вам приказал?

— Никто. Сами додумались.

— Забрали тех самых, — сказал учитель, — стариков да сопляков.

Штефан только рукой махнул.

— Знаете, как надо воевать против превосходящих сил? — держал речь левочанин. — Это не обычный бой, здесь смекалка нужна. Уничтожать их, уничтожить как можно больше. Подпустить на выстрел, ударить и не ждать, пока они опомнятся, а бежать. Окопы тут не помогут, гораздо важнее безопасный путь отступления. В нашем случае — ручей и ущелье. Окопаемся на удобном месте, как только доберемся до гор.

Штефан думал о Магде. Как она стояла во дворе, с руками, бессильно сложенными на высоком животе. Его жена, а скоро — мать его ребенка, сама еще дитя. Что ее ждет? Зачем он ездил сейчас к ней? Этого, наверное, не надо было делать. Было бы лучше, если б она ничего не знала.

Мужчины еще таскали из машин боеприпасы. Малыш обвешался гранатами.

— Этой хватит на танк? — потряхивал он в руке гранату.

— Одной нет, а вот связки — да, — объяснял левочанин.

— А чем их связать?

— Вышитым рушником, — засмеялся Матей Мацко, он кипел переизбытком сил, энергией.

Солнце помаленьку опускалось. Жара спадала. Мужчины сидели молча: загорелые лица, руки на оружии. На недалеком поле работали жнецы. Штефану очень хотелось взять у кого-нибудь из них косу и сделать несколько взмахов, чтобы избавиться от нервного напряжения.

Послышался гул. Ниже в долине тяжело двигались немецкие танки. Их было много. Потом, словно ударил гром, зазвучали залпы, к небу поднялись столбы дыма. Танки атаковала партизанская бригада, составленная из липтовцев и русских. Их не было видно: они атаковали с межи, из-за древесных завалов, из кустов. Над полем потянулся черный дым.

— К ним на помощь, товарищи! — сказал Матей Мацко, и Штефан заметил, как у него колотится сердце, у каждого из них

колотится, у Малыша это прямо по лицу заметно.

На дороге к холму показалась колонна грузовиков.

— Идут, — сказал левочанин.

— А танки не уйдут от нас? — разочарованно спросил Малыш.

Грузовики один за другим карабкались вверх по холму, словно обнюхивали моторами землю.

— На них, братья! — загремел голос Матея.

Взрывы. Совсем близко. На минуту спрятать лицо в землю, потом бросить следующую гранату... По всей долине стрельба, отсюда звуки ее кажутся безобидными, даже взрывы не особенно страшны, земля относится к ним равнодушно, такая она сухая, твердая, как скала, даже не вздрогнет.

Первый грузовик странно подскочил и зарылся мотором в кювет, его лижет пламя. Второй наскочил на него. Со следующих машин соскакивают фигурки в серой форме, их много, им удалось залечь. Через минуту заговорил пулемет. Прежде чем начнется стрельба, межа должна опустеть.

— Отходить! — вопит левочанин. — В овраг, мужики!

Братья Мацко бегут не пригибаясь. Только снопик хлеба подскакивает над ивняком. Учитель через минуту возвращается.

— Что происходит? — шипит левочанин.

— Спишские немцы, — сказал, подбежав, учитель. — Делали вид, что работают в поле, а теперь, когда подошла колонна, ударили на нас с тыла.

Но овраг — единственная дорога к отступлению, к ней необходимо пробиться. Все падают на сухую, раскаленную землю, ползут по-пластунски.

Штефан стреляет в кустарник, откуда раздаются выстрелы. Это те самые "жнецы", которые минуту назад мирно косили хлеб. К кустам сбоку, в обход ползет Малыш, укрываясь снопиком. Ползет лихо, ловко. Потом подымается и бросает гранату. Земля сотрясается от удара, во все стороны взлетают фонтаны пыли.

— В овраг, мужики! Липтовцы тоже отступают! — кричит левочанин.

Овраг недалеко. Всего в нескольких десятках метров. Каждый метр этого расстояния, однако, под обстрелом. Штефан оглядывается — их осталось трое: он, Малыш и левочанин. Все трое в одну минуту бросают еще по гранате и, согнувшись, бросаются бежать.

2

В открытое окно заглядывало спокойное сентябрьское солнце.

— Я хочу просить вас кое о чем, барышня-коллега, — сказал директор. — Будьте так любезны, возьмите классы пана учителя

Краля. Сдается, пан учитель привык каждый год удлинять себе каникулы.

Директор улыбался, как и в прошлом году, но улыбка была совсем другая. Теперь он не угрожал, наоборот, говорил со всей любезностью. В последнее время его не видели в форме, и из кармана у него уже не выглядывал уголок гардистской газеты. Начало учебного года обошлось без долгих речей, только с указанием на то, что каждый должен исполнять свои обязанности. Пять лет мы только исполняли свои обязанности и будем исполнять их и впредь, приучая к этому и наших школьников. Он больше не скрипел сапогами, не подымался на цыпочки.

Сейчас он сидел за столом, положив голову на ладони. Тучный, потный, усталый человек.

Учитель Краль, может быть, сказал бы: "Воздушный шарик, который отлетал свое и лопнул".

— Не знаю, поставил ли коллега Краль на нужную карту, — сказал директор озабоченно. — Позволю себе в этом усомниться, хотя знаю, что он всегда был заядлым картежником. Этого не должно было делать, словаки не должны были выступать против словаков. Как мы теперь выглядим в глазах союзников? До сих пор нам было нелегко, а теперь, милая барышня-коллега, после этого банскобыстрицкого путча, все будет намного, намного хуже. Получили, чего добивались, попали на острие ножа.

— Война, пан директор. Во время войны все на острие ножа, — сказала Зузана, — чем ближе будет фронт, тем в большей мере мы будем на острие.

Директор не вознегодовал, что она, учительница-словачка, признает возможность дальнейшего отступления немецких армий. "Разве вы не знаете, что через Дуклинский перевал русским не пройти? Вся граница — сплошная крепость", — говорил он еще вчера. Сегодня он вообще об этом не вспомнил. Но было ясно, что он старался быть с нею поласковей.

— Этот путч нам совсем некстати. Он нам только навредит, — сказал он грустно. — Но я должен предупредить вас еще об одном. Теперь мы больше, чем когда-либо, находимся под контролем общественности, перед лицом... — он искал слово, — сограждан... мы должны проявлять еще больше самодисциплины, я бы сказал, что теперь важна любая мелочь. Пан учитель Краль часто считал мелочью и важные вещи. Например, иной раз так увлекался лекцией, что ему не оставалось времени на молитву после занятия. Не раз отпускал учеников из класса и даже не утруждал себя заботой проводить их до ворот. И эти озорники блеяли, как овцы: "С паном богом, как с порогом!" Не нужно вам объяснять, какую тень это бросает на школу, милая барышня-коллега.

— Я понимаю, пан директор, — ответила Зузана и встала.

Год назад она вышла из директорского кабинета испуганная, вся дрожа. Как с тех пор все переменилось! Теперь они сами

начали трястись. Война может кончиться только их поражением. И пан директор это знает, поэтому он не назвал Краля изменником родины или извергом, поэтому говорил о нем так, словно был готов помочь ему в любую минуту. Как словак словаку.

Зузана вышла на двор, залитый осенним солнцем. На кустах за оградой еще краснело несколько кисточек смородины. В пыли копались куры школьного сторожа. В хлеву похрюкивал боровок, гордость рачительной пани директорши. Она собственноручно носила ему еду.

Издалека долетал приглушенный гул — он все усиливался, через минуту завыли сирены. Быстрым шагом Зузана вошла в класс.

— В укрытия, дети, живо, без паники.

— Идут на помощь нашим! — шептались мальчики, по звуку стараясь угадать, какой тип самолетов это может быть.

Пан учитель Сливка, на счастье, этого не услышал, он успокаивал бледную пани директоршу.

Зузана похлопывала ребят по плечам:

— Спокойно, детки!

И дети кивали — мол, они не боятся, наоборот! Среди детей были и такие, которые радовались: чем чаще налеты, тем ближе русские, правда?

Зузана теперь удивлялась, как это она могла жить в таком страхе все эти пять лет? Как она только выдержала?

Она проводила детей к воротам, и они разбежались во все стороны. Она шла широким шагом, погруженная в свои мысли.

— Вы — единственный человек, который может сохранять спокойствие, — преувеличенно льстила ей пани Юлия, которая даже при самой сильной пальбе ни разу не спустилась в погреб.

Конечно, в местечке особенно и не стреляли, быстрицкий путч, как его окрестил пан директор, быстро прогремел котловиной. Партизаны держались только в казарме на окраине города, да и то недолго. Они ушли в горы.

Штефан Возар прибежал ночью.

— Не отстояли мы Кежмарок, Магдушка, — сказал он жене. — Теперь надо уходить в горы.

— Я так и знала, — шептала Магда. — Я так и знала, что этим кончится.

Штефан весело рассказывал, как он попал в город.

— Иду посреди дороги, и вдруг: "Хальт! Документ!" Я покопался в карманах, нашел какую-то бумагу, квитанцию, что купил дом, предназначенный на слом, или что-то в этом роде, сунул ее фрицу под нос. К счастью, он был не здешний, не понимал по-словацки, но увидел, как я решительно вышагиваю, а я бы так не вышагивал — ведь я не ожидал, что у них всюду патрули. Оглядел он этот документик, только что не обнюхал печать, по-

том вернул мне, и я спокойно пошел своей дорогой. Одного боялся, как бы не встретить кого из добрых знакомых.

— Останься дома, не ходи никуда! — умоляла Магда. — Объявлено ведь, что если кто вернется и сдаст оружие, тому ничего не будет.

— Не бойся, маленькая. В горах со мной ничего не случится. И с тобой тоже ничего не должно случиться. Зузана за тобой присмотрит.

— Можешь рассчитывать на меня, Штефан. Я не оставлю ее одну.

Штефан уходил в темноте, с узелком одежды и продовольствия.

— Он у тебя храбрый, — говорила Зузана, глядя на Штефана, а думала об учителе — она сама набиралась храбрости, училась улыбаться в тяжелый момент.

Ее улыбка и тихий голос были нужны и детям, и Магде, и пани Юлии.

С пани Юлией было плохо, хотя она и умела владеть собой. Она не желала смириться с тем, что ее муж перешел на сторону повстанцев. Он не должен был присоединяться ни к тем, ни к другим, эти события не должны были коснуться их дома. Пани Юлия регулярно ходила в костел, брала у сторожихи ключи, делала вид, что носит туда свежие цветы.

— В такую жару цветы быстро вянут, дорогое дитя, а увядшие цветы на алтаре недопустимы, там должны быть только свежие.

Во время перестрелок шальная пуля пролетела сквозь алтарный образ, оставив дырку в теле Христа. Юлия глядела на эту рану, потрясенная. Бог мертв, шептала она бескровными губами и долгие часы стояла там без движения, прикованная к большим каменным плитам пола. Учителя она никогда не вспоминала, словно он перестал для нее существовать. Зузана провожала ее в костел и на кладбище, поддерживала ее и думала о Юрае, думала о нем, идя бок о бок с его женой, думала о нем все время. Она уже не укоряла себя за это святотатство, веря, что каждый из тех, кто сейчас в горах, заслуживает, чтобы о нем кто-то думал и днем и ночью.

3

Уже несколько дней было тихо. С позиций повстанцев над лесом видно было большую часть котловины. Теперь она принадлежала немцам. На солнце спокойно раскинулось пять городков, под холмом с водохранилищем над вершинами елей подымалась остроконечная башня костела.

По пыльным дорогам грохотали последние телеги, высоко

нагруженные снопами овса. На отдаленных каменистых полях уже начали копать картошку — раньше, чем обычно. Женщины горбились над мотыгами, подростки тащили тяжелые корзины, вдоль картофельных гряд стояли тугие белые мешки. Но над полем не тянулись голубоватые полоски дыма, в этом году не пекли в золе самый вкусный сорт картошки — "розовые рожки". Люди торопились. Им было не до того. Только птицы щебетали, как всегда.

Повстанцы нервничали: они не могли объяснить себе, почему немцы не атакуют. Сначала, после той пробежки по равнине, они накидывались, как осы, но хорошо укрытая артиллерия повстанцев всякий раз приветствовала их градом выстрелов и отгоняла на почтительное расстояние. Учитель объяснил:

— Скорее всего, они готовят серьезную атаку. Время у них есть, куда им спешить?

Расползаются по тенистому городку, думал он. Может, кто-то из них сейчас сидит в его кабинете, попивает холодное вино из шиповника, вкус у которого как у настоящего токая, и пренебрежительно оглядывает его книги. Может быть, Юлия принесет в его комнату свежих цветов и молча поставит на стол. Это ведь все еще ее дом, хотя в нем и обосновались захватчики.

— Готовят большую атаку, они народ основательный, — сказал он мужикам, чтобы выбить у них из мыслей мечты о длинненьких печеных картофелинах, охоту схватить в руки косу или мотыгу и взяться за работу, которая всюду одна и та же... Некоторые уже выпрашивали себе увольнительную, хотя бы на несколько часов, чтобы ночью свезти урожай в закрома.

Движенье замерло. Только на равнине пыхтел старый паровозик, тяжко преодолевая расстояние, словно пробовал, целы ли пути.

— Ну-ка, сунься, фриц! Чего боишься-то? — бормотал Матей Мацко.

— Может, они уже дотумкали, — размышлял вслух Малыш, — чего они тут добьются? В худшем случае загонят нас в лес. Ну и что дальше?

Все чувствовали себя в безопасности: за спиной лес, он наш.

— Немцы хотят попасть на запад, в Липтовскую котловину, — сказал левочанин. — Им нужны та дорога и железнодорожные пути, им без них никак не обойтись. Потерпите немного, скоро они отзовутся.

Солнце такое, что даже глаза слезятся. Бойцов мучит жажда. Вертлявый цыганский паренек петляет между камнями вниз по склону. В низине под скалами бежит быстрый холодный ручей.

Тревога. От города идут танки, за ними цепями спишские немцы. Соплеменники получили возможность отличиться в бою. На них словацкая форма, только шлемы, как у немцев, — круглые, стальные, со знаком "SS" по бокам.

На этот раз вражеский обстрел опасно точен, бьет по расположению артиллерии. Необходимо переместить орудия. Вражеские цепи приблизились на расстояние выстрела, залегли, стреляют. По высокой траве к ним подползает молодой цыган, бросает гранаты — одну, другую, третью. Удачное попадание. И уже отползает назад, он уже в кустах. Немцы стреляют по кустарнику, и мина рвется за миной, то место, где паренек, окуталось дымом и тучами пыли. Страшно вспыхнули кусты, учителю был чем-то знаком этот вид. Потом он вспомнил учебник закона божьего: там в подобии горящего куста Моисею явился Господь. Среди скал мелькает плащ медсестры, эта женщина сошла с ума, зачем она туда лезет, бормочет учитель, парню давно уже ничто не поможет. Через минуту он видит ее вновь — худенькая женщина с трудом тащит бессильное тело. Учитель побежал на помощь. Им вместе удалось вытащить парня из-под огня. У медсестры на щеках красные пятна, она еле переводит дух, а парень пришел в себя, озирается вокруг.

— Это тот самый паровоз. С него разглядели наши позиции, потому так точно и ударили, — сердится левочанин.

Из ранки над глазом у него сочится кровь, он держит там кусок бинта.

— Да ладно, это царапина, ерунда. Такую я получил как-то у нас на танцульках. Доктор, скорее меня перевяжите! Времени у меня нет.

— Здесь есть и другие. — Учитель обращает его внимание на более серьезные случаи.

Наконец он сам решает оказать ему помощь. Медсестра его инструктирует.

— Пан учитель, вы умеете держать в руках вожжи? — спрашивает доктор.

Не дожидаясь ответа, он приказывает положить паренька на низкую телегу, застланную соломой. Учитель в растерянности выслушал, куда отвезти парня и как за ним надо ухаживать дома.

Дорога спокойно вьется по долине. Стрельба звучит все глуше. Учитель осторожно погоняет лошадь, чтобы не потревожить раненого.

Он отвез паренька в цыганский поселок, в маленький домишко над рекой, положил ему лекарства и перевязочный материал и попытался объяснить одной из множества причитающих женщин, как они должны за ним ухаживать. Она только на него посмотрела исподлобья: "У нас есть своя мудрая женщина и свои лекарства".

Возвращался он по тихой зеленой горе, сидя на облучке, каска на голове, ружье в руках. За какой-то из деревень увидал впереди колонну грузовиков. Сразу замер: немцы! Снял каску, ружье положил на дно телеги, чтобы можно было достать, протя-

нув руку. Свернуть было некуда. В последнюю минуту он все же свернул с дороги, перелетел через кювет и погнал по стерне, круто подымающейся на холм. Ждал, когда по нему начнут стрелять, он даже не прятался, не залез под солому, лежащую на телеге, не соскочил и не побежал к ручью. Когда немцы просочились сюда? Где наши? Где, собственно, фронт, как все это могло за несколько часов так измениться? Он смешался с народом, который в панике бежал из деревни, кто на телегах, кто на своих двоих: старики, женщины, дети, скарб, отары овец и стада гусей, холм пестрел яркими платьями крестьянок, всюду раздавались причитания, крик, гул недалекой стрельбы. На горизонте появились самолеты, они спускались низко над землей, словно хотели приземлиться, тени их крыльев пронеслись над холмом, кишащим народом. Воздух прорезал зловещий свист.

— Люди, ратуйте, стреляют! — закричала какая-то женщина.

Одна, молодая, понемногу оседала на землю, сначала осторожно положила в траву грудного ребенка, а потом закрыла его собственным телом. Учитель видел эту картину так подробно, словно это были кадры замедленной съемки, видел, как женское белое плечо окрасилось кровью. Он подбежал к ней, услышал неразборчивое бормотанье: "Ребенок, ребенок..."

— С ребенком ничего не случилось, — сказал он.

В глазах раненой блеснуло облегченье.

4

Улицы и парки были полны грузовиков, всюду ходили патрули, грохотали кованые сапоги и гремели отрывистые команды. Люди поначалу даже боялись выходить из дому. Но их выгоняла необходимость — часть урожая еще оставалась в поле, особенно картошка, этот хлеб насущный бедняков. Нужно было выйти в поле.

На время работы дома оставались только женщины с детьми.

Магда стояла в конце длинной узкой полосы. Сколько на ней рядов? До каких пор ей тут работать, прежде чем она все выкопает? Еще недавно ее утешало, что они со Штефаном одолели участок доброй земли, она очень мечтала стать равной с другими, быть человеком, как все они. Она была готова отказывать себе во всем, ободрать руки до локтей, только бы выбраться из унизительной бедности. Сейчас она копала мотыгой землю, которую могла назвать своей, но не чувствовала радости. Зачем ей все это? Время от времени она глядела на пояс гор на горизонте, который темнел против солнца. Где-то там теперь Штефан. Важно одно: чтоб он был жив. Магда ни на секунду не позволяла себе подумать, что с ним что-то может случиться, об этом и

секунду думать нельзя, даже самым маленьким сомненьем в этом она бы навлекла несчастье.

Она наклонялась над мотыгой и снова выпрямлялась, перегибаясь в поясе, чтобы дитя могло отдохнуть. Еще месяц-другой, и оно появится на свет. Сколько еще осталось дней, часов?

В конце полосы появились две фигуры: Зузана Батизова с Терезой Гусариковой. Помощницы Магды... Никогда люди не держались так вместе, как теперь, никогда так не помогали друг другу. Магда особенно чутко ощущала это. Они забрали из ее рук мотыгу. ''Отдохни, Магдушка, мы это сами закончим, не нужно переутомляться. Ты уже с утра на ногах, должна немного поберечься, чтобы не повредить маленькому''.

Под вечер они погрузили в телегу первые мешки и повезли их в деревню. Белянка, непривычная к ярму, шла медленным шагом. Зузана с Терезой высыпали мешки на сортировочную доску, приложенную к оконцу в погреб. Магда отвела Белянку в сарай, вытерла вспотевшие бока, бросила ей сена. Потом села на деревянные козлы, закрыла глаза. На верхней балке строения зеленело деревце, украшенное ленточками. Дом был почти готов, стены построены, оставалось только покрыть крышей. Будут ли они в нем когда-нибудь жить?

— Не берите у нас! — донесся снизу, из палисадника Подлипковых, истерический женский голос.

— Я... мы!.. — кричала пани Теодора Подлипкова. — У нас заслуги, мой муж — гардист, мы никогда не были супротивными, спросите кого хотите. Не трожьте нашу солому, поднимитесь выше! Там живет партизанская жена, у нее берите!

Магда крепче вцепилась пальцами в дерево. В отворенные ворота усадьбы вошли трое в форме, один из них споткнулся о груду кирпичей, выругался. Магда попятилась к стене сарая, пальцами чувствуя грубое прикосновение штукатурки. ''Это не сарай, это крепость! — смеялся Штефан. — Его не встряхнет землетрясение, не разрушит даже снаряд из пушки!..'' В полутьме сарая тихо жевала Белянка.

Они разошлись по стройке, один поднялся по доске, которая заменяла лестницу, оглядел неоштукатуренные стены, коснулся свежего цементного раствора. На соседней лужайке паслись гуси, белые, выгулянные, с набитыми зобами. На дороге появилась бегущая Зузана. Магда удивилась: зачем она так бежит? Встретилась глазами со взглядом одного из трех, испугалась, язык у нее онемел, она задохнулась. Магда хотела крикнуть: ''Не беги, Зузана!'', но язык ее не слушался, комок в горле рос.

Тот, который вошел на стройку, тоже посмотрел в открытый дровяник, где держали инвентарь и ценные материалы, еще когда только начинали строить. Зузана подбежала к сараю, схватилась за стену. На дороге показалась Тереза Гусарикова — крошечная, худенькая, — при ходьбе руки у нее неловко болтались.

Тот, кто стоял ближе, спросил:

— Партизанен? Партизанская свинья?

Это был совсем молодой светловолосый парень, он усмехался. В руке у него появилось оружие — маленький черный револьвер.

Раздался плачущий вскрик — это всхлипнула Зузана. У Магды словно отнялся язык, дрожь сотрясла все ее тело. Это были болезненные судороги, сильнее всего она чувствовала их в голове — словно на темени стянулась кожа, стянулась и со страшной силой сдавила голову. Магда чувствовала, что вот-вот упадет от этого еще прежде, чем белокурый парень, приближающийся к ней с этим своим черным револьвером, с веселой улыбкой на лице, спустит курок. Она знала, что умрет, чувствовала во всем теле смертельную тяжесть.

— Не стреляй! — крикнула вдруг Зузана изменившимся, придушенным голосом. — Не стреляй! Разве не видишь — она ждет ребенка! Меня, меня застрели! Меня застрели, а ее оставь! В меня стреляй! — кричала Зузана нечеловеческим голосом, как безумная.

Тот, что вышел из дровяника, заглянул теперь в сарай, значительно засвистел, показал на сено и что-то сказал. Парень с револьвером отплюнулся недовольно и брезгливо, и все они неторопливо ушли со двора.

Тело Магды свела ужасная судорога. Магда упала возле стены.

5

В лесном шалаше учитель оказал молодой женщине первую помощь. Но ей был нужен врач.

— В больницу бы ее, — сказал он.

— В больницу? Это далеко, — вздохнула мать раненой. — Может, лучше бы сюда привезти доктора?

— Конечно, — сказал учитель. — Только где вы его возьмете?

— Пошлем за ним соседского парнишку, — сказала женщина. — Он знает, где партизаны.

Партизаны! Учитель обрадовался. Он присоединится к врачу, попадет к своим! Мир тесен.

Всю ночь он бодрствовал над раненой.

Врач пришел на следующий день после полудня. Незнакомый, высокий, спортивного вида человек. Учитель не мог преодолеть разочарования. Он ожидал, что придет тот самый, что доверил ему вчера молодого цыгана. Ему казалось почему-то, что в этих горах может быть только один партизанский отряд — тот, в котором остался Штефан Возар с Малышом и братьями Мацко, с самоуверенным левочанином и худенькой медсестрой.

— Не мог бы я пойти с вами? — спросил он врача, когда они вышли из шалаша покурить.

— Почему бы нет?

Запрягли лошаденку, нагрузили телегу продовольствием. Врач сел на облучок, взял в руки вожжи.

— Вас там много?

— Хватает. А сначала было всего несколько человек. Мы держали участок возле Штрба. Остановили атаку немцев, все шло, казалось, прекрасно. Но силы неравные. Немцев было как собак нерезаных. Начали они нас окружать. Пришлось отступить. Теперь вот держим оборону здесь.

— Всюду одно и то же, — сказал учитель. — Всюду мы вынуждены отступать.

— В горах не страшно. Там нас никто не достанет.

Проезжали мимо небольшого озера. На водной глади отражались темно-зеленые кроны кедров. Густой кедровый бор тянулся в сторону Криваня, теряясь в сумраке.

— Я здесь достаточно походил, — задумчиво сказал учитель.

— Вы здешний?

— Нет.

— Откуда же?

— Из Спиша.

— Ух и деликатный там народ! Свинину не едят. Не употребляют ее ни в сосиски, ни в колбасу... А из какого города?

— Из Попрада. Собственно, из Велькой.

— Там сплошь немцы! — сказал врач, и учитель почувствовал, как тот покосился на него.

Что, если он перестанет ему доверять?

— У меня там есть знакомый, — продолжал врач. — Зовут его доктор Краус.

— Вот оно что! Это мой старый приятель.

— Он все такой же страстный рыболов?

— Конечно.

— Но к восстанию он не примкнул, верно?

— Да нет. Знаете, когда человек сидит дома, не высовывая носа наружу, он, собственно, ни о чем и не знает... В городе все это выглядит совсем иначе. Там кажется, что ничего не происходит.

Их остановили часовые.

— Это ты, доктор? — Мужчина в пестрой брезентовой робе махнул рукой, пропуская их.

Учитель не мог избавиться от неприятного ощущения: ему не доверяют. Это ощущение усилилось, когда доктор сказал ему:

— Тут есть ваш земляк. Я пошлю за ним, чтобы вам было веселее...

— Буду рад, — пробормотал учитель.

Он стоял оглядываясь, словно один среди унылого леса. Где-то, на краю полянки бродили темные фигуры, горел костерок, раздавались голоса, смех.

— Пан учитель? Вы откуда это?

Он узнал Коренкова, студента, своего бывшего ученика. Поздоровались. От внимательного взгляда учителя не скрылось, что на лице доктора мелькнуло довольное выражение.

Удивляться нечему, сказал себе учитель. Они должны быть осторожными — война. Должны внимательно присматриваться к тем, кого к себе принимают.

Студент интересовался, что делается дома, но учитель не мог сообщить ему ничего определенного.

— Завтра ждем атаки, — сказал студент. — На склоне мы устроили завал.

— Откуда знаете-то, что именно завтра?

— У нас свои люди в деревнях, они следят за каждым шагом немцев. Есть разведчики, связные...

Так потому-то эти парни так беспечно веселятся, потому этот шумный говор, смех и даже песни? Знают, что тут они в безопасности, что тут, в горах, они хозяева.

Тьма сгустилась, огонь на ее фоне стал ярче, искры взлетали к самым кронам деревьев. В ночь неслись разбойничьи песни:

Ах, когда рубили мы в Брезнянской во долине,
в Черном с мельницы вола-а увели мы,
кожу ободрали да бросили в пруд.
Не горюй, мельник, ты богатый плут.

Учитель подошел к костру, присел.

— За Черной мельницей жил железнодорожный сторож Вицпан, этот был за нас, — рассказывал мужчина в кабанице[1]. — Когда мы у мельника угнали вола — поделом ему было, черт бы его побрал! — сторож этот вола спрятал... К нему заявились жандармы, начали искать, но ушли ни с чем. Сторож тогда взял свистульку, свистит и поет: "Были тут и шарили, искали — не нашли, а ухват в кадушке, вода из нее течет". Мы сразу смекнули, что к чему. Наелись потом до отвала.

— Мужик молодой, что ему дома сидеть? Хоть испробует мужской доли. Здесь, парень, тебя не добудут и сто панов, — тянул коренастый дядек, посасывая трубочку.

Морщинистое лицо его светилось в красноватых отблесках костра.

— Обули мы крпцы[2] — и айда в разбойники! Так разбойничал и Довчик, и другие. Ведь свободы при панах-дворянах не

[1]Кабаница — верхняя накидка.
[2]Крпцы — словацкая национальная обувь из одного куска кожи.

было, была одна работа, оброк да поборы. Только в горах ты и был свободным, — рассказывал мужик в кабанице. — Раз косили мы луг под Колой, вечером легли, а перед самой полуночью припожаловал Довчик, мужик молодой, здоровый, спрашивает, не здесь ли Цупек Станков. Я сразу его признал и говорю: у Цупека, мол, Станки луга пониже. Разбойник туда отправился. Ну, им пришлось здорово потягаться, потому что и Цупек был не из пугливых, он и спал-то в опашнике. Утром, когда бабы пришли, рассказали, что Довчик забрал-таки у Цупека пояс. Эти пояса, верно, Цупеку вышли боком. Такое тогда было время. Сейчас о нем только песни поют: "Овечки на палке все были мои..."

Сильные мужские голоса завели в темноте:

Ой да на виселице под замком мне судьба качаться,
на дороженьку судьба, знать, сверху вниз глядеть.
Ой не был я добрым, мне не оправдаться,
на зеленом склоне злодея я убил.
Ох, уйти б мне раньше в горы за Мураник,
не скрутил бы меня тот липтовский паныч.
Гей, товарищи мои, куда вы разбежались?
Собирайтесь, встретимся под явором зеленым.

Учитель отошел на край обрыва, взволнованный до глубины души. То, что он видел, было красивее любого театрального зрелища, чище и торжественнее, чем самые большие религиозные праздники в больших городских костелах.

Он не скоро вернулся к костру. Долго не мог уснуть. На рассвете их подняли. Тревога! Немцы идут. Телегу нужно было отвезти к самому выступу, к завалу. Светало. У учителя не попадал зуб на зуб, он сжал челюсти, чтобы этого не было слышно. Партизаны залегли на скалах, залегли и глядели вниз, в долину.

Там пока не было заметно никакого движения. Так они лежали, может, час, а может, и несколько часов. Потом залаяла собака. В глубине долины показались серые фигурки. Долину уже заливал ясный дневной свет.

Фигурки не приближались.

— Окапываются, бестии, — прошептал студент.

Через минуту по завалу ударили мины. Камни летели, тяжелые бревна рушились вниз. Через час обстрел кончился.

— Можем подремать! — засмеялся студент.

Учитель знал, что от его винтовки толка не будет. Лучше он будет подносить боеприпасы, помогать доктору бинтовать раненых. У партизан была надежная позиция, потерь пока не было, если не считать нескольких пустяковых царапин, которые мог перевязать и учитель.

— Им тут не пройти, — сказал учитель, оглядывая скалистый массив.

— Конечно, об этом не может быть и речи, — ответил доктор.

Теперь, при дневном свете, было видно, что, несмотря на высокий рост и сильное сложение, это немолодой, усталый мужчина с мешочками под глазами.

В полдень немцы снова атаковали. Стрельба гремела в скалах, многократно усиленная эхом. Студент ловко пополз вперед, где было естественное укрытие из камней. Но не дополз. Рядом разорвалась мина, и юноша остался лежать без движения. Учитель бросился к нему. Его вдруг ударило — сперва он даже не понял, что произошло, продолжая ползти за каменным укрытием. Потом что-то вспыхнуло у него перед глазами, и он зарылся в траву.

6

— А ребенок? Что будет с ребенком, доктор? — спрашивала Зузана.

— Не буду скрывать, барышня-учительница, оба они в опасности. Преждевременные роды, да еще в таких обстоятельствах, — иначе и быть не может.

— Это ее первый ребенок, пан доктор.

— Сделаем все, что в наших силах. Но не больше...

— Я знаю, я знаю.

Снова котлы кипящей воды. Снова чистые полотенца. Снова нечеловеческий крик Магды. Ночь и день. Ночь и день. Как долго это может продолжаться? Доктор Краус чередовался с повивальной бабкой. Зузана с Терезой Гусариковой не чередовались — были на ногах, пока хватало сил, задремывали на несколько минут и снова вставали.

У роженицы стекали по лицу струи пота. Она была в бреду. Под утро раздался слабый крик ребенка.

— Живой! — удивился доктор. — Живой!

— Вот и родился на свет, — зашептала Тереза. — Мальчик. Нужно его окрестить, чтобы не умер нехристем.

Бабка сбрызнула дитя святой водой — капли окропили синеватое личико.

— Нарекаю тебя Штефаном.

У Зузаны дрожали руки, она едва могла держать младенца.

За окном занимался рассвет. Нарождалось осеннее утро.

Доктору принесли кофе. Он задумчиво его помешивал.

— Если бы это сделал кто-то из политического фанатизма, это было бы еще понятно, — сказал он. — Но за стог соломы! Вот она какая, наша Теодора Подлипкова...

Никто ему не ответил.

Из комнаты вышла повитуха.

— Магда зовет Зузану.

— Идите, — разрешил доктор, — но ненадолго.

— Зузана! — Карие глаза Магды сияли. — У меня сын Штефанко! Ты его крестная мать.

— Все в порядке, Магдушка. Лежи, не беспокойся. Тебе нужно отдохнуть.

— Отдохнуть? Сейчас отдохну. Я хочу попросить тебя, Зузана. Ты уже столько для меня сделала... Знаешь, если со мной что случится... Заботься о нем... Как заботилась обо мне.

— Что ты это говоришь, Магда?

— Я знаю, что умру, Зузана. Мою мать вот так же трясло... после несчастья с отцом... и она после этого так и не оправилась. Со мной тоже так будет. Обещай, что не оставишь мое дитя, Зузана!

— Конечно, не оставлю — ни тебя, ни ребенка.

Зузана отерла пот с ее лица.

— Если с ним будет плохо, совсем плохо, отнеси его к тетке из Млынечка. Она спасла многих недоношенных детей. Отнесешь его, Зузана?

— Отнесу. А теперь отдыхай, мамаша.

Зузана нагнулась над ребенком. Маленькое старческое сморщенное личико, маленькое, с кулачок. Грудка младенца поднималась от короткого неровного дыхания.

На цветной литографии над постелью, стиснув руки, молился Христос в Гефсиманском саду. Окруженный длинными узкими тенями кипарисов, он был бледен до синевы. На горизонте светился холодный серпик месяца. Сколько людей, всеми забытых, вот так же, среди ночи, надеялись только на то, что где-то есть бог, который их услышит!..

Зузана не могла молиться. Что толку, стиснув руки, целые ночи молиться молчаливому темному небу? "Отче, да минует меня чаша сия!.." Какая чаша миновала Магду в детстве, в молодости, на пороге материнства? Какая минует ее сына?

— Она выживет, пан доктор?

— Она пережила тяжелое потрясение. Будем надеяться.

— На что надеяться?

— Наверное, на чудо.

— Я отвезу ее в деревню.

— Это исключено. Она не выдержит переезда. От сотрясения изойдет кровью.

После ухода доктора Зузана запрягла Белянку, устлала телегу перинами. Потом вместе с Терезой перенесла Магду и маленького в телегу.

— А если тебя не пропустят? — спросила Тереза. — Теперь всюду войска, патрули.

— Пусть только попробуют остановить! — сказала Зузана и сама не узнала своего голоса.

День был ясный, небо бледно-голубое. Устоявшаяся сен-

тябрьская солнечная погода не обещала перемены. Зузана гнала коровенку, только что сама не впрягалась в оглобли, гнала, била, тыкала кнутом — быстрее, милая, быстрее! Въехали в лес. Глубокие колеи, разрытые колесами грузовиков и зубчатыми гусеницами. Выехали на большую дорогу, встали в ряд телег и пешеходов — кто знает, откуда и куда плелись те люди? Под высокими утесами, что сторожили вход в долину, в канаве лежали трупы — окровавленные тела и лица с открытыми ртами, искаженными судорогой. У Зузаны ноги подкосились, слезы и пот ослепили ее, но она погоняла коровенку, плечом упираясь в грядку телеги, — но-но, милая, шевелись!

Зузана опамятовалась, только когда тетка коснулась ее ладонью.

— Не бойся, все будет хорошо, — сказала тетка. — Скольким роженицам я помогла, скольких недоношенных младенцев выходила!..

Зузана оперлась о выступающий бок Белянки, прижалась к мокрому, трепещущему коровьему боку — сегодня у тебя молока не будет, милая, гладила она корову, я так тебя гнала, но все уже хорошо... Прижав лицо к потной коровьей шерсти, Зузана наконец заплакала.

7

Учитель очнулся в плетеном пастушьем шалаше. Он лежал на еловых ветках, голова у него гудела. Над ним хлопотали какие-то женщины.

— Ружье и каску вашу я припрятал, — сказал ему студент.

— Это ты, парень? — пробормотал учитель. — Живой?

— Живой! А как же иначе? Взрывом меня только оглушило. Я уж давно на ногах.

— А бой? Чем кончился бой?

— Порядок. Немцы отвалили. У нас даже тяжелораненых нет. Вы наш самый главный пациент.

— А я тебя уж на том свете видел, мальчик.

— Потому-то вы и бросились за мной? Но главное, вы живы.

— А немцы? Унялись?

— На обратном пути сожгли хозяйственные постройки, которые остались от усадьбы над озером. Со злости, конечно, что ушли ни с чем.

— А наши?

— Партизаны отошли глубже в горы. Делают вылазки по ночам. Людей день ото дня прибывает, теперь у нас большой отряд.

Учитель не мог спать. Он все время видел перед собой ране-

ных: руки-ноги, сломанные, как спички, кровь... Снова и снова возвращался он к этому.

В нем уже остыло воодушевление от того, что и он включился в общее дело. Конечно, мы восстали, конечно, мы не могли иначе. Теперь он хотел найти ответ на вопрос, который его мучил. Какова была цель и смысл этого удара? Стоил ли он таких жертв? Что будет дальше, как быть дальше?

Как мы вели себя в этой войне? С самого начала нашли отговорку: дескать, мы — маленькая страна, которой катаклизмы этого мира не касаются. Поэтому позволили им ликвидировать республику, поэтому без боя капитулировали. Мы маленькие, оставьте нас в покое!..

Но здесь, в еловом шалаше, среди чужих людей, которые приняли незнакомца и заботились о нем, делили с ним еду и питье, он обрел веру в человека.

Верил в то, что восстание было для народа единственным логически возможным исходом. Оно случилось, потому что не могло не случиться. Оно не было следствием лишь последних пяти позорных лет. Оно является следствием всей истории народа.

К нему возвращался юмор и язвительная въедливость. Перед сном он вел долгие исторические диспуты со студентом, любил с ним спорить, до бесконечности рассказывая ему о прошлом народа.

— Есть разные теории о происхождении славян, — говорил он студенту. — Самая старая, считающаяся дилетантской, доказывала, что славяне были ближайшими соседями древних греков, а то и происходили из самой Греции. Потом, кажется, Шафарик доказывал, что славяне пришли в Европу с Балкан, с Юга. Другая группа ученых искала колыбель славян в Средней Руси, откуда славяне проникли в долины Карпат, на южные склоны гор, в долину Вага... Каждый ученый тянет в свою сторону. Знаешь, какова правда, мальчик? Славяне были всюду! Всюду! Уже в допотопные времена они были на юге, на севере, в наших долинах!

— Как вы можете это знать, пан учитель?

— Знать этого доподлинно я, конечно, не могу. Но иметь свою точку зрения имею право. То, что я утверждаю, я могу и доказать. Всюду здесь славянские названия. Кто пришел первым, тот и дал названье местности, разве не так? Тебя это интересует?

— Конечно!

— Может, я и ошибаюсь, мальчик. Но правда заключается в том, что нам есть что искать. Если этого не доищусь я, доищешься ты или твой сын. Вот так-то.

— Не знаю, что бы я за это отдал!..

— Это вещи, которые мы никому не должны позволить у нас отобрать. Вот так, как сейчас отобрали нашу землю...

Постепенно вечерами он прочитал юноше целый курс славянской истории...

Учитель уже выздоравливал. Выходя из шалаша, он оглядывал горы. Ему пришло в голову, что недалеко отсюда Черная долина, каменоломни, где работали Малыш с Матеем Мацко. Что, если они и сейчас там?

Он простился со студентом, взял ружьишко и каску, сел на телегу и поехал глубже в горы. Остановился над каменоломней, потом спустился в долину. Телегу оставил в лесной сторожке. Лесничиха посоветовала ему расспросить о земляках под Катыковцом.

Тетка из Млынечка худой рукой коснулась его раны и сказала:

— Вам бы надо здесь немного побыть, покуда она у вас совсем не зарастет. Хотя бы несколько дней. Может, в это время придет известие от наших мужиков.

Учитель вышел на порог — и тут увидел на дворе Зузану.

Они ничего не сказали. Только глядели друг другу в глаза, глядели и не могли оторваться, будто эта минута могла длиться вечно.

Глава V

1

Она шла на несколько шагов впереди, будто ускользая от него. Временами она останавливалась, чтобы показать какой-нибудь красивый вид или уголок гор, который любила.

— Видите вон тот склон? Там сплошной орешник. Ранней весной орешник зацветает прежде, чем зазеленеет. Тогда весь склон становится белым-белым, как пух.

— Вы прирожденный ходок, Зузана. И кажется, прирожденный поэт.

Зузана чувствовала себя скованной, она не могла идти свободно, как всегда ходила в лесу по поддающемуся, пружинящему под ногой слою мягкого перегноя, ощущая упругость своего тела и легкость дыхания.

Она все еще не могла избавиться от потрясения той минуты, когда увидела вдруг учителя — похудевшего, с горящим взглядом. Он так смотрел на нее, словно она была каким-то чудесным явлением.

Это было неожиданно, но так закономерно...

Зузана пошла быстрее. С обеих сторон тропинки росли раскидистые кусты бузины.

— Поспела черная бузина, — сказала она. — Значит, осень уже пришла...

— Я люблю осень. — Учитель оглянулся вокруг. — Эти прорывы света, игра красок, открывающиеся дали...

— И я тоже. Пожалуй, больше всех других времен года. — Зузана встретилась с ним взглядом и потупилась.

— Почему?

— Да так, сама толком не знаю.

Теперь они шли бок о бок. Через минуту Зузана снова вырвалась вперед. Она удерживала образовавшуюся дистанцию, чтобы он не догнал, не схватил ее за плечи, не попытался поцеловать, как это уже случилось однажды: она тогда споткнулась, — и он бросился ей на помощь и тут же схватил ее в объятия. Она едва сумела от него ускользнуть...

— В конце лета я всегда немного пугаюсь. — Зузана старалась сохранить естественный веселый тон. — Не успеешь как следует насладиться летом — а уже осень на дворе. Потом начнешь оглядываться вокруг, словно хочешь наверстать все, что пропустил... И всегда найдется что-то, что меня порадует: ой-ой-ой, сколько еще цветов! Осенние цветы тоже ведь красивые, о плодах я уж и не говорю. Так постепенно и привыкаешь, и смиряешься с осенью, с жизнью, с собой... Это смирение наполняет каким-то покоем, надеждой, что снова придет весна.

— Всегда приходит весна, правда?

— Конечно! Только иногда не верится, что доживешь до нее.

— Да. Всегда ведь кто-то не доживает до весны. Когда-нибудь это будем мы. Но осень не будет от этого менее изобильной, а весна — менее радостной.

Он задумчиво глядел на отвесную белую скалу, поросшую кедрами.

Молча прошли они через скальные осыпи, из которых торчали неподвижные кусты чертополоха. Здесь, под массивом скал, простиралась лужайка, усеянная отдельными белыми глыбами. Отсюда был прекрасный вид во все стороны. В солнечной долине раскинулась деревня, над ней на косогоре подымались из зелени почерневшие деревянные кресты кладбища. На другой стороне, в темной, узкой долине, поблескивала на солнце красная крыша лесной сторожки, желтоватые бревна и грани поленьев на прогалинке возле тропинки. Остальная часть долины была покрыта длинной тенью.

Учитель сел на камень.

— Как здесь красиво. Красиво и тихо, — сказал он.

В низкой траве поблескивали пушистые головки одуванчиков и фиолетовые стебли подорожника. Дальше раскинулся малинник, за ним все поглощал зеленый цвет — деревья, кусты, заросли бурьяна.

— Я хочу тебе что-то сказать, Зузана. — Он встал, подошел к ней, спокойно положил руки ей на плечи и усадил на валун. —

Это очень важно. — Он смотрел ей прямо в глаза.

Голубое небо, легкие облака. Темные кроны кедров на отвесной скале.

У нее не было сил убедить его, что то, что он хочет сказать, должно остаться невысказанным. Об этом не надо говорить, думала она, но не могла оторваться от его взгляда.

Так они и глядели друг другу в глаза.

— Я чувствую себя старым, Зузана. Старым и никчемным. Однако отваживаюсь сказать тебе, что я тебя люблю.

— Я знаю, — ответила она, опустив голову.

— Мы должны любить друг друга, нам нельзя пропускать ни одной минуты.

— Я не могу, Юрай, не хочу обижать Юлию.

— Об этом, — он указал на горы, за которыми лежал город, — ты забудь. Постарайся забыть.

— Не могу.

— Ты не должна об этом думать. — Он взял ее лицо в ладони и, приблизив к нему свое лицо, продолжал упорно глядеть ей в глаза. — Сейчас для тебя должна существовать только эта минута, эти луга, эта скала, эти кедры. Все остальное должно исчезнуть — прошлое, весь мир, все должно потерять значение, как мы до сих пор не имели значения для прошлого и для остального мира...

— Так нельзя, Юрай.

— Так должно быть, Зузана. У нас нет иной возможности.

— Да, — сказала она, отдаваясь его объятиям. — Да, ты прав, у нас нет иного выхода.

Он начал целовать ее, но она снова вырвалась.

— Нет, Юрай. Я люблю тебя, да, я не могу этого скрывать. Но это — нет. Это плотское, унизительное. Прошу тебя, не надо, — защищалась она, отрывая от себя его руки.

— Это плотское, Зузана. Это плотское, да, просто-напросто животное. Но для меня это одна-единственная возможность убедиться, что я еще живу. Что это ослабевшее, измученное тело еще слышит, еще чувствует, еще живет...

— Прости, — сказала она, поднимаясь. — Я не хочу тебя обидеть.

— Могу я идти с тобой, Зузана?

— Лучше не надо. Не сегодня, нет. Может быть... может быть, в другой раз.

— Мы теряем время.

— Знаю...

Она отступила. Теперь их дороги разошлись.

— У меня есть только ты, — сказал он. — Кроме тебя, у меня нет ничего на этом свете.

— Завтра, завтра приходи! — быстро сказала Зузана, убегая.

На тропинке, скрытой в кустах бузины, она обернулась. Он

все еще стоял под белой скалой, глядя ей вслед. Они кивнули друг другу.

Она вернулась в избушку. Всю ночь глядела на почерневшие бревна, слушала шуршание мышей.

Я должна решиться, говорила она себе. Останусь тут, рядом с Юраем, и завтра вечером впущу его в этот дом, и мы будем вместе сидеть у огня, будем говорить обо всяких не имеющих значения пустяках, как муж и жена, и утром я проснусь и увижу его рядом... Или сделаю это, или уйду к невестке — уйду отсюда на рассвете, и завтра меня здесь уже никто не увидит.

Да, надо было принять решение.

Кто ты такая, Зузана Батизова? Кто ты, чего ты хочешь в этой жизни?

Сначала она была маленькой девочкой. Деревенские женщины давали ей яйца, сваренные вкрутую. Ничего больше о тех временах она не помнит.

Потом она ходила в школу. В класс вошел законоучитель, он легко ступал в мягких, начищенных до блеска ботинках, в светлых отутюженных брюках без единого пятнышка. Зузана никогда еще не видела такого пана, он был так хорошо одет... Говорил он тихим голосом и всегда гладил Зузану по золотистым волосам. Он был совершенно непохож на деревенских, у которых голос гудел, как из бочки, а каждое второе слово было отвратительной бранью. Он был другим. Зузане тоже хотелось стать другой. Тогда она сказала, что станет учительницей.

Семья приняла это как шутку.

Со временем, однако, уступили. Пусть идет в школу, если уж так хочет. Каждое утро семь километров по горе к поезду, вечером — семь назад. В школе она была вечно сонной, голодной, с трудом запоминала объяснения учителей. Но все же это были ее лучшие годы.

Она бы доучилась, если бы не заболел Лацо. Тогда потребовались деньги — много денег. Ей пришлось пойти работать, и она была счастлива, что ее взяли на место помощника учителя. Она преподавала ручной труд, весь ее заработок съедали санатории Лацо. Потом он умер, осталось трое его малых детей.

Все это время промелькнуло невероятно быстро. И вот Зузане тридцать лет, и ничего в прошлом, что бы она могла назвать жизнью.

Перед ней никогда не стояло выбора. Она не могла раздумывать над тем, что она любит, а чего не любит. Ее жизнь была только исполнением долга. Сейчас она это поняла.

Завтра она уйдет. Уйдет рано утром. Или нет: она подождет Юрая и все ему объяснит. Нехорошо убегать, не простившись: он не заслужил такой обиды. Нет, ей нечего бояться. Это в ее силах.

Все утро следующего дня она посвятила Магде и малышу.

Оба уже шли на поправку.

— Теперь вы обойдетесь и без меня, — сказала она вроде бы в шутку. — Мне бы хотелось сбегать проведать детей брата...

Но она понимала, что ждет Юрая, что должна его видеть.

Незадолго до полудня из деревни прибежал мальчик.

— Тетка, тетка! Пришли немцы, их полна деревня! К леснику тоже пошли — говорят, там прячутся партизаны!

Не помня себя Зузана выскочила из дому. Взбежала на холм, остановилась на лужайке над обрывом. На дороге были солдаты. Со всех сторон они приближались к дому лесника. Вот несколько из них вошло внутрь...

Зузана медленно опустилась на землю, вцепилась пальцами в низкорослую травку и, оторвав похожий на узкую ладонь листок подорожника, начала его грызть.

2

Бои шли уже третью неделю. Повстанцы защищали дорогу на Быстрицу. Она извивалась среди непроходимых лесов, таких густых, что белка могла, не перебегая по земле, перескакивать по верхушкам с одной ели на другую. Упорные бои шли за каждую пядь земли, каждая скала над дорогой превращалась в крепость, которую повстанцы были полны решимости не отдавать, но в конце концов вынуждены были отступать перед превосходящими силами врага. И всякий раз находились такие, что говорили: хватит, я больше не отступлю — Штефан читал это по лицам, закаменевшим от решимости, сосредоточенным на единой цели. Такие оставались на позиции даже после приказа об отступлении, и командиры считали их гибель случайной потерей. Штефан понимал, что тут не было никакой случайности. Было непоколебимое решение: сейчас речь идет о моей деревне, вот об этом холме, где я играл в детстве, — значит, пришел мой черед. Мужчины знали, что идут на смерть, знали это с той самой минуты, как в первый раз об этом подумали, и потом думали уже только о том, чтобы захватить с собой как можно больше гитлеровцев. Зачем попусту беспокоить святого Петра у небесных врат? Пусть уж впускает сразу целую процессию.

Штефан понимал, что означают эти жестокие солдатские шутки. Ему всегда хотелось остаться с теми, кто оставался. После каждого приказа об отступлении он колебался, не подождать ли ему, пока немцы не подойдут совсем близко, чтобы добить хотя бы человек двадцать, и приберечь последнюю пулю для себя. Но в конце концов перед его мысленным взором мелькало лицо Магды, укоризненный взгляд Терезы Гусариковой — а как же, ведь он в ответе и за жизнь Малыша, который, конечно же, останется с ним.

Что я скажу его матери, спрашивал он себя и усмехался тому, что всякий раз забывал: ведь если он останется лежать здесь, то потом уж никогда никому ничего не скажет. Мертвые молчат, и никто никогда ни о чем их больше не спросит.

— Сегодня мы им зададим! — сказал он Малышу, когда в утреннем сумраке трепетно взвилась ракета, означавшая сигнал к атаке. — Сегодня мы им дадим прикурить, парень.

Загрохотала орудийная канонада.

— Это же наши! — изумился Малыш. — Еще никогда у нас тут не было такой силы, вот это мы им даем, вот это даем!

На горизонте появились советские "ястребки" и бомбардировщики. Они налетали на фашистские окопы, трещали пулеметные очереди. Там, где у немцев была сконцентрирована техника, бухали бомбы. Эхо усиливало звук, от грохота чуть не лопались барабанные перепонки.

— Вот это да, вот так и должно быть, ребята! — бормотал Штефан, и глаза его встречались с возбужденным взглядом Малыша. — Сегодня. Сегодня мы атакуем.

Человеческий крик, могучее "ур-р-ра!" заполняет долину.

Это не одна из тех самоубийственных атак, на которые отваживались отдельные командиры. Это подготовленная, продуманная акция. Залечь и стрелять, снова бежать, снова залечь. Немцы открывают ураганный огонь. Малыш прыжком бросается в окоп — это немецкий окоп, братец, это еще минуту назад был немецкий окоп! Малыш кричит и палит как одержимый, сбрасывает каску, насаживает ее на палку и высовывает из окопа, ловко отползает в сторону и, когда по каске ударяет очередь, высовывает свою рыжую голову из окопа и целится туда, откуда стреляют немцы.

— Ты эти забавы брось, — урезонивает его Штефан, однако и ему понятна радость парня: ведь совсем недавно это был немецкий окоп, братец, а неделю назад — наш!

Три недели назад немцы были над Свитом, там мы потеряли из виду учителя, потом мы отступили на Кветницу, а когда нас атакой с воздуха выкурили и оттуда, мы стянулись к Горнаду. Всюду мы отступали, но всегда с жестокими боями. Вернарска Теснина завалена валунами, стволами деревьев, щебенкой, три дня мы укрывались за этим завалом, три дня отбивали атаки немцев. И снова отступление до самого Пустого поля, до Телгарта. Дальше отступать некуда. Когда окапывались у Бесника, знали, что оттуда уже не отступим.

Сегодня будем драться как бешеные, ребята. Ничего другого не остается. Не откроем дороги к верховьям Грона и Быстрице.

Эта атака была необходима.

— Теперь мы их немножко погоним. Пусть и они испытают, как тут хорошо бегать! — смеется Малыш, весь черный от пыли.

Бой утих уже к ночи. Но скоро небо задрожало от гула са-

молетов — это советские самолеты подбрасывали боеприпасы и оружие. Горы ночью не спят, они полны тревожного гула, эхо несется из долины в долину.

Штефан смотрел в темное небо и думал о Магде — может, в эту минуту она рожает, может, как раз сейчас пеленают его сына... Он бы добрался до дома: пусть дороги как угодно охраняют, он знает здесь каждый камень, каждую выбоину. Только на этом участке ни на минуту нельзя оставить пост. Здесь на счету каждый партизан, каждая винтовка.

Здесь никто не знает, когда придет его час, та минута, когда он скажет себе: а теперь я не отступлю больше ни на шаг, прощайте, друзья...

3

— Ради бога, пан учитель, бегите! — Старушка, мать лесника, умоляюще сложила ладони. — Бегите, скройтесь, немцы идут!

— Немцы?

Учитель выглянул из окна. Поздно.

— Если они вас тут найдут, всех нас перестреляют! — в отчаянии бормотала старая пани. — Спрячьтесь хотя бы в погреб, куда-нибудь да спрячьтесь!..

Он отошел от окна, сел за стол. Из миски с похлебкой струился пар. Вокруг стола сидели дети. Учитель взял половник и начал разливать похлебку в тарелки. В голове металась одна мысль: уже поздно, уже поздно.

Двери распахнулись. В комнату вошла группа солдат. Офицер улыбнулся, адъютант даже поздоровался.

— Топры тень, мы искать партизанен, господин лесник.

— Здесь нет партизан, — ответил учитель.

Он начал понимать, что его приняли за лесника. Видимо, это были не здешние немцы, а из Германии, здешние бы узнали лесника. Старушка закрыла лицо фартуком и в голос разрыдалась.

— Мы все же путем искать, — сказал адъютант.

Учитель только пожал плечами:

— Пожалуйста, ищите...

Сначала обшарили комнату, чулан, потом погреб, хозяйственные постройки. Это была обстоятельная работа. Ни одна кипа досок не осталась целой. Штыками проткнули каждый мешок с картошкой, каждый сноп соломы. Если бы он бежал, он был бы уже на том свете, говорил себе потрясенный учитель. Ему повезло. Но лесник может каждую минуту вернуться: он приходит домой обедать. Вот они удивятся, когда увидят сразу двух лесников! Учитель снял одолженную куртку лесника, которая пока

что сохранила ему жизнь, и ждал, что скажет офицер. Я не партизан, я беженец, ответит он ему. По лицу учителя стекали струйки пота.

Немцы работали быстро.

— Притем в трукой рас, — сказал адъютант.

Офицер все еще улыбался. Учитель перехватил его взгляд, и в голове его сверкнула фантастическая мысль: а что, если этот человек знает, что это я — тот, кого ищут? Что, если он знает?..

Офицер подошел ближе, погладил меньшую девочку по светловолосой головке, потом махнул рукой и вышел вон.

— Ушли! — выдохнула, не веря себе, старая женщина. — Какое счастье, боже милостивый!

Она перекрестилась.

— Чего они хотели? — спросила младшая девочка.

— Приходили посмотреть на нас, — сказал учитель.

— А они на нас и не посмотрели, — сказал старший мальчик.

Никто ему не ответил.

Учитель отодвинул нетронутую тарелку с похлебкой, вышел на улицу. Сел на крыльце и закурил сигарету.

Его глаза сразу увидели обрыв под скалой. Там через малинник продиралась фигурка, он сразу ее узнал — это была Зузана. Учитель вернулся в лесничество, взял палку, простился со старой пани и с детьми.

— Вы больше не придете, дядя? — спросил мальчик.

— Нет, больше не приду, — ответил он. — Теперь твоя очередь прийти меня навестить. Буду ждать тебя летом, хорошо?

— Хорошо, — кивнул мальчик.

Учитель вышел из дома, пошел через низкую поросль. Лес стоял недвижный, осоловевший от полуденной жары, всюду царила тишина. Учитель понемногу успокаивался, примеривался к этой тишине, из головы уходили все мысли, он лишь вслушивался в звук собственных шагов по высохшей траве. Двигался он совершенно машинально.

Зузана мчалась навстречу — она бросилась к нему в объятия.

— Ты жив, Юрай, они тебя не убили!

Зузана прижималась к нему, он чувствовал бурное биение ее сердца, ощущал горячее дыхание и горячие слезы. Жизнь понемногу возвращалась к нему, давала себя знать болью в сердце.

— Зузана, — проговорил он, не веря сам себе. — Зузана.

Склонился к ней, поцеловал ее. Боль в сердце — это была никогда еще не испытанная им радость. Учитель знал, что ночью он должен будет уйти, он не может оставаться здесь, не может вернуться и в городок, который так гордится своим почтенным возрастом, своими семью столетиями. Другой возможности, кроме как пробираться туда, откуда долетает канонада, у него нет. В эту минуту он понимал, что ему остался только один-единственный вечер, несколько коротких часов. Несколько часов —

против всей прожитой жизни. Он глядел в глаза Зузаны и знал, что боль в сердце — это радость. Здесь им нечего было опасаться, здесь они были одни, затерянные среди зелени.

4

Уже месяц ничего не менялось. Повстанцы захватывали и снова теряли позиции, деревни, вершины, скалы, участки дороги. Осень наступала все решительней, лес напитался влагой, с самого вечера падала роса и утром держалась изморозью на паутинках, на сухих стеблях травы. Ночью становилось все холоднее, а когда ударили дожди, линия фронта превратилась в сплошное жидкое месиво. При каждом приказе об отступлении Штефан переживал одно и то же чувство. Он должен был превозмогать в себе желание на этот раз не отступить, на этот раз остаться на месте. Злобно рявкал на Малыша: "Чего не бежишь, ты, черт?" А Малыш скалил зубы в ответ: "Только после вас, ваше благородие, только после вас!"

Однажды утром из лесу вынырнула знакомая фигура. Штефан с Малышом не поверили собственным глазам: это был учитель.

— Откуда вы взялись, пан учитель?

— Я знал, что вас нужно искать у первого завала на этой дороге. Так что найти вас было проще простого.

— Откуда же вы идете? — спросил Штефан — он даже смутился, столько желания узнать о доме звучало в его вопросе.

— Из Черной долины.

— Что там новенького? — спросил Малыш.

— Я видел там одну красивую девушку. Ее зовут Маринка... Она все о тебе спрашивала, — подмигнул учитель.

У Малыша вспыхнули уши.

— И я ей все о тебе рассказал. Даже то, как ты своровал в музее птичку.

— Ну, это уж лишнее! — рассердился парень.

— Встретился там с твоей женой, Штефан.

— С Магдой... Как она?

— У тебя сын, парень.

Штефан ахнул, оперся о бревно, выпучил глаза на учителя.

— Когда вы ее видели?

— Вчера.

— Вчера? Вы же говорили, что идете из Черной долины.

— А Магда и живет в Черной долине.

— Почему?

— Спряталась в надежное место.

— А в городе ей грозила опасность?

— Грозила.

И учитель рассказал ему все как было. И про пани Подлипкову, и про немца, и о том, что ребенок родился недоношенным.

— Но все уже в порядке, — продолжал он. — Тетка из Млынечка их приняла, на маленького никому не давала дыхнуть, сама его согревала, кормила, укачивала. Все хорошо, он уже крепкий бутуз, Магда здорова — просто расцвела...

Штефан стоял, потрясенный.

— За сына! — сказал он, когда при перестрелке залег в окопе.

Он все думал о том немце, который хотел застрелить его Магду, его ясноглазую жену, его еще не родившегося ребенка.

— Пан учитель, вы все еще боитесь, как бы ненароком не убить какого-нибудь немца? — шутил Малыш.

— Твоя правда, Малыш. Я бы с большим удовольствием палил в воздух.

— И вы не стреляете?

— Нет, что ты! Ты же сам видел: я целюсь по немецким окопам.

— Но стреляете, зажмурив глаза, верно?

Учитель только пожал плечами.

Погода испортилась, дожди лили день и ночь. В окопах стояла вода. Все намокло, партизаны еле двигались в сырой одежде. Редко выглядывающее солнышко ничего не могло просушить.

Когда дожди прекратились, выяснилось, что партизаны отрезаны от тыла. Одинокий отряд повстанцев. У них было несколько пулеметов, патронов оставалось все меньше. Партизаны ходили как тени, многие схватили простуду от сырости и холодов. Из-за постоянной смены позиций они даже не успевали строить себе настоящее убежище, чтобы обогреться и просушиться. Ситуация час от часу становилась все более тяжкой.

— Отступаем, ребята, — сказал наконец капитан.

— Зачем нам отступать? — спросил Штефан. Он предчувствовал, что такая минута настанет. Что придет приказ об отступлении, который он будет не в силах выполнить. — У нас еще есть силы!

— У нас есть как раз столько сил, сколько требуется для отступления, — возразил капитан, не сердясь на строптивость Штефана, словно только этого от него и ожидал.

Это был тот самый капитан, которому солнечным августовским утром Штефан рапортовал во дворе казармы: "Пятьдесят парней вызвались принять участие в восстании, пан капитан!" Теперь он был небрит, исхудал — кожа да кости. Одни глаза у него лихорадочно блестели.

— И как раз столько боеприпасов! — добавил он.

— Мы должны выдержать. Подойдут подкрепления, подкинут боеприпасов, — стоял на своем Штефан.

— Никто не подойдет, камрад. Уже три дня мы ничего не по-

лучаем. Потому что есть приказ об отступлении.

— Вы пропустите их... к Быстрице?

— Мы больше не удерживаем дороги на Быстрицу, ребята.

— Как так? А что же мы удерживаем — полные штаны? — взорвался Штефан.

— Ситуация изменилась. Немцы начали с юга генеральное наступление, проникли к нам в тыл. В Венгрии их припекло, им понадобилась именно эта дорога на Быстрицу. Наши держали, пока могли. Вчера получили приказ об отступлении. Мы больше не удерживаем никакой дороги, а просто не имеющую значения территорию.

"Этого ты не должен был говорить, — подумал Штефан. — Этого ты не должен был говорить, капитан".

Известие лишило партизан последних сил. Теперь у них не осталось сил даже на то, чтобы без потерь отойти с линии обороны. Отступали беспорядочно, оставляя на пути много погибших.

Стянулись к Пустому полю, на те самые места, которые месяц назад с такой радостью занимали. Как тогда радовался Малыш, вскочив в немецкий окоп... Теперь они еле плелись.

Это конец, говорил себе Штефан, теперь надо только шагать и шагать по сырому лесу, а потом где-нибудь как следует окопаться и принять последний бой.

В тот день, когда немцы окончательно овладели Телгартом — жестоко пострадавшим селением, с черными руинами и торчащими трубами, — оставшиеся в живых партизаны когда-то большого отряда узнали, что началась эвакуация Банской Быстрицы.

5

Словно тень, он перебежал улицу и стукнул в окно. Сквозь щелку в затемнении вырвался лучик света.

— Кто там? — спросил голос матери.

— Это я, мама.

— Ты, сынок? — Тереза Гусарикова неподвижно застыла на пороге. — Ты? — Она опомнилась, втянула его внутрь, захлопнула двери. — Уходи, сейчас же уходи, дай только я тебе заверну чего-нибудь поесть!

— Что случилось, мама?

Она казалась ему непохожей на себя, невменяемой, ненормальной. Руки тряслись, она металась по кухне как слепая. Сунула в мешочек каравай хлеба, несколько картофелин — это было все, что у нее имелось. Потом подбежала к статуэтке девы Марии на ночном столике у постели, вытащила из-под нее несколько крон.

— Хотела отдать, чтоб за тебя служили молебны, но лучше ты возьми. Беги, беги, спасайся, чтобы тебя не схватили!

— Зачем мне бежать, мама?

— Вчера тебя искали. Обыскали весь дом, соседей тоже перетряхнули, весь двор, курятник, сарай, подпол.

— Если меня искали вчера, значит, сегодня искать не будут, — сказал он и сел за стол.

Это была та самая комната, в которой он вырос. На печке стояли чугунные горшки, потому что их некуда было убрать, на постелях лежала одежда, под кроватью — гантели и эспандер. Статуэтка на ночном столике блестела, украшенная восковыми цветами, укрепленными на еловых веточках...

Он сбросил старую одежду, порылся в тряпье на постели, вытащил что-то, что еще можно было надеть и что хоть как-то могло греть.

— Все перевернули вверх дном, — повторяла мать. — Хотели тебя найти. Если найдут... убьют, не иначе.

— Не бойтесь, мама.

Малыш подошел к ней, неловко обнял, погладил ее поредевшие седые волосы, собранные в пучочек. Она закрыла лицо руками и тяжело, безудержно разрыдалась.

— Ну что вы, мама? Что случилось?

Он тяжело опустился на постель.

— Мишу взяли, — ответила она.

— Мишу?

Плечи матери сотрясались от рыданий. Она подняла лицо к Малышу. Теперь он понял, что ему показалось в ней странным. Эти истомленные, поблекшие от слез глаза.

— Взяли его и еще четырех мальчиков.

— Когда?

— Уж месяц как...

— За что?

— Говорят, будто бы они нападали на гимназистов, отбирали у них гардистские значки... На стенах расклеивали листовки... И... в нашем подвале прятали оружие.

— Ничего себе!..

— Пришли солдаты, перевернули весь дом. Нашли два пистолета. Потом их забрали, всех пятерых. Ни одному еще нет пятнадцати. Отвезли в Левочу. Как я об этом узнала, помчалась туда. Я ведь ту дорогу измерила не раз, мы ведь ходим туда каждый год с процессией на прощеное воскресенье. Никогда я столько не молилась: почти всю дорогу проползла на коленях. Дева Мария, матерь божья, сохрани мне сына, сохрани мне его. Всю ночь ползла, к утру была перед тюрьмой. Меня к нему не пустили. Ночевала я у врат костела, всю ночь молилась, глаз не сомкнула, молила деву Марию, чтоб она заступилась за него перед своим сыном, чтобы покарала меня, а не бедного ребенка. На третий день мне сказали, что мальчиков отправили куда-то в рейх. Так я его и не увидала. Так на него больше и не взглянула!

— Успокойтесь, мама. Миша еще мальчик. Не будут же они убивать ребенка. Успокойтесь, он, конечно, вернется.

Но Малыш говорил так неуверенно, таким дрожащим голосом, что мать разразилась новым взрывом рыданий.

— Кто знает, что он там вытерпит! Что вытерпит! И все из-за меня, за мой грех! Господь милостив, но памятлив, ничего не прощает, не забывает и мстит детям детей!

— Успокойтесь, мама, успокойтесь!

— Ты беги, сынок. Беги, спасайся, каждую минуту они могут быть здесь. Они уж давно тебя ищут. Меня забирайте, кричала я им, меня берите, кому я нужна на этом свете, а детей не трогайте, детей в покое оставьте! Стражник Вавра мне сказал, что я плохо воспитала сыновей. Нет, хорошо я их воспитала, кричу я ему, это вы их погубили, вы не давали им есть досыта, а у самого брюхо как шар, все бы на свете рад сожрать! — Мать сложила молитвенно руки, посмотрела на богородицу и сказала: — Теперь я даже молиться не могу.

Тяжко было Малышу оставлять ее одну в пустом доме, тяжко уходить в ночь. Он уносил только хлеб в узелке — целый каравай. Теперь он знал, почему хлеб был такой черствый: потому что Миши не было дома. Он не должен был брать этот хлеб у матери, ведь это было последнее, что у нее было.

Усталый, с разбитыми ногами, он остановился на рассвете возле каменоломни в Черной долине. В сырой мгле вырисовывалась деревня, холодный воздух оглашали крики петухов.

6

На рассвете они свернули с дороги в лес. Темнота теперь ожила. В тех местах, где в ней появились прорывы, между деревьями сквозили лучи света.

Шли быстро. Впереди Штефан в черном плаще, за ним Малыш в легкой куртке, потом учитель. Он едва поспевал за ними.

Тревожная, напряженная жизнь вконец измотала их, они уже не думали, а только автоматически шагали, ели и при любой возможности спали, спали даже стоя. Так добрались они до Черной долины. Там они только пришли в себя, по крайней мере двое из них. Штефан там в первый раз увидел сына, а Малыш сбегал домой и вернулся с известием, что у него забрали брата. Мысль о мести гнала его дальше, на другую сторону котловины, где, по слухам, действовал большой и хорошо вооруженный партизанский отряд. Учителю было все равно. Он с большей охотой остался бы в городе, если бы не было объявлено о поголовной перерегистрации в полицейском участке. Прежде всего, придя в Черную долину, он спросил о Зузане.

— Зузаны здесь нет, — сказала строгая тетка. — Она ушла к невестке и братниным сиротам. Решила, что Магда обойдется теперь без нее.

Учитель был обескуражен. Неужели у нее не было ни капли интуиции, неужели она не могла догадаться, что ей нужно было его ждать здесь? Теперь, когда начался их роман, который столько обещал, обещал дать новое содержание их жизням, теперь для нее не должно было существовать ничего, кроме него, никакой невестки, никаких братниных детей!

Тетка приготовила ему душистую ванну из настоя лечебных трав. После того как они так долго мерзли, жили в грязи и убожестве, он почувствовал, как его тело освободилось, поры раскрылись. Он вытерся конопляным полотенцем и надеялся, что бросится в полосатые перины и будет спать. Но не заснул. Не сомкнул глаз. Такая бессонница у него бывала в последние годы еще дома. Вторая ночь, когда он глядел в темноту и слушал ровное дыхание Малыша, была еще тяжелее. После физического напряжения последних дней возбужденный организм оказался способным на проблеск ясновидения. Но в том, что учитель в ту минуту увидел ясно и определенно, не было ни капли радости. Он понял, что уже все поздно, поздно, поздно. Зузаны не было. Он вспоминал ее жаждущий взгляд, ее решимость отдаться, ее страстный шепот, что он, только он, ее первый и единственный мужчина. В ту минуту она не думала о будущем, в ту минуту и она была сильной.

Она не должна была уходить, должна была ждать его, они могли быть счастливы любовью, пока все вокруг них не придет в порядок. Потому что порядок в окружающем мире окажет влияние и на Зузану: кончится война, и она будет снова на все смотреть по-иному, может быть, даже и на него, и на свою теперешнюю одержимость любовью. Этого он боялся, но это был не единственный страх, который не давал ему спать...

Он тащился ранним утром по крутому склону и не мог дождаться, когда же Штефан даст сигнал на отдых. На дне долины лежала мгла, но постепенно из нее проступила красная крыша мельницы, струйка дыма. С водосливной плотины с шумом падала вода, сверкала в воздухе — казалось, влажный осенний ветер вздымает легкие капли и несет их вверх, на гору, на опушку леса: учитель просто чувствовал их на лице, мелкие, колючие, освежающие.

День был на редкость солнечный.

Интересно, что глубокой осенью выдался такой день, думал учитель. После стольких дождей лес еще стоял, весь напитан ими, даже под навесом скалы, где они спрятались на отдых, было мокро.

— Передохнем малость и двинем дальше, — сказал Штефан. — Тронемся с тем расчетом, чтобы дотемна перейти на другую сто-

рону котловины... Переночуем там.

Учитель уснул, едва успев сесть, и спал как убитый.

Под вечер они перешли реку, потом перед ними оказалось полотно железной дороги.

— Интересно. Хотел бы я знать, осталась здесь охрана на каждых ста метрах? — проворчал учитель.

— Год назад гардистам нечего было делать. Им уже осточертели прогулки по городу, вот они и ходили вдоль путей, — засмеялся Штефан.

— Но пути взлетали на воздух прямо у них под носом, — поддержал его Малыш.

Подошли к путям, один за другим перебежали на другую сторону. Сначала Малыш, потом Штефан. Последним бежал учитель, споткнулся, упал между рельсов, растянулся, как младенец, узелок у него рассыпался. Только он поднялся, откуда-то грянул выстрел. Перебежали в кусты. С другой стороны, с холма, от поворота железной дороги, неслись выстрелы. Малыш бросился за скалу, потом застонал.

— Вот черт, я получил...

Вокруг его башмака натекла лужица крови.

— Уходите, — сказал Штефану учитель. — Помоги Малышу, а я постараюсь вас прикрыть.

— Не можем мы вас тут оставить, — сказал Малыш, — или все втроем, или никто.

— Будешь ты слушаться или нет? Не забывай, я твой учитель, — повысил он голос.

Становилось ясно, что немцев много, что очень скоро они окружат скалу. Втроем им отсюда не уйти.

— Идите, я все понял! Штефан, тащи его! — кричал на них учитель, как на малых ребят.

В последний раз он почувствовал себя в роли наставника, который должен быть всегда прав, и все тут, должен диктовать свою волю и заставлять себе повиноваться. Он во что бы то ни стало принудит их к отступлению!

— Ты отвечаешь за его жизнь! Другой возможности нет, один должен остаться! — Он дал им понять, что ничего не скрывает, что на этот раз открыл им все карты.

Штефан понял. Молча пожал руку учителю, сжал зубы, поддержал Малыша, а через минуту ему пришлось взвалить его на плечо. Наконец они исчезли среди зарослей.

— Вот и хорошо, — сказал себе учитель.

Штефан вчера впервые увидел сына, а Малыш должен жить за своего брата — оба должны спастись и добраться до партизанского отряда, если он только есть на той стороне.

Теперь учитель целился тщательно, стрелял хладнокровно, насколько это было возможно, наблюдал за фигурками, которые, перебегая, подкрадывались все ближе, а он переползал и

стрелял с нескольких мест, используя хитрости, которым научился у Штефана.

— Хотя бы раз в жизни должен я сделать что-то значительное. Я еще никогда не попадал в цель ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова, а теперь вот обязан! — Он говорил это вслух, злой и ироничный по отношению к себе. — Гляди-ка, вот она, окончательная, конкретная цель жизни — умереть, как подобает мужественному воину.

Никогда в жизни его мозг не работал с такой четкостью, даже взрывы мин его не оглушили, не вывели из равновесия. Он расчетливо передвигался по вымоине, крепко держал оружие. Эта местность вся была изборождена ямами, наподобие окопов, словно еще с древнейших времен земля готовилась к обороне. Он отступал понемногу, он не мог допустить, чтобы его настигла пуля, пока он не выполнит своей задачи, пока те двое не окажутся в безопасности. Теперь он выигрывал время, держал его на своих плечах, как Атлант небо!

Закат был кроваво-красным. По лицу учителя стекал пот, а ветер все еще приносил освежающую водяную пыль с запруды, затерянной в долине. Фигурки подбирались все ближе, после первого взрыва гранаты у него покатилась вниз по откосу каска, звонко ударяясь о скалы. Надо было спешить — чтобы ни одна граната не осталась неиспользованной.

Взяв в руки последнюю гранату, он высунулся из-за скалы под вражеские пули, глаза у него слезились от солнца, и он вдруг понял, что сегодняшний солнечный день и кровавый закат были подарком для тех, кто любил солнце...

Он с облегчением дышал — дышал полной грудью.

Глава VI

1

Зузану радовало, что она может побыть со своими племянниками. Однако деревенский домишко, точь-в-точь такой же, как их изба под Катыковцом, был переполнен. Она изо всех сил старалась быть полезной, но все же не могла избавиться от ощущения, что стесняет чужих людей. Наконец решила, что ей не остается ничего иного, как вернуться в город. Там она будет жить, никого не стесняя, со временем заберет к себе племянницу, станет ее воспитывать. Это будет целью ее жизни.

Хмурым осенним днем она вновь оказалась на вымощенной булыжником площади, такой же безлюдной, как и в тот далекий год, когда она пришла сюда впервые. Как это было давно! Какая она была наивная, взволнованная! Как боялась этого сомкнутого строя домов с седлообразными крышами и высокими

деревянными фронтонами. Она с неожиданной, непонятной для себя радостью услышала в парке удары мяча. Посмотрев через забор, увидела волейбольную площадку и нескольких игроков. Тогда она еще не знала, что в этом городе отдыхают все порознь, разделяясь по религиозным убеждениям или по политическим пристрастиям.

— Кастовое разделение имеет свои преимущества, — вскоре объяснила ей пани Юлия. — Общаются между собой люди определенного слоя — венгры с венграми, евреи с евреями, крестьяне с крестьянами. По крайней мере меньше сплетен! — усмехнулась худенькая пани, которая со всем на свете умела ладить.

Но сплетен было достаточно. Зузане приходилось их выслушивать в изобилии. Заказчицы, которым она шила, их просто обожали.

— В этот сезон мне и не нужно бы нового платья, но не могу же я опозориться, разве я хуже какой-то пани почтмейстерши? Между нами, барышня-учительница, вы, конечно, знаете, что ее муженек получил это место только за политические заслуги, хотя всем известно, что он не семи пядей во лбу... Когда молодой Краус избил сына вдовы Гусариковой — вы, конечно, помните эту историю, барышня-учительница? — так, представьте себе, пани почтмейстерша ополчилась на мужа так, что все соседи слышали: "Тебе бы только на диване лежать да пиво пить! — кричала она благим матом. — Где находится Африка, это ты вбил в свою тупую голову, а вот где гуляет твоя дочь, тебе неважно!" Представляете, как все потешались, барышня-учительница! Что вы на это скажете? Провинция, глушь, такие типы — страшно подумать. И приходится с ними общаться!

Зузана, набрав полный рот булавок, молчала. Зависть и соперничество между дамочками лили воду на ее мельницу, приносили ей заработок...

...Зузана быстро пересекла площадь, миновала запорошенный снегом парк, мясную лавку с ощерившейся свиной головой в витрине. Коснулась дверной колотушки в виде львиной головы с пустыми глазницами, вошла в ворота. Поздоровалась с барышнями Майеровыми, которые чем дальше, тем больше становились похожими на двойняшек, хотя между старшей — решительной барышней Амалией — и флегматичной барышней Эмилией была более чем десятилетняя разница в годах. О ноги Зузаны потерлась королева кошек Клеопатра, выгибая длинную спину, чтобы ее погладили.

Снова она очутилась среди четырех стен табачного цвета. Десять лет назад стояла она здесь одна-одинешенька, взволнованная, с расширенными глазами. Потрепанный чемоданчик со сменой белья, молитвенник и несколько образцов вышивок — вот и все, что у нее было с собой. Молитвы поддерживали в ней веру в добро и справедливость, образцы вышивок должны были

согревать ее душу красотой. Через некоторое время и то и другое превратилось в обязанность, перестало затрагивать душу. Она действительно осталась одна.

Потом появилась Магда, девушка, пышущая здоровьем, всегда улыбающаяся, задорная. Выскочив из вагона, она тут же оказалась в объятиях Штефана Возара. Зузана им обоим — и Магде и Штефану — была обязана многим. С ними она чувствовала себя не так одиноко.

Зузана подошла к окну и посмотрела на прозябший парк. Она уже знала, что после войны будет учить детей не только читать по складам да штопать носки. Теперь она была способна дать им нечто большее, у нее уже было кое-что за душой. В последнее время она многое узнала о человеческой любви и ненависти.

Она еще не придумала, чем ей заняться, как появился первый человек, который нуждался в ее помощи. Это была Тереза Гусарикова. С того времени, как взяли ее мальчика, она не могла прийти в себя и порой казалась Зузане просто помешанной.

— Это за мой грех меня господь бог наказует, потому что я тяжко согрешила. Я тогда уже пять лет как вдовела, была еще молодая, бедовая, поддалась соблазну. Ходила тогда стирать к пани архитекторше Грассовой. Знаешь, какая это была пани — властная, неприветливая, рада была три шкуры с нас содрать. А муж у нее был совсем другой человек, добрый, приветливый... Загребал он, наверно, огромные деньги: строил в Татрах отели, санатории, виллы для богачей. Иной раз за спиной жены совал нам деньги, и мне не раз перепадало. Знаешь, что в те времена для меня значила каждая лишняя крона: Янко ведь был маленький, одежка на нем просто горела, сколько ни съест, все голодный. Я, конечно, была архитектору благодарна, а потом его полюбила. И так случилось, что пани архитекторша уехала на воды, а он... Я одурела, потеряла голову, осталась с ним как-то вечером на вилле. Вот теперь меня за это отец небесный и трясет! Когда забеременела, архитектор приступил ко мне: от кого ребенок? "Не ваш", — сказала я ему, не могла я признаться, что это его ребенок, боялась, что он у меня его отберет, ведь у них-то с женой детей не было. Знаешь ведь, какие они, господа. Он на меня этак посмотрел брезгливо: "Вот не думал я, Тереза, что ты такая, что у тебя ни капли чести". Его рассердило, что я могла быть еще с кем-то! Знаешь ведь, как это бывает. Бесчестно всегда то, что делают другие. А когда это делаем мы сами, всегда найдется оправдание. Я-то знаю, со сколькими служанками он жил, но это его чести не марало. Родила я ребенка, в бедности его вырастила. За свой грех я поплатилась — город мне его не простил. Жила в позоре и бедности, а что было хуже всего, Янко это понимал, он знал, почему над ним издеваются товарищи, почему его называют сыном гулящей бабы. Тогда-то он и

начал красть. Они с молодым Чуваем обокрали музей, утащили оттуда чучела птиц; единственный, кто за него вступился, был пан учитель Краль. Никогда ему этого не забуду. Он отправился с моим мальчиком в суд в Левочу. Там решили, что Янко, мальчишка из аморальной семьи, навел на злое дело сына набожного и богатого почтенного крестьянина. Дескать, мой сын виноват, он должен уплатить судебные издержки и заплатить Чуваевым за дорогу и за потраченное время. Пан учитель это опротестовал, настоял, чтобы вызвали какого-то пана, который занимался охраной прав несовершеннолетних. Тот задал суду вопрос: мог мой тринадцатилетний сын навести на злое дело шестнадцатилетнего Чувая, здоровенного парня? Янко ему только до плеча дорос, он всегда был маленьким. И знаешь, они пересмотрели приговор! С той поры мальчик прямо лип к учителю, и это помогло ему сойти с дурного пути. Я уж думала, все плохое позади, радовалась, что дети мои взрослеют. И тем я утешалась, что они еще слишком молоды для этой войны. И вот он, удар! Я лишилась Миши, и кто знает, может, нет уже и Янко! Если бы ты знала, Зузана, сколько я молилась, сколько отбила поклонов божьей матери, но она не хочет, не хочет меня услышать. Если бы у меня были деньги, я попросила бы помолиться за моих сыновей пана священника. Я должна это сделать, должна раздобыть денег, много денег — пусть залезу в долги, пусть буду выплачивать их хоть до самой смерти, хоть руки до локтей обдеру, стирая! Пан священник имеют большое влияние, может, они могли бы что-нибудь сделать, спасти моего мальчика! Ведь достаточно их словечка, ведь все нынешние господа ходят в костел, слушают их проповеди.

Зузана высыпала на стол содержимое кошелька. Но этих денег было мало.

— Приходи завтра. Я что-нибудь да соберу, — сказала она Терезе.

Пойду попрошу у пани Юлии, решила она, хотя это и было для нее совсем не просто. Как она посмотрит в глаза Юлии? Как сядет в кожаное кресло, которое напомнит ей о Юрае, и останется с глазу на глаз с его женой? Я должна это выдержать, говорила она себе, человек должен научиться нести груз своих поступков. После войны все встанет на свои места, после войны все и решим. Тогда увидим, как разовьются эти отношения. Да никак они не разовьются. Зузана знала, что никак. Она бы не могла жить, зная, что отняла у Юлии мужа. Значит, она отступит. Вернее всего, барышня-учительница попросит о переводе, сменит декорации. Разница будет только в том, что раньше она уезжала, чтобы забыть, теперь уедет, чтобы иметь возможность вспоминать. То, что она пережила, она не отдаст никому, даже времени.

На следующее утро Зузана позвонила у ворот дома Краля.

— Как долго вы не показывались, дитя мое, — обрадовалась

пани Юлия. — Проходите, проходите, я вам что-то покажу.

Она провела Зузану в салон, куда очень редко водила гостей, и развела руками.

— Ну, что скажете?

Зузана беспомощно оглянулась.

— Что скажете, когда такая пожилая особа, как я, забирается на лестницу и перекрашивает стены? Разве это не сумасбродство? — На улыбающемся маленьком личике, всю жизнь оберегаемом от солнца и ветра, ожили следы былой красоты.

— Вы сами это красили? — искренне изумилась Зузана. Кому бы в такое время пришло на ум думать о цвете стен?

— Сама, конечно сама. Кто бы мне сейчас стал это делать? А стены в этом нуждались. Юрай очень ценил несколько старинных портретов в стиле барокко. Утверждал, что лучше всего они смотрятся на зеленоватом или сиреневатом фоне. Можете себе представить, что это за цвета? Как они оттеняют человеческое лицо? — Пани Юлия подняла тонкие брови. — В последние годы я не могла даже входить в салон, не то что принимать в нем гостей.

Она накрыла на стол в этой комнате, полной больших и мрачных портретов, Зузане всегда казалось, что они подавляют все вокруг себя, даже людей. Она попивала чай из шиповника, который в серебряных чашечках начисто утрачивал свой естественный вкус.

— Я пришла к вам с огромной просьбой, пани Юлия.

— В чем дело, дитя мое?

— Мне нужны деньги, много денег. По меньшей мере несколько сотен, а если можно, то даже тысячу. Не могли бы вы их мне одолжить?

— Что стоят нынче какие-то сотни, что стоит даже тысяча? — вздохнула пани Юлия. Принесла шкатулку слоновой кости, вынула из нее пачку банкнот и отдала их Зузане. — Сегодня деньги не имеют цены, на них ничего не купишь.

— Благодарю, сердечно благодарю, — сказала Зузана и в первый раз посмотрела Юлии в глаза: она не знала, сказать ей или нет, что она встретилась с Юраем.

— Вы должны приходить почаще, дитя мое, — как всегда, сказала ей пани Юлия.

Зузана кивала в ответ: приду, конечно приду. Торопливо поднялась и попрощалась.

После войны все встанет на свои места, а покамест надо держаться.

В доме барышень Майеровых она устало поднялась по темной лестнице. Из угла, где ее всегда пугали кошки, от стены отделилась тень.

— Не пугайтесь, пани учительница, — сказал мужской голос. — Я тут вас жду.

Она узнала Матея Мацко. Вид у него был жалкий, кожаное

пальто все оборвалось, лицо, давно небритое, заросло черной щетиной, глаза ввалились.

— Откуда вы взялись? — воскликнула она и, потянув его в комнату, опустила затемнение и зажгла свет.

Комната была непротопленной, неприветливой. Зузана теперь редко приносила в сумке несколько поленьев.

— Откуда вы взялись?

— Мне нужна ваша помощь. — Он опустился на предложенный стул. — Речь идет о голове, вы это знаете.

— Знаю, — сказала она.

— Вот уже несколько недель я прячусь в подвалах и всяких дырах. За время пещерной жизни стал прозрачным, как привидение, — он провел по бледному лицу. — В этих домах около церкви искать не будут. Найдите мне убежище, пани учительница! Не может быть, чтобы в такое большом и пустом доме не нашлось маленького тайника. Мне бы только переждать месяц, может, даже меньше, пока придут русские. Раз в день поесть — это все.

— Я должна подумать, — сказала она, — это ведь не мой дом.

— Раздумывать-то времени нет, — усмехнулся он горько.

Эта улыбка заставила Зузану решиться. Она перебрала в уме все закутки старого дома, заваленные плетеными и соломенными корзинами, ящиками с остатками муки на дне, шкафами, полными паутины. Место здесь было. А как быть с едой? Теперь, когда школа не работает и нет твердого заработка, а шитьем нынче много не заработаешь, она сама кое-как сводит концы с концами. А вдвоем им придется и вовсе туго.

— Оставайтесь, — кивнула она.

Согрела ему воды, чтоб он умылся, и напоила его чаем, потом они вместе искали подходящий тайник. Она провела с ним часть вечера в почти беззаботном разговоре.

— Я рад, что не знаю, что там творится на белом свете, — говорил он. — С того часа, когда представители командования распустили армейские части, когда президент в Банской Быстрице отслужил благодарственную мессу, а немецкий генерал при этом играл ему на органе, лучше запрятаться в дыру и не казать носа наружу.

— Может, вы и правы, — вздохнула она.

В это время все старались поменьше выходить из дома, но слухов было полно. Шептались, что в Австрии немцы будто бы окружили собор и всех мужчин, которые там были, арестовали. Текельовский замок в Кежмароке превратили в место пыток и казней. В ополчение, мол, берут четырнадцатилетних ребят.

Покоя в городке не было. Каждую ночь по тротуарам бухали тяжелые сапоги, каждую ночь где-то были налеты, ночные обыски.

Однажды к Зузане прибежала Тереза:

— Схватили Мартина Мацко.

— Где? Где его нашли? — затряслась Зузана.

— Дома в подполе.

...Жена Мартина была в ужасном состоянии. Ее потрясло то, как забирали мужа, как его били ногами, как он обливался кровью.

— Он хотел уйти, — причитала она. — Он всегда уходил из дому, и сегодня забежал ненадолго, а я его задержала, потому что видела, какой он измученный, перемерзший, простуженный. Не отпустила его на холод, в ночь. Я, я виновата!..

Она просто теряла разум. Трое маленьких детей в ужасе смотрели на нее.

— Я знаю, он не вернется! — рыдала молодая женщина.

— Надо надеяться на лучшее, — утешала ее Зузана.

— На что? Знаете ведь, как его ненавидели, как его боялись. Теперь все ему воздадут сторицей. Они его убьют, мои дети останутся сиротами.

— Может, он еще спасется.

— Как?

— Может, ему помогут друзья. Или удастся сбежать. Многие ведь убегали.

Зузана утешала — и сама не верила своим словам. А у жены Мартина перед глазами так и стояло окровавленное лицо, человек в наручниках, без сознания.

— Такой не убежит, — повторяла она, — такой уже не встанет на ноги. А какой он был человек, Зузана, крепкий, как дуб, и мягкий, как хлеб. Как он меня любил, как любил детей! Заработает какую-нибудь лишнюю крону — сразу накупит разных лакомств: орехов, конфет, фруктов. Дети всегда ждали, когда он придет, бежали навстречу: папа, что ты нам принес? Я сердилась, что он столько денег переводит на пустяки, я бы лучше сварила на них обед. А он только подмигнет: как же не принести, если они так этого ждут? Теперь уж им его не дождаться, сиротам...

Чем больше она вспоминала прошлое, тем ей становилось яснее, что одно это ей и осталось.

Зузана приходила домой только спать. Она не решалась сказать Матею, что случилось с его братом. Человек он порывистый, еще совершит какой-нибудь опрометчивый шаг. Она была полна решимости спасти хотя бы его. Дом барышень Майеровых, конечно, застрахован от обыска, думала она. Зузана была спокойна и сильна, как всегда, когда речь шла не о ней самой. Она строго выполняла свои обязанности, всегда была вовремя на своем месте, словно точностью своей хотела принудить дела и события не выходить из границ, чтобы ничто прежде времени не меняло своих мест. Теперь даже малейшее движение могло стать роковым, могло вызвать катастрофу.

Тереза Гусарикова тоже немного успокоилась. Она отнесла деньги в костел, заплатив за молитвы по Мише. Пан декан имеют большую власть, они, наверное, смягчат приговор и сделают что-нибудь для спасения мальчика, утешалась она. Ведь Миша еще ребенок, неразумное дитя! Она ходила в костел и ожидала чуда.

Все ждали чуда.

2

Малыш не мог поверить, что они спаслись. Не мог поверить и в то, что среди скал остался учитель. Может быть, они должны были остаться там все втроем? Это было бы справедливее. Еще немного, и они бы так и сделали. Штефан тащил его и еще подбадривал: ничего не бойся, ты легкий словно перышко — недаром тренировался, как балерина.

В тот же день он донес Малыша до санатория в горах. Они ввалились в роскошную приемную главного врача. Штефан усадил Малыша на журнальный столик и сказал:

— Позаботьтесь о нашем товарище, пан главный врач, или будете иметь неприятности.

— Не бойтесь, дружище, мы позаботимся о нем, хотя наше заведение для легочных больных и у нас нет оборудования для хирургических операций. Но мы сделаем все, что в наших силах.

Малыш получил комнату, а сестра Клара получила строгий наказ:

— Это чрезвычайно тяжелый пациент, сестричка, вы сами будете за ним ухаживать. Выйти из комнаты он может только в случае опасности.

Сестра Клара посмотрела небесно-голубыми глазами на пана главного врача.

— А куда он пойдет в этом случае, пан главный врач?

— Вы правы, об этом надо подумать, — сказал тот и вышел.

Через некоторое время он вернулся:

— В случае опасности ты должен постучаться в первый дом на шоссе. Скажешь, что я тебя послал, и больше ничего.

— Будет сделано, — ответил Малыш, лежа в постели.

Он блаженствовал, такая была удобная, широкая, белоснежная постель. Он был в тепле, а за окном носились снежные мухи. Когда окна начали дрожать под напором ветра, Малыш улыбаясь сказал себе: в такую погоду и собаку не выгонишь!..

Тут в комнату вбежала сестра:

— Облава!

Малыш схватил куртку и заковылял по черной лестнице на первый этаж. Сестра поддерживала его, но дело шло плохо, и ему пришлось съехать по перилам, как маленькому озорнику. Он вылез в окно и перебрался через помойку. Это удалось, по-

тому что санаторий еще не был окружен. Только перед входом стояло несколько немецких машин.

Прыгая на здоровой ноге, опираясь на костыль, Малыш очень скоро оказался над шоссе. Оно было полно зеленых грузовиков. "Немцы! — испугался Малыш. — Куда ни глянь, везде немцы. Но они же обо мне не знают..." — успокаивал он себя и, попятившись обратно в лес, спрятался за мостиком.

Холодало. Руки и ноги у него зашлись от холода. Когда стемнело, он немного приободрился.

С дороги долетал приглушенный грохот. Может быть, колонна прошла? Он поднялся и выбрался опять на край леса. Грузовиков не было видно. Тогда он заковылял к дому у дороги, постучал. Отворила ему старая женщина, после его слов она позвала бородатого мужика в свитере из грубой шерсти и шерстяных носках, они о чем-то пошептались и отвели Малыша в какое-то помещение вроде склада. Мужчина, которого женщина называла Борисом, растер его влажным полотенцем.

— Ты перемерз, товарищ, сейчас тебе будет лучше, уже лучше, правда?

— Уже лучше, — прошептал Малыш и потерял сознание. Очнулся он уже в санях, удивился, куда это они едут в такой темноте. Он был привязан к санкам ремнями, мужчина тянул санки круто в гору. Через какое-то время они вышли из кромешной темноты и оказались на белой равнине.

— А где тропинка? — спросил Малыш.

— Тропинку давно замело, — засмеялся мужчина. — Да ты не бойся, мы и без тропинки доберемся, если нас не застигнет тот туман...

Малыш чувствовал, как у него гудит в голове, как он погружается в какую-то черную мглу.

Очнулся он перед огнем, огонь светил близко, словно всюду был один костер, жар. В рот ему влили спиртного, на глазах у него выступили слезы. Он открыл глаза — в углу помещения действительно горел огонь, временами его заслоняли темные фигуры, раздавались незнакомые голоса.

— Ты среди своих, товарищ, — сказал ему бородач. Малыш вспомнил, что его зовут Борисом. Ему показалось, что они когда-то уже встречались — или в горах, или на попрадской станции. — Ну как, полегчало малость?

— Да, — кивнул Малыш, хотя голова у него была тяжелой.

Однажды утром он проснулся и со всей ясностью наконец понял, что лежит на нарах в высокогорном домишке, что, кроме него, здесь есть еще несколько человек, которые в определенное время приходят и уходят, поддерживая какую-то связь с польской стороной; один из этих мужчин был чемпионом Словакии по лыжам, другой — знаменитым боксером, Малышу их имена были известны по газетам, и домик, казалось, был знаком —

может быть, он его видел на какой-нибудь открытке. Понемногу он там обжился.

— Несу вам известие, ребята, — однажды сказал, входя, улыбающийся Борис Брадаты. — Советская армия освободила первые словацкие населенные пункты.

— Неужели это возможно? — удивился Малыш.

— А почему бы и нет, ты, мнимый больной, представь себе, Собранце, Капушаны уже свободны. Я парень из Капуша-ан! — запел он. — Сейчас я бы хотел быть парнем из Капушан, и ты, Малыш, тоже, правда? Ничего, еще несколько недель — и они будут здесь. Может, придут на рождество, а то так и раньше.

— Скорей бы, — прошептал Малыш, — скорей бы!

3

Последний год Юлия Кралова выполняла свои обязанности только по инерции. В начале осени она, как всегда, обернула кусты роз, в одежде из костры и соломы они сопротивлялись ветру, гнулись под дождем, а когда сад завалило снегом, напоминали недвижные мумии. Юлия ходила от окна к окну, из комнаты в комнату, глядела на скованные морозом деревья в парке, на безлюдную площадь. Город был недвижим, он притаился, как преследуемый зверь, делая вид, что в нем нет жизни. Юлия с трудом принуждала себя к деятельности, покрасила заново салон и комнаты, регулярно наводила порядок, перебрала все записки, снова и снова перебирала содержимое шкафов, сундуков и ящиков. Похоронное платье, которое она себе сшила, ждало своего часа в шкафу вместе с батистовой рубашкой, золотым крестиком, шелковыми чулками и туфлями из мягкой кожи.

Окружающий мир занимал ее все меньше. Ей были неприятны любопытные вопросы, которыми преследовали ее соседки, внимание Зузаны тоже было ей тяжело. Она все время боялась — вдруг Зузана спросит так, как спрашивали те: где ваш муж, жене ведь надо знать, где бродит ее благоверный. Болтать о духах, покрое платья, о книгах или о цвете стен было равно тяжело.

Из одиночества ее вырвало известие, что арестовали доктора Крауса. Как это могло случиться, повторяла она в недоумении. Неужели его арестовали немцы? Свои, немцы — немца? Что происходит? Ведь они обещали поддерживать порядок. А какой уж тут порядок?

Прибежала Зузана:

— Не могли бы вы помочь, пани Юлия? У пани докторши Краусовой истерический припадок. Я давала ей несколько раз маковый отвар, но, как только она просыпается, все начинается снова. Во время таких припадков человеку надо излить все свои

жалобы, это единственное лекарство. Вы не могли бы сходить к ней? Мне она довериться не может, мы с ней не ровня.

Юлия застала Вильму Краусову в постели, в жалчайшем виде. Из-под ночного чепчика свисали растрепанные седые пряди, вытянутые мочки ушей украшали тяжелые серьги — фамильная драгоценность, которую она получила при рождении и с которой ее похоронят.

— Представь, Юлия, даже ходатайство немецкого священника не помогло, ничто не помогло. Его взяли и увезли в Ружомберок. Говорят, он дал несколько тысяч повстанцам — огромная сумма, может ли такое быть? Когда такое говорили про Батю, я еще могла поверить, этот мог дать и несколько миллионов. Но мой муж? Нам самим никогда не хватало денег: на учебу Виктора ушла моя земля, мое приданое. Муж всегда был филантроп, половину пациентов лечил задаром, а иным так еще и покупал лекарства. Откуда ему было взять эти тысячи? Скажи, мог он такое сделать, возможно это?

Она встретилась со взглядом Юлии, сообразила, что учитель-то ведь тоже присоединился к повстанцам, и ей сразу стало ясно, что напрасно она не верит очевидным фактам. Она душераздирающе разрыдалась, зарывшись в подушки.

— Теперь, Юлия, я и сама не знаю, кто я — то ли мать немца, героя войны, то ли жена изменника, который помогал партизанам! Когда так действует твой муж, это не выглядит странным: он ведь не немец!

Это оскорбление Юлия великодушно пропустила мимо ушей, терпеливо выслушав причитания Вильмы. Зузана была права, больной надо было выплакаться и выговориться, от этого ей стало легче. Юлия же никогда не станет жаловаться, и ей никогда не станет легче. В этом была единственная разница между ними, в остальном же судьбы их имели сходство: обе не понимали своих мужей, хотя и та и другая вышли замуж по любви и против воли своих семей.

Теперь пришло возмездие. Юлия осталась одна, окруженная мертвыми вещами, которые, казалось, тоже ждали ее смерти. Тоска овладела Юлией с такой силой, что она позвала к себе Зузану Батизову.

— Переезжайте ко мне, дорогое дитя, — просила она. — Я отдам вам лучшую комнату.

— Я не могу, — ответила Зузана, опустив глаза. — Я бы рада все для вас сделать, но в доме барышень Майеровых у меня есть обязанности...

Юлии не осталось ничего другого, как запаковать свои драгоценности, портрет отца, черное платье. Поеду-ка я к тете, та по крайней мере никогда не спросит, где мой муж, решила она.

— Я хочу встречать рождество с родными, а поскольку поезда теперь то идут, то не идут, так я и собралась заблаговремен-

но, — объяснила она Зузане по дороге на вокзал.

Подмораживало, падала колючая снежная крупа.

— Милое, дорогое дитя, я теряю в вас единственного человека, в котором находила понимание, — сказала она церемонно и на прощание подарила Зузану легким, сухим поцелуем. — Думаю, нас с вами объединяло нечто большее, чем сходство вкусов и привязанностей, — нас объединяло чувство взаимной симпатии. Я благодарна вам за это, Зузана. Благодарю за все, с богом!

— До свидания, счастливого рождества, — сказала Зузана.

— Может быть, вас это удивит, но я не собираюсь возвращаться назад.

— Как это? — изумилась Зузана.

— Вряд ли вы меня поймете. Меня здесь ничто не держит. В моем возрасте человек должен смотреть правде в глаза. У меня к вам одна просьба: приглядывайте за моими могилами.

— Конечно, конечно, будьте уверены, — кивала Зузана. Было видно, что она никак не придет в себя от слов Юлии.

— Не сердитесь, что я уезжаю навсегда. Я бы и не смогла вернуться, даже бы если захотела.

— Почему?

— Это невозможно. Объяснить трудно. Юрай тоже не вернется. После всего, что случилось, вряд ли он захочет вернуться в прошлую жизнь.

Юлия пожала Зузане руку, увидела в глазах у той невысказанный вопрос, заметила и внезапную искорку радости, но она уже не ревновала, это ее больше не касалось. Она села в поезд и минуту вяло махала у окна рукой в черной перчатке. Стекло было подернуто морозным узором.

4

Так и не было ясно, сколько же их в избушке живет. Бывали дни, когда Малыш вообще оставался один, но случалось и такое, когда мужики не умещались на нарах и некоторым приходилось спать на полу. Борис Брадаты придумывал кушанья из картошки, резал ее то кубиками, то кружочками, но вкус от этого не менялся, а жира было мало. Даже в сочельник ужин состоял из почерневшей, подмерзшей картошки с луком, праздничный вкус ей придавала только маленькая грудка шкварок.

Малыш целыми днями изучал карту Татр, которую здесь кто-то позабыл. Он выучил на память названия и местоположение всех вершин, озер, домиков, ручьев, водопадов, тропинок. Он уже решил: после войны, если нога заживет, он станет проводником в горах, будет работать вместе с Брадатым. Это работа для мужчины, у которого крепкая воля и силенка в теле.

На второй день рождества Брадаты, входя, вдруг объявил:

— К тебе гость, Малыш.

Гость? Кто бы это мог быть? Не иначе, Брадаты просто шутит над ним.

Но через минуту Малыш услышал, что кто-то перед домом топает, очищая ноги от снега. Отворились двери, и в них появился Штефан Возар. Уши замотаны шарфом, а шея открытая, свитер не застегнут, плащ весь в дырах. На заросшем лице улыбка во весь рот.

— Ну что, спортсмен, не ждал меня?

— Правда, что не ждал!

Малыш сжал ему руку. В их рукопожатии было все, чего не выскажешь словами.

— Принес тебе рождественский подарочек.

Штефан вытащил из узелка кусок сала, две банки консервов, копченую баранину, бутылку. У Брадатого разгорелись глаза, он сразу подскочил с жестяными стаканчиками, разлил.

— Как нога, парень?

— Не хочет заживать, проклятая. Гниет.

— Негоже это.

— Ну, глядишь, она поумнеет, — сказал Брадаты и поднял стаканчик.

Выпили.

— А что ты, Штефан? Как твои дела?

— Я? Маялся чесоткой. Холод, голод, всюду одни фрицы. Потом набрел на партизанский отряд.

— Все-таки разыскал!

— Да, то, что рассказывали на той стороне, не сказки. Действительно, там воюет большой боеспособный отряд. Ох и доставляет же он хлопот немецким гарнизонам в Микулаше и Яловце! Я думал, что найду там доктора, которому велел кланяться наш учитель. Но он тоже погиб. Представляешь, каково мне было это услышать? Мертвый передавал привет мертвому. Оба там. Так что привета я передать не мог.

— А ты бывал в делах? — спросил Малыш.

— Не раз. Мы там используем любую возможность — пускаем в воздух немецкий транспорт, нападаем на патрули, на колонны машин. Но чаще всего обороняемся от карательных отрядов и уходим, когда они наваливаются большой силой.

— Хотел бы я быть с вами!

— А я-то как радовался, когда добрался до них. Я даже сам не знал, насколько мне это было необходимо. Знаешь, после того отступления у меня было чертовски худо на душе. Ведь там, у дороги на Быстрицу, остались лежать под белой скалой лучшие из словаков... А по земле расхаживают иуды, которые прятались по разным дырам, всякие там пани Подлипковы, которые предавали человека за сноп соломы. В отряде кое-что меня удивило.

Такой вот отряд, понимаешь, он не может существовать без поддержки деревни, без продовольствия, тепла, без разведки. Представляешь, деревенские все время приходят к нам, хотя прекрасно знают, что за это им грозит смерть. Перед святками заявился мужичок, скорее всего бедняк, у которого и есть-то одна-единственная коровенка, так он нам ее пригнал: возьмите зарежьте, ребята, чтобы у вас было на рождество все как положено. Все равно у меня ее немцы заберут. Можешь себе представить словака, который отдает последнюю коровушку-кормилицу? Знаешь, что это значит? Вся деревня о нас знает — и никто не доносит. Великое это дело, великое, братец.

— В городке такого быть не могло. Наоборот, там всегда найдутся такие, которые донесут и на детей.

— В городе тоже есть всякие. Как и всюду. Там хватает и таких, которые нам помогали, и таких, которые вредили. Я не раз говорил об этом с учителем. Он объяснял мне, что город, начиная с прошлого века, расширялся, вырубая леса вокруг. Теперь вот и леса далеко, и дров у горожан острая нехватка. Вот какую ошибку совершили наши предки. Кто сейчас может вот так запросто пробраться из города в лес? На равнине все видно. Разве что смельчак вроде тебя...

— Я шел ночью.

— Ночью тоже риск.

— Учитель был идеалист, верно?

— Верно, конечно. Я видел его картины. Он любил город.

— Город или людей?

— Людей тоже. Хотя я как-то однажды слышал от него, что люди эти не заслуживают красоты, что их окружает. Правда, сказал он это в злую минуту. Все мы иной раз бываем злыми. Знаешь, парень, чему я научился там, в отряде? Вот мы голодные, измученные, но никто не жалуется, не сетует, не вспоминает дом. Никто вида не подает. Говорят о мелочах, о фронтовых новостях, но больше всего о том, как будем жить после войны, какие тогда встанут проблемы, задачи — в общем, что всех нас ждет.

— Какие такие проблемы, задачи?

— После этой войны, Малыш, хозяевами станем мы.

— Говоришь, как пишешь! — засмеялся Малыш. — Но слушать приятно. Сразу чувствуешь себя важной персоной!

— Ну так за это и выпьем — за то, чтоб мы стали важными! — поднял стаканчик Борис Брадаты.

— Наши парни, которые ходят, говорят, с польской стороны уже слышен фронт, — сказал Малыш. — Ночами в небе зарево и, если прислушаться, слышен гул "катюш".

— Скоро это и сюда придет, — покивал головой Штефан.

— Скоро, — поддакнул Брадаты.

— Так что поправляйся, парень. Я рад, что тебя повидал. Мне пора, путь у меня долгий.

— А как же ты меня отыскал?

— Э, товарищ, у меня свой метод.

Они пожали друг другу руки.

— Привет твоим, — сказал Малыш.

— Передам, не бойся.

Малыш приник к окну и смотрел на все уменьшающуюся черную фигуру на огромной белой равнине, которая оканчивалась обрывом.

— Какие мысли у этого парня в башке, — сказал Борис Брадаты. — Тоже мне, заботы! Что будет после войны, будущее! Кто его знает, что тогда будет. Доживем ли мы еще? А если доживем, то захотим ли взять власть? Может, нам больше всего захочется забраться в берлогу и отоспаться?

— Некоторые, может, и залягут в берлоге, — огрызнулся Малыш.

Последнее время Брадаты его раздражал, он теперь не выходил из дома, сидел как в тюрьме.

Через несколько дней у Малыша снова начался жар. Его одолевали горячечные видения, обмороки. То ему виделась улыбающаяся Аничка Подлипкова, сверкающий велосипед, то Маринка, девушка, с которой он встретился в Черной долине.

Однажды ночью, когда он очнулся, его положили на сани. Опять запрягся в них Борис Брадаты.

— Не бойся, парень, ночью мы с тобой кое-куда доберемся.

— Куда? — Малыш поднял тяжелую голову.

— В палудзскую больницу. У нас там свои люди, они поставили на ноги уже многих наших, да еще раздобыли им липовые документы. Попадешь в хорошие руки. В нежные руки! Знаешь, какие там красивые сестрички?

— Наконец-то я получу то, чего мне здесь не хватало, — засмеялся Малыш, хотя голова у него раскалывалась от боли.

Это был долгий путь, но Малыш ничего не слышал.

5

Перед домом барышень Майеровых остановилась телега, покрытая брезентом. Из-под него слышался детский плач. Зузану это изумило, она остановилась.

— Не знаете, пани, где бы мы могли найти ночлег? — спросил ее усатый дядечка.

Она выспросила его, кто они, откуда.

— Бежим от фронта, — объяснил он. — Дома у нас одни женщины, а это нехорошо, когда придут солдаты.

— У вас столько дочерей? — продолжала интересоваться Зузана, когда увидела высовывающиеся из-под брезента девичьи головки.

— Три дочки да две невестки.

— Подождите, я спрошу дома.

Барышни Майеровы ужаснулись. Как, в их дом ступит чужая нога?

— Мы не можем их пустить, — сказала барышня Эмилия, вечно всего боящаяся. — Да еще столько детей. От них не будет покоя.

Не будет покоя! В такое время они хотят покоя! Зузана вскипела.

— Если вы их не пустите, дом останется пустым, — сказала она. — А когда вскорости придут войска, в доме поселятся солдаты. От них уж не ждите деликатности. Если им захочется обогреться, они спалят вашу кедровую мебель. Фронт все сметает на своем пути, — нарочно припугнула она барышень.

— Думаю, что ничего не случится, если они у нас поживут, — пожала плечами барышня Амалия. На счастье, ее слово всегда было решающим. — Закроемся в своих комнатах, правда, Эмилия? В нашем доме такие толстые стены: сквозь них не проникает не только пушечная пальба, но даже детский крик.

Зузана широко распахнула ворота. Из-под брезента несли в чулан на верхнем этаже узлы с перинами.

— И в этом доме у вас будут одни женщины, — пошутила Зузана.

— Это совсем не то, — сказал в ответ дядек.

Зузана поняла, в чем дело. В семье ведь есть и сыновья, и зятья, а дядек вряд ли знал, где они. Какой-нибудь сосед мог на них донести, как это случилось с Магдой: это, мол, партизанская семья. Вот чего они испугались, вот отчего бросили дом. Бежали, боясь последнего приступа бешенства оккупантов. А здесь их никто не знал, здесь они были в безопасности.

Дом ожил. По коридорам мелькали пестрые короткие юбки, в которых даже невестки казались подростками. Кошки бродили вокруг медлительных черепах, которых беженцы привезли с собой.

— Наконец-то у меня будет общество, — радовался Матей Мацко, который мог теперь проводить вечера в обществе усатого дядюшки.

Тот только заговорщически подмигивал: моим женщинам не попадайся на глаза, молодой человек, — у женщин ума маловато, зато язык длинный. Он не скрывал, что принимает Матея за любовника Зузаны.

— Подождите, вам жена еще даст, — подшучивал над ним Матей. — Она и о вас подумает, что вы бегаете за учительницей. Зачем это вы вчера просидели у нее весь вечер?

Зузана целые дни и ночи проводила у докторши Краусовой, которая никак не могла прийти в себя от потрясения. Стало известно, что доктор погиб. Говорили, будто его выдал измучен-

ный пытками Мартин Мацко. Так это было или не так, только у немцев расправа короткая. Времени у них уже не было, они наспех устроили короткий процесс, вынесли приговор и повесили доктора.

Пани докторша осталась одна в огромном темном подвале, в огромной постели, обложенная подушками и ценностями, с которых даже в минуты наибольшей печали не спускала глаз. Теперь она вообще не выходила из укрытия. Зузана устроила себе постель рядом с кроватью докторши. Когда она совсем теряла силы, приходила помочь Тереза Гусарикова.

Теперь каждый день приносил удивительные новости.

— Знаете, что на улице творится? Женщины напали на склад с мукой. Просто схватили сторожа, оттащили его в сторону и вышибли двери. Каждая набрала муки, сколько хотела — полные подолы; пока донесли до дому, весь снег мукой посыпали.

— Теперь их убьют. Всех нас постреляют! — в ужасе бормотала докторша.

Но ничего такого не случилось. В тот же вечер люди передавали друг другу, что на разбомбленных путях стоят вагоны с продовольствием, с амуницией — целые составы, которые никто не охраняет. Народ кинулся туда и потащил все, что попадало в руки. Тереза принесла банку карамели, а Виктор Краус, хоть и на костыле, но приволок велосипед и пишущую машинку. В конце концов к вагонам отправилась и Зузана, принесла оттуда упаковку грубого солдатского мыла — теперь это была редкость! Люди тащили целые штуки белой маскировочной ткани.

На следующий день разнеслась весть, что немцы должны эвакуироваться. Перед ратушей творилось что-то невообразимое: теснились лошади, реквизированные повозки, стояло несколько грузовиков. Среди этого беспорядка Зузана, безмерно удивленная, увидела барышень Майеровых. Они сидели на чемоданчиках в ожидании своей участи.

— Приказ есть приказ, — пожала плечами барышня Амалия. — Мы не можем его не выполнить.

— Позаботьтесь о наших кошечках... — Барышня Эмилия вытерла глаза. — Вы всегда их любили, пани учительница. Пожалейте бедных зверьков, прошу вас.

Они бы там сидели до вечера, если бы Зузана не упросила архитектора Грасса взять их в свой грузовик, полный вещей. Тот кивнул, хотя его супруга готова была послать Зузану и старушонок ко всем чертям.

— У нас что, мало своих забот? — процедила она сквозь зубы.

Канонада становилась все слышней. Ночью небо было объято заревом.

Однажды Зузана встретила Теодору Подлипкову. Толстая пани, пыхтя от натуги, тащила в объятиях огромный филодендрон.

— Откуда это вы несете, пани Подлипкова? — спросила Зузана.

Такой филодендрон в городе был только один — у Юлии Краловой.

— Оттуда, — пани Подлипкова указала на дом учителя Краля. — Взяла это, потому что все ценное уже растащили.

— У Краля? У Краля все растащили?

— Ведь Юлия же была немкой, — пожала плечами пани Подлипкова.

Зузана стояла как вкопанная, потом пошла к дому учителя. Ворота были распахнуты, все двери настежь. В комнатах пусто, только на полу валялись какие-то листы. Зузана подняла один — на нем был набросок ее лица.

Глава VII

1

Учительница изумленно остановилась на пороге. Комната была полна дыма. За столом сидели трое: Матей Мацко, усатый беженец и бухгалтер Ионапот. Они пили и громко разговаривали.

— Что здесь происходит? — спросила Зузана ошеломленно.

— Что может здесь происходить, барышня учительница? — спокойненько посмотрел на нее Матей.

— Вы... так... среди бела дня?

— Вот решили немножко повеселиться, — сказал Ионапот.

— Что вы здесь делаете? — Зузана строго посмотрела на бухгалтера.

— Пришел... предложить вам свои услуги, барышня учительница. Теперь все и вся готовятся к переходу фронта. Не сегодня завтра придут русские. Я думал, смогу вам помочь, беззащитной, одинокой женщине, — болтал Ионапот. — Пришел вам посоветовать, чтобы все драгоценности вы снесли в приходский дом. Я узнал из достоверных источников, что русским строго приказано не трогать церквей. Свои драгоценные картины я спрятал в церковном подвале.

— Посидите с нами, барышня учительница, устроим маленькую вечеринку. Маленькую вечеринку среди бела дня! — У Матея слегка заплетался язык.

— Спасибо, — сказала Зузана сухо.

— Выпейте с нами! — приглашал ее Ионапот.

— Благодарю, я не пью.

Она повернулась на каблуках и вышла.

— Чертова баба! — выругался Матей. — Я ей не нравлюсь. Учительница не любит, когда ее не слушаются. Днем чтоб

сидел в укрытии, а вылезал только ночью.

— Чертова, точно. Такая ни за что не выдаст, — сказал Ионапот.

— Точно. Она даже не заикнулась мне о том, что случилось с Мартином. Представляешь? Приходила от моей невестки, от братниных сирот, весь вечер со мной говорила, потчевала этим проклятым чаем и даже не заикнулась о том, что случилось. Ведь это же был мой брат! Кто имеет право знать, что с ним случилось, если не я ? — Матей уставился на грязную стену, потом тихо сказал: — Убили брата! Брата убили! Такой был добряк! Учитель Краль сказал, я сам слышал: этот город не заслуживает ни природы, что его окружает, ни тех добрых людей, которые здесь время от времени рождаются. Так он и сказал. А я вам скажу, учитель — он знал, что к чему.

Они молча слушали его монолог. Потом Ионапот поднялся.

— Я пойду, надо разобраться в ситуации.

— Принесите нам еще бутылочку, пан бухгалтер. Наверное, у вас найдется. Не забудьте, что это ваша последняя возможность заработать бессмертные патриотические заслуги.

— Попытаюсь, — сухо сказал тот и ушел.

Начало смеркаться. На комоде тикали часы. По темным, грязным стенам двигались тени. Вдруг на лестнице раздался топот, двери распахнулись. Это был Ионапот, запыхавшийся, взмокший.

— А я думал, вы уж не вернетесь. Думал, и след ваш простыл, пан бухгалтер.

— Знаете, что они готовят? Пришли особые соединения, хотят взорвать город.

— Зачем им это?

— В целях обороны.

— Но это бессмысленно, маленький городишко, не имеющий никакого значения.

— Я серьезно, Матей. Они хотят сровнять город с землей, полностью его уничтожить. В наших горах они собираются создать неприступный оборонительный пояс, здесь дорога на Остраву, а там центр промышленности, которая позарез нужна Гитлеру.

— Откуда вы все это знаете?

— Вычислил. Они подготавливают пояс абсолютно мертвых городов, где Советская Армия не достанет ни воды, ни хлеба. Для немцев эти горы — последняя реальная надежда. Что еще им остается? Ведь для них-то речь идет о самом важнейшем, что для них какие-то городишки?

— Правда ваша, речь идет об их собственной шкуре, — кивнул Матей, — выходит, и верно: взлетим. Я, признаться, еще в жизни не летал.

— Нужно что-то делать, — отозвался беженец.

— А что? Что, приятель?

— Уйти, — сказал усатый дядька.

— А куда? В поле? Первый же патруль нас расстреляет.

— Или дать знать на той стороне? — спросил Ионапот.

— Кому, русским?

— Чтобы поторопились... Чтобы пришли раньше, чем особая команда обмотает весь город бикфордовым шнуром.

— А может, они как раз и ждут той минуты, когда подойдут русские, — рассуждал Матей.

— Как перебраться через фронт? Риск-то какой, — продолжал Ионапот.

— Нынче и в сортир не сходишь без риска! — фыркнул Матей, надел длинное кожаное пальто и остановился перед зеркалом. — Ради такого дела не мешало бы побриться.

— Вы хотите идти, Матей? — изумился Ионапот.

— А кто же еще? Вы предлагаете кого-то другого?

— Попытаться, конечно, стоит. Никто лучше вас не знает дорогу.

Когда стемнело, Матей пробрался мимо патруля и вышел в поле. Он даже не полз, на это не было времени.

Небо озарила гигантская вспышка, за ней последовал грохот. Матей кинулся в снег.

— Началось, — пробормотал он. — Запустили адскую машину. Крышка всем, крышка домам, крышка имуществу.

Он подумал о сиротах брата, о красавице жене Мартина, обо всех, кто остался в городе, о том, что сам он чудом остался жив. Матей ждал, что последуют еще взрывы, но их не было. Взлетел только мост, железнодорожный мост у станции. А город оставался цел, его черед еще не пришел.

Матей поднялся, пошел дальше. Он шел белым полем, видный издалека со всех сторон. Его даже не удивило, когда мимо его ушей просвистела пуля. Он упал, потом побежал, снова упал и так перебежками добрался до ивняка. Где-то еще стреляли, но это уже не волновало Матея. Машинально он все шел и шел, а когда вдруг спереди раздались выстрелы, он сообразил, что это уже русские. Пробежал короткий участок пути, отделявший его от окопов. Пули свистели мимо его головы. Когда к нему приблизились темные фигуры, он попросил, чтобы его провели к начальнику.

Его проводили в крестьянский дом. Вокруг стола сидели несколько военных. Матей только сейчас почувствовал, как страшно он промерз, и стал греть руки перед огнем, одновременно пытаясь объяснить военным, ради чего он пришел.

— Они хотят уничтожить этот город? — спросил самый старший, видимо командир. — Сколько они уже уничтожили, сколько сровняли с землей!

— Там дети, старики! Надо что-то сделать, атаковать их не-

ожиданно. Помогите, братья!

Военные переглянулись. Командир начал спрашивать о системе противотанковой обороны. Матей рассказывал, где у фашистов размещены орудия и минометы. Рассказал, как перешел фронт.

— Тебе, браток, повезло, — сказал командир, — но большой группе там не пройти.

— Есть другая дорога — лесом, в обход. Я знаю ее как свои пять пальцев.

— Подумаем, — кивнул командир.

Разработали план внезапной атаки. Матей должен был провести десантную группу, которая ударит по немецким батареям с тыла.

Они взялись за это!

Небо лизали красные языки пламени. После каждого взрыва Матей гадал, который из мостов это может быть.

Шли тихо, только снег поскрипывал под ногами. Длинная, редкая цепь темных фигур, движущиеся тени. Несколько десятков измученных людей, которыми двигала только воля.

Когда вышли из леса, на востоке появился первый луч дневного света. На немцев налетели возле самого города. Даже особой стрельбы не было, после яростной атаки маскировочные костюмы советских солдат забелели среди домов на городской окраине. В этот момент на линии фронта завязался бой: атаковали главные силы армии.

Немцы не успели опомниться, не успели даже толком оглядеться, не то что взорвать город.

Зазвонили колокола, в город вступали первые советские и чехословацкие части. На домах появились трехцветные и красные флаги. Жители выносили солдатам еду, горячий чай. На площадь перед костелом выкатили огромный котел, и молодой священник половником разливал солдатам горячую кашу.

Матей ходил по улицам как во сне, не способный ничего сообразить или сделать. Это только все другие знали, что делать, словно были давно готовы к этой минуте, словно только ее и ждали. А тут еще этот священник, который против всех предписаний высших духовных властей так проявил свои чувства.

Через город шли и шли войска, на площади собирались толпы людей. В открытой машине стоял генерал в папахе и коротком дубленом полушубке — молодой, рослый, с густыми бровями. Он отвечал на приветствия ликующих жителей.

— С этом минуты вы свободны, — улыбался он людям, — по возможности помогите солдатам чехословацкого корпуса.

Матей стоял неподалеку.

Вот что, подумал он, присоединюсь-ка и я к ним, пойду в армию, а то мне среди этого веселья делать нечего.

2

Из пятерых подростков, которых взяли осенью вместе с Мишей Гусариком, четверо вернулись домой. Не вернулся один Миша. Тереза обошла всех вернувшихся, выспрашивая о сыне. Ребят держали несколько недель в лагере в Польше, ожидая бумаг из дома. Потом отпустили домой.

— А Мишу нет?

— А Мишу нет, о нем написали: возврат нежелателен.

— Откуда было письмо?

— Отсюда, из Велькой.

— Кто его послал?

— Местные гардистские заправилы и достоуважаемый пан декан.

— Не смягчила его и тысяча крон, которые я ему заплатила за молитвы, — стонала Тереза. — Деньги взял, а на бумаге написал: убейте его, он не заслуживает того, чтобы жить, этот строптивый мальчишка.

Тереза добралась до Зузаны и изливала ей свои жалобы.

— Что с ним сделают? Что с ним сделали? Он больше не вернется, Зузана! Знаю, не вернется.

— Ты должна надеяться, Тереза. Не теряй надежды.

— Я уж и молиться не могу. Не могу видеть костел и этого старого дьявола в рясе. Даже в ту сторону смотреть не могу. — Она сжимала руки, такая маленькая, такая несчастная, отчаявшаяся, оставленная богом, которому верила всю жизнь.

В болезненной надежде на возвращение сыновей она проводила теперь время на станции, которая была преобразована в эвакогоспиталь. Бартко из камеры хранения рубил на перроне остатки резной деревянной ограды, махал топором так, что только щепки летели.

— Столько крови, Тереза. Столько несчастий. А зачем, за что? Разве эти раненые ребята перед кем-то виноваты?

Тереза вспоминала своих сыновей: а что, если и они вот так лежат где-то и некому им даже воды подать? Ее это подняло — она взялась за дело: начала помогать ухаживать за ранеными, мыла полы, убиралась в палатах. Потом позвала на помощь и Зузану Батизову.

Зузана давно привыкла к виду страданий, давно став как бы сестрой милосердия, но то, что она видела сейчас, было выше ее сил. Поезда и автомашины беспрестанно подвозили раненых и умирающих. Зузана видела эти горячечно блестевшие глаза, лица, бледные от потери крови, ощущала пожатия руки и слушала невразумительно высказываемые просьбы, вроде того: "Когда я умру, сестричка, дайте знать нашим, вот адрес, у меня здесь нет никого, наш полк сейчас под Микулашем". Собрав все силы, она улыбалась: вы, мол, еще поживете, рано вам умирать, такой па-

рень — все должен выдержать! Она отвечала на пожатие, хотя иной раз мужская ладонь уже начинала холодеть в ее руке.

Легко раненные интересовались известиями с фронта, передавали их друг другу. Говорили об упорных боях под Микулашем, где немцы хорошо укрепились и фронт вот уже второй месяц топчется на месте.

Мартовские метели заметали все вокруг, люди копошились в снегу. Радио приносило оптимистические известия о продвижении на других фронтах, в Польше, на юге. И только здесь, среди гор, движение замерло. Но все же наконец пришло известие, что фронт прорвали и Микулаш освобожден.

Зузану перевели в больницу. Теперь ей служба медсестры не казалась такой ужасной, она уже не пугалась ран, крови. Большие окна больницы все чаще открывались настежь, на кустах в саду появились первые побеги.

Война явно шла к концу. Вскоре после Микулаша пришла весть и об освобождении Братиславы.

В больницу привезли раненых из палудзской больницы. У Зузаны замерло сердце, когда среди них она увидела рыжую голову Янко Гусарика. Она помчалась за Терезой.

— Я знала, я знала! — шептала Тереза. — Я знала, что ты придешь!

— Я еще не совсем в порядке, нога вот уже полгода как гниет и гниет. Скоро мне сделают операцию, — рассказывал парень.

— Заживет, сынок.

— Вы не знаете, где остальные? — спросила Зузана. — Где Штефан Возар, пан учитель Краль...

— О Штефане ничего не знаю с рождества. А пан учитель Краль больше не вернется. Он спас мне жизнь.

— Не вернется, — повторила Зузана и вышла из палаты. — Я знала, — механически повторяла она про себя слова Терезы. — Я знала, что он не придет! — Сердце ее сжалось и стало тяжелым словно камень. Так она ходила весь день. Только ночью, когда она очутилась в своей комнате, когда вызвала в памяти лицо учителя, спазм прошел, тяжесть с сердца спала, боль разлилась, растеклась широкой волной — и затопила ее всю.

Она отдалась этой боли. Ходила точно деревянная, ни на что не обращая внимания. Она никого не винила — ни бога, ни людей: ее боль — не их грех.

Янко Гусарик знал, что у него отнимут ногу. Он упросил Зузану, чтобы она ничего не говорила об этом Терезе.

— Маме ни слова. Она с ума сойдет. А я ведь быстренько научусь прыгать и на костылях, и на протезе.

После операции Тереза с Зузаной остановились перед белыми дверями его палаты.

— Может, он еще спит, — сказала Зузана тихо. — Может, еще не проснулся от наркоза.

Но он не спал. Глаза его уже смеялись.

— Вот я и снова на свет родился, слегка подновленный. Доктора привели меня в порядок, — сказал он вместо приветствия.

Тереза потихоньку, осторожно откинула одеяло. Увидела культю, посмотрела на сына. Он все улыбался — чтобы подбодрить, успокоить мать.

— Ничего, — сказала Тереза, — по крайней мере болеть не будет.

Она подошла к нему поближе и провела рукой по его лицу. Потом села на стул. Зузана ясно видела перемену, которая произошла в ней, видела, как она превозмогала дрожь, как окаменело ее лицо. Никто бы не смог прочитать по ее лицу, сколько несчастий она пережила. Но одно было ясно: она — сильная, она вынесет все, что бы ни принесла ей жизнь.

— Не бойся, мама. Я еще потанцую, увидишь. Я еще тебя закружу и пани учительницу тоже.

Тереза ответила ему улыбкой. Зузана улыбнулась. Раньше она никогда не знала, сколько сил требуется для улыбки.

3

Магда все еще боялась ночи. День проходил быстро, с утра до вечера она крутилась возле ребенка, подстерегала его улыбки, говорила с ним, кормила его и все боялась, что у нее мало молока, купала малыша в лечебных отварах, массировала его тельце, пеленала, носила на руках. Но ночи тянулась бесконечно долго. Ее преследовали страшные сны о Штефане, а когда не спалось, приходили черные мысли. С осени она видела его всего один раз, после рождества он прибежал их проведать, но больше о нем не было ни слуху ни духу. Жив ли он? Спит ли в теплой постели? Может, ранен и терпит смертные муки?

Тетка понимала, что мучит Магду, старалась ее разговорить, утешить. Иной раз их беседы длились далеко за полночь.

— Знаю, тяжко тебе, девонька, — говорила Магде тетка. — То, что ты пережила, — не пустяки. Преждевременные роды, теперь кормление, когда сама недоедаешь, заботы о ребенке, тревога о муже. Все это тебя мучает, не отпускает. Я уж и так и эдак прикидывала и решила — сделаю такой отвар, чтоб тебе спать покрепче.

— Сделайте, тетя, пожалуйста.

— Будешь его пить, так уснешь, это точно, но ведь кошмары могут приходить и во сне...

— Ладно, хоть высплюсь...

— Так тому и быть, выспишься. Только знай, проснешься — и что увидишь? Ничего не изменилось. Штефана нет, сын голодный, забот не убыло...

— Неужто заботам и конца не будет?

— Нет, девонька, нет. Уйдут одни, придут другие. В человеческой жизни всегда так. Каждый человек должен примириться со своей участью. И если выдержишь, когда плохого в ней через край, то потом уж ничего тебе в жизни и не страшно. Может, сейчас вот пришло твое самое плохое времечко.

— Ох, боюсь я, тетя.

— Надо через это пройти. Все должен человек сам преодолеть. Тогда и страх пройдет. Не тот смелый, кто ничего в жизни не боялся, кто не знал, что такое страх, а тот, кто прошел через все и одолел самый страшный страх и самое черное горе. Чем скорее через это пройдешь, тем лучше.

— Может, вы и правы, тетя.

— Я, девонька, все это на своей шкуре испытала. И ты через это должна пройти. Штефану жена нужна смелая.

— Да, Штефану всегда была нужна смелая жена. Когда-то я была смелой.

— Ты и сейчас смелая, не думай. Молодая еще, вся жизнь впереди. Молодая и сильная...

В конце зимы Магда взяла с собой Маринку, маленького и отправилась домой. Она решила, что там дождется Штефана, чтобы ему не пришлось идти за ней, чтобы они увиделись быстрее, сразу, как только он придет в город.

Зузана была в городе. Выглядела она измученной, постаревшей. Магда даже испугалась, не могла понять, что это — усталость или тяжелая болезнь.

— Ты должна так тяжко работать?

— Должна. Когда работаю, на душе легче. Работа от всех бед лечит. А если б ты видела, что делается в госпитале! Ведь люди всем пожертвовали, ничего не пожалели.

— А можно мне пойти вам помогать, тетя Зузка? — спросила Маринка. — Магда теперь и одна с маленьким справится.

— Почему же, пойдем, девочка.

На другой вечер Маринка не вернулась. Зузана объяснила встревоженной Магде:

— Не волнуйся, оставь ее, пусть там хоть ночует. Теперь ее оттуда силой не вытащишь: она встретила там среди раненых Янко Гусарика. По-моему, у них любовь с первого взгляда. Или они уже и раньше знали друг друга? Ее от его постели клещами не оттащишь, хлопает ресницами, слушает, как Янко фантазирует, собирается на протезе одолеть все татранские вершины. Они уже сейчас строят планы будущих походов. Тебе еще сестричка преподнесет сюрприз, ты еще будешь иметь бедового шурина — такого, что за ним и здоровый не угонится.

...Воротились барышни Майеровы. Магда пыталась им объяснить, что она живет в их доме временно, но барышень это не занимало. Они чувствовали себя виноватыми, что ослушались

приказа и не уехали в Германию. Они хотели это сделать, но пан архитектор высадил их из своей машины в ближайшем городке. Они переждали, пока пройдет фронт, и вернулись домой.

— Как вы думаете, нам за это ничего не будет? Что теперь с нами сделают? — спрашивала барышня Амалия.

— Да кто вам что сделает? — успокаивала ее Зузана. — Вы к этой войне никакого отношения не имеете. Будете жить, как жили.

Но барышни все чего-то боялись, сидели с кошками и не высовывали носа из своих комнат.

Когда земля подсохла, Магда решила обработать небольшой участок земли. С трудом набрали мешок семян, взвалили на телегу тяжелый плуг, запрягли Белянку.

Через неделю вспахали поле, посеяли хлеб. Потом принялись за работу на стройке.

— У этого дома одно хорошее качество: он в стороне от города. Здесь не видно людей, здесь слышно только птиц.

Работа на участке шла Магде на пользу. Она голодала, кормила ребенка и все-таки еще никогда не чувствовала себя такой крепкой. Она была полна решимости, бралась с помощью Зузаны за самую тяжелую мужскую работу.

В один прекрасный день завыли сирены, к их вою присоединились колокола. Слышались и выстрелы.

— Конец войне! — кричали ребятишки.

В тот вечер Магда долго сидела на пороге своего нового дома, глядела в ясное небо, на звезды. За ее спиной, в комнатке, засыпанной шлаком, спал ребенок. В открытое окно слышна была песенка Маринки:

Кедр, кедр, зеленый кедр,
падают орешки на наш двор...

Это была песенка о бедных девушках, самая любимая песенка Магды. Но сейчас у нее сжалось сердце. Кто знает, где он упал — может, под кедрами, может, в чистом поле, в окопе?..

— Не пой! — не своим голосом крикнула она сестре. — Разбудишь маленького.

— Что с тобой? — удивилась Маринка. — Что с тобой, Магдушка?

— Ничего, ничего...

Она подошла к спящему ребенку, посмотрела на его ручки, ножки, раскинувшиеся на перинке, такие слабенькие, такие беспомощные. Какой он беззащитный, какие только беды на свете ему не грозят!

На другой день возле колодца остановился прохожий. Поставил, опираясь о сруб, четыре винтовки, стал жадно пить. Внимание Магды привлекли эти винтовки, она подошла поближе — хо-

тела расспросить его о муже. И не сразу его узнала: такой он был исхудавший, изменившийся. Она кинулась, прижалась к нему, вцепилась руками. У него под гимнастеркой сильно бухало сердце.

— Ты жив, Штефко, ты жив!

4

В окопах бойцы не раз принимались рассуждать о том, как будет, когда по улицам можно будет ходить без опасения, что из-за угла ударит выстрел. Казалось, что это будет какой-то невероятной радостью.

Но вот Штефан шел по мирным улицам, а радости не было. Наоборот. На душе было прескверно. Это все пьяный Матей Мацко, это он довел его своим черным юмором.

— Разве так ходят в воскресенье в приличном городе? Куда это ты с заплатами на заднице? Из каждого окошка выглядывает почтенная пани, а ты оскорбляешь ее нежные чувства своими заплатами, — с ходу начал он высмеивать Штефана.

— Ношу, что имею, — защищался тот. — Вот летом заработаю денег, тогда и куплю новенькое.

— Заработаешь? А, это дело другое. Куда же ты пойдешь зарабатывать-то? Где это золотое дно?

— Я был у путевого мастера. Он мне очень даже обрадовался. Теперь им мои кирка и лопата придутся по душе.

— Само собой, теперь мы им сгодимся. В войну все повзрывали, теперь будем строить. Как в детской игре: сломать — построить, сломать — построить. Собирались даже сломать этот город, придушить, как шкодливого кота. Ведь они сделали бы это, не помешай им один дурак, который быстренько позвал русских. Вот балда-то, зачем он это сделал? Ну, взлетел бы город на воздух, вот у нас и были бы возможности строить заново.

— Чего ты несешь, Матей? Разве мало тебе, что мы остались живы?

— Да, вполне хватает. Сыт этим по горло.

Они жутко напились. Матей гудел, что Штефану надо идти на фабрику, там сейчас будут решать, как пойдет жизнь дальше.

— Сейчас речь идет обо всем! — Матей хлопнул кулаком по столу. — Сейчас все решится. Мне уже сорок, я хочу знать, для чего живу. Теперь меня никто не проведет!

Под конец Штефан дотащил Матея до дому, но не посмел взглянуть в глаза его старой маме, которая в пьянстве Матея винила его дружков.

Штефан был доволен, что устроился на железной дороге, надеясь со временем сдать экзамен на сортировщика, которому

после ночной смены полагается свободный день. Ему эти дни были нужны, чтобы закончить постройку дома, обработать надел. Ведь с хлебом было тяжело. Нельзя же было допустить, чтобы Магда с малышом голодали. Так что он, и работая на железной дороге, должен был крестьянствовать. В глубине души он допускал, что в нем коренится любовь к земле, унаследованная от отца, который не верил никому и ничему, только земле и своим рукам. Когда он поднимал голову от лопаты и оглядывал поля, блестящую жирную землю в свежевспаханных бороздах, все становилось на свои места. В такие минуты он понимал себя, понимал, отчего ему хотелось работать на воздухе, почему он отдавал предпочтение этой работе перед душным цехом фабрики.

Железные дороги в последний период войны были разбиты, земля вокруг изрыта воронками, взорванные мосты лежали на дне рек, остатки железобетонных конструкций вздымались к небу, туннели были завалены.

Люди взялись за работу с остервенением и шаг за шагом, шаг за шагом восстанавливали разрушенное.

Во время короткого обеденного перерыва мужчины перебрались в холодок, съели скудный обед, запили водой, покурили, завязался разговор.

— Был я, братцы, подручным каменщика, — рассказывал паренек. — Погнали, значит, нас против партизан. Ну, мы, сами понимаете, при первой же стычке все перебежали к ним. Потом — плен. Целую неделю везли нас в теплушках в Австрию. Что пережили в лагере, никому не пожелаю. Я заболел, поседел...

Парень снял полотняную кепку и показал свою седую голову.

— Будь доволен, что остался в живых, — сказал кладовщик Бартко. — Тем, кто не вернулся, пришлось хуже.

— А нам что — хорошо? — огрызнулся парень. — Что изменилось-то? Все равно над нами те же господа.

— Скоро будет полегче. Кое-что готовится, вот Штефан мог бы тебе порассказать.

Блеклые глаза парня обратились с вопросом к Штефану, но тот промолчал.

Все поднялись — худые, оборванные — и снова взялись мускулистыми рабочими руками за кирки, лопаты и топоры.

Железная дорога тянется вдоль русла реки, проходит мимо деревень, городов, оставляет за собою горы, пересекает границы, весь континент, объединяет мир.

Работая, Штефан вспоминал разговоры, которые вел когда-то с учителем Кралем. Они приходили к нему, когда чего-то не понимали. Он тогда организовал даже воскресную школу, учил людей читать-писать. "Это хоть и медленный, но единственный

путь борьбы с нищетой, — говаривал он не раз. — Посмотри, Штефан, какие у нас люди! Они замучены работой, в костеле они дремлют, а если о чем и мечтают, то только о том, чтобы напиться и обо всем на свете позабыть. Долго, долго еще нужно ждать, пока они пробудятся..."

"Но они уже пробудились! — думал Штефан. — Их разбудила война. Учитель бы теперь увидел другое".

— Раз-два, взяли! Еще взяли!

Шпала за шпалой, метр за метром, участок за участком. Рельсы сверкают на солнце, как две огненные змеи. Они объединяют мир, а мужчин объединяет работа.

— Вы хотели, чтобы я о чем-то рассказал, Бартко?

— Да вот, думаю, ты чего-нибудь да знаешь. Ты же коммунист. Я к тебе вечерком загляну. Поговорим, ладно?

Так стали приходить к Штефану по вечерам мужчины, собирались в пустой, без мебели, комнате. Сидели подолгу, до ночи. Огонек свечки тускло освещал неоштукатуренные стены, оживленные лица. Штефан рассказывал, как было в горах, говорил о мужестве, о гибели смелых, о том, за что они отдали жизнь.

— Ведь не ради того, чтобы все вернулось к старому, они умирали. Нельзя допустить, чтоб наши дети не ели досыта, как мы с вами когда-то.

После ухода мужчин Магда сложила доски, на которых они сидели, устроила на них постель.

— Штефан, сегодня приходили четверо.

— Кто такие?

— Комиссия какая-то. Ходили по всем домам, искали оружие.

— Ну и что, нашли?

— У нас не искали, я сама им отдала.

— Что ты им отдала?

— Да твои четыре винтовки.

— Ты что, рехнулась?!

— Сердишься, Штефко? А зачем нам винтовки? Того и гляди, от них беды не оберешься. Знаешь ведь, сколько мальчиков поранилось, играя с оружием.

— Ты права, жена. Надо было их получше спрятать. Ну спи, я найду другие.

— Другие? Зачем тебе оружие, Штефан? — В ее голосе слышался страх.

"Да так, я пошутил", — хотел он сказать, чтобы успокоить Магду, но вместо этого обнял ее и сказал:

— Знаешь, чего мы хотим добиться, Магдушка? Мы хотим добиться других порядков.

— И для этого нужно оружие? Будете стрелять? Снова война?

— Да нет, что ты. Но с оружием, раз уж нас научили с ним

обращаться, мы сильнее. Может, будет достаточно, если мы только пригрозим оружием.

Она свернулась калачиком в его объятиях и долго не засыпала. В открытое окно вливалась ночная тишина.

Мужчины начали собираться в пустом доме учителя Краля. С каждым днем их приходило туда все больше. Как-то вечером появился и Янко Гусарик, еще бледный после длительного пребывания в больнице. Его встретили овациями.

— Тебе, как инвалиду войны, мы выхлопочем корчму, парень, чтобы нам было где пить задарма! — сказал Матей Мацко.

— Очень нужна мне ваша корчма, — засмеялся Малыш. — У меня есть кое-что получше.

— А что? Не дай бог, пойдешь проводником в горы. Даже на одной ноге заберешься на какую-нибудь вершину! Или сделаешься звонарем, чтобы вместо вершины тебе была колокольня, — подъедал его Матей.

— Пойдет в балерины, — смеялся Штефан. — У этого парня такая сила воли! Захочет — станет балериной!

Малыш только усмехнулся.

В этот вечер Штефан возвращался домой в хорошем настроении. Не зря погибли люди, ничто не пропало даром. Поповская республика, война — все это ужасно разобщило людей, научило их относиться друг к другу с недоверием, подозрением. А сейчас они снова собираются вместе, снова поднимается настроение прошлогодних августовских дней, начала восстания, возникает сознание общности, сознание силы.

На ступеньках крыльца сидела Магда с полотенцем, перекинутым через плечо, в легкой ночной рубашке. Лицо ее было мокро от слез.

— Где ты пропадал, Штефко?

— Не бойся за меня, милая. Я не краду, не убиваю и даже не пью, — сказал он весело.

— Я боюсь. С тех пор как ты говорил о винтовках, нет мне покоя. Лучше бы я всюду ходила с тобой.

— А это неплохая идея, Магдушка. Пойдем. Ты нам сгодишься. Я говорю серьезно, жена!

Штефан поднял Магду и на руках внес в избу.

5

Майское солнышко освещает фронтоны домов, скользит по сухой штукатурке, тут и там отмеченной следами войны, греет асфальтированные тротуары. Зузана явственно ощущает это тепло, поднимающееся снизу.

В отворенных окнах колышутся занавески: в каждом доме одинаковые, с рюшью или с мережкой... Благодаря разбомблен-

ным вагонам городок обеспечил себя занавесками на многие годы. Но ни у кого уже нет времени сидеть у окна и смотреть на тихую площадь, подстерегая приход бродячего торговца, тряпичника, разносчика минеральной воды, жестянщика, стекольщика, точильщика. Даже пани Теодора Подлипкова и та не выглядывает из окна. Она собирается переселяться на юг, в теплые края. Соседкам она объясняет, что, дескать, не выносит здешнего климата, вредного для ее здоровья. Соседи только посмеиваются. Всем понятно, почему пани Теодоре приходится сматывать удочки. Как ей теперь жить рядом с Магдой Возаровой, встречать ежедневно ту, которую она осудила на смерть? Она боится мести Магды, а еще больше — мести Штефана.

Зато пан декан не собирался менять приход. Каждое утро он ходит в костел, и женщины набожно приветствуют его. Конечно, он старый человек, пусть себе доживает, ему бояться нечего, в городке ведь не найдется никого, кто пожелал бы его смерти.

Едва Зузана вошла в школу, как ее вызвали к директору.

— Это уж, кажется, ваша судьба, милая барышня-коллега, что вам приходится брать классы пана учителя Краля. Я снова вынужден просить вас об этом...

— Конечно, я их возьму, конечно! — быстро кивает Зузана, боясь, что директор сочтет нужным объяснить ей и причину отсутствия учителя.

Этого бы она не вынесла.

— Передо мной стоит тяжелая задача. За месяц надо пройти программу целого года. Не можем же мы провалить на экзамене всю школу, не правда ли? Сейчас нужно в ускоренном темпе пройти самое необходимое, остальное наверстаем в новом учебном году. Правда, меня здесь уже не будет, милая барышня-коллега. Я попросил о переводе на другое место.

Зачем он ей это говорит? Ее это вообще не интересует, как не интересует темное пятно на стене, где до недавнего времени висел портрет главы государства — тучного духовного пастыря. Ее не интересует, что директор стоит за столом в штатском костюме, который висит на нем как на вешалке. Не интересует, что он поверяет ей свои заботы о школьных делах и о самом себе. Она вздохнула, выйдя из кабинета директора на школьный двор, постояла на солнышке и только тогда вошла в шумный класс.

Похудевшие, бледные лица, глаза, которые видели много такого, чего не должны были бы видеть глаза детей... Стоя перед классом, Зузана заново училась улыбаться детям. Она искала для них слова, которые звучали бы оптимистично...

Она работала до упаду — она знала, что боль утраты можно умерить только этим. Много времени отдавала она школе, помогала Магде Возаровой на стройке и в поле, навещала больных и немощных.

Однажды Тереза Гусарикова принесла письмо, адресованное Юлии Краловой.

— Почтальонша не знала, кому его вручить. Я взяла. Говорю, что ты, скорее всего, знаешь адрес Юлии. Или, может, сообразишь, что с ним делать, — объяснила Тереза.

Зузана посмотрела на казенный конверт и поняла, что в этом письме. Уже несколько семей получили такие вот конверты. Она распечатала письмо. Юлию Кралову вызывали идентифицировать и по возможности перевезти останки мужа...

Адреса пани Юлии Зузана не знала. Да и не пыталась его найти. Ведь на прощание та сказала: "Заботьтесь о моих могилах!" Она сама передала ей эту обязанность.

Зузана вышла из расхлябанного автобуса, неуверенно пошла по сухой, утрамбованной земле деревенской улицы. Ей не надо было спрашивать дорогу, она и так знала, что кладбище лежит на холме за деревней.

Уже издалека она услышала запах — запах разрытых могил. У нее закружилась голова. Пришлось сесть. Она попросила у девочки из ближайшего дома кружку воды. Одним духом выпила холодную колодезную воду, собираясь с силами. Человек должен научиться смотреть жизни и смерти в лицо. Даже если это очень трудно.

Она миновала расстояние, отделявшее ее от кладбищенских ворот, вошла в ряды женщин с заплаканными глазами, которые подходили к разверстой братской могиле и по деталям, остаткам одежды или обуви узнавали в разлагающихся трупах своих сыновей, отцов, мужей...

Зузана собрала последние силы.

Чиновник посмотрел в бумагу, которую она держала в руках, и сказал:

— Ваш муж похоронен не здесь, пани. Подымитесь выше на холм.

Она пошла за какими-то людьми. Они поднялись по узкой тропиночке на полянку, сплошь покрытую цветами, потом тропинка снова пошла вверх, подымаясь вдоль кромки кустов к самым скалам.

На самом верху, у подножия скал, виднелся холмик. На белом камне лежала ржавая каска.

— Он тут, пани, — сказал чиновник.

Она огляделась. Внизу, в долине, была видна железная дорога, за ней петляла река. Сквозь зелень виднелась красная крыша — это, наверное, была мельница. За рекой тянулись поросшие кустарником холмы, поднимавшиеся к темным крутым вершинам. На северной стороне, частично закрытой скалами, виднелись луга, за ними чернел темный пояс предгорья. Над лесом возносились синие вершины гор.

— Можете приступать, — сказал чиновник.

— Не надо! — поспешно сказала она. — Можно его оставить лежать здесь?

— Здесь? — удивился один из спутников. — Да ведь тут земля-то неосвященная.

— Нет, она освящена, — возразила она.

— Как угодно, — пожал плечами чиновник. — Здесь общинные луга, так что оставить можно.

— Пожалуйста! — попросила Зузана.

— Его бы надо выкопать, чтобы вы убедились, что это ваш муж, — сказал тот мужчина, который только что говорил насчет неосвященной земли.

— Не надо, — сказала Зузана твердо. — Я знаю, это он.

— Как хотите, — повторил чиновник.

Мужчины взяли лопаты и не спеша отправились назад.

Зузана осталась одна. Она не была уверена, правильно ли она решила. Но чувствовала, что тут ему лежать лучше, чем в семейной могиле под статуей ангела. Разве он не говорил ей: "Когда-нибудь я свожу вас на луга под Криванем... Хотя бы по грибы", — добавил он тогда, чтобы скрыть волнение, чтобы она не заметила, сколько чувства он вложил в эти слова.

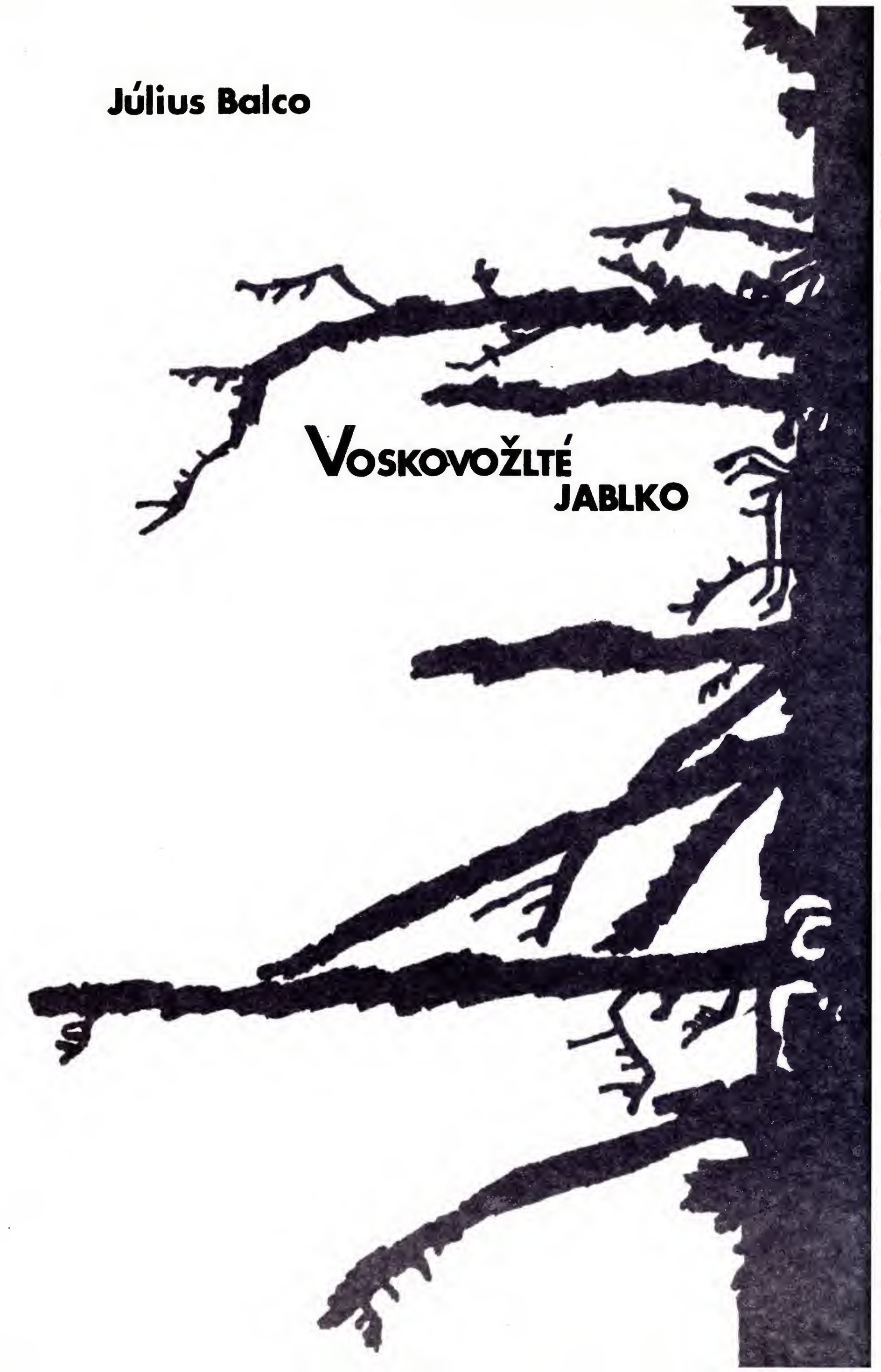
— Вот ты меня и привел, Юрай.

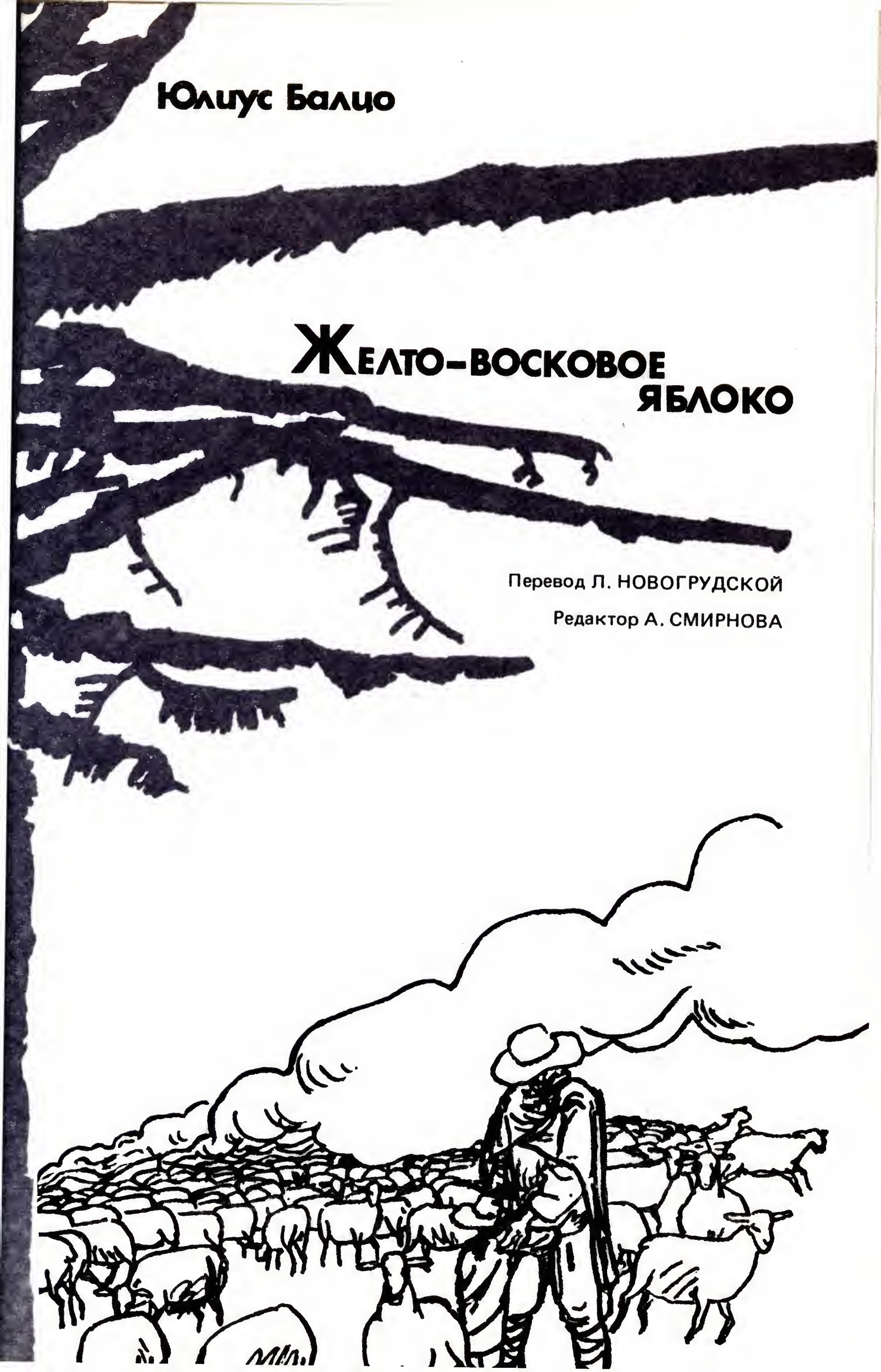
Она поглядела на букетик фиалок, который кто-то положил на могилу: неизвестный — неизвестному.

— Один раз привел!.. — сказала Зузана.

Один раз в жизни пережила она минуту страсти, счастья. Но этой минуты было достаточно, чтобы изменить ее всю, оживить, заставить полной грудью вдыхать этот душистый воздух, в котором не было ни капли запаха тления. Чтобы она почувствовала это тепло и доброту земли, которая сейчас обнимает ее всю. Чтобы она почувствовала шум воды, увидела вдруг синеву неба, зелень травы, зелень деревьев.

— Вот ты и привел меня, Юрай, на луга под Криванем!..


Július Balco
Voskovožlté
jablko



Юлиус Балцо

Желто-восковое яблоко

Перевод Л. НОВОГРУДСКОЙ

Редактор А. СМИРНОВА

— Дай-ка... дай-ка, я еще напьюсь. Больно холодна водица!

— Пей вволю, ведро полнехонько. Хорошая вода, ключевая.

— Жажда замучила. Все нутро огнем горит. Верно, доймет меня жар.

— Теперь только пей. Несколько часов кряду и впрямь будет мучить тебя жажда. Даже сильнее, чем сейчас...

— Люблю чистую воду, такую вот, как эта.

— От паленки, глядишь, больше было бы проку. Может, хлебнешь?

Бородатый покачал головой.

— Себе прибереги. Тебе самому ох как она пригодится! Каждый глоток пригодится, вспомнишь потом меня.

— Ладно, вспомню. Буду надеяться, что выше в горах горячка твоя пройдет, — сказал немолодой высокий и крепкий мужчина с правильными чертами лица. Он прикрепил флягу к широкому пастушьему поясу, и проницательный взгляд его больших черных глаз встретился со взглядом бородатого.

Так смотрели они друг на друга и словно бы утверждались в собственных мыслях.

Бородатый, сплюнув, прикусил верхнюю губу. Был он и ростом гораздо ниже, да и худее бачи[1], но в характере у них было что-то общее, и это сразу бросалось в глаза.

Бача нахмурился, широкие плечи его поникли.

— Завтра погоним отару в деревню, — сказал он.

Ну не чудак ли старикан, подумал бородатый. Оставил бы при себе такие шутки. Эх, будь все хотя бы так, как ты воображаешь...

— Там уже они, — бросил он и заметил, как изменилось при его словах лицо бачи, а глаза, испытующе вперившиеся в него, словно бы невольно потупились...

— Боюсь я, что не дойдешь ты с отарой до своей деревни, боюсь я, — заговорил он размеренно, взвешивая каждое слово, — что ты даже не рискнешь туда пойти. Боюсь я...

— А это почему?

[1] Бача — потомственный пастух-овчар.

— Потому что там уже они.

В колибе[1] вдруг воцарилась глухая тишина, какая наступает обычно в горах, когда рухнет с кручи огромный валун и застынут в недвижности последние обломки камней. Кто знает, как долго бы это длилось, если бы бача не сказал наконец, что он только и делал, что пас овец, а сыр, как было обговорено, исправно отправлял.

— И свидетель мне этот мальчик, — кивнул он на пастушонка.

Растерянный взгляд его блуждал по колибе. Черпаки, черпачки, мешалки, подойники, ушат для жинчицы[2], кадка для брынзы, палки, вертел — все, с чем мысленно он уже прощался. Потом, сгорбившись, вошел в кладовку. В шерстяную пастушью сумку сложил остатки сала, немного сыра и несколько оштепков[3]. Ларь опустел, в задумчивости он постучал по нему пальцами и вернулся в колибу. Взгляд его упал на ружье, которое стояло, припертое к сероватой стене сруба. Посмотрел он и на мальчика. Указал на него:

— Он ничего не знает. Ни о чем не знает. Вообще ничего не знает о войне. Ничего.

— Но он уже большой мальчик, — в раздумье проговорил бородатый. — Об овцах знает все. Пожалуй, теперь в самую пору сказать ему что-то и о войне.

— А зачем это ему? Он кто? Офицер?

Бородатый удивленно взглянул на него, потом сдержанно заметил, что это сын его, бачи, и что вмешиваться в чужие дела он не собирается.

Пастушонок стоял, заложив руки за спину. Улыбался как-то виновато, будто понимал, что был причиной размолвки.

— Нет, почему же, скажи свое слово! Мне очень даже любопытно, как ты вознамерился вразумить его.

Бородатый молчал.

— Тебя не удивляет, почему мальчонка тут со мной. Он мой сын, мой единственный сын, это чтоб ты лучше все представлял. Для него войны нет. Нет, потому что я этого не хочу. Не хочу, чтобы он о ней что-нибудь знал. — Потом, понизив голос, добавил: — Когда я сам был маленький, тоже не имел о ней никакого понятия, и это мне никак не мешало.

Бородатый закурил.

— Но сейчас, что там ни говори, другая война, — сказал он.

— Но при чем тут мой сын? Разве что он... Но прежде, чем сказать ему, — указал бача на пастушонка, — растолкуй перво-наперво мне, неужто в этой вот войне люди начисто лишились ума?

[1]Колиба — пастушья хибара, шалаш, часто срубовые.
[2]Жинчица — напиток из овечьего молока.
[3]Оштепок — копченый овечий сыр.

— Да так оно и есть. Думаю, что тут ты в самую точку попал. И не только в этой...

Он резко выдохнул сигаретный дым, стряхнул пепел и снова затянулся.

Да, крепко бача виноват, что парнишка простодушный, как ягненок, размышлял бородатый. Кабы понимал он все, как есть, то мог бы незаметно пробраться в какую-нибудь деревню Долины, прошмыгнуть в какую-никакую избу, там бы его наверняка приютили. И глядишь, с мальцом ничего бы не случилось.

Решительно склонившись к пастушонку, он взял его за руку, заглянул в глаза. Они были у него такие голубые и чистые, каким бывает небосвод летом.

— А теперь ты меня послушай, паренек! Хочется мне что-то рассказать тебе.

Но когда пастушонок взглянул на него своими глазами-васильками, он просто онемел. Закашлялся. Почувствовал вдруг сухость во рту; встать бы да напиться или лучше окунуть в ведро с ледяной водой больную свою голову, которая теперь и годилась разве на то, чтобы посеять смятение и страх в душе ребенка.

Конечно, ведь совсем недавно этот парнишка научился ходить. Эдак какие-нибудь несколько лет назад сделал свои первые шажки по земле. Падал, ушибался и снова вставал, покуда не научился. Теперь ходит гордо и головенку свою держит гордо, как человек, которому чужд страх и заботы. Смело запрокидывает ее, переводя глаза то на отца, то на других парней в колибе. На него и не глядит, словно и слушать не желает.

А парни в колибе все смотрели на пастушонка.

— Я должен сказать тебе, мальчик, что сейчас идет война.

Пастушонок скользнул по нему равнодушным взглядом, ведь мысли его были заняты овцами и он рассеянно прислушивался к звону их колокольцев. Посмотрел на отца.

Бача Ян, успокоившись, выпрямился, пальцы засунул за пояс, а на лице его промелькнула самодовольная усмешка.

Бородатый привлек пастушонка к себе.

— Всюду война! — не сказал, выкрикнул он, не замечая никого вокруг, кроме пастушонка, думая лишь о том, как бы сохранить ему жизнь.

Да, нужно его одного отослать в Долину, внушив такой страх, чтобы он пугался малейшего шороха, изловчился бы спрятаться за любое дерево, даже пень, невидимкой юркнуть в кусты, проползти в траве, крапиве, чтоб как огня боялся он людей в касках, чтоб от страха и рта раскрыть не смел.

Кровь ударила бородатому в голову. Глаза его метали молнии. Он уж не кричал, заклинал:

— Люди, люди стреляют в людей! Убивают друг друга!.. Терзают хуже псов, бьют без всякой жалости! Мир, мир залит

человеческой кровью, кровавые даже реки и озера — люди топят там друг друга, точно слепых котят! Понимаешь ли ты это, мальчик?! Как знать, может, и тебя убьют, зарежут, будто овцу, таким вот ножом! — Он выхватил из-за пояса длинный нож и замахал перед глазами пастушонка. Тот отпрянул, зрачки у него расширились. — И мертвого бросят в Чертову Яму, если ты не будешь слушаться, мальчик, если ты не сделаешь так, как я накажу тебе!

Бача уже с трудом владел собой. Сложись все иначе, уважение к командиру вряд ли сдержало бы его. Но теперь он понял: дело плохо. Что, если он и впрямь не дойдет с отарой до своей деревни? Куда ж они тогда денутся? И что будет с мальчонкой? Удрученный, он молчал. Но из какого-то упрямства, упрямства человека, который никогда не привык отступать, бача для виду улыбался. Улыбнулся он и пастушонку: ничего, мол, не случилось, и тот робко улыбнулся ему в ответ.

— Ну как, ты уже поверил в войну, Янко? — спросил он мальчика с наигранной веселостью.

Пастушонок пытливо посмотрел на бачу и пожал плечами.

Мужчины в колибе переглянулись.

Пастушонок опять растерянно пожал плечами, покрутил головой, будто был глух и нем.

— Оставь его, капитан... — сказал один из парней и тронул приклад автомата, который висел у него на груди. — Пошли.

Но бородатый словно и не слышал, упрямо твердил свое, содрогаясь от ужаса при мысли о том, что ждет этих двух — отца и сына:

— Люди, люди стреляют в людей, убивают друг друга! Ты разве не слышишь, как стреляют, мальчик?

Шум в долине вдруг утих, и стало слышно, как растет трава. Койка скрипнула, бача провел ладонью по морщинистому лбу.

Пастушонок еще больше растерялся. Изумленно взглянул на отца. Бача сморщил лоб и осклабился, но тоже как-то растерянно и недоумевающе.

Бородатому аж лицо перекосило.

— Так ты и в самом деле ничего ему не рассказал? Ровно ничего? Ни о них? Ни о нас?

— Почему я должен был ему об этом рассказывать? — сказал бача. — Ведь он еще мальчонка малый, еще только в школу пойдет. В этом вот году.

И бородатый, уже смирившись, тихо спросил:

— А не пожалеешь ли ты, что совсем его к этому не подготовил?

— Почему? — Бача сжал кулаки так, что побелели суставы, а длинные ногти впились в ладони. Заскрипел зубами, потер лоб, что было у бачи в привычке, когда до него что-нибудь ту-

го доходило. — Не знаю, я на самом деле так думаю, на самом деле...

Голос его сорвался. Показная уверенность и твердость отлетели, как сухой лист. Он сказал, скорее просительно:

— Капитан... Ты только прими в соображение... Ведь это мой единственный сын, я отдал бы за него все. Взгляни, он еще совсем дитя. Бегал по лугам. Стояло такое славное лето... А он вместе со мной пас овечек. И такая это была для него радость, капитан, так он радовался! Ну что я мог ему сказать? А помнишь, Янко, — обратился он к мальчику, который стоял в нерешительности, опустив руки. — Ты пас тогда на Уврате, возле колибы. И ты видел, как мы с ребятами брали из загона овцу. У них были при себе ружья, такие вот, как эти. Что я тебе в тот раз сказал?

— Что это охотники, — еле слышно ответил мальчик.

— Вы ходили большей частью ночью, когда он спал. И я это от него утаивал. Без особого труда. В лесу пропасть зверей, птиц и всяких там растений, а это занимало его куда больше. Он хотел узнать, как варится жинчица, как коптят оштепки, те самые, что я вам посылал, ребята. Интересовали его овцы, шалаш и лес. Поэтому-то о войне я ему ничего и не рассказывал, да если б и рассказал, то уверен: здесь, в лугах, он все равно бы начисто о том забыл.

— Это, конечно, так, — сказал бородатый, — но если б он остался в деревне, то все бы узнал. В деревнях совсем малые дети об этом знают.

— В деревнях — другое дело. Там всюду о том говорят. А здесь же, кроме меня, объяснить ему было некому.

Бородатый мягко положил ему руку на плечо и настойчиво сказал:

— Теперь самая подходящая минута, чтобы ты все растолковал ему, Яно.

Впервые он назвал бачу по имени.

— Поверь, это необходимо. Пусть лучше узнает от нас. От тебя. Сейчас самое время сказать ему обо всем.

Да, не уберег я его, не уберег, не выходило у бачи из головы.

— У тебя есть дети, капитан?

Бородатый кивнул, потом добавил:

— Двое. Уж и не помню, когда я их в последний раз видел.

— Может быть, тебе сейчас легче, чем мне, — бросил ему бача, понурив голову. Сумку с сыром и оштепками он швырнул в угол, сам уселся на койку, лицом к пастушонку.

Бородатый снова закурил. Нервы, подумал он, не мешало бы как следует выспаться.

— Послушай, бача. Забирай парнишку и ступайте в какую-нибудь из деревень Долины. Может, вам повезет, и вы устроитесь. Или айда с нами. Покуда будем живы, с вами ничего не случится. Понимаешь? Ребята в горах жизни не пожалеют за

твоего мальчонку. Они и сейчас не щадят ее. Может быть, нам удастся удержать перевал. Если мальчик выбьется из сил, мы понесем его.

— А как же овцы, — тут же спросил бача, — что будет с овцами?

Бородатый шумно вздохнул.

— Да брось ты все! Овцы пускай остаются с овцами, а ты — давай бог ноги. Советую тебе: и думать о них забудь.

— Разве я могу допустить, чтоб они подохли? — покачал головой бача. — Ты забыл, что я бача.

— Я так не говорю. Может, завтра мы пойдем в наступление. Тогда ты вернешься к своей отаре. А теперь и в самом деле не время возиться с овцами. Забирай мальца и двигай. Может, вам и посчастливится.

Бача молчал, кусал губы.

— Если же завтра мы не погоним их, они доберутся и сюда. Может, уже сегодня. Может, они уже сейчас рвутся сюда... А случись так, что завтра мы не атакуем, они наверняка явятся за твоими овцами, а там схватят и вас, если вы не скроетесь вовремя.

Бача только головой качал. Зажмурил глаза, как от яркого света. Бородатый, как мог, старался убедить его.

— Твоей отары уже нет! — стучал он кулаком в стену колибы. — Мы бы взяли овец, и это было бы нам очень кстати. Если бы у нас было время! А коль не мы, значит, заберут они. И съедят твоих овец за милую душу. И даже не помыслят о том, что мы все равно продырявим им брюхо. Слопают твою отару с превеликой радостью...

— Ты думаешь, они станут резать и дойных овец? — спросил его бача.

— А чем дойная овца не овца? Они ведь хорошо знают, что долго здесь не задержатся. Да и что тебе толковать? Простись-ка ты лучше со своими овцами — и айда с нами. Или попробуйте прошмыгнуть в какую-нибудь деревню — это было бы мудрее всего.

Бородатый опять загляделся на детское личико пастушонка, на голубые его глаза. Белокурые волосы непослушными прядями падали ему на лоб.

Взрослые разговаривали, а он притащил стульчик и устроился на нем. Места в колибе и так было мало, а теперь там теснились пятеро — все жались возле бачи и его сына, возле костра и койки. Костер уже давно погас, серела лишь зола, не светилось оттуда ни единого уголька. В колибе было сумрачно, солнце мало-помалу заползало за Прудкую гору. Луга на востоке еще желтели. А верхушки елей на Прудкой еще пестрели в солнечном свете. Только в дымник — отверстие в крыше над костром — оно уже не заглядывало.

Залаяли овчарки. Послышался топот. Кто-то торопливо при-

ближался к колибе. И вот в дверях показался парень с рукой на перевязи.

— Капитан Матуш!

Бородатый взглянул на часы. Приложил их к уху. Часы, верно, не ходили, потому что он опустил руку ниже и невидяще смотрел на них.

Парень просунул голову в колибу, но не вошел, выжидая. Здоровой рукой он опирался о стену.

— Капитан Матуш! — снова настойчиво позвал незнакомец.

Бородатый кивнул.

— Прострелили ему руку, — показал он на парня. Слова эти, как видно, предназначались мальчику.

— Так, царапина, — отозвался незнакомец. — Кажется, удалось задержать. — И добавил: — Двинемся на Солиско.

Пастушонок с любопытством разглядывал раненого. Марлевый жгут стягивал его руку от запястья по самый локоть. Что это? Мальчик не знал. Творилось что-то непонятное. Но он привык разговаривать только с отцом и теперь терпеливо ждал, когда все уйдут, чтобы обо всем расспросить.

Его охватила смутная печаль. В кошаре блеют овцы, собаки сидят на цепи, овец не пасут и не доят. Все какие-то сердитые, почему-то никак не могут договориться. А чуднее всех толкует этот бородатый капитан об овцах. Верно, болтает. Кто ж станет резать дойную овцу?

Теперь он различал и стрельбу. Эхо возвращало сухой и ту пой треск, словно бы стреляли на Прудкой. Временами в Долине что-то гудело.

О войне он, конечно, кое-что слыхал, только не задумывался над этим. Ну вот, война уже здесь, сказал себе он.

В колибе воцарилась тяжелая, глубокая тишина. Все глядели на пастушонка. Сидя на стульчике, он казался еще меньше и беззащитнее, его присутствие было для всех мучительным, но мальчик был здесь, и не считаться с этим было нельзя.

Тяжко было капитану уходить с чувством, что переубедить бачу ему не удалось. Поведет мальчишку на верную погибель. Он их еще не знает.

И опять — уже в который раз — он подошел к ведру напиться. Странная жажда, затаившаяся где-то внутри, жгла, совсем иссушила его.

— Нехорошо... нехорошо... — недовольно бурчал он, отхлебывая из черпака. Посмотрел на бачу, неподвижный взгляд которого был прикован к ружью у стены. Это было охотничье ружье, которое он держал здесь с незапамятных времен, и предназначалось оно для волков.

И охота тебе, старикан, глядеть на этот пугач, думал бородатый. Я дал бы тебе совсем другую пушку! Оценивающим взглядом окинул статную фигуру бачи — он легко бы донес пулемет

туда, где тот нужнее всего. Хоть на самую Прудкую гору!

А как быть с мальчишкой? Да, нескладно поступил бача, что взял его с собой. Но мальчик жил в колибе все лето. Почитай, с самой весны.

Между тем пастушонок взобрался на койку. Снял с перекладины черпак и потянулся к полке за свирелью. Ему пришлось подняться на цыпочки, держась рукой за стенку. Потом спрыгнул с койки, сунул черпак в сумку. Сел на стульчик, сумку положил рядом с собой, а свирель на колени.

— Играешь? — спросил его бородатый.

— Еще нет, но выучусь.

— Когда? — сухо спросил бородатый.

— Когда подрасту. Отец умеет, он меня научит.

Бородатого что-то осенило.

— А ты попробуй, — подзадорил он мальчика. — Возьми и поиграй.

Пастушонок с любопытством посмотрел на отца, позволит ли? Погруженный в свои мысли, бача не ответил. Его молчание мальчик принял за согласие, но все-таки спросил тихо, недоверчиво:

— Ей-богу, можно?

— Можно, — сказал бородатый.

Пастушонок подул в свирель. Раздался слабенький свист. Мальчик боязливо глянул на отца, а тот удивленно воззрился на него.

— Ну-ка еще разок, — подбодрил его бородатый. — Гей, ты, Я́-но-шик у-да-лый! — пошел он вприсядку, подняв сжатые в кулаки руки.

Отозвался звонкий мальчишеский смех. И тут уж пастушонок, осмелев, дунул изо всех сил.

Свирель издала монотонный свист.

И вдруг где-то глубоко под ними, словно в утробе земли, загремело, загрохотало. Пастушонок в жизни не слыхал такого раската. Руками зажал он уши, закрыл глаза. Вскрикнул. Выронил свирель. Парни все как по команде выбежали из колибы.

— Чтоб им пусто было! — выругался капитан и в сердцах швырнул черпак на землю.

Распрямившись, он стоял у колибы в сгущающихся сумерках еще по-летнему теплого раннего вечера и, приоткрыв рот, глядел с холма вниз. Губы у него дрожали. Он кусал их и чувствовал сладкий привкус крови. Сорвал с головы фуражку. Пальцами обеих рук нервно мял козырек.

Если б не гул орудий, Долина под ними отходила бы ко сну.

Наконец они остались в колибе одни. Пастушонок уже ни о чем не спрашивал. Свирель, на которой он пока не умел иг-

рать, положил назад на полку и, как это обычно бывало по вечерам, попросил отца, чтобы тот рассказал ему про зверей.

Бача обрадовался, что мальчик вспомнил про зверей: не хотелось ему говорить о том, о чем он рад был бы забыть. Убеждал себя, что, кроме шалаша, обдуваемого сейчас мирным, едва заметным ветерком, в округе нет никого и ничего.

Да и что другое могло тут быть?

Выйдя из колибы, он погрузился бы во тьму, которая мягко стелилась вокруг, заползала в глаза, убаюкивала. Услышал бы слабое поскуливание пса, который дремал, положив голову на лапы. Пес был белый как лунь, но в темноте не проглядывался. Была бы ночь ясная — высыпали бы на небе звезды. Жаль, что их сейчас не видать. А в общем, что они ему? Сколько уж раз смотрел он на них, сколько раз они были его единственными собеседниками, но всегда казались ему лишь ясными точками на небосводе, больше, меньше, еще меньше... И что они говорили ему? Ничего. И теперь ничего бы не сказали. Ведь он и так знал, где кошара, а где стойло, где начинается лес. Знал по памяти. Пас он здесь не впервой. Луга с извечно сочной травой славились тут давным-давно. С детских лет он знал, что есть шалаш, где работа с овцами, есть деревня, где у него изба. Знал он и то, какие в деревне люди. Он знаком был там, почитай, со всеми, кроме разве совсем маленьких детей. Темнота приблизила к нему деревню, словно была она в двух шагах от него. Когда же им завладели мысли о доме, он рукой махнул. Завтра всех увидит, попробует вместе с овцами туда добраться. Поступит так, как делал многие годы...

Он поднялся с койки, чтобы разложить костер. Поднес спички к сухому хворосту — несколько охапок его он всегда заготавливал у северной стороны колибы, — костер вспыхнул ярким пламенем. И когда колибу затопил свет, в кровавых отблесках которого он разглядел лицо пастушонка, на какой-то миг им снова овладело сомнение.

Нет, прочь беспокойство. Все так, как бывало раньше. Только не поддаваться! И как пес, которого смочил дождь, он встряхнулся.

Летняя ночь вокруг спала. Утих и гул орудий.

Нет ничего, кроме этого шалаша, дремлющих овец и деревень внизу, в Долине.

Он вытащил из-за пояса флягу с паленкой, отхлебнул из нее. Подбросил в костер поленце потолще. Следил, как его облизал язык пламени, как в полене что-то затрещало, завздыхало.

В самом деле, как мало говорили ему звезды, хотя он долго на них глядел. Говорили лишь о том, что он и сам наперед знал. Не могли мы ничего друг другу сказать. Слишком далеки вы, звезды, чтобы мне помочь. Слишком далеки. Потому и не услышали вы мою просьбу и не показались на небосводе. Очень

вы тем мне помогли бы, а может, напротив, навредили. Если бы светили, как знать, может, я бросил бы все и отправился бы с мальцом вниз, а вы указывали бы мне дорогу. Так или иначе, вы далеко. Ну а коль вас нет, бог с вами, звезды!

И опять он пропустил глоток паленки.

— Встань-ка, Янко, выйдем на минутку!

Пастушонок поднялся, и оба они вышли в волшебную тишину ночи высоко в горах. Стояли молча друг возле друга, вдыхали свежий и ядреный горный воздух. Бача с флягой в руке. В конце концов, он даже не знал, о чем ему вести разговор... К его удивлению, паленка не развязала ему язык, а только больше сгустила тьму, которая угнездилась в его душе с самого утра.

Долго стояли они там, не двигаясь, лишь бача нет-нет да и отхлебывал из фляги. Размышлял о том, что в этакой тьме они нипочем не одолели бы перевал и даже не выбрались бы из леса.

Когда они вернулись, в колибе было светло как днем. Сели рядом на койку. Пастушонок любил так вот сидеть с отцом у костра.

— Расскажите мне о том медведе, — попросил он.

По вечерам колиба превращалась в опушку сказочного леса, словно бы луга, на которых они пасли овец днем, в сумерках куда-то отступали.

Со всех сторон тогда заглядывал сюда лес. Да и сама колиба вся была из дерева, а костер так упоительно благоухал смолой.

А бача рассказывал.

Среди елей потихоньку засыпал на совиных крыльях ветерок. Пастушонок какое-то время вился вокруг него, подобный темной бечевочке, потом стал выспрашивать отца про сыча:

— Я его ни разу не видал. Никогда не слыхал, как он кричит... Его можно словить? Он меньше совы?

— Сыч — птица смерти. Разве кто пожелал бы его поймать? Никто даже увидеть его не хочет.

Пастушонок задумался.

— А красиво сыч поет?

— Да вот примерно так... — изобразил бача крик заклейменной поверьями птицы. — Там, где ухает сыч, там является смерть.

И тут же свернул разговор на другое:

— А помнишь, как мы охотились на лису? А ну покажи, как верещит заяц, когда его зацапает лиса!

Пастушонок потряс головой, прижал ладонь ко рту и изобразил предсмертный визг зайца.

Бача одобрительно улыбался.

— Ну будет, не то послезают лисы аж с самой Подсухой.

Похвала порадовала пастушонка.

— Отец, а почему вы не охотник? — спросил он немного погодя.

— А разве я не охотился? — возразил бача. — Этим вот ружьем не подстрелил тебе выдру на шапку? А сурка, когда ты хворал? Уж как я его выслеживал! Ты что, запамятовал?

— Это верно, но все же это не то...

— Ты прав, Янко. Охотниками могут стать не все. Ты помнишь косуль, которых мы видели на той неделе на водопое под Прудкой? Ты стал бы стрелять в косуль, Янко? Вот видишь! Я тоже бы не стал. Пожалел бы их.

— А в волка? — спросил мальчик.

— Ну, волк — другое дело. Ружье ведь на волка.

— И на медведя, — добавил пастушонок. — Подобрался бы когда к кошаре медведь, мы как пальнули бы в воздух, и он вмиг умчался бы. Ведь правда, а?

Вот так они и разговаривали по вечерам, когда оставались в колибе одни. Сперва ушли оба пастуха, потом исчез подпасок Грицко. Поначалу они нет-нет да и наведывались в колибу. Помогали доить овец и уносили с собой жинчицу, сыр и оштепки. Таскали на спинах огромные рюкзаки из зеленого брезента. Какие бача никогда в жизни не видал и очень им дивился. Заметил как-то, что в такой мешок и целая овца поместится. Эта мысль пастухам понравилась. Действительно поместилась, торчали оттуда одни овечьи ножки. Овца не блеяла, потому что была заколота. Так все и шло. Только мальчик ни о чем не догадывался, его дело было — пасти.

Поленья догорали, свет костра убывал. Наконец в черной, как сланец, золе засветились лишь раскаленные угольки.

— Ну-тка, Янко, давай ложиться спать. Завтра придется встать пораньше...

— Разве уже пора уходить? — спросил пастушонок.

— Не знаю, Янко. Еще не знаю, — уклончиво ответил бача.

И пастушонок был сам не свой. Задумывался. Но о чем говорил бородатый, помалкивал. Чувствовал, что спрашивать об этом не время. Оглядывал колибу, к которой так приросло его сердце.

— Я бы не прочь остаться здесь на зиму, — сказал он.

— Чего ради? Что бы ты делал здесь зимой?

— Ну... топил бы печку.

— Пожалуй, только это и можно. Ничего другого ты бы просто не сумел. А Валаштянский холм зимой ты бы даже не узнал.

— Узнал.

— Навряд... навряд... — засомневался бача. — Сочной, вкусной травы тут и в помине не будет. Завеет снегом поток, овец как не бывало. Даже в лесу сгинет все живое. Разве стаи волков из Польши когда забредут: мучит их голод. Трудно охотиться

зимой: зверей становится меньше. Большая часть их зимой спит.

— Медведи, к примеру, — вспомнил пастушонок.

— Медведи, суслики, хомяки... — разговорился бача. — Птицы улетают на юг. Улитки, жабы... кто знает, куда все подевается... куда схоронятся скоро все зверюшки, какими обычно кормятся волки. Вот и полевки притаятся где-нибудь в сухом уголке, под корнями деревьев. Знаешь, сколько снегу навалит на Валаштянском холме? Ужас сколько! Сугробы высотой в десять метров! Случаются и снежные бури, проносятся они по Валаштянскому холму, одна перегоняя другую. Изредка, правда, выглянет солнышко, покажется, да и то — на минутку. Бледное, холодное и сразу же спрячется за тучку, словно периной укроется. Как и мы дома, правда? Бывало нам хорошо в тепле у очага. Вот тогда мы и рассказывали сказки.

— А бабушка — мастерица сказки рассказывать, — признался мальчик. — Только много чего выдумывает.

— Разве так?

— Сама мне говорила, что никогда не видела ни лесных духов, ни утопленников и не знаю там, кого еще. А вы когда-нибудь их видели?

— Нет, не видел, — признался бача.

— А оборотней?

— Не видел.

— А лесных вил?

— Тоже нет.

— А привидений?

— Даже их не видал.

— И никаких духов?

— Никаких.

— Вот видите. А принцессы и короли бывают?

— Эти бывают.

— А вы не обманываете? Ей-богу? Вот на нее я бы хотел посмотреть.

— На кого?

— На живую принцессу. Она и на самом деле такая красавица, как рассказывала бабушка? Как вы думаете, отец?

— А я ничего не думаю.

— Вы тоже их никогда не видели, да?

— Не видел.

— Но они все-таки существуют?

— Существуют. Действительно существуют.

— А где, отец? Где?

— На белом свете. В чужих краях.

Пастушонок умолк. Размечтался. Когда вырастет, то обязательно пойдет по белу свету искать принцессу. Как ни говори, а белый свет так велик, что весь Кривань — соринка малая супротив него. А Валаштянский холм... меньше макового зерныш-

ка. Нелегко будет найти принцессу. Ну а если его убьют, то он ее никогда не найдет.

Понизив голос, спросил:

— А что делают принцессы теперь, когда война?

Из своей большой фляги бача выпил уже добрую половину. Расчувствовался и заговорил с мальчиком, будто с равным. Совсем так, как было прежде. Временами он словно бы забывал о неприятном. Только пастушонок о том снова ему напомнил.

— Да ничего, как всегда, — ответил он. — Веселятся, едят, пьют, танцуют и выбирают себе женихов.

— Какого-нибудь принца. А как же война?

— Да ничего. Принцессам она не угрожает.

— Принцессам хорошо, им бояться нечего, — рассудил пастушонок.

— Как в сказке, Янко, — вздохнул бача.

— Я больше люблю, когда вы рассказываете про зверей. Мне это больше нравится. Жалко, ушла от нас белочка, та, что мы поймали. А то взяли бы ее домой.

Бача вздохнул. Какая-то внутренняя неуверенность, брожение в крови мешали ему продолжать разговор с ребенком.

— Ложись-ка ты лучше спать, — сказал он мальчику. — Порядком утомился, а завтра опять надо пасти.

И накрыл его овечьими шкурами.

Пастушонок же снова размечтался. Он представил медведя, как тот подкрадывается к кошаре. Но пальнешь в воздух — и медведь уйдет. Потом вообразил себя медведем, прикидывал, как бы ему перехитрить бачу и задрать-таки овцу. И подкрадывался тихо, почти не дыша и сторожко ступая тяжелыми лапами по игольнику. А то представлял себя хитрым лисом или филином, что неслышно летает. Когда он вдоволь нагляделся на эти картины, мысль его словно бы засветилась в глазах рыси. Он долго кого-то ловил, был смелым и ловким.

Потом в лесу послышались выстрелы.

Из чащи на луг выбежал человек в каске. Он спотыкался и падал. Двое других, тоже в касках, поспешили ему навстречу, один подхватил его. В лесу что-то задымилось: выстрелы, выстрелы.

Рыжая рысь остановилась на вырубке, прислушалась. Черная щетина на ушах стала дыбом, шерсть заискрилась. Безучастно смотрела она на людей в касках, которыми, верно, кишел весь лес. Ощерила зубы, тихо заворчала. Потом упруго подпрыгнула и скрылась в густых зарослях молодняка.

Пастушонок спал. Бача долго на него глядел. Лежал мальчик на спине, раскинув руки, и дышал ровно. Низкая койка была ему велика. Он едва занимал половину ее, тепло укрытый овечьими шкурами. Под головой у него была подушка, ее бача захватил с собой из дома. Принес он сюда, в шалаш, и мясо в

банках, и консервированные овощи, привез мешок картошки — все это ради мальчика. Сам довольствовался сыром, салом и хлебом.

В самом деле, было ему тут совсем неплохо, подумал бача с чувством удовлетворения. Хорошо я о нем позаботился. Да и год был добрый, с овцами тоже повезло. Ни одна не пропала, даже змея ни одну не тронула. Неужто и всегда бывает так, что под конец все идет насмарку?!

В какой-то болезненной оцепенелости он окидывал взглядом колибу, темные углы и полки, уже отмеченные древоточцем. Он следил за расплывчатыми тенями предметов в слабеющем свете догорающего костра.

Старая колиба на косогоре Валаштянского холма уже много-много лет была его вторым домом. Тут провел он долгие годы, и каждый предмет утвари был плодом его работы, кропотливой и упорной. Искусно вырезанные черпаки на полке над койкой, где спал мальчик, напомнили ему ушедшие времена, когда жена рожала ему одних дочерей и он чувствовал себя вконец несчастным.

Дела давно минувшие. И теперь, когда у него уже подрастал сын, он вспоминал о прошлом всегда с легкой усмешкой. А до рождения сына ему было не до смеха. Растил уже четырех дочерей, и некому было передать валашку — символ пастушьего дела.

Уже в ту пору, когда жена рожала в первый раз, он страстно ждал сына. Уже тогда в корчме у Якуба хвастал: кому ж еще, как не мне, родить настоящего мужика! Увидите, будет сын! Над ним подтрунивали, его поддразнивали — и оказались правы: родилась дочка. Это бачу тогда очень расстроило. Но не долго он сокрушался. Не вышло сына, ну и что ж? В другой раз будет.

Он потянулся к поясу за флягой, отпил глоток и потихоньку, чтобы не разбудить мальчика, откашлялся. Заскребло у него в горле.

Встал. Захотелось выйти. Скрипнула дверь. Уже давно собирался он смазать петли, но все как-то руки не доходили.

Может, еще вернемся сюда через год, подумал он. Ночь темная, хоть глаз коли. А день, день был такой прекрасный. Что это вдруг собрались тучи? Пригнал их неведомо откуда ветер.

Он прошелся по лугу и снова раскашлялся: за лето поотвык от паленки и теперь с непривычки она драла ему горло... Когда кашель поутих, он стал глядеть в темноту в сторону Долины и прислушиваться. Ничего не было слышно, только поток шумел да тихо ворчали псы, разбуженные его кашлем; загремели цепями. Он, как всегда, решил положиться на собак — первые почуют чье-нибудь приближение. Перестал всматриваться в черную

мглу под собой, подошел к будке и отвязал псов. Они признательно потерлись о его ноги и ринулись в темноту. Это были сильные овчарки, и мальчик их очень любил.

Вернувшись в колибу, бача, как был — в галене[1] и крпцах, и даже шарфа не снял, — повалился на койку, потому что не надеялся заснуть. Глядел, как через отверстие в крыше выходит тонкая струйка дыма, и время от времени посматривал на сынишку.

В ушах его все еще гремели взрывы и стрельба, усиленные эхом от скал Прудкой горы, высившейся напротив. Ворочался с боку на бок. Койка скрипела, разгоняя сон. Остро чувствовал он и слабенькое потрескиванье медленно остывающих угольков. Улавливал за стеной шалаша какие-то посторонние звуки.

Его начал одолевать страх. Он то и дело тянулся к фляге и жадно пил. От паленки ломило голову, подкатывало к горлу, она противно пахла и обжигала.

Нет, не уберег я его, не уберег, ругал он себя. Что-то будет завтра?

Черпаки, вырезанные им, черпаки на полке... Самый крайний Янко уже спрятал в сумку. Знает: мы уйдем. Что он обо всем думает?.. Если благополучно доберемся до деревни, остановимся в корчме и обмоем это дело. Как тогда. Надеюсь, встретим мы там и мельника Граздоня, да и погонщика Лойзко, забредут туда и Имрих Грегуш, и Милан Андел. Будет сидеть там и лесник Адам в своей зеленой форменной рубахе. Всем, всем нальет Якуб, как и тогда!

И снова он приложил флягу к губам. Несколько капель стекло по подбородку. Пил долго, жадно, так что пришлось приподняться на локтях. Опять стал душить его кашель, и он опять выбежал из колибы, чтобы не разбудить мальчика. Мальчика...

Ах, мельник Граздонь! Уж как ты потешался надо мной, столько насмешек претерпел я от тебя! Заглянуть в корчму и то стыдился, а ты только забавлялся, годами измывался ты над моим исстрадавшимся сердцем.

Твоя жена родила тебе трех сыновей. А моя жена мне — четырех дочерей. Точно белую мукý рассыпаешь ты, мельник, свое напускное спокойствие. А я сижу с тобой за одним столом, тошно мне. Тяжела моя голова. Вторую дочь обмываю... Ты смеешься, оглаживая толстое брюхо, распухшее от булок и пирогов. Твои водянистые глаза — словно весь цвет из них мука на мельнице вытянула — светятся радостью, когда ты говоришь мне:

— Ну что ты за мужик, Яно! Ой-ой, опять дочка, так закажи бутылку... Может быть, я тебе и шепну, как это... когда буду в добром расположении! Потому что не так просто сына на свет произвести!

[1] Галена — суконное пальто.

При таких словах бача только зубы крепко сжимал, чтоб не скрипели.

— Лойзо! Ну что ты скажешь про нашего бачу?

— Ну... что бы такое сказать... да ничего не скажу, — говорит погонщик, наклонившись вперед.

— Посуди, какой же он бача, если сына породить не может. Милан, Имро, а вы что скажете?

— Яно, кого выучишь овец пасти? Анчу иль Марию? Которую из двух?

— Скажу так, ребята! У наших сыновей вместо бачи будет бачиха. Ха-ха, Яно, ну и выкинул ты штуку! — шлепает Граздонь по толстым ляжкам и аж заходится смехом.

— Якуб! Якуб! Неси скорей! Яно недоимку общине платит!

Корчмарь в вышитой рубахе, которая прямо светится рядом со старым фартуком — а он надевает его, чтобы не запачкать новых суконных брюк, — сразу же прибегает. Он всегда рад услужить, мигом приносит требуемое. Иногда и сам не прочь пропустить в компании рюмочку-другую, обсудить последние новости, оговорить того, кто этого заслуживает... но, упаси бог, не своих завсегдатаев.

Сливовицу гонит такую, что всех мужиков на привязи держит. Если пальцами чуток разотрешь, а потом к носу поднесешь — будто свежие сливы собирал. И аромат у нее славный, горьковатый, как у доброй домашней сливовицы, и такая только у Якуба. Только у Якуба, знайте это! Все хозяева хаживают к Якубу гнать сливовицу, но самая духовитая лишь у него в корчме. Черт его разберет, почему мужиков от нее за уши не оттащишь? Знает ли о том Якуб — корчмарь? Пожалуй, да: усмехается, когда говорит, что такой сливовицы нет во всей округе и даже кто бывал в самом Пеште, все равно такой не пивал.

— Не дури, мельник, — шепчет он Граздоню, ставя бутылку на стол, — не дразни его, корчму мне разобьет, как несколько лет назад.

— Что? — кричит Граздонь во все горло. — Разобьет, так заплатит. Найдет чем. Дочери у него красавицы, выдаст их и без приданого. Эй, Яно, — кладет он руку на плечо баче, — хорошо ты сделал, что переманил у меня Маришку... — Тут он замолчал, бывшие соперники впились друг в друга глазами. Потом Гра́здонь со смехом выдавил: — Меня бы уже давно кондрашка хватил, если б она мне одних баб рожала!

У Яно жилы набрякли на шее, а рука, будто пекарская лопата, сама принялась все со стола валить...

— Слышь, мельник, у себя на мельнице задирайся! — хлопает Граздоня кулаком по плечу погонщик, быстрый худой человек с продолговатым лицом, которое он лишь изредка бреет. Глаза у него такие светлые, как у колдуна, толкуют женщины, и светят они хитринкой. Даже старый, заношенный вельветовый пиджак

не портит ему общего вида. Слывет он в корчме у парней заводилой. Кого хочешь, переговорит. Никто потому и не вступает с ним в спор. Всюду бывал и все обо всех знал. С любым справится. А если кого понапрасну обидит, сторицей потом воздаст, неведомо как, но воздаст. В каждой деревне есть такой вот человек. Хоть один, да есть. Всеобщий любимец, добряк, веселый и компанейский.

Увязнет где телега — нужно Лойзко позвать. Поговорит с лошадьми, возьмет вожжи в руки, потреплет коней по потным шеям — и, как завороженные, они выберутся из болота, из грязи. Рассказывали, что как-то на спор он вывел коня на саму Прудкую.

— Ты, Яно, не робей, хоть раз да посчастливится, вот увидишь, третий уж точно будет сын, это я, Лойзо, тебе говорю, — опрокинул он стопку, будто ягоду в рот кинул... — А если нет, — добавляет он и морщится от спиртного, — так четвертый! А если нет...

— Так пятый! — взвизгивает Граздонь, и Грегуш, красный с лица, тоже поддакивает:

— Перво-наперво, значит, хвати паленки! Сначала паленки, потом...

— Так... так... — заикаясь, выговаривает Андел и согласно кивает вместе с лесником Адамом. Якуб хмурится у стойки, попыхивает цигаркой, валит из нее густой дым, сознание у бачи помрачается, взгляд его мутнеет, громкий смех отдается в ушах, будто черти в Чертовой Яме гогочут — в глубоком овраге, что зияет у подножия Прудкой.

Вот тогда он ударил по столу, вскочил.

— Я вас побью, — ревет, — побью, коль покоя мне не дадите!!!

Смех разом стих. Мужики оторопели. Знали ведь — неповадно бачу, эдакого верзилу, дразнить, еще, пожалуй, и впрямь поколотит. Ведь по нему все видать, сама смерть в глазах...

И когда жена его снова ждала ребенка, он уже не захаживал в корчму, ни с кем о том словом не перекидывался, будто боялся это прекрасное слово ''сын'' вслух произнести, чтобы, не дай бог, не сглазить. Только когда пришло время появиться на свет пятому ребенку, что-то упорно нашептывало ему, что-то упрямо твердило: опять будет дочка.

На выгоне он ходил как потерянный, ни о чем не заботился, все возложил на пастухов. Глаза его словно потухли. Ничего толком не видел. При одной только мысли о сыне все валилось у него из рук. Обопрется о стену кошары, лицо как у мертвеца, и час, и два так стоит. Солнце уж давно зашло за Прудкую гору. На ней скалы, а ниже ели, на елях дрожит зной в темных ветвях. Пересохшие седые скалы так же жаждут влаги, как бача Ян жаждет сына. Кто станет после него пасти овец на Валаштянском

холме, если не будет у него сына? Кому передаст он валашку, символ пастушьего дела?

— Эй, Грицко! — зовет он мощным голосом, невидящий взгляд его вперился в колибу, из которой сразу же выбегает подпасок — зубастый мальчишка, у него еще и усы не растут. Он боится темноты, Чертову Яму стороной обходит.

— Слушай, Грицко! Сбегай взгляни, что нового!

— В деревню?

— В деревню! — отвечает бача, и вторит ему эхо, чистое, как горная вода.

— Хорошо-о-о!!! — кричит обрадованный Грицко, забегает в колибу и берет с собой вышитую рубаху: внизу, в деревне, много девчат. Потом стремглав мчится вниз, махнув рукой баче, который все еще стоит у кошары, стоит еще с полуденного доенья. Пастухи пасут овец уже на Ровницах, что на противоположном склоне Валаштянского холма.

Бача вслед ему глядит и тихо самому себе говорит.

— Беги, лети! Нет, нет мне покоя. Я и сам бы пошел, но что, если... что, если?.. — И при мысли об этом на него снова находит оторопь.

А Грицко шагает проторенной дорожкой среди елей, пока не уловит шум воды. Там, в тени скал, между которыми петляет дорога, журчит кристально чистый ручеек. Наклонится он к крошечному водопаду, руки аж по плечи опустит в голубую воду. Глубоко, до самых костей, пронижет его холод, даже шум воды перестанет он слышать, поспешно вымоется, наденет чистую рубаху и пойдет лесом вниз, никуда не сворачивая.

Под вечер пастухи в колибе жинчицу варят и все говорят о баче. Бача слышит их, хотя он и не с ними. От чистого сердца желают они ему сына. Только бы сын, только бы сын, упрямо желает себе и он.

А Грицко, тот, верно, еще по поляне бежит, вниз по склону летит, сокращая путь. Далеко до деревни, далеко еще до избы бачи Яна, где уже приготовлена колыбель.

Минуту назад еще спокойное, небо становится вдруг зловещим. Воздух разряженный, но при этом какой-то тяжелый и сырой. Небосвод на глазах темнеет. Близится буря. Скалы на Прудкой цепенеют, вот уже и небо оцепенело, как та скала. И сразу все вокруг почернело.

Где же Грицко? Входит в сени? Неужто его встречает детский плач? Да, это плач новорожденного доносится из дома, и Грицко, словно бы испугавшись, стоит не двигаясь. Стоит, как соляной столб, черт его побери!

Грицко, ну входи же скорей, скрипит зубами бача. Ну взгляни, кто это? Но подпасок, как назло, остановился в сенях — и дальше ни шагу. Бача готов его под ребро пнуть. Волна горячего пота обдала его. Ладонью утер лоб.

Может, это он сам? Верно, это он сам лезет в избу, вот только ноги у него так отяжелели, что он и шагу ступить не может.

А там за стеной его сын, красивый мальчик!

Да нет, снова дочь, пятая дочь!

Он тихонько застонал, по спине пробежал мороз, с трудом поднялся, прогоняя со лба хмурь. Побрел к колибе. Собаки путаются у него под ногами, он спотыкается о них, лягает их, но они все равно льнут к нему, шерсть у них искрится. И тут вдруг все покрыла такая мгла, что хоть режь, крои ее на куски, как закопченное дочерна сало.

Яркая молния расщепила небо, словно сухое липовое полено, на две половины; желто-зеленая полоса разорвала его вместе с ударом грома, от скал отозвалось эхо. Бьются, мечутся тяжелые раскаты громов, колотится, бушует все в дьявольском котле. Поднялся вихрь, и сразу же забарабанили первые черные тяжелые капли дождя.

Бача врывается в колибу. Дверь не захлопывает, бросается на койку ничком.

Опять он представляет себе Грицко в сенях, вода стекает с него ручьем. Мокрая вышитая рубаха прилипла к телу. Из горницы проникает сюда слабый свет керосиновой лампы. Откуда-нибудь из темного угла выйдет огромный пес, но не тявкнет, не заворчит, только неслышно, тихо подкрадется, как кошка, остановится в шаге от Грицко на черном утоптанном полу.

Потом в глубине горницы вскрикнет женщина.

Свет керосиновой лампы — его даже светом не назовешь, а только желтой восковой тенью — колыхнется. Пес в ногах у Грицко угрожающе заворчит, тоскливо завоет.

Молния на миг озаряет весь двор, вплоть до задней стены, и пса, огромного, как телка, с ощеренными зубами и вздыбленной шерстью. Затем все опять погружается в темноту, еще более глубокую, чернильно-черную, как плоды тутовника. В черепице что-то пищит, визжит, вихрь вот-вот сорвет крышу.

Наконец, наконец-то Грицко нажимает на ручку и рывком отворяет дверь. Застывает на пороге, его встречает громкий крик младенца...

— Дочери? Иль сына? — ревет бача, но не может заглушить ударов грома, колиба вся сотрясается, весь склон под ногами ходуном ходит. Трещат ели в лесах, рушатся скалы, но сильнее всего гудит в голове у бачи. Он хватает флягу с паленкой, выдергивает затычку и жадно пьет, огнем обжигает ему горло, словно нож заглатывал, и больная голова его снова валится на койку.

— Мальчик народился! Бача! Сын у тебя!

Чистый, свежий, невероятно ясный свет ударяет ему в глаза. Над ним стоит улыбающийся Грицко.

— Радостная весть! Сын у тебя, бача! — гордо выпрямляется он, как солдат.

Бача усаживается на койке. Жмурит глаза.

— Не ври... — хрипит бача. Голова у него идет кругом.

Черпаки, черпачки, половники, подойники танцуют по колибе, лавка и котел скачут, все озарено ярким светом, солнце через открытую дверь заглядывает в колибу, и Грицко светится весь в его лучах, как добрый ангел-вестник.

— Чтоб меня разразило! Сам его видел, здоровенный парняга! — смеется подпасок. Ликуя, срывает с головы широкополую шляпу, хлопает ею оземь, топчет от радости, руками хлопает, только бы бача ему поверил. В колибу заглядывают смеющиеся пастухи.

Бача вскакивает на ноги. Хватает валашку, выбегает вон под палящее солнце, какое бывает лишь после бури, и припускается вниз, ног под собою не чуя.

Одурманивает его свежий аромат напоенных влагой трав. Он сбегает вниз по склону, словно ему всего-то двадцать лет, а небо, синее, как василек, кланяется ему... Врывается в лес, перепрыгивает через вывороченные с корнем деревья, а на душе у него тепло. Ели простирают к нему свои ветви, поздравляя и приветствуя его.

Когда он выбрался из леса опять в луга, перед ним распахнул свои дали край, ясный, как отполированное серебро, омытый дождем и высушивающий на солнце свои холмы, ложбинки, ущелья, скалистые вершины, упирающиеся в самое поднебесье.

Горные потоки, речушки, которые перед бурей тонким ручейком стекали в Долину, теперь валом валят вниз. Он играючи их перескакивает и, чем дальше бежит, тем чувствует себя легче и крепче. Все вокруг словно бы обмякло и легко поддавалось его бегу. Он уверенно ставил ногу туда, куда надо было ступить, отталкивался так, как следовало оттолкнуться, и мягко опускался туда, куда нужно было допрыгнуть.

И вот перед ним уже поле под паром и узкие кромки межи от горы до горы, деревня, теснившаяся в котловине, и люди, разбрасывающие мокрое сено по лугу, чтоб не сопрело. Влажное сено в копнах согрелось, нужно снова его раскидать и хорошенько просушить на солнце. Счастливцы те, кто вчера его свез: не будут теперь мучиться.

Заметив бегущего бачу, сельчане поднимают головы, провожают его глазами.

— О-го, бача!

— Это бача?

— Ей-богу, он.

— И вправду он.

— Куда он так гонится? Не случилось ли чего на Валаштянском холме?

— Эй-эй, бача!!!

На бегу он машет им рукой. Они вертят головами: странно — никто никогда еще не видел бачу бегущим.

— А, вот оно что... — утер со лба пот крестьянин и сказал своей жене: — У Мары его мальчик народился...

— А когда ж это было?.. — спросила его жена и наклонилась, чтоб поднять грабли.

— Может, вечером, а может, ночью, — сказал крестьянин, опершись на вилы.

— Не мудрено, что родила. Молнии так и сверкали, да и громыхало — чистое светопреставление, — рассудила его жена, поправляя на голове платок и улыбаясь.

— Буря-то... работы нам позадавала, — сказал крестьянин и поглядел на жену. Потом поплевал на руки и всадил вилы в копну сена.

По грязным вымоинам, где болотина была перемешана с размокшим пометом, пробирался бача между избами к своему дому, который стоял на другом конце деревни, и сразу кинулся к колыбели.

Жена и младенец спали.

— Быстренько распеленай его, — прошептал он старшей дочери, уже готовый сделать это сам.

— Проснется, — сердито возразила девушка.

— Разверни! — приказал он.

— Мальчик это, оставьте, пускай спит...

Жена пошевелилась, открыла глаза, гордо и спокойно улыбнулась.

Распеленатый мальчик зауакал и сразу же опять заснул. Величиной с ладонь детское личико его было чистое, без единой морщинки. Жена глядела на сына с такой гордостью, что сердце бачи замерло от счастья. Он даже не мог толком вздохнуть. Закашлялся и выбежал из избы.

К счастью, напротив Якубова корчма.

Вот уж и колокольчик на дверном косяке звонит...

— Мужики, сын у меня!

Когда он вышел во двор, вокруг уже сгустилась тьма. В кронах лип перед корчмой гулял тихий ветерок. Короткие летние ночи в деревне были самыми дорогими сердцу бачи.

Невыразимо знакомые крыши изб, крытые дранкой или соломой, дерево, обработанное человеческими руками. Тени дедов в сенях. Облеченное в дерево человечье житье-бытье. Множество

ароматов, витающих в темных углах. Сладко-кислый запах молока.

В резком, сердцу милом аромате сена сокрыты запахи росных трав, буйство всего зеленого, коричневого и желтого, солнцем прогретых, запыленных дорог, запах скота и навоза, который по осени развозят на скрипящих от тяжести телегах, чтобы возвратить земле к ее очередному весеннему возрождению.

Вот на этой земле стоит бача Ян.

Паленка и пляска под скрипку взбудоражили ему кровь, уже и без того вспененную нежданной радостью. Она словно бы готова была излиться из его жил...

Из корчмы несутся тягучие напевы скрипки, песня. Из-за облаков выплыл месяц и еще больше приласкал деревню. Бача глядел на свою избу за дорогой, покорно склоненную под тяжелой крышей. И спит в ней мальчик — хранитель рода бачи Яна.

Видны и луга на противоположном откосе. Ровные ряды стожар. Кое-где одинокая ель, черно-зеленая лиственница, над потоком лиловые вербы.

Такое многоцветье в эту летнюю лунную ночь!

Чей-то пес очнулся от чуткого сна, тихонько завыл. В конюшне при корчме повернулся конь, ушей бачи коснулся едва различимый звон цепей. Глубоко дыша, шел он за Ограда к колодцу. Не только легкими, всем своим существом вдыхал в себя приятную прохладу благоуханной ночи.

Стал крутить ворот, с сухим лязганьем отвязалась цепь, и через минуту стало слышно, как звонко шлепнулось на водную гладь ведро. Потом, когда тянул уже полное ведро, услыхал, как выплескивалась через край вода. Большими глотками напился прямо из ведра. Приятный жар паленки заливал еще более приятной студеной водой, погрузив в нее все свое лицо. Под конец умылся, а воду из ведра вылил в траву. Ждал, когда на ночном ветерке обсохнет лицо, вслушивался, как всасывается вода в вечно жаждущую землю.

Потом побрел вверх Оградом. Через дыру в заборе выбрался прямо на каменистую дорогу, ведущую в поле, на луга, к шалашу.

Уже под горой ему почудилось, что слышит музыку из корчмы, остановился, прислушался.

Он и в самом деле что-то услыхал. Но было это не звончее стрекота луговых кузнечиков у корней травы. Он вошел в лес, охваченный собственной ликующей радостью, и мерцающие огоньки светлячков казались отсветом его торжества.

Он ворочался с боку на бок. Койка трещала, отгоняя сон. Прошлое, рождение мальчика, все самое прекрасное, что было у него в жизни, вставало перед его мысленным взором.

Иногда ему казалось, будто он слышит какие-то звуки, боялся — того и гляди, что-то произойдет.

До этого он каждый вечер привязывал собак. Ночью они надрывались от лая, когда из леса выныривали темные фигуры, бесились от ярости, если кто-то приближался к колибе или входил внутрь. Теперь же бача отвязал их, как в те времена, когда в колибу по ночам никто не заглядывал. Но все равно бача испытывал страх и, чтобы отогнать его, окунался в воспоминания. Но страх не проходил, и он все ждал выстрелов, которые вот-вот грянут, и нацелены они будут в колибу; а какая-то пуля угодит и в койку, где спит мальчик. Бача прислушивался к его дыханию и потягивал из фляги. Паленка поднималась в горле, противно пахла и жгла. И вот фляга опустела, а во рту у него остался привкус песка, политого керосином.

Что с ними сделают?

Он ворочался на койке, нетерпеливо ожидая, когда забрезжит рассвет. А если б, напротив, наступило утро, ему бы снова захотелось погрузиться во тьму. Когда же начало светать и в колибе стали вырисовываться очертания отдельных предметов, он был не в силах встать, лежал без движения, уставившись на дымник.

С туманным рассветом отозвались птицы.

Высоко в кронах ближних елей пронзительно закричали ореховки, а из глубины леса им ответили сойки. Мысленно он перенесся в лес и представил себе целые ватаги синиц-чернявок, мелькающих в темных иглистых елях, — видел их висящими на тонких коричневых веточках, как выбирают они клювиком мелкие личинки насекомых. Слышал он поползней и пеночек, желто-зеленых чижей с оливково-зелеными спинками, а также пестрых зябликов, звонких плотников-дятлов, и еще одного дятла разглядел он, дятла белоспинного с красной головкой. На самом высоком месте в лесу распевал кирпично-красный клест. Увидел он и довольно редкого для этих мест большого серого дрозда, и важных снегирей, зато коричневых, в белую крапинку пищух с тонкими загнутыми клювиками там было больше, чем синиц-чернявок. На отвесных скатах Чертовой Ямы гнездились в трещинах гранита каменки, а у потока чаще всего обретались серые трясогузки вместе с юркими оляпками.

В это утро птицы напрасно старались развеселить его. Обычное проявление птичьей радости по случаю восхода солнца и начала нового дня сегодня не трогало его. Впервые утреннее птичье пение показалось ему чуждым.

Стало ему тоскливо.

Я сейчас встану, говорил он себе, но продолжал лежать; пошевелил рукой, но она бессильно повисла, почти касаясь земли. Хоть и живой, но совсем как мертвец, подумал он, и это чувство тоже было для него новым и недобрым. Как ни убеждал

он себя, что надо встать и идти, но оставался лежать, будто прикованный, мечтая пролежать так весь остаток лета, осень и зиму.

Если б был я мышью или сусликом, залез бы в нору. Представив такую картину, он позабавился. Не все под землей мертво, рассуждал он. Хорошо тем зверюшкам и существам, кто знает, куда схорониться, — живут себе не тужат в земле. Вот, к примеру, черви. Ты — человек, и не пристало тебе уподобляться червю, убеждал он себя, потому что мысль спрятаться под землей все более привлекала его. И что это взбрело тебе в голову быть мышью, крысой или червем? — спорил он сам с собой. Верно, это оттого, что захотелось понадежнее укрыться от разных там напастей? Ну конечно же. Вот ты и набрел на хорошую мысль. Ну что ж, попробую стать червем.

Он сплюнул прямо перед собой в потухший и уже остывший костер.

Значит, тебе расхотелось уже быть человеком. А быть червем разве легче? Возможно, это куда тяжелее. Да и кому понравится всечасно жить под землей. Наконец, надо хоть раз почувствовать себя человеком, и ты впредь захочешь им быть. И даже теперь это куда как лучше, хоть и недужится тебе и все смертельно тебе обрыдло. Не знаешь, что делать. Руки опустились, кровь в жилах перестала бурлить, и ты не в силах сдвинуться с этой койки.

А все же чуешь, как от страху колотится твое сердце, и это оттого, что черви еще не угнездились в нем. Тогда не уподобляй себя этим мерзким, смердящим гнилью тварям и не помышляй быть одним из них.

А лес меж тем полнился птичьим гомоном.

Уж лучше бы стать птицей. Иметь крылья. И он представил себя в птичьем оперении да с клювом, и стало ему от этого еще забавнее.

Так завсегда оставайся ты человеком, бача, сказал он себе. Это твое истинное обличье. Только не знаю, что ты собираешься делать? Самому любопытно, с чего ты теперь начнешь?

Так потихоньку разговаривал он сам с собой, будто с посторонним. Трудно сказать, почему он вдруг перестал понимать себя. Возможно, причиной тому была выпитая паленка. И если раньше он за себя не боялся, то именно сейчас испугался, ведь как-то так, невзначай, люди и теряют разум.

Мальчик во сне перевернулся на другой бок. Бача взглянул на него.

Что будет с ним, что станет с мальчиком?

Хорошо бы просто так лежать и не думать о том, что ждет их. А лучше бы заснуть, но, что поделаешь, уже утро. Он пожалел, что наступило утро, хотя спервоначалу ждал его, пожалел, что целую ночь не сомкнул глаз.

Ведь вот же, гляди, ничего не случилось, а ты по крайности хотя бы выспался, сказал он себе, и голова у тебя была бы ясная. Но, как говорится, ударишься головой о стену, так что зазвенит у тебя в ушах, ударишься ты и другой раз, потому что теперь уже все едино. И голова тебе нынче совсем без нужды, потому как знаешь: ничего толкового она все равно не измыслит.

Подумаешь, эка важность! Вот встану, нахлобучу на себя шляпу, хоть уверюсь, что голова у меня на плечах. Но как вставать не хочется. Полежу-ка я еще чуток. Если, дай боже, доживу до старости, вспомню когда-нибудь и это утро. Может, придет время, когда я сам пожелаю, чтоб все это заново вернулось ко мне.

И опять он предался размышлениям, потому что рядом с ним лежал мальчик.

Я обязан его отсюда вывести. А потом, когда совсем дряхлым стариком буду я вот так же лежать, а он, молодой и сильный, будет стоять рядом, не испугает меня даже смерть. Порадуюсь на него и скажу себе: а теперь нехай сожрут меня черви! Только бы мне сейчас вывести его отсюда.

Еще какое-то время он размышлял о собственной смерти и о смерти себе подобных и сказал себе, что самое лучшее — умереть естественной смертью в глубокой старости, как по осени растение, дав земле плоды, спокойно умирает, тронутое первым легким морозцем.

Избу надо бы обшить деревом, переключился он мыслями на дела житейские. Он всегда приступал к ним по возвращении из шалаша, когда кончалось пастушье лето. До прихода зимы, которая в этих краях не заставляла себя долго ждать, он привозил из леса бревна, разрубал на пахучие плахи и обивал ими избу. У задней стены он оставлял сучковатые поленья для очага: дерево должно было раньше высохнуть. Зимой он, привыкший к работе, частенько изнывал от скуки. Стоило ему привести в порядок хозяйство, как он сразу же чувствовал себя не у дел. К счастью, дни бывали короткие. Простаивал он тогда у замерзшего оконца, выдувал дыханием кружочек на стекле и обозревал заснеженную деревню. И раздумывал все о том же: о шалаше, об овцах, о запасах на зиму, а большей частью о погоде. Загадывал, короткой будет зима или длинной, хватит ли до весны картошки, капусты и сала. И частенько, особенно на склоне зимы, прикидывал, будет ли весна погожей или дождливой и студеной. Когда весна выдавалась холодной, долго не наступало лето.

Иногда зимой он прочитывал старые календари, в которых находил много добрых советов по уходу за фруктовыми деревьями: как прививать их, подстригать и опрыскивать. Эти заметки он просматривал особенно внимательно, потому что за Оградом у него росло около десятка плодовых деревьев.

Он был хороший садовод, но, на его беду, в этом высокогорном краю не приживалась большая часть тех видов яблонь и груш, о которых писали календари. Персики, абрикосы и орехи тут вообще не удавалось разводить. Черешни — и те плохо росли, а вишни сразу же склевывали птицы.

За Оградом произрастало также несколько диких деревьев, всякий раз ему жалко было их вырубать. Иногда в задумчивости он охватывал взглядом их в высоту и думал о том, как будут они кстати, если ненароком ударит такая зима, что не удастся выбраться в лес и на санях, а запасы дров иссякнут совсем. Тогда пойдут в ход деревья за гумнами и на кладбище. Такой зимы, может, никогда и не случится, деревья и впредь будут расти и летом творить людям тень. Человек ведь не знает наперед, что будет, а что нет. Разве это хорошо?

Теперь он встал и разбудил сына... Легонько его потряс. Мальчик сел, протер глаза.

— Надо уходить, — сказал отец.

— Куда? — спросил тот тихо. Эх, перевернуться бы на другой бок и опять сладко заснуть!

— Пойдем вниз, в деревню.

— Кончилась пастьба?

— Кончилась. Одевайся живее — и марш! — сказал бача и с подойником вышел из колибы. Направился к кошаре, где жались друг к дружке овцы.

Напьемся сейчас молока, решил бача. Подоил овцу и напился прямо из ведра. Вернувшись в колибу, стал поить молоком сына. Тот уже оделся. Парное молоко пастушонок не любил. Он привык к жинчице, кислой или сладкой. Чаще всего они ели сыр, а молоком только запивали. Есть баче сейчас тоже не хотелось. Он рассеянно совал в рот куски сыру, но забывал жевать, забывал глотать. Зато все время понукал мальчика. Потом вынес в подойнике молоко собакам. Они жадно принялись лакать, погружая морды в белое пойло и захватывая его широкими языками. Громко чавкая, они дочиста вылизали ведро. Бача поставил его посреди колибы днищем вверх и даже не помыл. Растерянно потер руки.

Он стоял в окружении предметов, не имевших ничего общего с войной: черпаки, черпачки, мутовки, половники, койки, овечьи шкуры, вертел. Стены колибы были изъедены дымом, темные, закопченные.

День, как и обычно, начинался густыми сумерками, которые постепенно редели, превращаясь в голубое утро. Разве что надолго задремавшая колиба, которую они вот-вот должны были покинуть, была холодна — сегодня бача не разложил костра. Разбросанные беловатые щепки светились в полумраке. Пастушьи сумки с бахромой и без нее из жесткой, грубо обработанной кожи, которые брали с собой, отправляясь на пасть-

бу, ныне пустые висели на крючьях. Дымник над костром казался матовым стеклом, куском серого небосвода.

И было уже яснее ясного, что сюда они больше не вернутся. Только груда черного пепла, поднимающаяся до краев больших, задымленных камней, останется здесь как свидетельство их поспешного, непредвиденного ухода.

И пастушонок с грустью вдыхал запах погасшего костра, запах сыра и жинчицы, ароматы такого благодатного лета.

До срока кончилась пастьба. Не приди сюда война, мы наверняка бы еще оставались здесь. Всюду война, на всем белом свете, не обошла она и наш шалаш. Потому и нужно нам с овцами двигаться сейчас вниз. Но куда? Разве в деревне нет войны? Ведь и вправду чудно, чтобы везде, на всем, на всем белом свете, была война. Или же мы будем идти с овцами до тех пор, пока не отыщем тихого края, где ее нет? А если не найдем? Есть ли вообще на свете такое место, где овцы могли бы свободно, вольно пастись? Наверно, есть, ведь мир такой огромный, что и весь Кривань — соринка малая супротив него, а Валаштянский холм? Меньше макового зернышка! Кто знает, куда будем путь держать? Пойдем по белу свету искать мира, как в той самой сказке?

В долгие зимние вечера, когда на завеянную снегом деревню спускалась зыбкая мгла и постепенно сгущалась в метелицу, коротко вспыхивал огонь в очаге, завывал в трубе холодный ветер, бача рассказывал ему о шалаше.

Отец сидел с трубкой в руке на липовом чурбаке. И аромат крепкого табака аппетитно смешивался с запахом капусты, печеной картошки и горящего смолистого дерева.

Так и коротала семья у очага долгие зимние вечера: сидели все лицом к огню, на который хотелось бесконечно долго смотреть.

Рассказывал отец, рассказывала и бабушка.

Ее застывшее лицо и какой-то призрачный голос придавали сказкам особый таинственный смысл. Дети слушали ее затаив дыхание.

А в глазах у мальчика среди языков пламени проблескивали образы только что услышанных сказок: волкодавы, драконы, заклятые вилы, обращающие людей в жаб. Сколько всего тут было! Сколько несчастий, слез и мучений вызывали злые существа только на забаву себе: чародеи, чернокнижники, оборотни и злые домовые, разные там ведьмы и ведьмаки, черные рыцари и вдобавок еще много людей, кичливых и завистливых, скупых и жадных, разбитных и легковерных, драчунов, пьяниц, воров и безумных, вероломных ночных убийц и людоедов.

А еще приятнее было слушать отца, который с улыбкой рассказывал об удивительном рае где-то на Валаштянском холме, там такие необъятные луга, что даже дня мало, чтобы их обойти.

Из синего леса доносится пение золотистых птиц, весело несется в долину серебряный поток, чистый и прозрачный, как мысль хорошего человека. На этих свежих лугах и пасется отара. Овечки позванивают своими медными колокольчиками, и царит несказанная тишина, потому что, кроме бачи и пастухов, нет там других людей.

Даже собакам лаять охоты нет. Да и зачем? Овцы мирно пасутся на тех лугах. Глядишь, то тут, то там божья коровка летит в солнечных лучах, в море света купается солнце. Щедро насыщая все светом и теплом, жадно тянет оно из земли яркое разнотравье.

Кто побывал в этих местах хоть раз, никогда не забудет, и все, тоскуя по ним, мечтают воротиться.

Да и овечкам, закрытым зимой в темных и тесных закутах, долгими зимними ночами, когда сыплет и сыплет снег, снятся вольные луга с высоким летним небом и сочной вкусной травой.

Он не стал ждать, когда подрастет. Собрался и пошел, потому что уже совсем ясно представлял себе дорогу. Внизу увидел поток. Неловко помчался вниз к этой странной, бегущей куда-то дорожке, которая так весело журчала. Держа путь вдоль ручья, он прыгал и скакал на одной ножке. Дело было летом. Полувысохший поток струился посреди русла. Воду он узнал. Ведь воду пили все. Только теперь ее было много-много и она текла. Да это тот самый поток, сообразил мальчик. В глаза ему засветило солнышко. Он зашагал по скользким камням, пошатнулся и упал, локти на берегу, а ноги в воде. Он ощутил и холод воды, и ее течение. Выбрался на берег, сухой песок облепил его мокрую одежду, но он не замечал этого. Двинулся дальше, было тепло. Платье его быстро высохло. По краю дороги скопилась мягкая пыль, и он загребал ее босыми ступнями. Чуть пониже купались в потоке гуси. Сторожила их девчонка с мельницы. Темные ветви вербы свисали над гладью воды. Поток у мельницы стал глубже, вода текла медленно, лениво вынося гусиные перышки. За поворотом вынырнула стайка уток. Они плавали вверх по течению, а клювами, широкими, как ложки, хватали из воды мелких рыбок. Тишину нарушало лишь громкое шлепанье или неожиданный всплеск, это какой-нибудь гусь вдруг бил по воде крыльями, вытягивая шею и выпятив грудь.

Он прошел совсем близко от девчушки, а та, заглядевшись на воду, даже не заметила его.

Мальчик видел избы и за дорогой и за потоком. Два ряда деревянных домов, крытых дранкой или соломой. Те, что поменьше, стояли под прикрытием тех, что побольше, но не найти было в деревне двух одинаковых домов. Некоторые свежепо-

беленные, чистые, как полотно, резко выделялись среди остальных. Вдоль заборов тянулась вверх фасоль и горох, во многих садах алели маки.

Его же притягивала к себе дорога. Он шагал, опустив голову и осторожно погружая босые ноги в нагретую солнцем пыль, шелковистую, как самый мягкий мох. Было хорошо и весело на душе. С порывом ветра прилетела стайка голубей с мельницы. Мальчик перешел через мост и, только оказавшись в конце деревни, совсем близко увидел настоящий лес, высокий и темный. Так близко, что он мог бы сразу очутиться в нем. Было это совсем иначе, чем когда он смотрел на лес со стороны Ограда, откуда тот представлялся ему однообразной черной массой. Теперь же он мог разглядеть прогалы между отдельными серовато-коричневыми стволами, различал буйные орешниковые заросли и кусты шиповника, а кое-где и боярышника. Мальчик невольно заколебался, продолжать ли ему путь. Вспомнил он тут про медведя, и почудилось ему, что тот вот-вот вылезет из чащи. Ему пришло в голову, что он наверняка встретится с ним, как только поравняется с первыми деревьями. Бурая громадина начнет реветь и махать огромными лапами. А причиной страха мальчика была та таинственная незыблемость, какой повеяло на него от леса: ведь он был — рукой подать! Мальчик растерянно оглядывал дерево за деревом и очень обрадовался, вспомнив, что за спиной у него деревня. Потом из глубины леса что-то пронзительно закричало, верно какое-то чудище, и мальчик, уже не раздумывая, повернул назад. Небо на горизонте было как матовое стекло, а когда он смотрел прямо вверх, казалось густо-голубым.

Очутился он под могучими осинами у старых амбаров, где все было ему чуждо и незнакомо. Даже поток где-то потерялся, и нигде он никого не видел, только осины как-то грустно шумели над его одиночеством. Из старых, облезлых деревянных ворот выбежала собака. Серый кудлатый деревенский пес. Длинный лохматый хвост его как-то стыдливо волочился по земле. Приблизившись к мальчику, пес пискливо-тонко завыл. Мальчик хотел погладить его, но тот, словно о чем-то вспомнив, крутанул хвостом и исчез в одном из пустых дворов.

Снова мальчик остался один. Только воробьи, не поделив чего-то, возились у осин, дрались и ссорились... Он не знал, куда податься. Было ему тягостно, хоть плачь.

Потом на повороте показался воз в конской упряжке. На козлах сидел погонщик Лойзко с вечной сигаретой в уголке рта. Мальчика он увидел уже издалека, но узнал ли его? Мог ведь подумать, что тот выбежал из какого-нибудь двора. Но ребенок встал посреди дороги.

— Тпр-р-р-у! — закричал погонщик, и кони остановились. — Ты что, хочешь, чтоб я тебя задавил? — угрожающе гаркнул он.

Сунув два пальца в рот, он свистнул лошадкам, огромным гнедкам со вспененными мордами. Один конь, нагнув голову почти до самой земли, шагнул вперед.

Воз дернуло.

— Тпр-р-р-у! — натянул погонщик вожжи. — Ты чей? — спросил он.

В тоне его голоса было что-то доверительное, и мальчик почувствовал это. Издалека обойдя коней, он подошел к возу.

— Бачин я, — сказал он Лойзко.

И тот посадил его к себе на козлы. Хлопнул бичом, ослабил поводья, кони двинулись.

— Где ты, однако, шатался? — спросил Лойзко и пустил лошадей в галоп.

Они летели как сумасшедшие, и все вокруг тоже летело — деревья и дома, дорога и поток, пока не остановились кони у дома бачи.

Провожали его мать и сестры.

Было это той же весной — отец взял его с собой в шалаш. В деревне царило необычайное оживление: множество сбившихся в кучу овец, блеяние скота, лай собак, громкие выкрики.

Ему повесили через плечо шерстяную пастушью сумку. Рубаху подпоясывал широкий пояс, в руке мальчик держал легкую валашку, подарок отца. Разрумянившись, он бегал тут же. Бача обозревал овец с выжженными метками хозяев и записывал их количество в специальную тетрадь.

И вот наконец они со стадом двинулись в путь. Впереди подпасок Грицко, хлопая длинным пастушьим бичом, загонял овец в узкий, выложенный камнями проход между домами, а оттуда овцы попадали на выгон, отгороженный бревенчатым забором от лугов, отведенных под косьбу. На эти луга скот никогда не забредал.

Поле, поделенное на полосы, пестрело красками, в зависимости от того, что где взошло. Солнце поднялось уже высоко: короткую, но отчетливую тень отбрасывали одинокие ели.

На задних лугах стадо развернулось, и мальчик, гордый и счастливый, шел за овцами, покрикивая на них и крутя валашкой над головой.

Бача Ян улыбался. Одет он был в новую вышитую рубаху с широкими рукавами, белую как снег, потому что выгон овец на летние пастбища считался настоящим праздником. На нем были новые холщовые штаны и шляпа с красной тесьмой, расшитой разноцветными узорами. Только пояс у него был старый, унаследованный от отца, широкий, до самой груди, окованный блестящей медью.

Бача Ян улыбался — теперь есть кому передать пастуший пояс и валашку, — искоса взглядывал на своего единственного сына: вот идет он с ним рядом, будто на праздник, одетый так же, как и он, оба на один манер. Такая же вышивка украшала его рубаху и шляпу, все, как и полагалось, приготовила ему мать. И пояс у него такой же, как у отца, только меньших размеров. Это ничего, ведь мальчик растет. За зиму еще вытянется. Бача знает, он будет крепкий и высокий. Плечи у него будут широкие, руки сильные, с большими ладонями. И ноги будут крепкие, как у всех мужчин из рода бачи Яна. Легко берет подъем. И, глядя на него, баче тоже легко шагается.

Вспомнилось ему, как пасли они вместе с отцом, дедом мальчика, вспомнилось, как когда-то давно он так же шел с братьями возле бачи, своего отца, по этой вот поляне. Может, по этой самой тропинке. Может, и его отец думал тогда о том же, о чем теперь думает он. О том, что шагал здесь когда-то вместе со своим отцом и он.

Поднявшись на Валаштянский холм, мальчик раскраснелся и прерывисто дышал. Никогда еще не поднимался он так высоко. Только зубы крепко сжимал, чтобы не выдать своей усталости. Ему казалось, что поляна впереди уходит в поднебесье. Весь небосвод танцевал перед ним, кровь стучала в ушах. Он завидовал даже травинкам, что, не двигаясь, росли прямо с земли, был бы рад опуститься на пажить, свалиться на землю и уснуть, слышал звон колокольцев где-то в сердце: билось оно в груди, звонило и замирало.

Когда они поднялись на самый верх и под ними открылся косогор, а дальше лес, Бача указал вниз:

— Вон там Валаштянский шалаш.

Колиба стояла тут же, у крайних деревьев. Возле нее сарай для сушки сыра, немного дальше кошара и стойло. Веял ветерок, который приятно остужал. Они спустились вниз, и пастухи загнали овец в кошару. Бача выбил задвижку и валашкой открыл заклиненные двери колибы, отодвинул заслон над очагом и коротким березовым веником вымел колибу. Из груды поленьев, заготовленных здесь еще в прошлом году, выбрал одно, расщепил его на лучины и, отослав пастухов за водой, заложил костер. Под конец прибил на щиток колибы пучок еловых веток в знак начала пастушьего года — чтобы овцы давали больше молока и сыра, чтобы ни одна не сгинула от болезней, вследствие кражи и от другой какой напасти, чтобы все это обошло шалаш стороной.

Потом пастухи уселись на койки, запалили сигареты и улыбаясь приветствовали пастушонка в своем кругу. Покурив, отправились навстречу Лойзко, который добирался сюда с возом по лесной дороге с другой стороны поляны.

Мальчик смотрел им вслед, покуда они не вошли в лес.

Потом помчался к кошаре, весело прыгая, сделал кувырок, валялся в траве и скакал.

Возле кошары с важным видом возился Грицко. Ему уже девятнадцать, скоро будет пастухом. Он принялся рассказывать мальчику, как проводится пастьба на Валаштянском холме. Тот слушал его вполуха, потому что уже знал обо всем от отца. Ему казалось, что Грицко все выдумывает, врет. Повернулся — и давай бог ноги! Снова носился он по лугу, наконец к нему присоединился и Грицко. Они бегали взапуски и кричали, и эхо с противоположной Прудкой горы их забавляло.

А бача с пастухами отмахали уже изрядный путь, пока они встретились с возом. Взмыленный конь шагал тяжело, задние ноги его нет-нет да и скользили по камням. Останавливался, выглядывая, куда бы поставить копыто. Когда трое сильных мужиков стали подталкивать телегу сзади, дело пошло легче. Идя с боку, Лойзко, где руганью, а где бичом, неустанно погонял коня.

— И какая еще лошадь смогла бы сюда дойти! — кричал он пастухам. — Лазить вот так по камням. Верно, Камзик мой!

А конь, словно бы поняв его, зафыркал и аж до самой земли стал кивать головой.

— Ты что, ромом его опоил, Лойзко? — пошутил кто-то.

— Какие вы умные, мужики, — не поддавался Лойзко, — ведь это же зверь! Разве станет он лакать то, что ему во вред? Только человек — такая тварь, хлещет все без разбору! — зафилософствовал он и полез за табакеркой. — Тпру! Перекур.

И нажав на тормоз, Лойзко остановил воз.

— Делайте так, мужики, как я вам говорю!

Сунул в рот сигарету, затянулся, раскашлялся. Может, нарочно.

— Мой конь Камзик не пьет, не курит, — разглагольствовал он между приступами кашля, — с него пример берите.

Покурив, двинулись дальше. Пастушонок первый увидел воз на опушке леса. Побежал навстречу наперегонки с Грицко. Возле колибы Лойзко распряг коня.

— Ну как тебе, старина, — похлопал он лошадь по потной спине, покрыл ее шерстяной попоной и стал водить вокруг кошары, чтоб не простыла.

Пастухи сгрузили с воза мешки с мукой, хлеб и соль — и для людей, и для овец, — котел, подойники и все то, что обычно не оставляли здесь на зиму; также одеяла, табак, несколько бутылок паленки от хозяев и от Якуба. Взвалив все это на плечи, они внесли в кладовую.

Мальчик глядел то на пастухов, то на овец, то на коня. Глядел он и на поляну, дивовался — огромная, широкая, обильная для пастьбы. Белесые массивы на противоположном холме казались издалека поросшими мхом, но это был стланик. Ред-

кая трава, что там росла, была бледно-зеленого цвета, главным образом в тех местах, где ее озаряло солнце. Скалистые вершины гор почти свинцово-серой окраски резко очерчивались на лазурном небосводе.

Овечки еще какое-то время побудут в кошаре, потом пойдут на вечернюю пастьбу. Разбредутся по необъятным лугам, звеня своими колокольчиками под синим-синим небом. Мирный ветерок будет колыхать стебли трав, будет голубое небо, благоуханный лес, эти вот вершины, увенчанные шапками снега, белые, как ягнята. И горный поток — смешение красок: зеленой, голубой и ослепительно белой — все так же быстро будет нестись в долину, разбиваясь о скалы, и брызги капель будут чистые, как кристалл, холодные, как лед...

Все это останется здесь, только его не будет: нельзя ему остаться в шалаше, не будет его на Валаштянском холме.

Понурив голову, шел он к колибе. Здесь все уже было на своем месте. Черпаки, черпачки, мутовки, поварешки повешены на брусе, внизу горит костер, на вертеле висит котел, в нем греется вода.

А он должен уйти!

От дыма и обиды глаза его застлало слезами. Выбежав из колибы, сквозь пелену слез он снова увидел зелень лугов, и золотое солнышко, и голубое небо, и неоглядные дали... и все это сливалось с едким дымом смолистого дерева, запахом овечьего молока и еще бог знает чего.

Лойзко уже запряг. Ждал только его.

— Ведь не навек разлучаешься, — утешал он пастушонка. — Придет лето, привезем тебя сюда. Не бойся, лето уже не за горами.

Мальчик его даже не слышал. Рукавом размазывал по лицу слезы, шмыгал носом.

— Правду Лойзко говорит, — поддержал погонщика бача. — Увидишь, лето будет чудесное. Кукушек собралось здесь видимо-невидимо. Все время кукуют. Орешник разросся вовсю, погода будет хорошая. Целое лето проведешь в шалаше... Теперь же ночи холодные — не дай бог, простудишься. — Жаль было ему мальчика, он гладил по голове, успокаивал его.

Пастушонок вдруг разрыдался. Когда же слезы вымыли из глаз его режущую боль и он снова и отчетливо все это увидел, стало ему совсем грустно. Напрасно его утешали. А край вокруг молчал как могила, великолепный край, что так многозначительно умеет молчать...

Бача выбрал полено эдак с метр длиной, один конец обтесал и заострил топором и снаружи подпер им двери колибы; постучал по тупому концу полена обухом топора, отчего дверь

плотно вошла в дверной проем, а отесанный конец глубоко зашел в землю, основательно ее приперев.

А до этого он сделал все необходимое в колибе, с тем чтобы спокойно уйти. Перво-наперво собрал в сумку то, что можно было есть. Поколебавшись, прибавил и кусок шкурки от сала, потому что знал: времена настали тяжелые, не ровен час и пожалеешь — зачем пренебрег тем, что можно сварить и съесть. Пробудился в нем прежний страх голода и понукал к бережливости. Он взял с собой оставшуюся муку и соль и даже мешочек перца прихватил. При этом споткнулся о пустую флягу, поднял ее и прикрепил к поясу, намереваясь у потока наполнить свежей водой.

В конце концов душа его словно бы успокоилась. Все, что делал, он делал сосредоточенно и обдуманно, как бывало всегда. Вспомнил о ружье. Завернул его в тряпку и вместе с патронами упрятал под бревно: там оно обычно хранилось. Да и что такое старый карабин против автомата!

Взглянув на мальчика, вспомнил, что обещал научить его стрелять. Пастушонок молча смотрел на отца, но баче показалось, что он по-взрослому уперся глазами в какую-то точку и бог весть о чем думает.

Бача хотел было что-то ему сказать, но передумал. Закрыл дымник, и в колибе сразу стало сумрачно. Нагнулся за валашкой, выпрямился, через другую руку перекинул сумку и кабаницу и позвал мальчика к выходу. Пастушонок все сделал, не говоря ни слова. Бача вышел вслед за ним, свалил все наземь и с топором побрел к поленнице. Когда он вернулся с отесанным колом, мальчик снова сидел в колибе.

— Свирель не забыл? — спросил его бача.

— Здесь она, — пояснил тихо мальчик, указывая на сумку: свирель выглядывала из нее.

Бача затворил двери и подпер их колом. Топор всадил в бревно под самую крышу, свистнул псам, надел кабаницу, взял валашку и сумку, широкополую шляпу надвинул на самый лоб. Прищурив глаза, посмотрел из-под нее на кошару. Прибежали собаки. Неторопливо зашагал он по лугу, мальчик за ним. Они выгнали из кошары овец. Собаки ворча собирали отару в путь.

Спускаясь за овцами вниз по склону, бача и пастушонок все время оглядывались на колибу. У леса их заворожило пение птиц. Крупные птицы, в основном ореховки и голуби, всполошенные, улетели с ближайших деревьев глубже в лес. От взмахов крыльев пригнулись ветви елей. Ишь, испугались, стражи леса! — подумал бача и поднял кулак.

— Марш! Домой! — заревел он.

Овцы, что были последние, побежали. Собаки принялись гнать их с еще большим остервенением, и языки колокольцев на шеях у овец затрепетали.

Первые лучи солнца засияли на стланике. Лился чистый, ясный свет, в лучах которого и впрямь горела свежая зелень.

Они двигались дальше.

На удивление день выдался прекрасный. Куда подевались ночные тучи? Бача в недоумении качал головой. Но предугадывать наверняка не спешил: боялся сглазить такое серебряное утро. Однако час спустя уже был совершенно уверен, что день и в самом деле выдался погожий. Голубой, как незабудка, небосвод сливался на горизонте с вершинами Татр, которые не покрывала сегодня пелена дождя. Бача остановился, оглядывая округу. Совсем близко, как на ладони, был Валаштянский холм, с одной стороны поросший лесом. Бача знал там каждое дерево, каждый камень. Весь этот край. Он знал о нем все. И теперь, когда он глубоко дышал, под порывами свежего ветерка вздымался и стланик.

Пес, что гнал овец справа, вдруг стал как вкопанный. Шерсть на нем поднялась дыбом. Другая собака тоже отделилась от отары, и обе понеслись туда, где кончалась поляна. Добежали до рощицы низкорослых деревьев за небольшой скалой; тот, что покрупнее, залаял. Потом оба завыли, беспокойно перебегая с места на место... Когда бача с мальчиком приблизились туда, возбуждение собак возросло: они рыли землю передними лапами, разбегались в разные стороны, но с полдороги снова летели назад.

Под молодой елочкой кто-то лежал.

— Лойзко! — заломил бача руки.

Мальчик боязливо заглядывал через плечо отца. Большими, как небо голубыми глазами удивленно всматривался он в знакомое лицо погонщика Лойзко. Глаза Лойзко были пусты и холодны, рубаха темно-красная от крови, грудь прострелена, на лице печать смерти: рот полуоткрыт, губы синие.

Возле него лежал дробовик с прекрасно сработанным прикладом. А в траве валялось множество расстрелянных гильз, светло-красных и светло-зеленых.

Вот так-то лежит он тут под елочкой ранним летним утром, и солнце, чистое, словно умытое росой, уже не светит для него.

Плачущий мальчик потянул отца за рукав.

— Что это с ним?

А бача убитым голосом объяснил сыну, что Лойзко воевал и погиб, как это нередко случается на войне.

Мальчик понял: Лойзко мертвый, его застрелили на войне. Ведь если люди стреляют и убивают друг друга, то это война. Но что за люди убили Лойзко? Что сделал им Лойзко, такой добрый, улыбчивый человек?

И тут мальчик смутился: да ведь и Лойзко стрелял. Он не поверил бы этому, не будь тут дробовика и гильз. Сколько их повсюду валяется! Весь Лойзко усыпан был ими, как цветами.

И все они были расстреляны.

Бача сказал сыну, что Лойзко уже ничем не помочь.

— Похороним его. И пойдем дальше, потому что овец нужно передать хозяевам. Мы в ответе за них, Янко. Что бы в деревне делали без овец? Люди доверили их нам, и мы обязаны сдержать свое слово, потому что мы пастухи. Знай это, Янко, ты ведь тоже скоро станешь бачей. А теперь моя правая рука. Потому-то знай, мальчик, мы должны свято исполнить свой долг. Но наш долг — и похоронить мертвого. Так исполним мы все, как положено. — Он вынул из-за пояса нож с широким лезвием и выкроил им первый пласт земли.

Гляди, гляди, Лойзко, на солнышко, мысленно обращался он к погибшему. Нет, не стану я закрывать тебе глаза, пока не вырою могилу. Погляди на него вволю, пусть оно тебе вечно светит. И потом, когда я упокою тебя на лугу, в этой вот земле, возьми у этого луга все, возьми с собой и тишину раннего утра, высветленного согласным молчанием солнца в затихающем мирно лете. Потому что твоя зима будет длинной...

Он выкроил ножом прямоугольник по длине лежащего человека, потом стал рубить землю валашкой, а выгребал руками.

Мальчик совсем не уразумел того, о чем отец только что толковал ему. Ничего не понимал. Не улавливал связи между тем, как они должны были поступить с овцами, и тем, что он увидел здесь и что так взволновало его.

Собаки повернули стадо назад. Овцы паслись, звякали колокольцами. Те, что были поближе, поворачивали к пастухам головы. Взгляды у них были тупые, безразличные. Молча, лениво жевали.

В пастушонке неудержимо возрастало чувство обиды. Но кто его так обидел? И мальчик с укоризной поглядел на бачу, который ничего не сказал ему о том, что тут происходило, почему они так спешно должны были уйти из шалаша и вот нашли здесь мертвого Лойзко. Не обмолвился отец и о том, какие беды ждут их впереди.

И как странно глядели на него парни в колибе.

А он ничего не знал — был глупый как баран.

Но почему же все-таки отец ничего не растолковал ему, ведь он так любил с ним беседовать. Всегда только с ним и говорил. Даже когда они сидели всей семьей у очага. С ним одним он всегда и разговаривал, только к нему и обращался.

"Знаешь, Янко", — говаривал, или: "Вот так это было, Янко". А мать, сестры, все внимательно слушали. И все-то он объяснял ему, ничего не утаивал. Нет в лесу такого зверя, не летает там птаха и не растет цветок, названия которых он не узнал бы от своего отца.

А вот об этом почему-то не сказал ему. Именно об этом, а ведь это куда важнее.

Как тогда говорил бородатый?

Что отара уже не их?

А чьи же овцы пасутся на поляне?

Может, люди в касках и в самом деле придут сюда и всех овец перережут? А что в деревне станут делать без овец? Не будет овец — не будет ни молока, ни сыра, что же они станут есть?

А может, те люди и нас убьют?

И пастушонок с ужасом осознал, какой он был глупый, что это раньше не приходило ему в голову. Как странно глядели тогда парни в колибе. Только на него и глядели, только о нем и говорили. Неужто правда, что и его могут убить?

При этой мысли у пастушонка голова пошла кругом. Ведь те, которые всех убивают, могут и их убить. Мальчик ничего о них не знал, и потому страх его возрастал. Да, незнакомцы в касках, наверно, способны на все. Он чувствовал, что они сильные и жестокие. Их с отцом убить — им раз плюнуть. Еще легче, чем Лойзко. У того хоть ружье было, а у них ничего. Оставили свое в колибе. Почему отец не взял карабина с собой, почему спрятал? Не потому ли, что те, в касках, сильнее его? И отец их тоже боится? Конечно, боится. Ведь если бы не боялся, то не ушел бы с пастбища.

Так вот, значит, как это было: Лойзко защищался, потому и стрелял из ружья. Они хотели его убить, а он стрелял, потому что не хотел умирать.

— Кто убил Лойзко? — спросил мальчик.

Отец посмотрел на сына, увидел его широко раскрытые от ужаса глаза и еще крепче сжал в руках валашку.

— Не бойся, Янко, с тобой ничего не случится, — сказал он. — И не стой тут. Посмотри, овцы разбрелись кто куда. Нужно их собрать. Глядишь, какая-нибудь заблудится и потеряется...

Ведь мы только и делали, что пасли овец. За что же нас убивать?

Стали бы они стрелять в меня? Прицелились бы из ружья и выстрелили? И я стал бы мертвый, как Лойзко, не двинул бы ни рукой, ни ногой. А потом закопали бы меня, как мы Лойзко?

Прочь, прочь отсюда! И чем раньше, тем лучше! Куда угодно, только прочь! Прочь от мертвеца, неподвижных его глаз, окровавленной рубахи. Полуоткрытого рта с желтоватыми зубами, посиневших губ со струйкой запекшейся крови. Ведь то, что лежит на земле, — это уже не Лойзко, а мертвец!

— Отец, пошли. Пошли отсюда!!! — закричал он, сотрясаясь от рыданий.

Бача отложил валашку и прижал мальчика к себе.

— Успокойся, Янко, успокойся... — приговаривал он тихо. — Ведь я же посылал тебя к овцам. Видишь, обуял тебя страх.

Надо было меня послушаться! Не бойся, не бойся, ведь я с тобой. Да не гляди ты на него. Не гляди больше.

Надо его, однако, похоронить, сказал он себе.

Бача отвел плачущего мальчика подальше за скалу. Усадил между низкими и густо растущими елями, которые создавали природное укрытие, и кликнул Бунду.

Это была самая крупная овчарка, и мальчик любил ее. Шерсть у Бунды — лохматая и мягкая, и пастушонок уткнулся в нее заплаканным лицом. Согнувшись, он сидел под елью, а на коленях у него лежала широкая собачья голова. Он слышал отсюда, как бача рубил землю: то доносился хруст — это бача выкорчевывал толстый корень, или вдруг раздавался звон — когда острие валашки ударялось о камень. Мальчик слышал все это как из дальней дали, зато яснее ясного видел перед собой лицо мертвого Лойзко. Теснее прижимал к себе собаку. Умный пес лежал, опустившись на лапы и не двигаясь. Мальчик, если хотел, мог потянуть его за хвост, шлепнуть по голове или долго-долго чесать за ушами — собака покорно сносила все.

Другая овчарка тем временем опекала отару, и бача то и дело отбегал от ямы — вместе с собакой отгонял овец от леса.

Мальчик выплакался. В то рассветное утро он узнал, что такое смерть, и его детство уже беззаботно не скакало за овцами, но в страхе укрылось за елью, где лежал Лойзко — первый мертвый человек, которого он увидел собственными глазами. Слез уж не было, только щеки его горели как в лихорадке. Он, верно, почувствовал бы себя легким как перышко, если бы перышко это не было таким тяжелым и мокрым.

Он отпустил собаку и потянулся за сумкой, в которой были свирель и черпак. Он вытащил черпак с намерением поиграть, но природный трудовой инстинкт навел его на мысль, что черпаком удобнее выгребать землю из ямы. Черпак был большой и достаточно широкий. Мальчик направился с ним к отцу.

А бача уже не мог хорошо рубить: острие валашки совсем затупилось. Он копал землю ножом. Дело продвигалось с трудом, но могилу нужно было вырыть определенной глубины.

— Черпаком выгребайте, — тихо сказал ему мальчик. Хоть и зарекался он, что не посмотрит в ту сторону, взгляд его нет-нет да непослушно забегал туда. Его знобило.

Бача взял в руки черпак и признательно посмотрел на сына. Но скорей не оттого, что тот дал ему черпак, сколько оттого, что мальчик успокоился. Он взял черпак за резную ручку с фигуркой Яношика. Воздев сжатые в кулаки руки, Яношик задорно пляшет под виселицей одземок[1]. А внизу ему наигрывает волынщик.

[1] Одземок — словацкий национальный танец.

Гей, к вам, цветы да травы, роща да поляна,
по тропе разбойной я ушел от пана.

Все это было вырезано и выжжено на черпаке, который так нравился мальчику, что он никогда с ним не расставался. Часто он эту надпись "прочитывал", водя пальцем по непонятным словам. А бача, весело прищурив глаза, говорил пастухам:

— Гляньте-ка, наш Янко уже и читать умеет! Ну а как дальше?

Ангел мой — свобода, белый свет просторный,
хоть не миновать мне виселицы черной...[1]

Пастушонок прижимал пальчик к деревянной ручке; мудреная вещь, должно быть, это чтение. Куда мудренее, чем запоминать наизусть.

Яма становилась все глубже, солнце поднималось все выше.

Наконец бача решил, что копать хватит. Взглянул на мертвого. Жаль мне закрывать тебе глаза, ведь солнце так ярко светит. Но придется, иначе не положено. Вот погляди: солнце светит на небе сквозь белесую мглу — и я чуток прикрою тебе глаза, совсем легонько, будто мгла. И, осторожно приподняв под мышками тело Лойзко, он положил его в яму.

— С богом, Лойзко наш, да будет земля тебе пухом, — сказал он громко, не спуская глаз с лица убитого. Яма была для него коротка и узковата. Голова Лойзко была вдвинута в плечи, а плечами он упирался в края могилы.

Но все-таки она достаточно глубока, чтоб до тебя не добрались лисы. Ведь я даже не знаю, ворочусь ли сюда когда-нибудь, чтобы положить камень на твою могилу. Я вырубил ее глубоко, как только мог, подумал он и бросил первую горсть земли на покойного. Потом всем телом навалился на груду вырытой земли, и она посыпалась вниз. Он начал с ног и видел, что земля накрыла их наполовину. И тем временем продолжил безмолвный разговор с мертвым.

Прости меня, что сыплю на тебя землю и камни, которые, наверно, больно тебя ударяют и оскорбляют. Никогда не доводилось мне так вот хоронить человека, и теперь это не очень складно у меня получается. Мне больно видеть, как засыпает землей твои глаза и рот. Ну, так с богом и прости, если я чем ненароком тебя обидел.

Бача уже засыпал могилу и кое-как оправил ее, и тут заметил ружье, валявшееся в траве. Он поднял его и, опустив ствол, осмотрел гильзы. Обе были расстреляны. Он оставил их в патронниках. Легонько сдвинул ствол, и ружье, слабо щелкнув, распрямилось. Обеими руками он взял его за приклад и дулом

[1] Перевод В. Корчагина.

вниз глубоко всадил в землю.

Солнце стояло уже высоко. Он набросил на себя кабаницу, надел сумку, подхватил валашку и, взяв мальчика за руку, зашагал. Пастушонок еще оборачивался посмотреть на то место, где они похоронили Лойзко. Бача шагал, втянув голову в плечи и сгорбившись. Он уже не оборачивался. Взгляд его был упрямо устремлен вниз, в Долину, куда они гнали овец. Собаки сновали взад-вперед: некоторые овцы прилегли на лугу, а теперь с трудом вставали — вымя у них было переполнено молоком. Они блеяли. Бача прикинул: если ничего непредвиденного не произойдет, он приведет в деревню стадо в два часа.

Только бы ничего не случилось и мы благополучно добрались бы туда, размышлял он. Потом, все еще взволнованный нежданными похоронами, сунул руку за пазуху, нащупал зашитый в рубаху цветок папоротника и обратился к нему с такими словами:

"Я был бы поистине рад, если б оказалось правдой то, что говорят о тебе. Так вот, цветок, я бы хотел что-то пожелать себе, а ты исполни мою просьбу. Ведь, как и положено, я сорвал тебя в полночь на святого Яна и всегда ношу с собой. И теперь в твоей власти доказать мне свое могущество. Убереги этого мальчика, моего сына, которого я сейчас веду за руку. Хотя бы ему одному сохрани жизнь, если нельзя иначе. Я, бача Ян, что сорвал тебя и знаю от отца, где ты растешь, обещаю: никогда больше не дотронусь до тебя, навсегда откажусь от твоей помощи, от счастья, которое ты даруешь, потому что нет для меня ничего дороже, чем жизнь этого мальчика. Ты понимаешь это, цветок, знаешь, о чем я прошу тебя".

Он чувствовал, как хрупкая травинка за рубахой сухо потрескивала под его пальцами.

"Я мог бы пожелать и большее, разве нет у нас права на счастье? Но я не буду просить тебя ни о чем — только сохрани жизнь моему сыну. Принято говорить: кто не довольствуется малым, тот не заслуживает и большего. И я вполне удовольствуюсь одним — и это главное — ведь его жизнь для меня все. Я уже стар, цветок. Я срывал тебя каждый год и не могу пожаловаться, что в жизни у меня не было счастья. Оно было. И коль пожелаю, будет и впредь. Но я ничего не требую. Мне будет спокойнее всего, если будет счастлив мой мальчик, потому что без него я ничто. Если уж суждено кому-то из нас умереть, пусть это буду я, а не он. Есть у меня предчувствие. Недоброе предчувствие. Недобрая и вся эта дорога, плохо она кончится... Так помоги мне, цветок, помоги, как можешь".

Он остановился, чтобы перевести дух. Пастушонок ждал рядом, понурив голову и глядя в землю.

Бача вытащил руку из-за пазухи. "Спасибо тебе, цветок папоротника", — поблагодарил он его, но нельзя сказать, чтобы это придало ему больше надежды. Тем более что вскоре повто-

рилось то, что случилось с ними менее часа назад. Собаки остановились: шерсть у них вздыбилась. Они снова что-то учуяли. Наверно, наткнулись на новых мертвецов? Так оно и есть! Надрывно лая, они опять бросились к лесу.

На этот раз пастушонок остался при отаре на лугу, а бача вслед за собаками вошел в заросли густого ельника, куда хватило сил доползти смертельно раненному старшему сыну мельника. Сердце бачи сжалось, когда двумя шагами поодаль собаки завыли и над его младшим братом, совсем еще мальчиком. Во лбу его зияла рана, словно он сам в себя стрелял. Боже праведный! Глаза бачи затмило слезами. А кто еще там лежит? Это кто?! Кто это?!

Он бросился из леса, ноги у него подкашивались. Спотыкаясь, брел он за своим стадом, которое мало-помалу спускалось вниз, а куда вниз? Бежал, чтобы воротить его, потому что где-то у самого края луга беспомощно махал своим ореховым прутом пастушонок, будто траву водой кропил!

Бача взревел на собак. Те обежали стадо и, оглушительно лая, сгоняли овец к дороге; овцы в смятении сбились в кучу. Те, что были позади, двинулись по дороге, некоторые затрусили вперед, другие пустились наискосок по склону.

Бача, ноги которого вновь обрели силу, забегал туда-сюда, загоняя овец обратно, вскоре все они были в сборе, а собаки с гордо поднятыми головами кружили вокруг сбитой отары.

Измученный бача опустился на траву.

— Посидим чуток, — сказал он мальчику. На лице его блестели капли пота. Ладонью смахнул пот со лба, сунул руку за пояс, достал флягу с водой. Долго пил маленькими глотками, словно вода обжигала его как огонь.

Подозвал сына к себе, пристально глядел на белые спины овец перед собой. Временами они казались ему гребнями волн. Передвигаясь по лугу, они ослепляли его, точно само солнце, которое между тем немилосердно палило.

Голову сверлила одна и та же мысль: есть неподалеку пещера в скалах. Есть такая пещера, где я мог бы его спрятать. Она сухая и достаточно просторная, чтобы поместились в ней и несколько овец, которых я наверняка оставил бы при нем, а также собака. Оставил бы ему и весь хлеб и сыр; вода неподалеку: стекает струйкой со скалы из маленького родничка, величиной с ладонь, укрытого под елью.

Свернешь направо в скалы — и почитай через пять минут ты на месте. Мальчик останется там в полной безопасности, ты же продолжай с отарой спускаться вниз.

Но потом ты должен вернуться. Во что бы то ни стало. Ведь если ты не вернешься, мальчик погибнет. Он не сумеет ни отыскать дорогу вниз, ни путем подоить овец. А что, если он не удер-

жит их в пещере и овцы оттуда уйдут? Как долго он сможет там пробыть?

Ну а если ты не вернешься?

Пес, пес приведет его назад, приведет к людям.

Он заскрипел зубами.

Разве могу я целиком полагаться на собаку?

Что, если... они уже ушли, продвинулись в горы через Жабью долину, и в деревне их задержалось совсем немного. Вот тогда бы нам повезло. Может, мы и проскочили бы незамеченными.

Какой же ты чудак, бача, рассудил он вслед за тем. Куда ж проскочишь с этаким-то стадом? Уж лучше думай, что их полна деревня.

Так зачем ты туда прешь?

А куда же мне идти? Куда идти с ребенком? Сидеть в шалаше и ждать, когда они сами придут и зарежут его, как овцу?

А теперь? Что делаешь ты теперь, бача? Разве не лезешь к ним прямо в пасть, как глупый баран?

Лезу. Может, я и в самом деле лезу к ним в пасть. Но я еще смогу как-то выкрутиться. Глядишь, подвернется случай их провести. Ведь я просто обязан доставить в деревню и мальчика и овец. Мальчика — матери, а овец — хозяевам, хотя многих из них, как я узнал, уже нет в живых. Но их жены и дети, возможно, живы, и им очень пригодятся эти овцы.

Нечего над этим столько мудрить, приятель, говорил он себе. Ты исполняешь свой долг — вот и все. Разве сто раз ты не убеждался в том, что ничего иного придумать не в силах? Разве не ломал над этим голову целую ночь и весь день? Если б ты мыслил здраво, то давно бы решился и шел прямиком вниз. Ведь что другое можешь ты сделать? Ты даже не в состоянии похоронить всех убитых. И теперь их боишься. Испугался их незрячих лиц, на которых так ясно написано, что от жизни до смерти — один шаг.

Стало тебе худо, потому что с самого начала ты ничего толком не сделал. Вместо того чтобы ночью выспаться, ты выпил добрую флягу паленки, а ее следовало бы приберечь для более тяжких времен. Уж потому не нужно было бы тебе столько пить, что при этом ты ничего не ел. И теперь ты — слабак, а должен быть бы как никогда сильным. Ведь в твоей силе так нуждается мальчик. Поэтому, пока не поздно, бери себя в руки и спасай хотя бы то, что еще можно спасти.

Нет, не расстанешься ты с ним. Никогда не посмеешь.

Встань и иди!

Теперь какую-то часть пути они поднимались: им предстояло одолеть перевал. Узкая тропка змеилась между скалами;

едва различимая глазом, она то и дело терялась среди камней, чтобы вдруг обозначиться в ложбине.

Овцы знали эту дорогу, они уже не раз проходили здесь. Склонив головы, осторожно ступали друг за дружкой. Как-то раз овца сломала тут ногу. Жалобно блеяла. Остальные остановились и безучастно на нее глядели, потом опять склонили головы и еще осторожнее зашагали, словно поняли, что с ними такое тоже может случиться.

Сколько же лет назад это было?

Он взвалил тогда блеющую овцу на плечи и нес ее оттуда до самой деревни. Был он молодой и сильный, вынес бы овцу хоть из Чертовой Ямы. Легкие у него были здоровые и чистые, как новый котел. Вздохнул полной грудью — и хватало на пять шагов. В те поры ему нравилось все перетаскивать, то ли дрова, то ли воду — и всегда с верхом. Пышущее здоровьем, само легкое, тело словно бы требовало поклажи — нужно было дать выход огромной силе.

Теперь уж совсем не то, пришло ему в голову. За эти годы ноги порядком отяжелели. Дыхание сократилось. И руки совсем уж не те, что в былые времена.

Он крепче сжал маленькую ладонь сына. С той минуты, как они снова двинулись в путь, бача вел мальчика за руку, хотя это ему совсем не нравилось. Он упирался, хотел идти сам, твердил, что, когда они шли на пастбище, он без всякой помощи одолел перевал, так почему же не может сделать этого теперь?

Говорил пастушонок отрывисто и быстро. От крутизны дыхание стало неровным, но желание взбираться, лезть на гору в нем так и кипело!

— Не торопись, время есть, — унимал его отец.

— Места здесь не опасные... Только вверх и вверх. Не пугайтесь, не упаду. Отец, вы что, боитесь?

— Пускай овечки идут первыми! Мы все равно их догоним, — сказал бача, думая лишь о том, что за перевалом тропка станет уже доступной прицелу пулемета. Стоит нам подняться, как они возьмут нас на мушку. Жаль, что придется идти через перевал. Его хорошо видно с Широкого, и, если они в деревне, у них там наверняка наблюдательный пункт.

Опять на уме у тебя дурное, сказал он себе. Сколько уж раз говорил: перестань! А ты опять за свое. Нехорошо. Должен же ты это понять и покончить раз и навсегда. И с мальцом ни о чем не потолковал. Ну да! Не хватало, чтобы я и его сюда впутывал!

Следует сказать, что ему очень хотелось выразить свои мысли вслух, посвятить в них сына. Это облегчило бы его положение: мальчик знал бы, что его мучит. Трудно было, скрывая все от сына, разговаривать с ним. Он отмалчивался. А оба к такому не привыкли. Долго жили вместе на пастбище и о многом переговорили. А со вчерашнего вечера не обсудили вместе

ничего, потому что бача все время думал о своем. Он чувствовал себя очень одиноким, и ему было скверно от мысли, что сын его чувствует себя так же. И бача прикидывал, как бы ему это дело поправить.

Они благополучно прошли перевал и по крутому склону стали спускаться вниз. Овцы осторожно ставили передние ноги и переступали, странно прогнувшись в спинах. Под ними лежал лес. Когда они пройдут через него, то очутятся уже на задних лугах. Скоро они зашагали меж вековых елей, черных и могучих. Их окружила тишина, которая царила здесь с тех давних пор, как веселые заросли молодняка сменились величественным темным лесом.

Бача вдыхал свежий аромат хвои и грибов, смешанный с неясными запахами грибов и листвы. На какое-то мгновенье ему даже полегчало, будто старый и мудрый бор мог навсегда укрыть тут и стадо, и его самого.

Нет, здесь не могли раздаваться выстрелы. Тут, в этой первозданной тишине древнего храма природы, ничто не могло нарушить вековой покой.

Он позавидовал заросшим седым мхом деревьям, незыблемой надежности их глубоко проникших в землю корней, выворотить которые не под силу никакому ветру.

Нет такой бури, которая сломила бы эту громаду, размышлял он. Взглянул на сына. Хотел бы я быть одним из таких деревьев, а он рос бы возле меня.

Пастушонок шагал легко, ступая на мыски, как человек, кому хорошо идется и у кого славно на душе. Нашел красивый гриб с темной шляпкой, огромной, как ладонь бачи. Он нес его с гордостью, то и дело оглядывался — в надежде найти хотя бы еще один такой. Нет-нет да и убегал от отца, задирая голову, всматривался в кроны самых высоких деревьев.

— Ну-ка дай мне свирель, — сказал ему бача, чтобы пастушонок перестал рыскать вокруг да около.

Мальчик с радостью подал ему свирель, и бача принялся дуть в нее, прикрывая пальцами то одно, то другое отверстие. Нежные звуки свирели разносились между елями, и те словно насыщали мелодию своим бархатом.

Когда достигли они задних лугов, пастушонка сморил голод. Почувствовал он, как подвело у него живот. Попросил у отца сыра.

— Что ж ты раньше ничего не сказал? — оживился бача. — Я-то совсем запамятовал.

Сразу потянулся к сумке, вытащил оштепок, разрезал его на желто-белые кружочки и стал подавать их мальчику.

— Ты давно есть хочешь? — выпытывал он у него.

— Нет, только теперь, — ответил мальчик, проглатывая вкусный сыр, закопченный над огнем до золотистых тонов.

Бача ласково на него поглядывал и неустанно потчевал, отрезая все новые и новые кусочки. А когда мальчик насытился, предложил ему еще и мягкий белый овечий сыр, который он подсаливал, зажав валашку под мышкой. При этом они шагали дальше.

Как мы, собственно, можем защитить себя. Да никак. Кроме валашки и этого вот ножа — посмотрел бача на нож с широким лезвием и ручкой из оленьего рога, — у меня нет ничего. Нож совсем затупился, когда он копал могилу, и годился разве что сыр нарезать.

Да не все ли равно, есть у нас что или нет, подумал он. Когда нас схватят, первое, что они сделают, — отберут этот нож и валашку. Отдам без сопротивления, может, они хотя бы не тронут мальчика. Не будь его здесь, они так легко не отделались бы.

Он представил себе, как всей тяжестью тела обрушится на ближайшего солдата — ведь это может быть и офицер, их самый большой начальник, как он вонзит ему в грудь нож, и лицо бачи свело от отвращения. Он сплюнул, потому что увидел человечью кровь, красную человечью кровь на своих руках...

Война.

Война, война, когда люди убивают друг друга.

Тут ему вспомнилось, как некогда он выпытывал у отца, чтобы тот рассказал ему, сколько убил на войне вражеских солдат. Было любопытно, убил ли отец хоть одного. Уж и не помнит сейчас, зачем понадобилось ему это знать. Если бы отец признался, стал бы он смотреть на него по-другому? А как по-другому?

Перед глазами бачи вдруг ясно встала давно забытая картина, он увидел помрачневшее лицо отца, услышал его голос, который словно теперь говорил ему:

— Об этом не спрашивают, нет.

Так значит, нет. Или да? Да и как могло быть иначе.

Больше к этому они не возвращались. Тогда он еще не сумел уловить долгий, тяжелый отцовский взгляд, которым во время бури тот окидывал небеса, а их с такой яростью исполосовывали молнии, что овцы в кошаре сбивались в кучу.

— Как тогда, в шестнадцатом... — повторял он.

Эти слова отец всегда говорил во время бури. И голос у него становился каким-то глухим и враждебным, и сам он бывал злой и неспокойный. Но не на бурю гневался он: отец любил, когда бушевали стихии. Это были самые захватывающие моменты жизни в горах, когда все громыхало и гудело, когда бесновался водяной шквал. И молодость бачи походила на такой вот шквал.

Он вздохнул.

И поймал себя на том, что сегодня уже в который раз вспо-

минал о своей молодости, — раньше с ним это не часто случалось. Цепь этих воспоминаний тянулась до бесконечности. Одна картина сменяла другую, и дорога, довольно однообразная, убегала быстрей.

Да, так оно и было. Накануне первой мировой войны мобилизовали много парней из деревни, и большинство вернулось оттуда без руки, или без ноги, или вообще не вернулось: полегли они в далекой, чужой земле, остались после них на почте груды почтовых открыток, письменные свидетельства их любви к родной земле, к своим близким. В некоторых содержались советы женам — что где засеять, какого коня продать, как хозяйствовать, — письма эти были полны забот о хлебе, о детях. Нередко написаны они были чужой рукой и по-венгерски. Кто это прочтет? Слова, тяжелые, как свинец, как свинец в груди...

И тут вспомнил он Цеппелина. Как странно бывает в жизни: со временем он забыл многих односельчан, дядьев и теток, которых жизнь ничем не выделила среди других людей; неизменно все они предавались забвению, а Цеппелин, жалкий, всеми отвергнутый, безумный Цеппелин жил в его памяти так же, как и собственный отец. Да, странно устроен этот мир!

Тот человек вернулся с войны целым. Не потерял ни рук, ни ног, и глаза у него были зрячие — но он постоянно говорил только о войне. Служил он на Итальянском фронте. Сиживал еще у старого Якуба в корчме вместе с другими ветеранами — спервоначалу-то все рассказывали о войне, даже те, кто там не бывал, повторяли то, что слышали от других, — и нет-нет да и заводил свои ужасные истории. Нес он особую службу: был капралом спецкоманды, которая имела задание — добивать раненых.

— Обо всем забыл я на Итальянском фронте, — выкрикивал он в подпитии, — только жрать да бражничать там научился, Tessék[1]! От жены я ушел, дети прогнали меня! Tessék, kérem szépen! [2]

Его слушали с тем молчаливым участием, которое испытываем мы к потерпевшим людям. И ему подливали, потому что много было таких вот парней, которые на время забыли обо всем, кроме как наливаться. Однако человек этот был немного не в себе и, когда на него находило, бухал кулаком по столу и выкрикивал:

— Цеппелинки, аэропланки, бум, бум, бум!

Шли годы. О войне стали забывать. И в корчме заводили теперь совсем другие разговоры. Перестал занимать всех и Цеппелин со своими воинственными выкриками, его сразу разучи-

[1] Пожалуйста! (*венг.*)
[2] Пожалуйста, сердечно благодарен! (*венг.*)

лись понимать. Никто ему не наливал. И дети, что родились уже в мирное время, завидев его, покрикивали:

— Цеппелинки, аэропланки, бум, бум, бум! Tessék! Tessék? Цеппелин! Цеппелин! Цеппелин!

Он приходил в ярость. Бегал за ними, швырял в них камнями. Болела у него голова. Когда кто-нибудь его окликал, он вздрагивал, закрывал руками давно не бритое лицо. Он боялся людей. Никого возле себя долго не выносил, кроме детей, которые его больше всех и мучили. Хоть когда припускался за ним целый выводок.

— Дяденька, а кто выиграл в той войне?

Он начинал теребить бороду, щелкал пальцами, мотал головой, наклонив ее набок. С таинственным видом прикладывал палец ко рту.

— Тсс... мы. Мы ее выиграли. Сначала наступали гусары, гонведы, за ними шли мы. Сколько раненых осталось после этих гусаров гусарских... Они прятались от нас под пушки, под груды мертвецов, где кому удавалось. Но мы находили их везде. Никому еще не довелось победить смерть! Нет! Нет! Потому что обороняли ее мы — против тех раненых. Надежно обороняли! Разве могли они победить саму смерть?

Дети, те, что давно знали эту историю, кивали головами, а те, что поменьше, слушали ее, разинув рот.

— Как бы мы выиграли войну, если бы не помогали смерти? Ну как?

Потом мысли его снова возвращались в водоворот боя. Он разводил руками, отдавал команды. Дико смеялся, в остервенении скрипел зубами, хватался за голову.

— Я, капрал спецкоманды маршбатальона армии Киприан Дермек. Я несу смерть и иду вперед. В ногу! В ногу!

Ревут, мечутся на земле, пальцы кусают от боли. А я колю их штыком. Вправо, влево. В грудь, в шею, в живот. Куда придется. Они вгрызаются зубами в приклад, корчатся в предсмертных судорогах и погибают под моими руками. Сапоги у меня в крови, и я сам хожу по колено в крови. Мама кричит мне со двора: "Что ты делаешь, Кипро?" — "Ничего, мама, ничего, это тебе только кажется!"

Луг — такой зеленый, кровью окропленный... Гусары на конях проскакали вперед. Цок. Цок. Галопом. Следуют далее. А сколько тех бедолаг полегло в поле!

Ты погляди, Кипро, как он убегает. Подстрелили его в ногу. Он волочит ее по земле. Падает, встает, падает, снова встает! Ружье отбросил в сторону — знать, отвоевался. Ишь как болит у него нога! Понимает теперь, что значит выстрелить из ружья, какая это боль! А я тут как тут! Он воззрился на меня. Глаза как у совы. Какой солдат! Совсем еще зеленый! Падает передо мной на колени. Руки заламывает: "Отпусти меня, парень, ви-

дишь, получил я кайзеровскую медаль!"

А я вонзаю в него штык аж по самую рукоятку. А он ухватился за эту рукоятку, только вон, вон из груди этот штык! Боже, какая боль! И умирает! Все умирают! Напрасно грызут, ревут и брыкаются, просят, обнимают мне сапоги. Тут лежать! Здесь! Там! Кровь течет у них изо рта! Хватит! Хватит! Вот вам! Вот вам медаль! Хватит! Хватит уж!

— Стой, Киприан! Куда бежишь?!

— Наверх! Цеппелинки, аэропланки! Бум! Бум! Tessék!

Он валится в пыль, хрипит и кулаками молотит по земле. По лицу, искаженному гримасой боли, текут слезы. Стайка детей один за другим тоже валится наземь, и все ревут, пока какой-нибудь постреленок не завопит:

— Ослы валяются на земле — значит, будет дождь!

Они разбегаются в разные стороны, а деревенский юродивый, капрал спецкоманды маршбатальона австро-венгерской армии, остается лежать в пыли, детям на смех.

Взрослые милосерднее. Дают картошки, молока и каши. Так что с голоду он не умрет.

Мальчик доел сыр, допил воду из фляги. Он шел рядом с отцом, маленький, совсем потерявшийся среди бескрайних, волнистых лугов и глубоких, дремучих лесов.

— Когда придем домой, мамка запечет нам уточку. И мы ею полакомимся, — подал голос бача.

— Утку?

— Да, уточку. Запечет ее нам к праздничному обеду. Ты съешь одну половинку, а мы другую. Ну как, одолеешь?

— Думаю, что нет...

— Так уж и нет! Увидишь, какая будет ароматная! Мягкая, как масло, с хрустящей корочкой.

— А где мы возьмем утку? — спросил, поразмыслив, пастушонок. — Ведь мы не держим уток!

— У мельника, — ответил бача. — Он должен нам за пастьбу.

— Тот большой черный баран, — махнул мальчик в сторону отары, — тоже мельника, да?

Бача кивнул. Они шагали дальше. Вдалеке на лугах сушилось последнее сено. Не будь убитых, на которых они наткнулись по дороге, все было бы как всегда. Только вот косцов, вечно галдящих из озорства, почему-то не было. Кто знает, живы ли? И будет ли кому свозить это сено?

Бача был рад, что завел речь об уточке. Нужно было хоть как-то позабавить мальца, отвлечь его. Сам же думал о том, что убьет каждого, кто только посмеет его обидеть. И при одной мысли, что ему, не дай бог, придется на это просто взирать, он приходил в ярость. Этого бы я просто не вынес, убеждал се-

бя бача. Пойду на них хоть с голыми руками. Еще хорошо, что у меня такие верные собаки, с признательностью взглянул он на своих овчарок. Им пришлось бы раньше пристрелить собак, а уж там они подступились бы ко мне. И в смятении подумал, что не хотел бы услышать вой псов под градом пуль. Ведь даже собака и та нелегко околевает...

С лугов в поле шла сухая проселочная дорога, стремительно падающая вниз. Она была глубоко размыта весенними водами, а густая, по преимуществу орешниковая, поросль укрывала ее с обеих сторон. В этом зеленом туннеле кустарник, как стена, отражал звуки колокольчиков, которые сливались в единый, какой-то тревожный звук, словно звонил набатом огромный тяжелый колокол.

Что это овцы так заторопились, топоча своими копытцами?

Они уже почувствовали близость деревни, томит их жажда, подгоняет молоко в переполненном вымени, и они рады были бы, добравшись до хлевов, завалиться наконец в солому. Бача и пастушонок бегут за ними, едва успевая переставлять ноги, дорога сама несет их вниз. А куда? К какому несчастью?

Овцам что, им все едино. Гонят их в деревню, ну что ж, пускай в деревню. Почему они не двинулись вверх, на Уврат, и не спустились оттуда вниз, обойдя при пастьбе весь Валаштянский холм?

Потому что они — овцы, а он их хозяин.

— Да не гоните вы так! — прикрикнул бача на собак. — Потихоньку, дьявол вас забери!

Но стремительно уносившаяся вниз дорога гнала их сама.

Когда они сойдут на последние луга, перед ними встанет Широкое — длинный, пологий скат, под которым с другой его стороны лежит деревня. Вот выберутся они из этого туннеля и, как на ладони, увидят все ее дома.

Да и пастушонку уже не терпится быть дома. Теперь, когда они уже близко, он радовался предстоящей встрече с матерью и сестрами, праздничному обеду, который устроят в доме по случаю их прихода из шалаша. Так бывало всегда, когда отец возвращался один; еще праздничнее будет, когда они вернутся вдвоем. Будет жареная утка, будет к ней и вареная брусника. Мать, сестры, бабушка усядутся за большой дубовый стол в кухне. Станут его расспрашивать, как было в шалаше. Ну конечно же, хорошо. А мясистые куски утятины с картофельным пюре и брусникой тоже будут куда как хороши! Захотелось ему брусники. Сыр, который он ел, был сухой. Заесть бы его сладким желтым яблоком, что росли за Оградом. Уж столько он их нарвет, запихает себе за пазуху, сядет под яблоню и примется уплетать за обе щеки. Что и говорить, совсем другая еда, не то что сухой оштепок!

— Отец, — окликнул он бачу, — те желтые яблоки, что за

Оградом, видать, уже созрели?

— А почему бы нет? Вот видишь, Янко, если бы не взял я тебя с собой на пастбище, ты бы уже лакомился яблоками.

— Ну если так, тогда я вообще их не стал бы есть. Как вы думаете, отец, мама удивится, когда увидит нас дома? Мне кажется, она нас даже и не ждет...

— Почему же, конечно, ждет. Каждый день нас выглядывает. Боится, как бы с нами чего не случилось.

— А что с нами может случиться? — осмелился спросить его мальчик, и бача понял, что сын его начисто забыл про войну.

Кто знает, о чем он, собственно, сейчас думал. Возможно, представлял себе деревню, избу, где появился на свет. Таинственный, еще не обследованный чердак. И поток, полный раков и рыбы. Чуть повыше мельницы парни ловили их прямо руками. Верил, что и он когда-нибудь научится, хотя еще и не пробовал. Виделись ему радужные форели с цветной полоской от головы до хвоста. Особенно много их после обильных дождей, когда вода в Белом потоке похожа на кофе с молоком. Вода поднимается, лавина ее низвергается в долину, принося и косяки форелей из высокогорных ручьев. Покуда вода не очистится, а длится это зачастую по два-три дня, парни бродят вверх по течению, шарят под камнями, ощупывают дно вдоль берега, и когда скользкая рыба оботрется об их руку и шмыгнет к самому берегу — там уж остается только крепко ухватить рыбину и выбросить на траву.

Если б он это умел! До сих пор не удавалось даже рака из-под коряги вытянуть. А рак ведь не уходил. Только, хватая его, пастушонок всегда пугался: рак двигал твердой клешней — глядишь, и ущипнет за палец. Но он все-таки решится! Выберется за раками спозаранку, пусть себе щиплют на здоровье, наловит их полное ведро. И когда всей семьей они съедят жареную утку, то станут лакомиться раками. А может, посчастливится ему поймать и скользкую форель, пеструю или с красноватыми точками.

Вид груды раков, которых вынимают из горшка, выламывают клешни и высасывают из них мясо, его заворожил. Домашние сыты, довольны, спокойно улыбаются — мама, сестры и отец. Сваренные раки им по вкусу. На столе — груда клешней, а в горшке раков еще вдосталь.

"Это все наш Янко", — слышит он, как хвалит его отец. "Раз у нас есть Янко, мы не помрем с голоду", — слышит он и одобрительные слова матери. Мальчик порадовался своим планам. От мысли, что он идет в деревню, на душе стало светло. Хорошо, что есть и деревня, и поток, в котором столько раков и рыбы. И все вокруг показалось ему хорошим. Хорош и лес,

хороши луга, скалы, небо, хороши и овцы, всякие звери и птицы, хороши и облака, самые разные по величине и форме. И дождь, что оттуда идет, тоже хороший, потому что после дождя хорошо растет трава, которая тоже хороша, ведь ею кормятся овцы, хороши и грибы, что в траве растут. А малинники и черничники еще лучше!

Словом, все, о чем он думал, представилось ему таким хорошим, что лучше и быть не может. И наконец, есть еще и Валаштянский холм, а на нем их шалаш, куда они по весне вернутся. А лучше всего быть бачей, им он обязательно станет, когда вырастет. В самом деле, разве не огромное счастье, что он может стать бачей?

И мама у него хорошая. Вечером, когда он будет засыпать в своей постели, а в комнате будут тихо позванивать часы с гирями, она будет поглаживать его по лицу — никак не нарадуется, что они вернулись, потому что ей было без него грустно. Хорошо и дома. Мама ведь так любит его, а он все про шалаш да про шалаш...

Ей было без него грустно. Все время она думала о нем.

"Теперь мы целую зиму будем вместе", — скажет он маме, чтобы отогнать печаль. А весной мы и маму возьмем с собой на пастьбу!

Его слегка огорчило, как это он не подумал о маме раньше.

Они вышли в луга, и уж осталось им подняться на Широкое, чтобы их глазам предстала деревня.

До вечера еще далеко, раздумывал он. Гляди, как высоко стоит на небе солнце! Еще сегодня схожу, пожалуй, за раками и поймаю хоть одного. Посмотрим, кто кого испугается! — грозился он.

И тут смутился. Вспомнил, как было в последний раз.

Тихая гладь реки. Он наклонился над ней. Руку по локоть сунул под корни старой вербы, в том месте, где в потоке кружит вода... Ничего не видит, только чувствует твердый панцирь рака. Боится схватить его и вытащить — кто знает, рак ли это, что живет в темноте под корнями деревьев! Все может быть... змея или, не дай бог, пиявка.

У подножия Широкого отара растянулась, они медленно шагали за ней. На том холме деревьев не было, порос он лишь редким кустарником. С другой его стороны уже были полоски полей. Когда они поднялись на самый верх, размечтавшийся мальчик увидел дым, редкий и серый, поднимающийся по ветру, как легкий туман. Он возносился к ясному небу от черных балок дотлевающих изб.

В глазах у мальчика еще был сон — знакомая картина деревни. Его сменило какое-то видение. Там, где должны были высту-

пать высокие щипцы крыш, была глухая пустота. Где избы, закрома, амбары, сараи, где колокольня, мельница, церквушка и их дом? Где вся деревня?

Мальчик недоумевающе посмотрел на отца — может быть, он каким-то непонятным образом перепутал дорогу? Куда они пришли?

Овцы нерешительно спускались вниз. Ноздри их трепетали. Бача, шатаясь и широко раздвинув руки, словно пытаясь как-то удержать равновесие, потащился за стадом.

Мальчик побежал вслед за ним.

И тут они понеслись оба одновременно, насколько позволял им крутой склон. Овцы с протяжным перезвоном вместе с собаками суматошно ринулись вниз.

С Долины подул легкий ветерок. Сеялся дым, словно его разгоняло звяканье овечьих колокольцев. Деревня выгорела дотла. Верно, как яркий факел полыхала целую ночь. И догорала днем, покуда что-то еще могло поддерживать страшный огонь, который немилосердно поглотил все.

Избы, хозяйственные строения, хлева, амбары, сеновалы, поленницы дров на зиму, прялки, колыбели... Все, что было из дерева, обратилось в пепел: кресты и фигурки святых, искусно вырезанные из липового дерева и пестро раскрашенные, все ткани из грубой или тонкой пряжи, белой как снег. Сгорели бесценные вышивки, полопались, рассыпались и распались изделия из обожженной глины — кувшины, миски, молочники, вазочки с полевыми цветами. Паника, которая там поднялась, рев скота, привязанного в стойлах и горевшего заживо, лай собак и стрекот автоматов, отчаянные крики женщин и детей — все это тоже словно уже сгорело.

Они прибежали к месту, где раньше стояла их изба. Сгорел и дощатый забор, и кое-какие деревья за Оградом. С яблонь, которые также были охвачены пламенем, опали все яблоки. Веял тихий ветерок, и равномерно оседал пепел. Ноги утопали в нем, как в песке, мягком и теплом.

Эти сероватые лепестки будто обволокли его мозг — все мысли бачи заполонило пожарище. Здесь обозначился край завалинки, а здесь скрученный, свернувшийся от жара и почерневший от копоти котел, тут скоба, торчащая из грифельно-черной, обуглившейся балки.

Мальчик крутился на месте, словно бы гадая, с какой же стороны возникнет их побеленная хата с покатой крышей, крутой, как высокогорная поляна, с маленькими оконцами, за которыми цветет герань, белая и розовая. Он все еще не мог поверить тому, что видели его от страха и удивления широко раскрытые глаза.

— Где мама? Где все? — выкрикнул он, поведя руками, и в отчаянии зарыдал. Он кричал так, будто вдруг ослеп.

Бача прижал ребенка к себе, склонив колени, опустился к нему. Поднял с земли яблоко. Из тех, о которых мальчик мечтал.

— Пожуй, пожуй яблочко... — впихивал он яблоко в рот сыну.

Послушный мальчик откусил от него, но сразу же выплюнул и снова ударился в плач. Крик его резал как бритва. Бача в отчаянии поднял его на руки, потряс, но тут же прижал к себе, к своей груди — все было напрасно.

На дороге, сбившись в кучки, блеяли овцы. Запах дыма вытеснил запах хлевов, которые они искали. В смятении бегали они то на запад, то на восток, то на север и юг, сталкивались на бегу с другими группками овец, которые тоже тщетно пытались разыскать свой хлев. Сухо, глухо тренькали на шее у них колокольчики. Из канавы всполошенно взлетел красный петух, закукарекал и, прихрамывая, скрылся где-то между остывшими развалинами. Если не считать стайки голубей с мельницы, непрерывно кружившихся в воздухе, это было единственное живое существо, которое бача нашел в деревне. Лицо его оцепенело, как потрескавшаяся скала. Он отступил от мальчика. Взметнул вверх бич, замахал, закрутил им над головой. Одновременно из глотки его вырвался придушенный крик, крик отчаянья, злобы и бунтарства!

— Аоаоээ... — неслось по Долине вместе со щелканьем бича. — Аоаоээ!!!

Он уже ничего не боялся. Давал понять, что он тут, в деревне? Призывал тех, кто еще оставался в живых, он, бача Ян, так долго проживший в одиночестве, а теперь крепко затуживший по людям?

Верно было лишь то, что на зов его никто не отозвался. Деревня онемела больше, чем старое кладбище. Там надписи на памятниках хоть что-то говорят, свидетельствуют о том, что кто-то был, что-то было. На этом пространстве осталось еще меньше. Тут было только неблагодарное присутствие гибели, которому словно бы ничто не предшествовало.

Умные и чуткие собаки отреагировали на повеление бича. Перестали выгребать из-под головешек обгоревшие кости. Принялись собирать разбредшуюся отару. Они гнали перепуганных овец прочь от пожарища, а бача потащил за ними и упирающегося мальчика, ноги которого будто бы вросли в черную, выжженную землю.

Они миновали голые закопченные стены мельницы, услышали стук праздно бегущего колеса. На гати у грязной воды, полной сажи и обгорелых кусков дерева, сидели утки.

Опять засвистел бич.

— Аоэаоэээ!!!

Стая в ужасе перелетела на противоположную сторону гати.

— Перестань! — резко тряхнул бача мальчика за плечо, увидев, что тот все еще плачет. — Прекрати! Перестань!

— Наверх! — заревел он на собак. — Наверх! Дьявол вас побери! На лаз[1].

И так захлопал бичом, что заложило уши. Повернул стадо и через чащобу, наискосок вверх, погнал его самой короткой дорогой. Они продирались через заросли кустарника и ельника, падали и вставали.

Вместе с ними сквозь стену жесткого и колючего ельника и сплошного кустарника продирались собаки и овцы.

Этот день будто бы никогда и не кончался. Солнце медленно клонилось к западу, светило сквозь белесую дымку, словно бы нарочно придуманное для этого неблагодарного мира.

Долго тащились они лесом по теснинам, по обрывам и горным лугам. Людей не видно было и следа... Только дикая природа окутывала их своим молчанием. Не попадалось ни тропинки; ни спиленного или срубленного дерева, ни сеновала, ни кормушки для зверя не встречали они на лугах, через которые местами проходили, что вселяло бы хоть какую-то надежду на встречу с человеком.

Всякий раз, когда они выбирались из леса, баче казалось, что недостает овцы. Он догадался, что они идут слишком быстро, и некоторые овцы отстают в лесной тишине. Если б у него так не гудело в ушах, если б не приливала к лицу кровь, если б не мальчик, который, не переставая, плакал, если б не сжатые кулаки и затуманенный взгляд, если б бача в состоянии был прислушиваться, то, верно, услыхал бы звон колокольчиков потерявшихся овец, их отчаянное блеянье.

Они поспешали все быстрее и быстрее. Только прочь отсюда. Прочь из этой тишины, где остался один пепел. Бача надеялся, что найдет на лазе людей. Надеялся, что найдет там жену с детьми. После того, что увидел, он забыл, что он бача. Он держал за руку сына и гнал овец так быстро, как только успевал мальчик. Когда преодолевали скалы, он нес его на руках, а на спусках сажал себе на спину. И лишь тогда передохнул, когда увидел лаз, когда разглядел первые избы.

Встретили их голосистым лаем собаки. Бросились наперерез, на бегу сцепились с собаками бачи, огромными, как телки. Грызлись, дрались, брызнула кровь. Он кинулся между ними, тупым концом валашки стал лупить по неподатливым собачьим башкам. Изрядно покусанные, они постепенно отступали. Уходили с громким воем, поджав хвосты. Была среди них и немецкая овчарка — шея у нее кровоточила, уши изодраны в клочья. Из

[1] Лаз — горное селение.

ближайших домов выбегали селяне и, пронзительно крича, загоняли во дворы взбесившихся псов, спешно сажали их на цепь.

Овцы заторопились к потоку. Встали вдоль берега длинным рядом и жадно пили.

Между тем стали собираться и настороженные жители из окрестных домов. Были это большей частью женщины и старики и полным-полно детей. Многие были знакомы баче. Он пожал руку старику в длинном овчинном кожухе. Это был дед Матей, который приветствовал бачу дрожащим голосом, голосом глубокой старости.

— Я привел стадо, — сказал бача так громко, чтобы слышали все, даже те, что стояли у домов, — не знаете, что случилось с нашими людьми?

Женщины опустили головы, некоторые прикладывали к глазам платки. Они столпились вокруг бачи, рассказывали, перебивая друг друга, причитали, заламывали руки.

— Несчастье!

— Страшное несчастье!

Обнимали мальчика, гладили его по голове. Одна прибежала с огромным ломтем ржаного хлеба, намазанным медом.

Бача оперся о валашку. Голова и плечи у него поникли. Тупо глядел в землю.

— Видели мы зарево до половины неба, бача, — сокрушенно проговорил дед Матей. — Побежали туда двое наших, родом оттуда. Еще не воротились.

Он показал на мальчика, недвижно стоявшего с куском хлеба в руке. Мед стекал у него по пальцам и капал на землю.

— Это твой парнишка? — справился он у бачи. Тот молча кивнул.

Мед стекал уже с ломтя густой струйкой. Мальчик поднял глаза от земли и слушал, приоткрыв рот. Глядел на старика.

— Поднимемся со стадом выше, на Козаре. Там больше места, — сказал бача. — Поделим овец между вашими людьми. Пусть придут все.

Он снова обернулся к отаре. Опять засвистел над головой его бич, который он словно бы уже и не собирался выпускать из рук.

Заревел на собак:

— Гоните наверх, сукины сыны! Гони! Ты, чертово отродье, гром тебя разрази!

Бич громко хлопал, щелкал. Собаки бросились к овцам, оттеснили их от потока и погнали по каменистой дороге наверх.

— На Козаре! — позвал бача и людей, которые уступали им дорогу.

Это было огромное, со всех сторон огороженное пространство. Там обычно собиралось стадо перед выгоном на летние пастбища. Пришли сюда все сельчане, бывшие в тот день на ла-

зе. Посредине поляны торчал пень старой липы. Бача встал на него, снял шляпу. Тихий ветерок шевелил длинные с проседью волосы, которые то и дело падали и на лицо его. Открыл тетрадь с фамилиями владельцев. Мальчик тоже встал на пень — он был достаточно широк и для двоих. Из разбросанных повсюду домишек собрались здесь люди. Они пришли взять овец. По дороге, опираясь на длинную сучковатую палку, неторопливо шагал дед Матей. Присел на край пня, оглядел столпившихся людей, вынул трубку, о штанину чиркнул спичку, и вот из трубки заклубился дым. Если б не курил, могло показаться, что он тихо дремлет, погружаясь в сон вечности.

Женщины — все они были измучены работой и заботами — не сводили глаз с бачи. Ждали терпеливо и покорно. Были среди них и совсем молодые, с красивыми лицами и пышной грудью, некоторые брюхатые, на сносях. И их детям кто-то когда-нибудь расскажет об этом дне? — спросил себя бача. Может быть, они будут крутить головами и не поверят, как некогда сам Ян не поверил старому Цеппелину. Может, еще и посмеются, как смеялись дети над тем бедолагою. Ну и что? Хорошо, если посмеются.

— Начнем, — сказал он тихо.

— Послушайте, люди, — отозвался дед Матей и с трудом поднялся. — Здесь, я думаю, собрались все. Есть тут хотя бы по одному человеку от каждого дома?

Горянки огляделись.

— Есть от каждого.

— Бача Ян разделит между вами стадо. Овцы мечены. Бача Ян будет называть имена хозяев. Тогда пусть кто-нибудь из вас подойдет сюда и возьмет овец. Отбирать будете вы, — указал он на мальчишек постарше. Они были в пакляных рубахах и залатанных штанах, линялых и помятых шляпах с перьями сойки на тульях.

— Яно, Мишо, Вило, ступайте к овцам. Бача Ян укажет вам, что делать. Бача Ян, начинай!

Взгляд бачи был устремлен далеко поверх голов присутствующих женщин, детей и стариков, туда, на запад, где в кровавом закате солнца кончался день. День, который лучше бы и не приходил.

Он вглядывался попеременно в лица. Не было между ними никого из людей, чьих овец он пас. Многие лица, однако, чем-то были похожи, напоминали тех, кому он должен был овец передать. Поэтому он начал так, как должен был начать. Поклонился толпе и раскрыл тетрадь.

— Арбет Алойз, пять овец. Метка — крестик.

Теплый летний вечер благоухал сеном. Воздух был густой, насыщенный ароматами всевозможных трав. За дорогой шумел быстрый горный поток. Мальчик покорно наблюдал, как отец отдает парням Лойзкиных овец, как их выводят из отары и

гонят на дорогу. Ноги у него болели, и он ничего не понимал.

— Бучек Франтишек, десять овец. Метка — два крестика. — Валашкой бача указал на отару. — Матка возле того бревна. Посмотрите, они ли это, вон белеют там, справа.

Парни запыхались, умаялись с овцами. Еще несколько ребят стали помогать им.

— Быстры Штефан, восемь овец. Метка — "ДС".

— Чанига Павел!

— Чосек Ян!

— Деметр Якуб!

Женщины выходили из толпы и забирали овец. Около каждой толпились дети, бежали рядом, помогали загонять. Выгон на Козарах пустел, поредела и толпа. Наконец остались только овцы бачи Яна, пастушонок и дед Матей.

— Вот мы и закончили, бача Ян.

— Закончили.

Он передал тетрадь старику. Сошел с пня. Ощутил землю под ногами, твердую, как то дерево, на котором он только что стоял. Глаза его увлажнились. Овцы бачи сбились в кучку, словно в предчувствии бури или хищного зверя. Снова бача взглянул на запад, туда, где еще день назад стояла деревня.

Мальчик сел на пень. Налитые тяжестью веки сами собой закрывались. Когда он с огромным усилием открыл глаза, неподвижная фигура отца, стоящего неподалеку со шляпой в руке, расплылась. Временами ему казалось, что Козаре скользят около него, стебли трав ласкают и гладят его по лицу и он кладет голову на подушку. Мальчик сидел на пне, согнувшись и уткнув голову в ладони.

В конце лета в горах дневные краски быстро тают. Когда кончается срок, отпущенный дню, он сразу же скачком переходит в ночь.

За то короткое время, что мальчик дремал, ему приснился сон. Он лежал дома в перинах, и было солнечное утро, которому он так радовался, потому что, съев ломоть хлеба, густо намазанный маслом, и выпив чашку сладкого кофе с молоком, пойдет к потоку ловить раков. Он уже слышал тихий шум голубой воды. В постели лежалось хорошо, мягко. Мать, склонившись над ним, будила его.

И тут ему снова пришлось вернуться к действительности: отец тряс его, будил. Он поднялся с пня, совсем разбитый. Нет и дома, и матери нет.

С трудом поднялся. Измученный, несчастный, шатаясь, брел он рядом со своим сгорбленным отцом, который по приходе из сожженной деревни держался с ним как-то отчужденно.

Он слышал, как отец говорил ему:

— Эти овечки теперь твои. Ты должен хорошо о них забо-

титься, чтобы было кого пасти весной. С толком за ними ухаживай и слушайся во всем деда Матея.

Что он такое говорит? Почему он такое говорит? — спрашивал себя мальчик сквозь мрак усталости. Голова у него была тяжелая, и потому слова, которые он слышал вполуха, не казались ему такими важными. Они пролетали мимо, и он не улавливал их подлинный смысл. Хмыкал, кивал. Голова сама собой опускалась и падала на грудь, и думал он только о сне.

Наконец они остановились у какой-то избы; и уже через минуту свет керосиновой лампы вместо того, чтобы озарить, погрузил все в темноту — мальчик спал.

Когда его уложили и накрыли периной, бача расстегнул свой широкий пояс. Сложил его у постели, рядом положил валашку. Долго смотрел на ребенка, потом тихо вышел из комнаты, прикрыв за собою дверь. На пороге лежала сумка сына. Он поднял ее, вошел в кухню, сел возле деда Матея на лавку. Вытащив из сумки свирель, предмет восхищения мальчика, задумчиво разглядывал ее при свете керосиновой лампы.

— Свирель? — тихо спросил дед.

— Парнишкина. Скажи... ты умеешь... еще... на ней играть?

Дед без слов протянул руку, и, как только приложил свирель к губам, сразу стало ясно, что когда-то он умел хорошо не ней играть.

Бача горько усмехнулся.

— Научи его, — сказал он. — Я-то думал, что сам его выучу. Увидишь, как он обрадуется!

— На чердаке у меня есть еще и волынка. Завтра же пошлю мальца за ней. Когда вернешься, будет из него добрый музыкант. Научу его играть и на волынке.

— Научи. Всему его обучи. Оставил я ему пояс и валашку. Когда вырастет, может, станет бачей.

В волнении теребя сумку, бача нащупал в ней черпак. Он вытащил черпак, подержал его на ладони, разглядывая вырезанную на ручке фигурку Яношика, дерзко пляшущего под виселицей, и волынщика, который ему наигрывает, и сунул его за пазуху: будет напоминать ему сына. Потом поднялся.

— Может, хотя бы переночуешь, — сказал ему старик, — небось не спал.

— Нет, двинусь сразу. Теперь. Высплюсь в горах. Утром передай ему, что я с ним уже простился. Что я с ним долго прощался, но он был сонный и потому ничего не помнит. Отдай ему пояс и валашку. Скажи, что я много говорил и все ему сказал, только он все во сне позабыл. Так что потолкуй с ним вместо меня.

Они посмотрели друг другу в глаза — и долго так глядели. Старик вдруг громко вздохнул.

— Будет ему грустно. Целое лето вы были вместе.

— Да, целое лето. Дай-ка я напьюсь воды.

— Я принесу. Вода свежая. Набрал ее себе к обеду.

— Колодец-то далеко?

— Нет, близко. И вода в нем хорошая.

— Спасибо тебе. Одолела меня жажда. Словно целый день ничего не пил.

Он вышел в сени, наклонился к ведру, зачерпнул из него. Старик куда-то отлучился и вернулся с флягой.

— Хлебни из нее. Может, погасит твою жажду легче, чем целое ведро.

— Нет, оставь, тебе самому еще она пригодится, — отстранил бача предложенную флягу, и тут ему сразу что-то припомнилось. Стало казаться, что однажды все это он уже пережил, что все это уже раз с ним случалось. Только где? Когда это было? У него было странное чувство, что и жизнь свою он однажды уже прожил. Неподвижно глядел на старика, в его морщинистое лицо, в его потухшие глаза, но так ничего и не вспомнил. Еще раз вернулся в комнату, где спал пастушонок. Наклонился, поцеловал его в лоб, погладил по голове. Мальчик крепко спал.

Когда вытащил из-за пазухи цветок папоротника и вложил ему в поясок, то порадовался, что не забыл. Это доброе предзнаменование, подумал он, и ему немного полегчало. Напоследок взглянул на пастушонка и тихо, на цыпочках, вышел.

Старик подал ему мешок.

— Там хлеб, сало и колбаса. И передай привет ребятам в горах. Знаешь, пожалуй, это лучше, что ты идешь сразу. Утром тяжело было бы разлучаться с ним.

Старик еще что-то говорил, но бача уже не слышал. Да, нужно идти, гудело в его мозгу пламя и выводило шипящую и дрожащую мелодию, то самое пламя, которое поглотило его деревню.

— Хорошо, я возьму этот мешок. Помоги взвалить мне его на плечо. И еще разок напьюсь.

— Что ж, напейся, ведро полнехонько...

Потом, нажав на медную ручку двери, бача вышел во двор при слабом свете месяца и звезд.

Старик вышел следом и глядел на его черную удаляющуюся фигуру, от которой вскоре была видна одна только тень, а затем и ее поглотила тьма. Старика зазнобило от холода.

Рядом, сотрясаясь в страшном ветре, шумел лес.

Утром под лавкой старик нашел большое яблоко, надкусанное и все перепачканное сажей и глиной. Он хотел порадовать мальчика и потому помыл яблоко, принес его и осторожно положил на столик у его постели.

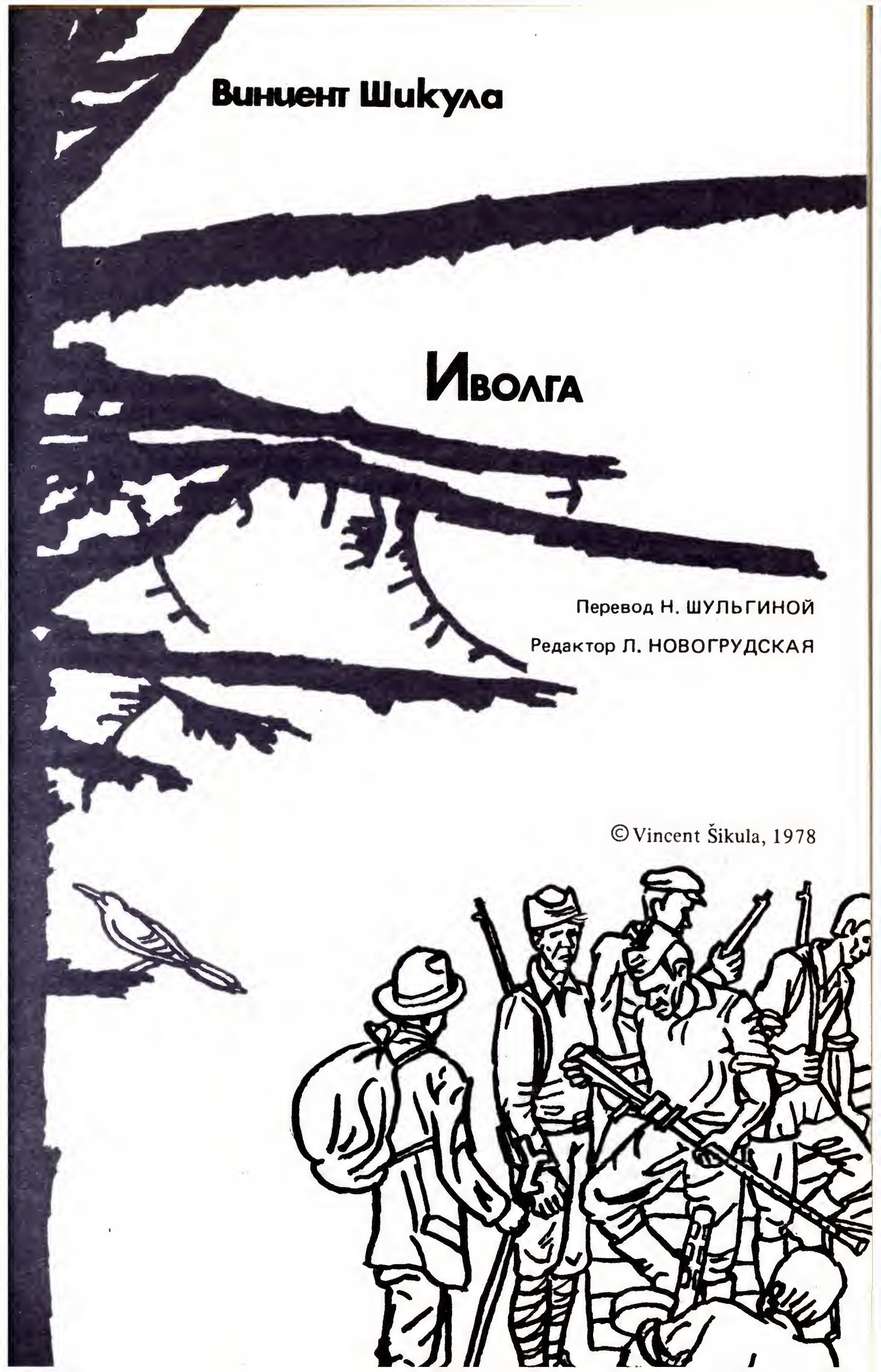
Потом развел огонь, вскипятил молоко, накормил скотину

и собак. На улице сеялся мелкий дождик, осенний ветер раскачивал кроны деревьев и бухал в окно.

Близился полдень, а мальчик все спал. Когда он наконец открыл глаза, то увидел вчерашнее яблоко. При виде желто-восковой омертвелой кожуры лицо мальчика протестующе сморщилось. Он быстро закрыл глаза, но заснуть уже не смог.

Яблоко стояло перед его глазами.


Vincent Šikula
VLHA



Винцент Шикула

Иволга

Перевод Н. ШУЛЬГИНОЙ

Редактор Л. НОВОГРУДСКАЯ

1

Про Филоменку все в деревне думали, что она никогда не выйдет замуж. И на вид вроде неказиста, и во всякой работе не так расторопна, как другие, да и смекалки маловато. Кто только не вышучивал ее, и мать, бывало, схватывалась со всей деревней, заступаясь за дочку́. А то, желая утешить ее, говорила:

— Ты, Филка, не робей! Люди злые, да ты не слушай их! Пускай себе судачат, коли охота, тебя от этого не убудет. Про замужество думать тебе рано, молодая небось, а настанет срок, в девках и ты не останешься. Мы с отцом в добром здравии, глядишь, еще долго протянем, ну а нет, ежели с нами что станется, тебе и тогда бояться нечего, два брата у тебя. Густо — старшой, отдадим его в ученье, а как в люди выйдет, за него и держись, он всегда совет подаст, а при надобности о тебе и позаботится.

Отец отвел старшого в Вену и отдал его в ученики к портняжных дел мастеру. И чего он там только не натерпелся, бедный Густо! Город чужой, люди чужие, поначалу и словом не с кем было перемолвиться. В те поры мастера и подмастерья учеников совсем не жаловали. Мастер знай отвешивал ученику заушины и затрещины за самую малую провинность, подмастерья насмешничали над ним, а иной невежа, если мастера поблизости не было, и на хороший пинок не скупился. Не зря говаривали: ученье — что мученье. И правда, такой бедолага-недотепа, неоперившийся простачок, который ничего толком не знал — да и откуда мог знать! — был истинным мучеником. Многие не выдерживали, уходили от мастера, прохвоста и обидчика, и с плачем возвращались домой: "Татенька мой, маменька моя, зачем вы меня туда отдали, зачем отдали? Не пойду я туда, не пойду больше, я дома хочу остаться, дома хочу остаться!"

А Густинко поначалу был до того мелконький! Что твой отросточек, что твой прутик! Воробышек, кроха, форменный мальчик с пальчик; вот уж и правда бедолага, да еще один-одинешенек. В самом деле один как перст, как пальчик на рукавичке!

Сперва-то он и не ведал, какая беда приключилась. Помер отец. Хотели из дому ему о том написать, да никто не знал адреса. Все только раскидывали умом, ходили, причитали, причи-

тали и над Густинко: "Хлопчик наш разнесчастный, где ты, где тебя отец оставил, у какого мастера, на кого ты учишься, куда тебе написать? Отчего ж не пошел ты сразу на почту и не послал хотя бы открытку, а на ней адресок? Бедный ты бедный, и разогорчить тебя неможно! А, глядишь, оно и к лучшему, по крайности для тебя лучше, потому как ты там еще не успел обтерпеться. Зря бы там только печалился, горемычный ты наш, вот бы уж печалился: из Вены-то домой — не ближний свет, а у тебя на поезд и денег, почитай, никаких. На похороны все равно не поспел бы. Уж лучше залезть тебе в уголок и попросить мастера отпустить тебе этот грех да не гонять день-другой по улицам этого большого города, который для тебя что лес темный; а не попроси ты мастера, и не прояви он милосердия, пришлось бы тебе рюмзать на венских улицах — и одни б чужие люди тебя жалели, а то и вовсе не жалели. Ох и наплачешься еще, сердечко ты наше!"

2

Кто мог думать-гадать, что такое приключится? Отец держал путь из Вены домой, доехал до самой Братиславы, а там решил идти далее пешком. Видать, с деньгами было не богато. А хоть и были какие, может, прикинул: "Они мне и на другое сгодятся!" Раньше-то люди ног своих не жалели. Не пугались самой неблизкой дороги. В поезд человек садился, когда и впрямь предстояло ехать за тридевять земель. А кое-кто и тогда пускался на хитрость: покупал билет на одну-две остановки, да, сделав вид, что зазевался, проезжал еще одну зайцем, потом несколько километров топал пешим порядком, а как заболят ноги, снова в поезд, опять же на две остановки, а к ним еще одну в придачу: "Пан кондуктор, зазевался я что-то, не успел выйти, вот обида, теперь придется назад пешком топать". Проводник, бывало, такого пассажира отругает, а иной раз и чуток пожалеет. А тот, сойдя с поезда, и не думал переть назад! Опять пешочком, вперед да вперед! Кто хотел, доходил аж до края света и только там говорил себе: "А теперь пойду-ка я назад!"

Да и он, Филоменкин и Густинков отец, решил так же вот добираться из Вены. В Раче, прежде это село именовалось Рачишдорф, стоял у дороги еще до недавней поры один славный трактир, "Пекло" назывался, и стоял он там сыздавна. Трактирщик, а трактирщики наверняка там менялись, ведь у трактирщика тоже всего лишь обыкновенные копытца, и однажды — как всем другим — они перестают служить и ему, а одному ли они отслужили или десятерым, не про то сейчас речь, главное, что там всегда трактирщик ловчил, сбивая копыта, обслуживал и продавал, бочковое пиво разливал и навынос давал; и чем бы он ни торго-

вал и каким бы никудышным он ни был, пускай бы даже и впрямь на ногах у него были как у черта копыта, тары-бары, и людям бы он в стаканы бурды нацеживал, да в нее еще и яду подмешивал, все равно он всегда имел хороший прибыток, немалую деньгу зашибал. Потому что место это было будто создано для трактира, лучшего и сыскать трудно. Едва ли не каждый, кто шел этой дорогой из Братиславы, заворачивал туда, и даже тогда, когда пусто было в кармане. Путника ведь иной раз утешит и стакан воды, а подчас, скажем зимой, человек рад-радешенек, если есть ему где просто обогреться.

Завернул туда и наш горемыка, хотел, должно быть, на оставшуюся дорогу малость подкрепиться. Да подкрепился, видать, он больше положенного. А может, и нет, разве тут угадаешь? Теперь-то уж что угодно можно о нем говорить. Пожалуй, наместо выпивки надо было ему лучше поужинать или купить себе хотя бы рожок. Однако мужчина всегда есть мужчина, он непременно подумает: "А на кой он, рожок? Налей-ка еще стопочку". Пропустил он несколько стопочек, сказывали, будто и рожок купил, но кто знает? Видать, надо было купить два рожка. В путь якобы лишь тогда наладился, когда трактирщик закрывать стал. Но прежде чем уйти, опять сказал: "Налей-ка еще одну, впереди дорога долгая!"

Стояла осень. Однако ночью уже падали на землю заморозки. А тогда еще, словно по ошибке иль понарошку, ни с того ни с сего снежок пошел и ветерок задул, запуржило малость. А что было дальше, теперь уже никому не ведомо. Станет и того, что горемыка не осилил дороги! Нашли его на другой день поутру между Рачей и Юром запорошенного мелким осенним снежком.

3

А Густо узнал про это только через два месяца из Филоменкиного письма: "...Густинко, сдохла у нас коза, но у нас еще большее, самое большое несчастье: нету у нас уже татеньки, наш татенька из Вены домой не воротился..."Филоменкина мать, подобно другим матерям, хотя с несчастьем забот у нее и прибавилось, не потеряла головы. Днем не покладая рук работала, но по вечерам, правда, если сразу же после работы не одолевала ее смертельная усталость, а чаще по воскресеньям, когда выпадало больше свободного времени, подбадривала детей:

— Не робейте, мои милые! Хотя живется нам и не очень легко — не пропадем! Густо вскорости выучится, воротится из Вены, какую-нибудь работу подыщет, станет где поблизости подмастерничать, вот увидите, сразу веселей заживем.

Все время они только о Густо и говорили. Был он мало-

рослый, но в общем-то стройный, пригожий паренек. Ох и наговорились о нем!

Однако не очень-то Густо им и помог. Едва кончил ученье, началась война. Пан император и о нем вспомнил. Сперва призвали Густо в казарму, где его муштровали, гоняли, орали на него, а потом послали в Тарнополь[1], в Черногорию, Италию... Два раза из Италии написал — сперва письмо, потом открытку, а дальше вообще ни словечка. Наверняка где-нибудь в чужой стороне товарищи ему могилку выкопали. Может, кто-нибудь на его могиле и какое деревце или хотя бы кустик посадил.

Знаете эту песенку про Италию да про зеленое дерево?

...макушкой клонится, макушкой клонится,
макушкой клонится к родной околице...

Иному эти слова, может, о многом и не говорят. Но Филоменке — говорят. И ее брату. Часто эту песню певали. И мать с ними. Хорошая песня, правда?

4

Филоменка любила петь. И всегда своим пением бывала довольна. Но когда иной раз хотела попеть с другими девчатами, те обычно ее одергивали: "Ты лучше молчи, только песню портишь!"

Она дома пожаловалась. Мать опять в хлопотах. Подстерегла раз стайку девчат, попеняла им:

— Девчата, вы чего не позволяете нашей Филке петь с вами?

— Кто ей не позволяет? Кто вам сказал? Мы же совсем редко поем. И она петь не умеет.

— Уж и не умеет! Нешто я ее дома не слышу?

— А вот не умеет. Дома-то, может, она по-другому поет. А у нас она всегда все очень растягивает.

— Так и вы тяните! Или не трожьте ее, пускай к вам привыкает.

— Пускай привыкает! Только почему именно к нам? Пускай где еще привыкает! Мы хотим красиво петь.

— А она нет, что ли? Ведь и она красиво поет, еще как красиво! И со мной тоже. Дома-то она всякий час поет.

— Дома может. Где хочет может. И с вами может. Раз говорите, что у нее такой красивый голос, вот вместе и пойте!

5

Дома они часто пели. И за работой. Со временем и девушки ума набрались, перестали Филку одергивать. Должно быть, слова, что обронила в ее защиту мать, все же немного подейство-

[1]Ныне Тернополь (УССР).

вали. А позже они и сами поняли, что Филоменкина мать была права. Филоменка и впрямь хорошо пела. Уж потом они частенько ее к себе зазывали:

— Филка, поди с нами попой!

Но, пожалуй, так еще и потому было, что девчата постарше одна за другой повыходили замуж и Филоменка начала дружить с младшими.

Но и своих старших подружек Филоменка не хотела терять. Она навещала их, порой даже не знала, к которой раньше зайти. Всякий раз на улице извинялась:

— Понимаешь, все эти дни недосуг было, но завтра или послезавтра обязательно приду. Если у тебя много грязного скопилось — и ты не поспеваешь, не бойся, я выстираю. И после маленького. Или хотя бы за ним присмотрю.

А иные, особенно те, что поначалу многого от замужества ждали, а потом уверились, что ничего хорошего оно им не принесло, по секрету делились с ней своими печалями.

— Филка, ты себе и представить не можешь, до чего некоторые мужики гадкие! Лежу иной раз вечером, а придет муж домой, так я, бывает, со страху дрожмя дрожу. От такого горя горького кровать подо мной и та ходуном ходит. Только ты про это, ради бога, никому ни слова!

— Не отчаивайся, милая! — Фила пытается утешить подружку. — И другим женкам не легче. Привыкнешь к мужу.

— Не привыкну, Филка. К мужу я не привыкну. А ты радуйся, Филка, что нету на тебя такой напасти. Такое счастье-злосчастье пускай уж лучше стороной тебя обойдет!

6

Потом захворала мать и, пока лежала, то же самое ей говаривала:

— Филка, мужики — дрянной народ! Ты уж лучше и не помышляй о замужестве. Муж тебя, может, только и бил бы, всю жизнь ты бы проплакала. Надежда была у нас на нашего Густинко, а видишь, чем дело кончилось. Где-нибудь в Италии у него над могилой деревцо либо кустик растет. Но ты не горюй! Я про тебя не забыла. Оставлю тебе эту горницу, хоть оно и не бог весть что, да тебе хватит. Добавлю еще и Коруны. Пускай в Корунах сплошняком камни, но земля там не самая худшая. Йожо получит Грефты, хочет иль нет, а уж придется ему Грефтами удовольствоваться. Будешь, Филка, разумной и прилежной, будешь наши Коруны каждый год старательно обрабатывать, доглядывать, обихаживать, бедовать тебе не придется, не помрешь с голоду, а то, может, с Корунок и наживешь чего.

7

После материной смерти, да и после Йожиной свадьбы — так как оба события почти что совпали, и печаль перемешалась у них с радостью и весельем, — Филка вдоволь наплакалась; обливалась слезами неделю, может, две, а потом успокоилась; сказала себе: поплакала, и будет.

— Разве мало, что ли, я слез пролила? — оправдывалась она перед людьми. — Не то еще мать в могиле подумает, что я тут без нее вконец растерялась. Мне-то уж и плакать не хочется, плач меня совсем уморил. Гляньте, как ярко светит солнышко!

Выбелила она горницу, а потом взялась обихаживать свой виноград, и, ей-богу, нельзя сказать, что ходила за ним хуже других людей.

Однажды, когда солнышко снова ярко светило и она пропалывала виноградник, а точней, обламывала пасынки, ну и там-сям кой-чего подвязывала, услыхала она, как поет какой-то птах. Хорошо пел! Словно с ней заговаривал: "Тидлиалиа! Фидлиалиа-а!" Что эти тидли-фидли должны означать? Что за птах такой? Почему не поет он где-нибудь в другом месте? Или, может, у него гнездо тут поблизости?

Филоменка попробовала переложить его пенье на человечью речь, и ей показалось, что птах и вправду для нее поет, для нее наигрывает, с ней заговаривает: "Тидлиалиа, тидлиалиа! Фидлиа, Фила-а!"

Не иначе как с ней заговаривает. Она прислушалась. А птах никак не отстает от нее: "Фидлиалиа! Это ты, Фила-а?"

Фила рассмеялась:

— Фидлиалиа! Это я, Фила! Экой негодник, тебе чего от меня надобно?

А птах знай свое: "Фидлиалиа! Тидлиалиа! Фидлиалиа!"

Виноградник был о восьми рядах, все они взбегали на угор, подступая к самому лесу. Филоменка шла по одному из них, останавливалась у каждого куста и старательно опалывала его, кое-где отламывала и завиток — тот самый усик, повойный отросточек, который иной раз, как очёчки, и детишки любят надевать себе на нос и смотреть в них, а то даже жевать, потому что они приятно кисловатого вкуса; кое-где, если требовалось, она и подвязывала что-то, так как взяла с собой бабку соломы, которую перед этим помочила в ручьевой воде и босыми ногами как следует истоптала, чтобы солома стала достаточно волглой, гибкой и мягкой, чтобы ловчее ею было подвязывать; по рядочку подошла Фила с бабкой соломы к самому лесу, а когда тем часом приспичило ей облегчиться, забежала под кусток, и вдруг этот птах залился прямо у нее над головой: "Фидлиалиа!"

Ах ты проказник! Как же ты меня напугал! Никак подстере-

гал меня! Где ты? Покажись! Ой, да ведь это иволга! Иволги нечего бояться, иволга-то женского племени.

Иволга словно бы хотела ее заманить. Нарочно летала низехонько над землей, трепеща крыльями, или парила в воздухе и взмывала, но всякий раз с передышками, будто как следует летать еще не умела.

Вот бы поймать ее! Фила побежала за ней и вдруг чуть не налетела на какого-то дяденьку, что в лесу грибы собирал. Чужанин какой-то. На пана не походил. А и походил бы, паны не ходят по грибы. Это теперь все по-другому: иные господа, что в детстве, пока господами не стали, ходили по грибы, по чернику, малину да по дрова, еще и нынче норовят удрать со службы — в лес их по-прежнему тянет. А другие, как бы прежде ни жили, держатся за свою службу, хотя и брюзжат на нее; привыкли сызмала спину гнуть, да и до денег жадны. Попробуйте им втолковать, что мы все теперь господа! Каждый нынешний господин хочет со всеми остальными, даже с самыми большими, господами сравняться — да ведь одними грибами в большие господа не выбьешься! Нынче это уж только развлечение, но когда-то на такое развлечение находилось время лишь у самых маленьких господ. Кто хочет выйти в большие господа, должен уметь той или иной страстишкой и пожертвовать.

Ну а этот господин, скорей, господинчик — был-то он такой недоросток, отросточек, хотя и в летах, и выглядел таким неказистым, словно как бы по ошибке вытянулся из какого-нибудь жалкого корня, — сам-то себе, должно быть, казался семи пядей во лбу, и глазенки у него так и сверкали. Не смущало его, что изо рта у него тоже посверкивало — до того редки были зубы. Он осклабился весело и сказал:

— Ей-ей, нынче мне повезло!

Фила слегка испугалась. А скорее, сконфузилась, что неслась как полоумная. Еще вообразит, чего доброго, что она помутилась в рассудке. Уж лучше поскорее убраться! Но чужак ее удержал:

— Полегче, сударушка! Куда так торопко? Вы уж поосторожней, как бы часом не споткнуться. На пташку-то не заглядывайтесь, она все равно от вас уже упорхнула. Не знаете, где бы я мог водички напиться?

С минуту Фила стояла в растерянности. Сперва даже толком не понимала, о чем он спрашивает. Но скоро опомнилась.

— Там внизу ручей, — сказала с улыбкой. — И родник тоже. Два родника. Да и у меня есть в бутылке, только, должно, уже теплая.

— И теплая сойдет, — поймал он ее на слове. — Коли бутылка имеется, так лучше из бутылки.

Звучало это довольно настырно. Не след было вообще говорить ему про бутылку.

— Гляньте, до чего грибы хороши! — Он показывал ей полнехоньку корзинку грибов и не переставал скалиться. — Такую уйму грибов я уж давно не набирал.

Она похвалила грибы, а потом — поскольку осторожность подсказывала ей, что негоже оставаться с чужим мужчиной в лесу и пускаться с ним в долгие разговоры, — поторопила его:

— Если хотите, пойдемте! Тут ведь недалече у меня виноградник, не могу я долго баклушничать.

По дороге ни с того ни с сего он перешел с ней на "ты". Сперва она даже подумала, что это по ошибке. Она-то, однако, ни разу так не ошиблась. Он даже упрекнул ее за это:

— Ты чего выкаешь? Я же самый обыкновенный Яно. Хотя и живу в городе, там каждый меня только по имени величает. Яно, и все тут. А ты вроде и руки подать мне не хочешь? Тебя-то как звать?

— Фила. — Она неохотно протянула руку, но тем сильней он пожал ее. — Если хотите, можете мне "ты" говорить, эка важность. Ну а я с чужими людьми так не могу.

— Ладно уж, зачем так сурово! Ты никак на меня осерчала?

— Не осерчала, ведь не за что. Все равно сейчас пойдете своей дорожкой. Напьетесь и пойдете, что мне до вас.

— Похоже, тебе воды жалко.

— Ну уж и жалко! Я ж вам ее еще и не дала. Но сказываю: та, что в бутылке под кустом, теплая. Там внизу, особливо в роднике, похолодней будет.

— А мне теплая еще лучше. Вода как вода! По крайней мере горло не остужу. Напьюсь из бутылки. А после — после, глядишь, угощусь и той, постуденей.

Тем временем они пришли на виноградник. Фила вытащила из-под куста бутылку, сначала сама ее пощупала, потом Яно. Он напился и сказал:

— Ты права была, и впрямь теплая. — Однако все равно выпил почти половину. — Но хороша, — сказал он, обтирая губы и протягивая бутылку Филе. — Думал, винцом разживусь. Винцо бы куда лучше. А все же освежился, освежился малость.

— Я только воду пью, — улыбнулась Фила. — Дома у меня еще найдется литр-другой вина, только в малом бочонке. Жду, когда покупатель появится. До тех пор не хочу его открывать.

— Жаль! А вообще-то дельно поступаешь! Винцо — те же деньги. Хотя за такие-то грибы, глянь, тут одни боровики. А нельзя ли это винцо в бочонок поменьше перелить?

— И не подумаю. Мало у меня дел, что ли? Не бежать же домой за вином? Захочу грибов, так и сама насобираю.

— И то правда. Только таких хороших не найдешь. Послушай, и это ты все одна? Одна тут работаешь?

— Да я просто немного пропалываю. А кой-где и подвязываю. Разве это работа? А вы уж ступайте! Там внизу вода лучше,

ядреней и холодней, гораздо холодней и лучше!

Да не тут-то было! Яно отложил корзинку, потом еще с минуту трещал, нес всякую околесицу, но в конце концов, сморенный солнцем, да и, верно, собственной болтовней, повалился на стежку промеж виноградных кустов и запыхтел:

— Знаешь что, Филка? Я тут малость вздремну. Нынче я уж очень рано поднялся.

Филе это не понравилось.

— Вот уж ни к чему! И что это втемяшилось вам именно здесь ложиться? Тут и солнце припекать будет. Где-нибудь в другом месте, вон там внизу у ручья или еще где, в холодке вам бы лучше спалось.

— Работай себе спокойно! За меня не бойся, мне солнце не во вред. Подремлю маленько и пойду дальше.

Она злилась на него. Ну что с ним сделаешь, как его прогонишь? Вот и расплачивайся теперь, нечего было затевать тары-бары с таким чудаком-проходимцем! Однако бездельничать из-за него она не собирается!

Фила снова взялась за работу. Шла себе ровно по рядочку и у каждого-каждонького куста останавливалась, то и дело поглядывала на тропинку и потихоньку ворчала:

— Экой дурень, принесла же тебя нелегкая! Но уж коль охота, пекись на солнце!

А из лесу что ни минута отзывалась иволга: "Фидлиолио! Тидлиалиа! Тидлиоалиолиалиа!"

— И ты еще тут дразниться! — озлилась Фила и на иволгу. — Заткнись и проваливай отсюда, чтоб ты подавилась гадкой гусеницей или червяком, чтоб тебя разорвало!

8

Но через часок Яно пробудился. Если спал на самом деле. А то, может, просто притворялся. Но на солнышке человек легко забывается сном. Жарынь человека усыпляет, но она же и будит его.

Едва Яно продрал глаза, как тут же снова стал докучать:

— Филка, ты не серчай, но я уж с утра есть хочу. Нет ли чего пожевать?

Если у Филы тем часом и унялся немного гнев, тут она снова рассердилась. Покраснела даже со злости и едва не прошипела: "Ух, бесстыжие твои глаза!"

Овладела собой. Удрученно посмотрела на Яно и спросила:

— Чего вам вообще-то надо? Скажите, пожалуйста, докуда вы меня тут донимать собираетесь? Звала я вас сюда, что ли? Такого настырного человека я еще сроду не видела. Если хотите, там в сумке у меня немного еды, потому что я сюда на весь

день ладилась. Только я, пожалуй, тут долго не выдержу. Вон там под кустом рядом с вами сумка, возьмите из нее все и ступайте! С меня уже хватит, видеть вас не хочу! Будто нарочно дразнить пришли! Возьмите все и ступайте, дорогой и поедите! А не уйдете вы, я уйду, потому что уже по горло сыта вами!

Яно с минуту глядел на Филу молча, как бы удивленно, не зная, что и сказать. Кинул взгляд и на сумку, но не дотронулся до нее. Теперь уже он обиделся. Встать или нет? Поколебался немного. Наконец-таки встал, поднял свою корзину, но тут же снова поставил ее на землю. Пускай сперва и Фила кое-что выслушает, ей-богу, он ей такие речи не спустит!

Он сделал шаг-другой, невольно вступил в межрядье, где Фила стояла, и с минуту пристально глядел на нее, цедя слова, явно злобные, верно, хотел бросить их прямо ей в лицо, но так долго комкал их во рту, что в конце концов растерял все.

Взялся помогать Филе. Хотела она того или нет, а пришлось ей каждый второй куст обходить, потому что Яно уже успел прополоть его.

Прошло примерно полчаса, а они все еще и словом не перемолвились. Филе делалось все более не по себе. В голове завертелась мысль: "Нельзя же все-таки сердиться на человека, который тебе помогает!"

Неожиданно и она к нему обратилась на "ты":

— Ну уж не серчай. Пойдем поедим! Я тоже проголодалась.

Яно словно не слышал. Продолжал работать.

Фила присела прямо на тропке, достала из сумки еду, но в одиночку есть не хотелось. Она глядела на Яно: "Ну что же ты, Янко-дурачок? Теперь ты станешь кочевряжиться! Долго ли собираешься губы дуть?"

— Так идите уж, идите, сударь мой, — выкала она его, но теперь уже в шутку. — Какой из вас сразу пан сделался, ну-ка, милостивый пан, подите сюда! Не бойтесь, у меня еды хватит! Уважьте, пан надутый!

Наконец он дал себя уговорить. Подошел и подсел к ней, но, должно быть, для того, чтобы не говорить примирительных слов, сложил губы сердечком и засвистал, подражая пению иволги: Тидлиодлио!

Фила рассмеялась, махнула рукой:

— Разве это иволга? Это, поди, только в городе иволга так фальшиво поет. Свистать ты, верно, учился у городской иволги.

Балагурили. Припасы подъели, а все еще не переставали шутить. Потом захотелось поговорить и о серьезных вещах. Особенно Яно оказался речистым. А рука у него без передышки плясала, шутливо плутала туда-сюда, и указательным пальцем он поминутно тыкал Филу в плечо. Невзначай погладил ей колено. Она ничего не сказала на это. Потом он стиснул ей ладонь, и уж тут она взорвалась.

— Не цапай меня! — хлопнула она его по руке. — Чего меня все время лапаешь! Знай пальцем в меня тычешь. Ровно дитя малое! Не выношу таких дурацких привычек.

— Прости, Фила! И правда это только привычка! Я случайно до тебя дотронулся, не взыщи! О чем это мы говорили?

— Я ни о чем не говорила. Это ты все говорил. Ведь и слова вставить не даешь. Только мелешь и мелешь и бесперечь по мне постукиваешь.

— Вот что! Ну виноват, виноват. Так говоришь, что незамужняя?

— Незамужняя. Уж я тебе по меньшей мере раза три об этом сказала. Чего все допытываешь?

— Нельзя разве? Мы же разговариваем. И даже ни с кем не гуляешь?

— А зачем? Ведь замуж-то я не рвусь. Что мне до мужиков? Да и зачем мне какой-нибудь прохиндей? К примеру, такой, как ты. По глазам видать, что ты за птица.

— А тебе откуда это известно? Ты ж меня совсем не знаешь. Но в общем-то я тебя понимаю, ты во многом права. Пожалуй, ты на меня в чем-то даже похожа. Я люблю волю. Но правда, ты ни с кем не гуляешь? Или просто так говоришь? Передо мной тебе представляться нечего. Может, тебе ваши запрещают?

— Кто бы мне что запрещал!

— И даже замуж не подгоняют тебя? Что родители-то?

— Да ведь я одна. Только брат есть. Но ему до меня дела нету.

— Так ты сирота?! Понимаю, теперь мне все ясно. Я ведь, Филка, тоже сирота! — У Яно вдруг сорвался голос, и он нечаянно опять положил руку ей на колено. — Даже брата нету. Никого нету. Старшая сестра еще во время войны вышла замуж в Будапешт. Я и не знаю, за кем она замужем, открытку и то не пришлет. Так что я тоже один-одинешенек, знаю, каково быть сиротой!

Фила шлепнула его по руке.

— Убери лапу! Ты чего ко мне все прикладываешься! Да и какой ты сирота! Небось мужик взрослый, а все вздыхаешь! Много ли тут навздыхаешь, насиротствуешь?

— Да как ты можешь такое говорить? Думаешь, у взрослого чувства нет?

— Ну и что с того? Чувство у каждого есть, но зачем сиротой прикидываться? Забот у тебя, видать, никаких нету. А у меня виноград, работать надо, помаленьку дело свое делаю. Нынче ты меня задержал малость.

— Знаешь, что скажу тебе, Филка?! Не огорчайся! Плюнь сегодня на работу. Иной раз людям и поговорить не грех. Смотри-ка, солнце-то уж торопится! Пойдем с тобой в деревню, хоть погляжу, где и как ты живешь.

— Нет, я еще тут побуду. Одна пойду.

— Одна? Почему одна? Ведь и мне нужно сперва спуститься в деревню.

— Ну и ступай! А то хочешь, я вперед пойду!

— Почему вперед? Вместе пойдем. Я же помогал тебе. Ей-богу, неплохо было бы и этот бочонок почать.

— Отвяжись! Потом долить его будет нечем, да и перелить вино некуда. Ты уж прости. Не знала, что у меня будет помощник.

— Так, выходит, ничего и не дашь?

— Ничего.

— Совсем ничего?

— Ничегошеньки.

— Ни даже стограммового стаканчика?

— Ни даже такого, Яно. Стограммового и то не могу. Правду говорю — у меня только маленький, самый маленький бочонок.

— Значит, совсем ничего?!

— Как есть ничего, Яно. Ты должен это понять.

— Вот уж и впрямь никудышная у меня нынче поденка. Еще и убыток терплю. Все грибы насмарку пошли. Солнце из них все повытянуло, запаху теперь никакого, придется их какому болвану сбыть.

— Да ты погоди серчать на меня! Дело-то, может, не только в вине. Невестка у меня злая, глаз с меня не спускает. И брата против меня подзуживает.

— Не виляй! Минуту назад сама же сказала, что брату до тебя дела нет.

— И есть, и нету. Невестка его подзуживает. А уж как заметит, что во двор ко мне чужой мужчина забрел...

— Ну и пусть! Ты что, в одном дворе с ней живешь?

— Избави боже!

— Даже так? Чего ж ты тогда ее боишься?!

— Господи, да кто ж бы ее не боялся?

— Пошли. Давай спустимся вниз! Воды напьюсь. Той, студеной. Плевать мне на вино.

— А ей не плевать.

— Тебе-то что до нее?

— Злятся на меня. Особенно она. И брата моего подговаривает.

— И просто так, ни из-за чего?

— Почему же ни из-за чего? Сердятся. И из-за виноградника тоже.

— А-а, понимаю. Но так, почитай, в каждой семье бывает. А чего они в общем хотят? Виноградник-то чей?

— Мой.

— Твой? Тогда чего им неймется?

— Известно чего.

— Небось завидуют!

— Ясное дело, завидуют!

— Вот спасибо, удивила! А брательник у тебя чудной, право слово, чудной!

— Есть малость. Но она и того чудней. Потому что, будь его воля, он бы мне, глядишь, в винограднике когда и помог. Не задаром, зачем же задаром. Не стану же я брата обманывать!

— А она ему не позволяет?

— Не позволяет, ничего не позволяет.

— Тогда и помалкивай! Но он тоже хорош. Позволил бы я бабе мной помыкать! Ей-богу, меня так и подмывает пойти твоего вина отведать!

— Нет, что ты! И люди бы стали меня оговаривать. А невестка от злости прямо лопнула бы.

— Не будь глупой! Именно потому я и пойду!

— А я в сторонке от тебя буду держаться.

— Ну и держись.

— И вина тебе не дам.

— Ну и не давай.

— И во двор одна войду. Не сердись, пожалуйста!

— Ладно, ступай! Но завтра, увидишь, — завтра я снова приду и нарочно так буду ходить, чтоб все люди видели. Ей-богу приду! И завтра, и послезавтра тоже. С самого утра приду, может, на весь день приду, ей-богушки, целый день тут буду торчать и в три горла хохотать!

9

Вечером Филоменка не могла заснуть. Поначалу, пожалуй, сама себе не давала: отгоняла дрему, пытаясь перебрать в памяти все, что с ней сталось, а после, когда, притомившись, хотела заснуть, ей все время что-то мешало; стоило забыться в дремоте, как в тот же миг ее кидало в дрожь. Она ворочалась в постели, сбрасывала с себя перину и тут же снова натягивала ее, накрываясь с головою, — все напрасно.

— Боже, что это со мной? — шумно вздыхала Фила. — Отчего никак не усну? Что со мной?

Было уже за полночь, когда она наконец заснула, но и во сне будто кто-то ее преследовал; чудилось, что вот-вот она этого человека увидит, но так и не увидала его, а лишь услышала его смех. Поздней ей стало чудиться, что поет какая-то птаха. Нет, то была не иволга. Потому что птаху эту Фила потом углядела, и она ничуть не походила на иволгу. Совсем маленькая пташка, пожалуй, меньше крапивника, она порхала с дерева на дерево и словно бы приманивала ее, временами каза-

лось, что она просит помощи, а временами словно бы смеется над ней: тилилин, тилилин! Словно бы у нее в горле был звоночек или даже нежный-нежный, едва слышимый колокольчик. Чего ей надобно, этой птичке? Филка побежала за ней, неслась меж деревьев, а птаха весело порхала в воздухе, не переставая подманивать ее и петь, и голос ее звучал то громче, то совсем тихонечко, едва-едва слышно: цилилин, дзилин! Под конец совсем не стало ни птицы, ни голоска, и Фила беспомощно ходила по лесу, не зная, что делает и чего ищет в этом лесу. И все-таки какое-то любопытство гнало ее все дальше и дальше, она металась по лесу, и ей казалось, что вот-вот и она полетит. И вдруг перед ней видимо-невидимо спелых ягод; она попробовала одну, сорвала другую, и вдруг птица снова запела. Фила подняла голову. Смотри-ка, вон она! Фила увидела ее: та сидела на толстой дубовой ветке. Однако что это? Птица вдруг оборотилась мужчиной — он весело встряхнул головой и защебетал:

"Тилилин! Что ты тут делаешь, Фила?"

"Небось видишь, что делаю. Бежала я за такой махонькой птичкой, сперва думала, что это иволга, да вдруг она превратилась в крапивника. А теперь и сама не знаю, что со мной, только вижу, что это ты. За этаким шалопутом и впрямь ни к чему было гоняться!"

Мужчина осклабился.

"Тилилин, тилилин!"

"Эй, тилилин, ты чего зубы скалишь? Уж не думаешь ли, что на дерево к тебе полезу?"

"А что, Филка! Чего робеешь? Тилилин! Попробуй, взлети ко мне!"

"Не взлечу, Яно, я ведь летать не умею. Мама мне наказывала быть всегда осторожной. Я-то знаю, что все это мне только снится, а в сны я не верю. Послушай, Яно, как ты туда забрался? Это вроде очень высоко".

"Очень высоко? Но я же тилилин".

"Не гогочи! Не такой уж ты раскрасавец, чтоб все время смеяться. Хоть ты и тилилин, а спускайся-ка лучше вниз, неохота так долго голову задирать. Слазь, тилилин, потому как, если с этого дерева свалишься, будет тебе уж не до смеху!"

"Тилилин, тилилин!"

"Не дури, Яно! Не люблю я кверху смотреть, у меня и глаза слабые. Иной раз и нитки в иголку не вдену. Может, мне бы и очки были кстати. Только в них я, поди, посмешней тебя буду выглядеть".

И вдруг откуда ни возьмись — у Яно в руках очки, он протягивал их Филе, а рот у него щерился пуще прежнего.

"Пожалуйста, тилилин! Вот тебе и очки!"

"Ну, тилилин, ты истинный придурок! — пригрозила ему Фила. — Я правда тебя оттуда сброшу!"

И чтоб нагнать на него страху, подняла с земли сухую ветку и метнула вверх.

В этот момент Яно надел на нос очки. И сразу вид у него сделался на удивление ученый и важный. В самом деле он стал похож на какого-то учителя, а то даже на профессора или на доктора. Правда, попытайся мы обстоятельно изобразить или описать его, какой-нибудь настоящий профессор или доктор еще возьмет да обидится! Пан профессор, пан доктор, не извольте беспокоиться!

Яно еще раз осклабился, наверно для того, чтобы дать понять, что ему совершенно плевать на ученость и даже на славу, и — фьюю! Простер лапы-крылья, и был таков.

Тилилин, тилилин! Пан профессор, диплом потеряли!

10

Когда Фила утром проснулась и попыталась связать воедино все, что ей ночью приснилось, то невольно рассмеялась. Право слово, чудной сон! — покачала она головой. Такой глупый сон мне, поди, еще никогда не снился!

Она оделась, приготовила завтрак, но это мы для красного словца говорим: какой уж там завтрак? Немного кофе, краюшка хлеба — вот и все дела.

Потом подумала, за что бы приняться. Идти на виноградник? А что, если этот дурачок туда и вправду явится? С него, с бесстыдника, всякое станет!

Нет, она туда не пойдет, ни в какую туда не пойдет!

А что же тогда он? Может, в самом деле станет ее там выглядывать. Вдруг опять затемно выбрался из дому и ничего с собой не прихватил. Приди она туда, так, наверно, и куском черствого хлеба ему б угодила. Разве от одного куска убудет ее? Вовсе нет! Ведь и от вчерашнего ее не убыло.

Хотя и то сказать: если куда наладился, да еще спозаранку, да еще в дальний путь, надо и самому о себе позаботиться. Янко, ты уж, пожалуйста, о себе позаботься!

Но как же он вчера перед Филой заискивал! Даже сиротой прикидывался! И как у него голос задрожал! Старый леший, ведь у тебя уж рога растут, до каких пор в сиротах ходить собираешься?

А вдруг некому будет даже воды ему предложить. Хоть бы родничок ему показала. Забыла. А и спросить мог бы! Пить захочет — из ручья нахлебается. Глядишь, и на родник наткнется. Такой побродяга, что целыми днями по всем угодьям шастает, никуда не торопится, не ведает даже, что когда-то надо и домой воротиться, — такой что угодно в округе приметит, все разнюха-

ет, а уж дорогу к роднику и подавно найдет. Такой негодник хлеб и воду для себя всегда раздобудет. А то и выпросить сумеет — как вчера, например. А ежели и вправду голоден, а в кармане ни гроша, так и украсть не постесняется. Чему тут удивляться? Да ну его, больно надо с таким связываться!

А все-таки! Вдруг он правда пришел? В винограднике осталось рядочка полтора прополоть, мог бы ведь, недоумок эдакий, и докончить все!

11

До полудня она топталась возле дома. За что бы взяться? Все время ее тянуло прочь со двора. С утра она полила огород, потом немного поокучивала овощи, но все делала без особой охоты.

Готовить и то не хотелось. Только перед самым обедом сварганила на скорую руку картофельной похлебки и, хоть картошка была еще не доварена, уплела две тарелки.

После обеда опять взяла бабку соломы, ту, вчерашнюю, еще не всю израсходованную, добавила к ней пучок из вчерашней и сегодняшней соломы соорудила новую бабку, намочила ее в бочке с водой, таким же путем, как и вчера, поистоптала ее босыми ногами, а когда солома показалась ей достаточно мягкой — стремглав с бабкой на виноградник: "Янко-дурачок, ох ты и наждался!"

12

Только Яно там не было. А если и был, так и след простыл. Теперь ей стало немного досадно. Нельзя было пораньше из дому выбраться? Зачем там столько топталась?

А вот был ли он здесь — кто знает. Может, еще и придет. Работать ей не хотелось, да и взявшись за дело, она поминутно оглядывалась. Где же этот чертяка застрял? А если был, не мог, что ли, подождать малость?

День потихоньку минул. Солнце зашло. Птахи в лесу и в виноградниках вовсю закатили концерт:

"Дидлидидлидеее, дидлидидлидее!

"Пинк-пинк! Чили-чили-чили, а старого мазурика не словили?"

"Словили, словили!"

"Кто это видел?"

"Кнерреб!"

Филоменке не хотелось уходить. Наладилась домой, когда уже стало темнеть.

А выйдя на дорогу, еще раз оглянулась на виноградник: немного же я нынче наработала! Все копалась да волынила! Придется завтра тоже прийти. А почему бы нет? Может, сюда и послезавтра приду. В винограднике-то всегда дело найдется.

А птахи по-прежнему не замолкали:

"Пинк-пинк! Чили-чили-чили, а старого лешего поколотили?"

"Поколотили, поколотили!"

"Дидлидидлидидлидеее, дидлидидлидидлидеее!"

13

А вечером, хоть прошлой ночью и не выспалась, она опять не могла уснуть, ворочалась в постели и думала о Яно. Пускай и не могла толком представить его, а он все равно не выходил из головы. И был-то он из себя просто заморыш, сморчок: брюки на нем висели, не на чем им было даже держаться, пиджак тоже был не по нем; похоже, одежка досталась ему от кого-то в наследство или в подарок. А она-то, глупая, приняла его за пана! Невелик пан, что и говорить, невелик! Но лицо дурным не было, во всяком случае, ей оно не казалось дурным, вот только нос не подходил к лицу — великоват вроде. Зато зубы, хоть и редкие и со щербинами, шли ему — то-то он скалил их без конца. А глаза — ну чисто огоньки, сперва казалось, что взгляд у него не сулит ничего хорошего, но потом, чуть привыкнув к нему, она уже и в глаза могла ему смотреть. И смотрела. Правда, теперь, когда его нету поблизости, это лицо расплывается, проступают на нем только отдельные черты — глаза, зубы, рот, ну и этот носина. Однако в общем выглядел он не так уж дурно, обидно только, что теперь это лицо и не представишь себе как следует. Кто знает, как будет завтра? Придет ли? Пожалуй. Наверняка и он гол как сокол. Богатому жалко было бы времени, не стал бы он ходить по грибы. А захоти, она могла бы и позвать его, могла бы и вином угостить. Ну и распочала бы этот бочонок — эка важность! Все равно когда-нибудь придется его открывать. Спору нет, конечно, лучше, если подвернется покупатель и возьмет его целиком. Но ведь и обмануть ее не долго. Откуда ей знать, сколько просить за вино? Пускай вино у тебя и самолучшее, а все равно с ним хлопоты, ведь его продать надо. Но если и придет покупатель, соседи в два счета могут отвадить его, скажут, что их вино лучше и дешевле. А вдруг и правда вино у нее никудышное? Кое-кто из мужиков его еще раньше пробовал и хвалил, но, может, потому и хвалил, что досталось на даровщинку. А вот брат Йожо хвалил его так, будто и не хотел похвалить. Наверняка невестка против нее брата подзуживает. Чтобы Филоменке неповадно было даже угостить его. А ну, как

в один прекрасный день Йожо бросит ей напрямик: ''Фила, это же и мое вино. Хоть мать отказала тебе виноградник, все ж таки он и мой. Ведь он был не только материн, но и отцовский, и мне тоже приходилось там работать''. Что-то вроде того он может сказать — Филоменка это знает. Невестка уже не раз шипела ей прямо в лицо:

''Уж коли ты, Фила, виноградник у Йожо оттяпала, так хотя бы хату освободила''.

Однако и у Филоменки язык есть:

''И чего ты, Борка, разоряешься? У тебя-то жить есть где. Пускай вы тоже не в хоромах живете, а все ж таки на улице спать не приходится. Мать так решила — не я. Но ты и то должна признать, что я, как и вы, не могу жить на улице''.

А Борка как вскочит:

''А тебе-то что до моей хаты? Она мне от наших досталась. А вот Йожо от ваших ничего не получил, одна ты все захапала''.

Не по душе Филоменке такие речи. Она предложила брату: ''Йожо, если хочешь, помоги мне в винограднике, а урожай потом поделим''.

Только к невестке и на козе не подъедешь.

''Шиш он тебе поможет! И ноги его там не будет. Разрывайся на части, коли все себе заграбастала! Ежели увижу, что Йожо в виноградник или в твой дом вошел, волосы ему все повыдергаю''.

И Йожо хотя нет-нет да и приходит — всегда только крадучись; Филоменке иной раз кажется, словно и приходит-то он затем, чтоб виноградник или светелку у нее выпросить. Иногда ей боязно и винца ему поднести. А если и поднесет, все равно толком никогда от него не узнает, удалось ли на самом деле вино. Прийти-то приходит, а вот про ее вино еще никогда слова доброго не сказал, хотя раза два у нее порядочно клюкнул. Знай покивает слегка головой, и все дела. Потом из-за этого даже нелады были. Невестка как-то раз вцепилась в нее на улице, чуть платье с нее не содрала:

''Ты что это приучаешь Йожо вином зашибаться? Или ты думаешь, у него дома пить нечего? Решила опоить вином, которое у него же и украла? Иные родители о своих детях радеют, а ваши тебе одной все кинули, потому что ты такая дурында. Твоя мать только на твою дурость все отказала, чтобы дурость эта еще больше цвела, чтоб ты еще дурее сделалась. Попробуй только мне Йожо портить! И стакана у тебя он не посмеет выпить! Сама все вылакай! Тьфу-у!'' И правда, невестушка даже сплюнула.

Филоменка из-за таких речей раз-другой даже всплакнула. Однако измором невестка ее не возьмет. Еще чего! Случается, Фила и пошутит на людях по этому поводу, а то и усмехнется про себя, помыслив, как бы она могла осадить невестку. И

нередко она действительно радуется, думая о своей светелке и винограднике, о том, как бы лучше его обиходить. Да и бочонок вина ей тоже в радость! Было у нее две бочки, да одна вся уже вышла. А ведь можно было этого зубоскала, этого горе-пана и угостить. Только стоило бы людям об этом прознать — разговоров не оберешься! А уж начни невестка об этом языком молоть — и вовсе житья не станет. Та бы уж наверняка раскудахталась:

"Ты же все получила только потому, что в девках сидишь! А теперь мужиков начала заманивать? Они уж к тебе повадились? Дура ты, и за дурость твою тебе заплатили, а ты и рада все к рукам прибрать. Дура дурой, а с мужиками горазда таскаться!"

Да ведь она и угостила бы его не за так! Ведь за работу же, только за работу. Разве этот щера не заслужил? А он-то и вправду не то щера, не то ощера. Нелегкая его унеси! Пускай на глаза ей не попадается! Не будь того птаха, той самой иволги, она бы с ним и не встретилась. Кто знает, что он сейчас делает? Теперь-то ей даже трудно его представить. И все-таки вином, наверно, можно было его угостить. Хоть бы и лопнул, упившись, — дело какое! Нет, лучше не думать о нем! Шалопут чертов, оставь меня в покое! Из-за такого негодника путем и не выспишься! Пошел прочь, не приставай! Дурацкий тюлюлюм! Форменный тилилин! Нет, это же была иволга! Тидлиолио! Филдиолио! Что делаешь, Фила? Этой ночью она, видать, опять не выспится...

14

Утром почувствовала себя совсем разбитой. Боже милостивый, да что со мной творится? Опять я плохо спала. Право, этот безобразник по ночам меня преследует. Видать, сердится на меня, недобрым словом поминает за то, что глотка́ вина не дала.

И впрямь, почему не дала, почему не могла бочонок почать? Разве мать у меня скупая была? Если к нам кто приходил — последнее готова была отдать. А мне, дурехе, надо было из-за стаканчика кочевряжиться? Нынче же, ей-богу, этот бочонок почну, отолью в бутылку, а как только этот поганец заявится, так и скажу ему:

"Вот тебе, парень, хлебни, знаю, что задолжала тебе, возьми положенное и ступай с богом!"

Так она и сделала. Захватила в виноградник бутылку вина и рьяно принялась за работу. Только напрасно озиралась по сторонам. Он и на этот раз не пришел. А если время от времени она и углядывала кого на дороге, всякий раз оказывалось, что это односельчанин, тащивший на спине опрыскиватель или кативший на тачке пустую бочку, поскольку при винограднике не имел бе-

тонной бадейки, куда можно бы наносить воды и размешать купоросу с известкой.

Да и Филе, ей-богу, пора бы опрыскивать! А ну как нападет на лозу переноспора[1] или какая иная гнусность?!

И все-таки, что с этим негодником? Где он? Только понапрасну сердце растревожил. Да еще и теперь знай тревожит, хотя его и след простыл. Ну и пусть! Филоменка из-за этого запускать свою работу не собирается. Купорос еще зимой она натолкла, и известка у нее приготовлена. Завтра, завтра же надо опрыскивать!

15

Она опрыснула виноградник, да не раз, а по меньшей мере раз десять опрыскивала. Ясное дело, потом и по кустам это было заметно. Зеленые прежде лозы теперь ярко голубели. Куда ярче, чем на других виноградниках. Меж тем ей пришлось два раза и помотыжить. И теперь любо-дорого было на виноградник поглядеть. Ни одной лишней травинки. Зато промеж кустов зеленели фасоль, нут, бобы — стручковых тоже будет на зиму вдосталь!

А этот паршивец так и не показался! Зачем только бочонок распочала? Вино пропало ни за грош, все больше просто так перевелось, без всякого толку. Что ни день приносила она его в виноградник, думая, что Яно все-таки явится, но он не явился, вот она и угощала каждого, кто случайно проходил по дороге и столь же случайно возле нее останавливался.

— Филка, и все-то одна опрыскиваешь?

— Одна. Ведь я и есть одна.

— А не много ли на себя взваливаешь? Это же мужская работа. Могла б кого и позвать.

— Могла. Ведь у меня и родня есть. Глядишь, и чужие бы помогли. Да зачем? Разве сама не управлюсь? Времени у меня вдосталь. Каждый день здесь топчусь. Есть время опрыскать.

— Филка, а не жидковато ли? Могла бы чуток и прибавить. Купоросу и известки.

— Думаете, надо? Можно и прибавить. Купороса у меня много. И известки тоже.

Она радовалась, что ей присоветовали, и, чтобы не получать совета задаром, спрашивала:

— Может, выпьете стаканчик?

— А что, имеется?

— Кое-что есть. Прихватила из дому. Иной раз и сама хлебну.

[1] Переноспора — грибковое заболевание виноградной лозы.

Она кидалась бегом за бутылкой и стаканчиком. Наливала. Оба отведывали.

— Неплохое винцо.

— Верно неплохое? — И оттого, что похвалили, тоже радовалась. — Откуда же ему плохому взяться? Да что толку, когда его уже мало?!

— Новое будет.

— Будет, конечно. А главное, что вам понравилось. Но будет и новое, по всему видать.

— Серьезно? А сорта-то у тебя стоящие? Смотри-ка, Филка, ведь и вправду, похоже, урожай будет что надо!

— Ну и угощайтесь! Еще налью!

Ох, Яно, ну не дурак ли он? Тидлиодлио! Винцо-то было, да сплыло! А ты себе пой, иволга, пой, больше уж никто на твое пение не попадется!

16

Нет, Яно Филоменку не забыл. Однажды — а было это в середине августа и как раз в воскресенье — ввалился он к ней прямехонько в горницу. Старательно выбритый, вроде прилично одетый, он показался ей даже более ладным, нос и тот вроде к лицу подходил. Он улыбался и весело размахивал руками.

— Ну вот и я пришел, Филка. Пришел винца твоего отведать.

— Если вина тебе, парень, захотелось, так ты малость припозднился. Я уж и бочки все повымыла. И этот малый бочонок, который я тогда поминала, тоже давно весь вышел. Сполоснула я его сперва кипятком, потом холодной водой — готовлю бочки для нового вина. Право слово, теперь у меня не напьешься.

— Как же так, Фила? Литрик все же могла б приберечь. Хоть бы бутылку для меня отложила.

— Не отложила. Не люблю откладывать. Потому что такие господа, как ты, всегда найдутся. Да, пожалуй, и бутылки у меня никакой. Остатнюю семисотграммовую — постой-ка, куда я ее дела? Ей-богу, должно быть, сама выпила. Что бы тебе, дуралею, раньше прийти?

— Не мог, Филка.

— А я не могла так надолго откладывать.

— Эка жалость! Ну да ладно. Другой раз буду умнее. Знаешь что, Филка. Если будет у тебя хороший урожай, приду, убрать тебе помогу.

— А если будет плохой, думаешь, кину его в винограднике?

— Нет, совсем так не думаю. Просто помочь предлагаю. А хочешь, и отжать могу, а потом нового винца-то и отведаю.

— Не сулись! Я и сама ловка управиться!

— Знаю. Но все же с путной[1] мотаться тебе ни к чему. Путна мужику под стать, мне с ней побегать ничего не стоит. Да и давило закручивать сил хватит. А что виноград-то, еще не начал мягчеть?

— Да уж вроде мягчеет.

— Ну вот. Как-нибудь заскочу, урожай соберем, подавим, по крайней мере винцо побыстрей выбродит.

— Чудило, с тобой не столкуешься!

— Не робей, Филка! Нынче я пришел только поглядеть на тебя, потому что долго тебя не видел. Хорошо у тебя здесь. — Яно стал все оглядывать и восторгаться. — И скатерть на столе, и миленькая вазочка на ней, и как у тебя плита сверкает — обалдеть можно! Должно быть, здорово ты ее драила. Кастрюль и кружек, пожалуй, маловато, но для тебя одной и этого хватит. По крайней мере быстрей их вымоешь!

— Не вышучивай! Не то выгоню тебя, так и знай!

— Ты что! Правду говорю, мне тут нравится. И часы эти хороши, — указал он на стену. — Жаль, что на них только одна стрелка! Это — маленькая или большая?

— Большая.

— Тоже хорошо. Благо большая быстрей ходит. И ты, должно, вместе с ней ловко крутишься.

— Ну-ну, не подсмеивайся! Маленькая ли, большая, а все часы. У тебя, может, никаких нету.

— Нету. А мне и не требуются. Если хочешь, возьму часы с собой, отдам их в починку. Или сам маленькую стрелку прилажу.

— Тоже мне часовщик! Не трожь часы. Я к ним привыкшая. От матушки мне достались.

— Да толку-то от них! Как ими пользоваться? Разве по ним узнаешь, сколько времени?

— А вот знаю. Ведь я время и отгадать могу. Час, а то и полчаса угадываю, а по большой стрелке только минуты отсчитываю.

— Даже не верится! А идут точно?

— Очень даже точно.

— Ну и дела! Ей-ей, это мне по душе. Рад, что с такой ухватистой женкой познакомился. Но стрелку на эти часы я и вправду приладил бы.

— Нет-нет, не трожь их! Теперь, к примеру, семь часов и двенадцать минут. Вот-вот завечереет, а я спать довольно рано ложусь. Надеюсь, ты тут долго не задержишься.

— Я еще не пришел путем, а ты уж меня выпроваживаешь. Посижу немного. Я ведь городской человек, а у горожан всегда

[1]Путна — плоская плетеная или деревянная корзина с лямками для носки на спине.

больше времени, чем у деревенских, поэтому меня так быстро не выставишь.

Вот так они ворковали, а временами и подтрунивали друг над дружкой. Когда уж на дворе стало темнеть, Филоменка предложила гостю ужин, но тут же напомнила, что после ужина надо ему и честь знать.

Однако Яно уходить не собирался. А ей вроде неловко было вновь и вновь напоминать об этом. Только когда ей показалось, что он уж слишком засиделся, она заговорила понастойчивей:

— Тебе правда пора идти, Яно. Не хочется тебя выгонять, а выспаться надо. Ступай, видишь — ночь на дворе! Чужого мужчину ночью в доме не потерплю.

Яно было поартачился, но под конец-таки ушел.

17

А два дня спустя снова тут как тут. И тоже под вечер.

— Филка, пришел спросить насчет сбора винограда.

— Какого сбора? Я ведь тебя на сбор не звала.

— Как не звала? Мы ж про него говорили. Не одной же тебе все спроворить. Ведь это хлопотливая работа. Одному человеку такая хлопотня даже не в радость.

— В радость не в радость, а меня, Яно, на все хватит. Кабы люди меня с тобой увидали да узнали, что ты еще мне помогаешь, мне б в деревне несдобровать. Невестка постаралась бы меня даже выгнать из родительского дома. У них-то ведь тоже не бог весть какое жилье. А детей все прибавляется.

— А ты не бойся, Филка! Что тебе до невестки? В понедельник приду уже прямо с путной, и возьмемся за дело. Увидишь, в два счета соберем.

— Хочу с будущей недели начать, только до сих пор я всегда одна управлялась. Путны у меня две, и подносчика мне не надобно, я их и сама отнесу.

— А я ей-богу приду.

— Нет, лучше не приходи! Ведь ты у меня и не больно заработаешь. Хочешь заработать — найди себе где в другом месте поденку, мало ли кругом богатых виноградарей? Отчего в Модре не наймешься подносчиком?

— А зачем в Модре? Я хочу тебе помочь. Не станешь же ты путны сама таскать?

— А что особенного? С путной-то я уж с малолетства бегала. И на нашем, и на чужом. Будто мало я в жизни наподенничала? К путне или для путны я народилась, так, думаешь, теперь ее испугаюсь? Ты за меня не волнуйся. А лучше вообще обо мне не думай!

— А я буду думать. Правда, хотя бы отжать помогу.

— И этого не надо. Сама справлюсь. А если случайно и заглянешь, то только на минутку. Поможешь сусло отжать либо брус в давильне переложить. Только я все равно буду тревожиться. А вдруг кто ненароком заявится? И брат мой, Йожо, может прийти. Может, поинтересуется, как я давлю. Что он обо мне подумает?

— Пусть что хочет думает, а я, Филка, приду виноград давить. И брус могу переложить, если захочешь. Хоть что-нибудь сделаю. Мы ведь с тобой уже познакомились? Могу же я тебе немного помочь?

— Не знаю, Яно. Как хочешь.

— Ну, поладили! В понедельник беремся за дело! А теперь бегу. Сегодня мне тоже некогда. Будь здорова, Филка!

18

Но около полуночи кто-то постучался к ней в окно. Может, уже и раньше стучался, только она спала и не сразу, верно, услыхала.

— Отвори, Филка! — раздалось у окна, а чуть погодя уже и у двери. — Не бойся, это я.

Она сперва села в кровати и, сонная, оробевшая, таращилась на дверь.

— Отвори же, Филка! — раздалось снова.

Она узнала голос Яно. Досадливо слезла с кровати, подошла к двери, но открывать не стала.

— Тебе чего надо? Спятил, что ли? Ты чего еще и ночью покою не даешь?

— Филка, я у тебя тросточку позабыл. Новую такую, с чеканкой. Пришлось за ней воротиться, мне ее только на время дали.

— Я ее здесь не видала. Не было ее у тебя. Нету тут никакой тросточки.

— Должна быть, Филка, такая новенькая, с чеканкой, и ужасно нужна мне. Кабы моя была, я б тебя не тревожил. А мне отдать ее надо. В другом месте я не мог ее позабыть. А она правда новенькая, правда с чеканкой. Дорогая тросточка. Филка, если не верну ее, попаду в передрягу.

— Погоди немного снаружи! Я зажгу свет, поищу.

Она засветила керосиновую лампу. Осмотрелась в горнице, заглянула туда-сюда.

— Ничего здесь нет. Поди, и не было у тебя ничего. Ты разве пан какой? На что такому дурню тросточка?

— Она нужна мне, Филка. Не могу без тросточки воротиться.

Фила опять огляделась вокруг. И в конце концов впустила Яно в горницу.

— Ну где она? Ищи ее! На кой мне твоя тросточка? Нечего было таскать ее с собой. По-пустому теперь бушуешь.

Яно тоже чуть поозирался по горнице. И вдруг задул лампу. Филоменка сперва даже не поняла, что происходит. Яно стал ее обнимать, а ей почудилось, что он душит ее. Она давай кричать, но он вовремя утихомирил ее:

— Не глупи, Филка, не будь дурой! Я ведь обнимаю тебя.

С минуту казалось, что они дерутся. Потом он кое-как успокоил ее, хотя она по-прежнему дергалась и пыталась вырваться из его рук. И взахлеб его ругала:

— Несчастный обманщик! Негодник! Пусти меня, пусти, бесстыдник носатый!

А он все поворачивал на шутку:

— Ну, Филка, богом прошу, перестань! Я же сюда ради тебя пришел. Неужто мне теперь в такую даль домой переться, да еще ночью?

— Обманул ты меня!

— Не обманул я. Обманывал только для того, чтоб впустила меня. Нечего тебе бояться, право нечего, даже самую малость! Хочу побыть с тобой немножко. Ну видишь, Филка, видишь же: ничего с тобой не делается. Чего так дрожишь? Знаешь что? Ляг-ка лучше, хоть маленько успокоишься. Не бойся, ложись тихо-мирно в постель, даже раздеться можешь, а я подставлю к постели стул и чуток посижу рядом. Поговорим по душам.

Она послушалась. Он действительно подставил к кровати стул, только долго на нем не усидел. Не успела Филоменка все взвесить и немного опомниться, как он юркнул к ней под перину...

19

А потом все завертелось с удивительной быстротой. Яно захаживал к Филе чуть ли не через день. Помог ей собрать и отжать виноград, но уже во время сбора урожая предложил ей:

— Знаешь что, Филка? Урожай хороший, вина будет вдосталь, чего мудрствовать? Давай не будем ни виноград, ни вино продавать, а подождем, пока оно выбродит, а там и под венец.

— Это ты что задумал? Никак жениться хочешь?

— А почему бы и нет?

— Да ну тебя! Я о замужестве никогда и не помышляла. Что скажет брат? А его женушка? Да и наши деревенские были бы против.

— Да что ты мелешь? Почему ж это другие всегда должны решать за тебя? Неужто станем кого спрашивать? Ну их всех к лешему! Филка, ты же взрослая женщина, никто не волен помыкать тобой.

— Нет, Яно, не торопись! Я тебя даже путем и не знаю. Знаю только, как тебя зовут, но кто ты и что делаешь — этого пока мне никто не сказал.

— А кто тебе должен сказать? Если ты меня не знаешь, кто ж тогда меня знает? Знаешь ведь, что я — Яно, ну а делаю что? Я и о том тебе говорил. Рабочий я, в городе, при магистрате тружусь.

— Какой ты рабочий при магистрате? Ты ж все лето по грибы хаживал.

— Ну и что? Раз грибы росли. А вообще делаю, что мне положено. Иной раз и улицы подметаю. Понимаю толк и в других делах. Знаю каждый уголок в городе, да и всю округу знаю.

Филоменка раздумывала. Никак не могла решиться. Кабы мать жила, посоветовалась бы с ней. Старая-то говаривала, что Фила никогда не выйдет замуж, но, может, теперь по-иному бы рассудила. Глядишь, ее замужеству и порадовалась бы.

Брат с невесткой долго ее отговаривали. Невестка даже заявилась и давай ее бранить:

— Ей-богу, ты никак ума решилась! Да на что тебе муж? Он ведь подурней тебя будет. И все над ним потешаются. "Каков сам, на такову и напал". Все так говорят.

— Пускай говорят. Если мы и вправду друг друга стоим, значит, лучше столкуемся.

— Только меня на свадьбу не жди. Да и никто не придет. Йожо и то не пущу.

— Не пустишь — пускай дома сидит. Ты ж еще даже не знаешь, станем ли мы свадьбу справлять. Вдруг решим потихоньку обвенчаться.

Так оно и вышло, верней, так должно было выйти, — венчанье решили провести без шума; было на нем не более десяти свадебщиков. Зато, когда уже шли с венчанья, хоть дело было вечером, а может, именно поэтому, зевак навалило — тьма! А поскольку люди обожают галдеж, захотелось им и тут погалдеть; заорал один, загикал другой, и вдруг вся деревня с ума посходила — раскричалась, развизжалась, да так, чтоб ни Филоменка, ни жених ее свадьбу свою век не забыли. Невеста даже не знала, в какую сторону ей глядеть, хотела глядеть лишь на дорогу, но крик и визг, а потом и стрельба привлекли ее внимание. Она осматривалась кругом, улыбалась людям, а когда рядом с ней завизжал Яно, завизжала и она. А деревенский цыган, хоть и привык на хлеб игрой зарабатывать, увидев, что происходит, сразу смекнул, за чем дело стало, во весь опор помчался домой за скрипкой и прибежал с ней в самое время — свадебщики приближались к дому невесты.

— Люди добрые, я вам сыграю, хоть у вас в кармане ветер гуляет, сыграю вам и задаром! Да так сыграю, как еще свет не видывал и не слыхивал! Даже если все струны на скрипке порву!

Это стоило видеть! Едва коснулся он струн, а уж вся деревня закружилась перед свадебным домом; невеста с женихом плясали посреди круга, а остальные дробили ногами, прыгали и топали вокруг них, ревели, гикали и визжали; нежданно-негаданно, сопя и пыхтя, притащился деревенский мясник в окровавленном фартуке и с огромной телячьей ножкой на плече.

— А я давеча как раз телочку зарезал! Ну-ка идите покажите, куда огузок скинуть! — А поскольку показывать ему никто не пошел, он протиснулся в середину круга и давай там прыгать и вертеться вместе с огузком.

А некий Шимон, деревенский кузнец, своим промыслом уже не занимавшийся — благо в деревне и в округе конкурентов хватало, — но слывший человеком бывалым и начитанным, раздумался посреди толпы вслух:

— Вот это, скажу я вам, свадьба! Веселятся даже те, что, может, и не собирались веселиться. Голытьба женится! Голытьба свадьбу играет, а тут и толстосум не выдержал, кошелек развязал. Так, наверно, при коммунизме должно быть. А то и малость получше, нет, гораздо лучше. Так оно когда-нибудь и будет, и не только на один счастливый день. Я об этом читал, я и "Капитал" читал. А там сказано: работал — так требуй того, чего заслужил! А тот, кто прибыток получил, изволь отвалить часть от него, и не только потому, что нынче здесь свадьба! Человек все-таки не каждый день женится! Мы все здесь, на земле, все на ней работаем или хотим работать. Ведь это наша земля, все хотим о ней позаботиться. Отвали кусок поля! И батраку дай! А у кузнеца — у кузнеца пускай всегда будет вволю железа, чтобы отлить и наточить лемех для плуга, подкову коню, притыку в воловье ярмо. Дай нам плуг — дай и упряжь! Люди, дайте нам работу, дайте наконец вдосталь работы для каждого трудового и усердного человека! Чтоб каждый мог купить хотя бы козочку — и чтоб хватало травы для нее, а для ребенка пирожок, молока горшок да лепешки кусок. Каждому хочется иметь работу и субботу, а в субботу — всего досыта за работу. Нет ничего глупее, чем когда человек женится или замуж идет только потому, или прежде всего потому, что у него очень уж часто урчит в животе...

20

Только Яно оказался сущим наказаньем для Филоменки. Не то чтобы он бил ее, нет, боже упаси! Бить себя она б ему черта с два позволила. Но Яно был себе верен, умел и по-другому ей жизнь усладить. Он и до свадьбы-то был прытким, а сейчас и вовсе земля горела у него под ногами. Он нигде не мог найти себе пристанище. Где жить и то решить ему было трудно. Сперва всеми правдами и неправдами старался убедить Филу пере-

ехать в город, но та о городе и слышать не хотела. Потом оставил эту затею, а со временем ему даже понравилось, что у них две квартиры.

— Ей-богу, — похвалялся он, — это как раз то, что мне требовалось. Теперь по крайней мере у меня разгон есть. То живи себе в городе, то в деревне — чего еще человеку надо? Хуже, что я работу потерял. Знаешь, как нелегко найти в городе работу?

— Яно, разве у тебя мало работы? Ведь у нас виноградник и при доме небольшой огород, небось хватит. Работы в самый раз, захоти только.

— И то правда, — должен был признать Яно. Однако работой он особенно не утруждал себя, не мучился. Хотя и заявлялся на виноградник всякий день, еще и Филу с утра подгонял, чтобы не мешкала дома, но стоило ему прийти туда, как он, послонявшись малость, незаметно смывался в лес. — Филка, ты на меня не удивляйся, лес моя слабость. Мне б лесничим быть, только когда и кому отдавать меня было в ученье?

И Яно прав был. В самом деле, будь он лесничим, лучшего лесничего не сыскать. Но Яно не стал лесничим. Никто не определил его ни в какое иное ремесло, не обучил иной профессии, даже просто работать никто не заставлял его в детстве. Верней всего было б сказать, что вырос он на улице. Правда, Яно внес бы в эти слова небольшую поправку:

— На улице? Что ж, и то правда. Только рос я и в поле, и на виноградниках. Среди природы. И редко когда лодырничал. Да и мог ли я лодырничать? Кто всегда летом дрова на зиму заготавливал? Кто таскал с поля картошку? Кто всегда воровал в виноградниках самые лучшие гроздья? Эй вы, дурачье, с чего-то ж надо было жить. Да я еще и о сестре заботился, только она потом на меня плюнула. На исповеди я был всего раза три-четыре. Последний раз — перед свадьбой. И именно тогда пан фарар мне сказал: "Янко, не говори никому, что я тебе скажу, но в том, что ты делал пропитания ради, исповедоваться нет нужды!" Спасибо ему! Правильный человек! "Ваше преподобие, хорошо, что вы мне это сказали, но надо было вам раньше об этом сказать. Других-то грехов у меня нету. Стало быть, вперед мне на исповедь ходить не для чего".

Да, вот так! Яно был Яно, жил среди природы, но и ради природы. Случалось, конечно, иной лесник и оценит Яно или хотя бы в чем-то поймет его и простит. Однако таких было немного. Ну а другие видели в нем лишь браконьера. А Яно, что греха таить, и впрямь браконьерствовал, он этому ремеслу еще в детстве обучился. Сперва к его услугам была только рогатка: бил по воробью, по синице, по щеглу, когда и по зяблику, по сорокопуту, а то и по удоду или ремезу; а однажды он подобрал на дороге камешек для куропаточки, а уж потом стал разби-

раться в камешках: выбежит перед ним стайка куропаточек, так одна непременно падет как подкошенная. Правда, иной раз он бил по ним уже в воздухе, и тогда рогатка его оказывалась посрамленной. Яно, однако, не терялся: отыскивал в терновнике куропаточьи стежки, расставлял проволочные силки, а уж потом приходил туда за добычей. Однажды глазам своим не поверил: батюшки, фазан попался. Должно быть, слишком высоко силок приладил.

Разумеется, такое бывало в поле, но ведь мы уж сказали, и в лесу он был как дома: грибы, малина, черника, выглядывал даже зайца. Да что зайца, его-то он мог и в поле встретить, и даже много чаще, но здесь, в лесу, откуда ни возьмись — косуля, и до чего ласково на него смотрит, и при этом еще жует. И как занятно жует! Отрыгнет и по второму разу жвакает! Черт подери, Янко, пошевеливай-ка мозгами, хорошо бы эту косулю и вблизи рассмотреть.

Ах да, еще и кукушка! Мы чуть было о ней не забыли. А кой-кому ее могло б недоставать в книжке. Кукушка: ку-кук! Вот уже и она здесь. С кукушкой Яно всегда дружбу водил. Не раз она его и подбадривала: "Иди, Яно, не робей, лес большой, и на тебя хватит!" Ну и еще, конечно, иволга! Но про иволгу вы уже знаете. Иволга познакомила Яно с женой.

21

Ну а Филоменка-то как? По правде сказать, у нее было из-за чего на Яно сердиться. Счастье еще, что она не была бог весть какая гневливая и многое прощала ему. Но все равно порой не выдерживала и целый день, а то и два с ним не разговаривала. Уж Яно к ней и так, и сяк подъезжал, старался даже из леса что-нибудь принести, только много ли принесешь из леса? Чаще всего ничего, но по весне иной раз — букетик. Экой дурень, ведь это же только первоцветы! А летом — лиловые колокольчики. Ах ты, Янко-дурачок, колокольчики мне таскаешь? Я весь день в винограднике землю мотыжила, а ты в лесу колокольчики собирал, по лесу колоколил! Будто мне одного такого колокольчика не достаточно? В доме ни полушки, а у тебя в голове одни трали-вали! Осталось у нас после свадьбы немного вина, можно было за него какую кронку выручить, но, кабы я и выручила, она б давно в трубу вылетела. А фасоль ты продал.

— Уж это неправда.

— Нет правда. Продал фасоль, да ломаного гроша за нее не принес. Наверняка какой-нибудь корчмарь от души потешился.

Но случается, Яно притаскивает из лесу целую прорву грибов! А иной раз большую вязанку букового или грабового сушняку. Тогда Филка бывает довольнее.

А как-то раз из дома вдруг исчезают часы. Вздумала Фила в одно прекрасное утро посмотреть на часы, а их будто и не было.

— Послушай, Яно, что это значит? С кем ты опять вином зашибался? Куда часы дел?

— Да в починку отдал.

— Чтоб тут же назад их принес. Я в твоего починщика не верю.

Из-за часов и поссорились. Филоменка даже расплакалась. Яно огорчился.

— Филка, я же знаю, что эти часы у тебя от родителей. Но бояться тебе нечего, я их не спроворил. Они в городе, ей-ей, в городе. Разве я виноват, что там у меня комната? Это ведь и твоя комната. Повесил я их на стену, чтоб в городе о времени не забывать.

Сразу же на другой день Филоменка пошла в город, убедиться хотела, правду ли он говорил.

На этот раз Яно и впрямь не обманывал. Часы висели в его городской комнате. На них по-прежнему была лишь одна стрелочка — да что с того? Часы есть часы. Фила хотела их взять. Но Яно стал ее отговаривать:

— Филка, оставь их! Ведь теперь это и твоя комната. Иной раз придем в город, отдохнем, даже переночуем здесь, а утречком будем знать, который час.

Фила возразила: на что, мол, им эта комната.

— У меня своя есть. Две комнаты держать нам нет смысла. А эта-то — до чего уж никудышная каморка, коли имеется у тебя какой дружок-дурачок, что захочет тут поселиться, отдай ему ее по-доброму.

Яно опешил.

— Филка, да понимаешь ли ты, что значит найти в городе комнату, и еще такую! Я же тут могу жить почти на даровщинку. За квартиру я вообще не плачу. Вместо платы принесу фазана, а иной раз и куропатки хватает.

Часы остались в городе. Под конец-то и Фила рассудила, что две комнаты, пусть одна беднее другой, — это все же две комнаты, и, коли нету с ними забот, почему бы их и не оставить? Яно — городской человек, со временем, глядишь, и из Филы получится пусть не совсем, но хотя бы отчасти горожанка, с весны до осени они могут жить в деревне, а как по осени соберут урожай, могут переселиться и в город, зимовать там, но правда — разве что зимовать!

22

Конечно, разговоры остаются разговорами! Пробегают два-три месяца, урожай уже в бочках — с чего бы теперь переселяться в город? А бочки — их тоже туда перетаскивать? Заявит-

ся зимой покупатель, станет вино спрашивать, ну а не будешь жить в деревне или не будет у тебя бочек в городе — кукиш с маслом продашь! Мало того, Яно и дров не натаскал в городскую квартиру — черт возьми, неужто им с Филой еще и дрова в город перетаскивать?

— Начхать на город, — говорит однажды Яно. — Ей-ей, я вполне к деревне привык.

— А я что тебе говорила? — Фила сразу светлеет. — К деревне человек легко привыкает.

— Плохо только, что теперь работы не сыскать. Куда зимой податься? Сколько мужиков даже летом работу не нашли, уехали в Америку, в Канаду, во Францию. Два года назад я тоже об этом подумывал. Не женись я и достань денег на пароход, давно был бы в Америке, а то, глядишь, и воротился бы уже и знай долларами позвякивал.

— Тебе зазвякать ничего не стоит! Надо было ехать, отчего ж не поехал? Ведь некоторым даже денег на проезд предлагали. В Америке и в Канаде дураки еще как требуются. Только ты билет враз бы пропил, поэтому тебя не позвали, поэтому ты не поехал.

— Тоже скажешь! Во Францию мне и билета на проезд не понадобилось бы, туда ведь рукой подать! Захотел бы — и пешком туда бы дошел. Да мне плевать на них.

— Ясное дело, плевать. Кабы хотел работать, может, и не плевал бы.

— Ты чего языком плетешь? Разве я мало спину гну?

— Зато и зашибаешь не меньше.

— А кто не зашибает, скажи? Ты хоть разорвись в винограднике, а что за это получишь?

— Столько же, что и остальные. Виноград. И вино. И то и другое. А за вино — денежки.

— А где оно у тебя? Покажи!

— Чего тебе показывать? Прошлогоднее вино один ты и вылакал. А чтоб с нынешнего урожая я тебе показала — не дождешься!

— Вот видишь!

— Я ничего не вижу.

— И я ничего не вижу. Прошлогоднее вино свадьба вылакала.

— А что свадьба не допила — ты выдул.

— Выдул, выдул! Ну допил, правда. А не допей я, думаешь, его кто купил бы? Нынче вино как-никак есть, а покупатель где?

— Тебе-то что до него? Подожди! Подожди — и увидишь!

— Приходится ждать. Однако и я в этом деле кое-что смыслю! Ну что ты получишь, что ты можешь вообще получить? Думаешь, придет хороший покупатель? А если и придет, думаешь, даст тебе хорошие деньги? Видали таких господ! Дешево

купить, подороже сбыть! А потом еще возвращай им грош за какое-нибудь гнусное пойло?

— Не пей!

— А я и не пью. Но работать — и не пить, да еще досыта не поесть — это и впрямь великая, знатная мысль! Наверняка она осенила какого-нибудь большого, то ли шибко умного, то ли глупого, господина. Толковый человек с такой мыслью навряд ли может смириться. Право слово, лучше бы мне город подметать! Жди, жди, только и делай, что жди! Кого и чего? Хоть бы корова была! Или хоть какая поденщина! В виноградник снегу навалило, теперь туда с вилами или мотыгой не попрешь!..

23

Когда зима посуровела, успев до этого или между тем завалить деревню снегом так, что и выйти из дому было нельзя, Яно решил навестить родню.

Впрочем, выйти, конечно, можно было, выйти всегда можно! Самое трудное — сделать первый шаг, а уж когда сделаешь второй, третий, а там и четвертый, да вдруг найдешь лопату или метлу — пожалуйста, только бери и отгребай или отметай снег на здоровье! А то просто убедишься, что можно дальше идти. Право слово, перелезешь и через суметы, протопчешь тропку. А там-то и обнаружишь, что в снегу тропок этих не перечесть! Найдешь тропку куда захочешь. Вот и не диво, что Яно тоже нашел тропку к Филиному брату, или же к шурину.

Шурин был дома. Только дома была и его жена, и та, едва завидев Яно, сразу же подняла крик.

Яно на иное приветствие и не рассчитывал.

— Не блажите, люди, зачем кричать? Мы все же родня!

Но в этом доме словно бы уж наперед заготовлены были шпильки и иголки и даже, может, дубинки. Невестка запросто могла бы играть в театре или в кино чахтицкую госпожу.

— Ну-ну, не примазывайся к нам! — кричала она на Яно. — Мы в такой родне не нуждаемся! Мало ли у нас в доме всякого дубья-батожья, нам что, к нему еще такой Ян-чурбан требуется? Пошел куда подальше! Другой раз сюда не суйся, лучше стороной наш дом обойди!

Напрасно пытался Яно ее убедить, урезонить. Да разве долго так выдержишь? Убрался восвояси несолоно хлебавши.

24

А день-другой спустя опять туда наведался.

— Люди добрые, хотите, нет, а мы все равно родня. Со всей деревней живу в добром согласии, а с вами грызться прикажете?

Жена шурина уже поменьше ворчала и цеплялась к Яно, но ласкового слова так и не нашла для него.

Правда, его не очень-то это заботило. Хаживал к ним довольно часто. С шурином можно было поладить, хотя и он обыкновенно ронял слова с оглядкой. Видать, жены побаивался! Потому что, когда ее не было дома, враз становился веселее, и разговор оживлялся. Даже иной раз нацеживал для Яно вина в стаканчик. Однажды, когда оба набрались как следует, Яно сказал ему:

— Шурин, какие могут быть гневы? Родню-то человек не выбирает. Хоть я вам, может, и не нравлюсь, но я к вам со всем уважением. Негоже нам друг на друга век злобиться.

— Янко, ты, пожалуй, прав, — согласился с ним шурин.

— Родня мы или нет? — наседал Яно.

— Ясное дело, родня. — Шурину снова пришлось поддакнуть. — У меня есть промашки, у тебя промашки, надо в них признаться, но и простить друг дружку, ты точно говоришь.

— Значит, прав я?

— Прав. И моя жена это понимает. Но жены, сам знаешь, — жены есть жены. На жену не след обижаться.

— Упаси боже! Упаси боже, шурин!

— Но и то сказать, встречаются промеж них стервы. Иной раз собственная баба на меня страху нагоняет.

— Правда?

— Истинная правда.

— Иной раз вредничает?

— Эта бы — да не вредничала? А в общем-то она не плохая, нечего тебе ее бояться. Увидишь, со временем она к тебе привыкнет, глядишь, и полюбит тебя. Промашки у каждого есть, Янко, я ведь и то знаю, что жить с Филой тоже не мед. Понятия не имею, что она тебе про меня говорила и что ты сам думаешь, но я ей не завидовал, никогда не завидовал. Не обижайся, что я об этом говорю. Хотя моя жена и брюзжит, Фила этот виноградник заслуживает! Знаешь ведь, какая она, и знаешь небось, что у тебя не будет с ней легкой жизни. А впрочем, почему бы и нет?! В конце-то концов, почему нет?!

— Мы с тобой понимаем друг друга?

— Понимаем.

— Разве Фила плохая?

— Не-е, ей-богу, не плохая! Я говорю так не потому, что мы уже малость выпили или что я хочу тебя как-то заморочить, но Фила моя сестра, и ты ее уже знаешь. Вот те крест, Янко, нечего тебе бояться!

— А я и не боюсь, шурин.

— Янко, или зять мой, чтоб мне тебя и словом за зятя признать, я рад, что ты так говоришь. Фила очень хорошая женщина! А мы, ежели в чем и спотыкаемся, должны исправиться. Греш-

ков должно быть как можно меньше. Это и ко мне и к тебе относится. Или думаешь, я не знаю, что мы с женой оплошали? Даже на свадьбу к вам не пришли. Но что было — уплыло, ты должен простить нас.

— А разве плохая свадьба была?

— Кто говорит, что плохая? И хорошая, и веселая. Вся деревня тогда веселилась, только нам с женой было невесело. Мы уж давно в этом раскаялись. Люди нас тогда и осуждали. Не бойся, Янко, и моя жена это знает. Да она вовсе не такая уж плохая. Каждая баба — она и плохая, и отчасти хорошая.

— Ну а нам-то что надо? Шурин мой, Йожко, главное — что мы понимаем друг друга. Если хочешь, налей мне еще чуток!

Но и в дальнейшем жизнь Яно мало радовала. Ему все время чего-то недоставало. Хотя уже и в виноградниках работы хватало, а он знай чего-то искал, все пытался найти для себя какое-то другое занятие. Только где и какое? Кто бы потрафил ему? Пожалуй, он и впрямь годился только в лесничие; иногда он и сам об этом говаривал. Может, тогда бы даже этих зайцев, куропаток и другую дичину по полю и по лесу так не гонял. Ведь в природе всегда всего вволю. А Яно умеет быть и заботливым, ловок в лесу и ручей очистить, и там-сям, за недостатком воды, углубить или расширить вымоинку, чтобы зверю было где напиться. А коли уж не лесничим, так по крайней мере лесным или полевым сторожем мог бы подрядиться; но при этом, конечно, он мечтал об огромном охотничьем угодье, где водилось бы много фазанов, зайцев, куропаток, перепелок, а возле этого угодья хотя бы кусок лесного урочища, оттуда выбегала бы и крупная дичь. И уж в этом угодье действительно никто бы не браконьерствовал, зайчишка и то не пропал бы, потому что Яно есть Яно, он знает всех браконьеров и знает, что найдутся среди них и такие, что ходят в лес не только затем, чтоб воровать, но и приносить кое-что, и главным образом зимой, когда в этом самая большая нужда. Что с того, если приношение подчас и попахивает краденым? Чего еще приносить, коли нет у них собственного? От этой малости корма крестьянин не обеднеет, а зверю по крайней мере не придется лютыми зимами деревца обгладывать. Вот и выходит, что у Яно все равно есть угодье, да, у него есть свое угодье, и он о нем тоже печется, ну а раз нету ружья, возьмет да поставит силок. Мать честная, сколько же силков в округе! Фила голодать не будет, это уж точно!

Ну а лето — что значит лето? Для кого это только виноградник и надсада на нем. Но ведь с виноградника не трудно и в лес стрекануть. А чтоб люди не заприметили, что Яно не очень-то задерживается в Филином винограднике, он нанимается лесным

сторожем. И сразу же все, действительно все принадлежит ему. Овощей натаскает, бобов накрадет, а куропаточку просто подстережет: "Поди-ка сюда, куропаточка!"

Люди, однако, начинают на него жаловаться: там что-то оборвал, тут что-то пропало, клубника, мол, и цвела, и росла, и уж было созревала, да не созрела; крыжовник сам по себе обобрался; и лук исчез, как сквозь землю провалился; у фасоли, еще зеленой, стручки оборвали, а лупин понапрасну взяли да расхлопали. У кого-то повытаскивали почти всю картошку; холмики-то остались, и ботва на холмиках, а под ботвой — ничегошеньки. Ну надо ли было окапывать, надо ли было окучивать?! И несколько снопов жита у кого-то пропало. Куда они подевались? Да и фазанам, перепелкам и куропаткам тоже, видать, здорово досталось!

А сторож, спрашивается, для чего? Разумеется, многое от его глаз не ушло. Сам-то он не сказать чтоб таскал, нет, почти ничего, а то и вовсе ничего не таскал. Только, может, поднял иной раз кое-что, да и примечал, как другие иной раз кое-что подымали — но они-то ведь были с ним одного поля ягода! Он и ребятню замечал: одни волокли снопы, другие — полнехоньки сумки фасоли, а кто в поле и картошку пек. За лупин он их пропесочил, хотя и сам потехи ради парочку стручков расхлопал. Разве дети виноваты, что по лупину так славно лупить! Что говорить, лупин и правда впустую пропал, но не бежать же ему из-за лупина жаловаться на мелюзгу! Все равно некому было бы за это платить. А крыжовник — тот и вовсе продавался на рынке, да совсем по дешевке. Малость даже ему от крыжовника перепало. А с клубникой как быть? Знаешь, коли вздумал воровать клубнику, иди на дело ночью, да еще надень белые рукавички, чтобы знать, какая ягода спелая. Только где она теперь, клубника? Не сегодня завтра снова уже помягчеют первые виноградные гроздья, да уж и теперь помаленьку мягчеют, эка важность, если кто-то из тех, у кого нет своего винограда, кто не копал, не мотыжил, не опрыскивал, начал уже помаленьку-полегоньку собирать его — и даже умудрился бочонок наполнить? В деревне-то уже кое-чем потягивает, и винных мушек до черта, даже лишку, пожалуй. А сторож неужто ничего не почуял, ни о чем не проведал? Для чего тогда у него этакий носина? А глаза для чего? Да и вообще на кой ляд такой сторож?

А Яно есть Яно, он сторожит и не сторожит — разве усторожишь все? — да еще за голодранцев вступается, защищает их и украдкой, похоже, смеется, что они поотаскивали в свои каморки то, чем богатый хозяин собирался запастись на зиму. Что ж, Яно, ничего не попишешь, придется тебе распрощаться с должностью!

25

Яно раздосадован. Не жалует он деревенских — и ничуть этого не скрывает. Куда ни пойдет, всюду честит их. Но больше всего своими речами Филу донимает.

— Знаешь, Филка, я люблю природу. И с деревней я уже свыкся, но деревенских на дух не выношу. Есть, конечно, среди них и хорошие люди, но много и погани. Ей-ей, эти поганцы за ягоду либо за орех готовы тебя в суд потянуть или в церкви, будто великого грешника, под неугасимую лампаду поставить. Они способны ребенка убить из-за морковки или помидорины, пусть бы даже этой помидорине суждено сгнить в поле. Виноградинкой дорожат больше, чем человеком. И выпить дадут, и кусок хлеба отрежут, но, стоит подуть ветру с другой стороны, у всех враз мозги набекрень. Рассвирепеют из-за глупости — и со злости мигом в драку, вот те крест, ни за что ни про что прибьют! Не сердись, Филка, уйду я отсюда, твоего винограда и то мне не надо.

— Не блажи, дурень! Чего болтаешь? Уходить отсюда надумал? Да ведь вот-вот будет новый урожай!

— Урожай возьмем себе, а виноградник потом пускай хоть черту достанется!

— И не думай! Правда, Яно, пустое говоришь! Виноградник-то у меня — от родителей. Мое наследство. И эта горница. Матушка велела все на меня переписать, потому что любила меня, может, даже больше, чем Йожо, ну и потому что я такая, какая есть, и что такую меня выходила.

— Ну и что?! Филка, я городской человек, и у нас с тобой в городе комнатка. А теперь — теперь уже и ты в городе как дома, зачем нам этот виноградник? Только зря в нем надсаживаемся. Не гожусь я для такой работы. Бедному все равно продать вино некому. Виноград, видать, только для богатых или для дураков. Продай виноградник и свою горницу, вот и заживем с тобой на эти деньги.

— Наследство продать? Ни за что! Никогда этого не сделаю.

— Не будь глупой, Фила! Можешь ведь родне продать. Увидишь, как твой брат на наследство клюнет. Невестка тебе еще и руку поцелует. Угодишь им — как еще ни разу в жизни не угождала, а они в свой черед и нам добро сделают. Будут деньги, куплю ружье, и зайцы, как свистну, целым взводом прискачут ко мне. Куропатка упорхнет, лишь когда Яно позволит. Увидишь, Филка, одно мясо будем есть!

Фила долго упиралась. Изо дня в день толковали об одном и том же. Но в конце концов Яно уговорил ее.

Они продали виноградник и горницу и перебрались в город.

26

В городе Яно и впрямь был как дома. Каждого знал. И много друзей там было. Только что с того?

Денег не хватало. Не хотелось родным продавать слишком дорого. Да если бы и подороже продали, вряд ли бы это их выручило. Не умели, не научились они толком хозяйствовать. Фила, пожалуй, кое в чем еще смыслила, но Яно всегда выставлял себя лучшим хозяином, вот и не диво, что Фила позволяла ему взять верх над собой, хотя и понимала, что Яно не прав, — да куда денешься? У нее никогда не хватало духу подолгу с ним спорить: она была мягкого, уступчивого нрава, ну а Яно как-никак ее муж! Зачем же счастье свое с ним портить.

Счастье! Они купили себе новый стол и подержанную кровать, потом пару кастрюль и две-три ложки, а Яно принес даже глиняный противень. А ну как им гуся захочется? На противне гусь лучше пропечется. Яно купил и новый зеленый костюм и сказал, что это, дескать, к ружью положено, ибо тот, кто хочет носить ружье, должен сообразно тому и выглядеть. А иначе какой угодно босяк, замарашка щеголял бы с ружьем. Ну а дальше он начал потихоньку тянуть из оставшихся денег якобы уже на ружье, однако всякий раз на покупку какой-то малости недоставало. Пришлось, должно быть, потратиться и на протекцию. Без протекции разве к ружью подберешься? Не то что охотники — зайцы и те будут над тобой потешаться.

Однажды Яно обнаружил, что от денег осталось одно воспоминание. Сперва он не мог в это даже поверить. Еще и на Филу рассердился.

— Черт знает! Как же так получилось? Где они? Куда подевались? Ведь мы ничего особенного и не покупали.

— Как так? Покупали. И ты из них помаленьку потягивал. Якобы на ружье и на заручку, да и на мясо. Еще поговаривал, что этим ружьем и заручкой мы мясо как бы наперед оплачиваем. А вот видишь! Теперь и противень не понадобится.

— Отчего же? — Яно, хоть и донельзя раздосадованный, стал понемногу приходить в себя. — Ты противень не трогай!

И вот настал день, когда он принес ружье. Верней, не ружье, а какую-то рухлядь довоенного образца.

— Вот оно и дома.

И с того дня он только и знал, что возился с ружьем, а про угодья свои и думать забыл. Если до этого он кое-где и порасставил силки, теперь их давно и след простыл. Куропатка или заяц, должно быть, достались какому-нибудь прощелыге, а Яно все чинил ружье да чинил и постоянно что-то разыскивал. Ружью якобы недоставало какой-то важной детали. А потом он оттащил из дому новый стол — шут знает, что еще добавил к столу, — и деталь эту принес, а к ней еще и старый военный бинокль.

Но, видать, жандармы уже наперед о нем все проведали. Только вышел он с ружьем из дому, они и потопали следом. Схватили его, отобрали ружье; он с биноклем топал еще где-то в поле, а ружье уже покоилось в жандармском участке.

И это ружье они уже никогда ему не вернули.

27

Яно злился на жандармов, но насолить им ничем не мог. Даже пожаловаться было некому. Может, сходить в магистрат? Хотя там над ним только потешатся. И все-таки, подумав немного, он пошел туда. Ведь он же снова работал уборщиком при магистрате, знал там всех чиновников и, наверно, немного надеялся, что кто-нибудь из них заступится. Как бы не так! Никто толком его даже не выслушал.

Рассердился он еще пуще — правда, на сей раз уже на чиновников.

— В бога душу, так вы, стало быть, вот как! Еще надо мной потешаетесь! Плевать мне на ваш город и на ваши тротуары. Сами их песком посыпайте! И на вас плевать! Сами город подметайте.

И он перестал подметать. Правда, потом и пожалел. Не стоило, однако, так кипятиться! Другой-то работы не было. Копать и мотыжить на виноградниках всегда наваливало полно людей с севера, а среди них встречались истинные великаны — куда уж было Яно угнаться за ними! Виноградарь только и делал, что выбирал работников. И из этих северян всегда десять-двенадцать, что оставались без поденки, рассиживали целыми днями вокруг святого Флориана. А отобранные счастливчики надрывались до седьмого пота. Потому что богатый виноградарь хоть и был дурак дураком, а котелок все же варил у него: приглядит он среди мужиков самого дюжего, сунет ему крону сверх обещанного и шепнет: "Ну-ка, давай, жми!" А потом подходит к другому силачу и так же тишком: "Вот тебе литр вина, никому ни слова, только ты уж давай, поднатужься!" Обделывал он такую штуку с двумя-тремя, и те, ничего не ведая, лезли из кожи вон, чтоб переплюнуть друг друга; кто послабей, отставал или вовсе отчаливал, а оставшиеся все равно всегда получали меньше, а то и совсем ни гроша, так как из-за страшной усталости до времени уходили с работы.

Мог ли Яно с такими тягаться? Его только и хватало на то, чтоб сходить в лес по грибы либо косулям соли притащить. А то ждать в поле, покуда перепелка или куропатка снесет яички — и из этих яичек разбежится-разлетится молодняк, да и подрастет немного. Яички и птенцов Яно умел охранять. Вот только заяц кидает своих детенышей уже в марте, иной раз даже в кон-

це февраля, то есть в самые что ни на есть холода; кто может знать, сколько в канун весны зайчат погибает! Но уж тот, что до лета допрыгает, дорогого стоит. Такой зайчишка, выпрыгнувший из холодов, уж может потом позволить себе в лесу и в поле быть разборчивым. Он ест одни лакомства, но, конечно, только до тех пор, пока не угодит в силок. Вы думаете, Яно об этом не знает? Но разве можно Яно за его силок осуждать? Ведь и не всякий человек рождается к лету или хотя бы для теплой, радушной горницы, иного холод обдает уже в колыбели или еще до колыбели, и он, покуда растет, а там уж и старится, все время ворчит и хворями мучится, и, даже зная, что то или се должно быть таким или этаким, он все равно иногда, а то и всегда поступает немного иначе; разумом он все сознает, а вот сил или, верней, характера у него не хватает на то, чтобы поступать как положено, и временами даже в богатом краю или в теплой горнице ему бывает очень-очень паршиво; в теплой горнице и то он постоянно чувствует холод, понимая подчас, что холод этот от него же и исходит, сам-то он хочет испускать тепло, а вот никак не получается. И совсем ему невдомек, что это потому, что еще в детстве или в молодости на него пахнуло холодом...

28

Однако Яно не унывает! "Да пропади они пропадом, все эти господа! — говорит он себе. — С голоду я не помру".

И он снова доволен и весел. Случается, и заворчит, но ворчаньем никого не обидит.

Нет-нет да и принесет домой куропатку или фазана, а тогда ему и пошутить охота. Не с куропаткой и даже не с фазаном. С Филой возьмет да пошутит. Но Фила замечает это только на другой день.

— Яно, дурень набитый, отчего ты такой глупый?

— В чем дело? Что стряслось?

— Небось знаешь — что. Башмак у меня полон песку. Почему ты мне песок в башмак сыплешь?

— Я тебе в башмак песок сыплю? Где ты его набрала?

— Где набрала? Нешто это в первый раз? Ты мне его набрал.

— Не выдумывай! Только не выдумывай! Эге, мне уже ясно! Знаешь, откуда этот песок может быть? Наверняка с твоего виноградника. Ей-богу, только там ты могла его набрать!

— Экой негодник, коли не прекратишь, я убегу от тебя! А виноградник лучше не поминай! Это ты его по ветру пустил.

— Как по ветру? Он же в своей семье остался. Шурин доволен, невестка притихла, ну скажи, что у них есть? Заботы да детей куча. У них только дети кричат.

— И у нас могли бы кричать.

— Навряд ли.

— Навряд ли! Дурачина, а зачем же мы поженились?

— Думаешь, ради детей? Сперва, может, и да. А теперь — дудки, кукиш с маслом! Не позволю себе детей иметь! Ты, видать, газет не читаешь, ясное дело, не читаешь. Похоже, скоро опять будет война. Гады уж чужих детей поджидают. Вот что они у меня получат! Кучу дерьма получат!

29

А как-то раз он положил ей в один и в другой башмак по камешку. И Фила, найдя камешки, опять на него напустилась:

— Послушай, Яно, тебя это все еще забавляет?

— Что меня забавляет? Что может меня забавлять?

— Ты чего сунул мне в башмак камушек?

— Что ты опять выдумала? Сдурела, что ли? Может, другой кто. Скорей всего, какой-нибудь ребенок. Наверняка он.

— Какой ребенок? Ведь у нас нету детей.

— Чужой ребенок. Какой-нибудь озорник. Видать, и малолетки к войне готовятся. Кто-нибудь стрельнул из рогатки, да в открытое окно прямехонько в твой башмак и влетело.

— Ведь у меня два камушка.

— Ну а что тут удивительного? Он мог двумя камушками выстрелить. Натянул рогатку и — р-раз, прямо в окно. Один камушек попал в один башмак, другой — в другой. Чему удивляться? Я ведь тебе уже вчера говорил, что люди к войне готовятся.

30

И Яно действительно не ошибался. Вдруг разнесся слух, что правительство объявило мобилизацию. Об этом пишут в газетах, говорят по радио, оповещают городские, а по селам и сельские глашатаи.

Народ испуганно мечется, женщины причитают: "Господи боже мой, опять война?"

А может, нет, во всяком случае — не у нас; мобилизация — это ведь только серьезнейшая проверка боевой готовности, но, как объявят ее, враз душа в пятки уходит — она ведь никогда не предвещает ничего доброго.

Призвали и Яно. Было это в сентябре, как раз в пору виноградной страды. Он заворчал, зачертыхался, а потом повздорил с Филой, словно она была во всем виновата.

Фила рассердилась, но и напугалась сильно, хотя старалась не показать виду. Даже потом, когда Яно уходил, сказала с подковыркой:

— Уже идешь? Ну ступай, ступай, чертяка старый! И скажи им, пусть тебя отправят подальше. Ты у меня уже вот где сидишь. Увидишь, сколько я всего накоплю, пока тебя дома не будет.

— А с чего? — подтрунил над ней Яно. — Уж не с твоего ли виноградника? Брату надо бы виноградник тебе на время отдать. Его ведь тоже призвали. И разлюбезной твоей невестушке при детях ой как придется крутиться.

— Ты-то хоть теперь не подкалывай! Будет плохо — враз пойду подсоблю.

— Так уже сейчас плохо. Подсобишь ей или не подсобишь, ни она с твоей помощью не разбогатеет, ни ты с ее.

Яно был уже в дверях. Фила, испугавшись, что он с ней вообще не простится, побежала следом.

— Постой ты, олух! Простись хотя бы со мной!

Сперва он чуть поколебался. Потом загоготал.

— Ну вот! — Он обнял ее обеими руками и, все еще смеясь, сказал: — Не бойся ничего, Филка, сам черт меня не возьмет! Сразу, как приду в казарму, сопру одеяло и по почте тебе вышлю.

— Спятил, что ли? Ничего не посылай! Выкинешь какой-нибудь номер, озлятся на тебя и враз на передовую пошлют. Еще потом будут и меня допрашивать.

— Так у меня же ружье будет, кто отважится ко мне подступиться?

— Не лезь на рожон! Зазря-то не высовывайся. И уж ступай! Да гляди по дороге никуда не заворачивай! Не то, как припоздаешь в казарму, ни одеяла уже не пошлешь, ни на передовую не попадешь. А за меня не тревожься! Я-то за тебя не тревожусь, потому что с такими прохвостами и охальниками никогда ничего не случается...

31

Не долго отсиживался Яно в казарме. Выдали ему форму — и топай, иди границу охранять! Если бы хоть свезли туда! Так нет, господа военные опять-таки отнеслись к этому по-старомодному: сперва-то по рельсам, по шпалам, а потом пехадралом! Счастье еще, что жители моравских и чешских деревень и местечек сострадали солдатам и понемногу о них заботились: тут воды поднесут, там яблоко, а то пирожок или лепешку. Армия, хотя и усталая, с отбитыми и содранными ногами, благополучно подошла к западным границам.

А дальше что будет? Каждым овладевала тревога. Отдохнем? Или сразу же заварится каша?

Расквартировались по деревням. Кому везло — получил ме-

сто в амбаре или в хлеве, а кто и в каморке. Солдат умеет малым довольствоваться! Заметит стог соломы — и сразу радость: "Ура! Высплюсь в стогу — чего лучше!"

Только разве это ночевка! Что ни минута — тревога или учения. Господа военные, должно быть, знают, что солдату лентяйничать никак не положено.

А потом — ничего. Одно ожидание. Тревоги и те прекратились.

Вдруг кто-то выпалил: "Все нужно сдать! Ружья, форму, каски, одеяла и даже портянки! Нас якобы французы и англичане предали, с Гитлером-де столковались, а мы одни с немцами не управимся. Все нужно сдать, и марш по домам!"

32

А Яно еще и дома ярился:

— Язви их в душу, и это называется армия? Сперва ура-а, а потом хана?! Офицеры поначалу надувались от спеси, а потом перетрухнули почище простого солдата. "Сдать, все сдать, чтоб даже булавки ни у кого не осталось". А для кого сдать? Уж точно для Гитлера. Гитлера испугались. На кой ляд такая армия? Я ведь там даже одеяла не успел свистнуть. И это считается армией?

— Янко, да плюнь ты на одеяло! — успокаивала его Фила. — И я ведь тоже ничего не скопила. Ну и ладно. Главное, что ты целехонький домой воротился!..

33

Только делать-то что, где работу найти? Человек все-таки одним воздухом сыт не будет. Зайти, может, в магистрат и узнать, не возьмут ли Яно туда снова рабочим? Попроситься, может?

И думать нечего! У Яно своя гордость есть, а подчас и немалое упрямство. К счастью, на какую-нибудь завалящую работенку всегда можно набрести. Приедут, например, из лесничества и скажут: "Яно, у нас мало людей, нас одних на все не хватает, а вы вроде бы наш человек и все угодья в округе знаете, не могли бы вы обойти кормушки и куда нужно немного свежих веток и сена поднести?"

И Яно возьмется за это. Заработать-то много не заработает, но, уж коль он в угодье, притащит, разумеется, зайца и скажет Филе:

— Нашел его. Какой-то негодяй там силок поставил. Но уж раз заяц попался, не оставлять же его там.

34

Зима пробежала, снег стаял. На улице дети выкопали и поутаптывали ямки, играют с глиняными шариками.

Как-то раз прибегает Яно домой.

— Филка, знаешь новость? У нас самостоятельность! Мы уже не Чехословакия, а Словацкая республика. Слышишь колокола? Послушай!

— Колокола-то слышу, да что с того? Колоколят, Янко гонят! Хотя тебя и зовут Яно, нечего пока тебе выставляться.

— Филка, ведь у нас самостоятельность! С нынешнего дня мы все господа! Гитлер нас жалует!

— Сатана этот?

— А нас жалует! У нас и новый словацкий президент! А, тебе этого вообще не понять!

— Дурень ты дурень, лучше б ты одеяло либо какие консервы принес.

35

Яно пошел самостоятельность спрыснуть. Хотел, наверно, и потолковать о ней с кем-нибудь из умных людей.

Однако дело кончилось плохо. Похоже, он выпил больше положенного, а заплатить было нечем. А может, и было чем, ведь, в конце-то концов, и кто-то другой мог за него заплатить, а он, желая, верно, отблагодарить того речами, разглагольствовал так, что оно и не пришлось кому-то по душе. И кто-то его там шарахнул — да как следует. Яно пришел домой весь искровененный.

— Черт побери, и это свобода? Вымолвишь слово, и тебе тут же за это норовят зубы пересчитать?! Плевал я на них! И на их свободу, и на их самостоятельность!

36

А вот чего жалко, так это одеяла! Яно о нем еще не раз вспоминал. Обидно, что вовремя не удалось его свистнуть.

А, собственно, для кого эти одеяла пришлось бросать? Не иначе как для немцев! Чтоб им было во что завернуться, особенно позднее — под Сталинградом. Там у них уже ни черта не было, кроме холода, голода и страшной тоски. Еще бы! Сперва все порушили, сокрушили, извели, а дальше что? Обратиться не к кому, попросить не у кого! Боже праведный, сколько же невинных людей они загубили! Кто же после этого даст им хотя бы печурку для обогрева? А куда было деваться? Увязли там и

знай только ждали и ждали: бензина, нефти, а главное, пищи; лошадей-то всех уж подъели, тишком ли, в открытую, надо же было выдержать, выдержать хотя бы до тех пор, покуда они не получат посылку от Гитлера. Но Гитлер через Геринга и его Luftwaffe[1] слал в ящиках и мешках патроны, снаряды, гранаты, мины для минометов. Да и этого было мало — не хватало бензина, экразита, динамита, фосфора и самого главного — пищи. Ноги уже не таскали отощавших солдат — похожие на мертвецов, они ползали по снегу и искали посылки, что шли через Геринга и зачастую падали совсем не туда, куда надо. А если, случалось, солдаты и натыкались на них, то находили там одни железные кресты и всякие прочие военные регалии. Озверев от отчаяния, они сжимали в зубах ножи и зубами же оттачивали эти ножи и штыки, готовые ими пырнуть или зарезать любого. А когда наступало, как им казалось, затишье, они кутались в брезент или в свои одеяла — иные из одеял и впрямь были доставлены из протектората Böhmen und Mähren[2]; по ночам им чудился кошачий ор — они страшились кошек и страх до чего хотели их съесть; тогда там все было объято страхом, и те кошки вовсе были не кошки, а ночные страшилища. Это солдат, видать, устрашали люди, убитые ими! Гитлер всех тогда подмял под себя, верно, уж такая у него была страшенная задница. Да и у генералов его и маршалов, что были у него вроде епископов, зады были таких же размеров — они тоже помогали ему мир под себя подминать. Взять хотя бы Геринга: у того зад был и впрямь страшенный, а уж брюхо — того страшней. Он мог где угодно улечься на изрытую землю — потом она вся оказалась изрытой и искровененной, даже в Германии, -- лежать на земле и высматривать в небе эту свою "люфтваффе". А вот доктор Геббельс, так тот знай разглагольствовал; он был страшно махонький, а такие — должно быть, оттого, что господь бог не дал им страшенного зада, — страшно любят болтать и страх до чего верткие. В заду у них вертушка, и как начнет она раскручиваться, из глотки у них так и хлещет, так и хлещет. А обыкновенные люди, бедолаги, гибнут и гибнут! Немцам хотелось все подмять под себя, но вот под Сталинградом страшенная задница стала вдруг ужиматься. Гитлер исхудал, даже сна лишился; он специально носил щегольскую фуражку и поминутно стягивал ее на глаза, чтобы его генералы и маршалы не заметили, как они у него замутились. Еще бы: он весь мир замутил и запакостил как нельзя более! Чему же удивляться, что его солдаты так страшились кошек, особенно их воплей и мяуканья! Немного погодя у них уже все визжало и мяучило, в животе и в башке, везде и всюду, но домой они страшились про это писать. Как писать, о чем писать?

[1] Авиация, воздушный флот (*нем.*).
[2] Чехия и Моравия (*нем.*).

Ведь тогда была в Германии страшно строгая цензура. Надо ли еще семье чинить неприятности? Да и потом, откуда им знать, убийцы ли они или самоубийцы. Можно ли об этом писать? Отчизна редко ведь когда говорит: "Ну ступай, убийца, убей и дай убить себя!" Обычно она говорит: "Ступай, родной мой сыночек! Иди защищай меня! Покажи, какой ты герой!" Если бы человек сказал, что он об этом думает, он наверняка получил бы по морде. Со сколькими людьми именно так и случилось! И сколько немцев поплатилось за это! А ведь что получается! Не напишешь об этом немедля, годы спустя люди уже с трудом поверят тебе, что и среди тех самых немцев было много несчастных — они убивали, но при этом от отчаяния кричали или от отчаяния смеялись. Что об этом сказать? Что написать? Что на это скажут те, другие? А что сказали бы те, над которыми уже трава шелестит?

Но одно ясно: есть на свете люди, которые не спят по ночам, потому что их все еще преследуют кошки.

37

Но мы немного забежали вперед, пусть любезный читатель нам уж простит!

Откуда ни возьмись в городе гарда! До сей поры было просто ополчение. Черт знает, почему это ополчение переименовали в "гарду". И все-таки что-то творится! Мужчины ни с того ни с сего форму на себя не напялят. И до чего ж у них у всех сапоги сверкают!

— Ей-ей, Филка, вступлю-ка и я в эту гарду.

— Чокнутый! А зачем! Чего ты там будешь делать?

— То же, что и другие. Упражняться и маршировать небось умею.

— Вот и марширую дома.

— Но если я буду в гарде, и слово мое будет весить больше.

— Твое слово будет столько же весить, как и до сих пор.

— Попробовать все же можно. Увижу, что дело плевое, запросто с ними распрощаюсь. По крайней мере у кого-нибудь сапоги свистну.

38

Яно пошел поразведать, как обстоят дела с этой самой гардой, но воротился разочарованный.

— Это тоже мура собачья. Да и они меня к себе не берут. Их чуть ли не обидело, что я к ним напрашиваюсь. Ружье все равно мне бы не дали, а сапоги, дескать, у каждого свои. Пле-

вал я на такую гарду. Тут же им все и выложил. И еще посмеялся над ними.

— А что ты им сказал? — допытывалась Фила.

— Что я им мог сказать? Сказал, что я и не хочу к ним идти, что просто так их прощупываю. Зло взяло из-за этого ружья. И из-за сапог тоже. Но про сапоги я им не сказал. На кой шут такая гарда, коли сапог не дает? Сказал им, что это фигня одна, что никакая у них не организация. Начхать на такую гарду! Уж лучше добровольная пожарная команда.

— Не мели вздора! Неужели так и сказал?

— Именно так.

— А они?

— Согласились, куда денешься. Согласились, а потом пнули меня в зад. Да я-то знаю, кто пнул. И запомнил. Я им еще с улицы крикнул: "Вот погодите, пентюхи вонючие! Я-то этот сапог знаю, знаю, кто умеет так лягать, но когда-нибудь я ему это еще припомню, всем припомню, только тогда вам уже и гарда не поможет, целая пожарная команда и то не спасет!"

39

Но еще когда Яно, демобилизовавшись, возвращался домой, в поезде он познакомился с Марикой. Женщина эта, по его словам, была хороша собой, и Яно тоже пришелся ей по сердцу. Да неужто так и впрямь было? Выходит, было — она и адрес ему дала. И Яно, поскольку дома теперь делать было нечего, написал Марике письмо. Собственно, писала его Фила, Яно только диктовал. Однако одобрил и то, что Фила от себя в письме добавила.

Письмо они вместе отнесли на почту, а потом ждали, ответит ли Марика.

Ответила. И как влюбленно! Называла Яно, Яничко. И чего только не сулила в письме: и разные мятные конфетки, и малину с клубникой. Яно это прельстило.

— Право слово, поеду к ней!

— Ну и шалопут! Аж в Нитру? Ты ведь женатый! И денег у нас ни гроша, чего ты там не видал?

— Чего, чего! Не съем же ее. Проведаю! И от тебя привет передам.

— Сходил бы туда лучше на богомолье! Там святой Сворад бывал. А еще до него являлись в матушку Нитру святые Кирилл и Мефодий. Всем словакам и славянам азбуку принесли.

— Вот видишь! А я там ни разу не был. Навещу Своpадко и этих двух писателей. А уж коль там буду, наведаюсь и к архиепископу. Архиепископа я еще в глаза не видал.

— Дуралей! И ты думаешь, тебя к нему пустят?

— А почему бы и нет? А не захотят пускать, скажу, что я родня архиепископу. А то пойду у него работу попрошу.

— Думаешь, у него для таких Янов-болванов работа найдется? Ведь у него для работы есть всякие преподобные каноники.

— Ну и что! Так и я скажу, что я каноник. Ведь служил же я канониром.

— Недоумок несчастный, над такими святыми и божьими делами насмешничаешь?

— Почему ж насмешничаю?! Просто хочу все знать. Сперва навещу Марику, затем святого Сворадко, чтоб потом тебе о нем рассказать, а когда соображу, что к чему, заверну и к архиепископу.

— Яно, это же благочестивый человек!

— А бог его знает! Если уж он такой благочестивый, может, чего-нибудь и подкинет. Глядишь, хотя бы дорогу мне оплатит.

— Охальник, безбожник! Иные люди сами на церковь дают, а ты попрошайничать вздумал, да еще у самого архиепископа!

— А я что, не церковь? Пусть архиепископ увидит, какие у него овечки. Я тоже овечка. С архиепископом я еще никогда не беседовал. Не бойся, как-нибудь уж не оплошаю. А надо будет — может, перед ним и слезу пролью. Ну а потом во всем покаюсь. За него, за архиепископа, вместе с тобой потом и помолимся.

40

Неделю его не было. Фила злобилась на него, готовилась задать ему звону, криком его приветить, но когда наконец он явился, то был такой веселый и оживленный, что она, почитай, совсем про свою злобу и забыла.

— Знаешь, какой Нитра красивый город! — восхищался он. — Твой Сворадко что! Ерунда какая-то! Подумаешь, жил в горах, в пещере, постился там и спал в этой пещере. Только таких святых было — пруд пруди! Мало ли на свете сирых и убогих! Сколько детей, а то и взрослых помирают от голода-холода, да еще от всяких хворей, только некому святыми их объявить. Может, кто и скажет, что это все нехристи, басурмане. Но разве некрещеный должен больше страдать? Легко быть святым, когда тысяча других голодает и еще бог весть какие лишения терпит? Святой потому только и святой, что после смерти кто-то устроил ему протекцию и выдал на его имя справку или удостоверение. А другим кто выдаст? Почему еще при жизни не дают людям такого удостоверения? У Сворада в горах был хотя бы чистый воздух. А какая там тишь и благодать, ему

и браниться было не с кем. Может, он только с чертом перебранивался, но и это дело нехитрое; когда человек один, и это обыкновенный человек, а черт его искушает, достаточно сказать: "Черт, не искушай, а валяй-ка на мое место, потому что я, если захочу, и сам могу чертом стать!" В конце концов на набожного человека и самый что ни на есть сатана посягнуть не посмеет. А и посмеет — так что? Ведь такой сознательный отшельник или мученик все равно уже одной ногой на небе. Если люди или черти его и обидят, господь бог только быстрей позовет его в небесные кущи. А вот меня туда никто не тащит! Хотя вокруг меня и полно чертей. Мефодий с Кириллом были по другой части. Это епископы, а такой епископ значит в церкви ничуть не меньше, чем генерал в армии. А кроме того, они еще и письмена придумали. По крайней мере детям есть что учить. А ведь у кого хороший почерк, кто может даже письмена выдумать, тот и сам свое имя прославит, сам себе выдаст удостоверение и оставит его людям.

Фила одернула его:

— Ладно тебе балаболить! Городишь ересь похуже какого безбожника!

— Какой там безбожник! Лучше-ка выслушай меня! Был я там, чтоб убедиться во всем и проверить.

— Говорил, что едешь к Марике и потом, мол, к архиепископу наведаешься.

— А я к нему и наведался. Десять крон мне дал.

— Десять крон? Не болтай! А за что? И ты их взял?

— А почему же не взять?

— Боже правый, и тебе не стыдно было?

— А ему не стыдно? Ведь десять крон мог дать и капеллан или любой из его каноников. Видать, плохо я плакал.

— Балда! А как ты туда попал? Правда, плакал?

— Плакал. Не зазря же я эти десять крон получил.

— А еще говоришь, не стыдно! Должно, мало плакал.

— А может, наоборот перехватил. Видишь ли, я не знал, что к архиепископу так просто попасть. Я начал плакать уже перед каноником, а то, глядишь, он меня бы туда и не пустил, дело-то известное: чем меньше чин, тем трудней к нему подступиться. Но плач есть плач, когда плачешь, объяснять много людям не надо. Каноник отвел меня к архиепископу, но я все плакал и не мог уже остановиться.

— Ну а дальше?

— А ты не понукивай! Архиепископ предложил мне стул, и знаешь какой! По-моему, сверху шелк был.

— Шелк? Вполне мог быть.

— Но и у него такой же был. Я сидел на епископском, а он на архиепископском. Как перестать плакать? Он говорит мне: "Успокойтесь! Скажите, сын мой, что с вами, зачем пожаловали,

что с вами случилось?!" А я просто захлебываюсь от рыданий. Говорю ему: "Преподобный отец, отец наш святой, отец, отец, отец преподобный наш, преподобнейший и наисвятейший, я... я... к святому Сворадко и к нашим славным отцам, ну... ну, ну..." А дальше не могу, и все тут. Ведь еще посейчас слезы у меня на глазах.

— Ты вроде и вправду с ума сходишь! Чего хнычешь, фарисей, ведь теперь ты небось не у архиепископа?!

— Филка, я и правда... Мне так жалко стало.

— Чего тебе жалко стало?

— Он спросил, спросил...

— О чем спросил?

— Откуда я.

— А ты?

— Ну сказал.

— А теперь какого рожна плачешь? Дальше-то что было?

— Потом он дал мне десять крон.

— Надо же! Раскусил тебя! Яно, я знаю, почему ты плачешь. Ты небось с этой Марикой связался? Что это за женщина?

— Женщина как женщина.

— Какая она?

— Ну женщина.

— И она с тобой была?

— Была. А в общем-то нет, не была. Ты чего выпытываешь? — озлился вдруг Яно. — Ждала меня неподалеку от замка.

— А потом? — продолжала Филка выспрашивать.

— А что потом? Вместе помолиться пошли.

— Не ври!

— Пошли помолиться. Правда. И за этого архиепископа.

— А потом где вы были? Где ты был всю неделю?

— Где был! Знаешь ведь, где был! Ходил по Нитре. Какой же это город, Филка! Наверняка и тебе бы понравился. Может, еще когда-нибудь туда наведаюсь.

— Посмей только!

— А почему нет? Ведь это красивый город, и чего там только нет. И замок, и архиепископы, и Зобор, и миссионеры; и знаешь, какой там оркестр. Ни один военный оркестр с ним не сравнится. В таком городе надо бывать. Я когда-нибудь туда обязательно еще разок заскочу.

41

Через два дня он снова поехал в Нитру. На сей раз задержался там еще дольше. Фила злобствовала, но не знала, что делать: поехать за ним — или пусть все идет как идет? Каждый день

ладилась и ему, и этой бесстыжей Марике написать, да забыла ее адрес, а он, должно быть, нарочно его не оставил. Наверно, все наперед рассчитал: опасался, как бы Фила не накрыла его. Ба! Вот бы удивился, кабы она туда и впрямь в гости пожаловала.

Он воротился, но уже совсем другой; приехал взять чистое белье и кой-какое барахлишко. Большого гардероба у него не было.

Филины слова теперь вообще были для него что звук пустой. Он опять без умолку балаболил о том, какой Нитра красивый город и что, мол, кроме замка, Кальварии, монастырей и костелов там есть еще и магазины, много магазинов, и большие мельницы, большой рынок и река, а за рекой аэродром; есть там и фабрика, и он, дескать, на той фабрике и на тех мельницах подыскал для себя работу.

Фила ему не верила. Подозрительным казалось главным образом то, что о Марике он и словом не обмолвился. Все больше говорил о работе. Его восторги вконец огорчили ее.

— На что тебе работа? Ты же не умеешь работать!

— У меня там даже две службы. Одна лучше другой. Не знаю еще, которую выбрать. На обоих местах меня уже ждут. Увидишь, сколько денег тебе пришлю.

— Пришлешь? Кто тебе поверит? Ты в дом еще ни гроша не дал. А если и давал что, всякий раз на другой же день все проматывал.

— Потерпи чуток. Этак через недельку-другую приеду домой, увидишь; отпразднуем такое воскресенье, какого ты и не помнишь. Может, гуся домой привезу. Знаешь, сколько там гусей на базаре? Для чего же у нас этот противень? Надо его смазать. А вот глянь-ка! Ну! — Он раскинул перед ней цветастое платье. — Я нарочно не сразу тебе его показал. Видишь, какого качества? Пощупай! На, примерь, это твое платье!

— Не хочу платья. Даже не дотронусь до него. Ведь оно и не новое. Навряд ты купил его.

— Не новое, говоришь? Значит, ты слепая. Новое оно! Я что, стал бы старое платье покупать? Выгладить его надо, и все.

— Плевала я на платье! И на тебя тоже. Думаешь, не отличаю нового от старого?

— Скажи, чем оно не приличное? Ведь как новое. Да оно и есть новое, совсем как новое. А если и не новое, что с того? Считай, что это подарок.

— От кого? Наверняка от Марики. Мне разве от нее подарки нужны?

— А почему нет? Почему сразу "от нее"? Почему сразу зацепки-подковырки? Что ты за цаца такая, чтоб тебе нельзя было даже подарок послать?! Да хоть бы оно от сатаны было, его же

я тебе принес. Не хочешь его примерить сейчас — примерь завтра. Мне все одно. Завтра меня уже тут не будет. Завтра сматываю удочки. Потому что послезавтра мне уже на работу.

42

Платье пришлось ей в самую пору. Сердило ее лишь то, что оно от Марики. Однако и с этим она быстро смирилась: "Стану носить его, когда Яно дома не будет. А он-то теперь невесть когда пожалует! Работу вряд ли нашел. Этот соврет — недорого возьмет! И сейчас, должно, набрехал. Скорей всего, таскаются с этой Марикой туда-сюда, всю Словакию небось прочешут. Пока Яно домой заявится, платье, глядишь, и изорвется".

Немного спустя Фила поостыла и уж особенно не злилась на Марику. Наверняка она потаскушка, порядочная женщина с чужим мужиком разве стала бы связываться? Однако ж носить ее платье — и чехвостить ее?.. Черт с ней! Плевать на нее! На обоих! Леший обоих унеси!

43

Вскорости он прислал денег. Немного, но все равно она порадовалась. Иной раз порадует человека и кронка, особливо если придет в самую пору. Пускай Яно не ахти какой, но все же за долгие годы он выказал себя перед Филой и с хорошей стороны.

А потом прислал посылку, а после еще и еще. Круглым счетом их было пять или даже шесть. Но во всех были только одни пустяковины. В одной пряники, в другой пакетик кофе в зернах, две поломанные граммофонные пластинки, коробочка английских булавок, апельсин и кусок пахучего мыла, даже мешочек глиняных шариков, с какими дети играют. Она отнесла их братниным ребятишкам. Да и во всех прочих посылках тоже одни безделки, правда, в каждой и кулечек муки. Фила сперва думала, что это мука с тех самых мельниц, но он ей потом написал, что это не так, что все, дескать, а значит, и мука, от Марики. Фила злорадно засмеялась: "Знать, уже взялся за дело. Уже и ее мало-помалу обирает! Так ей и надо! Зачем его заманила?"

44

И вдруг посылки перестали от него приходить. Не получала она и писем, зря только ждала их. Когда молчание слишком затянулось, она сама попробовала ему написать. Однако две недели спустя письмо вернулось назад. Почта сообщала, что адресат в означенном месте не проживает, хотя на конверте значился тот самый адрес, который Яно указывал в письме и на посылках.

45

А потом то и дело Фила попадала в какие-то передряги. Сперва пришел жандарм и спросил:

— Фила, где муж у тебя?

— Разве я знаю, где он?

— Как так не знаешь? Кому ж тогда о нем знать? Давненько его тут не видать.

— Я о нем ничего не знаю. Нечего было вам тут его дергать. Лучше бы приличную работу дали. А вы у него еще и ружье отняли. Позволь вы ему здесь ходить на охоту, он бы и за зве́рьми, и за угодьями присматривал. Ничего больше ему и не нужно было. Велика ли беда, если иной раз он и поймает зайца или фазана? Разве мало в округе фазанов? Когда надо было в лес зверям соль отнести, кто ее всегда носил? Что ни год соль на закорках он в лес волочил и кормить ходил, когда суметы наметало. Когда стояли лютые морозы, господа в тепле рассиживали, а он одним-один все кормушки обегал, а потом только докладывал господам, что все в порядке. Зимой-то он подходил даже к косулям, и они из его руки ели. Попусту зверушку никогда не обижал, хоть и городской был человек, а со зверями вырос. Ну и было бы у него ружье, он что, по-вашему, перестрелял бы тут все? Зверь своего человека чует, запоминает, кто донес в лес соли или сена. Неужто такой человек не заслуживает зайца или куропаточки? И загонщик был хоть куда! Ни одна охота без него не обходилась. Господа всегда шли на охоту с ружьями, а он, хоть цельный год об угодьях заботился, ходил без ружья и знай прислуживал тем, кто по большей части петушка от курочки отличить не может. Трудно было дать ему разрешение? Еще жандармов на него наслали! И вы, негодники, враз побежали: чтоб, дескать, не украл, не браконьерствовал. Сами-то вы воровали — и меня обокрали. Потому как его ружье было на мои деньги куплено, за мое имущество.

— Ну, будет! — зло отрезал жандарм. — Не для того я пришел, чтобы нотации выслушивать. Где Яно?

— Ищи ветра в поле!

46

Несколько лет она ничего не знала о Яно. Нет-нет да и заглядывал к ней жандарм и спрашивал о нем, но что она могла ответить? Повторяла то же самое, что сказала ему в первый раз, когда он только начал разыскивать Яно. А однажды даже раскричалась на жандарма:

— Поди прочь, лоботряс! Проваливай отсюда и уж боле на глаза не попадайся! Чего повадился меня допекать? Нешто я его из дому выгнала? Сам ушел. Может, вы-то его и выгнали. Катись

отсюда и больше не лезь ко мне!

А дня через два пришли к ней двое гардистов и давай опять выпытывать:

— Где муж?

Она выставила зад и сказала:

— Вот вам! И чего вы, нечисть черная, человеку покоя не даете?!

И вмиг, вбежав в горницу, замкнула дверь.

— Ну-ну! — пригрозил один из них. — Веди себя прилично! Не то, не ровен час, поплатишься за свои слова!

Они подергали дверь, потом ушли.

47

В городе становилось все оживленнее. Запестрели новые формы: жандармы, гардисты, гитлер-югенд, словацкие солдаты, а потом и немецкие. Глинковская молодежь: волчата, орлы, юнаки. Только у волчат, словацких орлов и словацких юнаков — у них лишь шапки были по форме, на все остальное, видать, не хватило. Было здесь, впрочем, и много парней из протектората, говорили, что это чешские студенты; хаживали они изо дня в день под немецкую песенку окопы рыть — рыли и в дождь, и в снег; и когда полевая кухня привозила им на обед вареную кормовую свеклу, бедняги никак не могли ею насытиться. А вечером, частенько вымокшие до нитки, усталые и загвазданные, снова маршировали по городу с той же — ни в коем разе не с чешской, а все лишь с немецкой — песенкой.

У гитлер-югенда были и барабаны, и дудари. Когда они маршировали по городу, все гремело, звенело, и стекла в окнах, в витринах маленьких магазинов и лавчонок так и дребезжали. Иногда они устраивали меж собой поединки; командиры делили их на несколько групп, отсылали прочь из города, каждую в иную сторону, и гоняли вдоль и поперек по угодьям, по полям, виноградникам, по лугам, пашням и холмам, а когда одна группа встречалась с другой, затевалась отнюдь не детская игра, не походило это даже на ученье. Ей-богу, эти огольцы сшибались по-настоящему, кулаков не жалея. И работавшие тогда в поле или на винограднике люди вертели головами: "Господи боже, что ж такое они вытворяют? Почему эти дети так мучаются?" Но на другой день ребятки уже снова гордо шагали по площади, барабаны отбивали им такт, а пронзительные, высокие звуки дудок резко ударялись в стекла магазинов, квартир и квартирок, пока наконец командир или воспитатель не приказывал им петь: "Гопца-ца, я-йй-яя, ganze kompanie[1], ха-ха!"

[1]Вся компания (*нем.*).

Куда уж было глинковской молодежи тягаться с ними, хотя она и пыжилась быть им под стать! Разве шапки-пилотки могли заменить комплектную форму? Не было у них ни барабанов, ни дудок. Правда, один-то барабан имелся, но не было при нем достойного барабанщика. Обычно барабан нес сам командир, но бил по нему всегда одной палочкой. Вторую палочку он, видать, где-то посеял, либо украли ее, а может, у этого парня, вожатого ГМ, рука была вывихнута, и он только зря колотил одной палочкой по своему барабану. Но тем пуще подбадривал их: "Веселей, мальчики! И тверже, тверже шаг! Левой, левой, левой!.." Только что делать, ежели и он путался?! Выкрикивал: "Левой!", а ударял правой, и рука всегда совпадала с ногой! Выкрикивал: "Левой!", а ударял на правую! Вот как оно получалось!

Да и петь их совсем не научил. Будто времени не было! Но ведь и в школе могли их научить двум-трем приличным песенкам. Учили, да черта с два научили.

Но когда эти мальчики шагали без учителя или без вожатого, словом, если были предоставлены самим себе — стоило их послушать!

У Липшера-пана печь запылала.
Печалится пан
по своим изразцам.

Машины рычат, пары фырчат.
Горелые бревна к небу торчат
на улице Госпитальной...

Как полагаете, кто эту песенку сочинил? Один паренек. Ученик с изразцовой фабрики. И она прижилась. Весь город ее распевал.

Но когда маршировала гарда, бывало повеселей. Ведь гардисты были упитанней и все в сапогах, а на сапогах — подковки. Каждый, уж коли был в гарде, стремился, чтобы его путем подковали. Наверняка все отдавали свои сапоги даже гвоздиками подбить, потому как сапог только топает, а железо, то есть гвоздики с подковкой, придают этому топанью дзинь и щелк. Оно и дзинькает, и щелкает, тут уж точно рассказать или написать о том невозможно, но когда все это сливается: дзинь-дзинь, щелк-щелк, топ-топ, дупи-дуп, — тогда звук становится на редкость густым. И кто однажды это услыхал, тот уж по одному звуку всегда отгадает, что идут тяжеловесы, иначе сказать — гарда. Жаль только, что и они, маршируя, не пели! У таких здоровенных и солидных дядек определенно луженые глотки. Правда, потом они наверстывают упущенное. Одни в кабаке, другие в кофейне.

Наконец, в городе есть и военная казарма. Командир, хоть в общем-то и благовоспитанный человек, всю казарму держит в ежовых рукавицах: каждое утро все до единого обязаны выйти на зарядку; а бывает она всегда на воздухе, на широкой улице, запертой с одного конца крепостной стеной, что в свою очередь очень удобно, благо по этой улице нет проходу ни машинам, ни даже подводам, стало быть, зарядке ничто и никто не мешает; с другой стороны штатские, женщины и дети, то есть все те, кто передвигается пешим порядком, ну и велосипедисты, конечно, могут здесь преспокойно прогуливаться, более того, можно здесь и на лошади проскакать или понукнуть лошадь, чтоб телегу сюда дотащила, только у этой ограды, у городской стены, пришлось бы все равно телегу пятить назад или же немного там подождать, глядя на войско, а то не ровен час каким-нибудь ненужным хождением еще нарушишь армейскую стройность. Ох уж и армия! Такая маленькая армиишка, собственно, частица ее, кусочек от нее, всего лишь несколько словацких, одетых в форму желудков; каждое утро, когда они умываются в ручье, протекающем вдоль улицы, раки предлагают им свои услуги: "Возьмите от нас хотя бы клешню". Но солдаты клешнями гнушаются — умывшись в ручье, они спешат одеться; это как раз столько солдат, сколько полагается такому маленькому городку; но когда они, уже одетые, при параде, начищенные до глянца, выстраиваются на тамошней другой главной улице, с противоположной стороны казармы, и потом маршируют четким шагом к площади и особенно когда спускаются по ней, и в ногу им бодро трубит горн, тут тебе уже свой щелк и свой дзинь, даже каждый бряк-звяк кажется самое малое сильней на пятак; благо в таком ладном и действительно нарядном городишке порой звякает оно действительно точно, строго, четко и действительно твердо: левой, правой, дзинь-дзинь, щелк-щелк, топ-топ, дупи-дуп, топают будто полк дубов, дуб с дубом, дуб за дубом, знай дубасят и толкут, но пока еще в такт, в этом ладном городке, тук-тук, толк-толк, толк за толком, толк с толком, толкут, толкут, толкут мак...

Иной раз, но тогда горн замолкает, — да, иной раз и солдаты, шагая по городу, затягивают песенку. Они знают много песен, но больше всего любят петь ту самую — про Зволенский замок, что посредь гор. Начнут петь спокойно, а потом как разойдутся! Иное слово пустят волнами, а потом растянут, словно хотят из него сделать знамя, а бывает, это волнистое и реющее слово им до того понравится, что ради него они весь куплет повторяют.

Посредь гор черный Зволенский замок,
милая мне, что лю-ю-бит, сказала,
милая мне, что лю-ю-бит, сказала...

Есть там оно, это знамя? Лю-ю-бит! Попробуйте подладить это слово под мелодию; и получится настоящее знамя!

Но припев им тоже по нраву — видать, даже больше, потому что они поют его всегда с таким подъемом, словно бы командир сказал, что им пора взять жестяные миски и топать на обед, а то иной раз так поют, будто бы у них уже полные миски.

Девушка во дворике
на солнышко глядит,
а оно вот-вот зайдет...

Ну и так далее. Обо всем тут нет нужды распространяться. Разве знамени и миски недостаточно? Что еще надо солдату? Пускай в казарме ему невесть что вдалбливают в голову, пускай его даже убедят, что пушка важнее и много дороже миски, и пусть солдат с этим согласится, однако про себя-то он распрекрасно знает, что пушка с миской никогда не сравняется. Ведь про миску хочешь не хочешь, а вспомнишь и при пушке, тогда как за миской, даже за пустой миской, сиди возле нее хоть целый день, а то и неделю, тебе ничто не напомнит о пушке и не заставит о ней думать, да-а, вряд ли за миской вспомнишь про пушку. Разве что ради самой миски. Кое-кто может тут возразить: пожалуй, ради миски стоит и бороться; а кое-кто может вполне подумать, что раз нельзя иначе, так хотя бы с помощью пушки — даже если бы и пришлось лишиться пушки, потерять ее — нужно бороться за миску. Что ж, резонно! Но стоит ли бороться за пушку только потому, что речь идет прежде всего о пушке и что пушка несравнимо дороже миски? Есть ли смысл из-за пушки миску терять? Пожалуй, такое сравнение покажется глупым, но действительность превосходит всякую глупость. Связь между миской и пушкой в самом деле имеется. В миске, правда, есть что-то естественное, пожалуй, самое естественное; к примеру, нет у вас ни кружки, ни стакана, ни даже той же миски, но вы подходите к ручью, прикладываете ладонь к ладони — и вот вам уже миска. И родничок миска. Из миски берете, миской зачерпываете, пьете из миски — это ли не естественно? Ну а пушка, пусть это даже самая лучшая, самая дорогая, самая точная и самая мощная пушка, — но пушка-то есть пушка! Люди добрые, это ведь всего только обыкновенная стальная скотина! Только и знай чисти ее да подкармливай! А коль нечего будет ей жрать, так она тебе и миску сожрет, а когда потом где ухнет, вылетят из нее лишь этакие куски и кусочки, иные меньше булавочных головок, а иные совсем крошечные и без головок, это уж просто обыкновенные иголки, которые, видите ли, особенно для глаз хороши. Генералы говорят об этом взахлеб, усматривают тут неоценимое качество: чем сильней оно ухнет, тем лучше, а если еще как следует разлетится, тогда и вовсе желать уже

нечего, по крайней мере многих прихлопнет. Только они глядят на эту картину всегда с наблюдательного пункта, и предпочтительно в бинокль. Если бы какой-нибудь солдат мог обратиться в ласточку, он взлетел бы тогда над самим наблюдательным пунктом и облегчился бы кому-нибудь из них прямо на фуражку. Но ежели не обязательно говорить о пушке, лучше о ней и не думать или сказать, что ты о ней ничего не знаешь. За глупость не станут наказывать. А захотят поучать — доставь им такое удовольствие! Одно все же ясно: хотя пушка миске и дает сто очков вперед, правда не за пушкой, а за миской. Ведь о пушке нельзя даже ничего порядочного сочинить! Попробуйте запеть о пушке песенку! Ха-ха-ха, я уже ее слышу! А о миске и я могу придумать песенку, потому что миска и сама о себе запоет. Без миски пушка не взорвется, без пушки миска обойдется. Вот тебе и рифма, пусть она и плохая. Конечно, солдат должен и о пушке петь, но все это никудышные песенки: если какая и хорошая, то всегда лишь потому, что пушка в ней достаточно замаскирована, прячется за другие слова, да и за мелодию. Музыкант хотя и умничает, но всегда это только умничанье, а когда он сочиняет, когда уже всерьез музицирует, тогда это музыка. И он может музицировать, о чем ему захочется. Музыка — это всегда музыка. Если у вас есть хорошая мелодия и настоящий ритм, вы можете, если вам прикажут или просто пожелают, в мелодию даже дерьмо завернуть. И все равно это будет музыка. Но все же было бы смешно, если бы дерьмо возомнило о себе, что это оно создало музыку. Музыка не по плечу даже целой казарме, а вот нескольким музыкантам в казарме — еще как! То же самое относится и к другим искусствам. Возьмите, например, песенку:

В Прешпорке казарма вся расписная.
Ребята ее расписали стишками.
Ребята стишками, девчата слезами.
Казарма в Прешпорке вся расписная.

А в самом деле, разве казарма не расписана славно? Художник, музыкант и поэт должны это подтвердить. А кто ее расписал? Все трое. Или один работал за троих. Но он знал, кого нужно в песенку позвать и что нужно принести. Песенку в песенку, и чтоб ее оживить — немного слез, а разве их повсюду не предостаточно? Пожалуй, к нашему повествованию это сейчас не подходит, а для песенки — в самый раз. Правда, слезы в песенках используются обычно как разбавитель. Но надо его хорошо размешать и столь же хорошо покрасить стены, потому что иначе наружу пробьется нижняя казарменная краска. А что это за краска? Хотя в казарме все зеленое, по-настоящему зеленым оно никогда не бывает. Там всегда недостает свежести. А ежели нет ее, то командир или даже сам генерал зря хвастает тем, что

он приказал так хорошо расписать казарму. Не расписать — он приказал лишь покрасить! Но если есть уже песенка, притом хорошая песенка, и расписать казарму не стоит никакого труда!

Но пора нам сдвинуться с места. Хорошо бы упомянуть еще и о немецких солдатах. Наших словацких солдат они разоружили и теперь изо дня в день маршируют по городу. И пусть ходят они не парадным шагом, а звяк и щелк что надо! Только им уже не хочется ни звякать, ни даже расписывать. Молодым, может, и хочется, но тем, что в годах, — уже нет, в форме они успели совсем поседеть. Поэтому они такие насупленные и угрюмые. В воинской части есть ученики и студенты, рабочие и трактирные служки, ну а среди тех пожилых — и несколько баварских старост, хотя в Баварии староста как-то иначе называется. Но им, наверно, хотелось бы лучше оставаться в Баварии и быть там действительно старостами, а ежели и нет, то хотя бы заниматься в поле какой-нибудь достойной работой, а после работы сидеть в пивной, наливаться пивом и ругать настоящих старост. А если мы, чего доброго, и спутали баварских старост с австрияками, что с того? Ведь и в Австрии у людей должны быть какие-то старосты. Нам известны, однако, лишь те, что находятся здесь. Эти ученики и студенты, рабочие и трактирные служки, баварские и австрийские старосты, землепашцы, мастера и подмастерья, хотя и кажутся молчаливыми, при надобности, ей-ей, умеют и заворковать. Стоит сказать слово, и вас уже хватают, они ловки в два счета сделать из вас котлету или послать в концентрационный лагерь на работу, а то и прямиком на мыло.

А еще в городе есть "тушители". Нынче надо бы уж говорить "пожарные", но в этом городе всегда были и посейчас есть только "тушители", но даже и эти не тушат, потому что, когда они готовы встретить огонь во всеоружии, ничего нигде не горит, а когда начинает гореть, тогда, как назло, у них обязательно портится помпа; покуда приедут на место, пожара как не было, потому что всегда загорается нечто сухое и в момент сгорает дотла. А когда что-нибудь горит медленней, тогда опять же их опережают иные ловкачи, которые только за славой и гонятся. А иной раз и приедут вовремя, так там вообще сущие пустяки: просто что-то едва-едва дымится. Тут уж люди сами наперед им говорят: "И чего вы заявились? Там ведь и нет ничего, тлеет кой-какая рухлядишка!" А иногда это просто небольшой огонек. Тогда им и разворачивать кишку незачем. Взять бы лучше этой кишкой да хлестнуть по огоньку. Как-то раз и такое случилось: натянули они кишку, а потом выяснили, что какая-то бабка, уйдя из дому, забыла на плите кастрюлю и сгорела у нее капуста. Ох уж и полили они там — от души! Напрудили воды и в кухню, и в горницы, в шкафы и под шкафы, даже в перины. По крайней мере бабка век помнить будет! Вот так оно и идет! А зато недостатку в пожарниках нету, двое из них даже спецы по

этой части. Молва идет, что именно они-то, эти два спеца, и портят помпу. Знай только чинят ее. И что они в ней все время копаются? Попробуйте дать ребенку помпу — и сразу помпе конец, в два счета ее как не было. А они все равно что дитя малое, знай только пробуют, качают, починяют, а как наконец починят, тогда-то помпа и перестает у них качать! Но повыставляться они мастера! Выкатят иной раз помпу на улицу, двое впрыгнут наверх, несколько в две шеренги маршируют по обеим ее сторонам, остальные же заполняют середину и вышагивают за ней, вышагивают даже тогда, когда мотор не заводится, благо дорога идет под уклон, они смеются, иной раз и перебраниваются. А люди с тротуаров им покрикивают: "Ну что? На дело идете? И вас уже погнали? На передовую послали? Тушите там хорошенько! Наконец-то и вам будет что потушить!"

48

А о Яно ни слуху ни духу! Куда он запропастился? Живет ли с Марикой или нашел себе какую другую?

Зачем только Филка замуж выходила? Разве не втолковывала ей мать, что мужчины народ дрянной? Ясное дело, дрянной! Иные и жен бьют. Мало ли ей жаловались подружки!

Правда, надо сказать, Яно был не из худших, ни разу ее не ударил. Но все равно пустельга! Больно речист да на руку нечист! Куда ж он запропастился? Как же Филу угораздило попасться ему на удочку?

Видать, в самом деле все произошло по воле случая. Не побеги она тогда за этой птахой...

49

Она читала про иволгу, но даже и читать не надо было, она ведь и без того знала, что иволга — перелетная птица. Чехи называют ее "жлува", а немцы — Pfingstvogel, что означает "троицына птица". В Германию, дескать, прилетела она именно на троицын день. В Словакии ее по-разному кличут: одни путают ее с зеленым дроздом, а в других местах называют "колюга" или "певунь".

Иволга красивая и на редкость полезная птица. Сколько гусениц она поедает! И даже самых мохнатых, которыми другие птицы гнушаются. Но ее красоте это нисколечко не вредит. В конце-то концов, и человеку чего только не приходится иной раз проглатывать. Будь у иволги разум, пожалуй, и человек вызывал бы у нее отвращение. Кабан или домашняя свинья в какой только грязи или пакости не валяется, а до чего же нам сви-

нинка вкусна! Лишь бы денег на нее хватало!

Самец иволги краше, чем самочка. Самец и поет лучше. Но это и к другим птицам относится. Да, пожалуй, и к людям, хотя и не всегда. Человек все-таки не птица!

Самец к тому же еще и продувная бестия! Озорун этакий, он самочку всегда каким-нибудь способом облапошит! Сперва ее заманивает, всяко поет ей, подольщается: "Дивидлио, дивидлио, дидлиодлио!" Ну а потом что? А потом просто-напросто плюнет на нее, оставит ей одни хлопоты!

50

Однажды, дело было уже в конце войны, вбежал во двор к Филе какай-то малый, вбежать-то вбежал, а там не знал, куда и податься. Должно быть, хотел через двор проскочить, но наткнулся на ограду, а точней — на городскую стену.

Фила как раз стояла во дворе.

— Чего тебе, паренек? — спросила она. — Кого ищешь? Куда бежишь?

А парень, так и не поздоровавшись, с запинкой пробормотал что-то, а потом спросил у нее спичек.

Фила вошла в дом, он боязливо последовал за ней. Увидев на столе хлеб, попросил кусок. Фила отломила от каравая чуть ли не половину.

Парень меж тем огляделся.

— Видать, небогато живете, — сказал он. — Но не найдется ли у вас и кусочка сахару...

— Кусочка нету. У меня только песок.

Впопыхах не могла сразу найти бумагу и не знала, куда насыпать. Но парень подставил карман, и она насыпала. Вспомнил он еще и о соли и тут же, углядев ее, набрал горсть и высыпал в тот же карман.

И снова бежать. Фила поспешила за ним. Малый, заметив во дворе калитку, попытался отворить ее.

Фила испугалась, как бы он замок не сломал.

— Постой, я сейчас отопру!

И, тотчас воротившись с ключом, отперла калитку. Парень сторожко высунулся и, увидав, что ему ничего не грозит, метнулся прочь.

51

Примерно через полчаса во двор вошел немецкий патруль. Сержант и два солдата. Сержант знай только тявкал и чеканил слова. Один из солдат переводил его на ломаный чешский.

— Пан командир гофорит, что пришла раппорт от фаших друзья, что сюда фошла зольдат и что она сдесь скрывается.

— Какой солдат? — заудивлялась Фила. — Тут и не было никакого солдата. И никто тут не скрывается.

— Гофорят, он фошла сюда. Утром его задершала наш патруль, но он умела бешать.

— Никакого солдата тут не было. Вбежал сюда только такой хлопец. Спросил у меня спичек и кусок хлеба. Я дала, что просил, он и побежал прочь. Но это был просто такой паренек. Захотел еще потом маленько сахару, так я и сахару ему насыпала, хотя у самой сахару всего ничего. А он потом в сахар еще и соли насыпал.

— А где он сейчас? Куда ушла?

— Почем я знаю, где он? Мне сдавалось, что он ужасно торопился.

— В какую сторону побежала?

— А я знаю? Выскочил в калитку, потом малость бежал по дороге, завернул в виноградник, а куда он так торопился — это уж не моя забота. Дала ему то, что просил, а иначе-то он все равно у меня бы все отобрал. Нынче-то по городу ходят всякие люди.

Солдат перемолвился с командиром, потом снова обратился к Филе:

— А почему ви это ему дафал?

— Почему?! Дак он попросил у меня. А у меня у самой мало. Заупрямься я, кто знает, может, он бы меня совсем обобрал. Но это был не солдат, право слово, это просто такой паренек был. Я-то еще подумала, что это какой полоумный. Был бы в своем уме, не насыпал бы соли в сахар.

— Так, значит, ви ничего о нем не знайт?

— Чего я могу о нем знать? Как пришел, так и ушел. Чего мне о нем печалиться?

Они опять с минуту переговаривались. Фила уж чуяла, что добром все это не кончится. Не надо было вообще с ними затевать разговор. Но разве за добро, что сделаешь людям, могут тебя казнить? Ей даже на ум не шло, что она может попасть из-за этого в оборот.

— Пан командир спрашивайт, — продолжал солдат ее допытывать, — замужний ли ви?

— И замужем, и не замужем.

— Как это понимайт?

— Я замужем, а мужа у меня нету.

— Остафте фаши шутка.

— А я и не шучу.

— Так где фаш муж?

— Нету...

— Умер?

— Как бы не так! Ушел от меня.

— Жифой?

— Должно, живой!

— А где он жифет?

— Откуда мне знать, где он живет. Наверно, где-нибудь в аду горит.

— Ви ничего о нем не знайт?

— Ничего не знаю.

Они снова посовещались. Наконец солдат сказал:

— Ничего делать, хосяйка, нефосможно. Ви должен идти с нами на Ortskommando[1].

52

В Ortskommando все повторилось. Те же речи, те же вопросы и ответы. Разница была, пожалуй, лишь в том, что комендант то кричал на нее, то старался выглядеть дружелюбным. А потом просто взъярился. Ее поставили к стенке, но прислониться к ней не позволяли. А комендант словно бы расстреливал ее глазами и непрестанно тявкал.

Солдат переводил:

— Если ви не сказал прафду, пан комендант приказайт арестовать вас. Может приказайт и расстрелять.

— А за что? — расплакалась она. — Какая моя вина, ежели кто придет ко мне и чего попросит? Я и за мужа не в ответе. Какой прок от него? Ничего-то я о нем не ведаю. Как я вам скажу, где он, коли я его уже несколько лет в глаза не видала?

Коменданту все это наскучило. Он приказал арестовать ее.

53

Фила думала, что ее посадят в тюрьму, а ее заперли в сарае. Сперва это чуточку даже утешило ее. Деревенского человека сараем не запугаешь. Конечно, тут ему гораздо приятней, чем в настоящей тюрьме. Ей даже немножко смешно было: "Вот дурачье, еще кричат на меня, как будто я у кого что украла! Ведь одна я в убытке, никто другой, и меня же за это наказывать?! А под конец еще в сарай заперли! Сарая-то я ничуть не боюсь! Лишь бы не держали тут долго! Глядишь, выкричатся, потом и выпустят..."

Прошел час, другой, третий. Уже давно перевалило за полдень. У Филы стало урчать в животе. Однако по-прежнему никто не приходил. Неужто забыли о ней?

[1] Комендатура (*нем.*)

Чтобы напомнить о себе, она начала петь. Сразу же в ответ где-то поблизости взнялись собаки. Видать, пение им не понравилось.

Она умолкла. И собаки вскоре притихли. Потом с минуту она прислушивалась. Казалось, ничего не происходит.

Не оставят же ее ночевать здесь! Этого еще не хватало! Рехнулись они, что ли? Она ведь никому ничего не сделала. Зачем ее тут мытарить? Докуда они собираются ее здесь держать? И еще без обеда и без ужина! Никак о ней и вправду забыли?

Она снова принялась петь. И собаки тотчас опять забрехали. Пускай себе! Чем больший поднимется шум, тем скорей придет кто-нибудь. Она пела, распе-е-ва-а-ла. А псины эти гавкали и гавкали. Изо всей мочи гавкали!

Вдруг отворилась дверь, в ней возник худущий конопатый паренек и перепуганным, чуть сдавленным голосом выкрикнул:

— Ruhig![1]

Она едва не засмеялась. Только до смеху ли, если он навел на нее автомат?

— Миленок ты мой, ты чего в меня целишься? Я же никому ничего не сделала. С утра сижу не емши. Уж и запеть с голодухи нельзя? Чего вы от меня хотите? Чего тут держите? И когда собираетесь выпустить?

Парень, может, и хотел что-то сказать, да, видно, не умел говорить по-словацки. А может, и не велено ему было в разговоры с ней пускаться. Он словно бы боялся ее. Пожалуй, и своего начальства боялся. Определенно боялся, потому что был как-то растерян, оторопело озирался. И прежде чем затворить дверь, еще раз предостерегающе сказал:

— Ruhig! Пес не спать! Тихо сдес быть!

54

Утром снова привели ее в комендатуру. К ее изумлению, там сидел местный декан, и в двух шагах от него понуро стояли трое парней. Все трое были из города, но Фила ни одного из них не знала. Как выяснилось, они пытались вечером вызволить ее из сарая, но кто-то их предал. Парней тут же схватили и всю ночь избивали. Люди сообщили об этом декану, и он пришел похлопотать за всех.

Вероятно, они уже долго разговаривали с комендантом, потому что сейчас все шло довольно быстро. Комендант задал ей еще несколько вопросов, и всякий раз, когда она на них отвечала, декан к каждому ее ответу добавлял еще что-то. Разговаривал он с комендантом по-немецки, но обращался и к ней,

[1]Тихо! (*нем.*)

вставляя в немецкий и словацкие слова, чтобы Фила понимала, о чем идет речь.

Наконец он сказал:

— Herr Kommandant, вот видите, какая она! Dummkopf![1] А в общем-то добрая, очень добрая женщина. Весь город скажет вам о ней то же самое. Мужа своего она уже пять лет не видала.

Комендант кивнул и сказал:

— Gut! — А потом спросил: — Bitten Sie Kaffé?[2]

А Фила, хотя и умирала от голоду, покачала головой.

— Нет, нет, ничего не хочу! Только домой хочу!

Комендант еще что-то пробормотал, потом встал, протянул Филе руку и с улыбкой проговорил:

— Entschuldigen Sie, bitte! Aber passen Sie auf! Auf Wiedersehen![3]

— Можете идти! — сказал декан, обращаясь к ней и к тем троим. — Можете идти, но в другой раз будьте осторожны, не делайте глупостей.

55

Дома она вдоволь наелась, уплела все, что впопыхах подвернулось под руку и что можно было положить в рот. Потом долго сидела за столом и размышляла о том, как легко и просто человеку попасть в беду. Вот уж, никому нынче нельзя и добра сделать? Другой-то раз надо ей быть осмотрительней, никого в дом не пускать!

А виноват кругом Яно! Останься он дома, не гоняйся за невесть каким чертом-дьяволом, может, и ей жилось бы покойно. Чтоб его разразило! Какой это муж? Как только ее угораздило в винограднике попасться на его болтовню? Сперва-то воды попросил, а потом как стал растабарывать — спасу не было, еще и домой приходил ее баламутить. Да можно ли мужикам верить? Уговорил ее распродать все, а теперь где он, ну где? Пускай уж лучше на глаза ей не попадается! Останься она жить в деревне, не выйди вообще замуж, могла бы и посейчас там преспокойно хозяйничать, не пришлось бы ей горе мыкать, не пришлось бы о таких пустяках-глупостях размышлять. На что ей муж? Были бы хоть дети! Но разве бы такой негодник мог о детях заботиться? Ну для чего, зачем все это было? Немножко любила его, потом, пожалуй, даже очень любила, но разве он это заслуживал? Встряла эта полоумная Марика, и всему конец.

А что было делать? Будто Фила могла ему что-то приказывать или заказывать. Она смирилась со всем, даже еще и обрадо-

[1] Дурочка! (*нем.*)
[2] Хотите кофе? (*нем.*)
[3] Извините, пожалуйста! Будьте осторожны! До свиданья! (*нем.*)

валась, когда он принес ей платье от Марики. Продала Марике мужа! За платье его продала и за эти несколько посылок, за пару пустяковин, что он наверняка своровал. Иными словами, она и сама виновата. А деревню как жалко! Вот уж право, нету для нее ничего лучше деревни, в деревне все по-другому, там и живется легче, и веселей там, куда веселей! Там и ласточек больше, и всяких других пташек. Бывало, когда она возилась в винограднике, из лесу так и несся их посвист. Соловьи, чижи, щеглы, жаворонки, снегири, дрозды! Частенько углядывала она и малиновку, а у той, сказывают, потому малиновое горлышко, что, когда Иисус висел на кресте, она хотела ему из руки гвоздь вытащить. Дятел подчас так сильно стучал о дерево, что даже клювик себе раскровенивал. Считается, что он доктор деревьев. И деревьям, выходит, нужен доктор. А кукушка летала по всему лесу, нимало не ведая, куда и в какие гнезда снесла яички. У каждой кукушки летом хлопот полон рот. Довольно ли у нее будет птенцов? Не повыкинут ли их чужие самочки из гнезда? Хватит ли пропитания для малых кукушат? А для чужого молодняка, верней, для собственных птенчиков, его тоже будет в достатке? Господи, сколько же голышат и писклят высовывалось всегда и из маленьких гнездышек! Самец с самочкой могли вконец измотаться! А в гнезде становилось все тесней и тесней, разве до отдыха тут — их всегда встречали голодные, разинутые клювы, а если в гнезде был кукушонок, то многие из этих пискушек, выпав из гнезда, совсем пропадали, напрасно только птица-мать или отец разыскивали их по лесу. Но что делать кукушке, коли из года в год она кладет столько яичек? Вот и приходится другим птицам высиживать их, а то и воспитывать молодняк. Но если вырастут из этих голышат кукушки, от них ведь тоже прок будет: пожрут самых что ни на есть безобразных гусениц. Только принесет ли это радость маленьким птахам? Разве что человек порадуется: в лесу много кукушек, значит, хотя бы гусениц поубавится! Ну а иволга гусеницам тоже спуску не дает. И вообще-то она птичка-шалунья. Точней сказать, не птичка, а довольно большая птица. Знай крылья у нее так и трепыхают, когда она летает по лесу или по роще. Разбежишься за ней... А, что попусту вспоминать!

56

Кончилась война, и Яно вдруг объявился: наверно, показаться Филе захотел, поспрошать про ее житье-бытье, а может, и повеселить ее.

А был он и вправду в хорошем настроении. Похудал малость, но выглядел в общем-то неплохо. И был даже довольно прилично одет.

— Как жизнь, Филка? Что нового? Здорова ли? Как дела

шли? Все ли путем? Ничего с тобой не стряслось?

— Нашел-таки время спросить, как живу. Так и живу — твоими заботами. А ты где шатался до сего времени? Уж лучше б ты и вовсе не показывался.

— Ладно тебе, Филка! И чего ты так вредничаешь? Так-то ты меня привечаешь? Уж и навестить, спросить тебя ни о чем нельзя!

— А вот и нельзя! Почему не остался там, где жил доселе? Думаешь, ты мне нужен? А для чего? Тыщу раз я уже во всем раскаялась. И не совестно тебе, Янко? Взял да и приперся! Глаза б мои на тебя не глядели. Господи, если ты здесь останешься, думаешь, не знаю, что со мной будет?

— Ну и что с тобой будет? Чего испугалась? Я, может, рад-радехонек, что живу на свете и что войны уже нет, а ты, хотя тебе и сказать ничего не успел, кидаешься на меня, нос воротишь, будто злишься, что над моей головой еще трава не растет.

— Уж лучше бы росла, уж лучше бы над тобой, поганцем, зеленела. Сколько беспокойства и мытарства мне причинил. А все попусту. Меня тут все травили, то и дело доискивались тебя какие-то черти-дьяволы: жандармы, гардисты, следом опять же солдаты, я только и знала, что от страха дрожала. Дала как-то раз одному парнишке кусок хлеба и спичек, так чуть было жизни не лишилась за это. Пришли немецкие солдаты, сперва про паренька спросили, а потом про тебя, где ты да что ты, почему не дома, а мне чего было им говорить?

— Мне уж люди рассказывали. Могла б чего и наплести.

— Наплести?! А что? Да и какой с немцами разговор? Гнали меня через весь город, чисто я обокрала кого, не то еще похуже чего учинила. Облаяли меня двое, потом четверо, шестеро, заперли в сарай, ровно какую курицу, паршивую квочку без цыплят. Будто сама всех цыплят передавила — и меня только что чикнуть оставалось.

— Неужто и впрямь так худо было? — спросил Яно. — Били тебя?

— Не били. Но захоти они...

— А за что, в общем-то?

— За кусок хлеба да за несколько спичек. И еще за горсть подслащенной соли, за горсть сахару соленого. Потому что этот паренек сахар с солью смешал.

— Стало быть, не били. Вот видишь! А меня, Филка, били! Так били, что чуть до смерти не забили. Молотили по голове, по губам, промеж ног пинали, по пальцам топали, а когда ключицу и ребра переломали, плюнули на меня и кинули подыхать.

— Да ты в своем уме, Яно?

— Вот-вот, чуть было не лишился ума-то. Вместо завтрака наелся зуботычин! Вот, гляди! — Яно широко раскрыл рот, рассмеялся, точно помешанный. — Где мои зубы?

— Да как же это? Возможно ли? И кто тебя так? Никак они,

немцы? Боже мой, и за что?

— За муку́.

— За муку? За какую? Украл ты, что ли? Боже правый, зачем же ты воровал?

— Не воровал я. Носил только.

— Куда носил?

— В горы.

— В горы? Господи, тебя все еще к этому тянет? Куда в горы? Вечно ты что-то куда-то носишь. А что ты носил? Наверно, соль и сено. При чем тут мука?

— И соль носил, но только два раза. Чаще картошку, фасоль, хлеб либо муку. Случалось, и мясо. Но схватили меня, когда я муку нес.

— Значит, людям нес. Выходит, ты партизан был. Ружье имел. Видишь, Яно, до чего тебя ружье довело!

— Нет, партизаном я не был, и ружья у меня не было. Я только харч носил.

— И за это тебя так мордовали? Ты ведь завсегда что-то носил, завсегда носишь, с малолетства сено и соль в лес носил, почему ты не сказал немцам про это?

— Сказал. Однако в тот раз я муку нес.

— Мука-то для хлеба.

— Думаешь, им это не известно? Только в войну иными мерками все меряется и судят обо всем иначе. И с хлебушком по-другому обходятся. Нежданно-негаданно за ломоть хлеба, за муку, а то и за щепоть соли, за кусочек сахару или за спичку хватают, сворачивают шею, зубы выбивают, ребра ломают, пальцы сапогами топчут. Бьют в зубы, в живот, промеж ног, да еще орут на тебя: подохни, свинья, подохни вместе с твоим вшивым, вонючим хлебом! Да еще орут на тебя по-словацки, хорошим словацким языком матерят! И спросить нельзя, чей этот сапог был. Кого спросишь? Иной раз диву даешься, где только не доведется встретить словака! Право слово, и в немецкой форме попадались. Вдруг понимаешь, что это тебя земляк пинает, что и словак горазд тебе зубы выбить, особливо если на ноге у него добротный немецкий башмак или сапог. А ежели не сапогом, так прибьет тебя крпцом, а на худой конец даже шлепанцем. Бывают и такие словаки! А попробуй кому-нибудь об этом сказать! В книжках про это не пишут. По книжкам мы все голубки, народ набожный, среди нас изрядно поэтов, певцов. Кто знает, может, и тот, кто помогал немцам зубы мне крошить, кости ломать, скинул теперь форму и уж, поди, для других, не таких пройдошливых, как он, молитвочку творит или стишки кропает.

— Яно, да как же ты вырвался из ада этого?

— Убежал я.

— Убежал? Как?

— Сам не знаю. Чудом, должно. Пришли они за мной в погреб, ну, думаю, то ли хлопнут меня, то ли куда в лагерь пошлют, а они вдруг спрашивают, могу ли я каменщиком поработать. Я сказал, что могу. Вывели меня тогда на свет божий и указали на невысокую, местами попорченную кирпичную оградку, которую я, дескать, должен поправить. Два дня я трудился, кормили меня малость получше, а я то радовался, то совсем впадал в тоску, потому что с этой оградки видны были фруктовые сады и я с дорогой душой махнул бы через них! Но уж больно слаб был, спина жутко болела, в груди кололо, аж дух захватывало. А этот сад все не выходил у меня из головы. И я не раз говорил себе: господи, стало бы мне немного получше, подстерег бы я, может, минуту, когда караульный не так пялится на меня, спрыгнул бы с оградки — и айда через эти яблоньки и сливы! Даже если стрелять по мне будут — и то, глядишь, не попадут, убережет меня сад, спрячусь где-нибудь в нем, авось не найдут. Ну а на третий день караульный и в самом деле вроде перестал меня так уж доглядывать. Соскочил я это с оградки — и бежать из последних сил. Хоть душа вон, а беги! Караульный побег мой заметил не сразу, когда он начал стрелять, оставалось мне лишь пару шагов до стога сена — в нем я спрятался и отдышался. Но надо было дальше бежать. Господи, спасусь ли я? Караульный-то за мной не побежит, пост не бросит, но своей стрельбой явно других всполошил, и уж те наверняка за мной кинутся, господи боже, где же мне схорониться?! Через минуту слышу — брешет собака. Не уйти мне, как бог свят не уйти! Бегу, бегу, то и дело оглядываюсь, людей еще не видать, а псина вон уж. Бежит за мной, и все ближе, ближе. Здоровенная собачища! Немецкая овчарка! Не овчарка даже, а настоящий волк! Вскочит мне на грудь, сшибет наземь, тут-то солдаты меня и прикончат. Каюк мне! Стало быть, зачем бежать? Останавливаюсь. Одной рукой похлопываю по бедру, другой подзываю пса и гогочу как придурок: "Поди, браток, поди!" Еще и навстречу к нему иду, и руки протягиваю, и без передыху смеюсь: "Прыгай на меня, браток, прыгай! Я ведь в жизни ни одной собаки не обидел, а ты разорвать меня хочешь? За что, ну за что?" Он немного опешил, а все равно кидается, лает, ворчит, зубищами клацает, так и норовит меня цапнуть. "Чего брешешь, чего ворчишь? На меня? За что? Чего я тебе сделал? Ну тихо, тихо! Хоть ты и немецкая псина, но я-то чего тебе сделал? Ruhig, ну-ка ruhig!" Пес в смущении: лаять-то перестал, а ворчит, ворчит. "Ну ладно, прекрати! Хватит ворчать! Ты ведь уж старый пес, а я, ей-ей, ни одного пса не обидел. Прекрати, старик! Ведь ты же не подведешь меня, не предашь!" Тут вдруг мелькнул в траве заяц. "Глянь-ка, зайка! — киваю я псу. — Айда за ним! Komm! Бежим за зайкой!" Я бежать — и пес, совсем уже очумелый, тоже несется, вскорости даже перегоняет меня, ей-богу, бежит за этим зайчишкой.

— Правда, Яно? Неужто так было? Ты ничего не выдумываешь?

— Зачем выдумывать? Столько всего было, что и не расскажешь! Хочешь верь, хочешь нет, а эту псину я у немцев увел. Только как?! Сперва-то самому пришлось в пса превратиться. Зайца этого он не поймал, и я боялся, что он воротится к своим, а там снова по моему следу пойдет, как науськают его на меня. Вот я и стал его дальше заманивать и дурачить: "Komm, komm, не оглядывайся, старик, не петляй, не принюхивайся, не рыскай, назад не повертывай! Зачем повертывать? Все равно тебя снова науськают, снова по моему следу пустят. Komm, бежим вместе! Господи, ты же старый, умный пес, сверни, не иди напрямик, но и не петляй так! Давай вместе петлять, я ведь тоже могу! Komm, komm, уже бегут за мной, вот-вот петлю накинут, помоги мне быстрей бежать, след со мной прокладывай!" Пес скулил, потом перестал скулить. Убежали мы от них. Позже я и сам тому дивился, даже поверить в это не мог. Переночевали мы в скирде, и эта псина, овчарка эта, еще меня и согревала. Утром мы опять отмахали изрядный кусок, а потом присмотрел я одну деревеньку, подобрались к ней мы осторожно, еще осторожней вошли в один из дворов, и там окликнул я хозяина, а может, батрака, что нес коровам сено: "Мил человек, дайте, пожалуйста, нам чего-нибудь перекусить. Мы убежали от немцев и страшно есть хотим! Я еле жив, у меня ребра поломаны, верней, я весь изувечен. А это немецкий пес, но он дезертир, убежал со мной, жизнь мне спас". Мужик малость смешался, но тем временем во двор вышла женщина, за ней следом другая, помоложе, должно быть, дочка ее, а уж потом и какой-то детина, на вид изрядный пройдоха. Едва он раскрыл рот, пес заворчал на него. Я опять еды прошу, для себя и для пса. Порасспрашивали меня немного, а потом дали что-то. Любопытных и зевак набилось во двор — тьма-тьмущая! Такого столпотворения я, понятно, и побаивался. Уж больно недоверчиво некоторые глядели на меня, а главное — пес не по душе им пришелся. Один из них и говорит: "А пес-то ведь бешеный! Гляньте, как у него из пасти слюни текут, да и по глазам оно видно!" Оторопел я. У пса и вправду из пасти слюни текут, неужто он и впрямь захворал, неужто сбесился? Если это правда, тогда и у меня, верно, бешенство, а вот я ли от него заразился или он от меня — еще неизвестно. Кто-то и говорит: "Повесьте его, эта подлая тварь — собака военная, бог знает, скольким людям она в горло вгрызалась и скольких передушила?" Где уж тут спорить и убеждать их, что пса можно вылечить! Гляжу, один мужик выхватывает пистолет из кармана и два раза стреляет в собаку. И говорит:"Закопайте его поглубже! И этот вот, — указывает он на меня, — видите, как он крючится и хрипит! Его, может, легкие замучили. Душу ему, верно, вытрясли, а чахотку наместо души и затолка-

ли. Похоже, он тоже сбесился. Найдите ему лекаря!" Так они и сделали. С божьей помощью я и оклемался.

— Значит, поправился? Ох и хлебнул же ты лиха, Яно! А я на тебя еще напустилась. Криком тебя встретила. Не серчай уж!

57

Но на другой день Яно сообщил Филе, что заскочил домой ненадолго. А собирается, дескать, в Чехию.

— В Чехию? А зачем? Мало всего натерпелся? Чего опять мудрствуешь? На кой ляд тебе в Чехию? Чего ты там не видал?

— Условился я с товарищами. Говорят, в Чехии можно хорошо заработать.

— Да ты разве к работе годишься? Когда и где ты работал? Всю жизнь только и знал, что по округе мотался да зверя распугивал. Хочешь работать, так и здесь дело найдется. Нынче хватает работы. Я тоже тружусь.

— Вот как! Что же ты делаешь?

— Что делаю, то делаю. Пусть и не ахти сколько зарабатываю, а без дела не сижу. Труд чести не замарает.

— Фила, этим только голытьба утешается. А господа хохочут над ней. Я много хочу зарабатывать. Неужто честный человек должен впроголодь жить? Я довольно набедствовался, хочу и сытно поесть. Да не о том речь. Скажи по совести, что мне здесь делать?

— Что угодно. Разве у нас тут мало работы? Тут ее завсегда хватало. Хаживали к нам на работу и из Остравы, и из Кисуц. Разве не помнишь, сколько народу сиживало вокруг святого Флориана? А богачи — какие тут богачи были? Вроде их у нас и не было. Что богач здесь имел? Виноградник, один виноградник, ну а с виноградника — кой-какую мошну. Бедный горе мыкал, а богатый скряжничал. На мошне спал, а приличную кровать не покупал. Стало быть, какая тут разница?

— Ан была разница.

— Была? А в чем? Разве что в этой мошне.

— У меня мошны не было. А у кого была, тот и ходил тут задрав нос.

— Дурень, а кто же тебе мешал его задирать! Возьми да сейчас попробуй!

— Плевать мне на них, на этих выпивох. Конечно, я и сам выпить не дурак, что и говорить! С малых лет к вину приучался. Скажи, что у тебя дома было на завтрак, когда ты еще девчонкой бегала?

— Когда что. Кофе, молоко, иной раз и вино.

— И у меня вино. На молоко редко хватало. Заместо завтра-

ка получал я сто-двести грамм горячительного.

— Что ж, так повсюду было.

— Дудки! Только в нашем краю. А в школе нам говорили, что молоко полезней вина.

— А разве нет?

— Ясное дело, полезней. Ты теперь точно учительница говоришь. Только молока-то не было. На молоко не хватало. Хотя сызмала я и уважал учителей, иной раз мне казалось, что у некоторых вместо мозгов одна оболочка вроде пенки. Должно быть, из того самого молока. Стоило хоть чуть-чуть обновиться власти, обычно менялся и инспектор, а не менялся, так тот же самый, какой-нибудь старый хрен или хмырь старался обегать все школы: коллеги мои, учителя и учительницы, у нас новая программа, и суть и оболочка новые! Пан инспектор, а два и два — четыре? Да, пан коллега, два и два — четыре! Стало быть, так, милые деточки, два и два — четыре, хорошенько это запомните! Пан учитель, а наша родина все еще садик? Разумеется, садик, самый что ни на есть распрекрасный садик! А скажите, пожалуйста, пения у нас сегодня нету? Нет, дети, пения у нас сегодня нет, пение у нас вчера было. Пение у нас всегда два раза в неделю. Ну тогда плевать на такую арифметику! И дети юрк из класса прямо в сад. А вот в костеле — там я иной раз замечательно пел. Батюшки светы, когда я, бывало, зимой ходил на рождественскую заутреню, костел аж гудел весь. А как же иначе, ежели каждый прихожанин успевал уже опрокинуть в себя двести грамм, а иной и пол-литра. Отец небесный только в такт притопывал. А святой Петр стоял у небесных врат и подмигивал божьим овечкам: лютеранин, католик, лютеранин, католик. Господи боже, эти дуболомы, что сейчас идут сюда, наверняка словаки, сунь-ка их всех куда-нибудь скопом и подмешай к ним веселого чеха, пускай там на небе им карусель устроит!

— Ну вот, дуралей, сам над собой потешаешься! Какого рожна идти тебе в Чехию?

— Потому что полюбил чехов. А вот Чехию не знаю как следует. Теперь мы опять одна страна, стало быть, это и моя родина.

— Твоя родина? Ты же не чех. Что ты пел перед войной? Кто им пел "Чешут, чешут в Прагу чехи"?..

— Я пел, говоришь? А ты спроси, кто не пел? Песенка такая была. Разве я ее сочинил? Только для чехов и словаков скорей подошла бы другая песенка. Та, что про цыган.

Цыганка померла в долине,
бой пошел из-за перины.
Эй вы, цыгане, не деритесь,
там две перины, поделитесь!

— Знаешь эту песенку?

— Как не знать!

— Эта песенка словно про нас сложена. В ней жизнь деревень наших. Временами у нас одна перина, временами две, потом снова одна, но уже побольше, ну а ежели в этой перине или под ней мы все время ворочаемся и ерзаем, то в волосах у словаков "перие", а у чехов "пержи". Есть у нас "воз" и "вуз", "конь" и "кунь", "вреце" и "пител"[1], ну а если кто не может найти ни "вреце", ни "пител", тогда берет он мешок. Мы ведь понимаем друг друга. Не надо только эту перину дергать. А то как начнешь ее дергать, она возьмет да и разорвется, или кто-нибудь пойдет возмущаться: не дурите, люди, не дергайте перину, ведь у меня зад наружу торчит, а мне ни к чему под периной простужаться!

И Яно снова запел:

Словак иль чех — вот хорошо:
у них на всех один мешок.
Пусть чехи любят карусель,
словак вам оплетет горшок.

Я шел из Чехии домой,
разбился вдруг горшочек мой.
А как я сел на карусель,
и тот мешок — с плеча долой.

А чеху музыка под стать:
он любит на трубе играть.
Словак поет: "Давайте, чехи,
горшки, как братья, оплетать!"

— Господи, ну и придурок! Думала, ты хоть немного изменился. А ты все такой же, каким в холостяках был. И зачем ты женился? Будто не знаю, для чего ты наладился в Чехию. Наверняка сговорился со своей Марикой.

— С Марикой? Да ты что, какая там Марика! Я ее уж век не видал. Останься я с ней — навряд ли в горы муку бы таскал.

— Так чего ты тогда все надумываешь?

— Знаешь, Филка, там в горах среди наших парней был и один чех. Яноушек. И прилепился я сердцем к этому Яноушеку. Он рассказывал мне, что дома, в Чехии, оставил жену и семеро детишек и что, мол, изводится из-за них. И я потом всегда нарочно болтал при нем всякие глупости, нарочно шуточки все отпускал. А знаешь почему? Я понимал его и тоже стал за его детей бояться. Но ни разу ему о том не сказал.

— Ведь и у нас могли дети быть, Яно.

[1] Слов. *vrece* и чешск. *pytel* означают "мешок".

— Могли. Только не было. И нету. И вот этот Яноушек как-то раз дал мне часы и попросил отнести их в починку. Я отнес. Потом пошел с мукой. Остальное ты уже знаешь. А вот Яноушек посейчас не знает, почему я часы ему не воротил.

— И тебя это мучает? Кто тебе поверит? Ты ж всю жизнь воровал. А теперь вдруг часы тебе покою не дают?

— Что я воровал? У кого воровал? Голодал из-за меня кто? Разве что я голодал. Если и воровал, что у меня осталось? Но часы я не украл. И парень этот тоже меня полюбил. Даже в Чехию позвал... Вот только адрес забыл дать. Может, думал, что даст его в другой раз. А теперь, поди, считает, что я и адреса-то не заслужил. Даже и его малыши, за которых он так боялся, вдруг могут подумать, что именно в то самое лютое время, когда они дома дрожали от страха, голодали и что ни вечер молились за татеньку, который в словацких горах тоже дрожал, голодал и убивался от горя, какой-то мужик, что время от времени носил в горы в заплечном мешке немного фасоли, картошки или муки, правда, носил всегда только ворованное, украл у их татки часы.

— Глупости! Кто сейчас, после войны, станет из-за часов горевать? Люди радехоньки, что в живых остались, что домой воротился муж, отец или брат! Это только ты такой ветрогон, такой недоумок, да к тому же, оказывается, еще и больно совестливый! На жену начхал, детей не нажил, вот и нету у тебя забот посерьезней. О чужих часах все печалишься. Что за часы такие? Где они у тебя? Покажи-ка!

— Нету их.

— Как так нету?

— Ну нету. После войны не нашел я этого часовщика.

— Ты еще и часовщика разыскиваешь? Бог ты мой, да из тебя хороший епископ получился бы. Или по крайности проповедник. Мог бы проповедовать правду, справедливость и честность. Про все знаешь, а вот о самом главном понятия не имеешь. Даже несмышленая птаха может найти и устроить гнездо: жаворонок в траве, дятел в дупле, перепелка на земле, овсянка на земле или на кусте. Ласточка людей держится: соорудит себе гнездо под стрехой, а как вылетит из него, вскорости опять туда воротится. Каждая птица своего гнезда держится, если куда и улетит, всегда сумеет в него воротиться.

— Нет, это не совсем так!

— А как? Разве птаха своего гнезда не узнает? Пускай неведомо куда ее занесет, но спать куда всегда прилетает? Ласточка, хоть по осени и улетает от нас и где-то пропадает всю зиму, весной тоже находит дорогу в родное гнездо. Глянь — а она тут как тут, готова пожелать людям доброго утречка.

— Все это одни побасенки. А ну, как это другая ласточка?

— Какая еще другая? Опять ты мне голову крутишь!

— Ничуть. Просто уточняю. Не все птицы, что отлетают, назад

возвращаются. А если и прилетают — редко когда в родное гнездо. Когда птица ладит гнездо, то все больше о своем потомстве хлопочет. Возьми старых птиц: они садятся в гнездо не для того, чтобы согреться, а чтоб гнездо согреть. Если в гнезде уже нет ни яичек, ни птенцов, зачем в нем сидеть? Есть и такие птицы, что ночуют просто на дереве. И даже в самые-самые холодные, морозные ночи подчас целыми стаями сидят они на голых ветках; укутаются в свои крылья и взглядывают украдкой на соседа, не замерз ли, не свалился ли с дерева; а может, хотят увериться, не остыла ли начисто в них самих жизнь, могут ли они еще слегка помаргивать, глазком пошевеливать. А скольких поутру находишь под деревом! И глазки у них никогда уже не откроются. Иные птахи не любят больших перелетов; все лето напролет живут, поют, дурачатся в поле, а глядя на зиму стягиваются к людским жилищам, скорей, даже к хлевам, мельницам и амбарам. То-то и попадается на глаза столько воробьев, синичек, жаворонков-подорожников и всяких прочих пернатых. А иные подорожники слетаются только к дороге и по ней знай бегают, склюнут что-нибудь и опять в путь, а где-то и дольше задерживаются, доберутся этак до самой деревни и там, может, спросят какого-нибудь оборванного и очумелого школяра: "Послушай, мальчик, не проходила ли давеча по этой дороге лошадка?" И если мальчонка им не ответит, побегут дальше. А детям в школе едва ли кто скажет, сколько такой подорожник отмахает за зиму километров. Добежит он до самого города, и подметальщик, который только что ладился подобрать с дороги на лопату конский навоз, вдруг заколеблется: "Ежели соберу, так, пожалуй, на будущий год тут будет меньше подорожников". Человек мало смыслит в птицах. А много ли он знает о людях? Многие словаки, к примеру, думают, что у каждого чеха дома есть карусель, а чех в свой черед, поди, думает, что у каждого словака где-нибудь в углу короб с дротом стоит. Но разве мало в Словакии людей, у которых дома вечно дырявый горшок? И разве в Чехии, да и в Словакии мало детей, что обмирают от восторга, завидев карусель? Только кто им сунет в ладошку, хотя бы раз, на храмовый праздник, медяк на карусель? Ведь и я был без ума от карусели! Всегда ходил смотреть на нее. Медяка у меня не водилось, но я надеялся, что меня позовут хотя бы крутить карусель. Однажды мне повезло — я был уже, считай, наверху, у самого колеса, да ведь и другие дети туда карабкались! Мы толкались изо всех сил, пытаясь сбросить друг дружку. Вдруг меня кто-то стянул вниз: дескать, шестерых ребят хватит, а я седьмой был, то ли вовсе восьмой. Ей-ей, в жизни я на карусели не сидел, даже ни разу колеса не крутил. Но на карусель я ходил смотреть и поздней, уже совсем взрослым, и, когда, бывало, видел, как иные дети долгими часами стояли там, мечтая о медяке или надеясь хотя бы добраться к колесу, покрутить

его, полчаса покрутить, а потом за эти полчаса одну-две минуты посидеть на карусели, смеяться, визжать и покрикивать другим, не таким везучим ребятишкам, которые уже не первый день томятся в ожидании, щурясь и раскрывая рот от зависти, и многие из них будут так ждать не час, не день, не месяц и не год, а может, все двадцать лет, мне становилось их до того жалко, что и глядеть уже было невмочь. Находились и такие чудаки, что начинали карусель ненавидеть, заявлялись даже вздорить с карусельщиком. И я сказал себе тогда: ''Разве это жизнь? Не хочу детей, не хочу жениться, не заведу детей до тех пор, покуда не заработаю столько, чтобы у меня всегда хватало на еду и детям на карусель''. Ну а Яноушек — он мне вот что сказал: ''Да знаешь ли ты, брат, что такое карусель? Жена вечно злобится и шипит на тебя: ''Дурень, ты со своей каруселью совсем спятишь''. Ну и ты возьмешь да скажешь себе: ''Да провались она пропадом, карусель эта!'' А потом приезжаешь случайно в какую-то деревню, и тебя вдруг как ножом по сердцу: sakra[1], в воскресенье тут ведь престольный праздник, а у них нет карусели! Что же ребятишки будут делать? Ну и убеждаешь дома жену, что тебе нужно ехать туда, да хоть и не убедишь, а все равно едешь. В другое воскресенье опять где-то престольный праздник, на дворе непогодье, и не заработаешь ни шиша, зря только мальчишки дома ждут, что им татенька привезет. А ты ездишь и ездишь с каруселью, из воскресенья в воскресенье, частенько совсем уж невмоготу делается, но ведь если не приедешь куда — что за праздник будет у детей без карусели?'' Мне подчас, Филка, думается, что такой чех, что ездит по деревням с каруселью, ровно что твой жаворонок-подорожник, он все время в дороге. Да и словацкий дротарь[2] того же поля ягода. Ну можно ли такого человека огорчить или подвести? Поеду я в Чехию.

— Не найдешь ведь его.

— Это почему? Храмовый праздник бывает раз в году. Спросишь людей, где в воскресенье будет праздник, и ступай туда. Карусельщика не трудно найти. Да я уж и с другими товарищами сговорился. Подработаю в Чехии и ворочусь.

58

И снова о нем ни слуху ни духу. Однажды только написал Филе, что ему нужна метрика: пускай, мол, поищет ее дома, а коль не найдет, сходит в национальный комитет и выправит новую.

В письме еще похвалялся, что у него отличная служба и уйма свободного времени, что там, дескать, прекрасное охотничье

[1]Черт возьми (*чеш.*).

[2]Дротарь — бродячий ремесленник, оплетающий глиняную или фаянсовую посуду дротом (проволокой).

угодье, где он днюет и ночует. О Яноушеке и словом не обмолвился.

Прислал он ей и две фотографии, обе с охоты, правда, из охотничьего платья на нем была одна только охотничья шляпа. На обеих фотографиях улыбался: на одной держал в руке дымящуюся сигарету, на другой был весь увешан зайцами. Фотограф явно наслаждался его видом. Но Фила усмехнулась: "Так, значит, нашлось для тебя угодье, наконец-то получил его? А ружье — ружье-то где? Ну и нагрузили тебя в твоем угодье! Кто с ружьецом шагает, а ты, дурень, по полям зайцев таскаешь".

Метрику Фила не нашла и потому отправилась в национальный комитет просить новую. Еще и за гербовую марку пришлось заплатить. Заплатить-то заплатила, а потом в шутку написала Яно, что заставляет ее, мол, еще понапрасну расходоваться. Не забыла и добавить: "Все ж не поминай меня лихом. Когда ты был дома, пожалуй, уж очень я тебя бранила. Хоть и поделом тебе. А если тебе делать нечего, можешь мне и чаще писать. Денег не шли, я на себя заработаю. А станет скучно, пиши, хотя твое дело. Писать-то тебе, негодник, не хочется, вспоминаешь меня только тогда, когда тебе что-нибудь нужно. Желаю тебе всего наилучшего, а главное — чтоб в Чехии тебе хорошо жилось и чтоб ты там подольше пробыл..."

59

Яно не отозвался. Может, подчас и вспоминал о ней, да не написал ни слова. На счастье, у Филы завелось уже много знакомых в городе, было у кого погостить. Когда-когда захаживала и в родную деревню, но и туда лишь на минуту. Работы не чуралась, да и как чураться — с чего-то надо было жить. Только ведь еще сызмала, дело известное, была не больно расторопна, так что привередничать не приходилось: обычно доставалась ей та работа, от которой другие отказывались.

Но однажды и ей выпала удача. Пошла она как-то в город за покупками, и вдруг остановил ее пожилой, вполне прилично одетый мужчина — она нередко встречала его на улице, но никогда с ним не разговаривала; а на этот раз он спросил ее, не отнесет ли она письмо на почту.

Она ответила, что отнесет.

— Впрочем, не надо даже на почту относить, — сказал он ей. — Просто бросьте его в ящик. И, бога ради, не сердитесь, что я докучаю вам такими глупостями.

— Какие же глупости? Мне нетрудно снести письмо, это же пустячное дело!

И, встретившись с ним на другой день, сказала:

— Письмо отнесла. Только в ящик не бросила — кто знает, каждый ли день выбирают из него письма. Зашла я на почту и сказала, чтоб письмо отправили как положено, потому что об этом попросил меня один господин и мне хочется выполнить его просьбу.

Мужчина засмеялся, а потом еще с минуту они побеседовали. Он расспрашивал ее о том о сем, а при этом и пошучивал. Наконец предложил ей:

— Знаете что, соседушка? Если вы уже не работаете и не перегружены дома хозяйством, не могли бы вы кое-когда зайти ко мне немножко убрать?

— Отчего ж не зайти? Хотя я и сама могу найти себе работу и принуждать меня к ней не надобно, прийти могу. Если угодно, прямо завтра и приду. Только чтоб ваша хозяюшка не обиделась.

— О моей хозяюшке не беспокойтесь. Мы не живем вместе. А соседи по двору не родня мне. Они вас пусть не заботят!

— Вот и хорошо. Завтра утром обязательно приду.

60

Она ходила к нему убирать два раза в неделю, выполняла и более мелкие поручения, но все еще не знала, что это за человек. Только однажды, когда во время уборки он полез за чем-то в шкаф, она увидала там форму.

— Простите, господин, мое любопытство, но мне хотелось бы знать, что это у вас за форма?

— А вы не знаете? — рассмеялся он. — Это генеральская форма. Я был генерал. Да, собственно, и сейчас генерал. Но форму не ношу.

— Вы генерал? А я-то, глупая, даже не знаю, с каким господином чуть ли не каждый день разговариваю. И сейчас как дурочка спрашиваю. Могла бы и сама догадаться, что вы не простой человек. Но и вам бы надо было меня упредить. И зря вы форму не носите.

— А зачем?

— Да ведь люди о вас ничего не знают.

— Ну и пусть, Филка! Пожалуй, так оно лучше. Но потом, со временем, когда у меня будет какой-нибудь праздник, может, я и надену форму. Даже вместе его и отпразднуем.

— Нет-нет, я бы никогда такого себе не позволила.

— Почему же нет?

— Не положено. Я не люблю с господами праздновать. Лучше приду после, поздравлю вас. Но с нынешнего дня буду вас еще больше уважать. Вы только не гневайтесь, что до сих пор принимала вас за обыкновенного человека. Теперь вы будете для меня только пан генерал.

61

Как-то раз генерал заметил, что Фила плохо убирает. Не хотелось ему выговаривать ей, но все-таки он обратил на это ее внимание:

— Филка, вы, должно быть, неважно видите. Вон там на полу вы оставили мусор. Это не в упрек сказано. Просто мне кажется, что у вас глаза не в порядке.

— Неужто оставила? — Фила осмотрелась. — Пожалуй, и правда! — И она тут же поспешила подмести пол.

— Филка, я еще раньше замечал, что у вас неладно со зрением. В этом ничего нет особенного. Скорей всего, нужны очки.

Генерал подошел к часам и спросил:

— Вот скажите, сколько сейчас?

Фила напрягла зрение.

— Часы вижу, а точно не знаю. Сперва вы мне укажите, которая стрелка маленькая, а которая большая. Потому что я только к большой привыкла.

Генерал вертел перед ней часовые стрелки, а она говорила ему, который час. Время она угадывала, но генерал остался недоволен.

— Ничего не поделаешь, Филка, придется вам сходить к доктору.

62

Она сходила к глазному врачу, поскольку генерал всякий раз напоминал ей об этом. Врач прописал ей очки, но она так и не пошла подобрать их.

"На кого бы это я в очках была похожа? Генерал старше меня — и то их не носит, хотя он и пожилой и большой господин, а мне перед ним в очках выставляться?"

Люди говорили:

— Ведь он же сам тебя посылал к доктору.

— Верно, посылал. Но мне, что, в очках ходить? Зачем? Ну не смешно ли, если я в очках перед ним буду крутиться? Да я к ним и не привыкну, поди!

63

Немного погодя генерал спросил ее:

— Филка, вы у врача были?

— Была. Но все в порядке. У меня никогда не было особо хорошего зрения. А нынче мне-то уж шестьдесят. Разве могу как шестнадцатилетняя видеть?

— А пенсия у вас есть? Сколько вы получаете?

— Какая пенсия? Нет пенсии. Я никогда не служила. Работать работала, но за такую работу пенсии не дают. Страховку я и то никогда не платила. Если и добывала кронку на старость, тут же успевала ее израсходовать.

— Филка, но что-то вы должны получать. Теперь каждый пенсию получает.

— Как так — каждый? А мне бы за что положили? Разве только за Яно? За то, что он жизнь мне отравлял? Или за то, что удрал от меня? Должно, где-то в пограничье зайцев гоняет, но, пожалуй, особого вреда он им уже не причинит.

64

Генерал выхлопотал ей пенсию. А она просто нахвалиться им не могла.

— Не то чтобы много, — говаривала она соседям, — а все ж таки кое-что! Да мне много уже и не нужно. И совсем ни за что получаю, правда, совсем ни за что. Живу себе как барыня.

— Да ведь теперь так заведено, — смеялись люди. — Теперь каждый получает.

— А мне-то за что? Виноградник продала. А работы не было. Так, возилась помаленьку. А генерал-то, он знает, что к чему, выхлопотал мне деньги.

— Небось не из своего кармана. Государство деньги дает. И ему тоже.

— Пускай кто угодно дает! Главное, что мне тоже дает — и не придется мне с протянутой рукой ходить.

65

А однажды, когда она пошла на базар, чтоб купить овощей для говяжьего супа, на улице окликнул ее Яно.

— Эй, Филка, ты куда торопишься?

Сперва она едва узнала его.

— Яно, никак ты?! Откуда ты взялся?

— Да вот, приехал. Я уже опять на месте. Долгонько меня тут не было, но теперь уж здесь осяду. Не хотелось сразу идти к тебе. Думал, ты и не признаешь меня.

— Я, конечно, стала плохо видеть, Яно, да все равно — кто ж тебя признает, как не я? Когда ты приехал?

— Позавчера.

— Позавчера? А где ж ты был до сих пор? Хоть бы показался! А мне и словом никто не обмолвился.

— Не хотел идти сразу к тебе. Нашел здесь работу. Работать

мне не обязательно, я пенсию получаю, но хоть приработаю малость. Я снова город подметаю. Только вот жить негде.

— Как так негде? Это ведь я в твоем доме живу. Свою-то горницу продала, и хоть ты потом все пропил, обирать тебя из-за этого не собираюсь. Коль негде тебе голову приклонить, что ж, сделай милость, вселяйся!

66

И они опять зажили вместе. По счастью, особо привыкать им друг к дружке не приходилось. Ладили меж собой, а если иной раз и повздорят, так что с того? Мало ли на свете людей несчастливых лишь оттого, что не с кем поругаться!

А вот разговоров им не занимать стать. И колких, и веселых.

Яно днем подметает город. Фила дома стряпает. И Яно, воротившись с работы, по обыкновению съедает все, а потом ее же стряпню и хулит.

— Все равно бурда!

— Как бурда? Ты же подчистил все. А не нравится, оставался бы в Чехии либо за свою Марику бы держался.

— Ты лучше ее не поминай! Готовить мастерица была, куда тебе до нее.

— А из чего она готовила? Небось как и все другие варганила. Да ты еще и воровал у нее. Тебя смолоду посадить в каталажку надо было.

— Ну и что? Ну и посадили бы! Думаешь, в каталажке плохо? Сидишь там, наверно, и ждешь ужина.

— Ну и отправляйся туда! Для таких господ в каталажке и плетка припасена. Всыпали бы тебе горячих, я тебя бы ничуть не пожалела. Глядишь, и перестал бы быть таким привередой...

— Тише ты. Или, думаешь, для баб плеток не припасли?

— Для Марики-то конечно. И для таких, как она. Еще до войны надо было ее как следует выдрать.

— Думаешь, не драли? А я для чего там был? А уж потом она мне жару задала. Как-то раз ночью мы схватились, батюшки светы, ну я и драпанул после! Босиком! В одних подштанниках. А она из окна мне еще аспарагус на голову кинула. К счастью, он только по спине меня хлопнул.

— Дурак петый, эдак она и убить тебя могла.

— Могла. Только потом уж и впрямь глядела бы на мир сквозь решетку.

— А дальше ты куда наладился? — допытывалась Фила. — Сразу с мукой пошел?

— Ты что, с мукой! Это было поздней. Назад воротился. Подождал до утра, а утром этак честь по чести: "Марика, какие мо-

гут быть гневы, просто не подходим друг к дружке, давай-ка с тобой распрощаемся".

— А она?

— Плакала.

— Это ты, наверно, ревел.

— Ну я-то совсем немножко. Так, ради нее, чтоб не думала, что я хотел одурачить ее. Неплохая она была женщина. Давай лучше не вспоминать о ней!

67

Да, Яно особенно не изменился. Покою и теперь от него не было. Однажды Фила встала, хотела обуться, а в башмаках опять полно песку. Это вконец ее разозлило, и она напустилась на Яно:

— Ты опять за свое, старый дурень? Тебя это еще потешает? Чего сыплешь мне песок в башмаки?

— Какой песок? У тебя опять ум за разум заходит? Ведь у меня с песком дел никаких. Хотя и заметаю улицы, там всегда только пыль столбом. А пыль — она пыль и есть. А тут просто мучица! Это у тебя в башке, видать, мутится! Ты могла бы песок просеивать, потому что уже не отличаешь песок от муки.

— Вот уж право старый придурок!

— Это ты придурочная, раз у тебя из башмаков мука сыплется. Неужто генерал тебе насыпал? Не таскаешь же ты песок со своего виноградника, его, говорят, там весь перепахали. Бульдозер-то плуг тянет, не сито — муки в винограднике не найдешь.

— Какая мука, какое сито? Ты опять несешь околесицу?

— Кто несет околесицу? Была бы мука, я бы с ней управился. Нечего тебе было продавать виноградник! А теперь, наверно, в башмаках у тебя генеральская мука. Скорей всего, как плата за труд. Ты ведь работящая. А такую женщину и генерал должен оценить.

— Дурень, я ведь слепая!

— Ну и ладно! Глупая! К слепеньким все и лепятся, а у генералов все внутри так и играет.

— Как бы не так!

— А нет, что ли? Ведь у генерала времени на женщин прежде не было. Вечно в походах был и только одно слышал: трам-пам-пам! Почему бы ему на старости лет со старой бабой не повозиться? Уж я его как-нибудь непременно навещу. Потому что баба она и есть баба. Увидишь, как я с ним потолкую. Ей-пра. Я ведь будто создан с генералами калякать!

68

Иногда он допытывал Филу:

— Послушай-ка, а что этот генерал целыми днями делает?

— А я знаю, что делает? Мало ли что. Я его не спрашиваю.

— Ты же видишь его. И спрашивать незачем.

— Когда читает.

— Даже читает? А что?

— Не знаю. Я в его книги не лезу. У него много книг. Я там только уберусь малость и тут же ухожу.

— Вот любопытно, что он может читать?! Это наверняка интересно. Не знаешь, что он читает?

— Какое мне дело до книг?

— Господи Иисусе, такие вещи — и не заметить? И все время читает? — не унимается Яно.

— Почему все время? Иногда слушает радио. Да мало ли что делает! И со мной, бывает, поговорит. А то сидит курит и попивает.

— Попивает? И он этим занимается? Вот это да! И что же он пьет?

— Вино.

— Вино? Нет питья лучше вина. Генералы — большие охотники выпить. Так-так, значит, вино! Винцо хорошо, а можжевеловка, пожалуй, еще лучше.

— Как для кого! Он вино любит.

— Я утро имею в виду, — уточнил Яно, — утречком хорошо опрокинуть стопочку можжевеловки, ну а весь день потом можно и вино потягивать. Днем винцо куда как хорошо. А тебя-то он угощал?

— Сколько раз!

— И ты мне ничего не сказала?

— Зачем? Ты мне разве всегда обо всем говоришь?

— Послушай, Фила, а карт нет у него?

— Карт? Я почем знаю? Не видала. Пожалуй, есть. Наверняка карты есть.

— Карты должны быть. У генерала должно быть по меньшей мере четыре карты. Да что там четыре! Может, и двенадцать, а то и все двадцать. Да, видать, занятный человек! Честное слово, когда-нибудь обязательно к нему загляну!

69

Но и у генерала свои заскоки. Как-никак, а годы берут свое. С соседями не ладит, причем чем дальше, тем хуже. Все время с ними грызется.

Люди ходят на него жаловаться. Одни в национальный комитет, другие в участок.

— Уймите генерала! Пошлите его в какой-нибудь дом для престарелых, ведь он в каждого въедается, никому проходу не дает.

— А что он, собственно, делает? Оскорбил кого?

— Нет, не оскорбил. Но ругается и каждого поучает. А ему так слова не скажи. Кому охота его выслушивать?

— Образумьтесь, люди! Раз он никого не оскорбляет, так чего вы хотите? А скажет вам что-нибудь, ответьте ему тем же! Или вовсе не обращайте на него внимания!

70

Ну как не обращать на генерала внимания? Однажды является он в музыкальную школу — и прямым ходом к директору:

— Товарищ директор, я бы хотел учиться играть на гармонике.

Директор делает большие глаза.

— Пан генерал, у нас же здесь одни дети. Не то чтоб мы взрослых не хотели учить, но на то есть школьная инструкция. Вам бы лучше найти какого-нибудь частного учителя. Почему вы так поздно вспомнили о гармонике?

— Как это — поздно? Я еще помирать не собираюсь. Когда-то я духовой оркестр любил, но гармоника мне тоже очень нравилась. Возьмет кто в руки гармонику — сразу все в пляс кидаются.

— Однако, пан генерал! Все-таки вы уже в возрасте. Если любите музыку, попросите других, молодых людей, вам поиграть.

— Каких еще молодых людей? Я же вам говорю, что умирать пока не собираюсь. Хочу играть на гармонике дома. Если вам угодно, могу сказать и почему.

— Нет, зачем же? Нам приятно, что вы любите музыку. Но, право, здесь у нас только дети...

— Вы об этом уже доложили, не повторяйтесь! Мне гармоника нужна для того, чтобы больше ни с кем не браниться.

— Чтобы не браниться? Что вы этим хотите сказать?

— То, что слышали. Скажу человеку слово — и тут же за гармонику. Они давай галдеть, а я буду преспокойно мехи растягивать. И бровью не поведу.

— И все-таки, пан генерал, здесь музыкальная школа! Если вам угодно браниться, обратитесь в другое место.

— В какое другое? Раз не умеете ни играть, ни учить, за что берете деньги с учеников?

— Пан генерал, мы и играем, и учить умеем, но только одну детвору. Если бы вы привели сюда какого-нибудь мальчонку — дело другое. Он бы вам потом дома так наигрывал, что вы бы

только уши развешивали!

— Бросьте ваши шутки, я уже далеко не мальчонка.

— Помилуйте, какие шутки! Я вам ясным языком говорю: музыкальная школа — только для людей юного возраста. Вам, пан генерал, о ваших музыкальных наклонностях нужно было подумать значительно раньше.

— Ну и прощайте! Все равно гармонику я раздобуду. А эта ваша школа пускай целует меня в одно место!

71

Однажды в одной из городских витрин, где висят объявления о купле-продаже, появляется такого рода текст:

"Куплю старую гармонику. Можно баян, "Лигну" или же "Вельтмейстер", но по сходной цене.

Дев.: Жизнь для радости и веселья".

И днем позже:

"Имеется крепкая и сухая пятигектолитровая бочка. Пущу в нее двух квартирантов. Желательно студентов из хороших семей.

Дев.: Веселая гармоника".

И еще пару дней спустя:

"Куплю тридцать военных палаток.

Дев.: Осторожность".

Никто не знал, кто давал эти объявления. Известно это было лишь женщине, которой генерал заплатил за них. Но смысл текстов ее отнюдь не заботил.

Фила и та ничего не знала. Объявлений она вообще не заметила.

Но однажды, когда она снова входила в генеральскую квартиру, она увидела на двери записку и с большим трудом разобрала, что было на ней написано:

"Приказ по части:

Отныне входить во двор запрещается как посторонним лицам, так и животным в сопровождении посторонних. Всем проживающим во дворе приказываю вести себя по отношению к посторонним лицам сдержанно и корректно. Категорически запрещаю выносить со двора или приносить сюда всевозможные сплетни и измышления личного, равно как и общественного содержания и значения. В противном случае буду вынужден прибегнуть к мерам строгого воздействия. Речь и походка обитателей двора должны быть достойными и размеренными, разговоры — тихими и лаконичными. Вход в квартиру генерала строго воспрещен! Это касается всех. Исключение — Фила.

Генерал (и подпись)".

Кое-как Фила прочитала "приказ". Со страху не сразу даже решилась постучать в дверь к генералу. Большой господин, очень большой господин! В городе, пожалуй, самый большой. Но она — исключение. Такого исключения от добряка генерала она, скорей всего, и не заслуживает!

72

Но Яно, набравшись смелости, идет к генералу. Даже записка на двери не пугает его, да и с какой стати ему пугаться? Он же Филин муж.

— Добрый день, пан генерал.

— Добрый, добрый! — Генерал тотчас встает, поначалу, видать, гневается, но вскоре смягчается. — Откуда я вас знаю? Ах да, вы Янко! Муж Филы! — И он подает Яно руку. — Милости прошу, Янко! Я уж давно интересуюсь вами. Что нового? Случилось что-нибудь?

— Избави боже! Ничего не случилось. Я пришел только на вас поглядеть. Подумал, ежели к вам ходит Фила, то, может, вы и меня не прогоните.

— Вас, Янко, никогда! Милости прошу, заходите! И располагайтесь!

Яно садится, но заверяет генерала, что долго у него не засидится.

— Не бойтесь, пан генерал, я тут долго не задержусь, знаю, времени у вас мало.

— У меня его как раз вдосталь! Я же на пенсии. Вам вовсе незачем торопиться.

Поначалу разговор у них не особенно клеится, но вскоре оживляется. Ведь Яно все интересно: он расспрашивает генерала так, как еще никто его не расспрашивал. Генерал смеется и готов ответить на любые вопросы.

Яно и о своем ружье заговаривает.

— Отчего ж вы ко мне не пришли? — спрашивает генерал. — Я бы вам ружье раздобыл. Только зачем оно вам?

— Да теперь уже ни к чему. Но когда-то, понимаете, это была моя страсть. Я люблю природу. Хожу в поле и без ружья, но когда-то думал, что неплохо бы и ружьем обзавестись. А знаете, каким я был когда-то стрелком? Гляньте-ка! Я вот еще что ношу с собой! — Яно вытаскивает из кармана рогатку. — Чтоб вам было все ясно! Это моя слабость! Но я собирался о другом потолковать. Фила мне говорила, что дома у вас генеральская форма. Не сердитесь, пан генерал, что я об этом спрашиваю, но я уже много раз видел вас на улице и всегда здоровался с вами, а вот форму вы почему-то не носите.

— А для чего? Я уже отслужил.

— Но все равно, вы ведь генерал. А не могли бы вы мне эту форму показать?

Генерал показывает ему форму, и Яно признательно кивает головой.

— Генеральская форма! Жаль, что вы не носите ее!

— Я уж достаточно ее нашивал, — говорит генерал без капли грусти в голосе. — Пожалуй, меня в ней и похоронят!

И вдруг вытаскивает из-за шкафа сапоги.

— Поглядите, у меня две пары. Хотите, примерьте, одну я вам подарю. Если они окажутся впору, я, может, вам и чин повыше присвою.

Яно мигом разулся. Но сапоги оказались тесны.

— Какая жалость! Как же так? Вы же выше меня! В самом деле жалко, ходил бы я в генеральских сапогах!

73

Катит Яно по городу тележку с мусором, разглядывает людей и время от времени строит кому-нибудь рожу, но лишь затем, чтобы напугать того или позабавить. Иногда и окликнет прохожего, а наткнется на знакомца, с которым можно и перемолвиться словом, остановится — да провались они, эти пара минут!

— Ну что нового? Были вчера в угодье?

— Был, как раз вчера ходил.

— И как оно? Много ли зверя?

— Грех жаловаться.

— Вам, ребята, все хорошо, — ухмыляется Яно, — а какие здесь были прежде угодья! Я целыми днями пропадал там! Иной раз обходил шесть, а то и семь участков. Батюшки мои, а крупной-то дичи! Что ни шаг — олени, муфлоны, лани, о косулях и говорить нечего. Однажды зимой, когда я пошел зверям корму задать, козы так перли на меня, что пришлось от них пятиться. Дичи было тогда — тьма-тьмущая: утки, куропатки, а этих фазанов — ой сколько! А когда я в поле зайцев обкладывал, в этом кругу оказывалось их не менее семи рот. Целая дивизия, а еще полдивизии из круга удирало. Войско! Настоящая армия! Зря тут все так закультивировали. И старые виноградники надо было оставить. Бульдозеры да проволочные шпалеры разогнали зайцев.

— Это же кооператоры. Разве мы вольны им запретить? Да и повсюду теперь так: на проволочных шпалерах урожай лучше. Да и зверь между шпалерами понемногу устраивается.

— Скворцы! Прошелся я тут — повсюду одни скворцы. Скворцов — туча несметная. Придется им опять поставить эти жестяные карбидные хлопушки — днем и ночью стрельба пойдет.

На такое угодье заяц плевать хотел.

— Брось, Янко! Заяц держится.

— Где он держится? Я же сам видел. Как начнут там грохать, куда зайцу деваться?

— В другое угодье.

— А там, что ли, нету скворцов? И тот же карбид, та же хлопушка. У зайца свой участок, он в чужой не полезет. А отгонишь его, он пробежится, сделает кружок и опять воротится.

— Зайцев там вволю, Янко. Увидал бы — глазам не поверил.

— Вот я и не поверил. Ладно, схожу еще разок, погляжу. Только времени совсем нет. В нынешнем году даже по грибы не ходил. Верней, ходил раза три, да там смотреть не на что. Грибы и те не растут. Нынче вечером наведаюсь к генералу, а вот в субботу после полудня или в воскресенье поутру все обойду...

74

И действительно, в воскресенье Яно выбирается в поле. Времени у него хоть отбавляй, захочется, так броди себе до самого вечера. Конечно, и передохнуть придется, и даже закусить что-нибудь. Зачем же дома сидеть? На воле и дышится куда легче, и отдыхается лучше. А приспичит, можно где и поспать. Одно плохо: ни в поле, ни в винограднике теперь и порядочного дерева не сыщешь. Право слово, приличную грушу, яблоню, каштан днем с огнем теперь не найдешь; персик, сливу и то не часто увидишь. Разве что у дороги. Но там, скорей, черешня, и, пожалуй, на ней кое-что растет, да станет ли кто такое есть? Может, только шоферы, что все эти придорожные деревья зачадили, запакостили, запылили. Пускай лакомятся! На таком загаженном дереве душевный и тонкий человек не захотел бы даже гусеницей быть.

Яно шел по луговине. При желании он мог бы взять прямиком, наперерез, ан нет: он почему-то сошел с тропки и шагал, куда ноги несут, да еще всякий раз завороты делал. Очевидно, луговинка казалась ему чуть узкой. Наверняка казалась — виноградники здесь почти все заполонили. Но даже такой вот участочек — и то кой-чего стоит, корму наберется с него, н-да, надо бы уж лужок выкосить! А до чего трава хороша! В прошлые годы, пожалуй, такой густой, жирной травы тут не было. Повсюду лезли в глаза только ромашка, чертополох, на лесных опушках лиловые колокольчики и еще черт знает что! И когда луг подымался, зарастал, всегда весь был в цвету. А теперь что цветет? Цветов почти не видать. Ромашку и то не просто найдешь. Никак луговину перепахали и насеяли заместо цветов какой первосортной травы? Похоже, что так. Верно, раздобыли где-нибудь хорошие семена. Только что с него взять, с такого клочка? Тут

тебе и вспугнуть нечего. Да и было бы, разве здесь мало всяких защитников и любителей природы? Ясное дело, их и на такой клочок с лихвой хватает, знай ходят сюда охранять, проверять, да ведь коли придет один, другой, третий, а там, глядишь, и десятый пожалует, и все охраняют одно и то же — а украдкой-то наверняка и зайца хлопнут, — так потом даже птаха, ну хотя бы жаворонок, у которого тут поблизости гнездо, и тот задрожит, в воздухе, в вышине и то ему страшно. В небесную синь не подняться, крылья не тянут, а зелень внизу страху на него нагоняет, благо с нее уже не раз и не два спугнули его. Собственному гнезду и то теперь не доверяет.

Бог ты мой, фазан! Петух! И курочка! И еще петух! Все трое вылетели из тернового куста. Никак там еще один? Вот именно! Ну и петушок — просто загляденье! И неужто еще одна курочка? Батюшки, да она, похоже, спала! Так, значит, пятеро! И все из этого терновника. Петухи и курочки. Стало быть, здесь кое-что все-таки водится.

Он вышел на дорогу. С минуту шагал вдоль кустов шиповника и терновника, надеясь еще вспугнуть фазана, да куда там! Остановился, ухмыльнулся: так, значит, всего пятеро, что ж такое? Если бы в фазанов воробьи превратились, вот была бы лафа! А кабы еще и скворцы, то и вовсе! Охотников бы не хватило, их ведь даже на скворцов недостает, за скворцами и то угнаться не могут. Превратись скворцы в фазанов, всем кооператорам пришлось бы с ружьями в виноградник ходить.

Он свернул с дороги. Вот они, эти их знаменитые проволочные шпалеры! Конечно, оно неплохо, даже лучше, гораздо лучше, чем эти старые кусты, что еще остались на некоторых взгорьях. Но их уже раз-два и обчелся! Несколько кособоких уродцев еще вьются по этим уклонам, что взбегают вверх до самого леса, но и те вскорости к черту пойдут, кто станет их там обрабатывать? Тут-то, с этими шпалерами, и хлопот-то, почитай, никаких. По весне подстригут, там-сям кой-чего подвяжут, вот и все дела. Какой-нибудь недоумок, Мишо или Йожо, промчит по междурядьям на своей тарахтелке, на жалконьком тракторишке, а уж потом остальные будут только ходить в виноградник хмыкать да ворчать, что, мол, этакий болван тракторист пусть и сделал полезное дело, но и порезвился изрядно — свалил и разбил бетонный столбик, переломал и загубил несколько лоз, и вдобавок, сущий балбес, разворотил и растряс дорогу, да так, что она загудела, грунтом ее завалил, подумаешь, велика беда, если каким кустам будет и недоставать этого грунта! А попробуй-ка ему сказать что-нибудь! Он еще и наорет на вас: "Целуйте меня в одно место". Но вздумай вы ответить ему тем же, он вас же еще и одернет: "Товарищ, выражайтесь прилично". Что ж, только и остается потом удивляться, что у дороги или где в другом месте исчезла старая груша или орех, столетняя рябина или двух-

сотлетний каштан, который никому не мешал, а приносил только пользу! Иной остолоп, которому доверили заботу об угодьях, и он посылает туда людей, тракторы и лошадей, время от времени, поскольку отвык от настоящей работы, решает показать, что он тоже парень не промах, — приглашает туда бульдозериста либо сам садится на бульдозер; кто знает, то ли ему захотелось нарвать немного черешни, то ли по липовому цвету соскучился, может, он и впрямь любитель липового чаю. Вот он берет да жахает бульдозером в эту черешню или липу до тех пор, покуда не свалит ее, а дома перед женой потом выхваляется, гогочет: "Нынче я объелся черешни! Липину тоже свалил, только что-то неохота было цвет собирать. И тот здоровенный каштан, что около белой будки стоял, тоже тю-тю. Чуть ли не два часа пришлось бульдозером долбать его. Но поддался наконец. Нынче-то я просто так, интересу ради, расширял дорогу. Мать честная, до того ее расширил, что хоть аэродром на ней устраивай. И ту белую будку, что издали видно, я бы тоже развалил, только на ней еще парочка черепиц подходящих. Как-нибудь возьму их, авось пригодятся. Да и на эти деревья завтра люди подивятся. Такой широченной дороги у них еще никогда не было". Скажите такому мужику, что надо разрушить мост или кафедральный собор, — он и глазом не моргнув это сделает. Намекни ему даже, что нужно Татры с землей сровнять, — он и перед этим не остановится. Однажды вы только и заметили бы, что на месте Татр равнина и что далеко вокруг тоже равнина, ибо даже все горки-пригорки такой старательный человек тоже повыровняет удовольствия ради.

Однако урожай тут будет отменный, гроздья — одно загляденье! И на пасынках кое-что появится, только эти до самой осени не дозреют: ничего, немножко кислых дробинок разожгут мустовую войну! А женщины могли бы здесь и лучше прополоть! А им главное — трудодней побольше! Но гроздья отличные, ничего не скажешь. И повсюду только хорошие сорта: мюллер, бувье, вельтлин. И траминер. Только и слышно: траминер, траминер, траминер! А что такое траминер? То же, что ривола! Одно слово — парфюмерия, вино с заправкой. На ривольское вино покупателей полно! Однако каких? Парфюмерных. Два-три куста риволы-траминера, несколько кустов оттонеля на целый вагон хватит, а уж этим вагоном и самого черта обставишь, дурачью можешь хоть целый вагон по литрику сбагрить. Мюллер лучше, но слабоват, что такое мюллер против сильвана или вельтлина! Вину положено быть колким, оно должно и чуть царапать горло. Духами настоящего винодела не обманешь. А вот о столовом винограде и думать позабыли. Своих детей, видать, не нажили, а про чужих стоит ли вспоминать? Не иначе как решили, что виноград нужен лишь для вина, то есть только для взрослых, а главное, для выпивох. Кошут уже исчез, вскорости

и страпака не увидишь, а где святой Штефан, воловий глаз, кардинал, магдаленка? Нынче ребенок об этих сортах и не ведает. А когда-то даже самый разнесчастный винарь с маленькой делянкой думал о своих детках, так как знал, что им тоже придется втягиваться в работу, тоже придется тянуть лямку, копать, мотыжить; и даже эти, самые младшенькие, что пока еще не ломают спины, будут там вертеться-крутиться, дергать из-под кустов бурьян, звездчатку, вьюнок, заячью капусту — а нет ли там зайчика? Покушай этой травки, отведай этой былинки, это ведь заячья капуста, наверняка под этим кустом зайчик был, но он пожевал, пожевал да и в другое место ускакал. А на соседний куст внимательно погляди, видишь, какие у него листья? Присмотрись, у остальных-то кустов листочки другие. Приметь это как следует и очисти куст хорошенько, все-все вокруг него, а главное — из-под него повыдергай! И заруби себе на носу: это твой куст, не смей забывать о нем. А когда начнется сбор винограда, этот куст тебя не подведет! И таких кустов в винограднике было немало: если, случалось, огорчал святой Штефан и не появлялся кардинал, если даже вол оставался без глаз или он просто забывал заглянуть в виноградник, магдаленка все исправляла и возмещала, даже за то возмещала, что два года ничем, ну почти ничем не радовала, но теперь и она вот пожаловала во всей своей красе, достойная кардинала и святоштефанской короны, и засверкала большими красивыми очами: дети, дети, живей сюда, поглядите на магдаленку! И какой-нибудь карапуз оскалит зубки и уже не глазки, а глазищи вытаращит: э-э-это мой куст, под ним был зайчик, это моя магдаленка! Ну мог ли отец после этого такой куст из виноградника выкинуть? А если и выкидывал, то прежде обязательно прививал где-нибудь такой же привой, чтобы можно было детям сказать, что ма-магдаленка перебралась на другое место; но ведь ее-то место тоже освобождалось — что же там посадить, что туда прищепить? Кардиналов уже пять, да и воловьи глаза в винограднике прячутся, святой Штефан тоже где-то посередке, хотя вот уже несколько лет сам себя никак не найдет между других лоз. На освободившееся место надо чего-нибудь такое привить, что напоминало бы детям магдаленку. Только вот что? Ладно, потерпите малость, вот потрудитесь хорошенько и через пару годков увидите! Воловий глаз? Навряд ли. Тсс! Скорей всего, козьи титьки. Правда, они бывают кислые, редко когда дозревают. Но что с того? Титьки есть титьки. Хоть бывают и кислые, зато урожайные. Ей-богу, это же они, титьки; и этот малолеток, вы только поглядите на него, как он этим красивым кислым козьим титькам радуется! А теперь возьмите и отберите у дитяти титьки! Да он просто плюнет на виноградник — дитя вина ведь не хлещет!

Черт возьми, ну и понасажали здесь! Кто бы подумал, что и

на этой трясине будут расти виноградники? Прежде-то почти что до этих мест тянулся Шур, топкая низовина с полчищами ужей, лягушек, скорпионов, стрекоз, всевозможных бабочек и диковинных насекомых, черепаху и то здесь можно было найти. Теперь вам никто бы и не поверил. Черепаху? Да вы что? Не смешите! В предзимье, случалось, здесь все заливало водой, хоть на коньках катайся, да у кого тогда были коньки? После войны началась осушка земли, и кто только не приходил сюда помогать, даже дети: торфу здесь было видимо-невидимо. Инженеры всем верховодили, присматривали и за проходчиками, и за экскаваторщиком, а те углубляли и очищали речку, пересекавшую город и весной уж очень бестолково заливавшую его (зато вверх по реке можно было наловить раков, а пониже — форелей), двое из проходчиков, Дринка и Ледерлейтуер, не спеша продвигались за экскаваторщиком и старательно вымащивали речку плоскими камнями. И что же — раков и форелей в реке уже не водится, да и чистой воды нет: где-то повыше, не в самом городе и не над городом, а с другой стороны, ниже кладбища, городские, не то районные или областные власти распорядились выстроить скотобойню. Изо дня в день мясники бьют рогатый скот и свиней — людям хочется мяса, мяса и мяса! В реке давно издох последний рак, и даже хищная, прожорливая и плотоядная форель не удержалась, и не оттого, что там перевелись горбатые и кривые камни или песок, а от обилия жратвы, — форель и та не выдержала; теперь в реке медленно течет мутная, густая красная или бурая вода, несет отбросы скотобойни и распространяет смрад. Птица, даже умирая от жажды, боится там приземлиться, река пугает ее; а если она иной раз и напьется, такая вода вряд ли ей придется по вкусу. Птицы, во множестве обитавшие здесь прежде, привыкли пить другую воду.

А этот Шур! Когда-то почти вся низина от самого Юра до этого места была залита водой, а если в этом большом, необъятном Шуре и находились луга и даже урожайные пашни, а ближе к Братиславе даже пятнышки буйных и веселых садов, там-сям все равно открывалась какая-нибудь выбоинка, расщелинка или какое-нибудь местечко, пусть не для пруда и даже не для прудика, но хотя бы для болотца или лишь для трясинки, где было полно насекомых, всяких букашек и козявок, лягушек и лягушат, жуков и жучишек, множество птиц, и было там до того оживленно и весело, и можно было оттуда отправляться в обход или в поход, в отлет или лишь в небольшой перелет, можно было завернуть в сады-огороды и поглядеть, какой улитке нравится клубника, а какой — капуста савойская или кочанная. Вполне возможно, что в гости туда заявлялась и черепаха. Но где теперь этот Шур! Остался от него пятачок у самого Юра, говорят, там все еще водится много редкого былья и диковинных козявок-букашек, но надолго ли? Привяжите к дереву козу пастись,

и пусть там будет лучшая трава — от этого пастбища вмиг ничего не останется! Ну а бабочка — та просто возьмет да и упорхнет!..

75

Но Яно чувствует, что у него уже нет сил бродить по угодьям. Времени много, еды тоже, однако к обеду он возвращается и говорит Филе:

— Это уже не по мне. Может, оно бы и не было так, вздремни я в поле, но все равно долго там не выдерживаю. Не пойму, что это. Иной раз меня даже воздух утомляет.

— Пожалуй, воздух слишком ядрен для тебя, — говорит ему Фила. — Ты уж отвык от хорошего воздуха. Прежде ты чаще в поле бывал.

— Да мне уже и в городе ноги не служат. Иной раз пройду две-три улицы, и с меня довольно. Волей-неволей заскочишь в шинок выпить пива. Или хотя бы так посидеть.

— Что ж, Яно, годы берут свое! Докуда бегать думаешь? Старость — она ко всем приходит. А к таким, что уже смолоду намыкались горя, она еще быстрей подбирается. На что генерал, а и ему, бывает, неможется.

— Генерал? Да он-то совсем старикан. У него уже в голове мешается. Вчера я его подбил стрелять из рогатки, и мы вазу кокнули.

— Вазу? Какую же?

— Ту, керамическую. Поставил я в нее цветок, хотел в него попасть, а камушек хлопнул прямо по вазе.

— Дуралей, да ты знаешь, какая это дорогая ваза была?

— Подумаешь, дорогая! Ваз таких — завались. Заберусь куда-нибудь на чердак и принесу ему хоть четыре. Хуже вот, что ноги отказывают. Даже в городе. Придется на работе об этом сказать.

— А ты думаешь, сил у тебя на век хватит? Скажи им. Пускай теперь кто-нибудь другой подметает!

— Кто — другой? Думаешь, нынче кто-нибудь на такую работу польстится?

— А тебе что? Это уж не твоя забота.

— А чья? Моя тоже. Кому-то надо город подметать!

76

Но на следующий день Яно все-таки подает заявление об уходе. Никто из служащих особенно и не удивляется.

— Да, Янко, с вас хватит! Наподметались вы уже достаточно!

Мы вас работать не заставляли, но и запрещать не хотелось. Но все равно заходите к нам, когда вам будет угодно. Приходите, навещайте. Только так, наспех, не хотелось бы с вами прощаться. Надо что-то придумать. И знаете что? Мы должны пойти к председателю. Пойдемте с нами! Председатель все равно хотел поговорить с вами.

— Со мной? Почему?

— Сейчас узнаете. Потерпите немножко.

Председателю, вероятно, успевают позвонить: когда Яно входит в его кабинет, то, похоже, там его уже ждут. И не только председатель. Оказывается, там полно народу. Сбежались чуть ли не все служащие, и мужчины и женщины.

— Добро пожаловать, Яно! — Председатель жмет ему руку. — Слышал я, что вы подали заявление об уходе.

Яно с извиняющимся видом кивает:

— Подал, пан председатель.

— Ну вот видите! И так неожиданно! Озаботили вы нас немного. Но сердиться на вас мы не вправе. Действительно, вы уже в возрасте, много пережили, достаточно натрудились. Не стоит сейчас обо всем говорить. Но прежде чем уйдете, мы хотели бы выразить вам нашу благодарность.

Яно смущенно смотрит на председателя.

— Вы это серьезно, пан председатель?

— Конечно, серьезно.

— Какую благодарность? За что?

— У вас скоро день рождения, Янко. Мы о вас не забыли. Решили наградить вас к этому дню. Но так и быть, сделаем это сегодня. Да, и еще охотники приготовили для вас диплом.

— Как? Охотники тоже? Пан председатель, вы не шутите?

— Ну что вы, какие могут быть шутки? — Председатель вручает ему диплом и конверт с деньгами.

— Здесь небольшая сумма. Так, скромный знак внимания.

Яно оглядывает конверт, потом диплом. Почетная грамота!

— И это в самом деле мне? — Он переводит глаза на председателя.

Председатель улыбается.

— В самом деле!

У Яно вспыхивают глаза.

— Пан председатель, возможно, я и заслужил это. Разве мало я заботился об угодьях в нашей округе?.

— Конечно, немало. Я же знаю вас с детства. Я был совсем мальчишкой, а вы уже взрослым, но я вас хорошо помню.

— Правда помните?

— Конечно.

И Яно вдруг начинает плакать.

— Пан председатель, я ведь был когда-то и у архиепископа...

Говорить дальше он уже не может. Председатель похлопывает его по плечу, а служащие один за другим трясут ему руку.

77

А дома конца-краю нет его рассказам. Целыми днями об этом только и толкует. А как выдохнется, уставится в окно или в дверь. Время от времени заглянет в корчму пива отведать, а воротившись, опять говорит о том же самом и лишь изредка — и о другом. Например, о сапогах.

— Эх, жалко те сапоги! Генерал мог бы, в конце концов, и отдать их мне.

— Да ведь они малы тебе были.

— Малы не малы, а все равно генеральские. Можно было хотя бы похвастаться. Да что поделаешь, он уж совсем спекся.

— Ты заходил к нему?

— Заходил.

— И что?

— Спекся — и все тут.

— Он уж тоже в годах. А думаешь, ты тут на веки вечные?

— Да ты только представь себе, сколько я здесь когда-то наловил в полях куропаток. И зайцев. А сколько я их для господ нагонял! Беднота на господ знай спину ломала. А все равно они дурье племя. Стоило захотеть, я их запросто одурачивал.

— Мало, верно, одурачивал.

— А может, и немало. В конце концов они сами себя одурачили. Ну где они, скажи? Только что толку, когда и я уже старый?..

— Яно, а ту иволгу еще помнишь?

— Как же не помнить? Прежде и птиц было больше. Но иволгу и нынче в лесу слыхать. Когда-нибудь сходим в твои Коруны... Только теперь там все по-другому. Ты бы и не узнала их. Все изменилось. Одна б ты и дороги туда не нашла.

— Как так? Я туда с малолетства ходила. Каждое дерево, каждый кустик там знаю.

— Только ты теперь плохо видишь. И того дерева и того кустика там уже нету. Если ты и помнишь Коруны, они тебя уже не помнят.

— Не выдумывай!

— Коруны не выдумывают.

— Пошла бы я вверх по тропке до самого леса... Хоть бы еще раз иволгу услыхать.

— Иволгу? Почему именно иволгу? Если мне топать в такую

даль, я лучше фазана поймаю.

— Ты ж говоришь, я слепая. Иволгу б не разглядела, а фазана — да, так, что ли?

— Конечно. Фазан все-таки больше иволги. А знаешь что давай сделаем? В воскресенье отправимся к Йожо и к невестке твоей сварливой, навестим их, да и прогуляемся. Я куплю бутылочку можжевеловки, и ты увидишь, какая сила у меня потом в ногах будет. Я побегу за иволгой и принесу тебе показать. Сможешь вблизи ее разглядеть.

— Не болтай, Яно, не болтай!

— А я разве болтаю? Вот увидишь. Только хлебну можжевеловки! Дивидлио, дивидлио! Дивидлио! Я эту иволгу непременно поймаю!..

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 26.

"...воинов Чехословацкой бригады..." — Речь идет о бойцах 2-й чехословацкой воздушно-десантной бригады, сформированной в СССР главным образом из солдат и офицеров словацкой армии, сдавшихся в плен на советско-германском фронте.

"...с любовью вспомянут ваши хаты те, кого приняли вы под свою кровлю". — В Словацком национальном восстании принимали активное участие представители многих народов СССР: воины Советской Армии, партизаны, бывшие военнопленные, бежавшие из нацистских концентрационных лагерей и с принудительных работ, а также антифашисты из других стран Европы.

Стр. 33.
Липтов — область на севере Словакии.

"Гардисты затолкали их в телячьи вагоны..." — Гардисты — члены военизированных отрядов Глинковской гвардии (*слов*. — "гарда"), названных так по имени словацкого католического священника Андрея Глинки (1864—1938), основателя и лидера Словацкой народной (*слов*. — "людова", отсюда — "людаки") партии (с 1925 г. Глинковской словацкой народной партии), поначалу клерикально-националистического, а позднее клерикально-фашистского толка.

Лица еврейского происхождения депортировались из Словакии и передавались германским властям для отправки в лагеря смерти.

Стр. 34.
Подградье — городской квартал, расположенный под горой, на которой высится Братиславский замок (град), был известен своими притонами и публичными домами.

Стр. 35.

Кальвария (*библ.* Голгофа) — обычно холм, по дороге к вершине которого изображены эпизоды крестного пути Иисуса Христа.

Стр. 43.

Гашпар Тидо Йозеф (1883—1972) — словацкий буржуазный писатель и журналист. С 1941 г. — руководитель ведомства пропаганды клеро-фашистского правительства.

Стр. 44.

Тисо Йозеф (1887—1947) — один из лидеров Глинковской словацкой народной партии, с 1939 г. — президент марионеточной "Словацкой республики". В 1947 г. казнен по приговору Национального суда.

Штур Людовит Велислав (1815—1856) — видный словацкий поэт, ученый, общественно-политический деятель.

Штефаник Милан Растислав (1880—1919) — генерал, военный министр в первом правительстве Чехословацкой республики. Начал военную службу в качестве летчика во французской армии. Погиб при авиационной катастрофе.

Стр. 47.

Тука Войтех (1880—1946) — один из лидеров Глинковской словацкой народной партии, в 1939—1944 гг. премьер-министр клеро-фашистского правительства. В 1946 г. казнен по приговору Национального суда.

Стр. 51.

"Аризация" — экспроприация имущества у лиц еврейского происхождения, проводившаяся словацкими клеро-фашистами по примеру гитлеровцев, и передача его новым владельцам — "аризаторам", главным образом из числа активистов Глинковской словацкой народной партии.

Стр. 53.

"...и протекторатом". — Речь идет о западной части территории Чехословацкой республики (чешских землях), оккупированной в марте 1939 г. германскими войсками и присоединенной к Германии под названием "Протекторат Богемия и Моравия".

Стр. 54.

Илава — городок в Центральной Словакии, где в годы второй мировой войны находилась тюрьма и крупнейший концентрационный лагерь для врагов клеро-фашистского режима.

Стр. 60.

"Тоже мне Яношик!" — Подразумевается *Яношик* Юрай (1688—1713) — словацкий народный герой, "благородный разбойник", защитник бедных и угнетенных. После антигабсбургского восстания под руководством Ференца Ракоци (1676—1738), в котором Ю. Яношик принимал участие, он вернулся домой и стал предводителем разбойничьей дружины. Был схвачен властями и казнен.

Стр. 61.

"... немец в форме FS..." — Имеются в виду *"Freiwillige Schutzstaffeln* ("Добровольные охранные отряды", *нем.*) — военизированная организация, созданная в Словакии нацистской Немецкой партией по типу штурмовых отрядов в Германии.

Стр. 63.

Петржалка — район Словакии на правом берегу Дуная у границы с Австрией, оккупированный в октябре 1938 г. германскими войсками. С 1946 г. — часть Братиславы.

Стр. 65.

"...весь голубиный словацкий народ..." — выражение, возникшее в словацкой поэзии XIX века и используемое впоследствии в националистических и демагогических целях.

Стр. 75.

Глинковская молодежь — молодежная организация при Глинковской словацкой народной партии (см. *прим.* к стр. 33).

Стр. 78.

Палатин — королевский наместник в средневековой Венгрии.

Стр. 79.

Гвездослав Павол (1849—1921) — поэт и переводчик, классик словацкой литературы.

Стр. 85.

Национальный фронт чехов и словаков как воплощение союза трудящихся города и деревни, руководимый КПЧ, начал складываться в ходе антифашистской национально-освободительной борьбы. В марте 1945 года было создано его руководство и согласована программа.

Стр. 88.

Сватоплук — князь (870—894) т.н. Великой Моравии — раннефеодального государственного образования, в состав которого входила и Словакия.

Стр. 101.

"...вчера в Мартине состоялась встреча словацких офицеров..." — 13 августа 1944 г. в городе Турчанский Святой Мартин встретились офицеры словацкой армии, участвовавшие в подготовке восстания, с одним из руководителей партизанского движения в Словакии — П. А. Величко.

Стр. 102.

Халупка Само (1812—1883) — словацкий поэт. Эпическая поэма Халупки "Убей его", действие которой происходит во времена походов римлян на славянские племена, стала для современников и последующих поколений выражением протеста против иноземных поработителей.

Мах Александр (род. в 1902 г.) — один из лидеров Глинковской словацкой народной партии, с 1940 г. министр внутренних дел и заместитель премьер-министра клеро-фашистского правительства. В 1947 г. приговорен Национальным судом к тюремному заключению.

Стр. 103.

Чатлош Фердинанд (1895—1972) — генерал, министр национальной обороны в клеро-фашистском правительстве. Предчувствуя крах режима и рассчитывая стать военным диктатором Словакии, в 1944 г. перешел на территорию, освобожденную повстанцами, где был интернирован, а в 1947 г. приговорен Национальным судом к тюремному заключению.

Стр. 107.

Жупан — глава *жупы*, территориально-административной единицы в Словакии.

Стр. 110.

Бенеш Эдуард (1884 — 1948) — буржуазный политический деятель, в 1935—1938 и в 1946—1948 гг. — президент Чехословацкой республики.

"В Мартине расстреляли немецких офицеров..." — 27 августа 1944 г. в городе Турчанский Святой Мартин группа словацких солдат и партизан произвела вооруженное нападение на германскую военную миссию, следовавшую поездом из Румынии.

Рис. 111.

Ширах Бальдур фон — в 1940 — 1945 гг. нацистский гауляйтер в Вене.

Стр. 113.

Налепка Ян (1912—1943) — капитан словацкой армии, один из организаторов перехода в мае 1943 г. группы солдат и офи-

церов 101-го полка словацкой охранной дивизии на сторону советских партизан, командир отряда в партизанском соединении А. Н. Сабурова. Погиб в бою за освобождение г. Овруча. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Стр. 116.

Бергер Готтлиб — генерал СС, командующий германскими оккупационными войсками в Словакии с конца августа до 22 сентября 1944 г.

Стр. 125.

Краль Янко (1822—1876) — словацкий революционный поэт-романтик, цитируется его стихотворение "Братиславская дума" (1847).

Прешпорок, Прешпурк (от *нем*. Прессбург) — название Братиславы до 1919 г.

Стр. 130.

FS. — См. *прим.* к стр. 61.

Стр. 131.

Аграрная партия — республиканская партия земледельцев и мелких крестьян, крупнейшая буржуазная партия в домюнхенской Чехословацкой республике.

Стр. 132.

Восточнословацкий корпус, которым командовал генерал *Малар*, по плану военных руководителей восстания должен был открыть Советской Армии путь через горные перевалы Главного Карпатского хребта. Однако, когда началось Словацкое национальное восстание, Малар оставил войска и улетел в Братиславу, а корпус был разоружен германскими частями.

Словацкий национальный совет — центральный руководящий орган антифашистского национально-освободительного движения — был создан по инициативе коммунистов в конце 1943 г. Он возглавил Словацкое национальное восстание и стал высшим органом власти на освобожденной территории.

Стр. 133.

Масарик Томаш Гаррик (1850—1937) — буржуазный политик и идеолог, первый президент Чехословацкой республики (1918—1935).

"... о словацком Икаре — генерале Милане Растиславе Штефанике..." — См. *прим.* к стр. 44.

Стр. 134.

Демократическая партия начала создаваться в ходе Сло-

вацкого национального восстания как выразительница интересов оппозиционно настроенных по отношению к клеро-фашистскому режиму слоев словацкой буржуазии. Выступала за восстановление буржуазной Чехословацкой республики.

Стр. 135.

Революционные национальные комитеты — местные органы руководства национально-освободительным движением и народной власти на освобожденной территории.

Стр. 136.

"...он "чвахословак"... — презрительное от "чехословак". Так называли сторонников существования единой "чехословацкой нации" и на этой основе единого государства. Эта концепция являлась составной частью официальной идеологии буржуазной Чехословацкой республики. Игнорируя самобытность словацкой нации, она, по существу, подрывала общую государственность чехов и словаков, создавая питательную почву для роста словацкого буржуазного национализма.

Стр. 138.

"...еще во времена Чехословацкой республики..." — Имеется в виду первая буржуазная Чехословацкая республика (1918—1938).

Стр. 140.

"Баран из Бановца" — Йозеф Тисо прежде был священником в местечке Бановец.

Стр. 144.

Домобрана — специальное ополчение, созданное клеро-фашистским правительством для борьбы против повстанцев.

Стр. 152.

Пезинок — городок северо-восточнее Братиславы.

Стр. 153.

Ксантиппа — имя жены знаменитого древнегреческого философа Сократа, известной своей сварливостью.

Стр. 155.

"Генерал Гофле подавил мятеж..." — Гофле Герман — генерал СС, командующий германскими оккупационными войсками в Словакии с 22 сентября 1944 г.

Стр. 157.

"... дело рук лондонских прихвостней". — В Лондоне находилось эмигрантское чехословацкое правительство.

Стр. 160.

Миява — городок в Западной Словакии на реке того же названия.

Стр. 188.

Вайноры — деревня в нескольких километрах восточнее Братиславы, *отроги Малых Карпат* — северо-западнее.

Стр. 195.

Франц Иосиф I Габсбург — с 1848 по 1916 г. австрийский император, король венгерский и чешский.

Стр. 196.

Коменский Ян Амос (1592—1670) — выдающийся чешский педагог, ученый и общественно-политический деятель.

Стр. 202.

"...запретили Словацкую Матицу..." — *Словацкая Матица* — литературное, культурно-просветительное и научное общество, основанное в 1863 г. в городе Турчанский Святой Мартин. В 1875 г. была запрещена венгерскими властями, а имущество ее конфисковано. Возобновлена в 1919 г.

"Вспоминали времена борьбы..." — В начале 1875 года было опубликовано воззвание буржуазной Словацкой национальной партии с призывом к населению обратиться в венгерский сейм с требованием национального равноправия. На него откликнулись 22 общины Спишской, 25 — Липтовской и 20 — Гмерской жуп.

Стр. 203.

"Как только создали Словацкое государство..." — См. *прим.* к стр. 216.

Стр. 211.

"...в Илаве..." — См. *прим.* к стр. 54.

Стр. 216.

"Потом пришел день четырнадцатого марта..." — 14 марта 1938 г. словацкие сепаратисты провозгласили создание "самостоятельного независимого Словацкого государства", фактически находившегося в полной экономической и политической зависимости от гитлеровской Германии.

Стр. 226.

"...возрождены традиции Кирилла и Мефодия!" — См. *прим.* к стр. 437.

Стр. 231.

"...яношиковскими кладами..." — О *Яношике* см. *прим.* к стр. 60.

"...когда мы в восемнадцатом году получили национальную независимость..." — Речь идет о провозглашении в 1918 г. самостоятельной Чехословацкой республики.

Стр. 249.

Батя Томаш (1876—1932) — крупнейший чешский предприниматель, владелец многочисленных предприятий по производству и сбыту обуви в Чехословакии и за ее рубежами.

Стр. 261.

"Со стороны Польши прут немцы". — Очевидно, имеются в виду некоторые части и соединения группы германских армий "Северная Украина", которые участвовали в боях против словацких повстанцев.

Стр. 264.

"Банско-быстрицкий путч". — Город Банска Быстрица являлся центром Словацкого национального восстания.

Стр. 278.

Шафарик Павел Йозеф (1795—1861) — выдающийся историк, филолог и поэт, словак по происхождению; долгое время жил в Праге, где и создал свой главный труд — "Славянские древности" (1836), положивший начало изучению древней истории славян.

Стр. 299.

"...когда представители командования распустили армейские части..." — Несмотря на решение об отступлении повстанческой армии в горы и переходе к партизанским методам борьбы, командование словацких воинских частей, примкнувших к восстанию, не сумело организовать его осуществление. В горы ушли лишь партизанские отряды и отдельные армейские подразделения, продолжавшие борьбу до прихода Советской Армии.

Стр. 314.

"...чехословацкие части". — Имеются в виду части сформированного в СССР 1-го чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Л. Свободы, совместно с советскими войсками принимавшие участие в боях за освобождение Чехословакии.

Стр. 367.

О *Яношике* — см. *прим.* к стр. 60.

Стр. 423.

Чахтицкая госпожа. — Подразумевается реальное историческое лицо, владелица замка Чахтице в Центральной Словакии Алжбета Батори, казненная в 1611 г. за убийство девушек. Героиня романа словацкого писателя Йозефа Нижнанского "Чахтицкая кровавая госпожа" (1932), по которому был написан сценарий для венгерского фильма.

Стр. 433.

"Нас... французы и англичане предали..." — Речь идет о вероломной сделке западных держав с гитлеровской Германией в конце сентября 1938 г. в Мюнхене, когда Англия и Франция пожертвовали своим союзником — Чехословакией в надежде достигнуть соглашения с Гитлером и направить германскую агрессию на Восток. В результате Мюнхенского соглашения Чехословацкая республика потеряла треть своей территории и населения, оборонительные укрепления на границе с Германией были демонтированы.

Стр. 437.

"...являлись в ...Нитру... Кирилл и Мефодий". — Византийские миссионеры братья Константин (Кирилл) и Мефодий в 863 г. прибыли в Великоморавское государство, в состав которого входили и земли теперешней Словакии. Они заложили здесь основы самостоятельной церковной организации с литургией на славянском языке.

Стр. 440.

Зобор — гора, возвышающаяся над г. Нитрой, на которой расположен бенедиктинский монастырь.

Стр. 444.

"...много парней из протектората..." — О *протекторате* см. *прим*. к стр. 53.

Стр. 448.

"В Прешпорке..." — см. *прим.* к стр. 125.

А. Клеванский

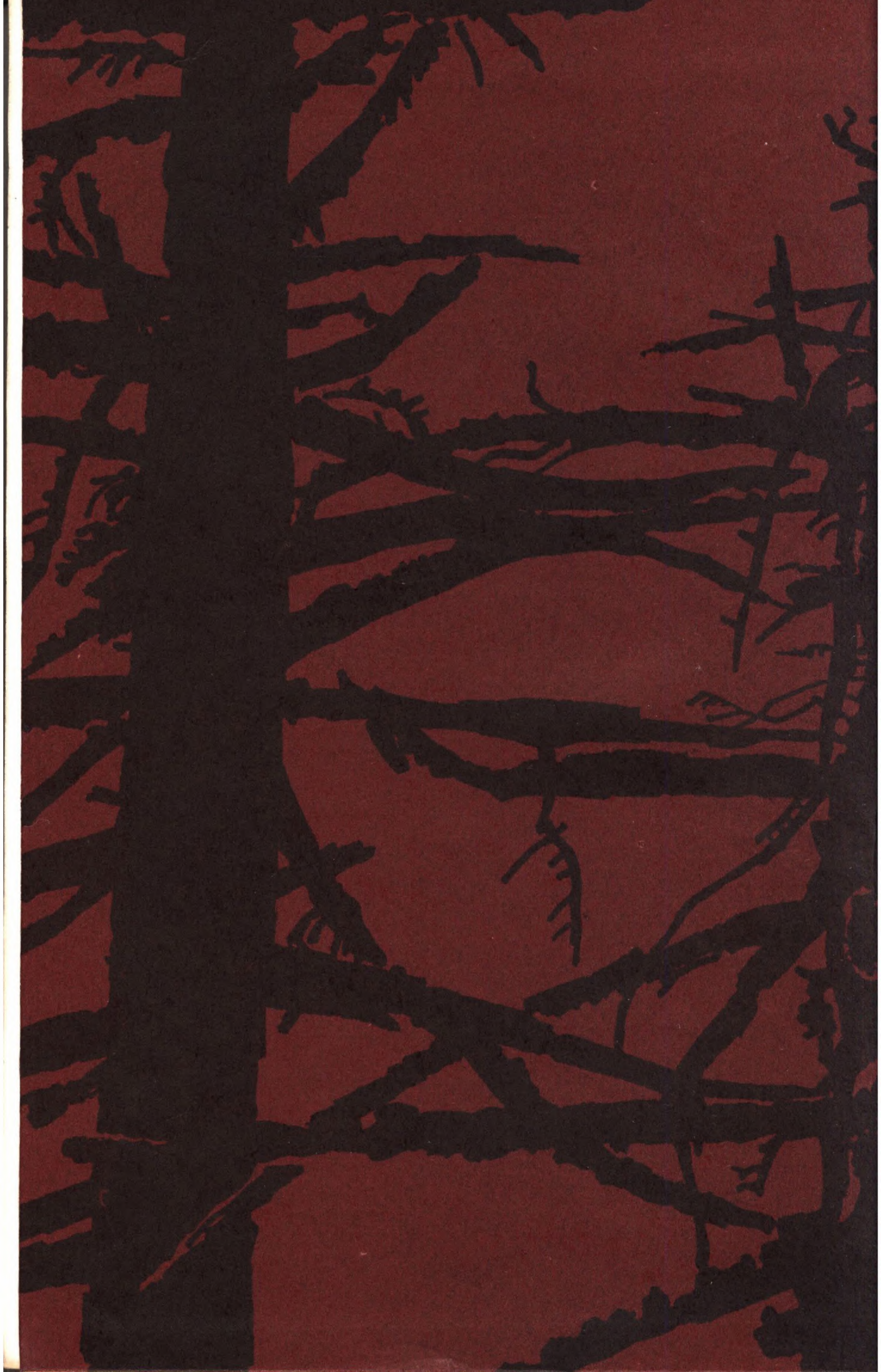
Содержание

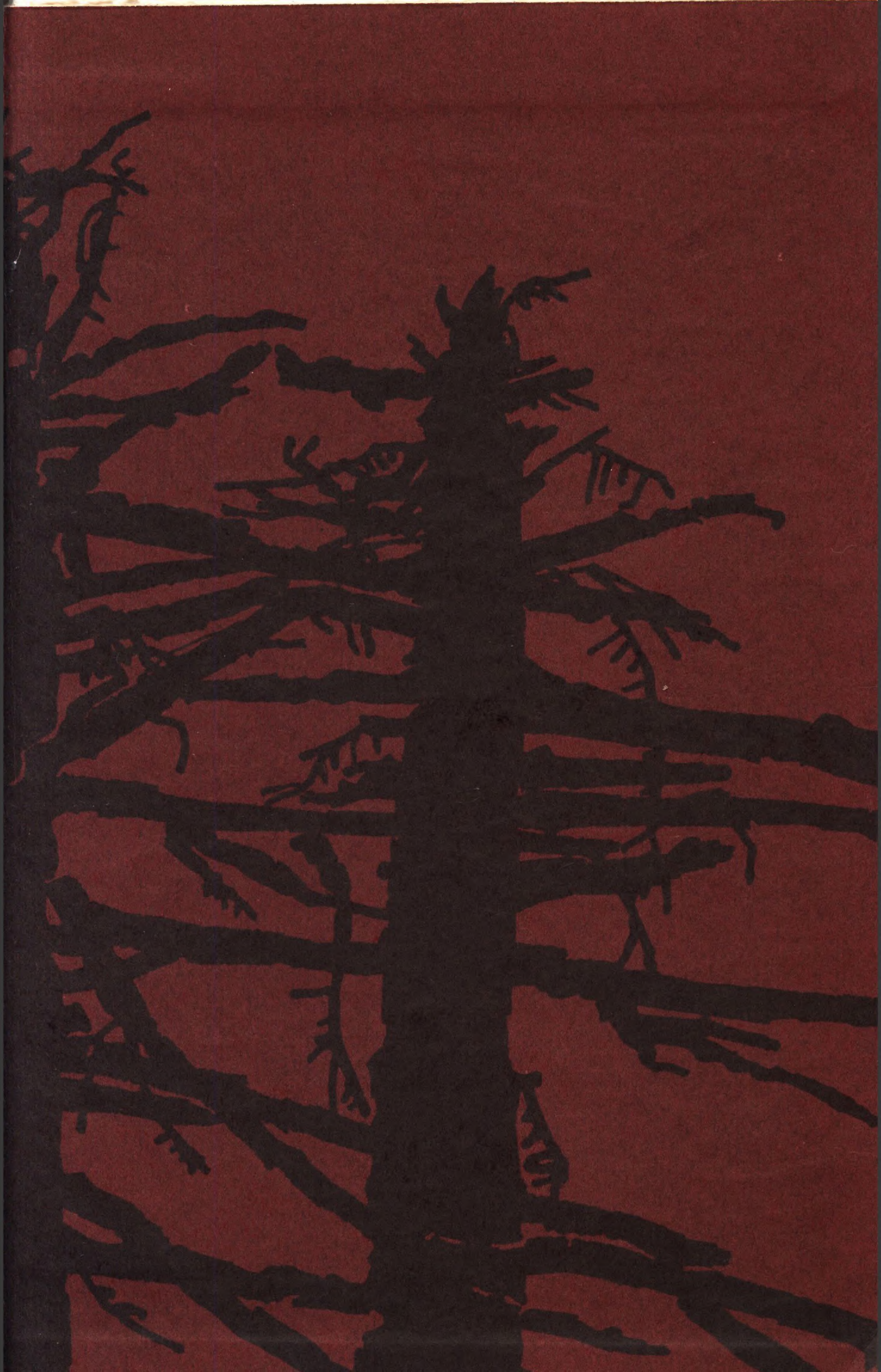
КЕДРОВЫЙ БОР

Проза о Словацком национальном восстании 1944 года

Составитель Юрий Васильевич Богданов

ИБ № 1054






КЕДРОВЫЙ
БОР